Л. Н. ТОЛСТОЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ





СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1978

Л. Н. ТОЛСТОЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ
ПЕРВЫЙ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

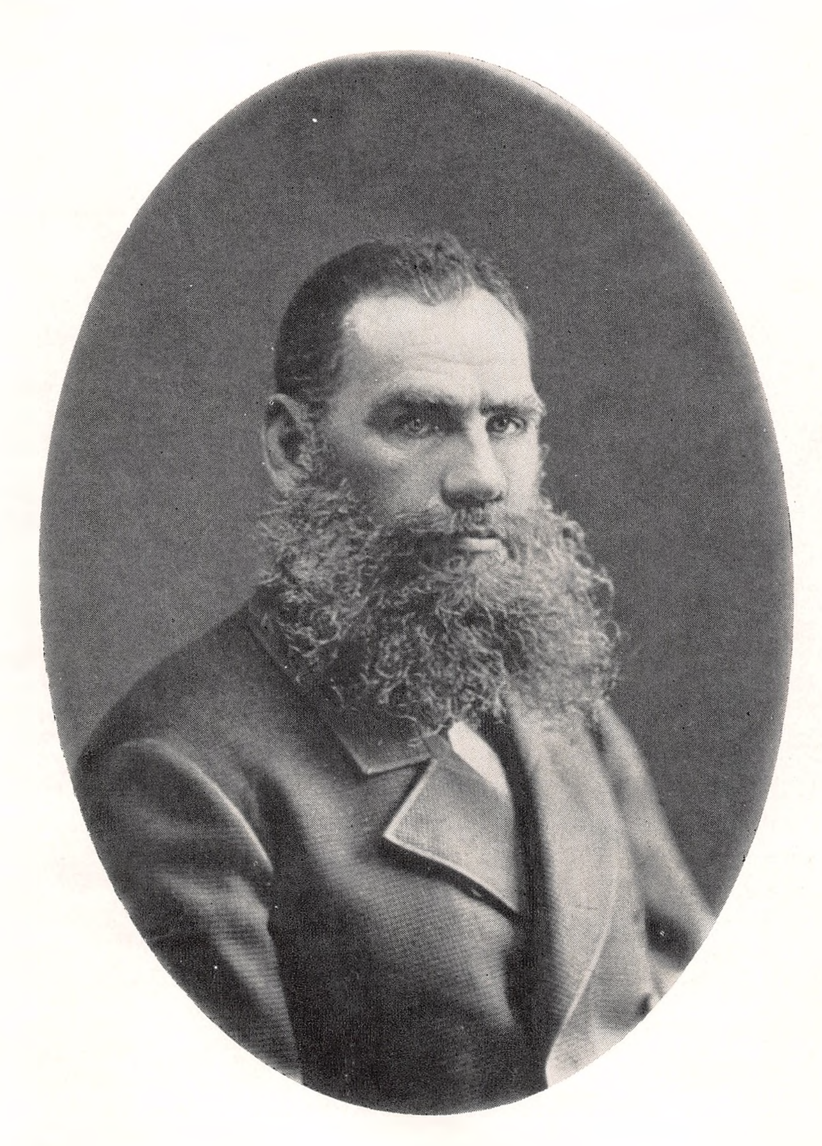
8Р1
Т53

Вступительная статья
К. Н. ЛОМУНОВА

*Составление,
подготовка текста и комментарии*
Г. В. КРАСНОВА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Т $\frac{70202\text{-}320}{028(01)\text{-}78}$ 56-78



Л. Н. Толстой, 1876 г. Москва.
Фотография И. Г. Дьяговченко.

ЖИВОЙ ТОЛСТОЙ

...В нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле!

М. Горький

1

Этому удивительному человеку — известному всему миру русскому писателю Льву Николаевичу Толстому — судьба подарила долгую, трудную и прекрасную жизнь. Родившись через три года после восстания декабристов и более чем за тридцать лет до падения крепостного права, он был свидетелем первой народной революции в России и лишь семь лет не дожил до Великого Октября, положившего начало новой эры в истории человечества.

Прошло полтора века со дня рождения Толстого и почти семьдесят лет со дня его кончины. Но время не властно над его бессмертными творениями, в которых с могучей, покоряющей силой запечатлена неповторимая личность гениального художника и великого мыслителя. В наши дни Толстой принадлежит к числу самых читаемых и почитаемых классиков не только на его родине, но и во всем мире. Уже несколько десятилетий подряд он занимает одно из первых мест среди писателей всех стран и народов по числу переводов его произведений на зарубежные языки, по количеству переведенных произведений и по числу языков, на которые они переведены.

Мы являемся свидетелями необычайного роста интереса наших современников к классическому наследию и, в частности, к творчеству Толстого. Сбылись пророческие слова В. И. Ленина: «Чтобы сделать его (Толстого. — *К. Л.*) великие произведения действительно достоянием *всех*, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки

миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот» [1].

Когда в нашей стране произошла социалистическая революция, В. И. Ленин позаботился о том, чтобы книги писателей-классиков, и прежде всего Толстого, стали достоянием народных масс. При этом он требовал от первых советских книгоиздателей, чтобы они дали народу «*всего* Толстого», восстановив в его произведениях все то, что запрещала царская цензура — светская и церковная.

За годы советской власти книги Толстого изданы в нашей стране общим тиражом свыше 200 миллионов экземпляров, в двадцать раз превысив число их изданий в дооктябрьские годы. В старой России книги Толстого были изданы всего на 10 языках. В наше время они переведены на 98 языков народов нашей страны и зарубежных стран.

В последние десятилетия жизни писателя сформировался и окреп беспримерный авторитет Толстого, источниками которого явились его мировая слава гениального художника и мировая известность мыслителя и проповедника.

В самом начале нашего века Горький писал о Толстом: «Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити...» [2]

Этих живых нитей становилось все больше, с годами они крепли, незримой, но реально существовавшей сетью опоясывая земной шар.

«Мне совестно говорить это, но я радуюсь авторитету Толстого. Благодаря ему, у меня сношения, как радиусы, с самыми далекими странами: Дальним Востоком, Индией, Америкой, Австралией» [3]. Это признание Толстой сделал в один из весенних дней 1910 года, знакомясь с обширной почтой, доставлявшейся в Ясную Поляну.

Чем, какими особенностями своей личности и творчества привлекал Толстой умы и сердца современников?

Прославленный художник, автор романов «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение» и других получивших мировую известность произведений, Толстой выступал с сокрушительной критикой несправедливого общественного строя, беспощадно обличал и осуждал угнетателей, поработителей, эксплуата-

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 19.

[2] М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 14. М., 1951, с. 280.

[3] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. II. М. — Пг., 1923, с. 17.

торов людей труда, виновников агрессивных войн, служителей церкви, лжеученых и писателей, состоявших на службе у «хозяев жизни».

Мужество Толстого-протестанта, бунтаря, обличителя восхищало и вдохновляло современников, разделявших его демократические и гуманистические взгляды. По словам английского драматурга Бернарда Шоу, Толстой, борясь за правду, обрушивал «громовые удары на двери самых страшных тюрем» и был готов класть голову «под самые острые топоры», однако «тюрьмы не смеют его поглотить и топоры не смеют на него опуститься...» [1].

Борьба Толстого с самодержавием, обличение им правящих классов и казенной церкви вызвали горы злобной ненависти к нему в лагере власть имущих. При царском дворе многие годы велись споры о том, как поступить с «бунтовщиком» и «еретиком» Толстым, за которым уже давно была установлена полицейская слежка. Одни предлагали отправить его в Сибирь на каторгу, другие — посадить в Петропавловскую крепость, третьи — заточить в один из каменных мешков Суздальского монастыря, а четвертые советовали не церемониться с Толстым, объявить его сумасшедшим и упрятать в «желтый дом».

Злейший и влиятельнейший из противников писателя обер-прокурор Синода Победоносцев добился у царя согласия на отлучение Толстого от церкви. Черносотенцы в письмах и телеграммах, поступавших в Ясную Поляну, угрожали убить писателя, назначая свои сроки казни «еретика» и «вероотступника».

На решение Синода передовые и честные люди России и многих стран мира ответили возмущением и негодованием.

«Святейший синод отлучил Толстого от церкви, — гневно писал Ленин. — Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах, жандармами во Христе, с темными инквизиторами...» [2]

Рабочие Мальцевского завода писали Толстому: «Вы разделили участь многих великих людей, идущих впереди своего века, глубокочтимый Лев Николаевич! И раньше их жгли на кострах, гноили в тюрьмах и ссылке. Пусть отлучают Вас как хотят и от чего хотят фарисеи-«первосвященники». Русские люди всегда будут гордиться, считая Вас своим, великим, дорогим, любимым».

В последние десятилетия жизни Толстого его борьба против несправедливого общественного устройства и его охранителей приобрела поистине титанический и героический характер. Каким

---

[1] «Литературное наследство», т. 75. Толстой и зарубежный мир, кн. I. М., 1965, с. 136.

[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 22.

мужеством и решимостью нужно было обладать, чтобы осенью 1905 года послать ближайшему родственнику царя письмо с таким признанием: «Я человек отрицающий и осуждающий весь существующий порядок и власть и прямо заявляющий об этом».

В статьях и письмах 90-х годов Толстой выразил свою полнейшую уверенность в том, что «существующий строй жизни подлежит разрушению», что «уничтожиться должен строй капиталистический и замениться социалистическим, уничтожиться должен строй милитаризма и замениться разоружением и арбитрацией...». И тогда осуществится то, что писатель называл «свободным и любовным единением людей».

Все свои усилия — художника, публициста, общественного деятеля, проповедника — поздний Толстой стремился подчинить одной цели, которую он определил немногими, но замечательными словами: «поторопить наступление нового века».

И тогда же во весь рост встал перед ним вопрос: но как это сделать? Какими силами и какими путями может быть осуществлена задача, которую Толстой определил тремя словами в одном из трактатов конца 90-х годов: «освободите рабов капитала»?

В ответах на этот главный вопрос эпохи со всей силой сказались противоречия взглядов и творчества писателя. Воистину кричащий характер его противоречивости подверг глубокому и всестороннему анализу Ленин в статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции», открывающей собою цикл работ о Толстом.

Чтобы нагляднее показать противоречия толстовской мысли, Ленин строит их анализ по принципу контраста: с одной стороны — с другой стороны. Вдумываясь в их сопоставление, мы невольно вспоминаем слова Горького: «Лев Толстой был самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XIX столетия» [1].

И действительно, с одной стороны — непревзойденный художник, создавший гениальные произведения, известные всему миру, но с другой стороны — он же творец «юродивой проповеди «непротивления злу» насилием». Могучий протестант против общественной лжи и фальши, страстный критик и грозный обличитель помещичье-буржуазных порядков — и он же измученный сомнениями «толстовец», предлагавший наивнейшие рецепты спасения человечества, основанные на теории личного самоусовершенствования.

Великий писатель, всем своим творчеством утверждавший неподкупноправдивый, трезвый реализм в искусстве, главным оружием которого было, как говорит Ленин, «срывание всех и всяческих масок», и он же — создатель новой, очищенной от церковных догм религии, основанной на принципе «всеобщей любви».

---

[1] М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 14, с. 307.

На какой почве, из каких источников рождались подобные противоречия, чьи настроения, мысли и чувства они отражали и выражали?

Противоречия Толстого, говорит Ленин, «не случайность», «не противоречия его только личной мысли». В них следует видеть «выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века».

Ленин характеризует «эпоху Толстого» как такую эпоху, «которая могла и должна была породить учение Толстого»[1]. Устами писателя «говорила вся та многомиллионная масса русского народа, которая *уже* ненавидит хозяев современной жизни, но которая *еще* не дошла до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними»[2].

Утопические и реакционные стороны идеологии патриархального крестьянства, отразившиеся во взглядах и творчестве писателя, В. И. Ленин назвал «историческим грехом толстовщины».

Резко выступая против их корыстного использования официальной, буржуазно-либеральной, народнической и меньшевистской печатью, Ленин отстаивал в наследии Толстого все то, что составляло его силу, принадлежало не прошлому, а будущему.

Последователи религиозно-нравственного учения писателя еще при его жизни начали создавать культ Толстого-вероучителя, аскета и непротивленца. После его кончины Горький писал с тревогой: «...теперь начнут «творить легенду», и это будет противно, будет вредно для страны. Не святой он, а человек, который даже и нам, несогласным с ним, был ближе и дороже бога, был милее и понятней всех святых. Дивная гордость наша, колокол правды, на весь мир гремевший, — замолк!»[3]

Своими опасениями Горький поделился с В. И. Лениным, который писал ему в начале января 1911 года:

«Насчет Толстого вполне разделяю Ваше мнение, что лицемеры и жулики из него святого будут делать»[4].

Ленин и Горький с непримиримой резкостью выступали против попыток последователей Толстого окружить его имя ореолом «святости». Горький неустанно протестовал против «иконописной» литературы о Толстом. «Я не хочу видеть Толстого святым, — говорил он, — да пребудет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас».

И такой образ Толстого Горький дал в своем знаменитом очерке «Лев Толстой», впервые опубликованном в 1919 году.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 103.
[2] Там же, с. 70.
[3] М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29, с. 135.
[4] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 11.

Известно, какое впечатление произвели на Ленина горьковские воспоминания о Толстом. Владимир Ильич говорил Горькому: «Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом...

— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник...» [1]

Ленин нашел в горьковской книжке замечательное подтверждение своей характеристики и оценки Толстого как художника и мыслителя.

«Может быть, — говорит Луначарский, — никто так хорошо не дал живого портрета Толстого, как Максим Горький, который с чуткостью большого художника сумел восстановить не елейного старца вроде «господа бога-отца», а подлинного Толстого, кипящего страстью...» [2]

Лучше многих других мемуаристов, писавших о Толстом, Горькому удалось выразить многогранность и многоликость образа Толстого, показать его мудрым человеком, который щедро «разбрасывает вокруг себя зерна неукротимой мысли», и по-детски наивным, глубокомыслящим и отрицающим разум, религиозным и атеистом, простым, очень демократичным и аристократом «чистых кровей», мягким и нетерпимым, всю жизнь посвятившим искусству и «отрицавшим» его.

Уже давно минули те времена, когда буржуазная печать писала, что Горький в своих воспоминаниях о Толстом «принижает» и «разоблачает» его, относится к нему без должного уважения и даже враждебно.

Отвергая подобные наветы, Горький писал: «Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да, да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами, в нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле!»

С ленинской непримиримостью относясь к слабым, ошибочным сторонам мировоззрения Толстого, Горький был убежден, что они были порождены не только «личными муками гения», но и, прежде всего, «старой историей России».

Горький учился у Ленина судить о значении великих людей прошлого не по слабым и ошибочным сторонам их взглядов и творчества, а по тому истинно великому, что было ими создано.

«Исторические заслуги, — говорил Ленин, — судятся не по тому, чего *не дали* исторические деятели сравнительно с совре-

---

[1] М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 17, с. 38—39.

[2] А. В. Луначарский. Классики русской литературы. М., 1937, с. 349.

менными требованиями, а по тому, что они *дали нового* сравнительно с своими предшественниками» [1].

В произведениях великого художника, как в громадном зеркале, отразилась целая эпоха русской жизни, границами которой были 1861 и 1905 годы. Ленин называл ее эпохой Толстого.

«Рисуя эту полосу в исторической жизни России, — подчеркивает Ленин, — Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества» [2].

Замечательная особенность ленинского подхода к оценке Толстого — его связей с эпохой, национального и мирового значения его наследия, отношения писателя к революции, народности его творчества — состоит в том, что перед нами выступает весь Толстой — и художник, и мыслитель, и публицист, и философ, и проповедник, и общественный деятель, в «совокупности его взглядов, взятых как целое».

В отличие от Н. К. Михайловского и других критиков-народников, а также в отличие от Г. В. Плеханова и других представителей ранней марксистской критики — Ленин не отделяет Толстого-художника от Толстого-мыслителя и не противопоставляет одного другому.

Мысль о сложной противоречивости мировоззрения и творчества Толстого Горький выразил в замечательном художественном образе: «В конце, он все-таки — целый оркестр, но в нем не все трубы играют согласно» [3].

Горькому же принадлежат знаменитые слова «Толстой это целый мир» [4], дающие меру для определения духовного богатства, созданного автором «Войны и мира».

2

В своей «Истории русской литературы» Горький говорит о книгах Толстого как о «памятнике упорного труда, сделанного гением». В них, по словам Горького, заключен «итог всего пережитого

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, с. 178.
[2] Там же, т. 20, с. 19.
[3] М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 28, с. 117.
[4] М. Горький. История русской литературы. М., 1939, с. 296.

русским обществом за весь XIX век». В них мы находим также «документальное изложение всех исканий, которые предприняла в XIX веке личность сильная, в целях найти себе в истории России место и дело» [1].

Что представляла собой эта личность сильная, через какие духовные искания прошел Толстой в поисках своего места и дела в бурных событиях русской и мировой жизни прошлого века и начала века нынешнего? Как складывался, как формировался его характер — писателя, общественного деятеля, человека? Какое впечатление производил он на современников (а среди его современников было немало замечательных людей) — вот вопросы, на которые читатель вправе надеяться найти ответы в мемуарной литературе, посвященной Толстому.

Первыми же своими произведениями Толстой заявил о себе как художник «власть имеющий». Повести его «Детство» и «Отрочество», кавказские и севастопольские военные рассказы, «Утро помещика» возбудили такие восторги, ожидания и надежды в читающем обществе, от которых могла закружиться голова и у немолодого писателя.

«Вот наконец преемник Гоголя, — писал о нем Тургенев, — нисколько на него не похожий, как оно и следовало» [2].

«Крестным отцом» Толстого как писателя явился Н. А. Некрасов, принявший к печати его первую повесть «Детство», еще не зная, кто ее автор, подписавшийся буквами «Л. Н.». Вот как описывал Некрасов первую встречу с Толстым, в ноябре 1855 года приехавшим в Петербург из героического Севастополя:

«...Приехал Л. Н. Т., то есть Толстой, и отвлек меня... Милый, энергический, благородный юноша — сокол!.. а может быть и — орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши... Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое, и в то же время мягкость и благодушие: глядит, как гладит. Мне он очень полюбился» [3].

Одно из майских писем 1857 года к Толстому Некрасов заканчивает словами: «Прощайте, ясный сокол (не знаю, сказывал ли я Вам, что мысленно иначе Вас не называю)» [4].

Сокол, а может быть и орел! Ни одного из молодых писателей «Современника» (в первые семь лет литературной работы Толстой

---

[1] М. Горький. История русской литературы, с. 295.

[2] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. II. М. — Л., 1961, с. 241.

[3] Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X. М., 1952, с. 258—259.

[4] Там же, с. 336.

печатался исключительно в «Современнике») Некрасов так не называл.

В одном из писем к Толстому, посланном из-за рубежа осенью 1856 года, Некрасов как бы подводил итоги первых лет знакомства с ним. Уже первые произведения Толстого, подчеркивает редактор «Современника», вызвали у него симпатию к «сильной и правдивой личности» их автора, и это чувство еще более укрепилось после встречи с ним. «Я не шутил и не лгал, — пишет Некрасов, — когда говорил когда-то, что люблю Вас, — а второе: я люблю еще в Вас великую надежду русской литературы, для которой Вы уже многое сделали и для которой еще более сделаете...» [1]

Зимой того же 1856 года Тургенев пишет о Толстом А. В. Дружинину: «Когда это молодое вино перебродит, выйдет напиток, достойный богов» [2]. А неделей раньше Тургенев писал Толстому: «Если Вы не свихнетесь с дороги (и, кажется, нет причин предполагать это) — Вы очень далеко уйдете» [3].

Рано возникший в переписке современников мотив тревоги за молодого Толстого вызван был особенностями его характера, «разгадать» который им долго не удавалось.

Весной 1857 года Тургенев писал П. В. Анненкову о встречах с Толстым в Париже, о внезапном отъезде Толстого из столицы Франции в Женеву. «Действительно, — подчеркивал Тургенев, — Париж вовсе не приходится в лад его духовному строю; странный он человек, я таких не встречал и не совсем его понимаю. Смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича — что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо — высоконравственное и в то же время несимпатическое существо» [4].

Молодой Толстой нередко озадачивал своих слушателей суждениями, шедшими вразрез с общепринятыми мнениями. Он любил «попугать» Тургенева, говоря, что вовсе не считает себя литератором, что в любой момент и с легким сердцем может поменять писательство на более «полезное» занятие. Не на шутку встревоженный такими заявлениями, Тургенев писал Толстому из Рима: «Вы пишете, что очень довольны, что не послушались моего совета — не сделались только литератором. Не спорю, может быть, Вы и правы, только я, грешный человек, как ни ломаю себе голову, никак не могу придумать, что же Вы такое, если не литератор: офицер? помещик? философ? основатель нового религиозного учения? чиновник? делец? Пожалуйста, выведите меня из

---

[1] Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X. с. 291—292.
[2] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. III, с. 52.
[3] Там же, с. 43.
[4] Там же, с. 117.

затруднения и скажите, какое из этих предположений справедливо.

Я шучу — а в самом деле, мне бы ужасно хотелось, чтобы Вы поплыли наконец на полных парусах» [1].

Той же осенью из письма П. В. Анненкова Тургенев узнал, что Толстой показывал друзьям «свой проект заселения всей России лесами» [2].

«Удивили вы меня известием о лесных затеях Толстого! — отвечал Тургенев Анненкову. — Вот человек! с отличными ногами непременно хочет ходить на голове. Он недавно писал Боткину письмо, в котором говорит: «Я очень рад, что не послушался Тургенева, не сделался только литератором». В ответ на это я у него спрашивал — что же он такое: офицер, помещик и т. д. Оказывается, что он лесовод. Боюсь я только, как бы он этими прыжками не вывихнул хребта своему таланту» [3].

Пугаясь «метаний» молодого писателя, его увлечений делами, не имеющими, как ему казалось, прямого касательства к литературе, Тургенев был тем не менее уверен в том, что «этот человек пойдет далеко и оставит за собою глубокий след» [4].

Когда подходила к концу шестилетняя работа Толстого над «Войной и миром», Тургенев без малейших колебаний назвал его главой русской литературы. «Нельзя не сознаться, — писал он в 1868 году, — что с появлением «Войны и мира» — Толстой стал на первое место между всеми нашими современными писателями».

Получив известие о выходе пятого тома «Войны и мира», Тургенев писал И. П. Борисову: «Толстой — настоящий гигант между остальной литературной братией... Дай бог написать ему еще двадцать томов!» [5]

Тому же корреспонденту Тургенев писал тогда, что «при всех своих слабостях и чудачествах» автор «Войны и мира» заслужил имя «*самого даровитого* писателя во всей современной европейской литературе!» [6]. И Тургенев хотел, чтобы в этом убедились читатели западных стран. В 1879 году вышел в свет первый французский перевод «Войны и мира». Рекомендуя роман зару-

[1] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. III, с. 170.

[2] «Труды Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина», вып. III. М., 1934, с. 71.

[3] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. III, с. 175.

[4] Там же, с. 95.

[5] Там же, т. VII, с. 302. В первом издании «Война и мир» вышла в шести томах.

[6] Там же, с. 302, 342.

бежным читателям, Тургенев писал: «Это — великое произведение великого писателя — и это подлинная Россия» [1].

Тургенев явился одним из первых и замечательных пропагандистов творчества Толстого и в России и на Западе. Между тем его личные отношения с Толстым в силу весьма сложных причин складывались драматично, о чем много писали Д. В. Григорович, А. А. Фет и другие их современники. После семнадцатилетней размолвки они снова сблизились, и в последние годы жизни Тургенев ревностно, озабоченно и сочувственно, как и в дни первого знакомства с ним, следил за новыми фазисами духовного развития Толстого, поразившего и его, и Достоевского, и Островского, и других «стариков» остротой и глубиной духовного переворота, пережитого писателем в конце 70-х — начале 80-х годов.

«Исповедь» Толстого и напугала и восхитила Тургенева. И знаменательно, что она не только не поколебала, но, напротив, укрепила давнее преклонение Тургенева перед личностью ее автора. Об этом свидетельствуют тургеневские оценки позднего Толстого:

«Да, это очень могучий человек...» (1880 г. Из письма Г. Флоберу).

«Это — чудачище — но несомненно гениальный человек — и добрейший» (1882 г. Из письма Д. В. Григоровичу).

«...Толстой едва ли не самый замечательный человек современной России!» (1882 г. Из другого письма Д. В. Григоровичу).

«Друг мой, великий писатель русской земли...» (1883 г. Из письма Л. Н. Толстому).

Не только Тургенев, но и другие старшие современники Толстого необыкновенно дорожили добрыми с ним отношениями. Когда молодой Толстой уехал из Петербурга в Ясную Поляну, И. А. Гончаров писал ему: «Вас и от вас ждут многого, между прочим Кавказского романа... Все здесь, вас недостает, и в каждом собрании ваше имя произносится, как на перекличке» [2].

Письмо это свидетельствует, что «старая гвардия» русской литературы, к которой принадлежали Гончаров, Тургенев, Некрасов, Островский, Григорович и другие писатели, не только признала Толстого за равного, но и возлагала на него большие надежды.

Но путь, которым шел Толстой, был очень трудным и для него самого. Нередко острые духовные «кризисы», переживавшиеся

---

[1] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Сочинения, т. XV. М. — Л., 1968, с. 188.

[2] «Лев Николаевич Толстой. Сборник статей и материалов». М., Изд-во АН СССР, 1951, с. 701. Кавказским романом Гончаров называет повесть Толстого «Казаки».

Толстым, вызывали у многих его современников недоумение и осуждение.

Толстой смолоду ничего не принимал на веру, подвергал сомнению устоявшиеся взгляды, выдвигал свои решения «вечных» вопросов и вопросов злободневных, впадал в жесточайшие противоречия, отчаивался и тут же начинал новые поиски.

Страстность, порывистость натуры Толстого, его постоянная устремленность к поискам нового пугали и отталкивали от него тех, кто любил компромиссы, обходил острые углы, страшился нового. «Я довольно часто вижусь с ним, — писал В. П. Боткин в апреле 1859 года, — но так же мало понимаю его, как и прежде. Страстная, причудливая и капризная натура. И притом самая неудобная для жизни с другими людьми. И весь он полон разными сочинениями, теориями и схемами, почти ежедневно изменяющимися. Большая внутренняя работа, похожая на иксионовскую» [1].

К 70-м годам относится знакомство Толстого с выдающимся русским художником И. Н. Крамским, создавшим первый живописный портрет автора «Анны Карениной» в те дни, когда создавался этот роман, упрочивший славу Толстого.

В 70-е годы Толстой знакомится с П. И. Чайковским и В. В. Стасовым.

Осенью 1880 года Толстой впервые пришел в мастерскую И. Е. Репина. С этой встречи началась их тридцатилетняя дружба.

В воспоминаниях «Из моих общений с Л. Н. Толстым» Репин рассказывает о впечатлении, произведенном на него приходом писателя. В мастерской «все вдруг приняло какой-то заревой тон». Перед глубоко взволнованным художником стоял «деятель по страсти, убежденный проповедник». «Для меня, — признается Репин, — духовная атмосфера Льва Николаевича всегда была обуревающей, захватывающей».

Молодой художник с замиранием сердца слушал Толстого, который тогда окончательно порывал со всеми взглядами, привычками, традициями своей среды. У Репина, по его признанию, «голова шла кругом от его (Толстого. — *К. Л.*) беспощадных приговоров отжившим формам жизни». Из воспоминаний художника мы узнаем, как Толстой подымал мастеров искусства и литературы на решение больших и новых задач, на поиски новых путей творчества.

В 1886 году впервые посетил Толстого В. Г. Короленко. Он пришел к Толстому в его московский дом. Затем он увидел Тол-

---

[1] «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка». М., 1930, с. 153.

стого в 1902 году в Крыму, где писатель лечился от тяжелой болезни. Короленко был поражен происшедшей в нем переменой. «Теперешний Толстой и Толстой, которого я видел тринадцать лет назад, — писал Короленко, — два разных человека. И, между прочим, от «непротивления» едва ли остались и следы».

Толстой тогда был очень болен и слаб; врачи опасались за его жизнь. Тем больше поразили Короленко сила и бодрость духа, громадная духовная энергия Толстого: «Тело умирает, а ум горит пламенем!» Короленко услышал от Толстого много интересного, нового, неожиданного.

Встретившись с Толстым в третий и последний раз за три месяца до его смерти, Короленко «опять слышал от него новое, неожиданное, порой загадочное».

Из всех трех встреч с Толстым, каждая из которых приносила новые впечатления, Короленко составил себе «яркий образ крупного, замечательного человека», «человека, идущего куда-то бодро и без устали». Разновременные и разнохарактерные впечатления от Толстого в итоге слились у него «в один образ великой человеческой личности».

Толстой обладал удивительным даром угадывать талант в людях. Его первая встреча с К. С. Станиславским — одно из многих тому доказательств. Толстой просил молодого режиссера постараться освободить драму «Власть тьмы» от цензурного запрета и поставить ее. Поручая ему разработать план постановки, он скромно добавил: «А я обработаю по вашему указанию». Постоянная готовность поучиться у знающих людей, уважение к их опыту — одна из привлекательных черт Толстого.

Станиславский нашел сильные, проникновенные слова для того, чтобы сказать, как много значил Толстой для поколения передовой русской художественной интеллигенции, вошедшей в искусство и литературу в начале 90-х годов прошлого века. «При жизни его мы говорили: «Какое счастье жить в одно время с Толстым!» А когда становилось плохо на душе или в жизни... мы утешали себя мыслью, что там, в Ясной Поляне, живет он — Лев Толстой! — И снова хотелось жить».

Чехов впервые был у Толстого в Ясной Поляне летом 1895 года. Письмо его об этой встрече проникнуто светлым, бодрым настроением. «Впечатление чудесное, — пишет Чехов. — Я чувствовал себя легко, как дома, и разговоры наши с Львом Николаевичем были легки» [1] «Я ни одного человека не любил так, как его» [2], — признавался Чехов.

---

[1] А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем, т. 16. М., 1949, с. 271.

[2] Там же, т. 18, с. 312.

Чехову очень хотелось, чтобы Толстой познакомился с Горьким. Их встреча состоялась, можно сказать, на рубеже двух веков — XIX и XX. В дневнике Толстого 16 января 1900 года появилась запись: «Был Горький. Очень хорошо говорили. И он мне понравился. Настоящий человек из народа».

Позднее в дневниках и письмах Толстого, в свидетельствах мемуаристов появится много самых разных оценок Горького и его произведений. Но представление о Горьком как о художнике, вышедшем из народных низов и кровно с ними связанном, Толстой никогда не менял.

Провожая Горького после первой встречи, Толстой обнял его, поцеловал и сказал:

«Вы — настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите все так, как чувствуете, выйдет грубо — ничего! Умные люди поймут».

В октябре 1900 года Горький ездил в Ясную Поляну и, как он тогда же писал Чехову, «увез оттуда огромную кучу впечатлений».

Вслед за Горьким с Толстым знакомятся Куприн, Вересаев, Бунин.

Повествуя о встречах с Толстым, Бунин говорит и о самом себе, о восторженной влюбленности в Толстого, о своем «толстовстве», от которого он избавился, как только поближе познакомился с некоторыми из «последователей» теории непротивления злу насилием.

Зорким глазом художника Бунин подметил, что Толстой «ходил страшно легко и быстро», что у него была «какая-то томная грусть» в глазах и что глаза его «вовсе не страшные», не пронзающие, а «по-звериному зоркие», что борода у него «сухая, легкая, неровная, сквозная», что «бугры бровных дуг надвинуты на глаза», а «уши сидят необычно высоко». Все эти метко схваченные детали дополняют наше представление о внешнем облике Толстого тех лет, когда его видел Бунин.

3

В письме к В. Г. Короленко, включенном в очерк о Толстом, Горький выразил сожаление по поводу того, что люди, окружавшие Толстого, недостаточно бережно хранили свои записи о встречах и беседах с ним и вообще мало записывали. Горький пишет: «Однажды А. П. Чехов ...пожаловался:

— Вот за Гете каждое слово записывали, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и — наврут».

Чехов, как видно, не очень доверял мемуаристам, писавшим воспоминания по памяти, и очень сожалел, что у Толстого не было своего летописца, который бы день за днем записывал беседы с ним, как это делал И. Эккерман — секретарь Гете.

Однако в последние годы жизни и у Толстого появились свои летописцы. В год смерти Чехова в Ясной Поляне поселился доктор Д. П. Маковицкий. Исполняя обязанности домашнего врача, он в то же время вел дневник, в котором ежедневно в течение шести лет записывал все, что видел и слышал в Ясной Поляне. Его «Яснополянские записки» составляют в рукописи около двухсот печатных листов.

С 1906 года секретари — сначала В. А. Лебрен, после него — Н. Н. Гусев, затем В. Ф. Булгаков, помогая Толстому в его большой переписке и в литературной работе, также вели дневники, записывали то, что слышали от него.

В этот круг летописцев Толстого вошли также пианист А. Б. Гольденвейзер, дневник которого «Вблизи Толстого» охватывает пятнадцать лет, В. Г. Чертков — один из виднейших пропагандистов «толстовства».

Ревностные почитатели Толстого, полностью тогда разделявшие его взгляды, они стремились записывать каждое его слово, не отделяя важное и значительное от второстепенного, спорного, сказанного мимоходом и не выражавшего подлинного отношения писателя к тому или иному явлению. По этому поводу Толстой заметил в дневнике 25 августа 1909 года:

«Очень прошу моих друзей, собирающих мои записки, письма, записывающих мои слова, не приписывать никакого значения тому, что мною сознательно не отдано в печать... Всякий человек бывает слаб и высказывает прямо глупости, а их запишут и потом носятся с ними, как с самым важным авторитетом».

Это очень важное заявление писателя, с которым следует считаться при оценке мемуарной литературы, посвященной Толстому.

Доктор Д. П. Маковицкий, секретари писателя, а также его друзья В. Г. Чертков, А. Б. Гольденвейзер и другие явились летописцами позднего Толстого. Их дневники и воспоминания касаются главным образом последних лет жизни и творчества писателя. Значительно больший период жизни и деятельности Толстого отражен в мемуарах членов его семьи.

Жена Толстого, Софья Андреевна, с 1860 по 1910 год вела дневники и, кроме того, с 1893 года составляла так называемые

«ежедневники». Сохранилась рукопись книги Софьи Андреевны «Моя жизнь». Женой писателя собраны «Материалы к биографии Л. Н. Толстого и сведения о семействе Толстых» — о детстве, отрочестве и юности Толстого, менее всего освещенных мемуаристами.

Сестра С. А. Толстой, Т. А. Кузминская, — автор известной книги «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания». В ней дана живая и правдивая картина яснополянской жизни тех лет, когда Толстой работал над «Войной и миром».

Одну из лучших мемуарных книг о Толстом, «Очерки былого», написал его старший сын, Сергей Львович. Хотя главное место в книге занимает описание жизни Толстого в 80—90-е годы, но в ней много страниц отведено и более ранним годам. Большой раздел в «Очерках былого» посвящен описанию встреч и взаимоотношениям Толстого с современниками — И. С. Тургеневым, А. А. Фетом, И. Е. Репиным и другими.

С. Л. Толстой много пишет о характере отца, его привычках, пристрастиях, о его отношениях с близкими, знакомыми, с людьми разного общественного положения.

Значительный интерес представляет книга второго сына Толстого, Ильи Львовича, «Мои воспоминания», освещающая жизнь писателя начиная с 70-х годов прошлого века.

Старшей дочери писателя, Т. Л. Сухотиной, принадлежит книга «Друзья и гости Ясной Поляны», содержащая очерки об И. С. Тургеневе, Н. Н. Ге и других яснополянских гостях и друзьях — давних знакомых Толстого. В 1962 году в Париже был издан ее дневник в переводе на французский язык. И дневник и мемуары Татьяны Львовны «О том, как мы с отцом решали земельный вопрос», «О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода» посвящены преимущественно Л. Н. Толстому.

Из других членов семьи и родственников Толстого, оставивших ценные воспоминания о нем, нужно назвать двоюродную тетку писателя, А. А. Толстую, племянницу Е. В. Оболенскую.

Главное место в дневниках, воспоминаниях, принадлежащих членам семьи, естественно, занимают взаимоотношения писателя с семьей, его частная жизнь. Но в них содержатся также сведения, касающиеся творческой истории многих его произведений, его педагогической и общественной деятельности.

Пожалуй, никто лучше «семейных» мемуаристов не смог бы воспроизвести ту деятельную творческую атмосферу, которая неизменно создавалась вокруг писателя в Ясной Поляне или в его московском доме. Никто лучше них не рассказал и не мог рассказать не только о друзьях и частых гостях, но и о бесконечной веренице посетителей, искавших встреч и бесед с Толстым.

Самый большой раздел мемуарной литературы о Толстом составляют воспоминания того круга людей, в который входили выдающиеся писатели, художники, ученые, композиторы, музыканты, режиссеры, актеры. Их перечень так велик, что без всякого преувеличения можно говорить о личных связях Толстого едва ли не со всеми лучшими представителями русской литературы и искусства второй половины XIX и начала XX века и со многими замечательными учеными этого времени.

В своих воспоминаниях и письмах они приводят многочисленные высказывания Толстого, интереснейшие разговоры с Толстым на «злобу дня», суждения о писательском мастерстве, об опыте писателей-классиков, о своем творческом опыте.

Значительное место в мемуарной литературе о Толстом занимают воспоминания учителей и учеников Яснополянской школы, открытой Толстым для крестьянских детей (П. Морозова, Н. Петерсона, В. Морозова и др.), а также воспоминания яснополянских крестьян.

В сборник включены воспоминания посещавших Ясную Поляну иностранцев — Э. Диллона, Д. Кеннана, Е. Скайлера и других. Они дают яркое представление о том, как развивались и крепли прижизненные международные связи Толстого.

В предлагаемой вниманию читателей книге публикуются материалы, принадлежащие перу нескольких десятков авторов. В ней звучат голоса самых разных людей, с которыми Толстой общался на протяжении своей долгой жизни. При всей несхожести жизненного положения и судеб авторов мемуаров есть у них одна общая, объединяющая и сближающая их черта — все они были не только современниками Толстого, но видели и слышали его лично, общались с ним, и их рассказы о нем воспринимаются нами как живые, волнующие свидетельства.

4

Современников поражала «многоликость» Толстого. В очерке «О том, как я видел Толстого на пароходе «Св. Николай» А. И. Куприн великолепно описывает, как менялся облик Толстого в течение десяти — пятнадцати минут, пока пароход не отошел от ялтинской пристани. «Мне кажется, — говорит Куприн, — что если бы я следил за ним в продолжение нескольких лет, он так же был бы неуловим... Этот многообразный человек, таинственною властью заставляющий нас плакать, и радоваться, и умиляться, — есть истинный, радостно признанный властитель».

Как и Куприн, писатель Н. И. Тимковский в течение одной короткой встречи с Толстым «видел перед собой двух, трех и больше Львов Николаевичей, не имеющих как будто друг с другом ничего общего». Временами он становился проповедником, «с которым нельзя разговаривать». Проповедь вдруг сменялась задушевной беседой. И Толстой превращался в любознательного, страшно заинтересованного предметом разговора ученика, поражавшего своей совершенно детской восприимчивостью.

Из множества самых разнообразных впечатлений, производившихся личностью Толстого, были, однако, такие, о которых его современники пишут как о главных, определяющих, ведущих. Так, люди, много лет общавшиеся с Толстым, говорят, что он никогда не казался им человеком «смирившимся» в каком бы то ни было смысле.

«Все в нем, — писал Н. И. Тимковский, — глаза, манеры, способ выражения» — говорило о том, что главное в его характере «отнюдь не смирение и покорность, а борьба, страстная борьба до конца».

Тридцатилетняя дружба с Толстым и его семьей, большая творческая работа над портретированием писателя и связанные с нею наблюдения и размышления дали И. Е. Репину основания для следующего вывода о главной черте толстовского характера: «Чувство огромного влияния на Россию своими произведениями подняло его активность и вселило веру в возможность перевернуть жизнь к лучшему. Борец» [1].

В отличие от последователей его учения, Толстой с молодых лет и до конца своих дней проявлял страстную заинтересованность во всех делах века, живо и горячо откликался на самые насущные вопросы своего времени.

Речь идет, как видим, не о «временной», случайной, изредка проявляющейся, а доминантной, действительно определяющей черте его натуры.

Осенью 1857 года двадцатидевятилетний Толстой сообщал своему старшему другу А. А. Толстой о важной «перемене во взгляде на жизнь», которая в нем произошла «в последнее время». «Мне, — пишет Толстой, — смешно вспомнить, как я думывал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! *Нельзя,* бабушка. Все равно, как *нельзя,* не двигаясь, не делая моциона, быть здоровым. Чтоб

---

[1] «Художественное наследство», т. I. Репин, кн. I. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1948, с. 333.

жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать... и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».

В марте 1910 года восьмидесятидвухлетний Толстой, перечитывая свои давние письма к А. А. Толстой, с особым умилением, как он говорит в дневнике, читал приведенное нами письмо: «Одно о том, что жизнь труд, борьба, ошибка — такое, что теперь ничего бы не сказал другого».

И действительно, он всегда был верен этим своим убеждениям и ни от кого их не скрывал, прекрасно понимая, что они мало соответствуют коренным принципам его религиозно-этического учения.

Зимой 1896 года Толстой пишет одному из самых ортодоксальных «толстовцев», В. Г. Черткову: «Трудитесь, боритесь. Жизнь — борьба. Без борьбы нет жизни». Через год в другом письме тому же корреспонденту Толстой советует избегать суждений, которые могут «ослабить силы борьбы», и характеризует свои настроения: «А я хочу бороться и буду, лежа под врагом, без сил противодействия, все-таки буду говорить, что не сдаюсь, и ждать первой возможности освобождения, чтобы воспользоваться ею».

Ни возраст, ни трудные обстоятельства жизни в семье, не разделявшей его убеждений, ни угрозы и преследования со стороны «власть имущих», ни собственная проповедь непротивления злу насилием — ничто не могло потушить беспокойный пламень его страстного сердца, кипение его пытливой мысли.

Верно и хорошо сказал о Толстом учитель его детей В. И. Алексеев: «Лев Николаевич всю жизнь свою стремился начать жизнь сызнова». И в самом деле, все так называемые «кризисы» Толстого и среди них самый тяжелый по своим последствиям — уход Толстого из Ясной Поляны — были вызваны его стремлением «начать жизнь сызнова».

Эта черта характера Толстого порождена была не только его личными особенностями, но и во многом особенностями эпохи, в которую он сформировался как мыслитель и художник. Одним из первых это понял Некрасов, по ранним произведениям Толстого угадавший в молодом писателе сильную и самобытную личность. «На мои глаза, — писал ему Некрасов, — в Вас происходит та душевная ломка, которую в свою очередь пережил всякий сильный человек, и Вы отличаетесь только — к выгоде или невыгоде — отсутствием скрытности и пугливости. Признаюсь, я лично люблю такие характеры...» [1]

---

[1] Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем. т. X, с. 291.

Душевная ломка, о которой говорит Некрасов, переживалась тогда передовыми русскими людьми вследствие тяжелого поражения царской России в Крымской войне, вызвавшего высокий накал общественно-политической борьбы в стране.

Толстой, еще в первые годы работы в литературе заявивший, что «никакая художническая струя не увольняет от участия в общественной жизни», был тысячами нитей связан с современностью. Он любил это подчеркивать всегда. «Чувствую себя человеком своего времени», — отмечает Толстой в записной книжке 1858 года. «Я очень занят современностью», — говорит он в письме 1901 года.

Один из журналистов, узнав о начале работы Толстого над романом «Воскресение», решил на свой лад «предупредить» читающую публику: «Граф Толстой, очевидно, прислушивается к тому, что делается вокруг, с чрезвычайным вниманием» [1].

Острое и неослабное внимание писателя к происходящему вокруг него вызывалось его убеждением в том, что настоящие мыслители и художники «никогда не будут спокойно сидеть на олимпийских высотах», а должны участвовать в общей жизни человечества.

Замечательной особенностью Толстого была его способность «заражаться народными настроениями». В. Г. Короленко был абсолютно прав, увидев в ней основу, определяющую «крупнейшие повороты во взглядах самого Толстого».

Толстой называл себя «адвокатом 100-миллионного земледельческого народа». В годы приближения первой народной революции в России писатель обращался к правительству и правящим классам с требованиями, идущими, как он говорил, «снизу от 100 миллионов». Чувство своей связанности с трудовым земледельческим народом делало писателя сильным и бесстрашным.

А. Ф. Кони слышал, как крестьяне говорили о Толстом: «Это мужик умственный, хотя и барин» [2].

Невольно вспоминаются слова В. И. Ленина о Толстом, услышанные Горьким:

«— И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было» [3].

И вспоминаются ленинские слова о том, что в Толстом отразилось «великое народное море, взволновавшееся до самых глубин, со всеми своими слабостями и всеми сильными своими сторонами...» [4].

---

[1] «Северный вестник», 1891, № 1, с. 159.
[2] А. Ф. Кони. На жизненном пути, т. 2. М., 1959, с. 260.
[3] М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 17. М., 1952, с. 39.
[4] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 71.

Известно, что отрицание насильственных способов борьбы побудило Толстого отстраниться от революции 1905—1907 годов, не принимать в ней участия. Однако своим последователям он говорил о революции: «А все-таки это роды, это подъем общественного сознания на высшую ступень».

Всю жизнь испытывая острый интерес ко всему новому, растущему, развивающемуся, движущемуся вперед и выше, Толстой сказал в декабре 1905 года: «Хотя мне это на том свете ни на что не пригодится, а все-таки я рад, что дожил до революции. Очень интересно это все!» [1]

Одним из самых поздних замыслов Толстого был замысел художественного произведения о первой революции в России. Подобно другим его замыслам той поры, он свидетельствовал не только о неиссякаемой творческой мощи писателя, но и о том, что он превосходно видел близкие сроки наступления новой эпохи в жизни народов его родины и всего мира, дав ей короткую, но исчерпывающую характеристику: «...Это времена революций».

Воспоминания о Толстом писали не только его соотечественники, но и иностранцы, многие из которых приезжали в Россию ради встречи с ним. Как пишет француженка Т. Бензон, на него «в ту пору устремлены были взоры всей империи, всей Европы». И понятно, едва ли не каждый журналист, писатель, ученый, государственный и общественный деятель, пересекавший русскую границу, искал с ним встречи.

В 900-е годы Толстой обсуждал с зарубежными гостями события русско-японской войны и других войн, вопросы борьбы за мир и всеобщее разоружение, расовую и национальную проблемы, высказывал решительное осуждение грабительской политики империалистических правительств. Засвидетельствованные русскими и зарубежными мемуаристами суждения писателя по этим и многим другим вопросам сохраняют и сегодня самый живой интерес.

Побывав в Ясной Поляне и побеседовав с Толстым, французский журналист Жорж Анри Бурдон заметил: «Всегда на устах у Толстого слово *труд*. Труд — это радость его жизни, его неизменный спутник. Он как-то произнес перед одним из своих собеседников поразительные слова, прозвучавшие и как крик гордости и как признание своего смирения: «У меня работы на триста лет!»

Выразив восхищение словами Толстого, Бурдон далее пишет: «У него хватило бы работы на целую вечность,— ведь он взял на себя дело совершенствования рода человеческого...» [2]

---

[1] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., Гослитиздат, 1959, с. 180.

[2] «Литературное наследство», т. 75. Толстой и зарубежный мир, кн. 2, с. 48.

Когда мы читаем в мемуарах Т. Бензон о том, что Толстой просил передать от него «слово горячей симпатии к Франции», или когда от ее коллег — зарубежных мемуаристов — узнаем, что с чувством такой же симпатии он обращался к народам других стран, невольно приходят на память слова Горького: «Нет, Толстой не умер. Великий писатель жив. Он — всегда с нами».

Определяя масштабы всемирного авторитета Толстого, Горький назвал его «человеком человечества». И эти высокие слова точнее других характеризуют то, что властно притягивало к Толстому его современников и пришедшие на смену им новые поколения.

К. Ломунов

ЮНОСТЬ
КАВКАЗ
КРЫМСКАЯ ВОЙНА

С. А. ТОЛСТАЯ

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ Л. Н. ТОЛСТОГО И СВЕДЕНИЯ О СЕМЕЙСТВЕ ТОЛСТЫХ И ПРЕИМУЩЕСТВЕННО гр. ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

24 октября 1876 года

Граф Л. Н. Толстой родился 1828 года, 28 августа в сельце Ясной Поляне, где мы и теперь. Ясная Поляна было именье матери Л. Н., которое она наследовала от отца. Он был четвертый сын графа Николая Ильича и графини Марьи Николаевны, рожденной княжны Волхонской.

Имя Лёв дано ему было по следующей причине: князь Николай Сергеич Волхонский был очень дружен с князем Голицыным и еще с детства помолвил свою единственную дочь за сына Голицына. Но молодой князь Лев Голицын умер в молодости, и княжна Марья Волхонская, вышедши впоследствии уже не в молодых годах за графа Толстого, назвала в память своего молодого, умершего жениха сына своего Львом [1]. Она к нему чувствовала всегда особенную нежность и называла его: «mon petit Benjamin» *.

Еще не было ему двух лет, когда умерла его мать [2], и потом всегда, на всю жизнь женское попечение о детях перешло в руки дальней родственнице, но прелестнейшей тетушке Татьяне Александровне Ергольской, которая никогда не хотела выйти замуж, навсегда осталась с Толстыми, в семействе которых была воспитана, и воспитала детей, любила их, как своих собственных, и, наконец, и умерла у нас в доме в глубокой старости 20 июня 1874 года.

Не было еще Льву Николаевичу 8 лет, как раз его отец застал его за какой-то хрестоматией, в которой маленькой Левочка с большим увлечением и с интонациями

* мой маленький Вениамин (*франц.*).

читал стихи Пушкина «На смерть Наполеона»[3]. Отца поразила, вероятно, верность интонаций и увлечение ребенка; он сказал: «Каков Левка, как читает, ну-ка прочти еще раз». И, позвав из другой комнаты крестного отца Льва Николаевича Семена Ивановича Языкова, он при нем заставил сына читать стихи Пушкина[4].

Судя по словам старых тетушек[5], которые мне рассказывали кое-что о детстве моего мужа, и также по словам моего деда Исленьева, который был очень дружен с Николаем Ильичем, маленький Левочка был очень оригинальный ребенок и чудак. Он, например, входил в залу и кланялся всем задом, откидывая голову назад и шаркая. А то раз его заперли в наказание в комнату во втором этаже, а он выпрыгнул оттуда, следствием чего было то, что он сутки проспал, а потом остался совершенно здоров[6].

Первые года детства прожил Л. Н. в кругу многочисленного своего семейства в Ясной Поляне. Кроме отца, матери и старой бабушки Пелагеи Николаевны, семейство состояло из пяти детей, тетушки Татьяны Александровны, тетушки Александры Ильинишны и воспитанницы ее Пашеньки. Жили они довольно уединенно, и самые близкие и частые посетители Ясной Поляны были мой дед Исленьев и его шестеро детей, в том числе и мать моя, которую раз, расшалившись, Лев Николаевич столкнул с террасы, и она долго хромала. Впоследствии она смеясь говорила ему, что, «видно, ты меня для того в детстве столкнул с террасы, чтоб жениться на моей дочери».

Дом, в котором жило семейство Толстых, был наскоро построен на начатом кн. Волхонским каменном фундаменте отцом Льва Николаевича и был очень велик. Он стоял посреди двух каменных флигелей, построенных тоже Волхонским, и впоследствии был продан по желанию Льва Николаевича во время его пребывания на Кавказе. Теперь он стоит, как был, в селе... помещика Горохова[7].

Многие эпизоды из детства Льва Николаевича описаны в его «Детстве». Но не все типы взяты из семейства Толстых. Например, тип «папá» в «Детстве» есть живой портрет моего деда Исленьева; гувернантка Мими тоже жила у деда. Но первый воспитатель их Федор Иваныч (в «Детстве» Карл Иваныч) действительно существовал и описан таким, каким он был. Потом воспитателем их был умный, живой француз St. Thomas, который, вероятно,

видел в меньшем из четырех братьев что-нибудь особенное, потому что он говорил про него: «Ce petit a une tête; c'est un petit Molière» *.

Когда я спрашивала других и самого Льва Николаевича, хорошо ли он учился, то всегда получала ответ, что «нет». Но это, главное, объяснялось тем, что разница лет между им и другими братьями была слишком велика, и им, как меньшим, плохо занимались.

Когда ему было восемь лет, все семейство жило в Москве, куда поехали, чтоб брать учителей старшим братьям. Глава дома была бабушка; ее все боялись и уважали. Тетушка Александра Ильинишна, несчастная в супружестве, все молилась, принимала странников, помогала бедным и ходила в церковь. Детьми и домом занималась Татьяна Александровна.

Как-то раз летом отец уехал по делам в Тулу, и, идя по улице к приятелю своему Тимяшеву, он вдруг упал и умер скоропостижно. Некоторые думают, что он умер ударом, другие предполагают, что его отравил камердинер, так как деньги у него пропали, а именные билеты принесла уже в Москве к Толстым какая-то таинственная нищая.

Когда умер Николай Ильич, тело его из Тулы привезли в Ясную Поляну, и хоронила его Александра Ильинишна и старший сын его Николай. Лев Николаевич рассказывал, какое он испытал чувство, когда стоял в трауре на панихидах отца. Ему было грустно, но он чувствовал в себе какую-то важность и значительность вследствие такого горя. Он думал, что вот он такой жалкий, сирота, и все это про него думают и знают, но он не мог остановиться на потере личности отца. Отец и мать Льва Николаевича похоронены у нашей церкви в часовне, там и брат Дмитрий.

Смерть сына совсем убила старую бабушку Пелагею Николаевну **. Она умерла тоже через девять месяцев от тоски и горя чахоткой. Опекуншей детей назначена была Александра Ильинишна. Беспомощная, но милая, честная натура, она занималась и делами и детьми.

---

* Этот малыш — голова; это — маленький Мольер (*франц.*).

** Она все плакала, всегда по вечерам велела отворить дверь в соседнюю комнату и говорила, что видит там сына, и разговаривала с ним. А иногда спрашивала с ужасом дочерей: «Неужели, неужели это правда, и его нет?» (*Прим. С. А. Толстой.*)

Меньших — Льва, Митеньку и Машеньку увезли в Ясную Поляну, где они и жили довольно долго с Татьяной Александровной. Старшие учились и жили зимами в Москве с Александрой Ильинишной и m-r St. Thomas. Но и она прожила недолго. Место ее заступила Пелагея Ильинишна, другая, меньшая сестра отца, которая жила в Казани и была замужем за Владимиром Ивановичем Юшковым.

Прежде чем оставить совсем тетушку Александру Ильинишну, надо и о ней сказать несколько слов; история ее очень трогательна.

Замужем она была за графом Остен-Сакен. Он был ревнивый и сумасшедший человек. В первый же год ее замужества она раз ехала с ним в дорогу в карете. Она была беременна на седьмом месяце. Он стал с ней говорить, что кто-то за ним гонится, стал упрекать ее, что она знает, кто гонится, что она в заговоре с кем-то против него, и, наконец, пришел в бешенство, вынул пистолет и выстрелил ей в грудь. Пуля ранила ее навылет. Вследствие этого, конечно, начались сейчас же родовые муки. Принуждены были остановиться у какого⟨-то⟩ дьячка, и Александра Ильинишна родила преждевременно дочь, которая тут же скончалась. Но она все спрашивала, где ее ребенок; все боялись ее огорчить и потому скрыли от нее его смерть. Случилось так, что в том же доме жена дьячка, у которого было большое семейство, тоже родила дочь; она охотно уступила свою девочку, которую и принесли к больной. Не знаю, почувствовала ли она обман, но знаю, до шести недель она эту девочку считала своей дочерью; и когда после ее выздоровления ей сказали, что это не ее дочь, хотя была очень огорчена, но ответила, что она считала ее шесть недель своей дочерью, так пусть всю жизнь будет считать ее дочерью. И так эта Пашенька, бледная, молчаливая и кроткая, всегда жила с Александрой Ильинишной, называла ее матерью и потом в молодости умерла от чахотки. Лев Николаевич ее помнит, она была член их семьи.

Александра Ильинишна умерла в Оптиной пустыни. В то время, как она была там, дети оставались в Ясной Поляне с Татьяной Александровной. Но когда пришло известие, что Александра Ильинишна умирает, Татьяна Александровна поехала туда же. Это время особенно памятно было потом всем детям. Они остались с учителем Федором Иванычем и с странницей Марьей Герасимов-

ной, полуюродивой, которую я знала. Она была крестной матерью маленькой Машеньки, которую родители вымолили у бога как единственную дочь, и потому и в крестные матери ей взяли богомольную, юродивую странницу. Была у них тогда собака черная моська, с которой они играли. Сделали ей трон и сажали ее на этот высокий трон, с которого она все прыгала. Но раз она прыгнула и вдруг завизжала и поползла под стул. Ее осмотрели, и оказалось, что сломана лапа. Отчаяние было ужасное, все плакали навзрыд, а впоследствии это впечатление слилось с воспоминанием об уединении с монотонным пением каких-то псалмов Марьи Герасимовны и с известием о смерти любимой тетушки Александры Ильинишны.

Итак, после смерти Александры Ильинишны все дети, и опека, и дела перешли в руки Пелагеи Ильинишны. Это была добродушная, светская, чрезвычайно поверхностная женщина. Муж ее Владимир Иваныч Юшков не любил ее и относился к ней презрительно. Она же в молодости его очень любила и считала свое сердце разбитым. Но на ней этого не было видно. Всегда живая, веселая, она любила свет и всеми в свете была любима; любила архиереев, монастыри, работу по канве и золотом, которые раздавала по церквам и монастырям, любила поесть, убрать со вкусом свои комнаты, и вопрос о том, куда поставить диван, для нее был огромной важности...

Муж ее был хотя человек умный, но без правил. Жил он бездеятельно, прекрасно вышивал по канве, подмигивал на хорошеньких горничных и играл слегка на фортепиано.

И вот в какую среду попали дети после смерти прекрасных умных родителей.

Когда умерла ее сестра, Пелагея Ильинишна приехала из Казани. Старший брат, Николай Николаевич, который уже был в то время студентом 1-го курса и не перешел на второй, обратился к тетеньке с словами: «Ne nous abandonnez pas, chère tante, il ne nous reste que vous au monde» *. Она прослезилась и задалась мыслью «se sacrifier» **. Что она под этим подразумевала, не знаю. Только она сейчас же стала собираться в Казань и для

* Не оставляйте нас, дорогая тетенька, вы теперь у нас одна на свете (*франц.*).

** принести себя в жертву (*франц.*).

этого вперед заказала барки, которые потом нагрузила всем, что только можно было вывезти из Ясной Поляны. Дворню тоже всю повезли: столяров, портных, слесарей, поваров, обойщиков и пр. В Казани заняли два дома, и все это почему-то тогда считалось нужным.

Льву Николаевичу в то время было 12 лет. Это было в 1840-м году[8], который был голодным годом. Летом, живши в Ясной Поляне, все мальчики имели своих лошадок. У Льва Николаевича была тоже своя, вороненькая лошадка. По случаю голода детским лошадям овса не давали, и они бегали в поле, в шапках приносили чей-то овес и сами кормили своих лошадей. И в голову им не приходило, что это овес какого-нибудь бедного мужика, так сильно было в то время чувство собственности. В многочисленных экипажах, каретах потянулось все семейство осенью из Тулы в Казань. В карете ехали меньшие с тетенькой Пелагеей Ильинишной. Дорогой шла целая жизнь. Останавливались иногда в поле, в лесу, собирали грибы, купались, гуляли. Большое горе было при расставании с тетенькой Татьяной Александровной, которая была в недружелюбных отношениях с Пелагеей Ильинишной и уехала к своей сестре графине Елизавете Александровне Толстой в село Покровское. Неприязнь Татьяны Александровны и Пелагеи Ильинишны происходила оттого, что муж Пелагеи Ильинишны в молодости был влюблен в Татьяну Александровну и делал ей предложение, но она ему отказала. Пелагея Ильинишна никогда не простила Татьяне Александровне любовь ее мужа к ней и за это ее ненавидела, хотя на вид у них были самые фальшиво сладкие отношения.

Пять лет прожили Толстые в Казани. Каждое лето все семейство, сопровождаемое Пелагеей Ильинишной, отправлялось в Ясную Поляну. Барки нагружались вещами и прислугой и тянулись по Волге, семейство же путешествовало в экипажах. Каждую осень все возвращались в Казань, где все четыре брата вступили в университет[9]. По собственному своему желанию вдруг Лев Николаевич решил, что он поступит на факультет восточных языков, и, не слушая никого, привел в исполнение свое решение, но не выдержал больше года и перешел на юридический факультет[10]. Учился он плохо, всегда ему было трудно всякое навязанное другими образование, и всему, чему он в жизни выучился, он выучился сам, вдруг быстро, усиленным трудом.

Студенческая жизнь Льва Николаевича мало представляет интересного. Рассказывал он мне на мои вопросы о том, писал ли он тогда что-нибудь, что раз он почему-то много думал о том, что такое симметрия, и написал сам на это философскую статью в виде рассуждения [11]. Статья эта лежала на столе, когда в комнату вошел товарищ братьев Шувалов с бутылками во всех карманах, собираясь пить. Он случайно увидел на столе эту статью и прочел ее. Его заинтересовала эта статья, и он спросил, откуда Лев Николаевич ее списал. Л. Н. робко ответил, что он ее сам сочинил. Шувалов рассмеялся и сказал, что это он врет, что не может этого быть, слишком ему показалось глубоко и умно для такого юноши. Так и не поверил и с тем и ушел.

На юридическом факультете пробыл Л. Н. менее двух лет. Братья, кончивши курс, уехали из Казани; пришло время им всем делиться. Оставшись один в университете, Лев Николаевич стал усердно готовиться к экзаменам 2-го курса, но тут он увлекся философией и решил, что учиться незачем. Философией стал он заниматься вот каким путем.

Был в Казанском университете молодой профессор Мейер: он обратил особенное внимание и заметил Льва Николаевича. Через студента Пекарского он велел передать студентам и в особенности Льву Николаевичу, чтобы кто-нибудь взял на себя труд написать сравнение наказа Екатерины [12] с «Esprit des lois» Montesquieu *. С горячностью взялся за это дело Лев Николаевич и начал изучать Montesquieu, потом философию юридическую, потом философию вообще и бросил учиться; а с свойственной ему горячностью и увлечением весь отдался философии. Приехав в Ясную Поляну, он и сам вообразил себя Диогеном. Сшил себе длинный халат из грубой материи, который не снимал никогда, вел более суровый образ жизни и изучал философов.

Та философия, которую он тогда изложил в записках и дневниках, с некоторыми изменениями, но в сущности своей осталась та же и на всю его жизнь.

Праздно и бестолково прожил он следующие годы. Молодость, свобода увлекли его в праздность, игру и рассеянную жизнь. Но, живши в деревне, не одни развлечения занимали его. Он взял к себе немца учителя музыки

---

* «Дух законов» Монтескье (*франц.*).

и тут сам своей охотой выучился музыке, которую любил всегда, и занимался ею до старости.

Зиму 1850 года провел Лев Николаевич в Москве. Приехавши, он решил жить аккуратно, ездить в свет, не играть, и первое, что сделал,— пошел к Иверской [13]. Потом занимало его щегольство квартирки, саней, cabinet de toilette* и пр. Но, живши в Москве, он уже думал о повести из цыганской жизни, которую все собирался написать [14]. Также писал он тогда о музыке, которой занимался [15]. Умная и добрая тетушка Татьяна Александровна своими письмами и советами постоянно удерживала его от увлечений игры. Но к концу зимы Л. Н. запутался в мелких делах и суетности московской жизни и вернулся в Ясную Поляну, всегда тихое убежище его от всех волнений жизни. Здесь он сосредоточивался в себе, проверял все дурное и хорошее и всегда находил новые силы на все хорошее. Старый анализ самого себя, постоянная проверка и внутренняя работа, стремление ко всему идеальному во всю жизнь были главными чертами его характера и выработали со временем твердый, высоконравственный и прелестный характер.

Борьба с неудержимо страстной и живой натурой окончилась все-таки торжеством всего идеального и прекрасного.

В первый раз, живши в Москве, ему пришло в голову описать что-нибудь. Прочитав «Voyage Sentimental» par Sterne**, он, взволнованный и увлеченный этим чтением, сидел раз у окна, задумавшись, и смотрел на все происходящее на улице. «Вот ходит будочник, кто он такой, какая его жизнь; а вот карета проехала — кто там и куда едет, и о чем думает, и кто живет в этом доме, какая внутренняя жизнь их... Как интересно бы было все это описать, какую можно бы было из этого сочинить интересную книгу».

Приехав в Ясную Поляну весной 1851-го года, Лев Николаевич застал тут своих братьев. Брат Сергей был страстно увлечен цыганами и влюблен в свою будущую жену — Машу-цыганку. Он хотел и Л. Н. завлечь в свою страсть к цыганам вообще и к какой-нибудь цыганке в особенности. Но тут же приехал в отпуск милый, умный старший брат Николай Николаевич, служивший в то вре-

---

* Умывальная комната *(франц.)*.

** «Сентиментальное путешествие» Стерна *(франц.)*.

мя на Кавказе. То всегда верное чувство самосохранения и сердечного понимания, что́ хорошо и что́ надо, и на этот раз спасло Льва Николаевича от увлечения. Он вдруг решил, что он едет с братом Николаем служить на Кавказ, и, несмотря на холодность брата Сергея, он решения своего не изменил.

В мае 1851 года, в прелестную весеннюю погоду, оба брата предприняли путешествие на Кавказ. Письма их с дороги полны веселья, восхищения природой и новизны впечатлений [16]. В Казани они пробыли неделю; здесь повидались они с Загоскиной, начальницей института [17], которая в их студенческое время была одна из лучших знакомых, умная, энергическая женщина.

Из Саратова до Астрахани плыли они по Волге в маленькой лодочке, и этот род путешествия очень веселил их.

Приехали они в Старогладовскую станицу, где стоял лагерь, в котором служил Николай Николаевич. Впечатление местности, общества офицеров было грустное. В письме своем к тетушке Татьяне Александровне яркое описание типов офицеров и добродушного, хотя очень ограниченного артиллериста, начальника Льва Николаевича — Алексеева [18]. Но вскоре Николай Николаевич получил назначение переходить в Горячеводск (Старый Юрт). И здесь вся картина переменилась. Кавказские горы, живописнейшая местность, горячие ключи с картиной моющих белье ногами татарок под горой, прелестнейшая природа — все это охватило своей поэзией впечатлительную душу Льва Николаевича, и он упивался этим наслаждением природой, проводя целые часы у окна и глядя на всю эту кавказскую, новую для него картину.

Из Старого Юрта Л. Н. волонтером ходил в набег, который и был написан им на Кавказе [19] и послан в Петербург. Природа так трогала его на Кавказе, что он часто себе говорил: пойду опишу, что вижу. Но потом ему казалось так прозаично, так невозможно взять чернила, перо, писать буквы и все это, чтобы выразить *чувство*, и он останавливался...

Он часто говорил мне, что лучшие воспоминания его жизни принадлежат Кавказу. Он много там читал, переводил Стерна [20], играл в шахматы с братом и офицерами; вел самую чистую, спокойную, нравственную жизнь. Особенно трогательны его воспоминания о его тогдашней дружбе с братом Николаем, который осторожно, умно и

дружески относился к нему и вместе с тем имел на Льва Николаевича самое благотворное и хорошее влияние. Потом охота и природа доставляли ему огромные наслаждения. Но главное, на Кавказе он начал в первый раз свою авторскую деятельность. На Кавказе, в Тифлисе, было написано «Детство», «Отрочество». Потом «Набег» и «Казаки», которые продолжал он в Иере в 1860 году, кончены и напечатаны уже в 1862-м году [21].

Мне говорил Л. Н., что брат и на талант его имел влияние тем, что он любил все настоящее, всегда вникал в жизни в самую суть всего, не терпел внешности, поверхностности и лжи. И эту любовь к правде передал он незаметно и Льву Николаевичу, и это и в произведениях его есть главная прелесть.

Теперь он иногда говорит: если во мне есть что-нибудь хорошее, то всем, всем я обязан Николеньке. Состояние его души в бытность его на Кавказе очень хорошо выражается словами его дневника; в них видно предчувствие чего-то, чем должен был со временем прославиться Лев Николаевич, не говоря уже о жажде к совершенствованию нравственному. Он еще пишет: «Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким как все. Но отчего это происходит? Не согласие, отсутствие гармонии в моих способностях или, действительно, я чем-нибудь стою выше людей обыкновенных? Я стар, пора развития прошла или проходит, а все меня мучили жажды... не славы, славы я не хочу и презираю ее, а *принимать большое участие в счастии и пользе людей.* Неужели я так и сгасну с этим безнадежным желанием?» [22]

Литературная деятельность его на Кавказе была очень обширна. Там же начал он писать «Роман русского помещика», который не кончил, но который он сам ценит, и жалеет, что не продолжал.

Осенью 1851-го года, в октябре, Лев Николаевич должен был переехать в Тифлис держать экзамен. Денег у него не было по случаю игры, от которой он, несмотря на все желание, не мог иногда воздержаться, и потому он на малые средства поселился в Немецкой слободе в домике, окруженном виноградником, с фортепиано для развлечения и с твердым намерением жить аккуратно. Здесь, в Тифлисе, он страдал морально от двух причин: от болезни и от замедления в присылке его бумаг, которые где-то затерялись в России, и это мешало производству Л. Н. в

офицеры, несмотря на то что он был в деле и давно мог бы быть произведен. Хотя в Тифлисе он испытывал огорчение от разлуки с братом и от замедления в его производстве, но он был в то время счастлив своим трудом. В первый раз он начал свое «Детство», то радуясь своему труду, то сомневаясь в нем, то говоря себе, что он занялся литературой потому только, что этого очень желала Татьяна Александровна. В январе он снова вернулся в Старогладовскую станицу, но, не застав брата, ушел в экспедицию. Он потом прожил еще несколько месяцев в Старогладовской, томясь ожиданием производства, и продолжал свою литературную деятельность. Хотя бумага, нужная для назначения Л. Н., в батарею еще не приходила, генерал Вольф устроил так, что в январе 1852 года велел написать такого рода бумагу, где предписывалось взять Л. Н. на службу, несмотря на то что бумага не получена еще, с тем что, когда получится, записать его на действительную службу со дня употребления в батарее.

С этой бумагой, надевши мундир и считаясь фейерверкером 3-го класса, довольный хоть тем, что кончается его бездействие, Л. Н. собирается в Старогладовскую. Но выехать не может по случаю безденежья. Во время этих сборов наконец получает деньги и письмо от брата Николая, которое доставило ему большую радость. Это очень трогательный эпизод. Летом 1851-го года в Старогладовской, где была батарея, шла постоянная игра в карты между офицерами. К ним приходил также играть Садо, тамошний житель, и офицеры его обыгрывали и обсчитывали, потому что Садо не умел считать. Л. Н. не стал играть против Садо и сказал ему, что его обманывают, предложив играть и считать за него. Садо за это ему был очень благодарен и предложил быть *кунаками* (друзьями). Потом Садо подарил Льву Николаевичу оружие, а Л. Н. ему лошадь, и они были самыми лучшими друзьями, несмотря на то что Садо был конокрад и разбойник. В это же лето Л. Н. проиграл Кноррингу все свои деньги и, кроме того, 500 р., на которые дал вексель сроком до января.

Живши в Тифлисе, когда подошел срок, Л. Н. страшно мучился этим долгом и не видел исхода из ужасного положения. Тогда раз вечером он стал молиться так, как никогда в жизни не молился, прося бога вывести его из безвыходного положения. Он так верил, что молитва его услышится, что встал на другой день спокойный. И вдруг

получает письмо от брата, что Садо был у него и сказал, что он вексель Льва Николаевича выиграл у Кнорринга и разорвал его. И при этом Садо так был счастлив, так наивно и весело хохотал от радости, что Николай Николаевич полюбил его за это.

На станции Моздокской по дороге из Тифлиса он написал тетушке Татьяне Александровне прелестное письмо с мечтами о будущем семейном идеальном счастии [23]. Все мечты его исполнились, но не стало двух любимых им людей: брата Николая Николаевича и тетушки Татьяны Александровны.

Когда Л. Н. приехал в Староглядовскую, он брата своего там не застал и вскоре отправился на экспедицию. Тут писание «Детства» прекратилось на время, и он весь отдался службе. На экспедицию он отправился волонтером и не мог ничего ожидать за нее — ни чина, ни награды. Но в глубине души его было только одно сильное желание, одна цель, одна мечта — получить георгия. Два раза представлялся случай, и оба раза он был разочарован в своих ожиданиях, и это доставило ему такое огорчение, которое он потом не забыл во всю жизнь.

Он рассказывал мне раз, как ему не дали георгия. Передаю рассказ со слов его. В батарею после 1-й экспедиции 1852 года было прислано несколько крестов для раздачи. Добрый начальник артиллерии уже назначил один Георгиевский крест Льву Николаевичу за то, что он действительно действовал в ряду самых храбрых; но при раздаче крестов Алексеев вдруг обратился к великодушию Льва Николаевича.

Обыкновенно кресты эти раздаются самым старым и заслуженным солдатам, которым этот знак потому очень важен, что дает право на пожизненную пенсию, какое они в настоящем чине получают жалованье. Или же георгия дают молодым юнкерам, находящимся под протекцией начальства. Чем больше георгиев получают молодые юнкера, тем более их отнимается у старых солдат.

Алексеев обратился к Льву Николаевичу со словами: «Вы заслужили крест, хотите я *вам* его дам, а то тут есть очень достойный солдат, который заслужил тоже и ждет креста как средства к существованию».

Конечно, Л. Н. с отчаянием в душе отказался от креста и от любимой мечты. Но была еще надежда.

Когда по прошествии менее года опять были присланы кресты, то Л. Н. опять был представлен и с нетерпением

ждал дня раздачи. Наконец на другой день должна была исполниться его мечта. Но с свойственным ему неудержимым увлечением он до ночи заигрался в шахматы вместо того, чтобы идти на службу, на остров, где стояли орудия. Дивизионный начальник Олифер, не найдя его на карауле, страшно рассердился, сделал ему выговор и посадил под арест.

На другой день в полку с музыкой и барабанным боем раздавали Георгиевские кресты. Он знал, что и ему следовало получить этот знак, всю цель, все счастье его заветных мечтаний, и вместо торжества сидел одинокий под арестом и предавался крайнему отчаянию (как он сам говорит). В письмах его к тетеньке я не нашла этих подробностей, а там причина неполучения георгия выставлена та, что замедлили присылкой его бумаг. Он пишет: «19-го февраля было послано представление о наградах, а 20-го получились мои бумаги» [24].

Возвратившись в Старогладовскую, Л. Н. продолжал писать «Детство». 1-го апреля 1852 года была написана глава о молитве, и он сам пишет о ней, что «вяло». Вот как строг он был к себе. 17-го апреля он написал главу «Ивины». Не принимая участия ни в пьянстве, ни в жизни офицеров, одинокий в своем внутреннем мире, он чувствовал свою силу и твердо, последовательно, раз ставши на этот путь литературного творчества, последовал ему. Охота, природа, старый казак Епишка, казачья жизнь — вот чем он жил, помимо труда. Иногда он вдруг говорил себе, что все дурно, что вяло, растянуто; то вдруг сам плакал над тем, что писал. То он говорил себе, что, например, начатый им «Роман русского помещика» есть «чудная вещь».

К весне 1852 года здоровье Л. Н. совсем расстроилось, и он отправился в отпуск, уехал пить воды и купаться в Пятигорск. Здесь жил он уединенно в маленьком домике, лечился, вел самый правильный образ жизни, почти никого не видал и много работал. Здесь кончено было «Детство» и 9-го июля 1852 года отправлено с робким письмом к Некрасову для напечатания в «Современнике» [25]. Умный, даровитый Некрасов понял талант молодого, начинающего писателя, он напечатал в «Современнике» «Детство» и написал Льву Николаевичу, что повесть его имеет настолько интереса, что может быть напечатана. Вознаграждение начинающим никогда не дают, а за дальнейшее назначают ему по 50 р. серебром за лист.

Л. Н. говорил, что он испытал огромное наслаждение при получении этого письма. В то же время Некрасов написал сестре Льва Николаевича очень лестный о нем отзыв, и появились хвалы неизвестному писателю под литерами *Л. Н.*[26].

В это время, не зная своего успеха, Л. Н. жил на Кавказе и продолжал работать. Поправившись здоровьем в Пятигорске, потом в Железноводске, он вернулся в августе в Старогладовскую на службу. Тут опять получил он бумагу осенью 28 октября 1852 ⟨года⟩, по которой не может быть произведен ранее двух лет.

Он писал родным в Москву, Тулу и Петербург, где и задержали бумаги, и наконец уж тетушка Пелагея Ильинишна через хлопоты князя Дмитрия Александровича Оболенского выручила задержанные бумаги. Но эти постоянные неудачи по службе страшно огорчали Льва Николаевича, но укрепляли в нем силу авторскую и углубляли его в эту работу. Он пишет к тетеньке уже 18 месяцев после своего поступления на службу на Кавказ, что все к лучшему, что он не унывает и ее просит не огорчаться, потому что он нравственно чувствует себя сильнее, лучше и радуется своему исправлению[27]. А главное, там, в этом уединении, проснулся его талант.

Рассказывал он мне, что раз получили они на Кавказе «Отечественные записки» и Л. Н. стал читать статью: «О «Современнике», а там самые лестные похвалы о неизвестном авторе «Детства»[28]. Он говорил мне: «Лежу я в избе на нарах, а тут брат и Оголин, читаю и упиваюсь наслаждением похвал, даже слезы восторга душат меня, и думаю: «Никто не знает, даже вот они, что это меня так хвалят».

ДОБАВЛЕНИЯ

Мать Л. Н. была очень умная, живая, некрасивая и вспыльчивая женщина. Но у нее был дар, говорят, удивительный — рассказывать сказки. Бывало, в молодости соберет вокруг себя подруг и рассказывает им сказки и истории собственного вымысла; и все так заслушаются, что забывают все другие удовольствия. Дар этот перешел и к старшему ее сыну, Николаю Николаевичу, и выразился в виде авторитетного таланта в меньшом — Льве.

Отец был веселый, остроумный человек и любил образование. Он, например, взял твердое решение, составляя

библиотеку, не поставить в шкаф ни одной книги, которую он бы не прочел, и так и сделал.

К 1850-му году. Зимою, то есть в марте, живя в Москве и не находя довольно нравственных в себе сил, чтобы достигнуть какого-то идеального, морального совершенства, Л. Н. вдруг решил, что ему нужно серьезное занятие, и стал готовиться к кандидатскому экзамену. Но скоро он охладел к этому и стал заниматься английским языком. Бросаясь от одного занятия к другому, во всем у него видна одна цель твердая и несомненная —совершенствоваться. Изредка мелькала мысль о писательстве. Так, в дневнике он пишет: «Интересно бы описать жизнь Татьяны Александровны». А то собирался писать повесть из цыганской жизни.

В. Н. НАЗАРЬЕВ

ИЗ ОЧЕРКОВ «ЖИЗНЬ И ЛЮДИ БЫЛОГО ВРЕМЕНИ»

Мне и в голову не приходила возможность поступить в университет, а между тем профессор эстетики [1], после поверхностного испытания, нисколько не задумываясь, решил, что поступить следует, невзирая на то, что мне далеко еще не исполнилось 16 лет, так как это препятствие может быть устранено, если кто-нибудь из знакомых замолвит словечко ректору университета.

И вот, недуманно-негаданно, я стал готовиться к экзамену, поместившись в мезонине профессорского домика. ⟨...⟩

Однажды, в обеденное время, на крошечный дворик профессора бойко вкатил гнедой рысак, а затем в прихожей показался молодой человек в шинели военного покроя с бобровым воротником. Профессор эстетики мигом сбросил кацавейку и, очутившись в ученом мундире, повел гостя наверх, а покончив с ним и возвратившись обратно, сообщил, что приезжал граф Лев Николаевич Толстой, желающий поступить в Казанский университет, с просьбой подготовить его из русской словесности.

Вскоре начались уроки. В известные часы граф вместе с профессором взбирался на мезонин и проходил в кабинет. Изредка я тоже присутствовал на этих уроках, сторонясь от графа, с первого же раза оттолкнувшего меня напускной холодностью, щетинистыми волосами и презрительным выражением прищуренных глаз. В первый раз в жизни встретился мне юноша, преисполненный такой странной и непонятной для меня важности и преувеличенного довольства собою. Профессор все в том же неизменном полуженском костюме, нисколько не смущаясь присутствием чопорного графа, тяжелыми шагами расха-

живал по комнате и зычным голосом, точно в аудитории, переполненной слушателями, рассказывал что-нибудь интересное из истории русской литературы. Он объяснял значение «Слова о полку Игореве» как памятника дружинного эпоса, толковал о князе Курбском, Феофане Прокоповиче или, заливаясь смехом, передавал биографические подробности о Тредьяковском; но охотнее всего и с большим одушевлением говорил он о первом русском ученом из мужиков Михаиле Васильевиче Ломоносове. При этом еще быстрее шагал из угла в угол, размахивал руками, делал какие-то странные жесты и вообще одушевлялся до такой степени, что могучая фигура Ломоносова в моем воображении долгое время заслоняла собою остальных знаменитостей отечественной литературы.

По окончании урока граф тотчас же удалялся, не проронив ни слова при прощанье.

На экзамен граф явился во фраке, в сопровождении не то родственника, не то гувернера. Как и следовало ожидать, все пошло как по-писаному, добродушный инвалид [2] не дремал и делал свое дело. Исполняя обязанность секретаря испытательного комитета, он в то же время зорко следил за своими питомцами и в критическую минуту с своей обычной улыбкой являлся на выручку и заговаривал с экзаменатором. Строгое, казалось, неумолимое лицо последнего тотчас же смягчалось, морщины сглаживались, и между коллегами начинался веселый разговор, после которого ставший в тупик питомец отпускался с любезной улыбкой.

Отуманенный неожиданной и далеко не заслуженной честью носить синий воротник, я в первое время ходил в университет как на праздник и, вооруженный бумагой и пером для записывания лекций, которых не понимал, ранее других являлся в длинном коридоре.

Изредка и только на лекциях истории, обязательных для всех факультетов двух первых курсов (исключая медиков), сталкивался я с графом, примкнувшим, невзирая на свою неуклюжесть и застенчивость, к небольшому кружку так называемых аристократов. Он едва отвечал на мои поклоны, точно хотел показать, что и здесь мы далеко не равны, так как он приехал на рысаке, а я пришел пешком.

После неудачного экзамена [3] граф перешел на юридический факультет, и благодаря такой случайности мы уже ежедневно встречались в коридоре. С тем же

недоумением и любопытством продолжал я наблюдать надменную фигуру графа, вдобавок носившую на себе отпечаток раздражения по случаю неудачного экзамена. Если не ошибаюсь, то в это время приехал в Казань герцог Лейхтенбергский и своим приездом вызвал ряд торжеств и балов.

С своей стороны, университетское начальство составило список студентов, долженствовавших танцевать на бале у губернского предводителя. В этот список попал и граф Толстой, но после отъезда герцога, когда воспоминания о бале сделались предметом оживленных толков так называемого аристократического кружка, граф держался в стороне, не принимая никакого участия, а его товарищи видимым образом относились к нему как к большому чудаку и философу. Наблюдая все это, я терялся в догадках, не зная, как определить характер графа.

После рождественских праздников, когда снова начались лекции, я как-то запоздал на лекцию желчного профессора истории [4], всегда готового провалить студента, особенно из числа так называемых аристократов и ловких кавалеров, к которым он питал заметную и нескрываемую ненависть.

Стою в пустом коридоре у дверей аудитории, с замиранием сердца прислушиваюсь к плавной речи профессора и думаю, какой же я получу нагоняй в присутствии массы студентов. В эту минуту к той же двери подошел запыхавшийся от волнения, красный, с каплями пота на лбу, взъерошенный более обыкновенного граф. Между тем из глубины коридора быстрыми неслышными шагами, с зловещим, угрожающим видом уже летел на нас субинспектор Зоммер. Нечего было медлить, я отворил роковую дверь, она мучительно заскрипела, и мы с Толстым очутились в громадной аудитории, стараясь незаметно проскользнуть на верхние парты. Профессор бросил на нас грозный взгляд и с еще более напускным пафосом продолжал рассказ о походе Иоанна Грозного на Казань. На другой день, в 8 часов утра, я уже получил приказание явиться к инспектору студентов.

Предчувствуя что-то недоброе, я пошел в канцелярию университета и, выслушав строгий выговор за то, что опоздал на лекцию, в сопровождении вахмистра, с целым рядом медалей на груди, отправился в шестую аудиторию под арест.

Дверь захлопнулась... я остался один в огромной пустой комнате, среди невозмутимой тишины, а оживленное, праздничное движение на Воскресенской улице еще более увеличивало тяжесть заключения. Изнывая от скуки и безделья, я постучался в дверь и убедил сторожа отнести записку в мою квартиру, находившуюся невдалеке от университета. Вскоре явился мой человек с подушкой и книгами.

Несколько успокоившись и устроившись на скамье, я только что принялся за чтение Лермонтова, как в коридоре раздались чьи-то шаги, дверь отворилась, и перед глазами моими предстал граф Толстой в серой шинели военного покроя [5]. Его сопровождал тот же вахмистр, но далеко более вежливый, искательный и тотчас же разрешивший графу иметь в коридоре своего слугу для посылок.

Сбросив шинель и не снимая фуражки, не обращая на меня никакого внимания, граф быстро заходил взад и вперед, заглядывал в окна, расстегивал и застегивал сюртук и вообще обнаруживал нетерпение и недовольство своим глупым положением. До глубины души возмущенный таким поведением, я лежал закрывшись книгой, стараясь показать, что не замечаю присутствия графа. Он отворил дверь и громко, точно у себя в квартире, позвал слугу.

— Скажи кучеру (вероятно, дожидавшемуся у подъезда), чтобы он проехал мимо окон, — приказал граф.

— Слушаю! — отвечал вошедший слуга, а недовольный граф расположился у одного из окон с намерением как-нибудь убить время.

Я продолжал читать, но наконец не выдержал и тоже подошел к окну. Мимо нас, по улице, то шагом, то крупной рысью, вытянув вперед руки, проносился кучер.

Мы перекинулись двумя-тремя словами относительно рысака, а час спустя уже вступили в горячий, нескончаемый спор, где главную роль играл не предмет, о котором спорили, а скорее какая-то странная, тотчас же всплывшая наружу вражда.

Десятки лет уже разделяют меня с сутками, проведенными глаз на глаз с графом Толстым, и, невольно с каждым годом все более подчиняясь влиянию его гениального таланта, мне бог знает как бы хотелось припомнить каждое слово, сказанное им во время нашего невольного заключения, но в памяти уцелело только общее впечатление, общий смысл наших разговоров. Помню, что, заметив

«Демона» Лермонтова, Толстой иронически отнесся к стихам вообще, а потом, обратившись к лежавшей возле меня истории Карамзина, напустился на историю, как на самый скучный и чуть ли не бесполезный предмет.

— История,— рубил он сплеча,— это не что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен. Смерть Игоря, змея, ужалившая Олега, что же это, как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21-го августа 1562 года, а четвертый, на Анне Алексеевне Колтовской, — в 1572 году, — а ведь от меня требуют, чтобы я задолбил все это, а не знаю, так ставят единицу. А как пишется история: все пригоняется к известной мерке, измышленной историком. Грозный царь, о котором в настоящее время читает профессор Иванов, вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного, свирепого тирана. Как и почему, об этом уже не спрашивайте... — приблизительно в таком роде рассуждал мой собеседник [6].

Меня сильно озадачила такая резкость суждений, тем более что я считал историю своим любимым предметом.

Незаметно наступил вечер, графский лакей принес свечи, в углах аудитории царил мрак, а во всем громадном здании университета какая-то подавляющая тишина.

Прижавшись в угол и завернувшись в шинель, я пожелал своему собеседнику покойной ночи, но он решительно воспротивился моему намерению, удивляясь, каким образом можно спать на голых досках.

Делать было нечего, и мы снова принялись спорить, а вся неотразимая для меня сила сомнений Толстого обрушилась на университет и университетскую науку вообще. «Храм наук» уже не сходил с его языка. Оставаясь неизменно серьезным, он в таком смешном виде рисовал портреты наших профессоров, что при всем желании оставаться равнодушным, я хохотал как помешанный.

— А между тем,— заключил Толстой,— мы с вами вправе ожидать, что выйдем из этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси в деревню, на что будем пригодны, кому нужны? — настойчиво допрашивал Толстой.

Измученный бессонницей, я только слушал и упорно молчал.

Едва забрезжилось утро, как дверь отворилась — вошел вахмистр и, раскланявшись, объявил, что мы свободны и можем расходиться по домам.

Толстой нахлобучил фуражку на глаза, завернулся в шинель с бобрами, слегка кивнул мне головой, еще раз ругнул храм и скрылся в сопровождении своего слуги и вахмистра. Я тоже поспешил выбраться и вздохнул во всю грудь, отделавшись от своего собеседника и очутившись на морозе, среди безлюдной, только-только просыпавшейся улицы. Отяжелевшая, точно после угара, голова была переполнена никогда еще не забиравшимися в нее сомнениями и вопросами, навеянными странным, решительно непонятным для меня товарищем по заключению.

Так как мы с Толстым были студентами юридического факультета — он первого, а я второго курса, то на другой же день мы, волей или неволей, снова столкнулись в коридоре. Меня так и подмывало возобновить вчерашний разговор, но стоило только взглянуть на неприступную, точно каменную фигуру графа, чтобы оставить такое намерение и как можно скорее пройти мимо.

В последний раз встретились мы на переводных экзаменах, обыкновенно происходивших в университетской актовой зале. Юристы первых двух курсов, обезумев от страха, ожидали экзамена кровожадного профессора истории.

Вызывают графа Толстого, он подходит к столу и берет билет, я пробираюсь как можно ближе и с нетерпением жду, что будет. Мне любопытно было послушать, как отличится мой бывший собеседник, которого в глубине души я уже признавал выходящим из ряда вон.

Я мог что-нибудь забыть, перепутать в своих воспоминаниях, но смутное сознание чего-то выдающегося, особенного и в то же время непонятного, что заключалось в графе Толстом, это сознание живо помнится мне, и я твердо уверен, что не ошибаюсь в этом.

Прошла минута, две, несколько минут. Я ждал с замиранием в сердце, между тем как Толстой смотрел на билет, краснел и молчал. Ему предложили переменить билет, с которым повторилась та же история. Профессор тоже молчал, вперив в студента насмешливый, ядовитый взгляд. Разыгравшаяся передо мной тяжелая сцена кончилась тем, что граф положил билет, повернулся и, не

обращая ни на кого внимания, не торопясь, направился к выходным дверям.

— Нуль, нуль, закатил нуль...— шептались вокруг меня.

Я потерял голову от волнения, а в ближайшей группе аристократов, разодетых точно на бал и ожидавших такой же участи, передавался слух, что какие-то дамы высшего круга приступили к профессору истории с просьбой пощадить графа и тот торжественно обещал не ставить ему единицы.

— А ведь ловко нашелся — поставил нуль и прав... ловко извернулся... — толковали студенты... [7]

Я прислушивался к насмешкам и остротам, сыпавшимся со всех сторон на голову Толстого, но в глубине души готов был поклясться, что он знал предмет не хуже других, мог отвечать — и только не хотел... Почему поступил он так, а не иначе, чем было вызвано его упорное молчание — чрезмерной застенчивостью или гордостью, этого я уже никак не мог понять и объяснить себе.

После экзаменов я не встречал более Толстого в Казани и уже лет 14—15 спустя неожиданно столкнулся с ним на лестнице петербургского дома Краевского, на Литейной, где в то время жили Панаев с Некрасовым. В самых дверях квартиры Ивана Ивановича Панаева я столкнулся с господином в шубе и артиллерийской фуражке. Глаза наши встретились, и я тотчас же узнал графа Толстого, тогда уже известного писателя. Я остановился как вкопанный и следил за ним, пока он не повернул в улицу. В изящном кабинете Панаева я нашел Некрасова в халате по случаю болезни, Гербеля в уланском мундире с красными отворотами, Языкова и в стороне, всегда державшегося особняком, Добролюбова. Между собеседниками шел оживленный разговор, предметом которого был только что покинувший общество граф Толстой.

— Как жаль, что опоздали... ну что бы вам приехать пораньше, — обратился ко мне всегда и для всех одинаково приветливый и радушный Панаев.— Вот бы наслушались всяких чудес... узнали бы, что Шекспир дюжинный писака и что наше удивление и восхищение Шекспиром не более как желание не отставать от других и привычка повторять чужие мнения. Да-с, это курьез... человек не хочет знать никаких традиций, ни теоретических, ни исторических, — и между собеседниками снова завязался

оживленный разговор о том же загадочном, давно уже непонятном для меня человеке [8].

Чем более проявлялась громадная даровитость Толстого, тем более интересовало меня все, что до него касалось. Я собирал малейшие подробности, а бывши в Москве, в 1872 году, с неописанным интересом выслушивал С. А. Юрьева, самого искреннего и горячего почитателя графа как человека и великого писателя. Вместе с Юрьевым мы собрались навестить Толстого в Ясной Поляне, и только болезнь Сергея Андреевича помешала исполнению нашего намерения. Между прочим, сколько мне помнится, Юрьев, с своей обычной восторженностью, говорил о невероятной легкости, с которой давалось Толстому изучение каждого интересовавшего его предмета, о его наблюдательности, крайней простоте образа жизни, о его значении как педагога [9].

Так же интересовали меня продолжительные беседы о Толстом с одним весьма симпатичным артиллерийским полковником, вместе с которым я провел лето на Балтийском море близ Риги. Бывший товарищ Толстого по Севастополю с видимым удовольствием вспоминал о графе и времени, проведенном с ним в одной батарее. Он даже узнавал себя в одном из героев севастопольских рассказов графа.

— Так скажу,— с блаженной улыбкой повествовал старик,— Толстой своими рассказами и наскоро набросанными куплетами одушевлял всех и каждого в трудные минуты боевой жизни. Он был, в полном смысле, душой батареи. Толстой с нами — и мы не видим, как летит время, и нет конца общему веселью... нет графа, укатил в Симферополь — и все носы повесили. Пропадает день, другой, третий... Наконец возвращается... ну точь-в-точь блудный сын,— мрачный, исхудалый, недовольный собой... Отведет меня в сторону, подальше, и начнет покаяние. Все расскажет, как кутил, играл, где проводил дни и ночи, и при этом, верите ли, казнится и мучится, как настоящий преступник... Даже жалко смотреть на него — так убивается... Вот это какой был человек. Одним словом, странный и, говоря правду, не совсем для меня понятный, а с другой стороны, это был редкий товарищ, честнейшая душа, и забыть его решительно невозможно [10].

В настоящую минуту, когда я двадцать раз перечитал каждую строчку, написанную рукою графа Толстого, с тем

чтобы снова перечитывать их и вечно находить в его творениях нечто новое, чего еще не заметил, пропустил или не оценил по достоинству, когда в трудные минуты жизни, в дни полного уединения и бушующей в степи метели, я хватаюсь за книгу Толстого, как за испытанное, верное средство, поднимающее угнетенное состояние духа, мне все кажется, что я уже давным-давно знаком с некоторыми мыслями и убеждениями великого писателя и когда-то слышал что-то похожее, в слабых, едва уловимых намеках, от моего товарища по заключению в шестой аудитории Казанского университета.

В. А. ПОЛТОРАЦКИЙ

ИЗ «ДНЕВНИКА»

16 июня ⟨1853⟩. Воздвиженское[1].

Почти три недели я не записывал ни единого слова, как будто предвидя, что придется сразу занести несколько длинных страниц ⟨...⟩

Однако, для соблюдения хронологического порядка во всех важных явлениях на левом фланге, не лишним будет упомянуть, что нежданно, негаданно (но, впрочем, для нас в Воздвиженском, а не для высших сфер) произошла перемена в начальстве нашем, а именно: князь Барятинский назначен, вместо генерала Коцебу, начальником штаба, а генерал-лейтенант барон Врангель из Дагестана — к нам начальником левого фланга кавказской линии. Об этих крупных новостях услышал я только 12-го июня утром, а вечером приказом по гарнизону Воздвиженской в одном пункте объявлялось о высочайших назначениях выше упомянутых генералов, а в другом — о наряде на завтрашнее число в сквозную оказию до Грозной и обратно колонны из трех рот, 5-й и 6-й егерских Куринского полка и одной роты линейного батальона при двух орудиях нашей батареи под начальством штабс-капитана Полторацкого.

Вследствие 2-го пункта приказа по гарнизону 13-го числа в 4 часа утра, получив от Ляшенко[2] обычные приказания и заведенным порядком собрав колонну за Атачинскими воротами, я около 8 часов утра тронулся по грозненской дороге. В колонне шло до трехсот повозок, а впереди всех тарантас майора А. И. Карпова, на два дня завернувшего к нам в Воздвиженскую по пути из российского отпуска за оставшимися здесь его вещами и ехавшего в тот день с оказией обратно в Грозную для

дальнейшего странствования в г. Кубу. От Большого кургана я держался с Вавилой и двумя казаками правой цепи и до Хан-Калы затравил своими борзыми пять русаков. У Ермоловского кургана по обыкновению был сделан привал, а когда через полчаса я тронул колонну, то сам с Вавилой и двумя казаками опять вернулся к правой цепи. Отошли с версту. Из-под казака вскочил русак и потянул по направлению к Грозной. Вавила с неистовым азартом бросился за ним и, во все горло атукая, старался указать его собакам, которые метались из одной стороны в другую и, высоко подпрыгивая над бурьяном, не могли всмотреться в косого. Не увлекаясь скачкой Вавилы и казаков, я подавался вперед рысью, но, поравнявшись с серединой вытянутой по дороге колонны, я вдруг увидел недалеко от авангарда влево на верхней плоскости между Хан-Кале и Грозненскою башней конную партию в 20—25 человек чеченцев, стремительно несущихся с уступа наперерез пути колонны. Тут ясно представилась уму моему другая травля, в которой, конечно, роль зайца играл кто-нибудь из наших джигитов, уехавших вперед от колонны. Стремглав бросился я к авангарду и на скаку слышал залп ружейных выстрелов, но, еще не достигнув 5-й роты, за сотню шагов, увидел уже снятое с передков орудие и поднятый над ним пальник. «Отставь, отставь, там наши!» — кричал я что есть мочи и, к счастью, успел остановить выстрел, уже направленный на горсть толпившихся всадников, между которыми, очевидно, попались и наши. Не успел 3-й взвод по приказанию моему броситься вперед и пробежать несколько шагов, как чеченцы пошли на уход степью к Аргуну, и тогда по ним вдогонку были пущены две гранаты. В ту же минуту от места схватки прискакал в колонну растерянный, бледный как смерть барон Розен, и почти вслед за ним прибежала без седла гнедая лошадь, по форменному седлу которой артиллеристы признали ее батарейною их взводного офицера. В это время из-за мелких по дороге кустов показался идущий пешком и сам артиллерийский прапорщик, Щербачев. Молодой и краснощекий 19-летний юноша, Щербачев, за несколько перед тем месяцев оставивший скамью артиллерийского училища, удивлявший всех здоровьем и необыкновенным телосложением и силой, и в эту минуту поразил нас. Он шел медленными, но твердыми шагами, не хромая, не охая, не жалуясь, и, только

когда спокойно подошел к нам, мы увидели, как он дорого поплатился чеченцам. Кровь буквально ключом била из ран его в грудь и обе ноги пулями, в живот ружейною картечью и по шее шашечным ударом. В колонне не было ни доктора, ни фельдшера, пришлось работать ротным цирюльникам, и Рыбоконь довольно быстро и ловко принялся за перевязку раненого. Между тем Розен, несколько оправившийся от первого испуга, сумел объяснить, что они впятером поехали от оказии вперед и что в минуту нападения горцев граф Лев Толстой, Павел Полторацкий [3] и татарин Садо, вероятно, ускакали в Грозную, тогда как Щербачев и он повернули лошадей навстречу идущей колонне. «Ваше благородие,— прервал артиллерийский солдат, лежавший на высоком возу сена,— там на дороге еще кто-то лежит, и сдается мне, что он шевелится!» Я крикнул 3-му взводу: «Вперед, бегом», и сам бросился по дороге, а за мною поскакал Вавила. В пятистах шагах от авангардного орудия лежал убитый знакомый нам вороной конь, а из-под него торчало изуродованное тело Павла. Громко стонал он и отчаянным голосом просил освободить его от невыносимой тяжести трупа. Соскочив с лошади и бросив поводья Вавиле, я с необычайною силой, одним удачным взмахом опрокинул труп безжизненной лошади и освободил страдальца, исходящего кровью. Все раны были нанесены ему холодным оружием, тремя ударами по голове и четырьмя по плечу. Последние были так жестоко сильны, что буквально разворотили надвое правое плечо, раскрыв всю внутренность... Я послал Вавилу с приказанием всей колонне подвинуться сюда, и здесь уже начались перевязки и приготовление носилок. Павел был в памяти и хотя с трудом, но мог мне дать последние поручения к брату Борису, сестрам и даже к отцу своему. Увидев Ахманского, он подозвал его и, приказав ему стать возле себя на колени, привлек к себе, поцеловал и попросил его благословения. Эскулапы наши, то есть цирюльники, работали усердно; добыв от кого-то чистое белье, они его рвали на бинты и затягивали раны. С Щербачевым они справились отлично, но кровотечения Павла, при громаднейшем размере его раны, остановить никак не могли и требовали для этой цели спирта. Я вспомнил, что присутствовавший здесь майор Карпов на привале у Ермоловского кургана потчевал меня только что вывезенною им из матушки России березовой настойкой, но она оказалась для питья невозможной, так как

березовые почки были настояны российским спиртом в 80°, обжигала рот и губы, как огонь. Изумрудного цвета убийственная влага эта была налита в фунтовую от одеколона склянку, я схватил ее из рук Карпова и, не долго думая, опрокинул ее всю в рану Павла. Он неистово вскрикнул и от нестерпимого ожога лишился чувств! Слишком решительная и не обдуманная мною мера в ту минуту меня испугала, но впоследствии оказалось, что она принесла несомненную пользу, с чем согласились и доктора госпиталя.

Все описанное произошло в течение нескольких минут, давших, однако, возможность нам оказать первую помощь раненым, а грозненской кавалерии выскочить по тревоге из Грозной. Бакланов[4], рассмотрев с кургана спокойное положение колонны и уже скрывающихся на горизонте чеченцев, счел излишним за ними гнаться и вернул войска в крепость, но от них отделилось несколько всадников, которые понеслись к нам в колонну, стоявшую от Грозной не более четырех верст. Прискакавшие к нам были Пистолькорс[5] и несколько кунаков его, мирных чеченцев грозненских аулов.

Общими силами, соорудив для раненых из солдатских шинелей носилки, мы уложили обоих и тронулись вперед. Пистолькорс гарцевал от одного к другому и, вполне удовлетворив собственное любопытство, в свою очередь, сообщил нам, что гр. Лев Толстой с татарином Садо, хотя и были очень ретиво преследуемы семью чеченцами, но благодаря быстроте коней своих, оставив им в трофей одну лишь седельную подушку, сами целы и невредимы достигли ворот крепости. Теперь только я смог собрать от Розена и обоих раненых подробности о всем случившемся и узнал следующее. Когда с привала у Ермоловского кургана была двинута колонна, то Лев Толстой, Павел Полторацкий, Щербачев, барон Розен и общий приятель их Садо порешили уехать вперед в Грозную. Маневр этот, увы, слишком известен на Кавказе! Кто из нас, обреченный на лихом коне двигаться шаг за шагом, в оказии с пехотною частью, не уезжал вперед? В течение 8—10 часов сряду жариться под палящими лучами солнца или до костей мокнуть под непрерывным дождем и за несколько верст отчетливо и ясно увидеть наконец цель томительного пути. И не воспользоваться возможностью за несколько минут быстрой езды положить предел испытанию? Это такой соблазн, что молодой и старый, вопреки

строгому запрещению и преследованию начальством, частенько ему поддается. И наши пять молодцев поддались этому соблазну. Отъехав от колонны на сотню шагов, они условились между собою, чтобы двое из них для освещения местности ехали бы по верхнему уступу, а остальные — нижнею дорогой. Только что поднялись Толстой и Садо на гребень, как увидали от хан-кальского леса несущуюся прямо на них толпу конных чеченцев. Не успев, по расчету времени, безнаказанно спуститься обратно, гр. Толстой сверху закричал товарищам о появлении неприятеля, а сам с Садо бросился в карьер, по гребню уступа, к крепости Грозной. Остальные внизу, не сразу поверив известию и, конечно, не имея возможности сами увидеть горцев, несколько минут провели в бездействии, а когда уже чеченцы (из которых человек семь отделилось в погоне за Толстым и Садо[6]) показались на уступе и ринулись вниз, то Розен, повернув лошадь, помчался назад к колонне и счастливо достиг ее. За ним бросился и Щербачев, но казенная лошадь его скакала плохо, и чеченцы, нагнав его, ранили и выбили из седла, после чего он пешком добрался до колонны. Хуже же всех оказалось положение Павла. Увидев чеченцев, он инстинктивно бросился вперед по направлению к Грозной, но, тотчас же сообразив, что молодая, изнеженная и чересчур раскормленная лошадь не выскачет в жаркий день до пяти верст, отделяющих его от крепости,— он круто повернул ее назад в ту самую минуту, когда толпа неприятеля уже спустилась с уступа на дорогу, и, выхватив шашку наголо, очертя голову (как выразился сам) хотел напролом прорваться в колонну. Но один из горцев верно направил винтовку и, выждав приближение Павла, почти в упор всадил пулю в лоб его вороному; он со всех ног повалился и прикрыл его собой. Чеченец с коня нагнулся к Павлу и, выхватив у него из рук в серебро оправленную шашку, стал тащить с него ножны, но при виде бежавшего на выручку 3-го взвода он полоснул лежащего по голове шашкой и поскакал сам наутек. Его примеру, один за другим, последовали еще шесть горцев, нанесшие на всем скаку жестокие удары шашками по голове и открытому плечу Павла, который в неподвижном положении, под тяжестью трупа убитой лошади, истекал кровью до самой минуты моего появления...

Теперь рождался вопрос, как уехавших вперед от колонны, следовательно виновных, но уже так жестоко

пострадавших собственной шкурой, оправдать перед начальством? Еще недавно состоялся строжайший приказ по кавказскому корпусу о «вменении в непременную обязанность колонных начальников открывать огонь по отъезжающим самовольно из оказии вперед и таковых затем предавать военному суду». Поэтому в настоящую минуту необходимо было решить, как и в каких формах донести мне о происшествии начальству, что усложнялось еще и другим обстоятельством: преемником князя Барятинского вновь назначенный начальник дивизии и левого фланга барон Врангель только что вступил в должность, и хотя о нем гремела слава как о рыцаре «без страха и упрека», но он сам еще никого из нас не знал, и мы его не видели. Чистосердечно доложить о проступке пострадавших значило бы наверняка подвергнуть их строгой ответственности по суду, а потому не лучше ли придумать такую обстановку катастрофе, которая бы могла оправдать их в глазах начальства? «Конечно, так!» — решили все присутствовавшие и тут же приступили к реляции о мнимых отличиях, оказанных при схватке с неприятелем Полторацким и Щербачевым. После горячих прений, в которых голос Пистолькорса звучал громче других, военный совет наш постановил, чтобы я, как колонный начальник, явившись к барону Врангелю, доложил бы его превосходительству, что ехавшие при колонне из Воздвиженского в Грозную мирные горцы, человек, положим, 10 или 12, от Ермоловского кургана, уже в виду крепости, отделились вперед и были внезапно атакованы партией горцев в 30 человек. Тогда Полторацкий и Щербачев, находящиеся в ту минуту в голове колонны, захватив взвод стрелков, устремились на выручку мирных чеченцев, но лошади их занесли, и они попали в свалку прежде, чем подоспели егери, и поплатились своею кровью. Не совсем правдоподобную басню эту сформулировали окончательно, тут же передали не только двум виновникам происшествия, которые как будто бы с благодарностью за участие их положению внимательно ее выслушали, но и сообщили к сведению и нижним чинам 5-й егерской роты, в этот день идущей в авангарде.

До Грозной оставалось версты две, но мы из-за раненых подвигались до того медленно, что назначили им в прикрытие одну роту. Я приказал колонне следовать полным шагом, а сам рысью пустился в крепость [7].

Ю. И. ОДАХОВСКИЙ

⟨НА СЕВАСТОПОЛЬСКИХ БАСТИОНАХ⟩

⟨В записи А. В. Жиркевича⟩

В 1855 году, после Инкерманского дела, наша батарея (3-я легкая 11-й бригады), участвовавшая в этом деле, была помещена в Бельбеке (в 15—20 верстах от Севастополя) и стояла в резерве, когда прибыл в нее граф Л. Н. Толстой, в чине поручика [1], с которым я тут лично познакомился впервые (раньше же я, как и другие офицеры, конечно, слыхал о Толстом как писателе и читал его произведения). Командиром 3-й батареи был тогда капитан Филимонов (впоследствии начальник артиллерии одесского военного округа), а в батарее, кроме меня (я был старшим поручиком), в числе офицеров, которых знал граф Толстой, были: подпоручик Проценко (которого Толстой, в статье «Севастополь в августе», изобразил в лице офицера, находившего, что «пушки в Севастополе не на месте») [2], прапорщик Балакшей, поручик Борисенко, старший офицер I дивизиона батареи штабс-капитан Броневский, подпоручик Демьянович. Затем, в госпитале, уже раненый [3], граф Толстой познакомился с поручиком нашей батареи Кречинским, тяжело раненным в Инкерманском деле и которого поэтому он и не застал в Бельбеке.

Стоянка в Бельбеке была очень скучная. Батарея в Инкерманском сражении понесла большой урон и стояла без дела. Каждый офицер имел свой барак, наскоро сколоченный из досок солдатами. Обедали все вместе, по обычаю, у командира батареи капитана Филимонова. Обилие свободного времени наталкивало на более близкое знакомство, сближало, и прибывший граф Толстой скоро сделался душой нашего небольшого кружка [4].

Наружность Толстого была некрасивой; особенно его портили огромные, оттопыренные в стороны уши. Но говорил он хорошо, быстро, остроумно и увлекал всех слушателей беседами и спорами.

Толстой сражался часто с нами в карты, но постоянно проигрывал. Впрочем, игра была у него несерьезная, «от нечего делать», так как, кроме офицеров батареи, в ней никто не участвовал. Толстой по ночам играл в карты, днем же сидел в своем бараке один и писал: я заходил к нему в барак и часто заставал его за литературной работой, но о работе этой с ним не заговаривал. После обеда у Филимонова Толстой обыкновенно затевал какие-либо игры, придумывал развлечения и шутки. Например, мы, по его почину, играли в игру «палта» (в роде «бабок»). Затем он же придумал особую игру: по очереди мы должны были становиться на одной ноге на один из колышков палатки, к которому прикреплялась палатка, и кто дольше мог простоять на колышке (назначалось известное число минут, по счету «раз, два, три»), тот получал выигрыш — пряники, апельсины и т. п. Становились «на пэ», «на транспорт», «на угол» и т. п. Толстой так умел увлечь всех в свои проказы [5], что даже неуклюжий, огромного роста, командир батареи капитан Филимонов (занятый главным образом набиванием своих карманов на счет лошадиного овса и сена) стоял на таком колышке наравне со всеми нами, а потом удивлялся, как это с ним, командиром батареи, могло случиться.

Графа Толстого все очень полюбили за его характер. Он не был горд, а доступен, жил как хороший товарищ с офицерами, но с начальством вечно находился в оппозиции (хотя на Бельбеке у него больших столкновений не выходило), вечно нуждался в деньгах, спуская их в карты. Он говорил мне, что растратил все свое состояние во время службы на Кавказе [6] и получает субсидию от своей тетки графини Толстой.

По временам на Толстого находили минуты грусти, хандры: тогда он избегал нашего общества. Это бывало в то время, когда он начинал у себя в бараке усиленно заниматься литературным писанием или получал деньги.

На Бельбеке мы простояли сравнительно недолго — с 24 октября по 27 марта, встретили там Новый год и приняли присягу. Затем нас двинули в Севастополь, осада которого была в полном ходу. Двенадцать орудий нашей

батареи были распределены так: 4 орудия были поставлены на Язоновский редут; остальные 8 находились в резерве, на Графской, на случай вылазок. Я и граф Толстой очутились в резерве, то есть в бездействии [7]. Офицеры батареи, в том числе и Толстой, разместились по отдельным квартирам, на Екатерининской улице, у главной Екатерининской пристани.

Скоро капитана Филимонова назначили на Северную сторону — командиром всех батарей Северной стороны, а я был назначен старшим над оставшимися орудиями, офицерами и людьми (нижними чинами). Продовольствие офицеров и людей батареи, таким образом, перешло ко мне; Филимонов же оставил за собою продовольствие батарейных лошадей 3-й батареи сеном и овсом (с целью получать по-прежнему доходы). На свои средства стал я кормить офицеров батареи (в этом отношении я не мог, конечно, сравняться с капитаном Филимоновым, у которого, как сказано выше, были свои «побочные доходы»). Ежедневно на обед в мою квартиру собирались граф Толстой и другие, свободные от службы (вылазок, дежурства) офицеры, хотя редкий день мы могли сойтись все вместе. Эти обеды соединяли наше общество. Обеды отлично готовил мой денщик. После обеда начинались оживленные беседы, споры, шутки. Приходили ко мне и посторонние офицеры, как, например, граф Тотлебен — тогда еще простой инженерный подполковник. Граф Толстой и другие нападали на Тотлебена, критикуя построенные им и инженерами укрепления (например, Язоновский редут, находя, что он слишком выдвинут), а Тотлебен нападал на артиллеристов и, в свою очередь, критиковал их действия. Все подобные споры происходили в мирном, товарищеском тоне. Во время обедов рассказывались севастопольские новости, и граф Толстой собирал материал для своих будущих произведений. В квартире моей стоял рояль. Обыкновенно, после того как выпьем водочки и прилично закусим, граф Толстой садился за этот рояль — играл нам и пел шутовские песни, им же сочиненные, под аккомпанемент рояля, рассказывал анекдоты, читал нам сочиненные им в Севастополе на злобы дня и на начальство стихотворения [8], придумывал новые игры и забавы, рассказывал о своих похождениях. Вообще по-прежнему, как и в Бельбеке, он был душой нашего общества.

Стоянка с батареей в резерве, видимо, томила графа Толстого: он часто, без разрешения начальства, отправлялся на вылазки с чужими отрядами, просто из любопытства, как любитель сильных ощущений, быть может, и для изучения быта солдат и войны, а потом рассказывал нам подробности дела, в котором участвовал.

Иногда Толстой куда-то пропадал — и только потом мы узнавали, что он или находился на вылазках как доброволец, или проигрывался в карты [9]. И он нам каялся в своих грехах.

Часто Толстой давал товарищам лист бумаги, на котором были набросаны окончательные рифмы: мы должны были подбирать к ним остальные, начальные слова. Кончалось тем, что Толстой сам подбирал их, иногда в очень нецензурном смысле. В таких шутках, в обществе Толстого, мы коротали послеобеденное время.

Стихи, которые я вам, Александр Владимирович, передал, все записаны со слов Толстого мною и офицерами батареи — в послеобеденные часы, в моей квартире. Стихотворение «Как четвертого числа нас нелегкая несла горы занимать» граф Толстой, сочинив в Севастополе, принес нам и затем раз пять при мне читал его всем присутствующим. Иногда, записав с его слов стихотворения, мы показывали их Толстому, и он их исправлял, а затем они распространялись в военном обществе. Начальство знало о том, что шутовские солдатские песни (в которых были выставлены все генералы) пишет Толстой, но не трогало его. У меня было много стихов Толстого, даже им собственноручно написанных, но с либеральным содержанием: восстание 1863 года заставило меня из предосторожности сжечь их, о чем теперь жалею [10].

В то время граф Толстой писал «Севастополь в августе» и «Севастополь в мае». Куда девался «Севастополь в мае» — не знаю; но про этот рассказ были разговоры в Севастополе между офицерами [11].

Из посторонних, не батарейных офицеров бывали часто у графа Толстого и у меня (на обедах) штабной — князь Мещерский и штабной же, из штаба графа Остен-Сакена, Бакунин [12]. Сестра Бакунина была сестрою милосердия, и я видел ее впоследствии раненной во время взрыва. Бакунин тоже — со слов графа Толстого — записывал его стихотворения.

Вскоре поневоле должны были прекратиться у меня общие обеды: во время одиннадцатидневной бомбардиров-

ки Севастополя шальная бомба влетела в мою квартиру [13] и разнесла рояль, на котором играл Толстой, а также кухню. К счастью, тогда никого в квартире не было.

В Севастополе начались у графа Толстого вечные столкновения с начальством. Это был человек, для которого много значило застегнуться на все пуговицы, застегнуть воротник мундира, человек, не признававший дисциплины и начальства. Всякое замечание старшего в чине вызывало со стороны Толстого немедленную дерзость или едкую, обидную шутку.

Так как граф Толстой прибыл с Кавказа, то начальник штаба всей артиллерии Севастополя генерал Крыжановский (впоследствии генерал-губернатор) назначил его командиром горной батареи [14]. Назначение это было грубой ошибкою, так как Лев Николаевич не только имел мало понятия о службе, но никуда не годился как командир отдельной части: он нигде долго не служил, постоянно кочевал из части в часть и более был занят собой и своею литературой, чем службою. Это назначение разлучило меня с Толстым.

Тут, во время командования горною батареей, у Толстого скоро и произошло первое серьезное столкновение с начальством. Дело в том, что, по обычаю того времени, батарея была доходной статьею, и командиры батарей все остатки от фуража клали себе в карман. Толстой же, сделавшись командиром батареи, взял да и записал на приход весь остаток фуража по батарее. Прочие батарейные командиры, которых это било по карману и подводило в глазах начальства, подняли бунт: ранее никаких остатков никогда не бывало и их не должно было оставаться... Принялись за Толстого. Генерал Крыжановский вызвал его и сделал ему замечание. «Что же это вы, граф, выдумали? — сказал он Толстому.— Правительство устроило так для вашей же пользы. Вы ведь живете на жалованье. В случае недостачи по батарее чем же вы пополните? Вот для чего у каждого командира должны быть остатки... Вы всех подвели».— «Не нахожу нужным оставлять эти остатки у себя! — резко отвечал Толстой.— Это не мои деньги, а казенные!» После бурного объяснения Крыжановский отнял у графа Толстого горную батарею [15].

Сдав батарею, Толстой должен был явиться к начальнику всей артиллерии Севастополя, генералу Шейдеману.

(Это про него-то в своих стихах писал Толстой, подлаживаясь под солдатский язык: «А как Шейсман генерал в море пушки затоплял... вовсе неглубоко, вовсе неглубоко» *.) Лев Николаевич не торопился являться, а когда явился (это было уже после отступления с Южной стороны на Северную), то генерал Шейдеман напал на него со словами: «Что вы так опоздали? Вы должны были явиться раньше!» Толстой же, не смутившись, отвечал: «Я, ваше превосходительство, переправлялся через реку... Думал, затоплять ли орудия?» (намек на действия генерала Шейдемана) [16].

Подобных столкновений с начальством было в Севастополе у графа Толстого много: он сам про них рассказывал, или о них передавали офицеры 〈...〉.

Насколько любили Льва Николаевича сослуживцы его, видно уже из того, что однажды у меня за обедом, на Екатерининской улице Севастополя, я при Толстом обратился к товарищам со словами: «Господа! дадим слово не играть с Толстым! Он вечно проигрывает. Жаль товарища!» Толстой же на это преспокойно ответил: «Я и в другом месте проиграюсь». И действительно, как только мы перестали с ним играть, он стал уходить в город и играть с пехотными и кавалеристами, а после нам же рассказывал, как те его обыгрывали.

Толстой был бременем для батарейных командиров и поэтому вечно был свободен от службы: его никуда нельзя было командировать. В траншеи его не назначали; в минном деле он не участвовал. Кажется, за Севастополь у него не было ни одного боевого ордена [17], хотя во многих делах он участвовал как доброволец и был храбр. В «аристократию» Толстой не лез, любил поговорить по душе, умно; недалеких товарищей, вроде Проценко, сторонился. С солдатами Толстой жил мало, и солдаты его мало знали. Но, бывало, у него хватит духа сказать солдату: «Что ты идешь расстегнутый?!» (Сам был либералом по этой части.) В обращении Лев Николаевич был ровен со всеми, хотя дружбы ни с кем не заводил; готов был

---

* Действительно, Шейдеману было поручено затопить 90 орудий в море, чтобы они не попались неприятелю. Он затопил их неглубоко, так что все они попались в руки врагам. И я затопил 4 орудия своей батареи. Это было во время отступления с Южной стороны на Северную. *(Прим. Ю. И. Одаховского.)*

поделиться последним с товарищами; любил выпить, но пьян никогда не был. Часто беседовал я с ним на разные темы: это был истинно русский человек; он любил свою веру и свой родной язык, но во всяком человеке прежде всего видел человека. Толстой поражал нас знанием языков. Он знал и польский язык, о чем я заключаю из бесед с ним [18].

В общем я был знаком с графом Толстым около семи месяцев — время, когда в севастопольской обстановке можно было хорошо узнать товарища. ⟨...⟩

П. Н. ГЛЕБОВ

ИЗ «ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ»

13-го сентября [*1855*]. *Бахчисарай*

Как много, подумаешь, при главной квартире дармоедов — настоящие башибузуки. Теперь большая часть их толкается с утра до вечера по Бахчисараю; некоторые же отправились кавалькадой на горный берег. Майор Столыпин такой же башибузук; [1] он служит в каком-то кавалерийском полку, а числится при главной квартире, не состоя ни при ком. На этом основании он и баклушничает где ему хочется; теперь, вот уже две недели, как живет в Бахчисарае ни при чем и ни при ком, а между тем получает жалованье и, вероятно, и награды. Такой же башибузук и граф Толстой, поручик артиллерийский; он командует двумя горными орудиями [2], но сам таскается везде, где ему заблагорассудится; 4-го августа примкнул он ко мне, но я не мог употребить его пистолетиков в дело [3], так как занимал позицию батарейными орудиями; 27-го августа опять пристал он ко мне, но уже без своих горных орудий; поэтому я и мог, за недостатком офицеров, поручить ему в командование пять батарейных орудий [4]. По крайней мере, из этого видно, что Толстой порывается понюхать пороха, но только налетом, партизаном, устраняя от себя трудности и лишения, сопряженные с войною. Он разъезжает по разным местам туристом; но как только заслышит где выстрел, тотчас же является на поле брани; кончилось сражение,— он снова уезжает по своему произволу, куда глаза глядят. Не всякому удастся воевать таким приятным образом. Говорят про него также, будто он, от нечего делать, и песенки пописывает и будто бы на 4-е августа песенка его сочинения: [5]

Как четвертого числа
Нас нелегкая несла, —
Горы занимать,
Горы занимать! и т. д.

СРЕДИ ЛИТЕРАТОРОВ
ЗА ГРАНИЦЕЙ
ЯСНАЯ ПОЛЯНА

А. В. ДРУЖИНИН

ИЗ «ДНЕВНИКА»

1855

23 ноября. Среда.

Вчера обедал у Некрасова с новыми, весьма интересными лицами: туристом Ковалевским и Л. Н. Толстым. Оба из Севастополя [1]. I like both *.

24 ноября. Четверг.

...Вчера встал поздно. Работал мало. Был поутру Тургенев ⟨...⟩ Обедал дома. Спал, чему мешала топившаяся печь. Потом у Саши [2] до 8½ часов. Потом к Тургеневу. Совещание о юбилее Щепкина [3]. Публика огромна. Новые лица — поэт Тютчев, Бенедиктов, Бахметев. Остальные более или менее известны. Корш и «Русский вестник». Выгоды фуражек. Ермил Костров [4] в приапизме. Гончаров и Никитенко. О вечерах у министра Уварова.

Воскресенье. 27 ноября.

...Вчерашний день был чернокнижен [5], разнообразен и, надо прибавить,— счастлив ⟨...⟩ . Обедали у меня Панаев, Языков, Григорий [6], Тургенев и Каменский ⟨...⟩. К 9 часам съехались приглашенные на дачу Галлер: Толстой (Лев), Краевский, Тургенев и Дудышкин. После

* Мне нравятся оба (*англ.*).

долгих хлопот с экипажами — выехали. Болтали всю дорогу. Дача недалеко от заставы. Бал весьма хорош. Нас приняли как родных. Лиза, Соня, Авдотья Михайловна, Саша Жукова [7] (Марья Петровна приехала под конец). ⟨...⟩ Краевский и Толстой пленены Александрой Николаевной [8]. Едва мог я их извлечь из бала. Все были довольны.

Понедельник. 28 ноября.

Вчера спал долго. Не работал ничего. Никто не был поутру. В 4 часа выехал из дома, причесывался, покупал перчатки, был у Некрасова и все-таки явился рано ⟨...⟩. Ермил явился первый. Пришли потом сам хозяин, Тургенев и Толстой, Дудышкин и еще кн. Долгорукий, известный тем, что был медиком в Севастополе [9]. Обедали хорошо и пили много. Было весело. Рассказы Долгорукова занимательны, хотя печальны. Севастопольские bon-mots * просто прелесть.

После обеда было пение и музыка. Долгорукий хорошо пел французские и цыганские песни.

Четверг. 1 декабря.

Во вторник было несколько гостей поутру и помеха в работе ⟨...⟩. Обедал у Некрасова с Каменским, Тургеневым, Толстым и Языковым. Толстой занемог и остается в Петербурге ⟨...⟩. После обеда мы с Языковым дремали, остальной народ играл в карты ⟨...⟩.

Вчера поутру работал, и, кажется, хорошо ⟨..⟩. К Тургеневу, и обедал у него с Надей, Толстым и Долгоруким, после явились Фредро, довольно милый юродивый, и Иславин [10], менее мне полюбившийся. Пели, врали, слушали рассказы о Севастополе и засиделись до полночи.

Воскресенье. 4 декабря.

В пятницу был обед в Шахматном клубе [11] — первый опыт литературных обедов и вечеров ⟨...⟩. Съехалось много наших — Панаев, Гончаров, Полонский, Тургенев, Толстой, Долгорукий и Языков, одним из первых, чего и надо было ожидать. Присутствие новых гостей в клубе, по-видимому, было приятно его членам и старшинам. Я сидел

---

* остроты (*франц.*).

между Дудышкиным и Андреасом [12], против меня Толстой, Иславин [13], Одоевский и Заблоцкий. Краснокутский привез известие о взятии Карса ⟨...⟩. После обеда читали описание юбилея Щепкину, привезенное Краевским [14] ⟨...⟩.

В субботу же день прошел тише и спокойнее ⟨...⟩. Попал к Тургеневу. Обедал еще бородатый Максель, а после обеда Толстой читал очень хорошие главы из своей «Юности» ⟨...⟩. Вечером я свез Толстого к А. М. Тургеневу, и до половины первого мы предавались тихой беседе.

Понедельник. 5 декабря.

...День провел уединенно ⟨...⟩ побыл у Тургенева ⟨...⟩. Толстой представил мне мальчика — поэта Апухтина, из училища правоведения.

Вторник. 6 декабря.

Вечер кончил у Тургенева с Толстым, Иславиным, Панаевым и кн. Оболенским, новым лицом, играющим довольно заметную роль по административно-литературной части [15].

Среда. 7 декабря.

Обедали у Некрасова. Гелеодор, сильно свирепствовавший в пользу Клейнмихеля [16] и потому прозванный advocat des causes perdues *, Толстой, Бекетов, Иван Иваныч с супругой. Перед обедом был Гончаров — он поступает в цензора. Толстой вел себя милейшим троглодитом [17], башибузуком и редифом. Он не знал, например, что значит цензурный комитет и какого он министерства, потом объявил, что не считает себя литератором [18], и т. д. Мы проехали к больному Тургеневу, и там сей лаз [19] объявил, что удивляться Шекспиру и Гомеру может лишь человек, пропитанный фразою.

Пятница. 9 декабря.

...Вчера утром ездил, получал деньги из конторы «СПб. ведомостей», был у Палацци и у портного, заез-

---

* адвокат безнадежных процессов (*лат.*).

жал к Тургеневу. Вечером я, Панаев и Толстой поехали на дачу Галлера. ⟨...⟩

Меня начинает сокрушать поведение Саши Жуковой[20–21], но сокрушать, пленяя. Это особый тип русской гризетки, о котором стоит подумать. Толстой тоже пленен ею до крайности.

Суббота. 10 декабря.

Пятница была проведена таким образом: утром набрасывал фельетон и исправлял статью о Гончарове,[22], которой я доволен. Обедал у брата ⟨...⟩. Конец вечера, то есть до $1^1/_2$, провел у Тургенева, где по случаю болезни хозяина происходят отличные рауты. Были Надя, Краснокутский, Фредро, Маркевич, Жемчужников, а потом Иславин, Толстой, и Панаев ⟨...⟩ был спор о Саше и Наде[23], однако и изящному посвятили несколько времени, читая сцены из комедии Островского «Не так живи, как хочется». Груша в комедии всех пленила.

Понедельник. 12 декабря.

Воскресенье — день истинно башибузукский, дикий и глупый. Из дома выехал я в 7 часов к Иславину[24]. Ждем Толстого до 9 — вотще. Заезжаем к нему, нам говорят, что он, Тургенев, Соллогуб и другие лица в Hotel Napoléon. Что бы это значило? Едем туда, и дело объясняется. Башибузук закутил и дает вечер у цыган на последние свои деньги. С ним Тургенев, в виде скелета на египетском пире, Долгорукий[25] и Горбунов. Пение, танцы, вино и прочее. ⟨...⟩

Среда. 14 декабря.

...Явился вчера приехавший Васенька Боткин, а за ним Гончаров. Беседовали, сообщали новости, любезничали ⟨...⟩. Пришли Языков, Панаев и Тургенев с обеда у Ковалевского, Тургенев в великом озлоблении на башибузука за его мотовство и нравственное безобразие[26].

Четверг. 15 декабря.

Обед у Некрасова. Были Тургенев, Толстой, Дудышкин, Иславин и Васенька[27]. Говорено было о русских критиках, о каком-то Реймерсе[28], ухитрившемся растолстеть, сидя на Четвертом бастионе Севастополя. От 7 до 9 у Казанского моста, где я ждал увидеть мою черкесенку, но увы, ее не было. Иславин и Толстой показывали, как башибузуки беспутствуют в Адрианополе ⟨...⟩. Затем, что-то съев в кондитерской Пассажа, прошли к Ивану Сергеевичу. Там были Айвазовский, Кемецкий, Маркевич, Фредро, Огарев, Долгорукий, Горбунов и Эдельсон, рыжий господин не очень привлекательного вида. Огарев читал свой «Зимний путь»[29–30], поэму, всех восхитившую, кроме меня ⟨...⟩.

Вторник. 20 декабря.

Ввечеру Толстой читал начало «Севастополя в августе». Этот милейший товарищ, кажется, остается в Петербурге[31], чему мы все весьма рады.

Среда. 28 декабря.

В понедельник виделся с Сашей[32] ⟨...⟩. Потом глядел пожар в доме Энгельгардта и обедал у Тургенева с Ковалевским, Анненковым, Толстым и пр. Анненков был забавен, а Толстой и Тургенев спорили чуть не до слез.

Во вторник на вечере у Некрасова видел братьев Жемчужниковых[33] и слышал еще частичку «Севастополя в августе». Наш милейший башибузук Толстой есть талант первоклассный.

31 декабря. Суббота.

Вечер же среды провел странным образом. Обедал у брата и отсыпался после маскарада, потом же задал себе увеселение дурного тона, то есть поехал в Пассаж слушать цыган. ⟨...⟩ После поехал я к Некрасову, где нашел Боткина, Толстого и Тургенева. Было очень весело — нечто похожее на наши вечерние беседы в Спасском[34]. Читали стихи Тютчева[35], рассказывали любовные истории Бодиско в Риме[36]. Живописец Галле[37].

3 января. Вторник.

Длинный ряд обедов и ужинов, начиная с первого числа. Сперва артистический пир у Васеньки[38], с утонченными блюдами. Обедало 14 человек. Между прочими Маслов, Ребиндер и Панаев, последнее время невидимый. После обеда читали стихи Огарева и Пушкина. Тургенев спорил с Толстым по обыкновению.

Среда. [11 января].

Мне становятся понятны вечные споры Толстого с Тургеневым. Сам Тургенев признается, что в нем живет фраза. И кажется мне,— он не знает сам, до какой степени порабощен он гнилою, состаревшеюся фразою!

Воскресенье. 29 января.

...Обедали у Некрасова с вернувшимся башибузуком Толстым[39], Тургеневым, Гончаровым и Григоровичем. После обеда читали предполагаемое собрание очищенных творений Фета[40]. Впечатление осталось отличное... Il ya là de la grande poésie*.

Во вторник, после обеда у Некрасова, читал в ареопаге все, что было готово из «Короля Лира». 〈...〉 Вот мои слушатели: Толстой, Майков, Некрасов, Анненков, Гончаров, Фет, Панаев, Григорович. Самым пламенным оказался Павел Васильевич. Теперь дело о «Лире» есть дело решенное. Вечером я и Тургенев сидели у Толстого, вразумляя его насчет Шекспира[41].

Вторник. 14 февраля.

Генеральный обед у Некрасова. Пили здоровье Островского. Потом Толстой и Григорович передали мне какой-то странный план о составлении журнальной компании, исключительного сотрудничества в «Современнике», с контрактом, дивидендами, and what not**. В субботу обо всем этом будет говорено серьезнее, но я не вполне одобряю весь замысел[42]...

Среда. 15 февраля.

Утром по плану Толстого сошлись у Левицкого я, Тургенев, Григорович, Толстой, Островский, Гончаров, а

* Тут есть от высокой поэзии (*франц.*).
** и так далее (*англ.*).

перед нами Ковалевский. Сняли фотографиями наши лица. Утром в павильоне фотографическом, под кровлей имело нечто интересное. Пересматривали портреты свои и чужие, смеялись, беседовали и убивали время. Общая группа долго не давалась, наконец удалась но желанию [43].

Понедельник. 27 февраля.

В субботу предпрошлую справляли новоселье у Толстого. Тут был один любезный человек, кавказский герой Кутлер [44].

Среда. 29 февраля.

Вчера не работал ничего. ⟨...⟩ Обедали у Василия Петровича [45]. Были Толстой, Чернышевский, Бодиско, Анненков, Тургенев и Карпов.

⟨18⟩, 20, мая, 21 и 22, наудачу.

Продолжение дачной жизни. Появление Толстого на нашем горизонте. Гуляния около прудов. Великолепие вечера у маленького пруда. Строится купальня. Рассказы Толстого о Петербурге. Его планы [46]. Григорьев ночует у нас. *Культ народной сущности.* Религиозные стихи. Он читает нам «Сон в летнюю ночь» [47].

24 мая ⟨...⟩ Любуемся картинами природы. Рассказы Толстого о Троицкой лавре: *батюшка, старец* и т. д. [48]. Толстой, начинающий влюбляться [49]. Прощание.

Пятница. 9 ноября.

⟨...⟩ Приехал Толстой, к великой моей радости, и мы с ним были два дня почти неразлучно [50].

Вот очерк хлопотливого, но разнообразного вчерашнего дня. Встал около 10, немного поработал над разбором Некрасова. Явились Толстой, потом Полонский, потом Гончаров ⟨...⟩. После обеда явились Панаев и милейший генерал Ковалевский. Потом я, Толстой и Ковалевский [51] были у Краевского,— там я много говорил с Галаховым и Жихаревым.

Пятница. 23 ноября.

Во вторник происходил у меня небольшой фестень *, на который с небывалой исправностью съехалась почти вся наша петербургская литература [52].

---

* Пир, пиршество (от *франц.* festin).

Вторник. 18 декабря.

Наш литературный cénacle *, вопреки всем ожиданиям, не потерпел нисколько от отъезда некоторых товарищей и отделения «Библиотеки ⟨для чтения⟩» от «Современника». Боткин, Анненков, я и Толстой составляем зерно союза, к которому примыкают Панаев, Майковы, Писемский, Гончаров и т. д. Разные новые лица к нам присовокупляются и придают разнообразие беседам [53]. ⟨...⟩

Вчера обедали у меня Корсакова с мужем, а вечером я читал «Лира» у Ольги Александровны [54]. Потом я, Толстой, Анненков и Полонский ужинали у Вольфа ⟨...⟩

Среда. 19 декабря.

Вчера был на двух вечерах — у Толстого, с Боткиным, Анненковым, Ал. Толстым, Столыпиным, Панаевым и Жемчужниковым [55], и у брата ⟨...⟩

1857

3 января. Четверг.

Вечером на моем рауте было уже слишком много народа. Как я ни стараюсь, чтобы мои вечера были неизобильны числом гостей, всегда набираются лишние люди. Так и тут неизвестно отколе явился Щербина и Безобразов, оказывающийся добродетельным, но крайне незанимательным смертным ⟨...⟩

Написаны основания Литературного фонда и пито за его благоденствие [56].

23 января. Среда.

Увы! Вот как ведется мой бедный дневник в то самое время, когда событий так много, когда новые лица входят на сцену десятками и все вокруг меня кипит и волнуется! Одно дело идет вперед, другое готовится, третье обрывается, четвертое зарождается в голове, а я ни о чем не упоминаю. ⟨...⟩

Л. Толстой уехал, к большому нашему сожалению, и когда я его увижу, никто сказать не может [57].

---

* сообщество (*франц.*).

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

...Вернувшись из Марьинского [1] в Петербург, я встретился с графом Л. Н. Толстым; знакомство мое с ним началось еще в Москве у Сушковых, когда он носил военную форму [2]. Он жил в Петербурге на Офицерской улице, в нижнем этаже небольшой квартиры... Наем постоянного жительства в Петербурге необъясним был для меня; с первых же дней Петербург не только сделался ему не симпатичным, но все петербургское заметно действовало на него раздражительно.

Узнав от него в самый день свидания, что он сегодня зван обедать в редакцию «Современника» и, несмотря на то, что уже печатал в этом журнале, никого там близко не знает, я согласился с ним ехать. Дорогой я счел необходимым предупредить его, что там не следует касаться некоторых вопросов и преимущественно удерживаться от нападок на Ж. Занд, которую он сильно не любил, между тем как перед нею фанатически преклонялись в то время многие из членов редакции. Обед прошел благополучно; Толстой был довольно молчалив, но к концу он не выдержал. Услышав похвалу новому роману Ж. Занд, он резко объявил себя ее ненавистником, прибавив, что героинь ее романов, если б они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам [3]. У него уже тогда выработался тот своеобразный взгляд на женщин и женский вопрос, который потом выразился с такою яркостью в романе «Анна Каренина».

Сцена в редакции могла быть вызвана его раздражением против всего петербургского, но скорее всего — его склонностью к противоречию. Какое бы мнение ни выска-

зывалось и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз и как иронически сжимались его губы, он как бы заранее обдумывал не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника. Таким представлялся мне Толстой в молодости. В спорах он доходил иногда до крайностей. Я находился в соседней комнате, когда раз начался у него спор с Тургеневым; услышав крики, я вошел к спорившим. Тургенев шагал из угла в угол, выказывая все признаки крайнего смущения; он воспользовался отворенною дверью и тотчас же скрылся. Толстой лежал на диване, но возбуждение его настолько было сильно, что стоило немало трудов его успокоить и отвезти домой. Предмет спора мне до сих пор остался незнаком [4]...

А. А. ФЕТ

ИЗ КНИГИ «МОИ ВОСПОМИНАНИЯ»

Еще до моей поездки в Париж [1] Ап. Григорьев познакомил меня с весьма милой девушкой, музыкантшей в душе — Екатериной Сергеевной Протопоповой, вышедшей впоследствии замуж тоже за пианиста и композитора Бородина. В то время все увлекались Шопеном, и Екатерина Сергеевна передавала его мазурки с большим мастерством и воодушевлением. Когда я женился, Екатерина Сергеевна, полюбивши жену мою, стала часто навещать нас. В то же время Ап. Григорьев ввел к нам в дом весьма талантливого скрипача, которого имени в настоящее время не упомню, но про которого он говорил, что это «кузнечик-гуляка, друг кузнечика музыканта».

Таким образом, у нас иногда по вечерам составлялись дуэты, на которые приезжала пианистка и любительница музыки графиня М. Н. Толстая, иногда в сопровождении братьев — Николая и Льва [2] — или же одного Николая, который говорил:

— А Левочка опять надел фрак и белый галстук и отправился на бал.

Днем я прилежно был занят переводами из Шекспира, стараясь в этой работе найти поддержку нашему скромному бюджету, а вечера мы почти безотлучно проводили в нашей чайной. Тут граф Николай Николаевич Толстой, бывавший у нас чуть не каждый вечер, приносил с собою нравственный интерес и оживление, которые трудно передать в немногих словах. В то время он ходил еще в своем артиллерийском сюртуке, и стоило взглянуть на его худые руки, большие, умные глаза и ввалившиеся щеки, чтобы убедиться, что неумолимая чахотка беспощадно вцепилась в грудь этого добродушно-насмешливого чело-

века. К сожалению, этот замечательный человек, про которого мало сказать, что все знакомые его любили, а следует сказать — обожали, приобрел на Кавказе столь обычную в то время между тамошними военными привычку к горячим напиткам. Хотя я впоследствии коротко знал Николая Толстого и бывал с ним в отъезжем поле на охоте, где, конечно, ему сподручнее было выпить, чем на каком-либо вечере, тем не менее в течение трехлетнего знакомства я ни разу не замечал в Николае Толстом даже тени опьянения. Сядет он, бывало, на кресло, придвинутое к столу, и понемножку прихлебывает чай, приправленный коньяком. Будучи от природы крайне скромен, он нуждался в расспросах со стороны слушателя. Но наведенный на какую-либо тему, он вносил в нее всю тонкость и забавность своего добродушного юмора. Он видимо обожал младшего своего брата Льва. Но надо было слышать, с какой иронией он отзывался о его великосветских похождениях. Он так ясно умел отличать действительную сущность жизни от ее эфемерной оболочки, что с одинаковою иронией смотрел и на высший и на низший слой кавказской жизни. И знаменитый охотник, старовер, дядюшка Епишка (в «Казаках» гр. Л. Толстого — Ерошка), очевидно, подмечен и выщупан до окончательной художественности Николаем Толстым [3].

И. П. Борисов, бывший сам человеком недюжинным и видавший Льва Толстого еще на Кавказе [4], не мог, конечно, с первой встречи с ним в нашем доме не подпасть под влияние этого богатыря. Но в то время увлечение Л. Толстого щегольством бросалось в глаза, и, видя его в новой бекеше с седым бобровым воротником, с вьющимися длинными темно-русыми волосами под блестящею шляпой, надетой набекрень, и с модною тростью в руке выходящего на прогулку,— Борисов говорил про него словами песни:

Он и тросточкой подпирается,
Он калиновой похваляется.

В то время у светской молодежи входили в моду гимнастические упражнения, между которыми первое место занимало прыганье через деревянного коня. Бывало, если нужно захватить Льва Николаевича во втором часу дня, надо отправляться в гимнастический зал на Большой Дмитровке. Надо было видеть, с каким одушевлением он, одевшись в трико, старался перепрыгнуть через коня, не

задевши кожаного, набитого шерстью, конуса, поставленного на спине этого коня. Не удивительно, что подвижная, энергическая натура 29-летнего Л. Толстого требовала такого усиленного движения [5]. ⟨...⟩

Между тем Громека от 15 января [6] писал:

«Согласно вашей просьбе, спешу уведомить вас, милый Афанасий Афанасьевич, что на этих днях, около 18 или 20 числа, я еду на медведя. Передайте Толстому, что мною куплена медведица с двумя медвежатами (годовалыми) и что если ему угодно участвовать в нашей охоте, то благоволит к 18 или 19 числу приехать в Волочок, прямо ко мне, без всяких церемоний, и что я буду ждать его с распростертыми объятиями: для него будет приготовлена комната. Если же он не приедет, то прошу вас уведомить меня к тому же времени. Я полагаю, что охота состоится именно 19 числа. Следовательно, всего лучше и даже необходимо приехать 18-го. Если же Толстой пожелает отложить до 21-го, то уведомьте; далее ждать невозможно» ⟨...⟩

Для большей убедительности известный вожак на медвежьих охотах, Осташков, явился на квартиру Толстых. Его появление в среде охотников можно только сравнить с погружением раскаленного железа в воду. Все забурлило и зашумело. Ввиду того, что каждому охотнику на медведя рекомендовалось иметь с собою два ружья, граф Лев Николаевич выпросил у меня немецкую двустволку, предназначенную для дроби. В условленный день наши охотники (Лев Николаевич и Николай Николаевич) отправились на Николаевский вокзал. Добросовестно передам здесь слышанное мною от самого Льва Николаевича и сопровождавших его на медвежьей охоте товарищей.

Когда охотники, каждый с двумя заряженными ружьями, были расставлены вдоль поляны, проходившей по изборожденному в шахматном порядке просеками лесу, то им рекомендовали пошире отоптать вокруг себя глубокий снег, чтобы таким образом получить возможно большую свободу движений. Но Лев Николаевич, становясь на указанном месте, чуть не по пояс в снег, объявил отаптывание лишним, так как дело состояло в стрелянии в медведя, а не в ратоборстве с ним. В таком соображении граф ограничился поставить свое заряженное ружье к стволу

дерева так, чтобы, выпустив своих два выстрела, бросить свое ружье и, протянув руку, схватить мое. Поднятая Осташковым с берлоги громадная медведица не заставила себя долго ждать. Она бросилась к долине, вдоль которой расположены были стрелки, по одной из перпендикулярных к ней продольных просек, выходивших на ближайшего справа ко Льву Николаевичу стрелка, вследствие чего граф даже не мог видеть приближения медведицы. Но зверь, быть может учуяв охотника, на которого все время шел, вдруг бросился по поперечной просеке и внезапно очутился в самом недалеком расстоянии на просеке против Толстого, на которого стремительно помчался. Спокойно прицелясь, Лев Николаевич спустил курок, но, вероятно, промахнулся, так как в клубе дыма увидал перед собою набегающую массу, по которой выстрелил почти в упор и попал пулею в зев, где она завязла между зубами. Отпрянуть в сторону граф не мог, так как неотоптанный снег не давал ему простора, а схватить мое ружье не успел, получивши в грудь сильный толчок, от которого навзничь повалился в снег. Медведица с разбегу перескочила через него.

«Ну,— подумал граф,— все кончено. Я дал промах и не успею выстрелить по ней другой раз». Но в ту же минуту он увидал над головою что-то темное. Это была медведица, которая, мгновенно вернувшись назад, старалась прокусить череп ранившему ее охотнику. Лежавший навзничь, как связанный, в глубоком снегу Толстой мог оказывать только пассивное сопротивление, стараясь по возможности втягивать голову в плечи и подставлять лохматую шапку под зев животного. Быть может, вследствие таких инстинктивных приемов зверь, промахнувшись зубами раза с два, успел только дать одну значительную хватку, прорвав верхними зубами щеку под левым глазом и сорвав нижними всю левую половину кожи со лба. В эту минуту случившийся поблизости Осташков, с небольшой, как всегда, хворостиной в руке, подбежал к медведице и, расставив руки, закричал свое обычное: «Куда ты? куда ты?» Услыхав это восклицание, медведица бросилась прочь со всех ног, и ее, как помнится, вновь обошли и добили на другой день [7].

Первым словом поднявшегося на ноги Толстого с отвисшею на лицо кожею со лба, которую тут же перевязали платками, было: «Что-то скажет Фет?» [8]

⟨...⟩ Однажды, когда мы после завтрака в двенадцать часов взошли с женою на наши антресоли и я расположился читать что-то вслух, на камнях у подъезда раздался железный лязг, и вошедший слуга доложил, что граф Н. Н. Толстой желает вас видеть... На расспросы наши о Льве Николаевиче граф с видимым наслаждением рассказывал о любимом брате. «Левочка,— говорил он,— усердно ищет сближения с сельским бытом и хозяйством, с которыми, как и все мы, до сих пор знаком поверхностно. Но уж не знаю, какое тут выйдет сближение: Левочка желает все захватить разом, не упуская ничего, даже гимнастики. И вот у него под окном кабинета устроен бар. Конечно, если отбросить предрассудки, с которыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяйству не помешает; но староста смотрит на дело несколько иначе. «Придешь, говорит, к барину за приказанием, а барин, зацепившись одною коленкой за жердь, висит в красной куртке головою вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось, не то приказания слушать, не то на него дивиться». Понравилось Левочке, как работник Юфан растопыривает руки при пахоте. И вот Юфан для него эмблема сельской силы, вроде Микулы Селяниновича. Он сам, широко расставляя локти, берется за соху и юфанствует» [9].

⟨...⟩ Показавшаяся из-за рощи коляска, быстро повернувшая с проселка к нам под крыльцо, была для нас неожиданностью; и мы несказанно обрадовались, обнимая Тургенева и Толстого [10]. Не удивительно, что при тогдашней скудости хозяйственных строений Тургенев с изумлением, раскидывая свои громадные ладони, восклицал: «Мы все смотрим, где же это Степановка, и оказывается, что есть только жирный блин и на нем шиш, и это и есть Степановка».

Когда гости оправились от дороги и хозяйка воспользовалась двумя часами, остававшимися до обеда, чтобы придать последнему более основательный и приветливый вид, мы пустились в самую оживленную беседу, на какую способны бывают только люди, еще не утомленные жизнью.

Тургенев, всегда любивший покушать, не оставил без внимания тонкого пошиба нашего Михайлы, которым каждый раз так восхищался Александр Никитич [11]. Вы-

пили и редерера, и я очень гордился льдом, которым запасся благодаря пруду, выкопанному на небольшой изложине прошлою осенью. После обеда мы с гостями втроем отправились в рощицу, отстоявшую сажен на сто от дому, до которой в то время приходилось проходить по открытому полю. Там на опушке мы, разлегшись в высокой траве, продолжали наш прерванный разговор еще с бо́льшим оживлением и свободой. Конечно, во время нашей прогулки хозяйка сосредоточила все свои скудные средства, чтобы дать гостям возможно удобный ночлег, положив одного в гостиной, а другого в следующей комнате, носившей название библиотеки. Когда вечером приезжим были указаны надлежащие ночлеги, Тургенев сказал: «А сами хозяева будут, вероятно, ночевать между небом и землей, на облаках», что в известном смысле было справедливо, но нимало не стеснительно.

Сколько раз я твердо решался пройти молчанием событие следующего дня по причинам, не требующим объяснений. Но против такого намерения говорили следующие обстоятельства. В течение тридцати лет мне самому неоднократно приходилось слышать о размолвке Тургенева с Толстым, с полным искажением истины и даже с перенесением сцены из Степановки в Новоселки.

Из двух действующих лиц Тургенев письмом, находящимся в руках моих, признает себя единственным виновником распри [12], а и самый ожесточенный враг не решится заподозрить графа Толстого, жильца 4-го бастиона [13], в трусости. Кроме всего этого, мы впоследствии увидим, что радикально изменившиеся убеждения Льва Николаевича изменили, так сказать, весь смысл давнишнего происшествия, и он первый протянул руку примирения. Вот причины, побудившие меня не претыкаться в моем рассказе.

Утром в наше обыкновенное время, то есть в 8 часов, гости вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я в ожидании кофея поместился на другом конце. Тургенев сел по правую руку хозяйки, а Толстой по левую. Зная важность, которую в это время Тургенев придавал воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своею английскою гувернанткой [14]. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английскою пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которою дочь его может располагать для

благотворительных целей. «Теперь,— сказал Тургенев,— англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности».

— И это вы считаете хорошим? — спросил Толстой.

— Конечно; это сближает благотворительницу с насущною нуждой.

— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.

— Я вас прошу этого не говорить! — воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.

— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден, — отвечал Толстой.

Не успел я крикнуть Тургеневу: «Перестаньте!», как бледный от злобы, он сказал: «Так я вас заставлю молчать оскорблением» [15]. С этим словом он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду он вернулся к нам и сказал, обращаясь к жене моей: «Ради бога извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь». С этим вместе он снова ушел.

Поняв полную невозможность двум бывшим приятелям оставаться вместе, я распорядился, чтобы Тургеневу запрягли его коляску, а графа обещал доставить до половины дороги к вольному ямщику Федоту, воспроизведенному впоследствии Тургеневым [16]. Насколько материально легко было отправить Тургенева, настолько трудно было отправить Толстого. Положим, в моем распоряжении была московская пролетка с дышлом; но зато ни одна из наших лошадей не хаживала в дышле. Наконец, я выхожу на крыльцо и с душевным трепетом слежу за моим сереньким верховым в паре с другим таким же неуком, как-то они вывезут гостя на проселок. О, ужас! вижу, что, проехав несколько сажен, пара, завернув головы в сторону, начинает заворачивать назад к конному двору; повернутая там снова на путь истинный, она раза с два повторяет ту же вольту и затем уже бойко отправляется рысью по дороге.

Размышляя впоследствии о случившемся, я поневоле вспоминал меткие слова покойного Николая Николаевича Толстого, который, будучи свидетелем раздражительных споров Тургенева со Львом Николаевичем, не раз со смехом говорил: «Тургенев никак не может

помириться с мыслью, что Левочка растет и уходит у него из-под опеки».

О том, что затем психологически происходило и произошло, я до сих пор не в состоянии составить себе ясного понятия и представляю только на суд читателя все попавшие ко мне и относящиеся до этого дела письма [17]. ⟨...⟩

Если память моя, так верно хранящая не только события, важные по отношению к дальнейшему течению моей жизни, но даже те или другие слова, в данное время сказанные, тем не менее не удержала обстоятельств, возобновивших мои дружеские с Толстым отношения после его раздражительной приписки [18], то это только доказывает, что его гнев на меня явился крупною градиной в июле, которая должна была сама растаять, хотя предполагаю, что дело произошло не без помощи Борисова. Как бы то ни было, но Лев Николаевич снова появился на нашем горизонте и со свойственным ему увлечением стал говорить мне о своем знакомстве в доме доктора Берса.

Воспользовавшись предложением графа представить меня семейству Берса, я нашел любезного и светски обходительного старика доктора и красивую, величавую брюнетку жену его, которая, очевидно, главенствовала в доме. Воздерживаюсь от описания трех молодых девушек, из которых младшая обладала прекрасным контральто [19]. Все они, невзирая на бдительный надзор матери и безукоризненную скромность, обладали тем привлекательным оттенком, который французы обозначают словом du chien *. Сервировка стола и самый обед повелительной хозяйки дома были безукоризненны. Однажды, когда с чашками послеобеденного кофе мы сидели в гостиной, а хозяйка на кресле под окном щипчиками клала себе в рот из ящичка какие-то черные кусочки, я не мог не спросить: «Что это вы кушаете?» — и услыхал: «Березовые уголья».

До нас доходили слухи, что Толстой с необычайным постоянством и увлечением посещает любезное семейство доктора. В последнем нетрудно было мне убедиться лично: я видел, что Толстому тут хорошо, но кто преимущественно виной очарования, — отгадать не мог ⟨...⟩

---

* с огоньком (*франц.*).

Конечно, веди я прежнюю городскую жизнь, другими словами, не купи я Степановки, я не мог бы ни в каком случае решиться и на покупку Тима в девяностоверстном от Степановки расстоянии[20]. Но, взявшись за это запутанное дело, я не мог, подобно брату[21], ограничиваться раздражительными проклятиями и бесполезною высылкой денег московскому поверенному. Нужно было познакомиться с делом покороче; и потому, заручившись письмом брата к поверенному, с просьбой передать все накопившиеся дела мне, я вынужден был отправиться в Москву.

Несмотря на самое серьезное и нетерпеливое расположение духа, я не мог отказать себе в удовольствии заехать в Ясную Поляну. Едва только я повернул между башнями по березовой аллее, как наехал на Льва Николаевича, распоряжающегося вытягиванием невода во всю ширину пруда и, очевидно, принимающего всевозможные меры, чтобы караси не ускользнули, прячась в ил и пробегая мимо крыльев невода, невзирая на яростное щелканье веревками и даже оглоблями.

— Ах, как я рад! — воскликнул он, очевидно, деля свое внимание между мною и карасями.— Мы вот сию минуту! Иван! Иван! круче заходи левым крылом! Соня! Ты видела Афанасия Афанасьевича?

Но замечание это явно опоздало, так как вся в белом графиня давно уже подбежала ко мне по аллее и тем же бегом с огромною связкой тяжелых амбарных ключей на поясе, невзирая на крайне интересное положение, бросилась тоже к пруду, перескакивая через слеги невысокой загороди.

— Что вы делаете, графиня! — воскликнул я в ужасе.— Как же вы неосторожны!

— Ничего, — отвечала она, весело улыбаясь, — я привыкла.

— Соня, вели Нестерке принести мешок из амбара, и пойдемте домой.

Графиня тотчас же отцепила с пояса огромный ключ и передала его мальчику, который бросился бегом исполнять поручение.

— Вот,— сказал граф,— вы видите полное применение нашей методы: держать ключи при себе, а исполнять все хозяйственные операции при посредстве мальчишек.

За оживленным обедом появились пойманные на наших глазах караси. Казалось, всем было одинаково легко и радостно на душе, и я в возможной краткости спешил

передать графу обстоятельство с Тимом и причину моей поездки в Москву.

Вечер этот можно бы было по справедливости назвать исполненным надежд. Стоило посмотреть, с какою гордостью и светлою надеждой глаза добрейшей тетушки Татьяны Александровны озирали дорогих племянников и, обращаясь ко мне, явно говорили: «Вы видите, у mon cher Lèon *, конечно, не может быть иначе».

Что касается до молодой графини, то, конечно, жизнь прыгающей в ее положении [22] через слеги, не может не быть озарена самыми радостными надеждами. Сам граф, проведший всю жизнь в усиленных поисках новизны, в этот период, видимо, вступал в неведомый дотоле мир, в могучую будущность которого верил со всем увлечением молодого художника. Сам я в этот вечер, увлекаемый общим тоном беззаветного счастья, не чувствовал нагнетающего меня Сизифова камня [23]. ⟨...⟩

На другой день мы собрались с женою в Никольское к Толстым [24], причем остававшийся дома Иван Петрович [25], ввиду 60-ти верст, пройденных нашими лошадьми, любезно предложил свой тарантас тройкою. Пообедав пораньше, мы весело пустились в сравнительно недальний путь, начиная с довольно глубокого переезда вброд р. Зуши. Хотя мы оба с Борисовым много раз бывали в Никольском у дорогого графа Николая Николаевича, но это постоянно бывало верхом, и поэтому, подъехав к глубокому лесному оврагу, пересекаемому весьма мало наезженной дорогой, я нимало не усомнился в том, что такая старая, сильная и благонадежная лошадь, как давно знакомая мне новосельская Звездочка, отлично спустит нас в тарантасе под гору, а добрые пристяжные выхватят и на гору. Но при виде крутой дорожки, спускавшейся по кустарникам в долину, жена моя отказалась сидеть в тарантасе, и я поневоле должен был сопровождать ее под гору пешком. Каковы же были сначала мое изумление, а затем и ужас, когда я увидал, что хомут слез Звездочке на шею и как кучер ни старался сдерживать тройки, последняя стала прибавлять ходу и наконец во весь дух понеслась под гору. При этом на тычках, мало заметных с горы, сначала кучер акробатически взлетел и сел на

* дорогого Льва (*франц.*).

траву, а затем и кожаная подушка с козел последовала его примеру. Надо было ожидать внизу окончательного калечества лошадей и экипажа. А какое приключение может быть язвительнее для небогатого хозяина? Вот еще два-три прыжка до оврага, у которого заворачивает вправо наша дорожка... но, о чудо! Доскакав до этого места, тройка круто поворачивает направо и, написав нисходящую в овраг одну ножку буквы *Л*, находит другую восходящую и выскакивает по ней снова на нашу опушку. Там, ощутив себя на нормальной плоскости, тройка самым флегматическим образом остановилась, а мы, подобрав в кустах сброшенную подушку, без всяких поломок отправились в Никольское объездом.

Невзирая на некоторую тесноту помещения, мы были приняты семейством графа с давно испытанною нами любезностью и радушием. С приезжими хозяевами был двухлетний сынок [26], требовавший постоянного надзора, и девочка у груди [27]. Кроме того, у них гостила прелестная сестра хозяйки [28]. К приятным воспоминаниям этого посещения у меня присоединяется и неприятное. Я вообще терпеть не могу кислого вкуса или запаха, а тут, как нарочно, Лев Николаевич задавался мыслью о целебности кумыса, и в просторных сенях за дверью стояла большая кадка с этим продуктом, покрытая рядном, и распространяла самый едкий, кислый запах. Как бы не довольствуясь самобытною кислотою кумыса, Лев Николаевич восторженно объяснял простоту его приготовления, при котором в прокислое кобылье молоко следует только подливать свежего, и неистощимый целебный источник готов. При этом граф брал в руки торчавшее из кадки весло и собственноручно мешал содержимое, прибавляя: «Попробуйте, как это хорошо!» Конечно, распространявшийся нестерпимый запах говорил гораздо сильнее приглашения.

Когда вечером детей уложили, я по намекам дам упросил графа прочесть что-либо из «Войны и мира». Через две минуты мы уже были унесены в волшебный мир поэзии и поздно разошлись, унося в душе чудные образы романа [29].

На другой день мы заранее просили графиню поторопить с обедом, чтобы не запоздать в дорогу, которая нас напугала.

— Ах, как это будет хорошо,— сказал граф.— Мы все вас проводим в большой линейке. Обвезем вас вокруг

фатального леса и возвратимся домой с уверенностью вашего благополучного прибытия в Новоселки.

Но вот обед кончился, и я попросил слугу приказать запрягать.

— Да, да, всем запрягать! — восклицал граф. — Тройкой долгушу, и мы все вместе пятеро поедем вперед, а ваш тарантас за нами.

Прошло более часу, а экипажей не подают. Я выбежал в сени и, услыхав от слуги обычное: «Сейчас!» — на некоторое время успокоился. Однако через полчаса я снова вышел в сени с вопросом: «Что же лошади?» На новое: «сейчас!» я воскликнул: «Помилуй, брат, я уже два часа жду! Узнай, пожалуйста, что там такое?»

— Дьякона дома нет,— горестно ответил слуга. Я не без робости посмотрел на него.

— Изволите видеть, их сиятельства приехали сюда четверкой; а тут когда нужен коренной хомут, то берут его на время у дьякона; а сегодня, как на грех, дьякона дома нет.

Неразыскавшийся дьякон положил предел всем нашим веселым затеям, и мы, простившись с радушными хозяевами, еще заблаговременно отыскались в Новоселках, откуда на другой же день уехали в Степановку.

А. А. ТОЛСТАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

Не помню, когда именно я встретилась со Львом Николаевичем в первый раз. Кажется это было в Москве у нашего общего родственника, графа Федора Ивановича Толстого (по прозванию «Американца»)[1].

В детстве я не знавала Льва Николаевича, несмотря на довольно близкое родство. Мы жили постоянно в Царском Селе или Петербурге, а он в тульской деревне, прежде чего воспитывался в Казани и Москве.

Вижу его совершенно ясно уже по возвращении его из Севастополя (1855 г.) молодым артиллерийским офицером и помню, какое милое впечатление он произвел на всех нас. В то время он уже был известен публике («Детство» появилось в 1852 г.). Все восхищались этим прелестным творением, а мы даже немного гордились талантом нашего родственника, хотя еще не предчувствовали его будущей знаменитости.

Сам по себе он был прост, чрезвычайно скромен и так игрив, что присутствие его воодушевляло всех. Про самого себя он говорил весьма редко, но всматривался в каждое новое лицо с особенным вниманием и презабавно передавал потом свои впечатления, почти всегда несколько крайние (absolus). Прозвище *тонкокожего,* данное ему впоследствии его женой, как раз подходило к нему: так сильно действовал на него в выгодную или невыгодную сторону малейший, подмеченный им оттенок. Он угадывал людей своим артистическим чутьем, и его оценка часто оказывалась верною до изумления. Некрасивое его лицо, с умными, добрыми и выразительными глазами, заменяло, по своему выражению, то, чего ему недоставало в смысле изящества, но оно, можно сказать, было лучше красоты.

В первые два или три года нашего знакомства мы виделись с ним довольно часто, но более урывками. Дороги наши были слишком различны. Я была тогда уже при дворе, а он появлялся в Петербурге только наездом.

Мы все его так полюбили, что всегда встречали его с живейшею радостью, но это еще не было между ним и мною началом той дружбы, которая впоследствии связала нас на всю жизнь. Она вполне развилась только в 1857 году, в Швейцарии ⟨...⟩. В Женеве мы прожили всю зиму и в марте, к нашему великому удивлению, предстал пред нами Лев Толстой[2]. (Скажу, кстати, что его появления и исчезновения всегда имели какой-то характер de coup de théâtre *.)

Не будучи в то время с ним в переписке, мы совершенно не знали, где он находится, и думали, что он в России.

— Я к вам прямо из Парижа,— объявил он.— Париж мне так опротивел, что я чуть с ума не сошел. Чего я там не насмотрелся... Во-первых, в maison garnie **, где я остановился, жили 36 ménages ***, из коих 19 незаконных. Это ужасно меня возмутило. Затем хотел испытать себя и отправился на казнь преступника через гильотину, после чего перестал спать и не знал, куда деваться[3]. К счастью, узнал нечаянно, что вы в Женеве, и бросился к вам опрометью, будучи уверен, что вы меня спасете.

Действительно, высказавши все, он скоро успокоился, и мы зажили с ним прекрасно; виделись ежедневно — гуляли по горам и вполне наслаждались жизнью. Погода стояла чудная, о природе и говорить нечего. Мы ею восхищались с увлечением жителей равнин, хотя Лев Николаевич старался подчас умерить наши восторги, уверяя, что все это дрянь в сравнении с Кавказом. Но нам и этого было довольно.

К нашим экскурсиям присоединялись иногда кое-какие русские знакомые. Сестра моя, будучи во всех малых и великих случаях олицетворенной добротой, умела придавать нашим походам особенную прелесть, забирая с собой в громадном мешке все, что могло доставить удовольствие каждому из нас.

---

* неожиданного события (*франц.*).
** гостинице (*франц.*).
*** семей (*франц.*).

Однажды мы отправились на самую вершину Салева [4], откуда был очаровательный вид. Остановившись в маленьком, довольно красивом отеле, мы нашли в нем удобный приют для отдохновения, но решительно ничего, что могло удовлетворить проголодавшееся общество.

Мешок с провизией, разумеется, явился на сцену, и покамест сестра его раскладывала, мы все смотрели на него жадными глазами. Чего-чего в нем не было! И чай, и конфекты, фрукты, пирожки и различное печенье, даже вино и сельтерская вода...

Вижу, как теперь, восхищенное лицо Льва. Он радовался лакомствам, как маленький мальчик, и не переставал подхваливать сестру: «Ай да бабушка Лиза»... Но вдруг ему захотелось поддразнить ее. (К этому он был чрезвычайно склонен.)

— Ну вот, бабушка Лиза, вы в своей щедрости притащили с собой целый воз и, однако, наверное, кое-что забыли. Пари держу, например, что у вас нет с собою карт.

Сестра молча опустила руку в карман и вынула из него две колоды карт. Восторгу Льва не было меры, хотя карты оказались вовсе ненужным элементом там, где не хватало глаз, чтобы смотреть на великолепное захождение солнца и на бесконечную перспективу гор...

Лев называл нас «бабушками» ради шутки, уверяя, что именование теток нам вовсе не пристало, особливо мне: «Вы для этого еще слишком молоды» (Pardoxe à la L. Tolstoy).

Скажу здесь мимоходом о настоящей степени нашего родства.

У деда моего было 23 человека детей от одной матери, и отец мой — младший из всех, так что некоторые из детей старших братьев и сестер моего отца были с ним однолетки. Отец Льва Николаевича граф Николай Ильич был родной племянник моего отца и сын старшего его брата гр. Ильи Андреевича — того именно, который описан в «Войне и мире» под именем графа Ростова. Его мы не застали в живых, но Николая Ильича, нашего двоюродного брата, я помню весьма смутно в своем детстве. Кажется, он тогда был уже женат. Следовательно, Лев Николаевич приходился нам племянником и был моложе нас только на несколько лет.

Возвращаюсь к своему рассказу.

Лев пробыл с нами весь пост. В то время он далеко не был противником церкви и, видев всех нас говеющими,

тоже собрался говеть, что, впрочем, не удалось. Самая ничтожная причина могла изменить его настроение,— и это меня очень огорчало.

После пасхи он собрался в Веве [5], где у нас было довольно много общих знакомых. Великая княгиня, по моей просьбе, отпустила и меня. Что за чудная поездка и опять какой ряд восхитительных, радостных дней!..

Входя на пароход, я заметила в руках у Льва весьма приличный sac de voyage*, что меня немало удивило, потому что он всегда был довольно неряшлив в своей наружной обстановке.

— Что это значит? — спрашиваю я с насмешкой. — Такая роскошь вовсе на вас не похожа.

— Как же, — отвечает он пресерьезно, — мне скоро минет 30 лет, и надобно установить лучшие порядки. Вы видите, вот этот мешок со всеми принадлежностями белья и пр.; рассчитан на одну неделю; затем будет другой мешок на целый месяц и, наконец, третий — уже на всю жизнь...

Шутка шуткой, но в ней была и доля психологической правды. Он постоянно стремился начать жизнь сызнова и, откинув прошлое, как изношенное платье, облечься в чистую хламиду. С какою наивностью мы оба верили тогда в возможность сделаться в один день другим человеком — преобразиться совершенно, с ног до головы, по мановению своего желания. Хотя это было даже несообразно с нашими, уже не совсем юными годами, но мы поддавались самообману с полным убеждением, будучи душевно гораздо моложе наших лет. А между тем какую надобно пройти борьбу, сколько испытать разочарований насчет самого себя, прежде чем увериться в своем бессилии и в невозможности побороть в себе самый ничтожный недостаток, не прибегая к высшей помощи.

Кто-то сказал (кажется, Сократ или Платон): «Одно я знаю, что ничего не знаю» [6]. Хочется прибавить: «И ничего *не могу*».

Льву было труднее дойти до этой истины. Он чувствовал в себе силу дарования, хотя в то время редко был доволен собою. Боюсь сказать, что под влиянием установившейся всемирной популярности он и поныне работает над собой исключительно *своими* руками.

---

* саквояж (*франц.*).

Несмотря на различие воспитания и положения, у нас была одна общая черта в характерах. Мы были оба страшные энтузиасты и аналитики, любили искренно добро, но не умели за него приняться правильно. Разбирали себя до тонкости, полагая, что это весьма похвально, а в сущности, анализ только щекотал наше воображение и нисколько не действовал на улучшение жизни. Лев был уже тогда полон отрицаний, но больше по уму, чем по сердцу. Душа его была рождена столько же для веры, сколько для любви, и часто, сам того не сознавая, он это проявлял в различных случаях.

Разговоры наши клонились большею частью к религиозным темам, но едва ли мы друг друга понимали. Где мне было постигнуть в то время всю многообразность его исключительной природы! Смешно даже подумать о том, как я силилась переделать его на свой лад, а он чуть-чуть не открещивался от моих идеальных теорий, и, кроме бесконечных споров, ничего из этого не выходило, хотя и не мешало нам сблизиться еще теснее.

Но вот мы плывем к Веве, в прелестное майское утро, по зеркальному Женевскому озеру... Остановились на берегу в Pension Perret [7], где нас кормили до крайности плохо. Лев уверял, что суп там готовился из полевых цветов: «Разве вы не узнаете лиловых колокольчиков, сорванных вами сегодня утром? Вы их бросили, а они ими воспользовались, и мы же будем за них платить!..» За столом с нами сидели три долгозубые, некрасивые англичанки и посматривали на нас как-то враждебно. Легко может статься, что наша неукротимая веселость оскорбляла их великобританскую важность. Впрочем, мы с ними не засиживались и тотчас после обеда отправились к нашим друзьям, жившим поблизости.

И какие это все были милые, приятные люди! Княгиня Мещерская, урожденная Карамзина, с мужем, дочерью и сестрою Е. Н. Карамзиной, моей задушевной приятельницей. Затем прелестная и уже немолодая чета Пущиных — Михаил Иванович и Мария Яковлевна, прозванных впоследствии Львом Николаевичем Филемоном и Бавкидою [8], и, наконец, в виде перца к соусу, милейший седовласый юноша с розовым лицом, Михаил Андреевич Рябинин, общий наш фаворит, очень умный, забавный, неистощимый на выдумки и рассказы.

В его присутствии смех не умолкал. Бедная княгиня Мещерская, слабая и больная, умоляла его пощадить ее;

но раз пустившись в свои неимоверные анекдоты, он уже не мог остановиться... Смех тогда превращался в крик, и случалось даже, что иные падали со стульев на пол, пока он ораторствовал и фантазировал.

Мой Лев не отставал от него и всех привлекал своей детской веселостью и оригинальными выходками.

Были тут и другие знакомые, гораздо менее близкие и не совсем интересные. Они стояли у нас на скорбном листе des intrus — «незваных», и мы мастерски умели отделываться от них.

Раз утром все «званые» отправились пешком на Glyon; Glyon, как известно, самый высокий пункт местности над Веве.

Путь наш был усеян цветами в буквальном и переносном смысле. Пышная весна смотрела нам прямо в глаза и опьяняла нас. Сколько помню, мы все без различия лет, были похожи на подкутивших школьников... Взобравшись на гору в поте лица, мы нашли общую гостиную единственного тогда отеля битком набитую англичанами, американцами и всяким другим людом.

После чаю Лев, не обращая никакого внимания на многочисленную публику, бесцеремонно уселся за фортепиано и требовал от нас, чтобы мы начали петь.

Скажу без скромности, что у меня был тогда прекрасный голос и я много занималась музыкой. Случилось, что и М. Я. Пущина певала когда-то. Она вторила мне своим верным голоском, два Михаила подтягивали басом, а Лев управлял нами в виде капельмейстера.

Не знаю, насколько импровизированный концерт был удовлетворителен в строгом музыкальном смысле, но при открытых окнах и на широком пространстве все выходило хорошо, даже поэтично.

Мы пели «Боже, царя храни», русские и цыганские песни — короче, все, что приходило на ум Льву Николаевичу... Успех был блистательный. Иностранцы ринулись к нам с комплиментами, благодарностью,— каждый выражая ее на своем диалекте,— и умоляли нас продолжать еще. Мы были им явно с руки: во-первых, странствующие музыканты не требовали платы; а затем, рассеяли, может быть, их обыденную скуку.

На другой день то же самое повторилось в нашем пансионе. Orphée attendrissant les bêtes *. Грозные англи-

* Орфей, укрощающий зверей (*франц.*).

чанки до того смягчились, что не знали, как изъявить нам свое благорасположение, подавали нам стулья, потчевали чаем, конфектами и т. д. ...

Когда мой отпуск кончился, я возвратилась в Женеву или, вернее сказать, в виллу Boccage, куда великая княгиня переселилась в начале весны. Лев остался в Веве, упрекая меня, что я не могу оторваться от *Трубы* (так он называл двор вообще — не помню почему) [9].

Вот именно в это время было положено начало нашей долголетней переписке: телеграммы, записки и письма летели через озеро ежедневно.

Весьма малое уцелело, конечно, из этого, но недавно попались мне, между прочим, стихи, присланные мне Львом из Веве.

Должна признаться, что я приветствовала с особенным удовольствием этот документ «давно минувших дней», хотя стихи сами по себе неважны. Привожу их здесь в виде образчика нашего тогдашнего веселого настроения.

Третья́го дня получен
Ваш, бабушка, ответ, —
И с той поры мне скучен
Стал пансион Перрет.
Все мысли о Бокаже, —
И думаю себе,
Что с бабушкою даже
Готов я жить в Трубе.

Кроме переписки, Лев беспрестанно являлся из Веве в Женеву, но уже не один, а в сопровождении двух Михаилов. Фарсам их не было конца. Почтенный М. И. Пущин, добродушнейший из смертных, школьничал вместе с ними.

Одна приятельница наша, старая француженка, гостившая у нас, не могла надивиться на их turbulance *. «Ils arrivent toujours comme un ouragan, — говорила она. — Est-ce-que vous avez vraiment besoin de tous les trois attelés à votre char?» **

Но тут дело было не в «поклонниках», а просто в шалостях.

Никогда не забуду, как они явились один раз в ту минуту, как я отправлялась именно с этой француженкой

* Буйность *(франц.)*.
** Они всегда являются, как ураган. Неужели вам нужно, чтобы они все трое были запряжены в вашу колесницу? (*франц.*)

в Женеву на концерт бедного скрипача, которому я покровительствовала.

Они застали меня на пороге.

— Как же быть? — говорю я.— Мне необходимо ехать на концерт.

— Так что же,— мы поедем с вами; куда вы, туда и мы.

Если бы я могла предвидеть то, что случилось, то, конечно, осталась бы дома. Эти три шалуна, из коих два уже седовласые, дурачились без удержу, стараясь рассмешить меня. Один вторил пискливой скрипке, другой — контрабасу, третий гудел, как труба,— все это как будто мне на ухо, хотя непрошеные звуки доходили, вероятно, и до других соседних ушей.

Француженка была вне себя: «Au nom du Ciel, ne riez pas, Alexandrine, et tâchez de les arrêter»... * Куда! они уже слишком расходились... Я сама была как на иголках; но чем серьезнее и внушительнее я на них смотрела, тем более они проказничали и трунили над артистами, действительно чересчур плохими. Наконец, во избежание публичного скандала, я вынуждена была уехать прежде конца, забравши их всех с собою.

В июне мы предприняли длинное путешествие в Оберланд с детьми великой княгини. Первая станция для ночлега была назначена в Веве, в известном отеле Monnet.

Едва мы уселись за стол, как кельнер пришел мне объявить таинственным тоном, что кто-то дожидается меня внизу... Догадавшись, в чем дело, я быстро спустилась в залу, посреди которой стояли опять *они* — окутанные в длинные плащи, с перьями на фантастических шляпах. Ноты лежали на полу — по примеру странствующих музыкантов, а инструменты заменялись палками. При моем появлении раздалась невыразимая какофония — истинно un tapage infernal ** или кошачий концерт. Голоса и палки действовали взапуски. Я чуть не умерла со смеху, а великокняжеские дети не могли утешиться, что не присутствовали при этом представлении.

После нескольких дней странствования по горам и по долам мы наконец очутились в Люцерне, и тут нежданно-негаданно опять явился Лев, как будто вырос из земли.

---

* Ради бога не смейтесь, Александрин, и постарайтесь их удержать (*франц.*).

** адский шум (*франц.*).

Он прибыл в Люцерн двумя днями ранее нас и уже успел пройти через целую драму, рассказ о которой появился после в печати под заглавием «Записки князя Нехлюдова» [10]. Лев был страшно возбужден и пылал негодованием.

Вот что мы узнали от него и что случилось накануне. Какой-то бродячий музыкант играл очень долго под балконом Швейцергофа, на котором расположилось весьма порядочное общество. Все слушали артиста с удовольствием; но когда он поднял шляпу для получения награды, никто не бросил ему ни единого су; факт, конечно, некрасивый, но которому Лев Николаевич придавал чуть ли не преступные размеры.

Чтобы отомстить расфранченной публике, он на ее глазах схватил музыканта под руку, посадил его с собою за стол и приказал подать ужин с шампанским [11]. Едва ли публика да и сам бедный музыкант поняли всю иронию этого действия.

В этой черте проявился зараз писатель и человек.

Впечатления его были до того сильны, что они невольно прививались и к другим. Даже дети живо заинтересовались этим приключением и, полюбивши Льва Николаевича, умоляли нас пригласить его на наш пароход, чтобы вместе продолжать путешествие, что и совершилось, к общему удовольствию. Они и до сих пор помнят, как он их забавлял и какое неимоверное количество вишен он мог поглощать.

Много у меня и других забавных воспоминаний о Льве, но всего не перескажешь. Разве еще прибавить «одно последнее сказание» [12], после которого я перейду на более серьезную почву.

Раз он пришел ко мне во Франкфурте в то время, как у меня были в гостях принц Александр Гессенский с женой [13]. Я чуть не ахнула от ужаса, когда дверь отворилась и Лев предстал в более чем невероятном костюме. Ни прежде, ни после я не видала ничего подобного: он был похож не то на разбойника, не то на проигравшегося игрока. Видимо, недовольный, что не застал меня одну, он повертелся немного и исчез.

— Qui est donc ce singulier personnage? — спрашивают мои гости с удивлением.

— Mais c'est Léon Tolstoy.

— Ah mon Dieu, pourquoi ne l'avez vouz pas nommé? Après avoir lu ses admirables écrits nous mourions d'envie

de le voir*. — И упреки посыпались на меня, вместе с восторгом от его таланта.

При первом свидании я передала ему все сказанное лестное на его счет, но его внимание было обращено только на то, что мне, вероятно, было стыдно за него в этот день.

— Пожалуй, и так,— созналась я без всякого смущения,— ваше дикое облачение и грозный вид поразили бы хоть кого.

— Труба — все Труба, — ворчал он слегка обиженным тоном.

Так что за эту его выходку мне досталось со всех сторон.

По возвращении нашем в Россию, где мы пробыли безотлучно до 1859-го года, Лев часто приезжал в Петербург и большую часть своего времени проводил у нас: то у моей матушки, то у сестры Елизаветы Андреевны или у меня на верху Мариинского дворца.

Вечером мы обыкновенно собирались у сестры, которая жила в нижнем этаже того же дворца. Лев близко сошелся с нашими друзьями, не дичился их и даже полюбил многих из них. Затем, когда мы оставались наедине, определял нам их характеры с изумительною верностью, как будто он жил с ними уже давно.

Между преподавателями княжеских детей был некто г. Св. Сестра, по доброте своей, ценила его довольно высоко. Сочувствие к его печальным домашним обстоятельствам играло тут главную роль: Св. был очень жалок и потому казался ей хорош.

Я не совсем разделяла ее взгляд, но мне тем любопытнее была его встреча со Львом. Разговор между ними завязался серьезно-философский, и я сейчас подметила, что Св., силясь блеснуть перед Львом, производил на него обратное действие.

По уходе Св. он обратился к сестре:

— Ах, бабушка Лиза, как это вы можете увлекаться вашим педагогом. Ведь это такой маленький, крошечный человечек, что его вовсе не видно.

---

* — Кто этот странный человек?
— Да ведь это Лев Толстой.
— Ах господи, почему же вы не назвали его? Прочитав его прелестные творения, мы жаждали видеть его (*франц.*).

Этот отзыв, конечно, не понравился моей сестре; но впоследствии оказалось, что Св. был не только маленький, но даже очень нехорошенький человечек.

Была ли во Льве проницательность писателя или чутье развитого ума — трудно решить, но подобные примеры повторялись очень часто.

Нельзя умолчать и еще об одной черте, ему свойственной.

Он страшно боялся быть неправдивым не только словом, но и *делом,* что, однако ж, иногда приводило к совершенно противоположному результату.

Так, например, приглашенный один раз к моей сестре на вечер, где должно было собраться довольно многочисленное общество, утром этого дня Лев написал мне, что быть к нам не может, — только что получив известие о смерти брата [14]. (Братьев своих он любил страстно.) Разумеется, я отвечала ему, что совершенно его понимаю. И что же? Вдруг он является на вечер как ни в чем не бывало.

Это появление взволновало меня до негодования.

— Pourquoi êtes-vous venu, Léon? * — спрашиваю я его потихоньку.

— Pourquoi? Parce que ce que je vous ai écrit ce matin n'était pas vrai. Vous voyez — je suis venu, donc je le pouvais **.

Мало того, через несколько дней он мне признался, что ходил тогда же в театр.

— И вероятно, вам было очень весело,— говорю я ему еще с большим негодованием.

— Ну нет, не скажу. Когда я вернулся из театра, у меня был настоящий ад в душе. Будь тут пистолет, я бы непременно застрелился.

— A force de vouloir être vrai, vous ne faites que des carricatures de la vérité***,— говаривала я ему в подобных случаях, и он даже с этим соглашался, но не мог удержаться от экспериментов над самим собою.

— Хочу проверить себя до тонкости,— говорил он...

В эту зиму он приносил нам иногда кое-что из своих неизданных сочинений. Так, например, «Семейное счастие», «Три смерти» были впервые читаны у нас [15].

---

* — Зачем вы пришли, Лев? (*франц.*)

** — Зачем? Потому что то, что я вам написал сегодня утром, было неправдой. Видите, я пришел, следовательно, я мог прийти (*франц.*).

*** — Стремясь быть правдивым, вы искажаете правду (*франц.*).

Читал он плохо, застенчиво, и благодушно выслушивал всякое замечание. Скрывал ли он свое самолюбие или его еще тогда не было, — кто может сказать?..

Всего вероятнее, что в то время он смотрел еще на себя как на дилетанта писателя, сам не ожидая, что из него выйдет.

Иначе как мог бы он беспрестанно увлекаться совершенно посторонними предметами?..

Проекты рождались в его голове, как грибы. В каждый приезд он привозил новый план занятий и с жаром изъяснял свою радость, что наконец попал в настоящее дело.

То был поглощен пчеловодством, то облесением всей России или чем-либо другим... Школа держалась всего долее, но и она исчезла почти бесследно, как скоро он понял наконец свое истинное призвание.

Из писем Льва можно видеть, что наши личные отношения в продолжение многих лет оставались неизменными. При каждом свидании мы продолжали изучать друг друга: «le bistouri à la main» *, как выразился кто-то, но это делалось с любовью.

Наша чистая, простая дружба торжественно опровергала общепринятое фальшивое мнение насчет невозможности дружбы между мужчиной и женщиной. Мы стояли на какой-то особенной почве, и могу сказать совершенно правдиво, заботились, главное, о том, что может облагородить жизнь, — конечно, каждый со своей точки зрения.

Льву случалось упрекать меня в том, что я не впускаю его в тайник своего сердца и не поверяю ему того, что лично меня занимало; но это делалось с моей стороны без расчета или намерения [16]. Его натура была настолько сильнее и интереснее моей, что невольно все внимание сосредоточивалось на нем, а я была лишь второстепенным лицом, «donnant la réplique» **. Как уже было сказано, религия была главным предметом наших разговоров.

Любя глубоко своего друга, я почти с болезненным нетерпением хотела видеть в нем полную ясную веру, и странно — мы разошлись с ним духовно именно в ту минуту, когда вера коснулась его сердца [17].

---

* с бистурием [хирургическим ножом] в руках (*франц.*).
** подающим реплики (*франц.*).

Но об этом после.

Со времени его женитьбы (1862 года) он почти безвыездно жил в деревне, и мы стали видаться гораздо реже, хотя и пользовались всяким случаем взглянуть друг на друга. Он ловил меня на железных дорогах, когда я ехала в Крым с царскою семьею, и даже решился однажды приехать ко мне в Ильинское, подмосковное имение покойной императрицы. Это было в 1866 году.

Вспоминаю, между прочим, как этот приезд взволновал мою воспитанницу, великую княжну Марию Александровну и братьев ее, тогда еще маленьких великих князей Сергея и Павла Александровичей. Они страстно желали узреть знаменитого автора. Но, будучи застенчивы, они не решались войти прямо в мою комнату и пускались на всякие хитрости, заглядывая в окна и двери, что очень забавляло и меня и Льва.

Помню еще, что в этот день он мне рассказывал про свою ссору с Тургеневым, которая едва не дошла до дуэли. Подробности этой ссоры исчезли из моей памяти (причина ее была самая пустая) [18], но слов Льва Николаевича я не забыла.

— Могу вас уверить,— сказал он, покрасневши до ушей,— что моя роль в этой глупой истории была не дурная. Я был решительно ни в чем не виноват, и, несмотря на свою сознательную невиновность, я написал Тургеневу самое дружеское, примирительное письмо; но он отвечал на него так грубо, что невольно пришлось прекратить с ним всякие отношения.

Впоследствии все уладилось, и они продолжали видеться, но настоящей дружбы между ними быть никогда не могло. Они слишком расходились всем существом своим. ⟨...⟩

В 1879 году Лев Николаевич приезжал в Петербург, чтобы собрать кое-какие сведения насчет декабристов, замышляя написать роман из этой эпохи [19].

«Я хочу доказать, — говорил он, — что в деле декабристов никто не был виноват — ни заговорщики, ни власти».

Для изучения местности он отправился в Петропавловскую крепость. Комендант (не помню теперь его имени) [20] принял его очень любезно, показывал, что можно было показать, но никак не мог понять, чего именно он добивается... Лев Николаевич пресмешно рассказывал нам эту беседу.

Всем известно, что он написал только несколько глав этого романа,— и на мой вопрос, отчего он не продолжал его, он отвечал:

— Потому что я нашел, что почти все декабристы были французы... Действительно, в то время воспитание детей высшего круга было более западное; но этот исторический факт, которого, разумеется, нельзя было обойти, нисколько, по моему мнению, не должен был помешать написанию романа из столь интересной эпохи. Я была неутешна [21].

Кроме того, Лев Николаевич замышлял еще написать историю императора Павла, находя особенный интерес в его загадочной личности, но это осталось неисполненным [22].⟨...⟩

БЕРНГАРД ФОН АРНСВАЛЬД

ИЗ «ДНЕВНИКА»

Стоит удушающая жара. Работал с раннего утра до 9 часов, затем ⟨...⟩ в город, чтобы проститься со своими, которые на долгое время уезжают в Веймар и Рудольштадт.⟨...⟩

На вокзале мы встретили много знакомых. Среди них также супругу великого князя Константина, готовящуюся вместе с высокопоставленными господами [1] к отъезду.⟨...⟩

Низкий поклон моему господину, и я возвратился в город, в то время как высокие персоны поехали в Вильгельмсталь.⟨...⟩

Визит к генералу Галахову. Я нашел его со свояченицей у его зятя Швендлера [2] в саду. Галахов — старый генерал николаевской школы, который поэтому в настоящее время более или менее подходящ. Знатный русский, некогда у власти. Глава петербургской полиции. Его супруга не имеет ничего русского. Внешние, но тонкие, почти лукавые чувственные черты. Ее дочери некрасивы [3]⟨...⟩. Младшие дети, как дрессированные карлики. Маленькие дети старых родителей ⟨...⟩

Там я нашел графа Толстого [4]. Русский, исключительно образованный. Он служил в артиллерии во время кампании в Крыму, сейчас писатель. Говорили о немецкой литературе, в этом он оказался очень сведущ. О Вартбурге он не знал ничего, кроме оперы «Тангейзер» [5], поэтому я должен был сообщить ему некоторые фактические подробности и рассказать ему о замке. Это побудило его последовать в замок, о котором он не имел представления. Мы ехали верхом вместе с одним архифилистером, с торгашеской душонкой, который из-за своего осла

привязался к нам. Он, казалось, был занят собой и своим ослом, так что нас почти не замечал. Он завидовал сыпавшимся на нашего осла ударам и ругал мальчика за то, что тот охотнее бьет наших ослов, чем его. — Он должен бить и его осла, иначе он слезет и ничего не заплатит.— Если б я мог, я бы отбил охоту у этого двуногого осла кататься верхом.

Мы разговаривали тем временем о Севастополе и о генерале Шульце, брате моего друга[6], которого Толстой прекрасно знал: «Шульце был героем на войне, как и в обыденной жизни. На бастионе он играл в шахматы с молодыми офицерами, один из которых был сражен ядром. — На его месте я бы чувствовал угрызения совести. — Своею жизнью можно рисковать, других — нет». — Навстречу шел мой мул. Толстой вскочил в седло и приласкал мула.

Было видно — прирожденный всадник. Когда мы поднялись наверх, он все время восхищался. Я сам провел его по всем помещениям.— «Такое могут создать только немцы. Немец владеет не только техническим мастерством, но повсюду наполняет свое творение мыслью и поэзией. Мне открылось нечто новое. Такого я еще никогда не видел. Это одно из величайших созданий. Честь немцам, честь их властителям, которые дают возможность создавать подобное»[7],— были его слова. Между тем над балконом взошла луна, освещая еще не погрузившиеся во тьму окрестности. Какой поэзией, каким волшебством я был объят. Мы обменивались нашими взглядами на поэзию и ее проявление в жизни. Мы были согласны друг с другом, и он приводил изречения многих классиков, которые думали подобно нам.

Гете говорит, что человеческая душа страдает, когда зрит величие природы, но эта боль настолько возвышает душу человека, что становится возможным постижение великого[8].

Я говорил, что человеку нужно время, дабы обрести некий масштаб, а с ним и способность оценки, но в первую очередь он должен привести в гармонию с тем, что он видит, свой внутренний мир, дабы почувствовать одухотворенность его окружения и смысл своего суждения. Наедине с самим собою это удается легче всего. Возвысь себя к богу, достигни гармонии с ним в самом себе, и ты скорейшим образом достигнешь так гармонии с его творениями.

Толстой говорил, что бледный свет луны легко возбуждает мир наших ощущений.— И я добавил, что ее лик потому возбуждает столько доверия, так как мы убеждены, что она единственная, кто не предает того, что ей доверяют.— Я думаю, кроме радостей любви, мы других радостей ей обычно не поверяем. Мы потом пошли в сад и долго еще сидели за стаканом сахарной воды, оживленно беседуя на разные темы.

Толстой показался мне приверженцем весьма свободных взглядов. Он говорил, что законы и правление должны быть строгими, но нравы — свободными. Швейцария не является свободной, потому что нравы в ней скованы обычаями. Он доказал мне это на нескольких примерах и сказал, что Петербург более свободен в своих нравах, чем Швейцария [9]. В Петербурге уже отдают предпочтение интеллектуальной личности — мужчине или женщине, — а не разукрашенному орденами старому генералу. Политические отношения в Германии его особенно интересуют, но демократическому элементу он придает бо́льшее значение, чем следует. Последнее, правда, существует, но не имеет под собой почвы. Те, кто пострадал под бременем последних лет и сознают нынешние преимущества, относятся к демократии равнодушно. Бюргерство как представитель низших сословий ничего не хочет знать о демократии и подавляет их, чтобы они не активизировались. Наша демократия состоит из нескольких разумных голов и ослепленных ими низов. Разумные головы защищают консерватизм и предоставляют каждому сословию его права. В этом случае опасаться нечего. Правда, нарушены интересы рыцарства, что не могло не отомстить за себя [10].

Мы заговорили об искусстве: немецкое искусство всегда впереди, поскольку оно масштабнее, чем упорядоченное, в нем есть еще чувство и богатство идеи. Мы, немцы, как говорят французы, плохие живописцы. Почему? Богатству мыслей немца больше соответствует контур, эскиз. Француз, которому раз в два года приходит мысль об искусстве, может потом рисовать подряд два года. — Французы, сказал Толстой, почти все имеют одинаковые суждения. И их первое суждение всегда правильно, если даже и поверхностно.

В разговоре о политике Толстой упомянул, что добро способствует единению немногих людей, зло же может соединить их в толпу. Только насилие или хитрость образуют толпу, одиночек объединяет сердце [11].

П. В. МОРОЗОВ

⟨ВОСПОМИНАНИЯ⟩

⟨...⟩ Проезжая по деревне Ясная Поляна с братом своим, мы заметили толпу крестьянских ребятишек, куда-то бегущих вниз от деревни через овраг, от которого на взгорье виднелись господские постройки. Мы спросили, где проехать в усадьбу к графу. Ребятки, окружив нас, с удовольствием друг перед другом бросились проводить нас до самой школы графа. Я услыхал от ребят про школу, начал беспокоиться, как бы вместо барского дома не попасть в школу, где придется иметь дело с крестьянскими ребятами, в способностях которых я сомневался, и думал уже вернуться домой. И только по настоянию своего брата я решился докончить свое путешествие в том расчете, что, может быть, мое учительство будет не в школе, а в барском доме, как мне хотелось. Взяв одного из мальчуганов в провожатые, мы переехали через овраг, подъехав к самому барскому дому, на крыльце которого стоял какой-то мужчина, по-видимому, лет тридцати, в овчинном черном полушубке, теплых сапогах и простой шапке, с окладистой черной бородой, подстриженной в кружок. К этому-то человеку мой брат обратился с вопросом:

— Как бы нам увидеть графа?

Незнакомец добродушно улыбнулся и ответил:

— Я граф, что вам нужно?

Брат мой насмешливо смерил его глазами и, видя его костюм, а равно и свободное обращение с ним крестьянских ребят, иронически заметил:

— Оно и видно, брат, что ты граф сиятельный... Около печек сияешь? Небось у графа служишь каким-нибудь истопником; мы, брат, сами умеем отличить барина от прислуги — тоже бывали в барских домах-то.

Возмущался брат, очевидно, не тем, что незнакомец самозванствовал, а тем, что какой-нибудь служака думал потешиться над ним, над дьячком NN села.

Незнакомец стал уверять, что он самый граф и есть, и стал допрашиваться настойчиво, зачем именно мы приехали. Брат мой объяснил ему, что привез графу *мучителя* по рекомендации нашего знакомца И. И. С. ...а [1]. Услыхав фамилию нашего знакомца, граф сказал:

— Ну давай сюда своего *мучителя*, мы поговорим с ним.

Тогда брат мой кликнул меня. Во время спора брата моего с незнакомцем я сидел в санках вдали от них, а потому не мог хорошо рассмотреть его лица; но когда подошел к нему, то почувствовал правоту его слов, так как физиономия незнакомца ясно обнаруживала его интеллигентное происхождение. Я поверил, что он граф, хотя по костюму он походил на богатого мужика. И действительно, его умное лицо, с проницательными глазами, смотревшими как-то весело и приветливо, его голос, проникающий в душу, и в то же время валяные сапоги, дешевая шапка — все это до того было любопытно и в то же время симпатично, что я как-то невольно почувствовал к нему доверие и расположение первой встречи, основанной, как известно, на инстинкте. Мне показалось, что за ним я готов идти в огонь и воду. Граф повел меня на второй этаж того дома, к которому мы подъехали. Когда мы вошли в одну из комнат, я был поражен невообразимым гамом ребятишек обоего пола в возрасте от семи до пятнадцати лет. При входе нашем многие совсем не обратили внимания на наше появление; некоторые же закричали:

— Лев Николаевич! Ваше сиятельство! (но у них выходило *васьство*). Опять нанял нового учителя? Ведь и этот убежит, как И. И. [2] и Н. О.! [3] Ты уж один с нами занимайся, учителя нам не надо!

После я узнал, что до моего поступления в продолжение месяца у графа переменилось человек пять или шесть наемных учителей, а других граф увольнял за то, что они обращались очень грубо с учениками. Но граф, усмехаясь, говорил им:

— Нет, ребята, этот от нас не уйдет, и я сам его не прогоню.

Что этим хотел сказать Лев Николаевич, не знаю; быть может, утешить ребят, а быть может, и действительно думал так. ⟨...⟩

Оглядевшись в комнате, наполненной ребятами, я стал присматриваться к их занятиям. Ничего похожего на школу, в какой я сам учился и какие видел, не было. Ребята сидят большей частью парами, редко тройками или большими группами, человек в пять. Одна пара читает, другая пишет буквы или слова, третья пишет цифры, четвертая рисует и т. д. Одним словом, всякий делает, что ему сподручней. Только слышны возгласы ребят:

— Лев Николаевич или васьство! Подойди к нам, посмотри: «Так ли мы читаем?», «Так ли мы пишем?», «Так ли мы считаем?». И граф подходил по очереди то к той, то к другой группе. У одних послушает, как считают, у других посмотрит — как пишут и т. д. С некоторыми посмеется, если заметит неправильность, или подскажет, что не так, но никого не похвалит и не побранит. Группы же большею частью, как я после узнал, образовались сами собою, и выходило так, что слабый сидел с более сведущим и сведущий или более шустрый руководил слабого своего товарища, обращаясь сам за объяснением недоразумений в своей работе к графу или ко мне. Помню хорошо, что не прошло и полчаса, как ребята, узнавши, как меня зовут, стали ко мне обращаться как бы к старому знакомому за советами〈...〉.

Увлекшись подсказыванием, я не замечал, как граф частенько (как мне после передали ребята) на меня посматривал. Не кончив занятий, граф обратился к одному из ребят, сказав:

— Игнатка![4] Сбегай к Комаеву, скажи, чтоб оседлал Барабана, а ты приведи его ко мне.

Не прошло десяти минут, как тот же Игнатка вбегает в школу и кричит:

— Лев Миколаич! Я уже прикатил, а ты далеко ли едешь? Возьми нас с Васькой Морозом, а то тебе скучно будет одному!

— Нет, вы уморитесь, я еду в Пирогово к Сергею Николаевичу.

— Ну ступай, да приезжай скорее, а то нам без тебя скучно будет.

— А вот теперь с вами Петр Васильевич. С ним не соскучитесь. Он вам все покажет.

И, не дожидаясь дальних возражений со стороны ребят, обратился ко мне и сказал:

— Ну, оставайтесь пока одни, я вернусь скоро, во всяком случае до свиданья!

Я думал, что граф поехал по хозяйству версты за две, за три и сейчас вернется к окончанию уроков. Проводив графа из школы, я ужасно захотел отдохнуть с дороги и узнать про брата, оставленного мною на графском дворе. Смотрю, брат мой сам вошел ко мне попрощаться с каким-то молодым человеком, который сказался конторщиком у графа по имению, не симпатизирующим занятиям своего хозяина. Входя в школу и познакомившись со мной, он крикнул на ребят:

— Ну вы, лугокопы, убирайтесь по домам, дайте Петру Васильевичу отдохнуть с дороги, а завтра приходите!

А я говорю:

— Как же так? А если граф сейчас вернется; ведь времени только полдень.

— Нет, граф не вернется ранее трех суток.

Тут-то я узнал, что Пирогово не в двух или трех верстах, а в сорока от Ясной Поляны.

Ребята с большой неохотой стали расходиться из школы, и то лишь по настойчивому приказу конторщика. Под вечер ребята опять было заявились, но были отосланы уже сторожем при комнатах верхнего этажа...

Как сейчас помню, как ребята вбежали в школу с оживленными личиками и с криком:

— Лев Миколаич приехал! Лев Миколаич приехал! Сейчас к нам придет!

Не успел я порасспросить крикунов, где они его видели, как граф вошел в школу, и ребята буквально облепили его, как рой пчел унизывает куст или дерево после своей роевни. Так что минут десять положительно не было возможности подойти к нему и поздороваться. Он уже сам вспомнил про меня, когда мальчуганы один перед другим рассказывали ему, что они сделали в его отсутствие... Граф подошел ко мне, поздоровался и за что-то поблагодарил...

В тот же день граф, не отдыхая, провел в школе почти весь день до позднего вечера, так что мне не пришлось как следует не только пообедать, даже и чаю напиться. Затем и последующие дни, исключая праздников, проводились мною так же, как и первый по его возвращении, и так продолжалось до самого отъезда его за границу[5], то есть месяца полтора или два, никак не менее.

Встанешь, бывало, утром часов в шесть или семь, никак не позднее, а ребята уж тут как тут. Некоторые на дворе играют в снежки или в коридоре упражняются в

гимнастике, другие в школе читают, пишут, считают или играют и т. п. Часов в восемь утра, а иногда и ранее приходит сам граф, сидит и занимается часов до 11 или 12 дня. При нем я считал неловким уходить из школы. Затем он уходит и говорит мне:

— Побудьте с ними до моего прихода — я сейчас вернусь.

Я, конечно, сижу и жду его часов до четырех пополудни. Он приходит, я ухожу по его, конечно, предложению обедать. Часов в пять или шесть опять являюсь в школу, и граф уходит обедать. Я же сижу с ребятами до 7 часов вечера[6]. В сумерках, не зажигая огня, рассказываю им сказки, а впоследствии истории по закону божию или русскую. Вы спросите: когда же ребята-ученики обедают? Они свободно располагают своим временем, не стесняясь никакими часами своих занятий, как это и заведено было и сейчас водится в организованных школах. Одни уходят, другие приходят, и так с раннего утра до позднего вечера. Да что я говорю — вечера — до полуночи! Разве самому графу бывает не время заниматься вечером,— тогда, что называется, прогоняли ребят из школы. И то не мы с графом, а сторож. У нас же не хватало духа прогонять их, разве все уснут под столом. Тогда, разбудив уснувших, мы с графом идем провожать ребят на деревню, а если случится непогода, запрягают дровни в одну или в две подводы, смотря по количеству ребят, и мы опять-таки едем или идем, развозим или разводим по дворам. Причем частенько приходилось нам слышать ворчанье матерей. Стучим, например, к Матрене Козловой.

— Кто там? — спросит Матрена.

— Отопри, Матрена! Это мы. Возьми ребят своих.

— Эх вы, шатуны полуношные! Видно, вам делать-то нечего! Ребят только балуете да добрых людей беспокоите!

Сказать откровенно, вначале я не чувствовал усталости от постоянных занятий в школе, так как граф постоянно своим присутствием воодушевлял или, как теперь говорят, взвинчивал меня; с другой стороны, самая школа не утомляла меня благодаря отсутствию казенщины. Никто здесь никого не обязывал быть навытяжку, как стоит солдат на часах. Всякий чувствовал себя как дома, попросту, без затей, и это вовсе не указывало на отсутствие порядка; напротив, такой был именно порядок школьных занятий. Кажущиеся беспорядки были здесь принци-

циальны, ибо граф вел занятия не по учебникам дидактики, а по тому плану, который выработала его гениальная голова, желая школу превратить в семью. Ребята приходят, уходят, не спрашиваясь ни у кого, сами берутся за дело такое, какое хотят делать, не чувствуя себя ограниченными какими-либо насильственными для них правилами. И все выходило так просто, как будто так и следовало делать<...>.

Составилось о Яснополянской школе на этом основании неправильное мнение, которое я не раз слышал, что будто школа Льва Николаевича похожа вроде на цыганский табор или на сельскую сходку со всеми ее дикими безобразиями. Все это ложь: особых шалостей в школе никогда не замечалось,— разве уже явится какой-нибудь беспардонный шалун и начинает в школе затевать уличные игры; так такого шалуна сами ребята сейчас же проводят из школы без церемоний. Был у нас такой шалун — Федька Резун, несказанный мастер на шалости. Но лишь только он забалуется, как ребята начинают его урезонивать:

— Ну, Федюха, если хочется тебе играть, ступай на улицу, а нам не мешай. Тебе небось не понравится, если ты будешь молотить на гумне, а мы придем к тебе да будем играть на току?

Впрочем, бывали случаи, что на таких, как Федька Резун, никакие доводы товарищей не действовали. Тогда начиналась товарищеская потасовка, для укрощения которой мне приходилось принять меры усмирения; но граф в таких экстренных случаях уходил из школы, в дела ребят не вступался. Но, повторяю, все это было весьма редко.

Я свыкся со школой в течение одного месяца, и граф все чаще и чаще стал оставлять меня одного с ребятами, разве когда вечером придет позаниматься; более всего занимали его ребята, которые любили арифметику. Тогда я, видя, что мне особого дела нет, уходил к себе в комнату или в контору, где по совету графа присматривался к конторским делам, что мне впоследствии пригодилось, потому что граф, уезжая за границу, рассчитал конторщика, возложив на меня и конторские обязанности.

С. И. ПЛАКСИН

ГРАФ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ

(Очерк из моих воспоминаний)

⟨...⟩Наш хозяин отлучался ежедневно из виллы в 6 часов утра в город и возвращался лишь к 8 часам вечера, к обеду.

Дождь барабанил в окна нашего обширного зала, в котором весело трещал камин, а накрытый стол, ярко освещенный канделябрами и уставленный вазами с фруктами и бутылками, приветливо манил к себе.

Все мы собрались к обеду в ожидании хозяина, который почему-то на этот раз опоздал.

Хорошенькая жена его, вероятно, в силу быстрой циркуляции испанской крови, то и дело подходила то к одному, то к другому окну, произнося сквозь зубы какие-то непонятные нам слова.

Старушка — мать хозяина сидела в своем вольтеровском кресле и что-то вязала; моя мать разбирала какую-то новую пьесу, нервно ударяя по клавишам, а я с бонной играл в лото.

Наконец раздался звонок, и вошел более чем всегда сияющий хозяин и стал рассыпаться в извинениях перед дамами.

При этих словах г. Тош вынул из кармана несколько золотых монет и договор найма, подписанный «графом Л. Н. Толстым».

Известие о том, что русское семейство поселится под одной с нами кровлей, привело нас в самое радужное настроение духа, и мы почти всю ночь не спали от волнения при мысли встретить соотечественников в таком захолустье, как вилла Тош, в окрестностях Гиера!

Мы бы совсем не спали, если б могли предвидеть, что жильцом окажется гр. Л. Н. Толстой с вдовой его покойного брата, графиней Марией Николаевной Толстой [1] и ее детьми: Колей, Варей и Лизой.

Надо ли говорить, что с переездом семьи Толстых на виллу в нашу скучную до того времени жизнь влилась новая, живительная струя. Помню я первое наше знакомство.

В гостиную вошел очень высокий, плотный и широкоплечий мужчина лет сорока, с добродушной улыбкой на лице, окаймленном темно-русой густой бородой. Из-под большого лба с глубоким шрамом (от лапы медведя, как мы потом узнали) [2], в глубоких глазных впадинах, искрились умные и добрые глаза. Насколько мне помнится, Лев Николаевич тогда походил на портрет, помещенный в «Художественном листке» Тима [3].

Лев Николаевич говорил громко, но не скоро, а более мягко и ровно; в тоне голоса чувствовалась прямота и простодушие, движения были естественны и не носили отпечатка светской выправки; одет он был в коричневый костюм. Он подошел к моей матери, пожал ей руку и сейчас же заговорил с ней, как давнишний знакомый.

Как часто вспоминали мы впоследствии, во время долгой нашей совместной жизни с покойной матерью, отрадные дни и вечера, проведенные в обществе Льва Николаевича, его сестры и моих маленьких друзей.

Нечего говорить, что душою нашего маленького общества был Лев Николаевич, которого я никогда не видел скучным; напротив, он любил нас смешить своими рассказами, подчас самого неправдоподобного содержания, и когда наш детский смех уж слишком начинал терзать уши наших маменек, они обращались с просьбой к тому же Льву Николаевичу — засадить нас за какую-нибудь тихую работу, вроде переписки из книг или рисования.

Моя покойная мать очень сошлась с гр. Марией Николаевной, которая, по-видимому, тоже рада была после перенесенного ею семейного горя встретить на чужбине русскую женщину, с которой могла бы по душе поговорить.

Как теперь, вижу я их, сидящих на диване, с папиросками в руках, и вспоминающих нашу далекую родину и общих знакомых.

От природы очень общительный, я в первый же день подружился с моими новыми маленькими знакомыми, и утренняя тоска по родине вскоре сменилась нетерпением

скорей одеться и бежать в сад и на берег моря для совместной беготни и уроков плавания, под опытным руководством старого рыбака, monsieur Шарля.

В первый же день приезда, гр. Лев Николаевич обратил на меня особое свое внимание, узнав от матери моей, что цель поездки нашей на юг — мое слабое здоровье и что доктора запретили мне много резвиться и бегать.

— Слышите,— обратился граф к своему племяннику и к племянницам,— играйте с Сережей, но не в «разбойники» и не в «горелки»!

И действительно, новые друзья мои — вследствие ли слова дяди или по врожденной детям чуткости — очень трогательно со мной обращались, всегда и во всем мне уступали, оберегали где могли и часто спрашивали меня во время игр — не устал ли я, а когда другие дети, приезжавшие со своими родителями в гости к нашим французам, принимали участие в наших играх, то Коля, при малейшей выходке какого-нибудь мальчугана против меня, прямо лез с ним в драку. Он был вообще, что называется, «огонь мальчик», с золотым сердцем и рыцарской душой. Благодаря его резвости и вспыльчивости моей матери приходилось часто бывать посредницей между ним и графиней, женщиной очень доброй, но болезненно раздражительной. Особенно часто ему доставалось за порчу костюма, который иногда тайком исправлялся моей бонной, так как сучья деревьев неминуемо оставляли след на легких панталонах Коли.

Семейство графа заняло верхний этаж виллы, причем Лев Николаевич поставил свой письменный стол в стеклянной галерее с видом на море. Вставал он очень рано, и мы, дети, только на минутку забегали к нему здороваться, помня строгое приказание наших маменек — не беспокоить Льва Николаевича, когда он пишет.

Но у нас утром были свои занятия: мы гурьбой отправлялись купаться и брать уроки плавания, затем неизбежная беготня по саду, а после завтрака мы предпринимали далекие прогулки по окрестностям виллы, причем за нами следовал маленький ослик, навьюченный корзинами с провизией, вином и фруктами.

Неутомимый ходок, Лев Николаевич составлял нам маршрут, изобретая все новые места для прогулок. То мы отправлялись смотреть на выварку соли на полуострове Porquerolle, то подымались на священную гору, где построена каплица с чудотворной статуей пресвятой де-

вы, то ходили к развалинам какого-то замка, почему-то носившего название Trou des fées *.

По дороге Лев Николаевич рассказывал нам, детям, разные сказки. Помню я какую-то о золотом коне и о гигантском дереве, с вершины которого видны были все моря и города. Зная мою слабую грудь, он нередко сажал меня на свои плечи, продолжая рассказывать на ходу свои сказки. Надо ли говорить, что мы души в нем не чаяли?..

За обедом, вечером, Лев Николаевич рассказывал нашим добродушным хозяевам всевозможные забавные небылицы о России, и те не знали, верить ему или не верить, пока графиня или моя мать не отделяли правды от вымысла.

Сейчас же после обеда мы располагались, смотря по погоде, или на обширной террасе, или в зале, и начиналась возня. Под звуки фортепьяно мы изображали балет и оперу, немилосердно терзая слух наших зрителей: маменек, Льва Николаевича и моей бонны Лизы. Балет и опера сменялись гимнастическими упражнениями, причем профессором являлся тот же Лев Николаевич, напиравший главным образом на развитие мускулов.

Ляжет, бывало, на пол во всю длину и нас заставляет лечь и подниматься без помощи рук; он же устроил нам в дверях веревочные приспособления и сам кувыркался с нами, к общему нашему удовольствию и веселию...

Когда мы слишком расшалимся и маменьки упросят Льва Николаевича нас унять,— он нас усаживал вокруг стола и приказывал принести чернила и перья.

Вот образец наших занятий со Львом Николаевичем.

— Слушайте,— сказал он нам как-то,— я вас буду учить!

— Чему? — спросила востроглазая Лизанька, предмет моих нежных чувств.

Не удостоив племянницу ответом, Лев Николаевич продолжал:

— Пишите...

— Да что писать-то, дядя? — настаивала Лиза.

— А вот слушайте: я дам вам тему!..

— Что дашь? — не унималась Лиза.

— Тему! — твердо повторил Лев Николаевич.— Пишите: чем отличается Россия от других государств.

---

* Дыра фей (*франц.*).

Пишите тут же, при мне, и друг у друга не списывать! Слышите! — прибавил он внушительно.

И пошло у нас писание, как говорится, à qui mieux-mieux *.

Коля, бывало, как тщательно ни наклоняет голову набок, но у него все линейки ползут в верхний правый угол бумаги. Пыхтит он, пыхтит, издавая носом неопределенные звуки, но ничего бедняге не помогает, а между тем Лев Николаевич строго запрещал нам писать по графленым линейкам, говоря, что это «одно баловство. Надо привыкать писать без них». Пока мы, таким образом, излагали наши мысли, графиня и моя мать сидели на диване и читали вполголоса какое-нибудь новое произведение французской литературы, а граф Лев Николаевич ходил по комнате из угла в угол, чем вызывал иногда восклицание нервной графини:

— Что это ты, Левушка, как маятник слоняешься. Хоть бы присел!..

Через полчаса «сочинения» наши были готовы, и мое было первым, к которому прикоснулся наш ментор. Он пытался было сам прочесть его, но, тщетно стараясь что либо разобрать в спустившихся к поднебесью линейках, возвратил мне мою рукопись, сказав:

— Прочти-ка сам!

И я громогласно стал читать, что Россия отличается от других государств тем, что в ней на масленице блины едят и с гор катаются, а на пасхе яйца красят.

— Молодец! — похвалил Лев Николаевич и стал разбирать рукопись Коли, у которого Россия отличалась «снегом», а у Лизы — «тройками».

Обстоятельнее всех было написано у старшей из нас всех — Вари.

В награду за наши вечерние занятия Лев Николаевич привез нам из Марселя, куда он почему-то часто ездил из Гиера [4], акварельные краски и учил нас рисованию; прилагаемый эскиз набросил сам Лев Николаевич однажды, и оригинал его удалось мне сохранить до сего времени [5]. 〈...〉

---

* кто кого лучше (*франц.*).

ЮЛИЙ ШТЁТЦЕР

⟨УРОК В ВЕЙМАРСКОЙ ШКОЛЕ⟩

⟨В записи В. Бодэ⟩

...В четверг после пасхи школа снова начала работать, но занятия возобновились в пятницу. В этот день в час дня я был во втором классе и хотел начинать урок, как вдруг ученик семинарии, просунув голову в двери, сказал:

— Этот господин хочет присутствовать на вашем уроке.

За ним вошел какой-то господин, не называя себя, и я принял его за немца, потому что он говорил по-немецки так же хорошо, как мы.

— Какие уроки у вас сегодня после обеда? — спросил он.

— Сначала история, потом немецкий язык, — отвечал я.

— Очень рад. Я посетил школы южной Германии, Франции и Англии [1] и хотел бы также познакомиться и с северогерманскими... Сколько классов в вашей школе?

— Семь. Это второй. Но я еще не знаю моих учеников по фамилиям, так как мы только что начинаем. И потому я не могу демонстрировать их успехи.

Я сам выработал себе план преподавания истории и изложил его перед незнакомым мне школьным учителем. Я его принимал за учителя.

Он вынул из кармана записную книжку и стал в ней с увлечением записывать. Вдруг он сказал:

— В этом столь обдуманном плане я вижу один пробел — отсутствие отечествоведения.

— Нет, оно не забыто, родиноведению посвящен предшествующий класс.

Мне нужно было начинать урок, и я стал рассказывать о четырех эпохах культуры человечества. Незнакомец все время записывал. Когда урок кончился, он спросил:

— А теперь что будет?

— Немецкий. Я хотел, собственно говоря, начать чтение. Но если вы желаете что-нибудь другое, то можно переменить.

— Мне это очень приятно. Видите ли, я много думал о том, как сделать более свободным течение мысли (flüssig).

Этого выражения иностранца я никогда не забуду. Я тотчас постарался удовлетворить его желание и задал им небольшое сочинение. Я назвал какой-то предмет, и дети должны были написать об этом сочинение в своих тетрадях. Это очень заинтересовало незнакомца, он стал ходить между парт, брать по очереди тетради учеников и смотреть, что пишут дети.

Я оставался на кафедре, чтобы не развлекать детей. Когда работа подходила к концу, незнакомец сказал:

— Теперь могу я взять эти работы с собой? Они меня очень интересуют.

«Но это уже слишком» — подумал я, но ответил ему вежливо, что это нельзя сделать. Дети только что купили себе тетради, каждая стоит тридцать копеек.

— Веймар — бедный город, и родители будут недовольны, если им придется покупать новые тетради.

— Этому можно помочь, — сказал он и вышел из класса.

Мне было не по себе, и я послал ученика за моим другом, директором Монгауптом, чтобы он пришел в класс, так как у нас происходит что-то странное.

Монгаупт пришел.

— Ты мне славную штуку устроил, — сказал я ему, — прислал мне какого-то чудака, и он хочет забрать у учеников их тетради.

— Я тебе никого не посылал, — сказал Монгаупт.

— Но ведь ты же директор семинарии, а его привел семинарист.

Тогда вспомнил Монгаупт, что в его отсутствие приходил к нему какой-то важный чиновник, который сказал его жене, что сопровождавшему его господину нужно оказать всяческое содействие.

Незнакомец вернулся, держа в руках большую пачку писчей бумаги, которую он купил в соседней лавке. Теперь мы должны были узнать, кто он, так как я представлял его директору:

— Директор Монгаупт.

— Граф Толстой, из России.

Итак, это был граф, а не учитель. И был русский, так прекрасно говоривший по-немецки.

Мы велели детям переписать написанное ими на листы принесенной бумаги, и Толстой, собрав все листы, отдал их дожидавшемуся его на дворе слуге [2].

От меня он пошел к директору реального училища Трёбсту, с которым был знаком, так как Трёбст был в России [3]. Реальное училище находилось тогда в одном доме с городской школой, одним этажом выше.

Н. П. ПЕТЕРСОН

ИЗ ЗАПИСОК БЫВШЕГО УЧИТЕЛЯ

Впервые я увидал Льва Николаевича в начале 1862 года, в Москве, на Лубянке, в гостинице, кажется, «Лабади», куда я пришел к нему со своими товарищами, как один из согласившихся на его приглашение ехать учительствовать в одной из сельских школ, которые Лев Николаевич предполагал тогда открыть, будучи мировым посредником [1].

Несколько школ в ближайших к Ясной Поляне селениях были открыты Толстым раньше [2]. Была школа и в Ясной Поляне, на барской усадьбе, в одном из находившихся в ней домов.

В этой школе учительствовал и сам Лев Николаевич. Учителями в открываемые школы Лев Николаевич приглашал студентов, среди которых были в то время волнения, начавшиеся из-за вводившихся матрикул и переходившие на политическую почву. Лев Николаевич указывал на бесплодность этих волнений и приглашал к плодотворной работе над просвещением народа, который казался тогда Льву Николаевичу источником истины, блага и красоты, но источником закрытым, за отсутствием органов, способных проявить внутреннее содержание. Внося в среду народа грамотность, мы должны были способствовать, помогать народу выразить его внутреннюю сущность, сказать *свое слово,* и мы должны были прислушиваться к этому слову, а не вносить в народ что-либо свое. *Цивилизация* (слово «культура» тогда еще не употреблялось) казалась Льву Николаевичу извращением здоровой жизни людей. И я не раз между прочим слышал от него:

— Жениться на барышне — значит навязать на себя весь яд цивилизации.

И хотя мы все и были продуктом цивилизации, но не заражать народ своим «ядом» приглашал нас Лев Николаевич, а самим оздоровиться от соприкосновения с здоровою жизнью народа.

Я, как и все откликнувшиеся на приглашение Льва Николаевича, с радостью пошел за ним... Для меня было величайшей радостью приезжать по субботам и перед праздниками в Ясную Поляну из Плеханова (деревня, где я учительствовал, верстах в семнадцати от Ясной) и проводить целый день вместе с остальными сотоварищами, которых было человек десять, в беседах со Львом Николаевичем и слушать его рассказы. Некоторые я потом встретил в его «Казаках» и «Войне и мире».

Для меня было еще большим наслаждением слушать его дивную игру на рояле. Особенно запечатлелся в моей памяти «Лесной царь» Шуберта, сопровождаемый словами баллады Жуковского.

В Ясной Поляне нам было необыкновенно приятно. Все относились к нам с редкой добротою, не исключая и тетушки Льва Николаевича, Татьяны Александровны Ергольской, хотя мы, вероятно, и не могли не шокировать ее своими манерами и своими несовершенными (за неимением средств) костюмами. Впрочем, и сам Лев Николаевич не блистал тогда костюмами. Мне помнится, что у него был только один сюртук, в котором он ездил на съезды мировых посредников, но и тот с короткими рукавами и с талией не на своем месте; а ваточное пальто Льва Николаевича было даже с прорванной подкладкой, и из-под нее лезла вата...

После съездов мировых посредников Лев Николаевич всегда бывал недоволен и очень нелестно отзывался о своих сотоварищах по съезду, из которых я ни одного не видал в Ясной Поляне.

Впрочем, Лев Николаевич недолго оставался мировым посредником. В апреле или мае 1862 года он подал в отставку [3].

Недолго, однако, мы учительствовали. С началом весенних работ наши школы опустели. И некоторые из нас, в том числе и я, должны были поселиться в Ясной Поляне в ожидании, когда, по окончании полевых работ, снова соберутся ученики в наши школы.

Жить в Ясной Поляне было хорошо. Но сам Лев Николаевич что-то заскучал. Он взял с собою двоих учеников Яснополянской школы и уехал с ними в мае месяце в самарские степи [4], откуда возвратился только месяца через два. Без него приезжали жандармы и производили обыски, но, конечно, безрезультатно. Лев Николаевич был чужд политике и нас всех отучил от нее.

Жандармы были направлены на Ясную Поляну, вероятно, по неудовольствию, которое Лев Николаевич возбудил против себя как мировой посредник [5].

После возвращения Льва Николаевича из самарских степей приезжал, я помню, в Ясную Поляну Е. Л. Марков, бывший тогда учителем тульской гимназии, впоследствии известный публицист и литератор. Е. Марков приезжал в Ясную Поляну вскоре после того, как вышла книжка «Русского вестника» с его статьею об Яснополянской школе и о журнале «Ясная Поляна». В этой книжке Марков весьма критически отнесся к педагогическим идеям Льва Николаевича и этим всех нас возбудил против себя. Тем не менее Лев Николаевич принял его весьма любезно; и когда мы слишком яростно нападали на Маркова, в особенности после его отъезда, Лев Николаевич, не соглашаясь с Марковым, заявил, однако, что Марков очень умен и статья его — очень умная статья. Тем и были сдержаны наши нападки [6].

В августе (1862 г.) Лев Николаевич поехал в Москву по делам редакции журнала «Ясная Поляна», которой заведовал один студент [7]. Окна квартиры этого студента были вровне с тротуаром. И мне помнятся рассказы, что Лев Николаевич входил к этому студенту для сокращения через окно. Говорили также, что Лев Николаевич, приехав в Москву, остановился на этот раз не в гостинице, а на студенческой квартире. Но скоро мы услыхали, что он переехал в одну из лучших тогдашних гостиниц в Москве — к Шевалдышеву, а затем и в самую лучшую — к «Шевалье» в Газетном переулке. Не могу, однако, утверждать, что все это именно так происходило, но все это так сохранилось у меня в памяти [8].

Потом мы узнали, что Лев Николаевич решил жениться. А в сентябре 1862 года он приехал в Ясную Поляну уже со своею супругою Софьей Андреевной...

Ко времени приезда Льва Николаевича в Ясную Поляну с молодою женою все учителя разъехались по своим школам. Я был младший из всех. Мне было семнадцать

лет, и моя деятельность в Плехановской школе была не особенно удачна [9], а потому с осени я должен был заниматься в Яснополянской школе, где преподавал и сам Лев Николаевич. Но по приезде его с женою занятия в школе что-то не начинались. Я спрашивал Льва Николаевича:

— Когда же мы будем заниматься?

Он каждый раз отвечал:

— Будем, будем!

В конце концов брат Льва Николаевича, Сергей Николаевич, предложил мне давать уроки его сыну, который жил с матерью в Туле. И я переехал в Тулу...

Так кончилось мое пребывание в Ясной Поляне. Вскоре закрылись и все школы, открытые Львом Николаевичем...

Помню, что, живя летом в Ясной Поляне, мне приходилось ездить в Тулу, отстоящую верстах в тринадцати — четырнадцати от Ясной Поляны, приходилось ездить иногда верхом на небольшой белой лошадке Льва Николаевича, которая была приведена им с Кавказа, где он ускакал на ней, как говорили, от черкесов, гнавшихся за ним и не догнавших его благодаря быстроте его коня [10].

В одну из поездок в Тулу я был там в книжной лавке, кажется Пантелеева, который обратился ко мне с просьбой спросить Льва Николаевича, не продаст ли он ему издание «Князя Серебряного». Я объяснил Пантелееву, что это произведение другого графа Толстого, не Льва Николаевича. Но по приезде в Ясную Поляну рассказал об этом Льву Николаевичу. Помню его слова:

«Скажите ему (то есть Пантелееву), что я такой дряни не пишу» [11].

В начале 1863 года я покинул Тулу. Но и после мне приходилось встречаться со Львом Николаевичем. И, между прочим, в Москве в 1868 и 1869 годах, в Чертковской библиотеке [12], где я был помощником библиотекаря П. И. Бартенева (издатель «Русского архива»). Бартеневу Лев Николаевич поручил тогда и издание «Войны и мира», после того как начало этой поэмы под заглавием «1805 год» было напечатано в «Русском вестнике». Мне приходилось держать и корректуру первого тома «Войны и мира». Во время печатания этого произведения Лев Николаевич и заходил в Чертковскую библиотеку. Однажды он попросил меня разыскать все, что писалось о Верещагине, который в двенадцатом году был отдан Растопчиным народу на растерзание, как изменник. Помню, я

собрал множество рассказов об этом событии, газетных и других, так что пришлось поставить особый стол для всей этой литературы. Лев Николаевич что-то долго не приходил, а когда пришел и я указал ему на литературу о Верещагине, то он сказал, что читать ее не будет, потому что в сумасшедшем доме встретил какого-то старика — очевидца этого события, и тот ему рассказал, как это происходило.

Затем я встретился со Львом Николаевичем в 1878 году летом на железной дороге, когда он со всем своим семейством ехал из самарского имения в Ясную Поляну. Я проехал тут со Львом Николаевичем от станции Пачелмы Сызрано-Моршанской дороги до Ряжска. И в этот раз Лев Николаевич рассказывал мне о своем душевном состоянии, которое чуть было не привело его к самоубийству и разрешилось возвращением к вере, которую исповедует наш народ. В это время Лев Николаевич исполнял все церковные обряды, говел, соблюдал посты, причащался.

В последний раз я виделся со Львом Николаевичем в марте 1899 года и провел в беседе с ним два вечера у него в доме, в Москве, в Хамовническом переулке.

Этим и ограничились мои личные сношения со Львом Николаевичем.

А. А. ЭРЛЕНВЕЙН

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ
1861—1863

(Посвящается «друзьям минувших дней»)

I

Полная луна с высоты своего чертога озаряет мягким лучистым светом всю окрестность. Деревня, барский двор, сад, березовая аллея, пчельник, ближние и дальние рощи, окутанные таинственным полумраком, погружены в глубокий сон. Сквозь чащу дерев мелькает освещенный пруд. Дальше, по другую сторону пруда, на полуоткосе раскинулась деревня. Тишь и гладь кругом. Из окружающей полутьмы дерев в ослепительной белизне вырезывается Яснополянская усадьба. Там еще не спят, видны силуэты движущихся фигур.

Из открытых окон балкона в ночной тишине разносятся звуки рояля. Играют шубертовскую балладу — «Erlkönig» [«Лесной царь»]. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, гремит рояль, чей-то голос речитативом выводит: «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой, — ту-ту-ту, ту-ту-ту, издают клавиши,— ездок запоздалый, с ним сын молодой»,— вторит тот же голос. Торжественное... [1] постепенно переходит в более нежный тон. Около рояля слушатели разместились группой. Исполняет музыку вдохновенного Шуберта с пересказом слов поэтической легенды Гете — Лев Николаевич.

Звуковые волны то переходят в минорный тон, то снова растут, повышаются, и в том месте, где испуганное дитя обращается с мольбой к отцу: «Родимый, лесной царь со мной говорит, он золото, перлы и радость сулит»,

в которой слышны слезы, моление и страх, а отец, успокаивая его, говорит: «О нет, ослышался ты», музыка переходит в... и в изображении трагического финала, «когда ездок погоняет, ездок доскакал, в руках его мертвый младенец лежал», — исполнитель, сам охваченный жуткостью изображаемой минуты, всей силою мускулистых рук, бьет по клавишам, и музыка оканчивается раздирающим аккордом, и последние слова баллады: «мертвый младенец лежал» — стоном проносятся в ночной тишине.

И природа, до того момента молчаливая, мгновенно пробуждается, набежавший порыв ветра всколыхнул вершины столетних дерев, листья затрепетали, зашумели; из аллеи ветер, перебросившись через сад в рощу, стал ослабевать и затих. И снова все погрузилось в прежний сон.

Слушатели под впечатлением музыки молчали. И, как бы желая смягчить чувства, навеянные его игрою, Лев Николаевич взял другой аккорд и заиграл одну из любимых мендельсоновских мелодий.

Дети, под впечатлением пережитого чувства, полагая, что они опять услышат страшного «Лешего», заговорили:

— Не надо «Лешего» даром, Лев Николаевич, сыграй «Ключ по камушкам течет»[2].

— А почто леший чужого младенца заморил? — заметил Семка [3].

— Нешто у него своих ребят не было? — вопросительно заключил Кирюша [4].

— Лев Николаевич, сыграй «Божественную», — просил Федя [5].

— И то, и то, ребята, давай Херувимскую сыграем [6].

— Херувимскую, Херувимскую, — хором подхватили дети.

Импровизированный музыкальный вечер окончился. Студенты-учителя и яснополянская детвора, полные «звуков сладких и молитв», расходятся. Детвора за поздним временем устраивается в кабинете Льва Николаевича и через мгновение в живописных позах, раскинувшись на ковре и под письменным столом, засыпает крепким сном. Часть студентов устраивается в нижней комнате, другая направляется в школьное здание. Лев Николаевич идет провожать своих гостей. Ночь была дивная, воздух дышал весенним ароматом. Энтузиаст Томашевский [7], под наплывом чувств, его охвативших, поет, и слова той песни гул-

ко разносятся по окрестности, и по мере его удаления звуки замирают.

Поздно вернулся Лев Николаевич домой. Всюду тишина. Казалось, все уснули, но свет долго горел в его рабочем кабинете. Лев Николаевич, вероятно, заканчивает свою повесть «Казаки». Наконец и там огонь погас.

II

Кроме чтения школьных дневников и бесед о движении грамотности в народе, на встречах наших одной из излюбленных тем разговора служил вопрос о наилучшем устройстве человеческой жизни, причем Лев Николаевич всецело отдавал предпочтение сельской жизни перед городской. По его мнению, горожанин, воин, купец, чиновник, оторванные от своего первообраза — селянина, уже носят в себе, как продукты городской среды, все болезни и пороки, свойственные большим городам, постепенно вырождаясь в непроизводительный класс людей. В силу обстоятельств разобщенный с природой, оторванный от родных полей, городской обыватель становится чуждым деревенской жизни, перестает понимать ее нужды и редко умеет ценить ее прелести. Не в корпении над составлением и перепиской канцелярских бумаг, не в сидении за своим письменным столом, как пригвожденный к своей тачке каторжанин, задача человека. В стремлении жить в общении с природой, в труде, в неустанной борьбе с ней и в твердом желании подчинить ее себе, сделав ее послушным орудием велений своих, путем накопленного им знания, опыта, энергии, вот в чем видит он главную задачу человека, его цель и назначение в жизни. Вне этих условий, оторванный от земли, человек сам по себе не имеет своего... и лишен всякого права именоваться... А для того, чтобы иметь в этой борьбе с природой все шансы победы, следует прежде всего озаботиться созданием здорового поколения, здорового человека. Главным же условием этого успеха является устройство нормальной семейной жизни, и при этом он горячо отстаивал значение физиологического подбора, рекомендуя брать жен из здоровой крестьянской среды.

— Взгляните на наших городских барышень, — говорил он, — этих жалких, хилых, анемичных созданий, — стянутые с утра до ночи в узкие корсеты, как бабочки,

порхающие в своих уродливых, дорогостоящих костюмах, на балах, вечерах, собраниях, обратившие ради собственных удовольствий ночь в день, а временем сна, отдыха избравшие день.— Это ли жизнь?.. Посмотрите на их условное, уродливое воспитание, на их привычки, извращенный вкус, на их оторванность и отчужденность от природы, вслушайтесь в их разговоры, слова; для них пребывание в деревне было бы истинным наказанием, равносильным заточению или ссылке. Сравните теперь этих городских барышень, боящихся всего: и денного света, и солнца, и дуновения ветерка, и рева коровы, и жужжащего насекомого, сравните с нашими краснощекими, жизнерадостными Аленами, Матренами, Прасковьями, Евгениями,— чем же эти хуже первых? На мой взгляд, спора быть не может, все говорит в пользу последних: привычка к труду, крепкое телосложение, цвет лица, груди, бедра, упругие голени,— выбрав любую из них себе в жены, вы можете смело рассчитывать на безболезненные роды, на здоровое потомство и будете уверены, что навсегда вы гарантировали себя от медицинского шарлатанства, от этих докторов, лекарств, рецептов, аптек.

— Как находите, господа, мою мысль, прав я или я ошибаюсь? — обратился он к нам. И, не выждав ответа на предложенный вопрос, продолжал:

— Я думаю, как было бы хорошо устроить здесь на краю — на юру свою колонию однодворцев и зажить всею своею новой, особой жизнью, будем пахать, сеять, собирать в житницы... Александр Павлович, что вы скажете? — обратился Лев Николаевич к Сердобольскому [8].

— Идея ваша мне очень нравится, не знаю как вы, как другие, а я не прочь вступить в члены проектируемой вами колонии, — ответил Сердобольский.

— Анатолий Константинович [9], а вы как думаете? Ведь тогда на лоне природы пропеть с Евгеньей свет Харитоновной дуэт «С тобой вдвоем сколь счастлив я...» совсем иной смысл получится, не так ли?

— Ну что ж, Лев Николаевич, я всею душою следую за вами. Мне терять нечего. Я давно сжег за собою корабли, покончив расчеты с университетом, с цивилизацией... О возврате мне и думать нечего. Лично я полагаю, что всякая деревенская девка или баба — вроде Алены свет Ивановны или Евгении Харитоновны не в пример привлекательнее наших тепличных восковых фигурок, в кото-

рых еле тлеется жизнь, — ответил Анатолий Константинович.

А Сергей Леонтьевич[10] только недоверчиво качает головой.

— Вижу, вижу, что вы не одобряете нашей идеи, — заметил Лев Николаевич.

— Нет, Лев Николаевич, вашей идее я сочувствую, она мне нравится, но только в перспективе, на практике же, мне кажется, она трудно осуществима. Подумайте, возможно ли сочетать две крайности, два несочетаемые начала, два противоположных мировоззрения, ничего общего между собою не имеющих и взаимно друг друга парализующих. Это во-первых, а во-вторых, природа и жизнь человеческая скачков не любят. Вам предстоит не книжки читать, не узоры плести и не в идиллию играть, — нет, ваша новая жизнь на первых же порах предъявит к вам самые реальные, самые насущные требования. Крестьянская жизнь, крестьянский труд — не забава. Чтобы научиться сеять, жать, молотить, пахать, боронить, нужно пройти жестокую школу труда, на изучение которой придется потратить не один десяток лет. Ведь вопрос не в том, нравится мне или не нравится ваша идея общежития, а в том, способны ли мы осуществить ее в нашей колонии, с нашими познаниями и силами. Дело — одно, а иллюзия — другое. Нет, Лев Николаевич, как ни заманчива ваша мысль, как ни очаровательны ваши деревенские красавицы, но членом вашей колонии, при всем моем сочувствии к ней, я отказываюсь быть.

— Не огорчайте нас, Сергей Леонтьевич, вашим обычным скептицизмом, — заметил ему Анатолий Константинович, — мы не неволим вас вступать в нашу колонию с непременным условием связывать себя узами Гименея. Оставайтесь девственником до конца жизни. Это ваш удел, скептик вы этакой! Только имейте в виду, что при распределении занятий в нашей будущей «утопии» мы нашли бы вам подходящее занятие, — выбрали бы вас общественным пасечником, и ходили бы вы за нашими пчелами, изучали бы их жизнь и нравы, приносили бы нам соты, а мы поочередно вас кормили бы, обували бы и жалованье платили, с условием «не уезжай, голубчик мой, не покидай страны родной!»...

— Пожалуй, на таких условиях я согласен и спорить с вами не буду, готов принять ваше предложение, потому

что оно практически осуществимо и по роду моих занятий оно мне близко,— решил Сергей Леонтьевич.

— Ну и прекрасно, вы среди пчел, а мы с Львом Николаевичем «на краю — на юру», при сельце Ясенки, устраиваем свой однодворческий поселок и будем наслаждаться прелестями здоровой, деревенской жизни,— ответил ему Анатолий Константинович.

Не раз возвращались мы к излюбленной теме об устройстве жизни на новых началах, была даже предпринята экскурсия для осмотра пустопорожней земли, принадлежащей Льву Николаевичу, годной под поселение, но как самый осмотр, так и все дальнейшие разговоры ни к каким результатам не привели, дальше воздушных замков и прекрасных мечтаний не шли.

III

Редакция и контора по изданию журнала «Ясная Поляна»[11] помещались в Москве. В. М. Попов, негласный редактор и секретарь редакции, слал из Москвы одно требование за другим об уплате типографских расходов по предъявленным счетам Катковской типографии. Студенты-учителя, приезжая на съезды в Ясную Поляну, просили для надобности школ и для своих личных нужд отпустить им «аванса». Сотрудники за напечатание статей своих в журнале и в детских книжках требовали гонорара. Графский староста ежедневно докладывал о работах, сделанных в огороде, в саду, в поле, в риге при молотьбе зерна. По субботам контора выплачивала поденным недельный заработок. Экономия и графский двор имели свои особые требования. В конторской кассе нередко ощущался недостаток денег. Управляющий имением немец Ауэрбах, рекомендованный как ученый агроном, однажды встретился с нами на одной из прогулок и, когда кто-то осведомился о какой-то покупке, отрицательно качнул головой и на вопрос Льва Николаевича — «почему», постукивая двумя медяками, иронически, ломаным русским языком, заметил: «Вот все наше казначейство, все наше казначейство». Эта рискованная фраза не прошла ему даром. Всех занимал один и тот же неотложный вопрос— деньги и деньги. Но где их взять, вот задача?

Издание автора «Детство и Отрочество» было запродано Давыдову (кажется) за 1000 рублей[12]. «Поликушка»

и «Казаки» пошли на уплату Каткову типографских расходов и личного долга автора. Кредитных учреждений в смысле земских земельных банков тогда не существовало. Больше оперировали частные лица. В Туле проживал некий Копылов, который в своей особе сосредоточивал все банковские операции по части «купил и продал». Он скупал зерновой хлеб, торговал скотиной, покупал на сруб лес. Его расчетливый, купеческий глаз облюбовал в графском имении дивную рощицу и тут же, подле, небольшой «заказник». Сначала пошел на сруб «заказник», а затем пришла очередь и рощице. К неприятностям внутреннего распорядка присоединились неприятности внешние, служебные, по должности мирового посредника. Лев Николаевич сдал должность своему кандидату и перестал ездить на заседания уездных и губернских присутствий по крестьянским делам. Тем не менее школьные занятия, редакционные работы, цензурные придирки, денежное стеснение росли, в зависимости от этого росли и заботы по их регулированию... Лев Николаевич стал жаловаться на недомогание, на хандру. Открыл у себя присутствие чахотки. Хотя болезнь эта мало соответствовала его крепкой фигуре и здоровому цвету лица, тем не менее, помня смерть брата, он становился и мнительнее, и беспокойнее, и стал страдать бессонницей. И затосковал он до того, что решил под каким-нибудь предлогом сбежать куда-нибудь... ‹...›

V

Лев Николаевич вернулся из киргизских степей совсем преобразившийся. Он как бы сам уподобился сыну степей: обветренный жарким, сухим воздухом, загорелый от палящего солнца с несколько расплывшимся и лоснящимся лицом, после своего турне на долгих предстал в Ясной Поляне жизнерадостный, добрый, веселый. По его словам, он жил, как дитя степей, жизнью кочевника: ел баранину, опивался кумысом и кирпичным чаем, не находя прохлады в кибитке, простершись на песке, жарился на солнце, подставляя то один, то другой бок под его палящие лучи. То же самое проделывали и его спутники, которые от пустынно-однообразной жизни неимоверно скучали, в особенности мальчики. Прелести жизни полуживотного, полудикаря, о которой не раз мечтал Лев Николаевич, не могли его надолго увлечь, так как лень и

ничегонеделание были не сродни его деятельной натуре. И понятно, не выдержав полного курса кумысного лечения, он повернул через Москву обратно в свою милую Ясную Поляну. Семка и Пронька[13] по приезде домой имели удовольствие рассказывать своим и односельцам о своих путевых впечатлениях.

Лев Николаевич привез с собою лошадиный бурдюк с ферментом для кумысной закваски. Выбрав из своего косяка отборную кобылицу, пустил ее на сочную траву, а приставленный к ней человек в положенные часы доил ее, а весь удой молока сливал в бурдюк, стоявший внизу в приезжей комнате, где отстаивался. По истечении некоторого времени получался кисловатый, освежающий напиток, которым Лев Николаевич, восхищаясь, продолжал пользоваться, охотно угощая им своих гостей.

Жалоб на кашель и предрасположение к чахотке как и не бывало, точно рукой сняло, и с новой энергией он взялся за свой прежний труд. Школа, журнал, разные художественные планы с вновь назревавшим в его голове романом «Декабристы» заняли все его внимание. 〈...〉

VI

В одну из суббот съехавшиеся студенты-учителя узнали, что к Льву Николаевичу приехали гости. Не желая отрывать его от обязанностей хозяина, мы просидели в школьном здании некоторое время за беседой, за чтением газет и журналов. Наконец появился в учительской Алексей[14], камердинер Льва Николаевича, и изрек:

— Кушанье подано, граф приказали просить пожаловать к обеду.

— Алексей Степанович,— обратился к нему Сердобольский,— я слышал, к вам гости приехали, а можно знать, кто такие?

— Из Москвы давние знакомые графа, барышни Берс пожаловали с матушкой и с сынком[15].

И добавил внушительно:

— Пожалуйте, граф ждут.

Отвыкнув от салонной жизни, от светской болтовни, порвав связи с цивилизацией, с барством, с разными утонченными вежливостями, мы подбирали благовидный повод, чтобы не идти.

— Знаете ли, Алексей Степанович, извинитесь перед

Татьяной Александровной [16] и графом, скажите, что я скоро еду в Головеньковскую школу, а потому на обеде быть не могу, а вот если бы Алексей Степанович прислал что-нибудь перекусить перед отъездом, то я не отказался бы; было бы совсем кстати подкрепиться в дорогу, — заметил Сердобольский.

— Да, да, и мы тоже, и мы тоже, — подхватила вся компания,— передайте, что сегодня же мы разъезжаемся по школам, удобнее было бы прислать сюда.

— Как прикажете,— невозмутимо заметил верный слуга и ушел.

Учителя так отстали от городского общества, так одичали, что стеснялись светского общества и чувствовали себя не в авантаже. К тому же и костюм их в деревенской глуши значительно поистрепался и требовал усердной починки и чистки. В обыкновенное время Лев Николаевич служил нам примером, и мы не стеснялись костюмом, ходили в поддевках, в блузах, в кафтанах, в кумачовых рубашках. А тут выступать перед столичными, светскими барышнями в виде интеллигента-мужика, — ни боже мой, ни за что! Лучше совсем не показываться, чем вызывать чувство сожаления и сострадания к этим бедным студентам-учителям.

Наши грустные мысли вскоре были прерваны появлением школьного сторожа Петра и Алексея Степановича, которые, кряхтя, на двух громадных подносах внесли приятные для глаза яства, от аромата которых наши мрачные мысли несколько рассеялись. Татьяна Александровна и Наталья Петровна [17], каждая из них имела среди нас, студентов, своих любимцев, которым протежировала, одна — Эрве [18] и Гудиму, другая — Бутовичу [19] и Томашевскому, поэтому все до мелочи было предусмотрено, ничего не забыто, всего вдоволь. Греха таить нечего, всем хотелось есть, но мы стеснялись об этом говорить.

Утолив свои желудки, мы уселись на ступеньках крыльца, стали подумывать, как нам быть — ехать или не ехать по домам. Поехать, не повидавшись со Львом Николаевичем, было неловко — решили повременить.

Погода была дивная, в природе царила абсолютная тишина. Прозрачный воздух, безмолвные деревья, яркая зелень, листья, цветы застыли, как очарованные; все манило в лес, в тень, но внезапно вся эта сказочная тишина нарушилась стуком колес, треском подков, заливным звоном бубенчиков и грохотом подкатившего экипажа, от

которого задрожал дом, и сияющий Лев Николаевич собственной своей персоной, на линейке, запряженной тройкой, одетый кучером, в синей шелковой рубахе, подкатил к школьному зданию.

— Здравствуйте, господа, я за вами, барышни скучают, нужно их развеселить, едем в заказник.

Сконфуженные столь быстрой метаморфозой своего первоучителя, на обращенный призыв его никто не отозвался.

— Анатолий Константинович, что вы удивленно смотрите, ведь вы любитель быстрой езды, видите, какие лихие кони, на подбор, не бойтесь, не опрокину, доставлю здравым и невредимым, садитесь.

— Нет, Лев Николаевич, мне пора в школу, мало осталось времени.

— Да полно, поспеете еще. Александр Александрович, ведь вы не уезжаете, не правда ли? Вам близко. Садитесь, не думайте долго. Не хотите? Митрофан Федорович, пожалуйте. Что это, господа? Точно вы сговорились? Митрофан Федорович, да идите же.

Митрофан Федорович, более мягкий, сговорчивый, сентиментальный, любитель прекрасного пола, дал себя уговорить. Лошади фыркали, пристяжные рвались, коренной нетерпеливо взмахивал дугой, бубенчики гремели.

— Митрофан Федорович, зайдите же, видите,— лошади, как огонь, удержу нет.

Наконец Бутович с крыльца прыгнул на подножку линейки.

— Не разъезжайтесь, господа, вечером увидимся,— крикнул Лев Николаевич оставшимся и, качнув головой, мотнув вожжами, помчался на линейке к своим хоромам.

Никогда мы не видали его в таком приподнятом, жизнерадостном настроении. Какое-то смутное чувство подсказало нам, что настроение это вызвано присутствием столичных барышень. И чувство не то досады, не то сожаления заговорило в каждом из нас. Столь быстрая метаморфоза, происшедшая на наших глазах, пробудила в нас болезненную тревогу. Одна и та же мысль, точно электрическая искра, пробежала у всех. Точно неопределенный призрак, предшествуемый своему видению, предстал перед нами. Один и тот же вопрос мелькнул у всех: неужто это случится? Не может быть! И тревожимые одной и той же догадкой, мы не смели ее высказать вслух. Время тянулось вяло, тягостное молчание прерывалось односложными вопросами и ответами. Опять по-

слышался отдаленный звук бубенчиков, грохот колес, и не успели мы оглянуться, как лихо подлетевшая тройка, в умелых твердых руках, была сразу осажена, высадив Бутовича, Келера[20]. Лев Николаевич крикнул нам: «Не уезжайте, господа», — и помчался с барышнями дальше.

Стало вечереть. Вскоре появился посланный просить на чай. Если раньше не было никакого основания к отказу от обеда, то теперь какое-то новое чувство недовольствия подсказало его, и мы решительно отклонили приглашение идти на чай. Митрофан Федорович делился с нами подробностями катанья. После чая, часов в 11, перед тем как разойтись, явился Лев Николаевич, сияющий, довольный, веселый, радостный.

— Ну что же, господа, что поделывали, о чем говорили? Читали дневники?[21] Александр Александрович, как подвигается ваша переделка «Махомета», будет ли готова к следующей книжке?[22]

— Да вот все вас поджидали, Лев Николаевич, дневников без вас не читали; мой «Махомет» за прекрасной Кадиджей неизвестно куда сбежал; но к следующей книжке, быть может, поспеет. Лев Николаевич совсем нас забыл, до нас ли ему теперь,— подшучивал Мефистофель[23].

— Что вы, Александр Александрович, напротив, все время думал о вас, имел сильное желание быть с вами, хотел познакомить вас с приезжими барышнями, да вы не пожелали. Хорошо сделали, что не уехали. Сегодня я ваш гость, господа. Наши дамы меня выпроводили к вам, я ваш гость, у вас ночую. Очень рад, что могу с вами поговорить, как всегда. Только позвольте мне улечься, а то я ужасно устал.

— Ох, Лев Николаевич, вы хотите поговорить, как всегда, но сегодня вы не такой, как всегда, сегодня вы и тот, да не тот, не тот самый, что были прежде, вы точно преобразились. Лицо оживлено, глаза блестят, слова льются рекой, неспроста это.

— Александр Александрович, не говорите загадками, уверяю вас, я все тот же, такой, каким был прежде, так и теперь, я вижу, вы недовольны, но чем же, за что? Приезжими барышнями? Что вам они сделали, эти милые барышни? Или за то, что они помешали мне быть с вами, говорить с вами о школе, о ребятах, читать дневники, не так ли?

— Да вот, Лев Николаевич, мне думается, как бы эти самые милые барышни не очаровали вас? И что станется

тогда с нашим поселком «на краю — на юру»? Что скажут наши Матрены, Алены, Прасковьи? Как быть тогда с нашими школами, что станется с ребятами? Кто позаботится о журнале, о детских книжках? Смотрите, как бы ради городских барышень вы не изменили вашему труду, вашим привычкам, вашему образу жизни, вашим планам, вот что.

— Да нет же, говорю вам — нет, этого быть не может; то, о чем вы думаете, того нет, не было и не будет. Чтобы я изменил школе моей, моему журналу, да это невозможно, это было бы изменой себе и общему нашему делу. Школа — это мое детище, ребята — моя поэзия и любовь, журнал — мое призвание. Могу ли я им изменить, или забыть, или перестать любить их? Это было бы равносильно отречению от самого себя.

— Зачем забывать, или изменять, или отрекаться? Можно, полюбив кого-нибудь, сделать перестановку предметов и переоценку ценностей, и лица, дотоле занимавшие на нашей авансцене первую роль, уступят свою честь и место новоприбывшим исполнителям, и тогда школа, ученики, журнал, если и не забудутся совсем, то отодвинутся на второй план.

— Повторяю вам, нет и нет. То, о чем вы говорите так утвердительно, для меня теперь не существует ни в чувствах, ни в мыслях, и если бы вы меня спросили, которой из трех девиц я отдаю предпочтение, то я затруднился бы вам сказать, которая лучше. Каждая из них имеет свои особенности, свои прирожденные качества, каждая имеет свое особое отличие, свою индивидуальную натуру, свое собственное «я», и в этом прелесть каждой из них. Если бы вы меня спросили, которой из них я отдаю первенство, я затруднился бы ответить, которая из них лучше, которой отдать предпочтение, так все хороши. Старшая [24] на вид кажется недоступной, гордой, с осанкой... обещает играть роль в большом свете, блистать в салонах, принимать гостей, выезжать, заниматься общественными и благотворительными делами. Несмотря на ее кажущуюся недоступность, на самом деле она очень простая и добрая. Средняя — приветливая, с прелестными голубыми глазами [25], которые дышат, как и все лицо ее, откровенностью, правдивостью, и всегда немножко сосредоточенная в себе. Выйдя замуж, она будет нежной, доброй, плодовитой матерью и, как хорошо выхоленное существо, радовать сердце своего хозяина, даря ежегодным приплодом. Хозяйст-

во, семья, дети — ее призвание и назначение. Самая младшая [26] — это артистическая, исключительная натура. Она находится еще в периоде неопределенных порывов и стремлений. Всем увлекающаяся — и музыкой, и пением, и лошадьми, охотою на зверя с гончими и в одиночку с ружьем и верхом с борзыми, как заправская наездница, ни в чем, ни в одном спорте не уступит мужчине, неустрашимая, остроумная, веселая.

Если бы вы сказали, — выбирайте любую из них, я стал бы в тупик, не зная, на которой остановить свой выбор, которой отдать предпочтение, каждая имеет свои достоинства и свои особые индивидуальные черты, не встречающиеся у других сестер. Я вам чистосердечно повторяю еще раз: нет и нет, то, о чем вы думаете, не может быть. Со школой, с ребятами, с журналом я не расстанусь; это значило бы похоронить навсегда мою любовь, мою поэзию, значило бы отказаться от всего, всего, что мне ближе и дороже всего в жизни; нет, нет, я вижу, что сегодня вы все ко мне предрасположенно несправедливы, почему-то недовольны мною?

— Быть может, я ошибаюсь, Лев Николаевич, быть может, вы еще не проверили себя, не дали себе отчета в чувстве, вас охватившем, но, повторяю, ваше приподнятое настроение, ваше оживленное лицо, ваши блестящие глаза говорят больше, нежели вы сами и все ваши аргументации; во всяком случае, буду рад, если ошибусь. Отбросив ваши утопии о крестьянских девушках, о проектированном однодворческом поселке, повторяю еще раз: если только в вашей жизни совершится тот переворот, о котором идет речь, не забудьте мой горячий завет — не покидайте ребятишек, не забывайте школ, вами созданных, не бросайте начатого вами дела, — закончил Сердобольский.

Лев Николаевич, раздетый, лежа в постели, продолжал горячо оспаривать высказанное предположение и доказывать его несбыточность. Разговор этот затянулся далеко за полночь. Пожелав Льву Николаевичу хороших сновидений и сладких мечтаний, мы пошли на свою половину, в общеучительскую комнату, где разговор продолжался на ту же тему до рассвета. Утром компания наша разъехалась по школам.

Вскоре разъехались, как мы потом узнали, и московские гости. Еще спустя три-четыре недели Лев Николаевич укатил в Москву, как нам говорили, по делам

издаваемого им журнала «Ясная Поляна». Через месяца полтора после достопамятного разговора пришло известие, что Лев Николаевич вернулся в Ясную Поляну уже не один, а с молодой женой и в жены выбрал одну из трех сестер, среднюю, ту самую, которую охарактеризовал как примерную жену, мать и домовитую хозяйку.

VII

«Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день...» [27] Всему на свете свой конец. Учителя уж реже стали наезжать в Ясную Поляну; реже и Лев Николаевич принимал участие в наших субботних съездах; чтение школьных дневников прекратилось, педагогические беседы канули в Лету, графский дом уже не манил к себе, как бывало прежде, учителя старались графа не тревожить в его новых обязанностях и реже туда заглядывали. Если студенты заходили в его дом или в школу, то или по настоянию самого хозяина, или по необходимости: книжки обменять, запастись школьным материалом — бумагою, мелом, грифелями — или получить набравшуюся за неделю корреспонденцию и, обменявшись словом-другим с встретившимся товарищем о настоящем и минувшем, не задерживаясь, как прежде, тем же порядком пускались в обратный путь.

Студенты, реже бывая в Ясной Поляне, стали чаще посещать друг друга в их школах.

Тесные связи и доверчивые отношения, существовавшие некогда между главным творцом и устроителем сельских школ и кружком его молодых сотрудников, постепенно ослабевали и заменились недоверчивыми встречами. Все с сожалением, с душевной болью взирали, как неведомая сила, помимо их воли, увлекала их обожаемого руководителя на противоположный берег реки и как силою ее течения относила все дальше в тот семейный очаг, откуда нет возврата. И хотя верная спутница его жизни не раз высказывала ему свое желание о том, чтобы все оставалось по-прежнему, как было до ее приезда, без всякого изменения, сама предлагая участвовать своим трудом в общественной работе, обещая помогать по мере сил и умений, но сила влечения была сильнее его, и любовь, ищущая наслаждения в уединении, поставила свои преграды, иже не прейдеши. 〈...〉

В. С. МОРОЗОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О Л. Н. ТОЛСТОМ УЧЕНИКА ЯСНОПОЛЯНСКОЙ ШКОЛЫ

КАК ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ РАЗВОДИЛ НАС ПО ВЕЧЕРАМ

Школа наша росла и росла, крепла и крепла. В учении было легко, в играх весело. Учителя, я говорил, были веселые. Каждый преподаватель говорил так, что нам было легко понимать. Все залегало в память, и мы отвечали на вопрос охотно. Сам Лев Николаевич находился с нами почти безотлучно. В особенности он более привязался к первоклассникам, то есть лучшим ученикам. Занятие было серьезное. Он как бы доставал что-то глубокое в душе ученика.

Не раз мы запаздывали с учением. Второй и третий классы бывали уже распущены по домам, а мы оставались вечерять, так как любил Лев Николаевич по вечерам читать с нами книги. Любимая наша вечерняя книга была «Робинзон Крузо». Я читал бойко и внятно, и чтение поручалось мне и Чернову. И когда поздно засиживались до полуночи в чтениях, рассказах и шутках, в дурную ненастную погоду Лев Николаевич развозил нас на своих лошадях по домам.

Он часто следил и зорко всматривался в нас, на кого какие книги действуют. Из излюбленного моего чтения были стихи Кольцова: «Что ты спишь, мужичок». Я эти стихи приравнивал к моему отцу, вспоминая, как

отец последние два пуда муки продавал на праздник. Или стихи: «Посмотрю, пойду, полюбуюся, что послал господь за труды людям» [1]. Такие стихи я заучивал наизусть.

Времени и охоты у Льва Николаевича хватало с нами на все. Учились, играли, веселились, беседовали, полуночничали, по Заказу [2] и лесам гуляли.

Идем однажды по дороге. Лев Николаевич остановился, уперлись и мы. Он указал будто на серьезную находку — валявшийся кончик веревочки в четверть.

— Поднимите кто веревочку, она на что-нибудь годится.

Мы рассмеялись и спросили:

— На кой она ляд?

— Как на кой ляд? Она годится мешок завязать или подтяжек [3] привязать; спросят, а у тебя готово, не искать.

Никто не поднял. Я подурачился перед товарищами, поднял веревочку, и как раз она пригодилась подвязать мой худой карман, из которого терялся у меня завтрак.

Идем дальше. Вдруг Козлов залетел с вопросом:

— Лев Николаевич, а хорошо быть богатым? Как можно разбогатеть?

Лев Николаевич оборотился и сказал:

— Когда ты будешь работать, то старайся каждый день от трудов сберечь по пяти копеек, проживешь тридцать лет, сочти, у тебя будет денег много.

Дошли до деревни, и Лев Николаевич, как десятский, разводил нас по квартирам, интересуясь, заглядывая каждому в окно: где ужинают, где ложатся, а где уже спят.

Когда мы дошли до нашего дома, то у нас еще горел огонь ярко, в окно видно было, сидел отец мой, Кандауров и Тит Борискин. Перекидывали карты, играли в «темную с нашей» на деньги. Лев Николаевич посмотрел попристальней и сказал:

— У вас играют в карты, и деньги на столе. Ну, прощай!

— Прощайте, Лев Николаевич! — И он пошел вниз, к себе домой, один, бесстрашный, не боясь нашей колдуньи Копыловой.

СОРЕВНОВАНИЕ С ГИМНАЗИСТАМИ. ВЕЧЕР ПОСЛЕ ЭТОГО

Сидим мы однажды в школе, занимаемся. Приходит Лев Николаевич, объявляет нам новость:

— Знаете ли, что я вам скажу?

Мы навострили уши, думаем, что за новость.

— На завтрашний день к нам приедут из тульской гимназии гимназисты с своим учителем и хотят нас оспорить, что они лучше нас учатся, они или мы — кто лучше?

На завтрашний день мы стали готовиться. Робость нас брала, как в первый раз, когда мы поступали в школу, как мы станем на спор с такими хорошенькими барчатами. Наране [4] мы стояли у черной доски, решая заданные нам задачи. Не столь трудно было решать задачи, сколько трудно было нам сблизиться с приезжими, как двум народцам-противникам. Они смотрели на нас, как на новинку, мы смотрели на них, как на редкость. Мы пересилили боязнь, и они пересилили свой стыд. Мы приступили к решению одной и той же заданной нам и им задачи. Началась выписка, деление, умножение, вычитание, дробление. Мы сосредоточились на задаче, будто про наших противников забыли. По арифметике были у нас первые забияки Романцев и Козлов. Они, как приз взяли, первые решили задачу и сказали Льву Николаевичу:

— Что, так мы решили?

У нас получилось 943 и $^1/_2$. Лев Николаевич следил за решением задачи и сказал:

— И я так думаю, что должно получиться столько.

Лев Николаевич обратился к учителю гимназистов:

— Мы решили, у нас получилось требуемое число.

— Сейчас и мы кончаем,— сказал ихний учитель.

Доска у них вся была исписана, и задача решена неправильно. Лев Николаевич, не унижая, любезно обратился к нашим товарищам:

— Так, так, прекрасно!.. Вы хорошо сделали, только вот здесь вы пропустили в дроблении, а то у вас шло прекрасно.

Во всем, что только преподавалось у нас в школе, мы померились знаниями и ничем не уступили нашим городским барченятам, и любезно распростились, как равные, с своими товарищами. Лев Николаевич был доволен нами и ими. Только сказал нам, когда те уехали:

— Пущай их подумают.

Вечер этого дня был у нас особенный, как торжественный праздник. Все были веселей веселого. Играли в лапту со Львом Николаевичем и бегали до упаду.

Потом сидели на террасе, беседовали, говорили шутки, которые всегда были у Льва Николаевича наготове. Он рассказывал нам сказки, страшные и смешные, пел песни, прикладывая слова к нам. Начал с меня:

Уж ты, Васька-карапуз...
Кабы скушал ты арбуз...
То-то бы ты подрос...
Кирилл стоит,
В окно глядит...

и т. д. каждому.

Лев Николаевич вообще был ужасный-ужасный шутник; не пропустит случая, чтобы как-нибудь всегда не пошутить, не посмеяться.

Называл он нас разными прозвищами. Он часто это делал. Тараса Фокáнова называл «Мурзик», меня — «Васька-карапуз», Кирюшку — «Обожженное ушко» и т. д. Я один раз спросил его:

— А как бы нам вас прозвать?

— А вы еще до сих пор не знаете, как меня маленького дразнили? Я вам не говорил?

— Нет.

— Меня дразнили Лéвка-пузырь.

Мы все, засмеявшись, спросили:

— Почему вас прозвали пузырь?

— Я был толстый, надутый, как дыня. Вот меня так и прозвали [5].

Вечер у нас прошел по-прежнему скоро за полночь. Я сказал Льву Николаевичу:

— Как вы скоро сочинили про нас песни.

Стали прощаться, но Лев Николаевич остановил нас и сказал:

— Напишите мне от себя письма.

Мы, пораженные новостью, не зная, что писать, спросили:

— Какие письма и что нам писать?

— Ну опишите, что вы дома делаете и как живете.

Когда мы пришли с составленными письмами, подавая один за другим, он прочитал молча и никому ничего не

отвечал. Прочел все и потом взял одно письмо и начал читать вслух:

«Лев Николаевич. Мы бедные, и кабы вы дали мне денег, я бы стал торговать и был бы богатым. Данила Козлов».

Прочел письмо Лев Николаевич, положил его и сказал:

— Такие письма, Козлов, нехороши. Мне не нравится.

Потом взял другое письмо, просмотрел его молча и сказал мне:

— Морозов, а ты все это правду мне описал?

— Вы сказали же написать, что мы делаем и как живем. Я же написал, думается мне, правду.

Лев Николаевич улыбнулся мне, как бы отдавая за письмо мне благодарность, и мурлыкнул что-то, — я не разобрал.

ПИСАНИЕ СОЧИНЕНИЯ. БЛИЗОСТЬ СО ЛЬВОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ

Читали мы как-то вместе со Львом Николаевичем одну книгу. Не упомню заглавие книги, но книга была очень хороша. Я часто спрашивал Льва Николаевича, останавливаясь на точках, с вопросом:

— Лев Николаевич, а вы можете так сами составить?

— Не знаю.

После чтения книги Лев Николаевич сказал нам, всему классу:

— Давайте и мы что-нибудь напишем, выдумаем.

И мы приступили к сочинению. Задача трудна, стали думать, а думать не о чем, и не знаем, как начать.

— Ну вот, начнемте хоть про какого-нибудь старика, хотя бы в стихах.

Опять не начинаем. «Как про старика писать?» — думаем.

— Ну, хотя бы так, — сказал Лев Николаевич. — У окна стоит старик, — начал он и замолчал.

— Ну, кто будет дальше продолжать? — сказал Лев Николаевич.

Все молчали, подбирали рифму, но далее писать подсказал опять Лев Николаевич.

— В чем он одет?

— В худеньком тулупе,— сказал Макаров.

Лев Николаевич поправил:

— В прорванном тулупе еще лучше. Ну, дальше?

— А на улице мужик красны яйца лупя,— подсказал я.

Подбор был трудный, и мы, остановясь на этом, закончили. Одно закончили, но, по-видимому, Льва Николаевича брала охота начать другое. Он задавал нам писать на пословицы, но что-то у нас ничего не выходило. Один раз мы стали писать сочинение втроем: Лев Николаевич, Макаров и я, Морозов. Все пошло у нас порядком. То Лев Николаевич скажет, то Макаров, то я. И мы как бы друг другу не уступали, сочинители были равные. Написали уже целый лист, перешли на другой. Лев Николаевич восхищался нашему успеху и то и дело говорил:

— Как прекрасно у нас выходит! Как хорошо! Бог даст, окончим и напечатаем, будет книга.

Мне стало завидно, что Лев Николаевич воспользуется один всеобщей книгой, будут читать и скажут: «Лев Николаевич написал». Не желая ему одному уступить то, что выдумывали и мы, я заявил ему претензию, сказал:

— Лев Николаевич, а как будете отпечатывать?

Лев Николаевич посмотрел на меня и не понял вопроса.

— Так и напечатаем.

— Нет, Лев Николаевич, а вы напечатайте всех нас троих. Вот, например, по фамилии: Макаров, Морозов, а ваша как фамилия?

— Толстой.

— Ну вот так троих и ставьте: Макаров, Морозов и Толстов.

Лев Николаевич улыбнулся и сказал утвердительно:

— Так мы и напечатаем троих [6].

К сожалению, я не могу вспомнить ничего из «знаменитого нашего произведения», как называл его Лев Николаевич. Все забыл, исчезло из воспоминаний. И, к сожалению, тот самый наш труд не осуществился. Он был уничтожен нашими учениками на игры на хлопушки [7]. И долго-долго Лев Николаевич скучал о нашем сочинении, негодовал на шалунов. Я взялся было возобновить потерянное и написать точь-в-точь, что было. Мы остались на всю ночь ночевать в доме Льва Николаевича и с Макаровым приступили к делу. И переписка у нас не

выходила. Мы спорили между собой с Макаровым, и оба забывали самую суть. Мы написали, но уже не так хорошо, и всегда Лев Николаевич скучал о потерянном. Все-таки желание свое Лев Николаевич не оставил, и он сказал мне:

— Морозов, напиши ты что-нибудь мне сам.

— А что писать, Лев Николаевич?

— Напиши так, как ты стал себя помнить, каких лет ты был. Пяти или шести лет. Как вы жили и как ты помнишь вообще свою жизнь.

— Хорошо, Лев Николаевич.

И я стал писать, долго я писал, мудрствовал. Написанное Лев Николаевич просматривал и все говорил:

— Хорошо, очень, очень хорошо!

Я опять с большим усердием продолжаю, и опять Лев Николаевич просматривает и опять говорит:

— Хорошо, очень, очень хорошо! Продолжай еще.

Я мудрствовал все дальше и дальше, и мне наконец стало надоедать. Мне казалось длинно и хотелось скорей закончить конец.

В конце я поставил: «С тех пор мы стали хорошо жить», — и потом подношу ему и говорю:

— Лев Николаевич, посмотрите, что, не довольно мне писать?

Лев Николаевич посмотрел и сказал:

— Хорошо, очень, очень хорошо! — свернул мое писание, прибрал к себе.

— Вот я тебе его напечатаю.

Я в душе не верил этому. Но вскоре я свой рассказ прочел напечатанным, — «Солдаткино житье», как назвал мой рассказ Лев Николаевич [8].

Я радовался на свой написанный и отпечатанный рассказ. Меня повысили, я как бы выдавался первым учеником Яснополянской школы. Приезжали некоторые посетители, любители школ и близко знакомые Льва Николаевича, отдавали мне должное, как маленькому писаке, мне сыпались одобрения, и я с гордостью в душе торжествовал. Лев Николаевич относился ко мне не так, как к школьнику рассеянному, а серьезно, как к старшему ученику. Он никогда не хвалил меня и не возвышал ни за какие подвиги, но я, как воришка, приладился к его характеру. И хотя он относился в школе, в играх, в беседах, в гулянье со всеми нами одинаково, но я мог читать в нем, что Лев Николаевич любит меня. Я, как прикоман-

дированный к нему, часто оставался в доме Льва Николаевича ночевать, и спал с ним вместе, в его спальне, на полу.

Он любил пение и играть на фортепиано. А я обладал хорошим голосом. И мы с ним пели его любимую песню:

С тобой вдвоем
Сколь счастлив я,
Поешь ты лучше соловья,
И ключ по камушкам течет,
К уединенью нас влечет...[9]

В школе нас учили церковному пению. Несколько раз мы ездили в церковь петь хором вместе со Львом Николаевичем. Иногда хор собирался человек в 20—25. Лев Николаевич пел басом. Голос у него был хороший, сильный. Отправлялись мы в церковь так: собирались у школы утром, к школе подавали катки, и мы вместе со Львом Николаевичем насаживались в эти катки, и нас отвозили в церковь. Я пел альтом, и пел хорошо. За такое альтовое пение я получал от него награду — ставленный балл 5+. Иногда он эту пятерку всю обставлял кругом крестами,

+++
вот так: + 5 + Выше жаловать меня было нечем.
+++

Баллы нам ставили не за одно пение. Помнится, сам Лев Николаевич ставил баллы нам очень редко, и то как бы в шутку, и, кажется, только за одно пение. Другие же учителя ставили по всем предметам. Больше же всех ставил баллов сердитый учитель Владимир Александрович. В начале учения мы совсем даже не понимали, что такое «баллы». Помнится, их ставили в середине учения. В конце же учения их опять не было.

ГУЛЯНЬЕ НА МАСЛЕНИЦУ

Подходила масленица. Лев Николаевич сказал:

— Давайте мы устроим гулянье на масленицу, созовем учеников из всех деревень к нам сюда на блины.

— А разве всех накормишь? — сказали мы. — Не напечешься блинов, народу соберется полк полком. Из одной ведь нашей школы сколько!

— А мы позовем четырех баб. В две печки поджаривай да и ладно.

— Скажи только, чтобы насушили дров побольше, чтобы был пыл,— посоветовали мы.

— А масла-то мало ли пойдет,— сказал я.

— Приготовим и масла.

— Хорошо будет! — предвидя радость, сказал Макаров.

И вот Лев Николаевич объявил учителям своих школ, чтобы они приезжали на масленицу со всеми своими учениками на блины.

Наступила масленица. Съехались ученики со всех школ. Приехали на подводах со стариками и старухами. Пришли и мы. Около школы народу пушкой не прошибешь. Вышел Лев Николаевич, со всеми здравствуется и говорит:

— Очень рад, что вы приехали к нам на блины.

Блины жарились, масло коровье растоплено. Лев Николаевич вошел в кухню и поблагодарил баб за блины.

Лев Николаевич распорядился прежде накормить старух и стариков, а после учеников, потому что всем сразу некуда было поместиться. Уселись рядом, началось угощение. Лев Николаевич ходил возле столов, угощал, подставлял сам масло, подавал сметану и творог, просил есть без стеснения, мазать блины пожирней, творог и сметану не жалеть. Кончилась одна застольщина, пошла другая, сели ученики. Лев Николаевич стал обходить и этих гостей, спрашивал каждого: «Ты из какой школы, а ты из какой?»

Всех благодарил, что приехали на блины.

— Ешьте смелей, не стесняйтесь.

Лев Николаевич обратился к бабам и сказал:

— Арина, Степанида, кормите досыта, чтобы всем вдоволь было.

— Всего много, ваше сиятельство,— сказала раскрасневшаяся от печки Арина,— блинов много и масла пропасть.

— Вот это хорошо, ну а я пойду других кормить.

Лев Николаевич вышел из этого дома и пошел в тот дом, где он жил. Мы отправились с ним. В этом доме были написаны на какой-то ленте буквы: «Гуляем, ребята! Масленица!»

Начали и нас угощать, блины хорошие с маслом и с сметаной, ешь хоть впримочку. Лев Николаевич тоже ел и подхваливал блины:

— Ай-да блины! ай-да вытуленки!

Алексей Степанович не успевал ходить с тарелками за блинами. Наелись на славу. Мы поблагодарили Льва Николаевича за блины и стали расходиться. К дому собралась целая толпа школьников, старух и стариков из других деревень отблагодарить Льва Николаевича. А Лев Николаевич их тоже благодарил за то, что приехали. Все разъехались и долго помнили широкую масленицу, какую устроил им Лев Николаевич.

ЖЕНИТЬБА
ГОДЫ РАБОТЫ
НАД „ВОЙНОЙ И МИРОМ"
И „АННОЙ КАРЕНИНОЙ"

С. А. ТОЛСТАЯ

ЖЕНИТЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО

ПОЕЗДКА В ИВИЦЫ И ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

В начале августа 1862 года мы, три сестры, были страшно обрадованы известием, что моя мать с маленьким братом Володей и нами, тремя девочками, собирается ехать на лошадях в ходивших в то время анненских каретах [1] к отцу своему, нашему деду, Александру Михайловичу Исленьеву.

Дедушка Исленьев (описанный Львом Николаевичем в «Детстве» в лице «папа») жил в то время в имении своем Ивицы, Одоевского уезда, единственном, оставшемся от большого состояния, и то купленном на имя его второй жены, мачехи моей матери, Софии Александровны, рожденной Ждановой. Эта Жданова описана у Льва Николаевича в «Детстве» под именем «La belle Flamande» *.

Все три дочери моего деда от второго брака были тогда молодые девушки [2], и со второй из них я была очень дружна.

Имение деда моего отстояло от Ясной Поляны приблизительно в пятидесяти верстах. В Ясной Поляне находилась в то время сестра Льва Николаевича, Мария Николаевна, приехавшая из Алжира, и так как моя мать была лучшим другом детства Марии Николаевны [3] и им, естественно, хотелось повидаться, то мать моя, с детства не посещавшая Ясную Поляну, решила непременно заехать туда. Это привело еще нас в больший восторг, и мы с се-

* Прекрасная фламандка (*франц.*).

строй Таней радовались, как радуются очень молодые всякой перемене и передвижению. Сборы были оживленные, шились нарядные платья; укладывались и с нетерпением ждали дня отъезда.

День отъезда я совсем не помню. Смутны и мои воспоминания о дороге — станции, перепряжка лошадей, еда на скорую руку и усталость от непривычки к дорогам. Приехали мы в Тулу к сестре моей матери, тетеньке Надежде Александровне Карнович, жене тульского предводителя дворянства. Ходили осматривать город Тулу, который мне показался очень скучным, грязным и неинтересным. Но надо было ничего *не пропустить* и добросовестно отнестись ко всему во время нашего путешествия.

После обеда мы поехали в Ясную Поляну. Был уже вечер. Погода была прекрасная. Дорога Засекой [4], по шоссе, такая живописная, и так ново, так просторно и непривычно для нас, городских девочек, было это впечатление первобытной природы.

Мария Николаевна и Лев Николаевич встретили нас шумно-радостно. Сдержанная и любезная тетенька Татьяна Александровна Ергольская встретила нас французскими, учтиво-любезными приветствиями, а приживалка ее, старушка Наталья Петровна [5], то молча гладила меня по плечу, то, подмигивая, заигрывала с моей меньшой сестрой Таней, которой было в то время 15 лет.

Нам отвели внизу большую комнату со сводами, не только просто, но и бедно меблированную. Вокруг этой комнаты стояли диваны, выкрашенные белой краской, с очень жесткими подушками вместо спинок и такими же сиденьями, все обитое полосатеньким, синим с белым, тиком. Тут же стояло длинное кресло, с такими же подушками, и тоже белое. Стол был простой, березовый, сделанный домашним столяром. В потолок сводов вделаны были железные кольца, на которые вешали в старину седла, окорока и прочее, когда при деде Льва Николаевича, князе Волхонском, комната эта была кладовой.

Дни уже были не очень длинные. Это было в начале августа. Мы едва успели обежать сад, и нас Наталья Петровна повела на малину. В первый раз в жизни нам пришлось есть малину с кустов, а не из решет, в которых привозили нам на дачу малину для варенья. Малины на кустах уже было мало, но я очень любовалась красотой этих красных ягод в зелени и наслаждалась их свежим вкусом.

НОЧЛЕГ И КРЕСЛО

Когда стало смеркаться, мать послала меня вниз разложить вещи и приготовить постели. Мы с Дуняшей, горничной тетеньки [6], занялись приготовлением к ночлегу, как вдруг вошел Лев Николаевич, и Дуняша обратилась к нему, говоря, что троим на диванах постелила, а вот четвертой места нет.

— А на кресле можно, — сказал Лев Николаевич и, выдвинув длинное кресло, приставил к нему широкую квадратную табуретку.

— Я буду спать на кресле,— сказала я.

— А я вам постелю постель, — сказал Лев Николаевич,— и неловкими, непривычными движениями стал развертывать простыню. Мне было и совестно, и было что-то приятное, интимное в этом совместном приготовлении ночлегов.

Когда все было готово и мы пришли наверх, сестра Таня, усталая, свернувшись, спала на диванчике в комнате тетеньки. Володю тоже уложили спать. Мама беседовала с тетенькой и Марией Николаевной о старине. Сестра Лиза вопросительно встретила нас глазами. Всякую минуту этого вечера я помню живо.

В столовой с большим итальянским окном косенький, маленького роста лакей, Алексей Степанович [7], накрывал ужин. Величавая, довольно красивая Дуняша (дочь дядьки Николая, описанного в «Детстве») помогала ему и что-то расставляла на столе. Дверь в середине стены была отворена в маленькую гостиную с старинными розового дерева клавикордами, а из гостиной были отворены двери, с таким же итальянским окном, на маленький балкон, с которого был прелестный вид, потом, во всю мою последующую жизнь, привлекавший мои взоры. И поныне я любуюсь им.

Я взяла стул и, выйдя на балкон одна, села любоваться видом. То настроение, которое охватило меня в то время, я не забывала никогда, хотя никогда не сумею его описать. Было ли то впечатление настоящей деревни, природы и простора; было ли это предчувствие того, что случилось полтора месяца после, когда я уже хозяйкой вступила в этот дом; было ли это просто прощание с свободной девичьей жизнью или все вместе, — не знаю. Но настроение мое было очень значительное, серьезное, счастливое и какое-то новое, беспредельное.

Все собрались ужинать. Лев Николаевич пришел звать и меня.

— Нет, благодарю вас, я не хочу есть,— сказала я,— здесь так хорошо.

Из столовой слышался притворный, капризный, шутливый голос моей, всеми балованной и привыкшей к этому, сестры Тани. Лев Николаевич вернулся в столовую, но, не кончив ужинать, пришел опять ко мне на балкон. О чем мы говорили,— я подробно не помню; помню только, что он мне сказал: «Какая вы вся ясная, простая». И мне это было приятно.

Как хорошо спалось в длинном кресле, приготовленном мне Львом Николаевичем! С вечера я вертелась в нем, было немного неловко и узко от двух сторон локотников, но я смеялась в душе каким-то внутренним весельем, вспоминая, как Лев Николаевич готовил мне этот ночлег, и засыпала с новым, радостным чувством во всем моем молодом существе.

ПИКНИК В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Радостно было и утреннее пробуждение. Хотелось всюду обежать, все осмотреть, со всеми поболтать. Какой был легкий дух и тогда в Ясной Поляне! Лев Николаевич хлопотал, чтоб нам было весело; Мария Николаевна очень этому сочувствовала. Запрягли так называемые катки,— длинный экипаж-линейку. В корню был рыжий Барабан, пристяжная — Стрелка. Потом оседлали старинным дамским седлом гнедую Белогубку, а Льву Николаевичу — очень красивую белую лошадь и стали собираться на пикник.

Приехали еще гости: жена тульского архитектора, Громова, и Сонечка Бергхольц, племянница начальницы тульской женской гимназии Юлии Федоровны Ауэрбах. Марья Николаевна, счастливая, что с ней были ее два лучших друга, моя мать и Громова, была в особенно игривом и веселом настроении: острила, шутила и бодрила всех. Мне Лев Николаевич предложил ехать верхом на Белогубке, чего мне очень хотелось.

— А как же, у меня здесь амазонки нет, — сказала я, оглядывая свое желтенькое платье с черными бархатными пуговками и таким же поясом.

— Это ничего,— сказал Лев Николаевич, улыбаясь,— здесь не дачи, кроме леса, вас никто не увидит,— и подсадил меня на Белогубку.

Казалось, что счастливее меня никого нет на свете, когда я скакала рядом с Львом Николаевичем по дороге в Засеку, где теперь наша ближайшая станция [8], а тогда был сплошной лес. Когда, позднее, я всю жизнь ездила по тем же местам, я их никогда не признавала теми же самыми. Тогда все было другое, что-то до того волшебно-прекрасное, чего не бывает в обыденной жизни, а что бывает только в известном, духовно приподнятом настроении. Мы приехали на какую-то полянку, где стоял стог сена. На этой полянке, в Засеке, впоследствии мы сколько раз с моими детьми и с семьей моей сестры Тани пивали чай и справляли пикники, но это была уже другая полянка, другое она имела освещение.

Мария Николаевна пригласила всех лезть на стог и оттуда скатываться, на что все охотно согласились. Вечер прошел весело и шумно.

На другое утро мы уехали в село Красное, раньше принадлежавшее моему деду, Исленьеву. Там похоронена моя бабушка[9]. И моя мать хотела непременно посетить те места, где она родилась и выросла, и поклониться могиле своей матери, похороненной возле церкви. Нас неохотно отпускали из Ясной Поляны и взяли с моей матери честное слово, что на обратном пути мы снова заедем, хотя бы на один только день, в Ясную Поляну. ‹...›

ИВИЦЫ

Из Красного, покормив лошадей, мы поехали в той же карете в Ивицы, к деду. И там прием нам был торжественно-радостный. Дедушка, быстро шагая, не поднимая ног, как-то скользя мягкими сапожками, все время шутил и называл нас «московскими барышнями». Он имел привычку двумя пальцами — средним и указательным — щипать наши щеки и, подмигивая, сказать что-нибудь шуточное, причем он щурил свои узенькие смеющиеся глаза. Так и вижу его мощную фигуру с черной ермолкой на лысой голове и с большим горбатым носом на румяном бритом лице.

Софья Александровна, его вторая жена, поражала нас всегда тем, что курила длинную трубку, причем нижняя

губа ее отвисала, и от прежней красоты ее только оставались ее черные блестящие и очень выразительные глаза.

Красивая Ольга, их вторая дочь, на вид спокойная и холодная, повела нас наверх, в приготовленную для нас комнату. Там, за шкапом, была моя постель, и вместо столика был поставлен около простой деревянный стул.

На другой день нашего приезда нас возили к каким-то соседям, где были барышни очень приветливые, но совершенно чуждые нам по всему. То были настоящие деревенские барышни тургеневских повестей. И весь быт тогдашних помещиков был еще полон духа крепостного права. Жизнь помещиков была очень проста, без железных дорог, с замкнутой, терпеливой удовлетворенностью теми интересами, которые входили в их жизнь: хозяйственные дела, соседи, охота с борзыми и гончими, женские рукоделия и изредка незатейливые, но веселые празднования семейных и церковных праздников.

Наш приезд в Одоевский уезд произвел некоторое впечатление. Приезжали многие нас посмотреть, устраивали пикники, танцы, катанья.

На другой же день нашего пребывания в Ивицах неожиданно явился верхом на своей белой лошади Лев Николаевич. Он проехал пятьдесят верст и приехал бодрый, веселый и возбужденный. Мой дед, любивший Льва Николаевича, да и вообще всю семью Толстых, по дружбе с графом Николаем Ильичом Толстым, особенно радостно и любовно приветствовал Льва Николаевича.

Было что-то очень много гостей. Молодежь, после дневного катанья, вечером затеяла танцы. Тут были и офицеры, и молодые соседи-помещики, и много барышень и дам. Все это — толпа неизвестных нам, чужих и чуждых лиц. Но что было за дело? Было весело, и только и надо было. Танцы на фортепиано играли, чередуясь, разные лица.

— Какие вы здесь все нарядные, — заметил Лев Николаевич, глядя на мое белое с лиловым барежевое платье, с светло-лиловыми бантами на плечах, от которых висели длинные концы лент, называемые в то время «Suivez moi» *. — Мне жаль, что вы при тетеньке не были такие нарядные, — прибавил с улыбкой Лев Николаевич.

— А вы что ж, не танцуете? — сказала я.

— Нет, куда мне, я уже стар.

---

* Следуйте за мной (*франц.*).

На двух столах старички и дамы играли в карты. Когда потом все разъехались и разошлись, столы остались открытыми, свечи догорали, а мы все еще не шли спать, потому что Лев Николаевич оживленно разговаривал и удерживал нас. Но мама нашла, что всем пора отдохнуть, и строго велела идти спать. Мы не смели ослушаться. Уже я была в дверях, когда Лев Николаевич меня окликнул:

— Софья Андреевна, подождите немного!

— А что?

— Вот прочтите, что я вам напишу.

— Хорошо, — согласилась я.

— Но я буду писать только начальными буквами, а вы должны догадаться, какие это слова.

— Как же это? Да это невозможно! Ну, пишите.

Лев Николаевич счистил щеточкой все карточные записи, взял мелок и начал писать. Мы оба были очень серьезны, но сильно взволнованы. Я следила за его большой, красной рукой и чувствовала, что все мои душевные силы и способности, все мое внимание были энергично сосредоточены на этом мелке, на руке, державшей его. Мы оба молчали.

ЧТО ПИСАЛ МЕЛОК

«В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.», — написал Лев Николаевич.

«Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья»,— прочла я.

Сердце мое забилось так сильно, в висках что-то стучало, лицо горело, — я была вне времени, вне сознания всего земного: мне казалось, что я все могла, все понимала, обнимала все необъятное в эту минуту.

— Ну, еще,— сказал Лев Николаевич и начал писать:

« В в. с. с. л. в. н. м. и в. с. Л. З. м. в. с в. с. Т.»

«В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой»,—быстро и без запинки читала я по начальным буквам.

Лев Николаевич даже не был удивлен. Точно это было самое обыкновенное событие...[10]

Наше возбужденное состояние было настолько более

повышенное, чем обычное состояние душ человеческих, что ничто уже не удивляло нас.

Послышался недовольный голос матери, звавшей меня спать. Мы наскоро простились, потушили свечи и разошлись. Наверху за шкапом я зажгла маленький огарок и принялась писать свой дневник, сидя на полу и положив тетрадь на деревянный стул. Я тут же вписала слова Льва Николаевича, написанные мне начальными буквами, и тут же смутно поняла, что между им и мной произошло что-то серьезное, значительное, что уже не может прекратиться. Но я не дала ходу ни своим чувствам, ни своим мечтам по разным причинам. Я точно заперла на ключ все случившееся в этот вечер, с тем чтобы спрятать до времени то, что еще не должно видеть света.

Когда мы уехали из Ивиц, мы снова на один день заехали в Ясную Поляну. На этот раз там весело не было. Мария Николаевна собиралась уезжать с нами вместе в Москву, оттуда за границу, где она оставила своих детей, и тетенька Татьяна Александровна, страстно любившая свою Машеньку, была грустна и молчалива. Ей всегда тяжела была разлука с той, которую она с детства воспитала и любила, как дочь, и которая так глубоко была несчастна с ее родным племянником, сыном ее сестры Елизаветы Александровны, графом Валерианом Петровичем Толстым. Меня смущало отношение Льва Николаевича ко мне и подозрительные взгляды сестер и окружающих. Мать моя, казалось, тоже была чем-то озабочена. Маленький Володя и сестра Таня устали и стремились скорее домой.

ПОЕЗДКА В АННЕНСКОЙ КАРЕТЕ

Послали в Тулу нанять большую анненскую карету (названные так по их содержателю, Анненкову). Внутри ее было четыре места и сзади два, как в крытой пролетке с верхом. Мы, старшие девочки, с сожалением оставляли Ясную Поляну. Простились с тетенькой и Натальей Петровной и искали Льва Николаевича, чтоб проститься с ним.

— Я еду с вами, — сказал он просто и весело. — Разве можно теперь оставаться в Ясной Поляне? Будет так пусто и скучно, — прибавил он.

Не отдавая себе отчета, почему мне вдруг стало так весело, почему таким все светилось счастьем, я побежала объявить новость матери и сестрам. Решено было, что в заднем, наружном месте будет все время ехать Лев Николаевич, а мы с сестрой Лизой будем чередоваться: одну станцию поедет она, другую — я, и так до Москвы.

И вот мы едем, едем... Помню, вечером мне страшно хотелось спать. Я зябла, куталась и чувствовала такое спокойное счастье возле любимого мною с детства, привычного друга семьи, любимого автора «Детства», и теперь такого ласкового и еще более симпатичного. Он рассказывал мне длинно и красиво о Кавказе, о своей жизни там, о красоте гор и первобытной природы, о своих подвигах. Мне так хорошо было от его голоса, равномерного, но как будто горлового, издалека откуда-то, и нежно-растроганного. И я то минутами засыпала, то опять просыпалась, и все тот же голос рассказывал мне красиво и поэтично свои кавказские сказки. Мне совестно было за свою сонливость, но я была еще так молода, и хотя жаль было не все услыхать, что рассказывал Лев Николаевич, я все-таки минутами не могла преодолеть сна. Ехали всю ночь. Внутри кареты все спали, и только изредка переговаривались моя мать с Марией Николаевной или пищал во сне маленький Володя.

Но вот стали подъезжать к Москве. Последняя станция опять моя, и я должна ехать со Львом Николаевичем в заднем, наружном месте. На последней станции подходит ко мне моя сестра Лиза и просит уступить ей ехать в наружном месте.

— Соня, если тебе все равно, уступи мне,— просила она.— В карете так душно.

Мы вышли из станции и стали все садиться по местам. Я полезла в карету.

— Софья Андреевна! — окликнул меня Лев Николаевич.— Ведь теперь ваша очередь ехать сзади.

— Я знаю, но мне холодно,— уклончиво ответила я, и дверка кареты захлопнулась за мной.

Лев Николаевич постоял минуту, как бы задумавшись о чем-то, и сел на козлы.

На другой день Мария Николаевна уехала за границу, а мы вернулись в Покровское [11] на нашу дачу, где ждали нас отец и братья.

Вся прежняя жизнь моя стала другая. Та же обстановка, те же люди, та же я — по внешности. Но куда-то ушло мое личное «я»; то самое чувство, овладевшее мною еще в Ясной Поляне и Ивицах, продолжало владеть мною. Мое «я» попало в беспредельное пространство, свободное, ничем не ограниченное и всемогущее. Я доживала эти последние девичьи дни какой-то особенной силой жизни, освещенной ярким светом и особенным пробуждением души. Еще в два периода моей жизни я испытала эту силу духовного подъема. И эти редкие, периодические особенные пробуждения души убедили меня больше, чем что-либо, что душа живет своей отдельной жизнью, что она бессмертна и что смерть есть освобождение души, когда она покинет тело.

Приехав с нами из Ясной Поляны в Москву, Лев Николаевич нанял себе квартиру у какого-то немца-сапожника и поселился у него. В то время он был занят школьной деятельностью и журналом под названием «Ясная Поляна», цель которого была чисто педагогическая, преимущественно для народных школ. Продолжался он только один год.

Лев Николаевич приходил к нам в Покровское почти ежедневно. Иногда привозил его к нам мой отец, ездивший часто в город по обязанностям службы. Раз Лев Николаевич пришел и сказал нам, что был в Петровском парке во дворце и подал через дежурного флигель-адъютанта письмо государю Александру II по поводу оскорбления, нанесенного ему без всякого повода жандармским обыском в Ясной Поляне[12]. Это было 23-го августа 1862 года. Государь находился в то время в Петровском парке по случаю маневров на Ходынском поле.

Мы много гуляли и беседовали с Львом Николаевичем, и он меня раз спросил, пишу ли я свой дневник. Я сказала, что пишу давно, с 11-летнего возраста, и, кроме того, написала в прошлое лето, когда мне было 16 лет, длинную повесть.

— Дайте мне прочесть ваши дневники,— просил меня Лев Николаевич.

— Нет, не могу.

— Ну, так дайте повесть.

Повесть я дала. На другое утро я спросила его, читал ли он ее. Он мне ответил спокойно и равнодушно, что

просмотрел ее. А в дневнике его впоследствии я прочла по поводу чтения моей повести следующее: «Дала прочесть повесть. Что за энергия правды и простоты». И потом он мне рассказал, что не спал ночь и очень его взволновало мое суждение о лице повести, князе Дублицком, в котором он узнал себя и про которого говорилось, что «князь необычайно непривлекательной наружности, и в нем переменчивость суждений» [13].

Помню, раз мы были все очень веселы и в игривом настроении. Я все повторяла одну и ту же глупость: «Когда я буду государыней, я сделаю то-то», или: «Когда я буду государыней, я прикажу то-то». У балкона стоял кабриолет моего отца, из которого только что выпрягли лошадь. Я села в кабриолет и кричу: «Когда я буду государыней, я буду кататься в таких кабриолетах».

Лев Николаевич схватил оглобли и вместо лошади рысью повез меня, говоря: «Вот я буду катать свою государыню». Какой он был сильный и здоровый, показывает этот эпизод.

— Не надо, не надо, вам тяжело! — кричала я. Но мне было очень весело, и мне нравилось, что Лев Николаевич такой сильный и катает меня.

Какие были тогда чудесные лунные вечера и ночи. Как сейчас, вижу я ту полянку, всю освещенную луной, и отражение луны в ближайшем пруду. Были какие-то стальные, свежие, бодрящие августовские ночи... «Какие сумасшедшие ночи»,— часто говаривал Лев Николаевич, сидя с нами на балконе или гуляя с нами вокруг дачи. Не было между нами никаких романических сцен или объяснений. Мы так давно знали друг друга. Общение между нами было так легко и просто. И точно я спешила доживать какую-то чудесную, свободную жизнь, ясную, ничем не спутанную, девичью жизнь. Все было хорошо, легко, ничего не хотелось, никуда я не стремилась.

И вот опять и опять приходил к нам Лев Николаевич. Иногда, когда он поздно у нас засиживался, родители мои оставляли его ночевать. Раз мы пошли его провожать,— это было в самом начале сентября, и когда надо было уже с ним расстаться и возвращаться домой, сестра Лиза поручила мне пригласить Льва Николаевича ко дню ее именин, 5-го сентября. Я как-то задорно-настойчиво стала его звать; он сначала отказывался, удивлялся и спрашивал: «Почему вы именно на пятое зовете?» Объяснять я не смела. Меня просили об именинах не упоминать.

Лев Николаевич обещал и, к общей нашей радости, пришел. С ним всегда все было интересно и весело.

Сначала я посещения его относила не к себе. Но начинала сознавать, что меня забирает к нему серьезное чувство. Помню раз, сильно взволнованная, я прибежала наверх в нашу девичью комнату с итальянским окном, с видом на пруд, дальше на церковь, на все то, что так привычно и дорого было с самого рождения (я родилась в Покровском), стою у окна, а сердце так и бьется. Взошла сестра Таня и сразу поняла, что я не спокойна.

— Что с тобой, Соня? — участливо спросила она.

— Je crains d'aimer le comte *, — быстро и сухо ответила я ей по-французски.

— Неужели? — удивилась Таня, совсем не подозревавшая моего чувства. Она даже огорчилась. Она знала мой характер. Для меня и тогда и после всегда «aimer» значило не забавляться этим чувством, а скорее страдать.

В МОСКВЕ

Между 5-м и 16-м сентября мы всей семьей переехали в Москву. Как всегда, покинув дачу и жизнь с природой, в Москве мне все сначала казалось скучно, тесно, замкнуто, и это угнетающе действовало на душевное состояние. Перед отъездом у нас был обычай прощаться с любимыми местами и в короткий срок обежать как можно больше таких мест. В этот год я действительно навсегда простилась с милым Покровским вместе с моей девичьей жизнью.

В Москве опять начались почти ежедневные посещения Льва Николаевича. Раз вечером я тихонько вошла к матери за перегородку в ее спальне. Она была уже в постели. Сколько раз, бывало, приедешь откуда-нибудь с вечера или из театра, и мама весело скажет: «Ну, рассказывай». И начинаешь ей повествование о проведенном вечере или в лицах представляешь то, что видела в театре. На этот раз мы обе были невеселы.

— Ты что, Соня?—спросила меня мать.

— Вот что, мама. Все думают, что Лев Николаевич женится не на мне[14], а он, кажется, меня любит,—робко сказала я.

---

* Я боюсь, что люблю графа (*франц.*).

Моя мать почему-то рассердилась и напала на меня.

— Вечно воображает, что все в нее влюблены,—почему-то напустилась она на меня.—Ступай, уходи и не думай глупостей.

Меня огорчило подобное отношение матери к моей откровенности, и я после этого уже ни с кем не говорила о Льве Николаевиче. Отец тоже сердился, что Лев Николаевич, посещая так часто наш дом, не делал по старому русскому обычаю предложения старшей дочери, и был холоден с Львом Николаевичем и недобр со мной. Положение в доме было натянутое и тяжелое, особенно для меня.

14-го сентября Лев Николаевич мне сказал, что должен мне сообщить нечто очень важное, но не успел мне сказать, что именно. Догадаться было нетрудно. Разговаривал он со мной в этот вечер долго. Я играла на рояле в гостиной, а он стоял, прислонившись всей фигурой к печке, и как только я замолкала, он повторял: «Играйте, играйте...» Музыка мешала другим слышать его слова, а руки мои дрожали от волнения, и пальцы путались, играя чуть ли не в десятый раз все тот же мотив вальса «Il Baccio», который я выучила наизусть, чтоб аккомпанировать пенью сестры Тани.

Предложения мне тогда Лев Николаевич еще не делал, и я подробно не помню теперь его речи. Помню, что смысл его слов был таков, что он меня любит, что хочет на мне жениться. Но все это были только намеки. А в дневнике он писал:

«12-го сентября 1862 года. Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, если это так продолжится. Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях...»

«13-го сентября 1862 года... Завтра пойду как встану и все скажу, или застрелюсь... 4-й час ночи... Я написал ей письмо и отдам завтра, т. е. нынче 14. Боже мой, как я боюсь умереть! Счастье, и такое, мне кажется невозможным. Боже мой, помоги мне!»

Прошел еще день 15-го. 16-го сентября, в субботу, вечером, приехали кадеты: мой брат Саша и его товарищи. В столовой пили чай и кормили голодных кадетов. Лев Николаевич весь этот день провел у нас и, выбрав от посторонних глаз минутку, вызвал меня в комнату моей матери, где никого в то время не было.

— Я хотел с вами поговорить, — начал он, — но не мог. Вот письмо, которое я уже несколько дней ношу в кармане. Прочтите его. Я буду здесь ждать вашего ответа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Я схватила письмо и стремительно бросилась бежать вниз, в нашу общую, девичью комнату, где мы жили все три сестры. Вот содержание его:

«Софья Андреевна, мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: нынче все скажу, и ухожу с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собою это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или недостанет духу сказать вам все. *Ложный взгляд вашего семейства* на меня состоит в том, как мне кажется, что я влюблен в вашу сестру Лизу. Это несправедливо. *Повесть ваша засела у меня в голове*, оттого что, прочтя ее, я убедился в том, что мне, Дублицкому, не пристало мечтать о счастье, что ваши *отличные* поэтические требования любви... что я не завидую и не буду завидовать тому, кого вы полюбите. Мне казалось, что я могу радоваться на вас, как на детей. В Ивицах я писал: *«Ваше присутствие слишком живо напоминает мне мою старость, и именно вы»*. Но и тогда и теперь я лгал перед собой. Еще тогда я мог бы оборвать все и опять пойти в свой монастырь одинокого труда и увлечения делом. Теперь я ничего не могу, а чувствую, что напутал у вас в семействе; что простые, дорогие отношения с вами, как с другом, честным человеком потеряны. И я не могу уехать и не смею остаться. Вы честный человек, руку на сердце, не торопясь, ради бога не торопясь, скажите, что мне делать? Чему посмеешься, тому поработаешь. Я бы помер со смеху, если бы месяц тому назад мне сказали, что можно мучиться, как я мучаюсь, и счастливо мучаюсь это время. Скажите, как *честный человек*, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, *смело* вы можете сказать: да, а то лучше скажите: нет, ежели в вас есть тень сомнения в себе. Ради бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать: *нет*, но я его предвижу и найду в себе силы снести.

Но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасно!»[15]

Письмо это я хорошенько не прочла сразу, а пробежала глазами до слов: «Хотите ли вы быть моей женой». И уже хотела вернуться наверх, к Льву Николаевичу, с утвердительным ответом, как встретила в дверях сестру Лизу, которая спросила меня: «Ну, что?» — «Le comte m'a fait la proposition» *, — отвечала я ей быстро. Вошла моя мать и сразу поняла, в чем дело. Взяв меня решительно за плечи и повернув к двери, она сказала:

— Поди к нему и скажи ему свой ответ.

Точно на крыльях, с страшной быстротой вбежала я на лестницу, промелькнула мимо столовой, гостиной и вбежала в комнату матери. Лев Николаевич стоял, прислонившись к стене, в углу комнаты и ждал меня. Я подошла к нему, и он взял меня за обе руки.

— Ну, что?—спросил он.

— Разумеется, да,—отвечала я.

Через несколько минут весь дом знал о случившемся, и все стали нас поздравлять.

ИМЕНИНЫ. НЕВЕСТА

На другой день, 17-го сентября, были именины моей матери, Любови Александровны, и мои. Все московские родные, друзья и знакомые приезжали нас поздравлять, и всем объявляли о нашей помолвке. Старый профессор университета, учивший нас с сестрой французскому языку, узнав, что за Льва Николаевича выхожу замуж я, а не моя старшая сестра, наивно сказал:

— C'est dommage, que cela ne fut m-lle Lise, elle a si bienétudié **.

Маленькая Катя Оболенская бросилась меня обнимать и сказала обратное:

— Как я рада, что вы выходите замуж за такого хорошего человека и писателя.

Невестой я была только неделю: от 16-го до 23-го сентября. Возили меня по магазинам, и я равнодушно примеряла платья, белье, уборы на голову. Приходил ежедневно Лев Николаевич и принес мне раз свои дневники.

* Граф сделал мне предложение (*франц.*).

** Как жалко, что не Лиза, она так хорошо училась (*франц.*).

Помню, как тяжело меня потрясло чтение этих дневников, которые он мне дал прочесть, от излишней добросовестности, до свадьбы. И напрасно: я очень плакала, заглянув в его прошлое.

Помню, раз, вечером, мама с сестрами поехала в театр. Давали «Отелло», и играл знаменитый тогда трагик Ольридж. Мать моя прислала и за нами коляску, чтобы мы тоже приехали в театр. Помню мое чувство, что я немного боялась Льва Николаевича, боялась, что он во мне, глупой, ничтожной девчонке, скоро разочаруется. И мы почти всю дорогу молчали.

А то раз он пришел днем, а я сижу с своей подругой, Ольгой З.[16], в зале, у окна, и она горько плачет.

Лев Николаевич удивился:

— Точно вы ее хороните, — сказал он.

— Все кончено, вы ее увезете, и она для нас всех пропадет,—сказала она по-французски, не в силах остановить своих слез.

Эта неделя прошла, как тяжелый сон. Для многих свадьба моя оказалась горем, и Лев Николаевич страшно торопил свадьбой. Моя мать говорила, что нужно сшить если не все приданое, то хотя бы все самое необходимое.

— Да ведь она одета, — говорил Лев Николаевич, — да еще всегда такая нарядная.

Кое-что сшили мне наскоро, главное—весь свадебный наряд, и назначили свадьбу на 23-е сентября, в 7 часов вечера, в дворцовой церкви. У нас шли спешные приготовления, но и у Льва Николаевича было много хлопот. Он купил прекрасный дормез, заказывал фотографии всей моей семьи, подарил мне брошку с брильянтом. Снял и свой портрет, который я просила вделать в подаренный мне отцом золотой браслет.

Еще немало ему было хлопот и неприятностей с неким г. Стелловским, которому Лев Николаевич продал тогда свои сочинения[17]. Но от подарков и нарядов я большого восторга не испытывала,— не то меня интересовало. Я вся была поглощена своей любовью и страхом потерять любовь Льва Николаевича. И этот страх и потом, во всю мою жизнь, оставался в моем сердце, хотя, благодаря бога, в 48 лет нашей супружеской жизни мы сохранили эту любовь.

Когда мы со Львом Николаевичем говорили о нашем будущем, он предлагал мне избрать, где я хочу быть после свадьбы: остаться пожить в Москве, с родными, ехать

ли за границу или прямо в Ясную Поляну. И я избрала последнее, чтоб сразу начать серьезную, семейную жизнь *дома*. И Лев Николаевич, по-видимому, был этому рад.

СВАДЬБА

Наступил и день свадьбы, 23-го сентября. Я весь день не видала Льва Николаевича. Только на минутку забежал он, и мы сидели с ним на уложенных уже каретных важах, и он начал меня мучить допросами и сомнениями моей любви к нему. Мне даже казалось, что он хочет бежать, что он испугался женитьбы. Я начала плакать. Пришла моя мать и напала на Льва Николаевича. «Нашел, когда ее расстраивать, — говорила она. — Сегодня свадьба, ей и так тяжело, да еще в дорогу надо ехать, а она вся в слезах». Льву Николаевичу стало как будто совестно. Он скоро ушел и обедал в этот день с своими посажеными отцом и матерью: Василием Степановичем и Прасковьею Федоровною Перфильевыми. Они его и благословили и сопровождали в церковь. Шафером Лев Николаевич пригласил Тимирязева[18], а брат Сергей Николаевич уехал в Ясную Поляну приготовлять все к нашему приезду и встретить нас там.

Со стороны Льва Николаевича приехала к свадьбе еще его тетка, Пелагея Ильинична Юшкова. Она ехала со мной в карете, и тут же был с образом мой маленький брат Володя.

В седьмом часу мои сестры и подруги начали меня одевать. Я просила не брать парикмахера, причесалась сама, а барышни закололи мне цветы и длинную тюлевую вуаль. Платье было тоже тюлевое, по тогдашней моде, с очень открытой шеей и руками. Все это окружало меня как облако, так все было тонко и воздушно. Худые плечи и руки не сложившейся еще девочки имели жалкий и костлявый вид. Но вот я готова, ждем от жениха посланного шафера с объявлением, что жених в церкви. Проходит час и больше—нет никого. В голове моей мелькнула мысль, что он бежал, — он был такой странный утром. Но вместо шафера является взволнованный, засуетившийся, косенький лакей Алексей Степанович и требует, чтоб поскорей раскрыли важи и достали оттуда чистую рубашку. Приготовив все для свадьбы и отъезда, забыли оставить чистую рубашку. Посылали купить, но было воскресенье,

и все магазины были заперты. Пока ее свезли, пока оделся и приехал в церковь жених, прошло еще много времени. Явился наконец и шафер жениха, объявив, что жених в церкви. Начались прощание, слезы, рыдания, и меня совсем расстроили.

— Что мы будем делать без нашей графинюшки! — приговаривала няня, с раннего детства называвшая меня так, вероятно, потому, что я носила имя моей бабушки, графини Софии Петровны Завадовской.

— А я без тебя умру с тоски, — говорила моя сестра Таня.

Маленький брат Петя смотрел на меня отчаянно своими грустными черными глазами. Моя мать избегала меня и усиленно хозяйничала с свадебными приготовлениями. У всех на душе было невесело от предстоящей разлуки.

Отец был нездоров. Я пошла к нему в кабинет проститься, и он казался смягченным и растроганным. Приготовили хлеб-соль, мать взяла образ мученицы Софии; рядом с ней стоял мой дядя Михаил Александрович Исленьев, брат моей матери, и они благословили меня.

Торжественно и молча поехали мы все в церковь, в двух шагах от дома, где мы жили. Я плакала всю дорогу. Зимний сад и придворная церковь Рождества богородицы были великолепно освещены. В дворцовом зимнем саду меня встретил Лев Николаевич, взял за руку и повел к дверям церкви, где нас встретил священник. Он взял в свою руку наши обе руки и подвел к аналою. Пели придворные певчие, служили два священника, и все было очень нарядно, парадно и торжественно. Все гости были уже в церкви. Церковь была полна и посторонними, служащими во дворце. В публике делали замечания о моей чрезмерной молодости и заплаканных глазах.

Обряд нашего венчания прекрасно описал Лев Николаевич в романе своем «Анна Каренина», когда он описывал свадьбу Левина и Кити. Он ярко и художественно изобразил и внешнюю сторону обряда и весь психологический процесс в душе Левина. Что касается меня, я уже столько за все дни пережила волнений, что, стоя под венцом, я ничего не испытывала и не чувствовала. Мне казалось, что совершается что-то несомненное, неизбежное, как всякое стихийное явление. Что все делается так, как нужно, и рассуждать уж нечего.

Моими шаферами были брат Саша и его бывший товарищ по корпусу П., тогда уже гвардейский офицер [19].

Обряд кончился, нас поздравляли, и мы уже вдвоем со Львом Николаевичем поехали в карете домой. Он был ласков и, по-видимому, счастлив... Дома, в Кремле, приготовлено было все то, что обычно бывает на свадьбах: шампанское, фрукты, конфеты и пр. Гостей было немного, только родные и самые близкие друзья.

Меня переодели в дорожное платье. Престарелая наша горничная Варвара, которую шутник, старый друг отца, доктор Анке прозвал «Устрицей» и которая ехала со мной, суетилась с лакеем Льва Николаевича, Алексеем, и окончательно укладывала все вещи.

ПРОВОДЫ И ОТЪЕЗД

Привели шестерку почтовых лошадей с форейтором, впрягли в новенький дормез, только что купленный Львом Николаевичем, увязали наверх кареты черные, глянцевитые, перетянутые ремнями важи, и Лев Николаевич начал торопить отъездом.

Что-то тяжелое, мучительное подступило мне к самому горлу и душило меня. Я вдруг в первый раз ясно почувствовала, что я *навсегда* отрываюсь от своей семьи, от тех, кого так сильно любила, с кем прожила всю свою жизнь. Но я сдерживала свои слезы, свое горе. Начались прощания. Это было ужасно! Прощаясь с больным отцом, я уже не могла не плакать. Прощаясь с сестрой Лизой, я пристально посмотрела ей в глаза; она тоже прослезилась. Сестра Таня по-детски громко плакала, и ей вторил брат Петя, слишком много нарочно выпивший шампанского, чтобы не почувствовать своего горя, как объяснил он сам, и его увели спать. Сошла я вниз, поцеловала и перекрестила своего двухлетнего спящего братца Вячеслава, простилась и с няней, Верой Ивановной, которая с рыданиями бросилась меня целовать и в лицо, и в плечи, и куда попало. Сдержанная старушка Степанида Трифоновна, прожившая в нашей семье более 35-ти лет, учтиво пожелала мне счастья.

Но вот и последние минуты. Я нарочно оставила свое прощание с матерью под конец. Уже совсем перед тем, как мне сесть в карету, я бросилась ей на шею. Мы обе рыдали. В этих слезах, в этом прощании была и обоюдная

благодарность за все хорошее, что мы своей любовью дали друг другу; было и прощение за невольные огорчения, была и скорбь разлуки с любимой матерью, и ее материнское желание мне счастья.

Когда я наконец решилась оторваться от моей матери и, не оборачиваясь, стала садиться в карету, она вскрикнула таким раздирающим голосом, что долго потом, да и во всю свою жизнь, я не забыла этого крика, стона ее сердца, от которого точно оторвали что-то.

Осенний дождь лил не переставая; в лужах отражались тусклые фонари улиц и только что зажженные фонари кареты. Лошади нетерпеливо стучали копытами, а передние с форейтором тянули вперед. Дверку кареты захлопнул за нами Лев Николаевич. На заднее место вскочил Алексей Степанович и влезла престарелая «Устрица» Варвара. Зашлепали лошади по лужам, и мы поехали. Забившись в уголок, вся разбитая от усталости и горя, я, не переставая, плакала. Лев Николаевич казался очень удивленным и даже недоумевающе-недовольным. У него настоящей семьи — отца, матери — не было, он вырос без них, и понять меня, как мужчина, он тоже не мог. Он мне намекал, что я его, стало быть, мало люблю, если так тяжело расстаюсь с своей семьей. Он тогда не понял, что если я так страстно и горячо люблю свою семью, то ту же способность любви я перенесу на него и на наших детей. Так и было впоследствии.

Когда выехали из Москвы за город, стало темно и жутко. Я никогда прежде никуда не ездила ни осенью, ни зимой. Отсутствие света и фонарей удручало меня. До первой станции, кажется Бирюлево, мы почти не разговаривали. Помню, что Лев Николаевич был как-то особенно бережно нежен со мной. В Бирюлеве нам, молодым, да еще титулованным, приехавшим шестериком в новом дормезе, открыли царские комнаты, большие, пустые, с красной триповой мебелью, и такие неуютные. Принесли самовар, приготовили чай. Я забилась в угол дивана и молча сидела, как приговоренная.

— Что же, хозяйничай, разливай чай, — говорил Лев Николаевич.

Я повиновалась, и мы начали пить чай, и я конфузилась и все чего-то боялась. Ни разу я не решилась перейти на «ты», избегала как-либо назвать Льва Николаевича и долго после говорила ему «вы».

ПРИЕЗД В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

Ехали мы от Москвы до Ясной Поляны немного менее суток и на другой день к вечеру приехали домой, чему я была очень рада. И так странно. Я *дома*, и где же? В Ясной Поляне.

Первое мое впечатление, когда я вошла на лестницу дома, в котором мне суждено было прожить полвека, было — тетенька Татьяна Александровна, с образом знамения божией матери, и рядом с ней брат Сергей Николаевич с хлебом-солью. Я поклонилась им в ноги, перекрестилась, поцеловала образ и тетеньку. Лев Николаевич сделал то же. Потом мы пошли в ее комнату, где была Наталья Петровна. С этого дня началась моя жизнь в Ясной Поляне, откуда я почти не выезжала первые 18 лет. В дневнике своем Лев Николаевич тогда написал: «25-го сентября 1862 г. Неимоверное счастье! Не может быть, чтоб это кончилось только жизнью!»

С. А. БЕРС

ВОСПОМИНАНИЯ О ГРАФЕ Л. Н. ТОЛСТОМ

⟨...⟩Вся жизнь Льва Николаевича в полном смысле слова трудовая. Почти во всех письмах, написанных мне зимою, сестра упоминает: «Мы все очень заняты. Зима наша рабочая пора». Лев Николаевич писал преимущественно зимою, в течение целого дня, а иногда и до поздней ночи. Он, по-видимому, не ждал вдохновения и не признавал его. Он садился ежедневно утром за стол и работал. Если он не писал, то подготовлялся к писанию изучением источников и материалов. Иногда перед работой и после обеда он любил читать английские романы. Даже летом, когда дети пользовались отдыхом и жена упрашивала его отдыхать и не работать, он уступал просьбе не всегда. В самом добросовестном труженике я не видал такого строгого отношения к праздности, как у Льва Николаевича по отношению к самому себе.

Утром он приходил одеваться в свой кабинет, где я спал постоянно под гравированным портретом известного философа Артура Шопенгауэра. Перед кофе мы шли вдвоем на прогулку или ездили верхом купаться. Утренний кофе в Ясной Поляне едва ли не самый веселый период дня. Тогда собирались все. Оживленный разговор с шуточками Льва Николаевича и планами на предстоящий день длился довольно долго, пока он не встанет со словами: «Надо работать!» и уходит в особую комнату со стаканом крепкого чаю.

Никто не должен был входить к нему во время занятий. Даже жена никогда не делала этого. Одно время такою привилегиею пользовалась старшая дочь его, когда была еще ребенком.

Откровенно говоря, я всегда был рад тем дням, когда он не работал, потому что весь день находился в его обществе.

В мою бытность в Ясной Поляне семью Льва Николаевича посещал весьма ограниченный круг знакомых, не считая родных и его друзей.

Из родных постоянным посетителем летом была семья моей младшей сестры [1]. Сестра эта описана в романе «Война и мир» под именем Наташи Ростовой и всю свою молодость провела в Ясной Поляне. Каждый год со своими детьми она поселяется во флигеле на все лето.

Из друзей Льва Николаевича посещали: Н. Н. Страхов, настоящий ценитель всех его произведений, уже давно ежегодно приезжающий гостить преимущественно летом; поэт А. А. Фет, даже упоминавший в журнале «Русская старина» [2] о своем расположении ко Льву Николаевичу, который посещает его несколько раз в год; друг с молодости помещик Д. А. Дьяков и математик князь С. С. Урусов. Этим почти исчерпывался тогда контингент друзей Льва Николаевича.

Здесь кстати упомянуть об отношениях с И. С. Тургеневым. Когда впервые появились в печати произведения «Детство» и «Отрочество», Иван Сергеевич первый распознал великий талант и высказывал это. Между писателями завязалась дружба, которая потом прекратилась по неизвестным мне причинам, и отношения сделались даже враждебными. В семидесятых годах между ними в письмах состоялось полное примирение, и И. С. Тургенев летом посетил Ясную Поляну и пробыл один день [3]. Я сопровождал Льва Николаевича в г. Тулу и обратно, когда он встречал старика и собрата по художеству. За обедом Иван Сергеевич много рассказывал и мимически копировал не только людей, но предметы с необыкновенным искусством; так, например, он действиями изображал курицу в супе, подсовывая одну руку под другую; потом представлял охотничью собаку в раздумье и т. д. — Талант предка его, современника Петра I, по-видимому, в нем повторился.

Знакомые посещали Ясную Поляну очень редко.

Такая замкнутость жизни объяснялась тем, что Льву Николаевичу нельзя было стеснять себя приемом гостей при его огромном и постоянном труде. А при полноте его семейной жизни и при довольно большом стечении

родных, съезжавшихся преимущественно летом, приемы эти были не нужны и затруднительны.

Нельзя передать с достаточной полнотой того веселого и привлекательного настроения, которое постоянно царило в Ясной Поляне. Источником его был всегда Лев Николаевич. В разговоре об отвлеченных вопросах, о воспитании детей, о внешних событиях — его суждение было самое интересное. В игре в крокет, в прогулке он оживлял всех своим юмором и участием, искренно интересуясь игрой и прогулкой. Не было такой простой мысли и самого простого действия, которым бы Лев Николаевич не умел придать интереса и вызвать к ним хорошего и веселого отношения в окружающих.

Вспоминаю игру в крокет. В ней участвовали все, и взрослые, и дети. Она начиналась обыкновенно после обеда и кончалась со свечами. Игру эту я и теперь готов считать азартною, потому что я играл в нее с Львом Николаевичем. Удачно сыграет противник или кто-нибудь из его партии, одобрение и замечания его вызывали удовольствие сыгравшего и энергию противников. Ошибется кто-нибудь,— его веселая и добрая насмешка вознаградит промах. Простое слово, всегда вовремя сказанное им и его тоном, поселяло во всех тот entrain *, с которым можно весело делать не только интересное, но и то, что без него было бы скучно.

Дети одинаково дорожили его обществом, наперерыв желали играть с ним в одной партии; радовались, когда он затеет для них какое-нибудь упражнение. Подчиняясь его влиянию и настроению, они без затруднения совершали с ним длинные прогулки, например, пешком в г. Тулу, что составляет около 15 верст. Мальчики с восторгом ездили с ним на охоту с борзыми собаками. Все дети спешили на его зов, чтобы с ним делать шведскую гимнастику, бегать, прыгать, что сам он делал опять же искренно и весело, а потому и все делали так же. Зимою все катались на коньках, но с большим еще удовольствием расчищали каток от снега, потому что эта инициатива принадлежала Льву Николаевичу. Не участвуя сам в грибном спорте, очень развитом в Ясной Поляне, он умел поощрять к нему других. Со мной он косил, веял, делал гимнастику, бегал наперегонки и изредка играл в чехарду, городки и т. п. Далеко уступая его большой физической силе,

* задор (*франц.*).

так как он поднимал до пяти пудов одною рукою, я легко мог состязаться с ним в быстроте бега, но редко обгонял его, потому что всегда в это время смеялся. Это настроение всегда сопровождало наши упражнения. Когда нам случалось проходить там, где косили, он непременно подойдет и попросит косу у того, кто казался наиболее уставшим. Я, конечно, следовал его примеру. При этом он всегда объяснял мне вопросом: «Отчего мы, несмотря на хорошо развитую мускулатуру, не можем косить целую неделю подряд, а крестьянин при этом еще и спит на сырой земле, и питается одним хлебом?»

— «Попробуй-ка ты так!» — заключал он свой вопрос.

Уходя с луга, он вытащит из копны клочок сена и, восхищаясь запахом, нюхает его.

Я живо припоминаю мое любимое упражнение, которое Лев Николаевич делал со мною, когда мне было менее двенадцати лет. Я становился ему на плечи, а он держал меня за ноги. С плеч его я падал вниз головою, не сгибая корпуса и ног, а он в это время слегка приподнимал меня за ноги, и я качался, как маятник, вниз головой.

Юмор Льва Николаевича проявлялся удивительно разнообразно. Я приведу некоторые его шуточные выражения и действия и постараюсь разъяснить их, потому что они имеют чисто семейный и оттого непонятный характер.

Вся наша семья худощавого сложения, а потому никто из нас не любит сидеть на жестком, затем однажды мой младший брат объявил, что он примет соды, оттого что у него явления кислот в желудке. Лев Николаевич расхохотался и посоветовал ему пройти двадцать верст пешком и с тех пор, когда заметит в ком-нибудь из нас неудовольствие на обстановку и неудобство, скажет: «А это берсовская кислота завелась и сидение беспокойно!» Когда Льву Николаевичу хотелось воздержаться, например, от повторения блюда за обедом, от лишней сигары, он говорил: «Когда я буду большой, я буду курить две сигары», или: «Есть это блюдо два раза». Когда сестры мои собирались в город за покупками и советовались, что следует сшить себе и детям, он говорил: «Там действуют четыреста ситчиков!». Предпринимая что-нибудь вроде поездки, он в разговоре об этом с мужем моей младшей сестры[4] обыкновенно скажет: «А надо узнать, что скажет наше начальство», разумея под начальством его и свою жену, без совета или ведома которой он почти ничего не

предпринимал. Замечая во мне неудовольствие на что-либо, например, на погоду, он скажет: «А у тебя погода дурно себя ведет». Если он замечал притворный тон в ком-нибудь из детей, он говорил: «Пожалуйста, не миндальничай!» Случалось, я сижу преспокойно и слушаю, как он говорит, а ему что-нибудь понадобится. Тогда он скажет: «Ты все ходишь, принеси мне, пожалуйста, то-то». Зато он приостановит свой рассказ до моего возвращения, если я жалел, что не услышу его продолжения. Если я делал что-нибудь неудачно, а старательно к этому приготовлялся, он скажет: «А ты это делаешь с инструментом». Ласковый и смешной тон его, которым всегда сопровождались эти шутки, придавали им такой добродушный и веселый характер, что все потому и смеялись. Лев Николаевич любил играть в четыре руки с своею сестрою, графинею Мариею Николаевною Толстой *. Графиня прекрасно играет на рояле, и поспевать за ней было трудно. Тогда он шутками заставлял сестру смеяться и этим замедлял ее игру. Когда же все-таки поспеть трудно, он вдруг остановится и, ко всеобщему удовольствию, снимет один сапог со своей ноги, как будто для успеха игры, и продолжает, приговаривая: «Ну, теперь пойдет хорошо!» Но самый шумный восторг вызывала «Нумидийская конница». Она заключалась в том, что Лев Николаевич совершенно внезапно вскакивал с места и, подняв одну руку вверх и предоставив свободу этой кисти, слегка пробежит по комнатам. Все дети, а иногда и взрослые, следовали его примеру с такою же внезапностью. Иногда он читал вслух. Я помню, как он прекрасно прочел «Историю капитана Копейкина» Гоголя [5].

Итак, семейная жизнь Льва Николаевича была слишком полна для того, чтобы искать развлечения в посторонних и вне его семейного круга. Он сам умел наполнять ее. Напротив, посторонние находили много нравственного развлечения в его семействе. Убеждение это сложилось у меня не оттого, что я был молод тогда. Всякий, кто бывал в семье его, приходил к тому же заключению.

После моего отъезда в Закавказский край, судя по письмам ко мне сестры и ее детей, которые подрастали, для них уже круг знакомых все более и более расширялся, и с 1880 года семья на зиму уезжала в Москву.

---

* Муж графини — дальний ее родственник и однофамилец. (*Прим. С. А. Берса.*)

Сам он не любил покидать свою семью даже на короткое время. Когда необходимо было ехать, преимущественно в Москву, или по делам печатания его произведений, или для приискания нового учителя для детей, он задолго до поездки сетовал на ее необходимость. Подъезжая к дому при возвращении из поездки или с охоты, он всегда высказывал свое волнение так: «Только бы дома все было благополучно». По прибытии он смешно и подробно рассказывал нам о своей поездке.

Вспоминая особенности Льва Николаевича, необходимо упомянуть об отношении его к произведениям и взглядам Ж.-Ж. Руссо. Нет сомнения, что они имели огромное влияние на его убеждения. Он увлекался и зачитывался ими еще в ранней молодости.

Любовь к природе и к простоте в связи с отвращением к цивилизации всегда была и теперь осталась тождественной чертой этих двух гениев. На расстоянии целого столетия они в этом глубоко друг другу сочувствуют.

Замечая красоту природы, мы не всегда этим восхищаемся. Лев Николаевич ежедневно похвалит день за красоту его и часто прибавит: «Как у бога много богатств! У него каждый день чем-нибудь отличается от другого!»

В произведениях своих он пишет, что только земледелец и охотник знает природу. А сам он был охотником и остался земледельцем.

Буквально не было такого ненастья, которое бы удержало его от прогулки. Случалось, он чувствовал потерю аппетита, но без прогулки на чистом воздухе не проходило ни одного дня. Он любил всякий моцион вообще, верховую езду и гимнастику, но ходьбу в особенности. Если работа идет неуспешно или надо рассеять какую-нибудь неприятность, Лев Николаевич идет пешком. Он мог ходить целый день, не уставая. Верхом мы часто проводили по десяти и двенадцати часов сряду. В кабинете его лежали чугунные гири для упражнения, а иногда устраивались приспособления для гимнастики.

Отвращение его к цивилизации выражается главным образом в порицании городов и городской жизни. Он живал в городах, но постоянно жил в деревне, и другой жизни не признавал. Когда он бывал в городе со мною, я был свидетелем того, как он впадал в уныние, суетливость и даже раздражительность.

Нападая на роскошь в обстановке и во всем вообще, он отрицал смысл и прелесть комфорта, находя влияние его на дух и организм растлевающим. Обстановка в яснополянском доме всегда была самая простая.

Неприхотливый и неразборчивый на еду, он не мог спать на пружинном матраце и не любил мягкой постели, и спал одно время на кожаной подушке.

Одевался он всегда в высшей степени просто, дома не носил крахмаленых рубашек и так называемого немецкого платья. Костюм его — серая фланелевая, а летом парусинная блуза своеобразного фасона, которую умела сшить только одна старуха Варвара из яснополянской деревни. В этой же блузе Лев Николаевич и на портретах, написанных художниками Крамским[6] и Репиным[7]. Верхнее платье — кафтаны и полушубки из самого простого материала, тоже особенного покроя, приноровленного отнюдь не к изяществу, а к ненастью. Поэтому ими часто пользовались домашние и гости.

Несмотря на простоту одежды, он имел в ней вид очень оригинальный. Художник Крамской хотел даже написать портрет его в кафтане на лошади.

Лев Николаевич всегда терпеть не мог железных дорог. В своих сочинениях он часто высказывал это отвращение. После езды на железной дороге он всегда жаловался на ощущение, испытываемое в вагоне. На пути от станции домой он сравнит железную дорогу с ездой на лошадях и похвалит последнюю. Он отрицал в принципе пользу железных дорог, особенно для простого народа *, и не любил напускной вежливости кондукторов и чуждости, господствующей между пассажирами. Поэтому, как бы в противоположность общему духу, со всеми в вагоне любил заговаривать. Он часто ездил в третьем классе и тогда забирался в тот вагон, где сидели мужики преимущественно.

Солидарность с идеями Руссо выразилась еще в отношении Льва Николаевича к докторам и медицине. В своих произведениях «Война и мир» и «Анна Каренина» он взводит тяжкие обвинения на докторов, приглашенных для Наташи Ростовой и Кити Щербацкой, утверждая при этом, что доктора вообще и в болезнях-то ничего не понимают. В сущности, Лев Николаевич, подобно Руссо, не

---

* Смотри педагогические статьи за 1862 год. (*Прим. С. А. Берса.*)

признает медицины, как достояния одного только сословия докторов, и желает сделать ее достоянием всех. Из этого вытекает его любовь к народным лечениям и повитухам. Тем не менее он обращался за советами к профессору Захарьину и исполнял их. Однажды при мне он даже пил минеральные воды в Ясной Поляне.

Взгляд Льва Николаевича на правовой порядок, не только в настоящее время, но и прежде, несомненно, имел много общего со взглядом Руссо.

В частности, об русском правительстве он всегда отзывался с иронией и говорил, что в России нельзя служить порядочному человеку, пока не будет конституции. Поэтому после отставки он даже не помышлял о службе, находя и выборную службу совершенно бесполезною, как зависящую от коронной. К тому же он был так занят своим трудом, что служба вообще не могла интересовать его.

Наконец, как и Руссо, Лев Николаевич стяжал себе славу талантливого педагога.

Педагогический гений его я испытал на самом себе. Я помню, как он совершенно серьезно рассуждал со мной обо всех вопросах, научных и философских, которые мне только вздумалось ему поставить, и независимо от того, в каком я был тогда возрасте. На все он отвечал просто и ясно, никогда не стеснялся сказать, что то или другое ему самому непонятно. Беседа с ним нередко имела характер спора, в который я вступал с ним, несмотря на сознаваемую мною огромную разницу между нами. Поэтому легко и приятно было с ним соглашаться и слепо верить всему, что он говорил.

Лев Николаевич всегда любил детей и их общество. Он умеет расположить их себе, как будто у него есть ключи от детского сердца, которым он легко и скоро завладевает. Никто не придумает, с чем и как обратиться к чужому ребенку; Лев Николаевич первым вопросом как будто избавит ребенка от его застенчивости и потом обращается с ним свободно. Независимо от этого, как тонкий психолог, он поразительно угадывал детские мысли. Случалось, дети его прибегут и сообщают, что у них есть секрет. Когда они отказывались сообщить секрет добровольно, отец на ухо открывал ребенку его секрет.

Ах, этот папа! Как он узнал?!» — удивлялись они. 〈...〉

Об религиозных верованиях Льва Николаевича мне известно едва ли более посторонних.

Из моих описаний его молодости следует заключить, что он верил тогда так, как учит православная церковь, потому что бывал у исповеди и молился. Что же касается до периода женитьбы и после нее, мне известно, что в исповеди Левина в романе «Анна Каренина» описана его собственная исповедь перед свадьбой в сентябре 1862 года.

Когда мне было от 15 до 17 лет, я вместе с одним товарищем проникся учением церкви, и одно время мы оба намеревались пойти в монастырь. Лев Николаевич с удивительной осторожностью относился к моему увлечению. Я часто приставал к нему с вопросами и моими сомнениями, но он всегда умел уклониться и не высказывал своего мнения, зная, что оно может иметь на меня огромное влияние. Он предоставлял мне самому переработать мои убеждения.

Некоторые из предков Льва Николаевича, а в том числе и тетушка П. И. Юшкова, удалялись в конце своей жизни в монастырь *.

Со Львом Николаевичем религиозный переворот начался в 1876 году. Тогда он стал посещать церковь, запирался утром и вечером в кабинете, как сам говорил, чтобы помолиться богу. Он ходил пешком в известный монастырь Оптину пустынь. В духе его замечался упадок веселого настроения и стремление к кротости и смирению. В этом фазисе его религиозных воззрений я с ним расстался. Это было в сентябре 1878 года. Сестра писала мне после этого на Кавказ, что он сделался настоящим христианином.

Вот что по этому поводу писала мне сестра на Кавказ в письме от 2 февраля 1881 года:

«...Если бы ты знал и слышал теперь Лёвочку! Он много изменился. Он стал христианин самый искренний и твердый. Но он поседел, ослаб здоровьем и стал тише, унылее, чем был. Если б ты *теперь* послушал его слова, вот когда влияние его было бы успокоительно твоей измученной душе...»

Если Лев Николаевич гениальный человек и если поэтому душевная жизнь и энергия его шире и сильней, чем у прочих, то спрашивается, как велики были его страда-

---

* Будучи в монастыре, покойница навещала семью Льва Николаевича и в одно из таких посещений заболела и умерла в Ясной Поляне. (*Прим. С. А. Берса.*)

ния, когда религиозные сомнения мучили его и, по его собственным словам, едва не довели его до самоубийства? Зная его столько лет и читая его «Исповедь», я ужаснулся, когда передо мною развернулась картина его душевных страданий. Это волнения моря в сравнении с волнением небольшого пространства воды!

Замечательно, что с началом религиозного переворота Лев Николаевич одновременно обновил не только надгробные памятники своих родителей и родных, но и портреты своих предков, а также и фамильные печати. Но видимой связи в этом я не усмотрел.

Если тщеславие и гордость свойственны всем людям, то Лев Николаевич имеет право на эту черту больше других.

В моем присутствии он сам сознавался в своей гордости и тщеславии. Он был завзятый аристократ и, хотя всегда любил простой народ, еще более любил аристократию. Середина между этими сословиями была ему несимпатична. Когда, после неудач в молодости, он приобрел громкую славу писателя, он высказывал, что эта слава — величайшая радость и большое счастье для него. По его собственным словам, в нем было приятное сознание того, что он писатель и аристократ.

Когда до сведения его доходило, что кто-нибудь из его бывших сослуживцев или знакомых получил важный пост, суждениями своими об этом назначении он напоминал суждения полководца Суворова. При этом он всегда упоминал об образе жизни в придворных сферах, которые знал хорошо, потому что имел большие связи, и с иронией утверждал, что посты эти получаются не за заслуги, а за уменье угодить отдельным личностям, и вообще не признавал возможности делать государственное дело при существующих порядках. Он удивлялся, как можно лицам аристократического происхождения и часто с большими состояниями идти на такую службу. Иногда он с насмешкой говорил, что он не заслужил генерала от артиллерии, зато сделался генералом от литературы. Однажды мы ехали вдвоем на охоту. Я рассказал ему, что в училище правоведения произведения его, особенно «Война и мир», читаются у нас с большим увлечением и преимущественно перед другими сочинителями. Он с радостными слезами на глазах отвечал мне, что это очень льстит его самолюбию, потому что молодые люди — лучшие ценители красоты и поэзии. Тогда же он высказал

мне свой взгляд на произведения Пушкина и на отличие их от его произведений. Он утверждал, что лучшие произведения Пушкина — те, которые написаны прозой. А разница в их произведениях между прочими та, что Пушкин, описывая художественную подробность, делает это легко и не заботится о том, будет ли она замечена и понята читателем; он же как бы пристанет к читателю с этой художественной подробностью, пока ясно не растолкует ее.

Лев Николаевич осуждал реформы прошлого царствования, а особенно нападал на господствовавший тогда либерализм и считал его ложным. Но в этом случае он менее обвинял правительство, а приходил к тому убеждению, что интеллигентный слой в России оказался неспособным к самостоятельной государственной деятельности. Причину этого он видел в упадке аристократизма, жалел об этом и винил в этом жестокость Николая I, проявившуюся с декабристами.

К журналистам и критикам он относился с оттенком презрения и негодовал, если их относили к разряду хотя плохих писателей. Он находил, что печатью злоупотребляют, потому что печатают много ненужного, неинтересного и, главное, нехудожественного. Критических разборов своих произведений он никогда не читал и даже ими не интересовался. Но к ним Лев Николаевич никогда не относил истинной и правильной оценки его произведений почтеннейшим Н. Н. Страховым, советом которого он всегда дорожил в сфере своего творчества.

В эпилоге романа «Анна Каренина» есть нападки на русских добровольцев, участвовавших в войне Сербии против Турции. Поэтому, когда в редакцию «Русского вестника», где печатался этот роман, были присланы рукописи эпилога, покойный М. Н. Катков, высказывавший в «Московских ведомостях» противоположное Льву Николаевичу мнение, возвратил рукописи со своими на них поправками, без которых отказался напечатать эпилог в своем журнале. Лев Николаевич пришел в страшное негодование за поправки в его рукописях [8] и говорил по этому поводу: «Как смеет журналист переделывать хотя одно слово в моих произведениях!!» Он написал Каткову резкое письмо, и результатом был полный разрыв между ними; [9] а эпилог, как известно, вышел отдельной книгой.

Лев Николаевич вообще негодовал на покойного публициста за то, что он, оставаясь журналистом, следова-

тельно, якобы либеральным, умел пользоваться расположением правительства, потому что самым бессовестным образом лгал в печати на руку правительству.

Газет Лев Николаевич никогда не читал и считал их бесполезными и даже вредными, если в них заключались ложные сведения. Со свойственным ему юмором он иногда пародировал тон газетных сообщений, применяя их к своему быту.

Такое же отношение его ко всем периодическим изданиям вытекало главным образом из его собственного отношения к вопросу об эксплуатации художественных произведений. Он презрительно улыбался, если слышал предположение, что истинный художник творит ради денег.

Нет сомнения, что в Левине Лев Николаевич описывал самого себя, но это справедливо лишь в незначительной степени, потому что в Левине изображены некоторые черты его. Сам он высказывал по этому поводу, что выставил Левина простачком, чтобы и этого было достаточно для наглядного сравнения хорошей жизни с безобразием светской жизни в Москве и Петербурге.

Самое ходячее мнение, что талантливые люди любят поэтический беспорядок, как нельзя больше подходит и к Льву Николаевичу. Он как будто не любит аккуратности в вещах, обстановке и вообще во внешней жизни. Хотя в большинстве случаев он признавал необходимость быть аккуратным, но часто высказывал, что черта эта свойственна преимущественно неглубоким натурам. Сам Лев Николаевич просто не умел, а потому и никогда не пытался приводить свои вещи в порядок. Раздеваясь, он оставлял платье и обувь на том месте, где снимал их, и если он в то время переходил с места на место, платье его оставалось раскиданным по всей комнате, а иногда и на полу. Мне казалось, что уложить вещи в дороге для него стоило больших усилий. Сопровождая его, я всегда и охотно делал это за него и доставлял ему этим удовольствие. Помню, однажды мне почему-то очень не хотелось укладывать его вещи, а он заметил это и, по свойственной ему деликатности, не просил меня и сам уложил свой чемодан. Я положительно утверждаю, что умышленно нельзя привести вещи в такой ужасный беспорядок, в каком они были уложены в чемодан Львом Николаевичем.

Искренность, как выдающаяся черта в характере Льва Николаевича, проявлялась у него даже в мелочах. Случалось, мы опоздаем на поезд и, подъезжая к станции,

увидим, как поезд уже отъезжает прочь. Лев Николаевич так искренно и громко вскрикнет: «Ах!!! опоздали!!!», что все окружающие сначала испугаются, а потом тотчас же вместе с ним засмеются. Искренность подобных его ощущений невольно передавалась окружающим. Я помню, как кучер погнал во всю мочь лошадей к станции благодаря этому восклицанию, хотя очевидно было, что поспеть к поезду невозможно; а также кучер рассмеялся, когда Лев Николаевич остановил его, сказав: «Не гони! Все равно опоздали!». Точно так же он ахал, а потом смеялся в игре в крокет, когда сделает важный промах, или когда, сидя в кресле, вспомнит и спохватится о чем-либо позабытом. Если этим он пугал свою жену, то он полушуткой всегда прибавит: «Ну! Больше никогда не буду!»

Смех Льва Николаевича отличается тоже заразительностью. Когда он смеется, голова его пригибается набок, и он трясется всем телом; а в начале смеха в голосе его слышны высокие ноты.

Я ни в ком еще не встречал такого уважения к чужому сну, как у Льва Николаевича. Он безусловно не мог разбудить спящего и часто поручал это сделать мне, когда это было необходимо, например, в дороге с семьей. Правда, он сам любил выспаться, зато он даже оберегал чужой сон. Помню, когда мы поздно ночью засидимся, а прислуга позабудет поставить холодный ужин на стол и заснет одетая, Лев Николаевич ни за что не позволит разбудить человека и сам отправляется по буфетам за едой и посудой. Он делал это с особенной осторожностью и даже украдкою, стараясь сохранить тишину, что придавало этому характер веселого похождения. Но он сердился на меня, если я в то время, хотя нечаянно, например, посудою наделаю шуму.

Лев Николаевич всегда любил музыку. Он играл только на рояле, и преимущественно из серьезной музыки. Он часто садился за рояль перед тем, как работать, вероятно, для вдохновения. Кроме того, он всегда аккомпанировал моей младшей сестре и очень любил ее пение. Я замечал, что ощущения, вызываемые в нем музыкой, сопровождались легкой бледностью на лице и едва заметной гримасой, выражавшей нечто похожее на ужас. Почти не проходило дня летом без пения сестры и игры на рояле. Изредка пели все хором, и всегда аккомпанировал он же.

Лев Николаевич не любил фотографию и очень редко

снимался и, когда снимался, сам уничтожал потом негатив. Он предпочитал самого плохого художника самой лучшей фотографии.

Известному портретисту Крамскому было поручено, если не ошибаюсь, г. Третьяковым написать портрет Льва Николаевича. Знаменитый художник тщетно разыскивал его фотографию. По скромности он не решился просить сеанса, потому что не был знаком и слышал о замкнутой жизни в Ясной Поляне. Тогда он поселился в пяти верстах от Ясной Поляны, на даче, мимо которой Лев Николаевич проезжал верхом за почтой. Тут он и возымел намерение написать портрет его в кафтане на лошади. Вскоре все это обнаружилось, и он был любезно приглашен в Ясную Поляну, где написал два одинаковых портрета, из которых один остался в семье.

Когда спиритизм вошел в моду, Лев Николаевич посетил покойного профессора химии Бутлерова и приходил в изумление от верований его в спиритизм. Вероятно, это послужило ему темой для комедии «Плоды просвещения»; а в романе «Анна Каренина» Левин осуждает спиритизм буквальными выражениями самого Льва Николаевича.

Английская поговорка «аристократ без денег есть пролетарий», как он сам говорил, побуждала его заботиться об увеличении своего состояния для детей. В хозяйстве он прибегал к широким и энергичным мерам. Он завел прекрасный породистый скот в большом количестве, разбил яблоневые сады, сделал большую посадку леса и т. д. Из любознательности одно время он с увлечением занимался пчеловодством. Вообще он хозяйничал сам только в Ясной Поляне, а в других имениях всецело поручал это управляющим.

К особенностям Льва Николаевича относится и любовь его к охоте. Всю свою жизнь до создания им своего учения он был страстный охотник. Он описал охоту почти во всех своих произведениях. В произведении «Детство» он описал, как действительно протравил первого зайца в своей жизни; а в детских рассказах он в точности передал историю своих собак, Бульки и Мильтона, под настоящими их именами. Кроме охоты на кабанов, диких коз и фазанов, в бытность свою на Кавказе он предавался своеобразной, но лихой охоте на стрепетов*. В половине

* Стрепет — степной тетерев. (*Прим. С. А. Берса.*)

августа дичь эта перед осенним пролетом собирается в огромные стада и в это время делается необыкновенно строгою. Даже на повозке и верхом стадо не подпускает к себе ближе ста саженей. Он отправлялся верхом в степь на лошади, приученной для этой охоты, и, шагом объезжая вокруг стада раза два, постепенно суживал круг объезда и, приблизившись к стаду саженей на сто, с места пускался к нему в карьер с заряженным ружьем наготове. Как только дичь поднималась, он бросал поводья, а лошадь останавливалась, давая возможность стрелять.

За любовь к охоте он поплатился двумя несчастиями в своей жизни. Рассказ «Охота пуще неволи» есть быль, случившаяся с ним до женитьбы. Лев Николаевич лежал уже под медведицею и был спасен мужиком-охотником, который убил на нем медведицу. Следы этого печального происшествия остались в виде шрамов на лбу, а шкура медведицы еще сохранилась в Ясной Поляне[10]. Женившись, он на медвежью охоту перестал ездить. Другой печальный случай был с ним на третий год его женатой жизни. Он травил зайца и скакал на кровной английской лошади. Надо было перескочить через ров. Но лошадь оступилась и упала в ров с седоком. Результатом был вывих руки и раскол кости. Это было в нескольких верстах от дома. Сначала он шел пешком, потом падал, изнемогая от боли, и наконец приполз, едва двигаясь, на шоссе, откуда мужик привез его на деревню, а потом уже домой. Это было 16 октября[11], но на дворе лежал снег. Местные врачи нехорошо вправили руку, и через месяц операция повторилась в Москве, у нас в доме. Впоследствии рука действовала правильно. Когда производилась в Москве операция, несмотря на хлороформирование, четыре дюжих человека не могли справиться с ним, и его привязали к столу[12].

Но самая высокая особенность Льва Николаевича — это любовь и стремление к правде. ⟨...⟩

Он говорил, что мнение его о личности Петра I диаметрально противоположно общему, и вся эпоха эта сделалась ему несимпатичной. Он утверждал, что личность и деятельность Петра I не только не заключали в себе ничего великого, а напротив того, все качества его были дурные и низкие, жизнь безнравственна и даже преступна; а деятельность в смысле государственной пользы никогда самим Петром I не имелась в виду, а все делалось

из одних личных видов. По мнению Льва Николаевича, Петр I отличался трусостью, лукавством и жестокостью. Всю жизнь злоупотреблял спиртными напитками и предавался разврату. Все так называемые реформы его отнюдь не преследовали государственной пользы, а клонились к личным его выгодам. Вследствие нерасположения к нему сословия бояр за его нововведения он основал город Петербург только для того, чтобы удалиться и быть свободнее в своей безнравственной жизни. Сословие бояр имело тогда большое значение и, следовательно, было для него опасно. Нововведения и реформа почерпались из Саксонии, где законы были самые жестокие того времени, а свобода нравов процветала в высшей степени, что особенно нравилось Петру I. Этим объяснял Лев Николаевич и дружбу Петра I с курфирстом Саксонским, принадлежавшим к самым безнравственным личностям из числа коронованных особ того времени. Близость с пирожником Меншиковым и беглым швейцарцем Лефортом он объяснял презрительным отвращением к Петру I всех бояр, среди которых он не мог найти себе друзей и товарищей для разгульной жизни. Но более всего он возмущался гибелью царевича Алексея, замученного и наконец убитого собственными руками отца-императора.

Было ли что-либо написано Львом Николаевичем из этой эпохи, мне неизвестно. Во всяком случае, все попытки его написать что-либо тщательно сохранялись бы его женою. В семье и от него самого я не слыхал ничего, что давало бы возможность предполагать о существовании чего-нибудь законченного. А всякое напоминание о неудачной попытке было неуместно и неделикатно и исключало возможность поинтересоваться тем, что может обнаружиться только потомству[13]. Сам он говорил иногда, что трудно уловить дух того времени по отдаленности этой эпохи.

Декабрьский бунт он изучал при лучших условиях. Он пользовался не только тем, что об этом напечатано, но и множеством фамильных записок, мемуаров и писем, которые поверялись ему с условием сохранить семейные тайны. Зимою 1877—1878 гг. он ездил в Петербург осмотреть Петропавловскую крепость[14], но Алексеевский равелин ему не показали, хотя он более всего остального в крепости им интересовался. Для осмотра крепости он сделал визит к коменданту ее, генерал-адъютанту барону М⟨айделю⟩, пользуясь тем, что последний был некогда его

начальником во время Крымской войны. Барон М⟨айдель⟩ любезно объяснил графу Толстому, что в равелин можно войти всякому, а выйти оттуда могут только три лица в империи: император, шеф жандармов и комендант крепости, что и известно всем часовым у входа в равелин. Усевшись в карету, в которой я дожидался, пока продолжался визит у коменданта, Лев Николаевич с отвращением передавал мне, как комендант крепости с увлечением рассказывал ему об новом устройстве одиночных камер, об обшивке стен толстыми войлоками для предупреждения разговоров посредством звуковой азбуки между заключенными, об опытах крепостного начальства для проверки этих нововведений и т. п., и удивлялся этой равнодушной и систематической жестокости со стороны интеллигентного начальства. Лев Николаевич выразился так: «Комендант точно рапортовал по начальству, но с увлечением, потому что выказывал этим свою деятельность». Проезжая со мной по Большой Морской улице мимо памятника императору Николаю I, он отвернулся от памятника и сказал, что не может видеть этой личности.

Он высказывал, что с гибелью декабристов погибла большая и лучшая часть русской аристократии, и строго осуждал за это императора Николая I. Он находил, что допущенная им смертная казнь пятерых доказывала полное отсутствие в нем свойственных всякому монарху милости и великодушия, которые так необходимы на этом посту. Это было, по мнению Льва Николаевича, особенно неблаговидно потому, что нельзя было не знать, что такое же участие, как и приговоренные к казни, принимали в бунте еще и многие другие. По словам его, процедура до казни тщетно растягивалась с твердым убеждением увидеть гонца с белым платком на саблях и с известием о помиловании.

В семейном кругу он рассказывал, что звуковая азбука, существующая в местах заключения, впервые создана декабристами [15]. Когда им запрещались переговоры и таким способом они доходили до такого искусства, что делали это на ходу, например, стуча палочкой об заборы, чего стража не замечала. Между прочим, Лев Николаевич со слезами на глазах рассказывал, как один декабрист, заключенный в крепости, упросил сменявшегося часового купить ему яблоко и дал последние деньги. Часовой принес прелестную корзину фруктов и деньги назад. Оказалось, что посылал это купец, когда узнал о личности за-

ключенного[16]. Декабрист, полковник кавалергардского полка Лунин, удивлял Льва Николаевича своею несокрушимою энергиею и сарказмом. В одном из писем с каторги к своей сестре, находившейся в Петербурге, он осмеял назначение министром графа Киселева. Письмо, разумеется, шло через начальство работ, и содержание его сделалось известным в Петербурге. Лунин был прикован к тачке навсегда[17]. Тем не менее смотритель каторжных работ, полный майор и немец по происхождению, ежедневно уходил с осмотра работ, долго смеясь еще по дороге. Так умел Лунин насмешить его под землею и прикованный к тачке.

Но вдруг Лев Николаевич разочаровался и в этой эпохе. Он утверждал, что декабрьский бунт есть результат влияния французской аристократии, большая часть которой эмигрировала в Россию после французской революции. Она и воспитывала потом всю русскую аристократию в качестве гувернеров. Этим объясняется, что многие из декабристов были католики. Если все это было привитое и не создано на чисто русской почве, Лев Николаевич не мог этому симпатизировать. К тому же попытка обнаружить в печати роль и личность Николая I в истории декабрьского бунта так, как понимал их Лев Николаевич, обрекла бы его произведение на продолжительное запрещение цензурой, и это подтачивало энергию в его творчестве.

Наконец, в то время вырос другой интерес — к религии.

Судя по словам моей сестры, попытки создать роман из этой эпохи сделаны более серьезные, чем Петровской, так как эпоха и бунт были несомненно и тщательно изучены.

С тех пор как я посещал Ясную Поляну, ни одной поездки Лев Николаевич не сделал без меня, кроме поездок в Москву, в которых я не мог принести ему никакой помощи и услуги. Зато на охоту с борзыми и с ружьем он брал меня как любителя и товарища. Когда он шел гулять, ехал верхом куда-нибудь или ездил навестить своего родного брата, который живет в тридцати пяти верстах от Ясной Поляны, он брал меня, если не для себя, то для меня, потому что знал, какое мне доставлял этим удовольствие.

В 1866 году осенью Лев Николаевич приехал в Москву с целью съездить и осмотреть Бородинское поле [18], на котором происходило знаменитое сражение в 1812 году. Он приехал один и остановился у нас. Он просил отпустить меня с ним. Родители отпустили меня, и восторг мой был неописанный. Мне было тогда одиннадцать лет. Мой отец предоставил Льву Николаевичу свою охотничью коляску и погребец. Дорога, не считая десяти верст по шоссе от города, была по гати *, и Лев Николаевич очень беспокоился за экипаж. Отъехавши несколько станций, мы намеревались закусить и тут увидели, что погребец и провизия были забыты, а сохранилась только маленькая корзина с виноградом, которая была поручена мне. Лев Николаевич говорил: «Мне жаль не то, что мы забыли погребец и провизию, а то, что твой отец будет волноваться и сердиться за это на своего человека». На почтовых лошадях мы доехали в один день и остановились около поля сражения в монастыре, основанном в память войны.

Два дня Лев Николаевич ходил и ездил по той местности, где за полстолетия до того пало более ста тысяч человек, а теперь красуется великолепный памятник с золотыми надписями. Он делал свои заметки и рисовал план сражения, напечатанный впоследствии в романе «Война и мир». Хотя он и рассказывал мне кой-что и объяснял, где стоял во время сражения Наполеон, а где Кутузов, я не сознавал тогда всей важности его работы и с увлечением предавался игре с собачонкой, хозяин которой был сторож памятника. Я помню, что на месте и в пути мы разыскивали стариков, еще живших в эпоху Отечественной войны и бывших свидетелями сражения. По дороге в Бородино нам сообщили, что сторож памятника на Бородинском поле был участником Бородинской битвы и, как заслуженный солдат, получил это место. Оказалось, что старик скончался за несколько месяцев до нашего приезда. Лев Николаевич досадовал. Вообще наши поиски были неудачны. На обратном пути на последней станции нам попался веселый и старый ямщик с лошадьми огромного роста. Когда мы выехали на шоссе, он мчал нас в карьер, между тем был очень лунный вечер, а туман был так силен, что такая езда была довольно

* **Гать** — настланные бревна по болотистой местности. (*Прим. С. А. Берса.*)

рискованна. Я был в возбужденном состоянии, вероятно от этой езды, и Лев Николаевич, заметив это, спросил меня, чего бы я хотел в моей жизни? Я ответил: «Мне очень жаль, что я не сын его». Он этому нисколько не удивился, вероятно потому, что привык к тому, как все дети любили его, и сказал: «А мне хочется...» — и дальше я смутно припоминаю, что желание его — быть понятым другими, потому что он осуждал всех историков за неверное и внешнее описание фактов и доказывал, что он описывает эти факты справедливо, потому что угадывает внутреннюю их сторону [19]. ⟨...⟩

Д. Д. ОБОЛЕНСКИЙ

ОТРЫВКИ

(Из личных впечатлений)

Гр. Лев Николаевич был очень горячий и настоящий *русский* охотник со многими охотничьими предрассудками и приметами. Вследствие его горячности на охоте происходили иногда пылкие пререкания и чуть даже не ссоры из-за того, чья взяла *первая*, какая догнала и т. д.

Лев Николаевич любил и щегольнуть на охоте ловкостью и лихостью, что называется, «джигитнуть».

Один эпизод особенно врезался в моей памяти (1858) [1].

Дело было близ Гурьева, имения князя Е. Н. Черкасского. В лесу гончие гоняли по волкам. За болотом, пролегавшим близ леса, стоял со своей сворой борзых Л. Н. Толстой. Невдалеке от него — мелкопоместный помещик В. Е. Кобылин, сосед кн. Черкасских, каширский землевладелец, затем князь Евг. Черкасский и другие. Из-под стаи гончих на опушке леса показывается матерой волк; его со стаей «выставляет» знаменитый в свое время доезжачий Иван Рушальщик; он выносится вслед за стаей, которая на щипцах выносит волка в поле, по направлению, где стоят Лев Николаевич и другие. Волк стремительно несется к болоту. Доезжачий Иван Рушальщик (тип Данилы, доезжачего в «Войне и мире») — за волком. Но в болоте так топко, что лошадь его завязла... перебраться нельзя... И Рушальщик вопит с отчаянием:

— Эх, уйдет! Уйдет: *на господ побежал.*

Как ни обиден был этот полупрезрительный крик ярого доезжачего, но он оказался пророческим... За болотом матерого волка встретили своры Кобылина и Толстого и, что, в сущности, бывает очень редко, остановили матери-

ка. Первый примчался и слез с лошади Кобылин. Но Лев Николаевич, подскакав, закричал:

— Мои, мои собаки взяли, я сам приму.

Кажется, Кобылин отчасти даже обрадовался этому, потому что «принять» матерого не так-то легко и не всегда безопасно. Лев Николаевич, видимо желая джигитнуть, по-черкесски перекинулся через седло и хотел с лошади зарезать волка. Но это у него не вышло: лошадь шарахнулась и отнесла Льва Николаевича в сторону. И пока он справлялся с лошадью, а Кобылин собирался с духом, волк стряхнул собак, насевших на него, разметал их и был таков. Горькие предсказания доезжачего оправдались: *господа упустили материка*. Князь Евгений Черкасский, страстный охотник до кровных лошадей, но не до собак, тщетно метался вокруг и меньше других мог что-нибудь сделать.

Он все досадовал, что у него не было пики: он заколол бы волка...

Лев Николаевич вернулся мрачный, недовольный.

Особенно много охотился Лев Николаевич в тех краях в 1857—1858 годах с моим дядей И. А. Раевским, с сыном которого граф был на «ты» и очень дружил.

Наиболее удачны были охоты на волков в имениях князей Евгения и Владимира Черкасских в Веневском и Каширском уездах. Впоследствии многие картины из этих охот вошли в бессмертные произведения автора «Войны и мира». Можно было даже узнать в романе некоторых охотников по их ярким чертам и характерным выражениям.

Однажды, после удачной охоты у П. М. Глебова, соседа князей Черкасских, Лев Николаевич был в особенном ударе и на дневке написал юмористический рассказ-набросок под заглавием «Фаустина и Паулина» [2], который и прочел вечером вслух, заставив всех нас много смеяться. Куда задевался этот рассказ — не знаю, но я его впоследствии нигде не встречал... Фаустина и Паулина были две гувернантки гг. Глебовых, которые выезжали посмотреть на охоту и дали повод Льву Николаевичу к безобидной юмористической шутке...

Увы, все это дела давно минувших дней!

И кто узнал бы в теперешнем полуаскете Льве Толстом того страстного охотника, каким некогда мы его видали, несущимся во весь опор по полям и рытвинам с своей *неизменной Милкой*.

Не знаю, в шутку ли это он говорил. Но тогда, в 50-х годах, это казалось не в шутку... В течение многих лет на охотах сопутствовавшей Льву Николаевичу сначала была бабушка Милка, затем ее дочь, затем внучка. Но очень долго Л. Н. Толстого на охоте всегда сопровождала *Милка.*

Последняя, которую я хорошо помню, Милка была черно-пегая красивая борзая из породы английских борзых и всегда рыскала около Льва Николаевича без своры, так она привыкла к своему хозяину. Зря она никогда не бросалась за зверем, а «настигала» его; то есть старалась попасть наперерез зверю, чтобы не слишком утомлять себя. Но когда не было других собак, она старалась вовсю. Как-то у нас с Львом Николаевичем борзые наши сорвались и ушли под гончих. Мы остались с одной Милкой на перемычке между двух островов. И вот один за другим через эту перемычку из острова в остров бежало три зайца. И всех трех Милка вчистую догнала и поймала.

Даже и суеверен был Лев Николаевич, как и большинство русских охотников. Как-то Милка вдруг в поле ушла от Льва Николаевича и, так как, я уже сказал, она ходила без своры, она вдруг пристала ко мне. Как я ее ни отгонял, она все рыскала около меня. Лев Николаевич не на шутку встревожился.

— Никогда этого не было. Не могу понять, что с ней? — говорил он.— Наверно, что-нибудь со мною случится.

Лев Николаевич признавался, что когда на охоте на него долго не шел зверь, то он внутренно молился, чтобы наконец зверь на него вышел.

— Но не Христу — это было слишком бы серьезно...

Выделялся Лев Николаевич от других охотников и по внешности. Одевался он всегда не как другие, а по-своему. Так, стремена у его седла были не металлические, а деревянные, что он перенял в Самаре, у степняков; но блуза, характерная и тогда, как и поныне, была любимым одеянием Льва Николаевича — так что, когда меня спрашивают теперь об оригинальности костюма Льва Николаевича, я говорю, что уже 50 лет почти он носит тот же костюм.

Охотничье искусство Лев Николаевич знал до тонкостей и часто сравнивал охоту с войной.

— Как от сметки и находчивости охотника,— говорил он,— часто зависит удача охоты, так и успех войны — от

находчивости военачальника. Диспозиция, иногда прекрасно задуманная, из-за какого-нибудь непредвиденного пустяка не достигала цели. Все тогда спутывалось, и в результате — полная неудача.

Как-то при одном из таких сравнений Лев Николаевич рассказал, со слов Н. Н. Муравьева-Карсского, почему неудачен был в 1855 году штурм Карса:

— Муравьев усомнился в верности сделанной им диспозиции, изменил ее за несколько часов до штурма, послушав своего начальника штаба. И потерпел поражение. А выполни он первый план, им сделанный, успех был бы полный. Но не хватило уверенности в себе... И так часто бывает и на войне и на охоте...

Особенно часто приходилось мне беседовать со Львом Николаевичем, когда он писал «Войну и мир».

Мои деды делали кампанию 1812 года и последующих годов. Моя мать, урожденная Бибикова, была племянницей братьев Бибиковых — адъютантов князя Кутузова, который был женат на сестре А. И. Бибикова — усмирителя Пугачева. Так что многое у нас в доме было известно из первых рук. И, будучи ребенком, я много слышал от деда Бибикова рассказов, а потом уже студентом многое передавал Льву Николаевичу. Но я был за это и богато вознагражден Львом Николаевичем. Окончивши «1805 год», Лев Николаевич пригласил меня слушать знаменитый роман в его чтении.

Читал нам Лев Николаевич на своей небольшой квартире, которую он занимал на Большой Дмитровке, в доме Шаблыкина, зимой 1866 года [3].

На чтении присутствовал генерал Перфильев, старик, помнивший хорошо то время и 12-й год. Замечаниями его Лев Николаевич очень дорожил; генерал Перфильев останавливал графа, когда, по его мнению, бывала ошибка в отношении военных того времени. Так, Перфильев заметил, что могли получить кресты только в военное время, но не в мирное (Лев Николаевич кому-то из генералов своего романа приписал крест, полученный в мирное время).

При чтении еще были: графиня Софья Андреевна, моя жена, С. М. Сухотин и еще кто-то из домашних...

Он читал «1805 год» (так называлось начало «Войны и мира») необыкновенно просто, но невольно захватывал нас увлекательностью своего произведения.

Помню еще одно чтение. Как-то после охоты на Льва Николаевича нашел какой-то особенный стих, и он начал читать на память стихи, восхитив нас своим чтением. После этого я никогда не слышал, чтобы он читал или хвалил стихи.

Как я выше сказал, мне удалось несколько раз, может быть и случайно, но все же добывать материал для повестей гр. Л. Н. Толстому в то время, как Лев Николаевич писал «Войну и мир» и «Анну Каренину». Как конский охотник и любитель скачек, я сообщал много подробностей. Между прочим, я передал Льву Николаевичу подробности и обстановку красносельской скачки, которая и вошла в ярком изображении в «Анну Каренину».

Падение Вронского с Фру-Фру взято с инцидента, бывшего с князем Д. Б. Голицыным, а штабс-капитан Махотин, выигравший скачку, напоминает А. Д. Милютина...

Лев Николаевич разрешил мне знакомить с ним моих друзей без предварительных извещений и церемоний. Я пользовался очень осторожно этим исключительным правом. И только раз Лев Николаевич мне предъявил отвод, и именно в отношении человека, про которого Лев Николаевич знал, что я очень его люблю и высоко ценю, и с которым мне хотелось познакомить графа. Это был Михаил Дмитриевич Скобелев.

Совпало это с тем временем, когда Лев Николаевич уже начинал говорить и писать против войны, считая ее величайшим грехом. А потому, вероятно, и Скобелев, живший мыслями о войне и жаждавший войны, представлялся Льву Николаевичу чем-то кровожадным [4]. Это нежелание Льва Николаевича познакомиться с М. Д. Скобелевым подтвердила мне и графиня София Андреевна. Пришлось поневоле отказаться от мысли видеть беседующими автора «Севастопольских рассказов» и *белого генерала* — героя только что кончившейся кампании.

Читая недавно о Верещагине, который обозвал Льва Николаевича «невеждой» за то, что тот не хотел с ним знакомиться, мне думается, что тут причины были те же самые, то есть что Толстому не хотелось знакомиться с человеком, который казался ему кровожадным [5]. Перед этим В. В. Верещагин только что напечатал свои записки, где, мне кажется, изрядно-таки сгустил краски, произведя себя в какого-то *злодея* и рассказывая о том, как он усердно уговаривал генерала А. П. Струкова *повесить двух турок...* [6] Хотя В. В. Верещагин и был уверен в том, что

эти турки отъявленные злодеи, но в то же время ему сцена повешения нужна была для картины. Чуткому сердцу Л. Н. Толстого этот рассказ показался прямо-таки отталкивающим.

За много лет знакомства с Л. Н. Толстым мне приходилось видеть Льва Николаевича в различных состояниях его жизни: и консерватором, и либералом, и ярым охотником, и затем ярым противником охоты, впрочем, лишь относительно себя. Как-то, не особенно давно, Лев Николаевич как бы даже попрекнул меня, что я, старый охотник, и не езжу на охоту в такие чудные дни, которые стояли осенью, когда мы говорили.

Не забуду одного вечера, когда Лев Николаевич приехал однажды к нам в Шаховское, в начале 70-х годов, верхом, взбешенный и взволнованный, и начал говорить, что бросает Россию навсегда, что при существующих порядках жить в России нельзя. Насилу мы его успокоили, особенно обязаны были этим более всего П. Ф. Самарину. Оказалось, что бык в стаде Ясной Поляны забодал пастуха, и судебный следователь обязал Льва Николаевича невыездом и возбудил оригинальное уголовное дело[7].

— Это тот же арест! — горячился Лев Николаевич.— Этот же самый судебный следователь засадил одного яснополянского крестьянина в острог и продержал его около года. А оказалось, что мужик совсем не виновен. На днях к соседней помещице этот же судебный следователь привез мертвое тело и стал его потрошить у нее на балконе... Это возмутительно! Как можно жить при таких условиях!

П. Ф. Самарин успокаивал Льва Николаевича, доказывая, что смерть человека, а в данном случае пастуха его, настолько серьезный факт, что судебное ведомство не может оставить его без расследования. К ночи Лев Николаевич успокоился и спокойно заснул. Но к утру опять тревога: прискакал нарочный из Крапивны с требованием Толстого в окружный суд — как присяжного заседателя. Лев Николаевич опять заволновался, но не поехал, отписавшись, что он обязан невыездом.

Под влиянием всех этих судебных инцидентов Лев Николаевич написал письмо в Петербург, но вскоре совершенно успокоился и перестал думать о выезде в Англию[8].

Он описал все в письме к своей тетке графине А. А. Толстой — воспитательнице великой княжны Марии

Александровны. А. А. Толстая прочла письмо Льва Николаевича государю Александру II [9], который принял к сердцу историю с Толстым и, кажется, обратил особенное внимание на несуразности, творившиеся тогда в судебном ведомстве.

Новые думы завладели Львом Николаевичем. Появились «В чем моя вера» и другие философские и религиозные работы, которые, впрочем, занимали Льва Николаевича еще и во время писания «Анны Карениной». Он вел продолжительные споры с редстокистами [10], которые помышляли сделать из него своего адепта. Однако полет Льва Николаевича был куда выше их усилий. Но гг. Редсток, Пашков, гр. А. П. Бобринский и др. еще не знали тогда Льва Николаевича и надеялись сделать его *своим*.

— Мне нужен редстокист, но настоящий,— как-то сказал мне Лев Николаевич.

И мне удалось завезти в Ясную Поляну бывшего министра путей сообщения, графа А. П. Бобринского. Спор его с Львом Николаевичем был очень интересен и отразился на нескольких страницах в «Анне Карениной», где Алексей Александрович Каренин делается редстокистом, оставляя свой высокий служебный пост...

Но гр. Бобринский остался не особенно доволен результатами своей миссии.

ЕВГЕНИЙ СКАЙЛЕР

ГРАФ Л. Н. ТОЛСТОЙ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

⟨*Отрывок*⟩

⟨...⟩Так как мы вечера и часть утра проводили в кабинете графа, наполненном книгами, разговор, естественно, касался литературы. В промежутках я помогал ему приводить в порядок его библиотеку, большую часть которой занимали старые французские книги, доставшиеся ему после отца или деда; но в ней находились также лучшие произведения литературы Англии, Франции, Германии и Италии, не говоря о русских книгах и завидном собрании сочинений о Наполеоне и его времени, которыми он пользовался для «Войны и мира». Из сих последних мне удалось впоследствии получить некоторые... К несчастию, я не сохранил большей части моих заметок о наших литературных разговорах. Некоторые суждения, однако, произвели на меня сильное впечатление.

Толстой был весьма высокого мнения об английских повестях, не только в художественном отношении, но в особенности за их *натурализм* — слово, бывшее тогда в большом ходу.

— Во французской литературе, — говорил он, — я ценю выше всего романы Александра Дюма и Поль де Кока.

На это я смотрел с изумлением, так как я в то время был строго проникнут господствующею тогда школою.

— Нет, — отвечал он, — не говорите мне ничего о той бессмыслице, что Поль де Кок безнравствен. Он, по английским понятиям, несколько неприличен. Он более или менее то, что французы называют *leste* и *gaulois* *, но

* легкомысленным и вольным (*франц.*).

никогда не безнравствен. Что бы он ни говорил в своих сочинениях и вопреки его маленьким вольным шуткам,— направление его совершенно нравственное. Он — французский Диккенс. Характеры его все заимствованы из жизни и также совершенны. Когда я был в Париже, я обыкновенно проводил половину времени в омнибусах, забавляясь просто наблюдением народа; и могу вас уверить, что каждого из пассажиров я находил в одном из романов Поль де Кока. А что касается до Дюма, каждый из романистов должен знать его сердцем. Интриги у него чудесные, не говоря об отделке: я могу его читать и перечитывать, но завязки и интриги составляют его главную цель.

О Бальзаке Толстой не столько заботился. Из других писателей я ныне могу вспомнить только Шопенгауэра, которым он в то время очень восхищался и коего немецкий стиль особенно ценил.

Мы говорили о современных русских писателях, и, естественным образом, разговор перешел и на его собственные сочинения, о которых он отзывался с большою откровенностью. «Война и мир», которая тогда печаталась, сделалась предметом долгой беседы. ⟨...⟩

⟨...⟩ О французской оккупации и о пожаре Москвы Толстой всегда высказывался в одинаковых, более строгих выражениях, чем те, которые впоследствии употребил в своем романе, приписывая пожар единственно случайности. Он показал мне большую библиотеку, состоящую из избранных им для его исследований книг, и указал на некоторые интересные записки и памфлеты, весьма редкие и мало известные. О Ростопчине он говорил с большим презрением. Ростопчин всегда отрицал, чтобы он был причастен к пожару Москвы, до тех пор, когда нашел нужным оправдать себя. Французы приписывали пожар ему, и впоследствии, во время пребывания его во Франции, после Реставрации, это считалось славным актом патриотизма. Сперва он принял это с скромностью, а после бесстыдно хвастался этим. Легенда образовалась живо, частью благодаря шовинизму французских историков, частью благодаря влиянию Сегюров (один из них был женат на его дочери) и их многочисленных родственников и последователей.

Граф Л. Толстой настаивал на точности и особенно на добросовестности в деле истории и говорил: «Везде, где

в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами».

От этого разговор перешел на деятельность исторических личностей и происшествия; все это впоследствии так подробно сказано им в эпилоге «Войны и мира», что нет надобности повторять это здесь. ⟨...⟩

«Казаки», как уверял меня Толстой, была истинная история и была рассказана ему однажды неким офицером, ночью, когда они вместе путешествовали, и даже не на Кавказе, а на севере России. То, что он написал, было, впрочем, только первой частью, и он все надеялся когда-нибудь дописать повесть. Вообще, может быть, это и лучше; как часть, она в этом виде превосходна; это идиллия, а не полная история.

Я говорил Толстому о первом моем знакомстве с Тургеневым в Баден-Бадене, за год перед тем, который советовал мне, если я желаю сделать нечто более, перевести «Казаков», которых он считал прелестнейшим и совершеннейшим произведением русской литературы. Я просил Толстого дать мне позволение на перевод, которое и было охотно дано, но я сперва попробовал перевести один из севастопольских рассказов, так что я начал «Казаков», когда переменил свой служебный пост, и разные обязанности отложили окончание моего перевода на целые десять лет [1].

Толстой с видимым удовольствием принял похвалы Тургенева, высоко ценил его последние сочинения,— «Дым» только что был издан незадолго перед тем [2],— и говорил о писателе в дружеских и симпатичных выражениях. Из того, что он говорил, как и из того, как всегда отзывался о Толстом Тургенев, который и дал мне к Толстому рекомендательное письмо, я никогда не мог бы вообразить, что между друзьями был разрыв и что ссора продолжалась в течение многих лет. ⟨...⟩

Помогая Толстому приводить в порядок его библиотеку, я помню, что собранию сочинений Ауэрбаха было дано первое место на первой полке, и, вынув два тома «Ein neues Leben» *, Толстой сказал мне, чтобы я прочел их, когда лягу спать, как весьма замечательную книгу, и прибавил:

* «Новая жизнь» (*нем.*).

— Этому писателю я был обязан, что открыл школу для моих крестьян и заинтересовался народным образованием. Когда я во второй раз вернулся в Европу, я посетил Ауэрбаха, не называя себя. Когда он вошел в комнату, я сказал только: «Я Евгений Бауман» [3], и когда он выразил недоумение, я поспешил прибавить: «Не действительно по имени, но по характеру»; и тогда я сказал ему, кто я, как сочинения его заставили меня думать и как хорошо они на меня подействовали.

Случай привел меня следующею зимою провести несколько дней в Берлине, где в гостеприимном доме американского посланника Банкрофта я имел удовольствие встретить Ауэрбаха, с которым тогда я близко познакомился. В разговоре о России мы говорили и о Толстом и я напомнил ему об этом случае.

— Да, — сказал он, — я всегда вспоминаю, как я испугался, когда этот странно глядевший господин сказал мне, что он Евгений Бауман, потому что я боялся, что он будет грозить мне за пасквиль или диффамацию.

«Ein neues Leben» естественным образом подало нам повод говорить о крестьянских школах и вообще о крестьянском сословии, о результатах эмансипации. 〈...〉

Школа Толстого была свободна во многих отношениях, потому что не было никакого покушения вводить порядок или дисциплину, а преподавались только такие предметы, которые интересовали учеников, и только до тех пор, пока этот интерес продолжался. Важным вопросом, по его мнению, было: чему можно учить и как учить?

— В разрешении этих вопросов мне помогал род педагогического такта, какой я имел особенно вследствие моей ревности к делу. Установив самые тесные личные отношения с сорока маленькими людьми, составлявшими мою школу (я называю их маленькими людьми, потому что нашел в них те же самые черты: проницательность и знание практической жизни, веселость, простоту, непосредственность, присущие вообще русским крестьянам); наблюдая их впечатлительность и потребность приобрести необходимые знания, я скоро почувствовал, что старое церковное учение отжило свой век, и не последовал ему. После этого я пробовал методы, предлагаемые педагогическими писателями, особенно немецкими, и нашел, что и они не годятся, особенно те, где старались учить наглядно или по слуху, тем более потому, что были не по вкусу ученикам, которые часто над этим смеялись. При-

нуждение было противно моему взгляду, и поэтому, когда я находил, что предмет не нравится, я искал нечто такое, чему ученики были рады учиться. В то же время я испытывал, каким бы путем лучше обучить даже этим предметам. Те, которые лично узнали мою школу, одобряли и применяли некоторые из моих соображений, которые я иногда подробно излагал в основанном мною с этою целью журнале. Но я должен сознаться, что мне надоело — я был тогда моложе — не столько то, что мои идеи не принимались, как то, что те, которые были официально призваны к интересам образования, не считали достойным возражать мне, а относились к моим идеям с полным равнодушием.

При обсуждении метод преподавания Толстой указал на три начала, как основные: «Учитель всегда невольным образом при преподавании употребляет ту методу, которая ему самому более удобна. Более удобная для учителя всегда менее удобная для учеников. Единственно хорошая метода та, которая удовлетворяет учеников».

Что всегда особенно озабочивало его и занимало его внимание — было найти лучшую методу для обучения детей чтению. Он много расспрашивал меня о новых методах, употребляемых в Америке, и по его просьбе я мог доставить ему — я думаю, благодаря любезности г. Гаррисона, из «Nation» — хороший выбор американских начальных и элементарных способов обучения чтению. В одном из них я помню, что произношение различных гласных и некоторых согласных было представлено наглядно буквами, в общем виде похожими на обыкновенные буквы, но с особенными отличиями, которые тотчас бросались в глаза. Эти книги Толстой пробовал применить при изготовлении своей азбуки, на что он потратил много времени, но издание или употребление которой в школах было запрещено министром народного просвещения. 〈...〉

С. Л. ТОЛСТОЙ

МОЙ ОТЕЦ В СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДАХ, — ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЕГО О ЛИТЕРАТУРЕ И ПИСАТЕЛЯХ

I

В детстве у нас, троих старших, то есть у меня, сестры Тани и брата Ильи, было совсем особенное отношение к отцу, иное, мне кажется, чем в других семьях. Для нас его суждения были беспрекословны, его советы — обязательны. Мы думали, что он знает все наши мысли и чувства и только не всегда говорит, что знает. Я плохо выдерживал взгляд его пытливых небольших стальных глаз, а когда он меня спрашивал о чем-нибудь,— а он любил спрашивать о том, на что не хотелось отвечать,— я не мог солгать, даже увильнуть от ответа, хотя часто мне этого хотелось.

Мы не только любили его; он занимал очень большое место в нашей жизни; и мы чувствовали, что он подавляет наши личности, так что иной раз хотелось вырваться из-под этого давления. В детстве это было бессознательное чувство, позднее оно стало сознательным, и тогда у меня и у моих братьев явился некоторый дух противоречия по отношению к отцу.

В детстве наше первое удовольствие состояло в том, чтобы отец так или иначе занимался с нами, чтобы он взял нас с собой на прогулку, по хозяйству, на охоту или в какую-нибудь поездку, чтобы он нам что-нибудь рассказывал, делал с нами гимнастику и т. д. Он не был ласков с нами обычными проявлениями нежности: поцелуями, подарками, ласковыми словами, редко дарил игрушки; но мы всегда чувствовали его любовь к нам и доволен ли он нашим поведением. Если он назовет меня «Сергулевич»

вместо обычного «Сережа», это была уже ласка. А то он, бывало, тихонько подойдет сзади и молча закроет мне глаза обеими руками. Угадать, кто это сделал, было нетрудно. Или он возьмет меня за обе руки и скажет: «Лезь на меня». Я карабкаюсь по его телу до самых плеч, он меня подтягивает за руки, и я сажусь или становлюсь на его плечо. Тогда он, поддерживая меня, пройдется по комнате, потом как-то сразу перекувыркнет вниз головой, и я опять становлюсь на ноги. Мы очень любили эти телодвижения, и если отец проделает их с одним из нас, например со мной, то сейчас же сестра Таня или брат Илья закричат: «И меня, и меня!»

Мы находили особую прелесть даже в запахе отца, в запахе его фланелевой блузы, здорового пота и табака; в то время он курил.

Одно из наших любимых занятий с отцом была гимнастика. Начиналось это так: мы становились в ряд, отец перед нами, и мы должны были в точности подражать его движениям: ритмически поворачивать голову направо, налево, вверх и вниз, сгибать и разгибать руки, подымать и опускать поочередно правую и левую ногу, приседать, кланяться, не сгибая колен и доставая землю руками, и т. д. Был также козел, через который мы прыгали.

Вообще отец придавал большое значение физическому развитию тела. Он поощрял гимнастику, плавание, бегание, всякие игры, лапту, городки, бары и особенно верховую езду. Иногда на прогулке он скажет: бежим наперегонки. И все мы бежим за ним.

Известно, как мы изображали «нумидийскую конницу»: отец вдруг вскакивал из-за стола и, помахивая поднятой рукой, бежал вокруг стола, и все мы, также подняв руку, бежали за ним. Почему это называлось нумидийской конницей, никому, в том числе и моему отцу, было совершенно неизвестно. Нумидийская конница действовала освежающе на настроение, особенно после скучных гостей. Ее привез из училища правоведения дядя Степа Берс; [1] не знаю, какое было ее символическое значение в этом училище.

Отец очень редко наказывал нас, не ставил в угол, редко бранил, даже редко упрекал, никогда не бил, не драл за уши и т. п., но, по разным признакам, мы чувствовали, как он к нам относится. Наказание его было — немилость: не обращает внимания, не возьмет с собою, скажет что-нибудь ироническое. В нашем детстве или да-

же позднее, в зависимости от нашего поведения, а иногда и без видимой причины, у него были временные любимцы, то один из нас, то другой. Постоянных любимцев у него не было. Только позднее, когда уже мы были взрослыми, он больше всего ценил сочувствие его взглядам. По-видимому, у него не было особой системы воспитания. Он делал замечания, намекал на наши недостатки, иронизировал, шуточкой давал понять, что мы ведем себя не так, как следует, или рассказывал какой-нибудь анекдот или случай, в котором легко было усмотреть намек.

Иногда он раздражался и возвышал голос, особенно во время уроков, но я не помню, чтобы он при этом употреблял грубые слова; случалось только, что он прогонял с урока.

Больше всего он был недоволен нами за ложь и грубость с кем бы то ни было — с матерью, воспитателями или прислугой. Но иногда он делал замечания по менее серьезным поводам. Например, он замечал, когда мы ели с ножа или резали рыбу ножом; в обществе это считалось дурными манерами; в прежнее время этому приписывалось значение. Так, в «Анне Карениной» Анна говорит про кого-то: «Он не то что нигилист, а ест с ножа»[2].

Когда я сутуловато держался, он скажет: «Сядь прямо» или подтолкнет меня в спину. Или, заметив, что я стремился участвовать во всяких играх и увеселениях, слушать разговоры, которые меня не касались, вообще совать свой нос куда не следует, говаривал: «Ты все боишься *пропустить»*, то есть пропустить случай получить удовольствие или узнать что-нибудь интересное. Он действительно подметил черту моего характера, которая впоследствии приводила меня к тому, что я нередко интересовался и занимался не тем, чем следовало.

Когда кто-нибудь из нас рассказывал что-нибудь такое, что должно было казаться смешным или остроумным, и сам при этом смеялся, отец говорил: есть три сорта рассказчиков смешного: низший сорт — это те, которые во время своего рассказа сами смеются, а слушатели не смеются; средний сорт — это те, которые сами смеются и слушатели тоже смеются, а высший сорт — это те, которые сами не смеются, а смеются только слушатели. Вообще он советовал, когда рассказываешь что-нибудь смешное, самому не смеяться, а то вдруг у слушателей сделаются скучные лица, и станет неловко.

Когда я тщился острить и каламбурить, он говорил:

твои остроты вроде лотереи. Редко выпадает выигрыш, а все больше пустой билетик с надписью «аллегри». И на какую-нибудь мою глупость, претендующую на остроумие, он, бывало, скажет: «Аллегри!» [3], или: «Не вышло!».

Когда я делал что-нибудь нечаянно — разобью посуду, разорву или запачкаю свое или чужое платье, забуду данное мне поручение — и оправдываюсь тем, что я это сделал нечаянно, то он, бывало, скажет:

— Вот за это я тебя и упрекаю, что ты сделал это нечаянно. Надо стараться ничего нечаянно не делать.

Еще он говорил:

— Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай.

В 60-х и 70-х годах, до «кризиса», отец был во многом не тем, каким он был впоследствии. Тогда он был жизнерадостен и властен.

В моем детстве во взглядах отца даже чувствовался аристократизм, хотя прямо он его и не высказывал. Более определенно аристократизм высказывался матерью. Отец приписывал некоторое значение наследственности, но под аристократизмом он понимал прежде всего благовоспитанность в лучшем смысле этого слова, чувство собственного достоинства, образованность, сдержанность, великодушие и т. п. Вместе с аристократизмом в этом смысле в нем всегда совмещалось особое уважение и любовь к крестьянству — к нашим кормильцам, как он всегда выражался, и это уважение он внушал и нам. Впоследствии он решительно отрекся от аристократизма.

Отец не любил фамильярности в отношениях между друзьями и даже между родными. Он говорил: «Есть приятели, которые хлопают друг друга по ляжке и приговаривают: «Подлец ты, мой любезный!», или: «Ах ты, милая моя каналья!». Это — «амикошонство» [4] (свиная дружба).

Примером к тому, что настоящая благовоспитанность состоит в том, чтобы облегчать, а не усложнять отношения с людьми, служил известный анекдот, как Людовик XIV, испытывая одного gentilhomm'а, прославленного за свою учтивость, предложил ему войти в карету раньше него — короля. Тот немедленно повиновался и сел в карету. «Вот истинно благовоспитанный человек», — сказал король. А когда Чичиков и Манилов толкутся в дверях, уступая друг другу дорогу, говорил отец,— это нельзя назвать благовоспитанностью.

II

Привычки отца в 60-х и 70-х годах были иные, чем впоследствии. Он курил насыпные папиросы, набитые для него моей матерью, перед обедом иногда пил домашний травник из маленькой серебряной чарочки и небольшую рюмку белого воронцовского вина, ел мясо и охотился. Несмотря на почти полное отсутствие зубов, он скоро ел и мало жевал; сознавая, что это вредно, он говаривал: «Pour se bien porter il faut bien marcher et bien mâcher» *.

На моей памяти он не брился и носил бороду. Волосы на голове и бороду ему подстригали — он сам или моя мать — раз в месяц, в новолунье [5]. Этому, он говорил, он научился у магометан.

Дома он не носил крахмальную рубашку и одевался в свою традиционную блузу, зимой — в серую фланелевую, летом — в парусинную; эти блузы кроила и шила ему одна старая дворовая, Варвара, дочь его дядьки Николая, жившая на деревне, или моя мать. Но когда он ездил в Москву, он надевал крахмальную рубашку и хорошо сшитый сюртук, заказанный у московского портного.

Распределение дня в продолжение нашей жизни в Ясной Поляне до 1881 года было довольно правильно и мало изменялось с сентября по май, то есть в те месяцы, когда отец писал и когда мы, его дети, учились. Летом время распределялось иначе — более разнообразно.

В учебные месяцы мы — дети и педагоги — вставали между восемью и девятью часами и шли пить кофе наверх в залу. После девяти отец в халате, еще неодетый и неумытый, с скомканной бородой, приходил из спальни вниз, в комнату под залой. Внизу он умывался и одевался. Если мы встречали его по пути, он нехотя и торопливо здоровался; мы говорили: «Папа не в духе, пока не умоется». Затем он приходил в залу пить кофе. При этом он обыкновенно съедал два яйца всмятку, выпустив их в стакан.

После этого он до обеда, то есть до пяти часов, ничего не ел. Позднее, начиная с конца 80-х годов, он стал вторично завтракать в два или три часа.

---

* «Чтобы быть здоровым, надо хорошо ходить и хорошо жевать» (*франц.*).

Утром за кофе отец был малоразговорчив и скоро уходил в свой кабинет, взяв с собой стакан чаю. С этого момента мы его почти не видели до обеда.

Моя мать вставала позднее, приходила в залу пить кофе часов в одиннадцать. Между двенадцатью и половиной первого подавался для нас — детей и педагогов — второй завтрак. Родители в этом втором завтраке обыкновенно не участвовали. Таким образом, самовар, кофе и завтрак не сходили со стола от девяти до половины первого.

Когда отец писал, то ни он, ни его семейные не говорили, что он *работает,* а всегда *занимается.* До так называемого кризиса он летом мало *занимался,* давая себе отдых на три летних месяца. В остальное время года, кроме некоторых осенних дней, когда он иногда целый день охотился, он работал почти ежедневно. Когда он занимался, к нему никто не смел входить, даже моя мать: ему нужна была полная тишина и уверенность, что никто не прервет его занятий. Когда его кабинет находился в комнате с большим итальянским окном [6], обе двери — из залы и из гостиной — запирались. Даже в соседнюю комнату можно было входить только тихо и осторожно. В зале тогда играть на фортепиано нельзя было, так как отец говорил, что он *не может не слушать музыку, хотя бы еле слышную.*

Не помню, в какие годы кабинет был переведен вниз — в комнату под залой, и позднее — в комнату под сводами. В 1878 году отец поставил себе избушку в Чепыже [7], куда летом уходил заниматься.

После занятий отец куда-нибудь уходил или уезжал верхом. Эти прогулки или поездки он делал или с известной целью — по хозяйству, на охоту, посетить кого-нибудь, на станцию и т. п., или же без определенной цели, большею частью в Засеку или на шоссе.

Эти прогулки без определенной цели были, может быть, самыми производительными, потому что на них он сосредоточивался и собирал материал для своих писаний.

Засека и шоссе были его любимыми прогулками.

Огромный казенный лес Засека *, с его просеками, малоезжими дорогами, чащами и оврагами, привлекал его

---

* Тульские Засеки, в существующих границах (около 35 000 десятин), представляют часть тех лесов, которые служили Московскому государству защитою от набегов крымских и ногайских

своей дикостью, безлюдием, первобытностью и роскошью растительности. Туда Л. Толстой удалялся от повседневной суеты, там он созерцал природу, почти не тронутую человеком, там он мыслил. Он особенно любил выбирать малозаметные тропинки, не зная, куда они приведут, и бывать в таких частях Засеки, где он раньше не бывал. В лесу, так же как и в области мысли, он любил отыскивать новые пути. В этом он находил особую прелесть. Тропинки иногда прямо выводили его на торные пути, а иногда вели в чащу и глубокие овраги.

Другая любимая прогулка отца была по Киевскому шоссе.

Ясная Поляна стоит на большом пути, ведущем с севера России на Украину, в Крым, к берегам Черного моря. Отец помнил время, когда шоссе еще не было, а была только «большая дорога» или «большак» *.

В его детстве в полуверсте от «старой дороги» было проведено так называемое Киевское шоссе, сократившее и улучшившее путь. Позднее, уже во время моего детства, в полуверсте от шоссе — еще дальше от Ясной Поляны — была построена Московско-Курская железная дорога.

татар. В XVI столетии, когда крымские татары неожиданно вторгались, грабили, жгли и уводили в рабство жителей, московское царское правительство предприняло ряд мер для ограждения южных границ государства. Для этого оно посылало туда ратных людей, поселяло там служилых людей (помещиков) вместе с крестьянами и, пользуясь естественными условиями местности, возводило там укрепления. Пограничные леса-засеки не рубились; только в середине лесной полосы прокапывался ров, по сторонам которого лес *засекался*, то есть деревья подрезались так, чтобы образовать непроходимое заграждение для татарской конницы. Лишь в некоторых местах для проезда оставлялись укрепленные ворота, ограждаемые вооруженными людьми.

Когда надобность в защите от татар миновала, Засеки были обращены в казенные леса ⟨...⟩ (*Прим. С. Л. Толстого.*)

* Это была одна из больших скотопрогонных дорог, тридцатисаженной ширины, которые были проведены при Екатерине между многими городами Центральной России; эти дороги были когда-то обсажены ветлами и березами, в настоящее время не сохранившимися. «Старая дорога» проходила мимо яснополянского парка и через деревню Ясную Поляну. До постройки шоссе это был очень оживленный путь: здесь проезжали в дормезах и колясках, в бричках и тарантасах, санях и возках, и телегах и дровнях, на почтовых и на долгих; проезжали Пушкин, декабристы и многие другие. М. Н. Толстая, мать моего отца, из беседки парка видела, как по этой дороге провозили тело Александра I из Таганрога. (*Прим. С. Л. Толстого.*)

Отец полушутя называл свою прогулку по шоссе выездом в «grand monde» * или прогулкой по Невскому проспекту.

В 60-х и 70-х годах по шоссе шло особенно много богомольцев и богомолок — в Киев, Соловки [8], Троицкую лавру [9], к Тихону Задонскому [10], в Оптину пустынь [11], в Старый Иерусалим [12] и т. д. и обратно. Отец говорил, что немногими из этих странников руководило благочестие. Люди ходили на богомолье по разным причинам: кому плохо жилось дома, кому хотелось повидать божий мир, кто шел потому, что паломничество уважалось, и т. д. Богомольцы и богомолки шли ровным и медленным шагом верст по 30 в день, с котомками и узлами за спиной, в мягких чунях и обмотках; они шли обыкновенно по нескольку человек вместе, питались большею частью подаянием, ночевали где придется, редко мылись и редко меняли белье.

Проходя большие расстояния и встречаясь с многими людьми, богомольцы распространяли народную поэзию, пословицы, сказки, легенды, влияли на народное воззрение и разносили разные слухи.

Отец говорил, что рассказы странников заменяют народу литературу и даже газету. Он любил разговаривать с прохожими, идя по пути с ними или присев на краю дороги. Некоторые их легенды и рассказы превратились под его пером в художественные произведения. Знание быта рабочего народа, народного языка, местных наречий, северного, поволжского, украинского, многих поговорок и пословиц — все это отец приобретал на шоссе.

Тут же проезжали местные крестьяне, знакомые и незнакомые, трезвые и подгулявшие, с возами и порожняком; отец иногда просил их подвезти его, что обыкновенно охотно делалось. На шоссе же крестьяне били камень; он и с ними заводил разговор, а иногда и сам пробовал бить камень. Он говорил, что это очень тяжелая работа; после нее руки болят.

В 5 часов дня мы обедали. К этому времени отец приходил домой, нередко опаздывая. За обедом он бывал оживлен и рассказывал свои дневные впечатления.

Вечером, после обеда, он большею частью читал или, если бывали гости, разговаривал с ними; а иногда он занимался с нами, читал нам вслух или давал уроки. В это

* «великосветское общество» (*франц.*).

время дня доступ к нему был свободен; он даже не всегда закрывал двери в свой кабинет.

Около 10 часов вечера опять все жители Ясной Поляны были в сборе, приходили пить чай в залу. В это время, как и за обедом, отец, когда был в хорошем настроении и здоров, оживленно рассказывал, особенно когда бывали гости. Перед сном он обыкновенно опять читал; одно время он вечером каждый день играл на фортепиано.

Спать он ложился около часа ночи.

III

Отец умел читать, что далеко не всякий умеет. Он хорошо помнил прочитанное и различал книги, которые надо читать, не пропуская ничего, и книги, из которых надо выбрать только существенное или нужное. Таким образом он экономил свое время.

В те годы, когда мы оседло жили в Ясной Поляне, он много читал. Он научился греческому языку, собирал материал для своей «Азбуки» и «Книг для чтения», для задуманных им романов из времен Петра и из жизни декабристов, читал Четьи-Минеи [13], изучал русские былины и пословицы, а в конце 70-х годов — Евангелие и критику Священного писания.

Кроме того, он постоянно читал иностранную беллетристику, особенно английские и французские романы. Из английской литературы он читал Диккенса, Теккерея и семейные романы: Троллопа, Гумфри Уорда, Джорджа Эллиота, Брайтона, Брэддона и др.

Известно, что он ставил Диккенса выше всех других английских романистов. Теккерея он находил несколько холодным, а из остальных романов хвалил «Адама Бида» [14] и «Векфильдского священника» [15].

Из французской литературы он читал Виктора Гюго, Флобера, Дроза, Фелье, Золя, Мопассана, Доде, Гонкуров и других.

Он особенно ценил «Les misérables» * и «Le dernier jour d'un condamné» ** Виктора Гюго, а из реалистов — Мопассана. Он был холоден к Флоберу, Бальзаку и Доде; Золя он читал с интересом, но считал его

* «Отверженные».
** «Последний день осужденного».

реализм преднамеренным, а его описания слишком подробными и мелочными.

— У Золя едят гуся на 20 страницах, это слишком долго, — говорил он про одно место в «La terre» *[16].

Он мало читал немецкую беллетристику. Не помню, чтобы он читал что-нибудь, кроме Шиллера, Гете и Ауэрбаха. Нам он рекомендовал читать «Разбойников» Шиллера, «Вертера» и «Германа и Доротею» Гете.

Нельзя сказать, чтобы в 70-х годах он много читал текущую русскую литературу. Публицистику он почти не читал, а художественную литературу только проглядывал, когда она попадалась ему под руку. Он больше всего интересовался появлявшимися произведениями Тургенева, а из произведений Достоевского некоторые, например «Подросток», насколько я помню, остались ему неизвестными. «В лесах» и «На горах» Андрея Печерского (Мельникова) он не любил, говорил, что у Печерского «фальшивый тон», что он щеголяет местными народными словечками, а крестьянскую жизнь знает плохо. Он говорил про Мельникова-Печерского: «Фальшивая литература. Например, Печерский где-то пишет: «Русский человек не жалеет дерева. Он рóнит вековой дуб, чтобы вырезать из него оглоблю». Слово «ронит» Печерский употребил, думая, что знает народный язык. Он не знает, что мужик никогда не станет вырезывать оглоблю из векового дуба, а срежет для этого молодую березку». В исторических романах, вроде «Юрия Милославского» и «Князя Серебряного»,— подражаниях Вальтеру Скотту, которого отец не любил,— он указывал на неверное понимание быта эпохи; к историческим романам Данилевского, Мордовцева, Салиаса, Вс. Соловьева и других относился пренебрежительно.

Нам, своим детям, отец советовал не спешить читать шедевры литературы, для того чтобы позднее, когда мы будем старше и будем лучше понимать их, не утратился интерес новизны. Поэтому Пушкина, Лермонтова, Гоголя мы прочли довольно поздно. С другой стороны, он не любил специально детскую литературу. Он рекомендовал нам читать такие произведения всемирной литературы, которые интересны как для детей, так и для взрослых, — «Робинзона Крузо», «Дон-Кихота», «Путешествия Гулливера»,

* «Земля».

«Les misérables» Виктора Гюго, Александра Дюма (отца), Диккенса («Оливера Твиста», «Давида Копперфильда») и др. Из русской литературы он особенно рекомендовал прозу Пушкина и Гоголя, «Записки охотника» Тургенева, «Записки из мертвого дома» Достоевского. Свои произведения, кроме рассказов из «Азбуки» и «Книг для чтения», он не рекомендовал нам читать. Зато моя мать поощряла в нас чтение произведений Льва Толстого. «Детство», «Отрочество» и «Юность» были одними из моих любимых книг, особенно потому, что я сравнивал себя с Николенькой Иртеньевым.

О преподавании русской литературы Лев Николаевич говорил: «Обыкновенно сообщают очень немногое о былинах и летописях и о допетровских русских писателях — о переписке Ивана Грозного с Курбским, о жизнеописании протопопа Аввакума, о Котошихине, Посошкове и др. Между тем это серьезная, содержательная литература, не то, что бессодержательные сочинения писателей, писавших в XVIII столетии под влиянием Западной Европы — Кантемира, Тредиаковского, Сумарокова и даже Фонвизина и Державина».

Из произведений Пушкина в моем отрочестве он советовал мне прежде всего прочесть «Повести Белкина». Вообще он высоко ценил язык, слог и форму прозы Пушкина. В этом отношении он считал «Пиковую даму» образцовым произведением.

К стихотворной речи отец вообще относился отрицательно. Он говорил, что поэты связаны размером и рифмой и нередко подгоняют под них свои образы и выражения; они не свободны в выражении своих мыслей. Он ценил только очень немногих поэтов — Тютчева, Лермонтова, Фета и, разумеется, Пушкина. Когда я раз ему сказал, что Пушкин мыслил стихами, чего нет у современных поэтов, он с этим согласился.

Впрочем, он соглашался с тем, что у поэтов, особенно у Пушкина, иногда искание рифмы приводит к удачным выражениям.

Помню некоторые отзывы отца о стихотворениях Пушкина. Он хвалил стихотворения: «Буря мглою небо кроет», «Вновь я посетил тот уголок земли», «Осень», «Тазит», «Братья-разбойники», «Туча», «Анчар» и др. Он называл прекрасным стихотворением «Тучу», в котором одно лишь слово неудачно. Он рассказывал, что Тургенев предлагал ему и Фету угадать это слово. Оба отгадали.

Это было слово «обвивала» в стихе «И молния грозно тебя обвивала». Молния не обвивает тучу. Отец, по примеру Тургенева, предлагал этот вопрос разным лицам и по ответам судил об их художественном чутье.

Про стихотворение «Анчар» он говорил: «По этому прекрасному стихотворению видно, как поэты связаны рифмой. Слово «лыки» понадобилось для рифмы к «владыки»; [17] а какие лыки могут быть в пустыне?».

В своих «Воспоминаниях» и в «Круге чтения» он поместил стихотворение Пушкина «Когда для смертного умолкнет шумный день». В своих воспоминаниях он сознается, что с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в этом стихотворении. Только в последнем стихе — «Но строк печальных не смываю» — он заменил бы слово «печальных» словом «постыдных» [18].

Отец мало ценил поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Анджело», «Полтаву», но восхищался «Цыганами». Ведь в «Цыганах» культурный человек осуществляет его собственную мечту — уйти из культурной жизни. В «Домике в Коломне» он ценил стихотворную технику Пушкина, но разумеется — не содержание этой шуточной поэмы. По форме и языку он очень ценил и «Графа Нулина», но говорил, что в этой веселой пьесе напрасно Пушкин упоминает о соседе Натальи Павловны, который особенно много смеялся, услышав о ее приключении с графом Нулиным.

Отец в 90-х годах, когда писал свою статью об искусстве [19], критически относился к Пушкину. Он говорил, что рабочий народ требует серьезного и понятного содержания от писателя, а Пушкин воспевает женские ножки и перси и упоминает об отживших языческих божествах — Киприде, Вакхе, Зевсе и др.

Помню, как он тогда подробно разбирал известный отрывок из «Евгения Онегина»: «Зима. Крестьянин, торжествуя», и т. д. Он говорил: «Почему крестьянин торжествует? В том нет никакого торжества, что выпал снег. Выражение «как-нибудь» в стихе «Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь» — неправильно: «как-нибудь» взято для рифмы к слову «путь». Это слово поставлено вместо «кое-как».

Позднее отец перечитывал «Евгения Онегина» и очень сочувственно относился к этому роману. Некоторыми местами «Евгения Онегина», например началом главы VII, «Гонимы вешними лучами», он всегда особенно

восхищался. «Здесь каждый стих — верная картина природы, — говорил он, — и какое прекрасное сравнение:

Еще прозрачные леса
Как будто пухом зеленеют».

Он говорил, что иногда действующие лица у писателя поступают неожиданно для него самого. Как пример он приводил слова Пушкина, сообщенные одним из современников Пушкина: «Какова моя Татьяна, какую штуку выкинула! Отказала Онегину!»

Как к человеку отец относился к Пушкину сочувственно. Он считал его человеком искренним, не закрывающим глаза на свои слабости и если и шедшим на компромиссы, то на компромиссы лишь в поступках, а не в убеждениях. Не помню, от кого он слышал слова Пушкина, сказанные им при встрече с приятелем на Невском проспекте:

«— Каким подлецом я себя чувствую!

— Почему? — спросил приятель.

— Сейчас встретил Николая Павловича и говорил с ним».

В Ясной Поляне, насколько мне помнится, постоянно выписывался только один толстый журнал — «Revue des Deux Mondes». «Русский вестник», «Заря», позднее «Беседа» (под ред. Навроцкого) и «Русская мысль» (под ред. Юрьева) присылались издателями; одно время получались «Русская старина» и «Русский архив».

«Вестник Европы» не выписывался, но бывал в Ясной Поляне; кажется, его выписывали Кузминские. Одно время получался почему-то «Огонек», где печатался роман Писемского «Масоны»; отцу понравилось начало этого романа, и он даже начал его читать нам вслух, но скоро бросил.

В конце семидесятых годов появились в Ясной Поляне, не помню откуда, «Отечественные записки». Отец читал их с интересом, особенно Щедрина и «Письма из деревни» Энгельгардта. Отрывки из «За рубежом» Щедрина он читал нам вслух; «Разговор мальчика в штанах и мальчика без штанов» смешил его до слез.

Помню также, что он читал нам вслух рассказ Щедрина о том, как татарин из трактира возил «ямудского принца» в Петербург (из «Помпадуры и помпадурши»). Его смешило впечатление, произведенное на принца Петербургом: «Помпадур есть, народ нет, чисто!» И после своей

поездки в Петербург он иронически говорил: «Хорошо в Петербурге — помпадур есть, народ нет, чисто!»

Газет в те времена отец почти не читал. Кажется, тогда в Ясной Поляне получались только «Московские ведомости», присылавшиеся Катковым.

IV

Я считаю себя счастливым тем, что много слышал живую художественную и разнообразную речь моего отца. При его удивительной памяти и исключительной впечатлительности, как он хорошо передавал все им виденное, слышанное, продуманное, прочитанное! И как много я слышал от него нового и неожиданного, того, чего другие не замечают или о чем другие не говорят! С другой стороны, в его речи не было тех предметов разговора, которые мы слышим ежедневно: сплетен, неинтересных рассказов о самом себе, ненужных подробностей, пошлых анекдотов и т. п. Чувствовалось, что его рассказ или мысль, им высказываемая, ему нужны для его работы или для его мировоззрения; жившие с ним слышали многое из того, что потом вошло в его произведения. Он не любил говорить (или поступать) *зря*, без цели. Самое слово «зря» он не любил, и, кажется, нигде в его писаниях нет этого слова.

Отец, как очень немногие, любил и чувствовал красоту лесов, полей, лугов, неба. Он, бывало, говорил: «Как у бога добра много! Природа бесконечно разнообразна; каждый день отличается от предыдущего, каждый год бывает неожиданная погода».

У него было зрение пейзажиста, хотя он считал, что пейзаж — низший род искусства. Например, он как-то сказал: «Как красива желтая рожь на фоне темного дубового леса; вот мотив для пейзажиста!»

Иногда он говорил про цвет неба и облаков: «Какое освещение! Если бы художник написал такую картину, ему не поверили бы, сказали бы, что он эту окраску выдумал».

Придя с прогулки, он иногда приносил какой-нибудь редкий для наших мест цветок, какой-нибудь особенно большой колос, весной — красненький цветок орешника, осенью — необыкновенно окрашенный лист, причудливые серьги бересклета; он сам любуется и показывает нам.

В ясную ночь он нам рассказывал про звездное небо. Одно время его интересовала астрономия — не математическая, а наглядная астрономия, и он называл нам звезды и объяснял разницу между звездами, планетами и кометами.

Нередко он рассказывал нам что-нибудь из жизни крестьян, особенно крестьян Ясной Поляны; он всех их знал. Он, бывало, запросто заходил в их избы, просто разговаривал с ними, иногда давал советы, говорил по какому-нибудь делу или отвечал на их просьбы. Они доверчиво к нему относились, и он знал их семейные дела и даже тайны. Так, раз он по секрету сообщил нам, что на деревне у Курносенковых скрывается беглый каторжник Рыбин.

Однажды он нам рассказал, как в яме около шоссе, где крестьяне брали песок, одного из них завалило песком. Он вместе с крестьянами ходил откапывать тело засыпанного и говорил, что они это делали самоотверженно, с опасностью быть засыпанными сами.

Бывало, каждый день под вязом около дома дожидались выхода Льва Николаевича крестьяне Ясной Поляны или окрестных, иногда дальних деревень — кто за советом по судебным, семейным или хозяйственным делам, кто с просьбой дать хворосту, лесу, покос, денег и пр. Он был известен в округе как человек, который может дать хороший совет и повлиять на власть имущих. Впоследствии, после семидесятых годов, состав посетителей понемногу изменился: просящих совета и заступничества стало меньше, нищих стало больше, и прибавились люди с религиозными вопросами и просто любопытные.

Он знал крестьянское хозяйство во всех подробностях и экзаменовал нас: «Ну-ка, расскажите, как называются части крестьянской упряжи, как надо запрячь лошадь?», или: «Как называются части сохи?». Так как мы не могли обстоятельно ответить, то он сам подробно отвечал на свои вопросы.

А то, бывало, он выскажет те мысли, которые в данное время его занимают. В конце семидесятых годов это были мысли, высказанные им в «Исповеди» и «В чем моя вера?», и философские мысли, преимущественно навеянные Кантом и Шопенгауэром, а также разговорами и перепиской с Н. Н. Страховым и Фетом. К сожалению, я тогда не записывал его слов и не могу точно их передать. Приведу лишь в качестве примера его соображение о мерилах

времени. Он говорил, что есть два мерила времени: одно — объективное, другое — субъективное. Объективно мы измеряем время годами, днями, часами и т. д., субъективно — прожитой нами жизнью. По количеству и силе впечатлений, переживаемых в продолжение года трехлетним ребенком, год, им прожитый, равняется трети его жизни, тогда как для тридцатилетнего человека год составляет лишь $^1/_{30}$ его жизни. Для ребенка все ново и значительно, для него год кажется большим промежутком времени. Этим объясняется, почему чем мы старше, тем время проходит быстрее.

Однажды он высказал такую мысль (передаю ее так, как запомнил, может быть, не теми словами, которыми он ее выразил): «О степени культурности страны следует судить не по распространению грамотности и образованности среди массы, а по степени образованности высшего слоя населения. В России высший слой образован столько же, если не больше, чем в других европейских странах. Поэтому нельзя сказать, что Россия менее цивилизованна, чем они».

Про женщин он говорил: «Есть три рода женщин: La femme du foyer — женщина домашнего очага (семейная), la femme du temple — женщина храма (идейная) и la femme de la rue — уличная женщина (развратная)».

При случае он любил приводить французские поговорки и изречения. Некоторые ему служили правилами. Вспоминаю следующие:

Dans le doute abstiens toi (в сомнении воздержись).

Le mieux est l'ennemi du bien (лучшее враг хорошего), что соответствует русской поговорке: от добра добра не ищут.

Dis moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es (скажи мне, с кем ты водишься, и я тебе скажу, кто ты).

Tout comprendre c'est tout pardonner (все понимать — значит все прощать).

Tout vien à temps à celui qui sait attendre (все приходит вовремя тому, кто умеет ждать).

L'exactitude c'est la politesse des rois (точность — учтивость королей).

Fais ce que dois, advienne que pourra (делай то, что должно делать, что бы ни случилось).

Последнее изречение можно назвать девизом отца. Он всегда считал, что долг выше всего и что в своих

поступках не следует руководствоваться предполагаемыми последствиями их.

По поводу той или иной известной книги он приводил латинское изречение: Habent sua fata libelli pro capite lectoris (книги имеют свои судьбы в зависимости от головы читателя). Он говорил, что обыкновенно приводится только первая половина этого изречения: книги имеют свои судьбы,— что лишает его настоящего смысла, а именно, что успех книги зависит от понимания и уровня развития читателей.

Во время составления «Азбуки» и «Книг для чтения» и позднее он не переставал изучать русский язык и собирать слова, поговорки и пословицы. В то же время он читал словарь Даля, былины, сборники сказок и пословиц.

Помню следующие его соображения: «Приставка «су» значит «похожий, вроде»; таковы слова: супесь, суглинок, сукровица, сумрак, сурепица. Приставка «па» означает нечто ненастоящее, ложное: пасынок, падчерица, паводок *, пакленок, паскуда. Окончание «ище» означает известную площадь, особенно бывшую чем-то; таковы слова: кладбище, пожарище, торжище, городище, селище и т. п. Он был доволен, когда услышал от одного богомольца северного края слово «стрельбище» в смысле того расстояния, на какое хватает выстрел.

Он спрашивал: какая разница между словами: начинать, зачинать, починать, начин, зачин, почин? И отвечал: начинать — общее понятие, относится больше к действиям; зачинать — самое первое начало какого-нибудь нового, еще не бывалого действия; починать относится к чему-нибудь материальному: почать стог сена, горшок с кашей.

К некоторым словам у него была антипатия, не знаю почему. Он не любил и никогда не употреблял, кроме слова «зря», слов: словно, молвил, сниматься (вместо фотографироваться). Помню, как он возмутился, когда редактор в присланной ему корректуре «Анны Карениной» заменил слово «сказал» словом «молвил».

Он справедливо возмущался, когда говорили «одеть» пальто или пиджак вместо «надеть». Он говорил: *одевают*

* Слово «паводок» нередко употребляется неправильно. «Паводок» — это не весеннее половодье, а ложное половодье, наводнение, происходящее от сильных дождей не весной, а в другое время года. (*Прим. С. Л. Толстого.*)

кого-нибудь, а *надевают* что-нибудь (платье). К сожалению, эта неправильность языка так вошла в обыкновение, что в настоящее время все говорят: «одеть» пальто или брюки, а не надеть.

Он признавал употребление иностранных слов только тогда, когда нет соответствующих русских слов, и даже соглашался на такие искажения иностранных слов, как «ярмонка» или «польта».

В разговоре он нередко приводил русские пословицы, как общеизвестные, так и малоизвестные, записанные им от крестьян и богомольцев. Он говорил, что народная мудрость, выраженная в пословицах, поговорках, легендах, сказках и т. п., рассеяна по всей России; частицы ее можно услышать то от одного человека, то от другого; а в целом они, дополняя друг друга, выясняют мировоззрение русского народа.

Мне приходят на память следующие пословицы, которые он высказывал по тому или другому поводу: «много баить не подобает»; «на всякий роток не накинешь платок»; «как аукнется, так и откликнется»; «бог-то бог, да сам не будь плох»; «где родился, там и годился»; «не так живи, как хочется, а как бог велит»; «день мой — век мой», и много других. Последние две пословицы выражают его основные убеждения.

Он указывал на неполноту некоторых общеизвестных пословиц и записал дополнения к ним, слышанные им из уст народа. В следующих примерах эти дополнения напечатаны разрядкой:

«На чужой каравай рта не разевай, а раньше вставай да свой затевай».

«Без стыда лица не износишь, как платья без пятна».

«От корма кони не рыщут, от добра добра не ищут».

«Не так живи, как хочется, а как бог велит».

Он указывал на искажение некоторых поговорок. Так, например, он говорил, что бессмысленная поговорка: «Сухо дерево, завтра пятница» — произошла от поговорки: «Сухо дерево назад не пятится», то есть согнутое сухое дерево не возвращается в первоначальное состояние. Или что в поговорке: «На тебе, боже, что мне не гоже» — вместо слова «боже» надо говорить «убоже» (звательный падеж от слова «убогий»).

Вообще в семидесятых годах он больше, чем когда-либо, изучал русский язык и русскую народную литературу, чем и воспользовался позднее в своих народных рассказах и других произведениях.

Он почти никогда не рассказывал планы своих литературных работ, говоря, что излагать свое произведение, пока оно не окончено, значит погубить его. Но по мере того, как он собирал материал, он рассказывал отдельные эпизоды из действительной жизни, которые служили ему материалом, и потом, преображенные, входили в его произведения. Рассказы в «Книгах для чтения», «Кавказский пленник», «Охота пуще неволи», разные эпизоды из «Анны Карениной», отдельные штрихи из времени Петра I и декабристов я слышал от него в то время, когда он задумывал эти произведения.

V

В нашем детстве мы, то есть я и мои братья и сестры, особенно любили прибаутки, поговорки и рассказы отца.

Когда мы почему-нибудь плакали, он, бывало, расскажет что-нибудь смешное, и мы смеемся сквозь слезы. Например, он говорил:

Ты не плачь, не плачь, детинка,
В нос попала кофеинка,
Авось проглочу.

Несмотря на бессмысленность этого изречения, оно действовало безошибочно. Кофеинка неизменно вызывала смех или улыбку *.

Когда кто-нибудь из нас ушибется или упадет, он, бывало, скажет:

Танцевальщик танцевал,
А в углу сундук стоял.
Танцевальщик не видал,
Спотыкнулся и упал [20].

Иногда он рассказывал анекдоты. Например, был анекдот о том, что один немец никак не мог сесть на лошадь, несмотря на то, что призывал на помощь то того, то другого святого. Наконец он призвал всех святых, сде-

---

* Эту прибаутку слышал в Сибири Ф. И. Толстой-Американец от одного ссыльного; об этом пишет его двоюродная племянница М. Ф. Каменская. (*Прим. С. Л. Толстого.*)

лал усилие и так высоко прыгнул, что перескочил через лошадь. Тогда он сказал: «Nicht alle auf einmal» (не все сразу).

Хорош был анекдот про немца-преступника, приговоренного к смертной казни, просившего у короля, как милости, позволить ему самому выбрать род смерти. Когда же король ему это разрешил, он сказал: «Ich will aus Altersschwäche sterben», то есть: я хочу умереть от старческой дряхлости. Король его помиловал.

Рассказывал он также известный анекдот о том, как цыган приучал свою лошадь ничего не есть и совсем было приучил, да на тот грех она пала.⟨...⟩

И. Л. ТОЛСТОЙ

ПОЕЗДКА В САМАРУ

Довольно яркие, хотя несколько отрывистые и непоследовательные воспоминания остались у меня от трех наших летних поездок в самарские степи.

Папа̀ ездил туда еще до своей женитьбы, в 1862 году, потом, по совету доктора Захарьина, у которого он лечился, он был на кумысе в 1871 и 1872 году, и наконец в 1873 году мы поехали туда всей семьей.

К тому времени папа̀ купил в Бузулукском уезде несколько тысяч десятин земли, и мы ехали уже в свое новое имение на «хутор».

Я почему-то особенно ясно помню нашу первую поездку.

Мы ехали через Москву, на Нижний Новгород, и оттуда до Самары по Волге, на чудном пароходе общества «Кавказ и Меркурий».

Капитан парохода, очень милый и любезный человек, оказался севастопольцем, товарищем моего отца по Крымской кампании.

Мимо Казани мы проехали днем.

Пока пароход стоял у пристани, мы втроем, папа̀, Сережа и я, пошли бродить по пригороду, около пристани.

Папа̀ хотелось хоть издали взглянуть на город, где он когда-то жил и учился в университете, и мы не заметили, как в разговоре время прошло и мы забрели довольно далеко.

Когда мы вернулись, оказалось, что наш пароход давно уже ушел, и нам показали вдали на реке маленькую, удаляющуюся точку.

Папа̀ стал громко ахать, стал спрашивать, нет ли других пароходов, отходящих в ту же сторону, но оказалось,

что все пароходы других обществ ушли еще раньше и нам предстояло сидеть в Казани и ждать до следующего дня.

А у папа̀ и денег с собой не было.

Папа̀ стал ахать, а я, конечно, заревел, как теленок.

Ведь на пароходе уехали мама̀, Таня и все наши, а мы остались одни.

Меня начали утешать,— собралась сочувствующая публика.

Вдруг кто-то заметил, что наша точка, наш пароход, на который мы все время смотрели, стал увеличиваться, расти, расти, — и скоро стало ясно, что он повернул назад и идет к нам.

Через несколько минут он подошел к пристани, принял нас, и мы поехали дальше.

Папа̀ был страшно сконфужен любезностью капитана, вернувшегося за ним по просьбе мама̀, хотел заплатить за сожженные дрова деньги и не знал, как его отблагодарить.

Теперь, когда пароход за ним вернулся, он ахал еще гораздо больше, чем тогда, когда он уходил, и был сконфужен ужасно.

От Самары мы ехали сто двадцать верст на лошадях в огромной карете-дормезе, запряженной шестериком, с форейтором [1], и в нескольких парных плетушках.

В карете сидела мама̀, которая тогда кормила маленького моего брата Петю (умершего осенью этого же года), и младшие: Леля [2] и Маша, а мы с Сережей и Таней перебегали то в плетушку к папа̀, то на козлы, то на двухместное сидение, похожее на пролетку, прикрепленное сзади кузова кареты.

В Самаре мы жили на хуторе, в плохоньком деревянном домике, и около нас, в степи, были разбиты две войлочные кибитки, в которых жил наш башкирец Мухамедшах Романыч [3] с своими женами.

По утрам и вечерам около кибиток привязывали кобыл, их доили закрытые с головой женщины, и они же, в кибитке, хоронясь от мужчин за пестрой ситцевой занавеской, делали кумыс.

Кумыс был невкусный, кислый, но папа̀ и Степа [4] его любили и пили помногу.

Придут они, бывало, в кибитку, садятся, скрестивши ноги, на подушки, разложенные полукругом на персидском ковре, Мухамедшах Романыч приветливо улыбается

своим безусым старческим ртом, и из-за занавески невидимая женская рука пододвигает полный кожаный турсук кумыса.

Башкирец болтает его особенной деревянной мешалкой, берет ковш карельской березы и начинает торжественно наливать белый, пенистый напиток по чашкам.

Чашки тоже карельской березы, но все разные. Есть большие, плоские, другие — маленькие и глубокие.

Папа̀ берет самую большую чашку обеими руками и, не отрываясь, выпивает ее до конца.

Романыч наливает опять и опять, и часто за один присест он выпивает по восемь чашек и больше.

— Илья, что ты не пьешь? Попробуй, что за прелесть, — говорит он мне, протягивая полную до краев чашу, — ты только выпей сразу, потом сам будешь просить.

Я делаю над собой усилие, выпиваю несколько глотков и сейчас же выскакиваю из кибитки, чтобы выплюнуть их,— настолько мне противен и запах и вкус этого кумыса.

А папа̀ и Степа пьют его по три раза в день.

В это время отец очень интересовался хозяйством, и в особенности лошадьми.

В степи ходили наши «косяки» кобыл, и с каждым косяком ходил свой жеребец.

Лошади были самые разнообразные.

Были английские скаковые кобылы, были производители старинных растопчинских кровей, были рысаки, и были башкиры и аргамаки.

Впоследствии завод наш разросся до четырехсот голов, но пошли голодные года, лошади стали падать, и в восьмидесятых годах это дело как-то растаяло незаметно.

Только в Ясной Поляне остались приведенные из Самары лошади, удивительно доброезжие, на которых мы много лет ездили и потомки которых живы до сих пор.

В это лето папа̀ устроил скачки.

Вымерили и опахали плугом круг в пять верст и дали знать всем соседям, башкирам и киргизам, что будут скачки с призами.

Призы были: ружье, шелковый халат и серебряные часы.

Здесь я должен оговориться: скачки устраивались у нас и во второй наш приезд в Самару, в 1875 году, и возможно, что я что-нибудь перепутаю и расскажу здесь о том, что было во второй раз. Но это не важно [5].

Дня за два до назначенного дня к нам стали съезжаться башкиры с своими кибитками, женами и лошадьми.

В степи, рядом с кибиткой Мухамедшах Романыча, вырос целый поселок войлочных кибиток, и около каждой из них были устроены земляные печки для варки еды и ко́новязи.

Степь оживилась.

Около кибиток стали шнырять покрытые с головой, прячущиеся женщины, стали разгуливать важные и степенные башкирцы, и по полям с диким гиканьем понеслись тренируемые скакуны.

Два дня готовились к скачкам и пировали.

Пили бесконечное количество кумыса, съели пятнадцать баранов и лошадь, безногого английского жеребенка, откормленного специально для этой цели.

По вечерам, когда зной спадал, все мужчины в своеобразных пестрых халатах и шитых тюбетейках, собирались вместе, и устраивалась борьба.

Папа̀ был сильнее всех и на палке перетягивал всех башкирцев.

Только русского старшину, в котором было около восьми пудов весу, он перетянуть не мог. Бывало, натянется, приподымет его от земли до половины, кажется, вот-вот старшина встанет на ноги, все ждут с замиранием сердца, вдруг, смотришь, старшина всем своим весом плюхается на землю, а папа̀ поднят и стоит перед ним, улыбаясь и пожимая плечами [6].

Один из башкирцев хорошо играл на горле, и папа̀ всякий раз заставлял его играть.

Это искусство очень своеобразное.

Человек ложится на спину, и в глубине его горла начинает наигрывать органчик, чистый, тонкий, с каким-то металлическим оттенком. Слушаешь и не понимаешь, откуда берутся эти мелодичные звуки, нежные и неожиданные.

Очень немногие умеют играть на горле, и даже в те времена говорили, что среди башкир это искусство уже исчезало.

В день скачек все поехали на круг, женщины в крытой карете, а мужчины верхами.

Лошадей собралось много, проскакали дистанцию в двадцать пять верст в тридцать девять минут, и наша лошадь взяла второй приз.

После этого мы с папа̀ ездили на Каралык в гости к башкирцам, и они нас угощали бараньим супом.

Хозяин брал куски баранины руками и раздавал всем гостям.

А когда один из гостей-башкирцев отказался от угощенья, хозяин этим жирным куском баранины, как губкой, вымазал ему все лицо, и тогда тот взял и ел.

Мы ходили в степи смотреть башкирские табуны.

Папа̀ похвалил одну буланую лошадь, а когда мы собирались ехать домой, то эта лошадь оказалась привязанной около нашей оглобли.

Папа̀ был сконфужен, но отказаться — значило бы обидеть хозяина, и мы должны были подарок принять. После пришлось этого башкирца отдарить червонцами.

Звали его Никитой Андреевичем.

Несколько раз бывал у нас в гостях другой башкирец, Михаил Иванович. Папа̀ любил играть с ними в шашки.

Во время игры Михаил Иваныч приговаривал: «Думить надо, баальшой думить надо!» — но часто, несмотря на свое думанье, он попадался, и папа́ его запирал, а мы радовались и хохотали.

Мы жили с немцем Федором Федоровичем [7] в пустом амбаре, в котором по ночам пищали и бегали крысы.

В степях, часто близко от дома, разгуливали стада красавцев дудаков (дроф), и высоко под облаками реяли громадные черные беркуты.

Несколько раз папа̀, Федор Федорович и Степа пробовали их стрелять, но они были очень осторожны, и подойти к ним было почти невозможно.

Один раз только Федору Федоровичу удалось как-то незаметно подкрасться к дудаку из-за стада овец и подранить его.

Когда его привели к дому живого, держа с двух сторон за крылья, все мы вместе с папа̀ выбежали навстречу, и это было такое торжество, что я помню его до сих пор.

Много лет спустя ко мне заезжал старый, разбитый параличом Федор Федорович, и мы с ним еще раз вспоми-

нали об этом событии, которое он помнит так же, как и я.

С хутора папа̀ несколько раз ездил за лошадьми на ярмарки в Бузулук и в Оренбург[8].

Я помню, как в первый раз привели к нам целый табун совершенно диких степняков. Их пустили в огороженный двор.

Когда их стали ловить укрючинами, несколько лошадей с разбега перемахнули через земляную кирпичную стену и ускакали в степь.

Башкирец Лутай помчался за ними верхом на лучшем нашем скакуне и поздно ночью пригнал их назад.

Этот же башкирец и объезжал самых непокорных дикарей.

Лошадь ловили укрюком, крячили губу, надевали на нее уздечку, двое мужчин держали ее за удила и за уши, башкирец вскакивал, кричал «пускай», и, не задерживая лошади, он исчезал на ней в степи.

Через несколько часов он возвращался шагом на взмыленной лошади, которая уже покорялась ему, как старая.

В другой раз папа̀ привел из Оренбурга чудного белого бухарского аргамака и пару осликов, которых мы потом взяли в Ясную и на которых ездили верхом несколько лет.

Папа̀ их назвал: «Бисмарк» и «Макмагон».

Во вторую нашу поездку в Самару, в 1875 году, папа̀ ездил в Бузулук к какому-то старцу-отшельнику, прожившему двадцать пять лет в пещере.

Он узнал о нем из рассказов местных крестьян, которые его чтили, как святого.

Я тогда очень просился ехать вместе с ним, но папа̀ меня не взял из-за того, что в это время у меня сильно болели глаза.

Я думаю, что этот отшельник не представлял особенного интереса как проповедник, потому что я совсем не помню, что рассказывал о нем папа̀.

В первый год нашей жизни на хуторе в Самарской губернии был сильнейший неурожай, и я помню, как папа̀ ездил по деревням, сам ходил по дворам и записывал имущественное положение крестьян. Я помню, что в каждом дворе он прежде всего спрашивал хозяев, русские они или молокане, и что он с особенным интересом беседовал с иноверцами о вопросах религии[9].

Любимый его собеседник из крестьян — это был степенный и умный старик Василий Никитич, живший в ближайшей к нам деревне Гавриловке.

Приезжая в Гавриловку, папа̀ всегда останавливался у него и подолгу с ним беседовал.

Я не помню, о чем они разговаривали, так как в это время я был еще мал и меня ни голод народный, ни религиозные разговоры не занимали. Я помню только, что Василий Никитич на каждом шагу повторял слово «двистительно» и что он говорил, что он «нашел средствие в чаю», к которому всегда подавался идеально чистый, белый мед [10].

И. Н. КРАМСКОЙ

ПИСЬМА К П. М. ТРЕТЬЯКОВУ

1

5 сентября 1873 г.
Козловка-Засека.

⟨...⟩ Граф Лев Николаевич Толстой приехал, я с ним видался и завтра начну портрет. Описывать Вам мое с ним свиданье я не стану, слишком долго — разговор мой продолжался с лишком два часа, четыре раза я возвращался к портрету, и все безуспешно; никакие просьбы и аргументы на него не действовали, наконец я начал делать уступки всевозможные и дошел в этом до крайних пределов. Одним из последних аргументов с моей стороны был следующий: «Я слишком уважаю причины, по которым ваше сиятельство отказываете в сеансах, чтобы дальше настаивать, и, разумеется, должен буду навсегда отказаться от надежды написать портрет, но ведь портрет Ваш должен быть и будет в галерее». — «Как так?» — «Очень просто, я, разумеется, его не напишу, и никто из моих современников, но лет через тридцать, сорок, пятьдесят он будет написан, и тогда останется только пожалеть, что портрет не был сделан своевременно». Он задумался, но все-таки отказал, хотя нерешительно. Чтобы, наконец, кончить, я начал ему делать уступки и дошел до следующих условий, на которые он и согласился: во-первых, портрет будет написан, и если почему-нибудь он ему не понравится, будет уничтожен, затем время поступления его в галерею Вашу будет зависеть от воли графа, хотя и считается собственностью Вашею. Последнее обстоятельство было настолько уже безобидно для него, что он

как бы сконфузился даже и должен был согласиться. А затем оказалось из дальнейшего разговора, что он бы хотел иметь портрет и для своих детей, только не знал, как это сделать, и спрашивал о копии и о согласии наконец впоследствии сделать ее, то есть копию, которую и отдать Вам; чтобы не дать ему сделать отступление, я поспешил ему доказать, что копии точной нечего и думать получить, хотя бы и от автора, а что единственный исход из этого, это написать с натуры два раза совершенно самостоятельно, и уж от него будет зависеть, который оставить ему у себя и который поступит к Вам. На этом мы расстались и порешили начать сеансы завтра, то есть в четверг[1]. Об исходе дела я и тороплюсь сообщить Вам, а затем надеюсь, что портрет его, хотя и будет им задержан, но не надолго — так как не будет причины ему удерживать его у себя. Не знаю, что выйдет, но постараюсь, написать его мне хочется.⟨...⟩

2

15 сентября 1873 г.
Козловка-Засека.

Многоуважаемый Павел Михайлович!

Я очень хорошо понимал, что сделать один портрет графа Толстого, с тем чтобы копию для Вас, или оставить оригинал у графа на неопределенное время, значит сделать дело вполовину. Я знаю, что Вам копии не нужно, и до этого я бы не допустил, самое неприятное, хотя еще и возможное,— это сделать портрет и оставить его у графа с тем, чтобы он считался Вашей собственностью и что поступит он к Вам в галерею, когда заблагорассудится Толстому; как я Вам и писал; но прошу Вас успокоиться, даже и этого не будет, так как я пишу разом два, один побольше, другой поменьше. Я постараюсь, разумеется. никого не обидеть, и если мне не удастся уже сделать оба портрета одинакового достоинства, то ручаюсь Вам за то, что лучший будет Ваш. Если же, сверх ожидания, выбор будет затруднителен или я встречу со стороны графа какое-либо посягательство, то постараюсь выговорить условия такого рода, чтобы выбор был представлен Вам лично.

Не удивляйтесь, что я пишу так уверенно, это происходит оттого, что я, начавши работать и более ознакомив-

пись с графом, вижу, что и он чувствует себя как бы обязанным не стеснять меня выбором. Все это было видно из разговоров, так, например, после третьего сеанса он и жена его были довольны портретом, на следующий раз я привожу другой холст и начинаю новый, больший, а тому даю время сохнуть. Когда и этот портрет был поставлен на ноги, графиня говорит мне — лучше этого, второго, сделать нельзя, то же говорит и граф, прибавляя, что ему будет совестно оставить этот лучший у себя. Я молчу, представляя себе говорить впоследствии, а на этот раз ограничиваюсь замечанием, что надо оба портрета сделать так, чтобы выбор был затруднителен, и принимаюсь за прежний. Граф изъявляет сомнение, чтобы его можно сделать так же, но я продолжаю работать, и вчера наконец мне удалось и первый поправить настолько, что он, по общему их отзыву, стал лучше второго. Не знаю, который из них будет лучший, но, как видите, я не преувеличиваю своих ожиданий [2].

Оба портрета далеко, очень далеко, не кончены ни в сходстве, ни в живописи, они только решительно подмалеваны, и относительно типа, т. е. общего сходства, я обеспечен в обоих. Вот и все, что мною сделано, в чем и даю Вам отчет. Теперь идет перерыв на неделю, так как граф уехал на охоту. ⟨...⟩

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ

ИЗ «ДНЕВНИКА»

1 июля. 1886 г. Когда я познакомился с Л. Н. Толстым, меня охватил страх и чувство неловкости перед ним. Мне казалось, что этот величайший сердцевед одним взглядом проникнет во все тайники души моей. Перед ним, казалось мне, уже нельзя с успехом скрывать всю дрянь, имеющуюся на дне души, и выставлять лишь казовую сторону. Если он добр (а таким он *должен быть* и есть, конечно), думал я,— то он деликатно, нежно, как врач, изучающий рану и знающий все наболевшие места, будет избегать задеваний и раздражений их, но тем самым и даст мне почувствовать, что для него ничего не скрыто; если он не особенно жалостлив, — он прямо ткнет пальцем в центр боли. И того и другого я ужасно боялся. Но ни того, ни другого не было. Глубочайший сердцевед в писаниях [1],— оказался в своем обращении с людьми простой, цельной, искренней натурой, весьма мало обнаружившей того *всеведения*, коего я боялся. Он не избегал *задеваний*, но и не *причинял* намеренной боли. Видно было, что он совсем не видел во мне *объекта* для своих исследований,— а просто ему захотелось поболтать о музыке, которою в то время он интересовался [2].

Между прочим, он любил *отрицать* Бетховена [3] и прямо выражал сомнение в гениальности его. Это уже черта, совсем не свойственная великим людям: низводить до своего *непонимания* всеми признанного гения — свойство *ограниченных людей*.

Может быть, ни разу в жизни, однако ж, я не был так польщен и тронут в своем авторском самолюбии, как когда Л. Н. Толстой, слушая andante моего 1-го квартета и сидя рядом со мной,— залился слезами [4].

Н. Н. СТРАХОВ

ЛЕТОМ 1877 ГОДА...

⟨...⟩ Летом 1877 года я гостил у гр. Л. Н. Толстого в Ясной Поляне (июнь, июль) [1] и подал ему мысль просмотреть «Анну Каренину», чтобы приготовить ее для отдельного издания. Я взялся прочитывать наперед, исправлять пунктуацию и явные ошибки и указывать Льву Николаевичу на места, которые почему-либо казались мне требующими поправок,— преимущественно, даже почти исключительно, неправильности языка и неясности [2]. Таким образом, сперва я читал и наносил свои поправки, а потом Лев Николаевич. Так дело шло до половины романа, но потом Лев Николаевич, все больше и больше увлекаясь работой, перегнал меня, и я исправлял после него, да и прежде всегда просматривал его поправки, чтобы убедиться, понял ли я их и так ли разбираю, потому что мне предстояло держать корректуру.

Утром, вдоволь наговорившись за кофеем (его подавали в полдень на террасе), мы расходились, и каждый принимался за работу. Я работал в кабинете, внизу. Было условлено, что за час или за полчаса до обеда (5 часов) мы должны отправляться гулять, чтобы освежиться и нагулять аппетит. Как ни приятна была мне работа, но я, по свойственной мне внимательности, обыкновенно не пропускал срока и, изготовившись на прогулку, принимался звать Льва Николаевича. Он же почти всегда медлил, и иногда его было трудно оторвать от работы. В таких случаях следы напряжения сказывались очень ясно: был заметен легкий прилив крови к голове, Лев Николаевич был рассеян и ел за обедом очень мало.

Так мы работали каждый день больше месяца.

Этот упорный труд приносил свои плоды. Как я ни любил роман в его первоначальном виде[3], я довольно скоро убедился, что поправки Льва Николаевича всегда делались с удивительным мастерством, что они проясняли и углубляли черты, казавшиеся и без того ясными, и всегда были строго в духе и тоне целого. По поводу моих поправок, касавшихся почти только языка, я заметил еще особенность, которая хотя не была для меня неожиданностью, но выступала очень ярко. Лев Николаевич твердо отстаивал малейшее свое выражение и не соглашался на самые, по-видимому, невинные перемены. Из его объяснений я убедился, что он необыкновенно дорожит своим языком и что, несмотря на всю кажущуюся небрежность и неровность его слога, он обдумывает каждое свое слово, каждый оборот речи не хуже самого щепетильного стихотворца. А вообще — как много он думает, как много работает головою, — этому я всегда удивлялся, это поражало меня как новость при каждой встрече, и только этим обилием души и ума объясняется сила его произведений.

А. Д. ОБОЛЕНСКИЙ

ДВЕ ВСТРЕЧИ С Л. Н. ТОЛСТЫМ

⟨*Отрывок*⟩

Первый раз пришлось мне увидать Л. Н. Толстого в средине 70-х годов. ⟨...⟩

Это было летом 1877 года в той самой Оптиной пустыни Козельского уезда Калужской губернии, куда, много лет спустя, Лев Николаевич приходил незадолго перед своей смертью. Верстах в десяти от Оптиной расположено наше имение, где в то время жила вся наша семья. В Оптину пустынь приехал Толстой вместе с философом Страховым. Кажется, это был первый его приезд туда. Он остановился в так называемой страннопримной гостинице, всегда битком набитой разным народом и богомольцами, стекавшимися в монастырь со всех концов России. Эти богомольцы шли в Оптину главным образом к известному старцу отцу Амвросию, чтобы получить от него благословение и совет по самым разнообразным делам и вопросам, начиная от дел сложных и тонких в области душевных переживаний до самых обыденных вопросов домашнего и сельского хозяйства, вроде, например, продать теленка или нет, купить корову или не покупать и пр. Но как только монахи узнали, что у них находится граф Толстой, то, разумеется, не могли не перевести его в другую гостиницу для привилегированных, чему и он не мог не подчиниться. В монастыре все делается по установленному порядку и чину, и хотя немногие из монахов имели понятие о произведениях Толстого, но, во-первых, он был граф — значит, особа важная, а во-вторых, все-таки знали, что он знаменитый писатель. Очевидно, такому человеку неуместно оставаться среди простого народа.

Из имения нашего мы езжали довольно часто в Оптину пустынь и имели с монастырем постоянные сношения, поэтому весьма скоро узнали о приезде туда Толстого. Отец мой [1], знавший лично давно Льва Николаевича, решил его позвать к нам в гости. В это лето у нас гостило довольно много знакомых, в том числе был и Николай Григорьевич Рубинштейн, так что мы могли угостить Толстого и хорошей музыкой. Мы все поехали в монастырь. Сперва и раньше старшие, как это и делалось обыкновенно, чтобы застать обедню, а мы, молодежь, не особенно прилежные богомольцы, попозже. Нас было довольно много, и мы, приехав в монастырь, целой гурьбой взошли в гостиницу, где уже сидели наши, вперед прибывшие, и разговаривали с Толстым. Наше появление нарушило, по-видимому, тихое и спокойное монастырское настроение. Конечно, все мы хотели прежде всего увидать Толстого, и он, конечно, почувствовал, что вся эта ватага приехала смотреть на него. Мне показалось, что он не выдержал этого натиска и сконфузился. Когда меня ему представили, он мне сказал:

«Ведь вы товарищ Степы, моего шурина [2], я не знал, что вы уже целый человек».

Я не понял, что это значит, а Лев Николаевич окончательно сконфузился, я, конечно, еще больше, и не сумел ничего ему ответить. Вышло какое-то маленькое замешательство, пока, уже не обращая более внимания на нас, начался опять разговор между старшими.

Мы вскоре вышли из комнаты. Я был чрезвычайно разочарован. Так вот он каков — Толстой! Как же этот человек может так понимать жизнь и людей, как он понимает? Ведь в его душе родились же и живут все эти образы, и Наташи, и Андрея Болконского, и Пьера, и Вронского, и Левина, ведь это должно быть сила и величие,— и вдруг самая обыкновенная, самая заурядная конфузливость, свойственная нашему брату. Когда в молодые годы представляешь себе много и долго какого-нибудь знаменитого человека, как это у меня было с Толстым, воображаешь его себе всегда непохожим на остальных людей, а главное, никак не можешь предположить, чтобы человек, стоящий духовно настолько выше других, вдруг перед этими другими стеснялся и конфузился. Уж чего бы ему, кажется, конфузиться? Он все так хорошо знает и понимает, и все это знают про него. Я сказал сестре, когда мы вышли:

— Вот не думал, что Толстой такой!

— Отчего?.. а мне он очень понравился... Какое замечательное лицо!..

— Да, глаза действительно какие-то очень умные и добрые... но неужели можно себе представить, что вот он — именно все и написал, что он написал... Так как-то странно... Ты поняла, что он мне сказал?

— Да, что-то он сказал, что ты уже человек... вероятно, он ожидал видеть тебя в правоведском мундире, а ты в штатском.

Может быть, это и так, подумал я, и когда мы вернулись опять в гостиницу, я уже несколько примирился со своим первым впечатлением, да и в Льве Николаевиче уже не было заметно той конфузливости, которая меня так разочаровала в нем. Он снисходительно и ласково поглядел на меня, сказал, что Степа ему говорил много о товарищах, и говорил также обо мне. Видимо, Лев Николаевич хотел загладить свое неудачное обращение ко мне. Первое мое впечатление изглаживалось все более и более, и я уже, при некотором усилии, мог соединить образ живого Толстого с тем представлением, какое я о нем делал.

Толстой согласился приехать к нам [3], и мы, молодежь, уехали вперед, чтобы приготовить ему комнату и объявить оставшимся дома о его приезде к нам. Я решил, что так или иначе постараюсь с ним поговорить. Мне очень хотелось узнать, что он думает о законе развития Огюста Конта, о позитивном методе вообще и как, ввиду такой очевидной ясности того и другого, можно всерьез думать, что человек что-нибудь познает вне этого метода. Бог и все прочее, может быть, полезная гипотеза, но, во всяком случае, весьма произвольная и весьма мало вероятная. «Зачем» и «почему» все произошло и происходит в мире — нам недоступно, и мы можем лишь знать, «как» все происходит. Был я в то время столь же решителен, сколь и наивен. В сущности, мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь все это опроверг, и я думал, что Толстой именно должен бы это сделать.

Наши старшие с Львом Николаевичем приехали довольно поздно, к самому, очень позднему, обеду. Стол был очень большой, так что на нашем конце было очень мало слышно из того, что говорилось в той части, где сидел Толстой. Однако я опять заметил, что Лев Николаевич конфузится. До меня долетали по большей части только обрывки фраз. Разговор шел главным образом о войне

с Турцией, о нашем добровольческом движении на защиту славян, о кружке московских славянофилов, снаряжавших и отправлявших этих добровольцев на войну. Толстой всему этому совершенно не сочувствовал. Я слышал, как он сказал: «Все это сочиняют газеты; неправда, что народ наш хочет воевать, народ ничего и не знает про славян».— «Вообще,— прибавил он,— газеты вреднейшая вещь, и, конечно, гораздо лучше было бы, чтоб их не было вовсе». Но для нас все это добровольческое движение казалось весьма простым и естественным: турки учиняют зверства над христианами и мучают их, как же не сочувствовать тем, кто идет на их защиту? Поэтому многим показались слова Толстого парадоксом, и все как-то замолчали, и вот опять в его лице и манерах показались то же замешательство и та же конфузливость, что были в монастыре. Но на этот раз мне даже это скорее понравилось. Ведь это больше ничего, как скромность, подумал я. Потом я услыхал еще такую фразу: «Самые лучшие книги — английские; когда я привожу с собой домой английские книги, я всегда в них нахожу новое и свежее содержание». После обеда все уже сидели как попало, можно было подойти ближе и даже вступать в разговор. Толстой, обращаясь ко мне, спросил:

— Вы читали исповедь Левина в «Анне Карениной»? [4]

— Как же, конечно, читал и очень хорошо помню.

— Ну вот скажите мне: на чьей стороне я сам был, по вашему мнению, на стороне Левина или священника?

Я отвечал, что так это написано правдиво и хорошо, что из самого рассказа совершенно не видать, на чьей стороне сам автор. «Во всяком случае, — прибавил я, — вряд ли вы можете быть всецело на стороне священника».

— Ну вот, видите, вам кажется, что я на стороне Левина, а вот сегодня мне отец Амвросий рассказал, что у него был какой-то человек и просил его принять в монастырь. На него, говорил этот человек, очень сильное впечатление произвел мой рассказ об этой исповеди. Отец Амвросий, конечно, сам не читал «Анны Карениной» и спрашивал меня, где это я так хорошо написал про исповедь. Я в самом деле думаю, что написал хорошо. Сам я, конечно, на стороне священника, а вовсе не на стороне Левина. Но я этот рассказ четыре раза переделывал, и все мне казалось, что заметно, на чьей я сам стороне. А заметил я, что впечатление всякая вещь, всякий рас-

сказ производит только тогда, когда нельзя разобрать, кому сочувствует автор. И вот надо было все так написать, чтобы этого не было заметно. А ведь человек, приходивший к отцу Амвросию, почувствовал, где правда...

И Толстой посмотрел вопросительно на сидевших вокруг него и на меня. Я ответил не без некоторого задора:

— Вот уж я не понимаю этого человека. Мне кажется, что священник говорит у вас все то, что всегда все священники говорят, и всегда все это попадает мимо.

Толстой внимательно поглядел на меня.

— Вы так думаете? — сказал он,— но ведь кто хочет уклоняться, в того и не попадает, а попадать-то больше нечем; это все правда, что говорил священник.

— Вот этого я совершенно не понимаю,— сказал я,— и нисколько в вашем описании этого не чувствовал, скорее наоборот.

Отец мой вмешался в разговор.

— Он хочет быть очень умным, — сказал он про меня.

Толстой опять взглянул на меня, и на этот раз особенно ласково.

— Это ничего,— сказал он,— это хорошо.

Не помню хорошенько, о чем потом говорили весь вечер. Кажется, играл Рубинштейн и говорили о музыке, и опять возвращались к сербской войне и добровольцам. Становилось поздно, пора была расходиться по комнатам. Толстого спросили, что ему поставить на ночь: не хочет ли он молока, или ягод, или чего-нибудь еще. Он попросил воды с вареньем. Я пошел за этим и понес варенье и воду в комнату, куда уже ушел Толстой, в тайной мысли, что тут-то я с ним поговорю. Я не ошибся. Он не хотел спать; он даже как будто обрадовался моему приходу. Отпив глоток воды с вареньем, он опять так же ласково, как раньше, поглядел на меня своими добрыми и умными глазами, теперь совершенно спокойными, с каким-то, как мне показалось, особым сиянием.

— Так вот, значит, вы материалист,— сказал он,— вам кажется, должно быть, что вы и в бога не веруете.

— Нет, так прямо я вовсе не говорю, я думаю, что все это непознаваемо, а о том, что не познаваемо, не следует и думать.

— Да как же не думать, когда это только одно, о чем стоит думать?

— Почему же? У нас есть два сундука, один с золотом запертой и ключ потерян,— открыть его нельзя, а

другой сундук с серебром,— он открыт — из него и надо брать.

— А кто же вам сказал, что в вашем втором сундуке серебро лежит, а не черепки? Людям нужно знать, как жить и как умереть, а им говорят, что это знать нельзя, а мне ничего другого и знать не надо.

— Почему же? Почему? — Я и пошел говорить на любимую мою тогдашнюю тему о том, как благодаря позитивному методу можно предсказывать будущее, как всем и каждому должно быть ясно, что период религиозного объяснения явлений миновал и сдан в архив вместе с мифологией, что миновал и метафизический период, что мы теперь в области положительной науки с методом положительным и должны отказаться навсегда от ответов на вопросы «зачем» и «почему», когда можем получить столько нужного и полезного, отвечая на вопросы: «как» и пр. и пр. все в том же роде. Сперва Толстой слушал довольно внимательно, но нетерпение начало его брать.

— Что это? Что это такое у вас в голове? — перебил он.— Я вам скажу, что вы делаете: вы так располагаете бусы в ожерелье, что не видите нитки, на которой все эти бусы держатся. А стоит только потянуть за нитку — бусы спадутся и будет видно, что все держится на нитке. Я это делаю, и вижу эту нитку, и нитка эта есть бог. Вы думаете, главное — ум, а ум — раб; и вот вы любите теперь ваш позитивный метод — ваш ум и работает в эту сторону. А что он вам даст, этот метод, все это предсказание явлений природы,— когда мы не знаем, будем ли живы завтра? Мы наверное умрем, и все умрем, и надо думать, как с этим быть, как жить, чтобы легко было умереть; об этом все люди думают, весь народ думает о том, как ему жить по-божьи, и я об этом думаю. И вы будете об этом думать, когда будете постарше. Теперь вам весело — и это хорошо. Но вы подумайте, не всегда же будет весело?

Нетерпеливое выражение его лица прошло, и он с каким-то радостным выражением посмотрел на меня.

— Вот книга,— прибавил он, показывая на Евангелие,—в ней то, что надо человеку. Приезжайте ко мне в Ясную Поляну, там потолкуем еще и поспорим, если хотите.

На этом и кончился наш разговор. В Ясную Поляну я так и не попал, а встретился с Толстым вновь только через 25 лет, после этого первого свидания, совсем в другом настроении и в другой обстановке. ⟨...⟩

В. К. ИСТОМИН

ИЗ КНИГИ «НА ЗАКАТЕ»

В поездку мою в Ясную Поляну в феврале месяце 1877 года я имел со Львом Николаевичем замечательный разговор, который и считаю нужным привести в его главных чертах.

Однажды, после обеда, мы перешли со Львом Николаевичем в ту комнату, где на полу лежала шкура убитого им медведя. Лев Николаевич улегся на диване, а я сел у окна в глубокое и удобное кресло. Совсем стемнело, только полоса света проникала из столовой в комнату сквозь полуоткрытую дверь да иногда лицо Льва Николаевича освещалось вспыхивавшею папиросою. Я тоже курил. Обстановка располагала к известной интимности; разговор наш коснулся творчества, и я решился спросить Толстого, как зародилась в нем мысль об Анне Карениной... Говорю решился, потому что Лев Николаевич был особенно чуток ко вторжению посторонних в его личный мир; он иногда охотно рассказывал малоизвестные эпизоды из своей жизни, но не допускал вопросов, останавливая их при самом начале, иногда даже в резкой форме. На этот раз мне посчастливилось.

Помолчав немного, Лев Николаевич добрым голосом благодушно беседующего человека ответил приблизительно следующее:

«Я так же лежал после обеда в этой комнате, на этом же диване и в такие же сумерки, как сейчас. Усталый, я боролся с дремотою, как вдруг предо мною ясно промелькнул обнаженный женский локоть. Я невольно начал вглядываться — локоть появился снова, и постепенно передо мною начала вырисовываться фигура женщины в роскошном бальном туалете, с обнаженною шеей и

с замечательно красивым лицом, глядевшей на меня своими задумчивыми, страдальческими глазами. Я, как мне казалось, долго не мог оторваться от видения, до тех пор, пока оно не исчезло так же, как и появилось. Но с тех пор оно не расставалось со мной. Я носил его в душе, мысленно беседовал с ним и незаметно для себя раскрыл его тайну. С этой минуты во мне родилась потребность во что бы то ни стало рассказать эту тайну, и я не находил себе покоя, доколе не принялся за дело» [1].

Разговор на этом не кончился, и Лев Николаевич, продолжая беседовать о своем произведении, определенно высказал ту мысль, что роман возможен только в высшем слое человечества с утонченными чувствами и понятиями. На меня эти слова тогда произвели большое впечатление и, постоянно приходя на память, помогли мне во многом понять внутренний мир Льва Николаевича и внешние его проявления. ⟨...⟩

Про себя не говорю, ибо я был только слушателем, правда внимательным; говорили и спорили три лица: Толстой, Соловьев и Страхов [2]. Эти беседы всегда происходили между вечерним чаем и ужином в соседней со столовою гостиной комнате. Лев Николаевич решительно ставил свои положения и затем стремительно развивал их и доводил до возможного конца. Страхов играл несимпатичную двуличную роль; следя восторженными взорами за своим кумиром, он как бы беспрекословно признавал его своим учителем и в области философии, ободряя и поддерживая все, что отвечало его собственным мнениям и обходя молчанием возбуждавшее в нем сомнение и неизбежное противоречие. В. С. Соловьев возражал обыкновенно вторым, и нельзя было не любоваться его выработанною, строго научною системой возражения. Соловьев оставался непоколебимым исповедником св. троицы и, несмотря на свои молодые годы (ему еще не было тогда тридцати лет), поражал неумолимою логикою и убедительностью. В нем несомненно соединялись выдающиеся умственные дарования со строго научной европейской отделкою. Это был не философ дилетант, а представитель науки, как бы одетый в бранные доспехи своего звания, а не в доморощенный халат, также научный, но неряшливой формы, облекавший добродушного Н. Н. Страхова. Странно было с первого раза видеть могучую широкопле-

чую фигуру как бы степного наездника Толстого, точно сдавливаемую изящными стальными кольцами соловьевского знания. В первый раз в жизни я увидел Льва Николаевича не торжествующим, не парящим сверху, а останавливаемого в своем натиске. Только скромность В. С. Соловьева, как бы не замечавшего своего торжествующего положения, сглаживала всеобщую неловкость. Разумеется, Лев Николаевич не признавал себя побежденным, ему помогала в этом возможность опираться на непрочный авторитет Страхова, но в душе он не мог не чувствовать правды, и это сказывалось в его настроении и в его признании необходимости еще много поработать над выставляемыми им положениями для того, чтобы «сделать их всем ясными».

Эти беседы продолжались все время пребывания в Ясной Поляне В. С. Соловьева, то есть несколько вечеров, и объединяли собеседников на решительно выдвигаемом Л. Н. Толстым атрибуте любви как сущности божества. Конечно, и тут были разномыслия, но сама по себе любовь давала много точек соприкосновения. Лев Николаевич был необыкновенно приветлив со своими гостями, старался развлекать их всеми зависящими от него способами. Помню совместные прогулки в больших деревенских санях и общее веселье. Особенно наслаждался Соловьев. ⟨...⟩

Н. И. ШАТИЛОВ

ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

⟨*Отрывок*⟩

⟨...⟩ В середине 70-х годов мне пришлось несколько раз побывать в Ясной Поляне у графа Льва Николаевича Толстого.

Еще в 60-х годах он приезжал к нам в Моховое вместе с Дмитрием Алексеевичем Дьяковым. В то время он начинал писать «Войну и мир» и собирал материалы для этого романа.

Полагая, что в моховской библиотеке найдутся еще старые газеты времен освободительной войны, он интересовался познакомиться с ними. Не помню, нашел ли он то, чего искал, или нет.

В 70-х годах с ним познакомился Павел Дмитриевич Голохвастов, с которым я в первый раз и был в Ясной Поляне. В это время Лев Николаевич начинал писать «Анну Каренину».

Поехали мы в Ясную Поляну зимой, на второй или третий день нового года [1]. Эта поездка, как и две остальные, оставила во мне самые светлые воспоминания. На полустанке Козловская Засека нас ожидали лошади графа. Сколько мне помнится, мы приехали вечером и были встречены самым радушным образом как графом, так и его супругой. Графу тогда было, вероятно, лет 47 или 48, он был высокого роста, худощавый, широкоплечий и с хорошо развитыми мышцами человек. Что больше всего привлекало в его наружности, так это выразительные, глубоко сидящие под густыми бровями темно-голубые глаза, в которых отражались все испытываемые им впечатления; при спокойном состоянии выражение их было задумчивое и доброе. Хотя тогда граф и не увлекал-

ся еще теми идеями, которые стал проповедовать впоследствии, но уже и тогда он жил очень просто и обыкновенно ходил в серой суконной блузе, подпоясанной ремнем. 〈...〉

Мы провели в наш приезд в Ясной Поляне два или три дня. Меня поместили в кабинете графа, я и сейчас припоминаю испытанное мною чувство благоговения, когда я впервые вошел в этот так просто обставленный кабинет с письменным столом около окна, на котором ничего не было лишнего, с полками книг и висящими на стене охотничьими принадлежностями. Граф тогда еще любил охоту как с ружьем, так и с борзыми собаками.

На другой день после нашего приезда вечером, когда мы после обеда сидели в гостиной и разговаривали, слуга доложил графу, что пришли ряженые, и граф сказал позвать их в зал, куда мы все вышли и куда через мгновение ввалилась толпа ряженых дворовых людей и рабочих. Граф и графиня приняли их ласково и просто. Ряженые плясали, выкидывали всякие коленца и веселились, как у себя дома, безо всякого стеснения. В пляске особенно отличалась своим проворством и ухарством небольшого роста худенькая женщина, лица которой не было видно из-за надетой на нее какой-то размалеванной маски. Лев Николаевич сказал нам, что эта неутомимая плясунья, служащая у него скотницей, 60-летняя старуха. Смотреть на ряженых собрались и все дети Льва Николаевича, которые тогда были еще очень юны.

Ряженые веселились от души, хозяева шутили с ними и смеялись их остротам и прибауткам. Графу, очевидно, нравилось их веселье, и он говорил, что на святках ряженые всегда приходят к ним.

При разговорах граф любил расспрашивать своих собеседников и узнавать их взгляды на различные вопросы. В нем была заметна большая наблюдательность, и он интересовался даже разными мелкими деталями. Так, я помню, что он расспрашивал меня, из каких классов общества происходят некоторые выдающиеся художники. Отвечая на его вопрос, я тогда, между прочим, сказал ему, что один из талантливейших учеников московской школы живописи сын швейцара Кремлевского дворца, и Лев Николаевич, описывая художника в «Анне Карениной», говорит, что он был сыном придворного лакея.

Мне думается, что в то время он больше заставлял говорить своих собеседников, чем говорил сам.

Кроме этого посещения Ясной Поляны, я был у графа еще два раза: один раз под осень и другой раз весною. Будучи у него в конце августа [2], я застал в Ясной Поляне большое общество. В этот мой приезд мы ездили с Львом Николаевичем и с мужем его племянницы [3], Нагорным, на охоту на болотную дичь, и я сопутствовал графу в его обычных прогулках верхом. Ездили мы в казенный лес, так называемую Тульскую засеку, начинавшийся недалеко от имения графа [4].

Разговорясь со мной как-то об охоте с борзыми, Лев Николаевич, узнав, что я люблю и этот род охоты, подарил мне прекрасную борзую собаку английской породы, которую звали Змейкой. Это была грациозная и красивая сука, черной масти, она долго жила у меня в Моховом. В ту пору его уже начинали занимать религиозные вопросы, и он часто наводил на них разговор.

Мне особенно памятен один из них, происшедший между нами вечером, под звездным небом, на балконе перед гостиной. Выйдя со мной на этот балкон, Лев Николаевич заговорил о вере в бессмертие души, загробную жизнь и о том, что говорит об этом церковь, сказав, что, здраво размышляя, не может всему этому верить; затем он спросил меня, как я смотрю на эти вопросы. Мне было тогда 23 или 24 года: воспитанный в традициях внешней обрядовой религиозности, я в это время мало вдумывался в сущность этих вопросов, и тот болезненный процесс нравственной ломки, сопровождающий искание божественных истин и осмысленной, не основанной на самообманах, веры, который, по-видимому, начинался в душе Льва Николаевича, тогда еще не коснулся меня; он настал для меня много лет спустя после этого разговора.

На заданный мне вопрос я тогда ответил Льву Николаевичу, что, веря в существование божества и не будучи в состоянии разобраться в религиозных вопросах самостоятельно, я стараюсь принимать учения церкви, не анализируя их, опасаясь такого анализа, могущего привести меня к полному безверию. Мой ответ заставил его задуматься.

В появившихся впоследствии главах продолжения «Анны Карениной» разговор Левина с крестьянином, в котором последний высказывает обуреваемому сомнениями Левину простоту своих религиозных воззрений, заставивших Левина изменить свой прежний образ мыслей,

очень напомнил мне наш разговор с графом, изменившим вскоре после этого и свое отношение к церкви.

Много лет спустя, когда я был по делам в Туле, среди прислуги гостиницы, в которой я остановился, оказался некий Огурцов, служивший лакеем у графа Толстого в ту пору, когда я бывал в Ясной Поляне [5]. Этот Огурцов узнал меня, и я разговорился с ним о графе и его семье. Он, между прочим, сказал мне, что вскоре после окончания издания «Анны Карениной» Лев Николаевич очень изменился, стал посещать церковные богослужения, ездил даже к заутрене в соседнее село, причем, чтобы никого не беспокоить, вставал до света, сам ходил в конюшню, седлал свою верховую лошадь, не будя конюхов, и один уезжал в церковь.

Затем, однажды взяв с собою Огурцова, совершил даже пешком паломничество в какой-то монастырь, если не ошибаюсь, в Оптину пустынь [6]. Отправились они в это паломничество в крестьянской одежде, причем в одном селе возбудили подозрение старшины, который потребовал от них их документы и пришел в большое недоумение, когда узнал, с кем имеет дело. Но этот период искания разрешения своих сомнений во внешней церковной обрядности и у духовенства длился недолго, и Лев Николаевич, не найдя того, что искал, обратил свои взгляды в другую сторону, а именно в глубину своей собственной души и своей совести, удаляясь окончательно от нашей казенной церкви, так мало дающей тому, кто жаждет истины.

Что касается меня, который тогда на балконе яснополянского дома, не задумываясь и вполне искренно изложил Льву Николаевичу свою profession de foi *, то со мной произошло то же самое. ⟨...⟩

Во время моего вторичного посещения Ясной Поляны я видел у Толстого его соседа-помещика, жена которого из ревности к мужу покончила с собой, бросившись под поезд; [7] эта семейная драма и дала графу мысль о таком же конце для Анны Карениной.

В последний раз мне пришлось быть в Ясной Поляне весною. По пути из Москвы в Моховое я заехал к Льву Николаевичу, где, как всегда, я встретил радушный и ласковый прием. Летом обыкновенно он отдыхал и не занимался литературой; этой работе он посвящал осен-

---

* исповедь (*франц.*).

ние и зимние месяцы. Он и тогда любил принимать летом участие в сельских работах и иногда выходил косить траву и выезжал в поле с сохою. В Москву он ездил редко и не принимал участия в тогдашних литературных кружках и обществах, придерживаясь того мнения, что художники кисти или слова должны, работая, изолироваться, дабы сохранить свою полную оригинальность и не подпадать под постороннее влияние.

В разговоре как-то с графом об Айвазовском на мои слова, что последний большую часть своих произведений пишет в Феодосии или в своем имении Шах-Мамае, что лишает его возможности сравнивать свою работу с работами других художников, Лев Николаевич сказал, что Айвазовский хорошо делает и что если бы он сам был живописцем, то никому бы не показывал своих работ до их окончания.

Говоря о процессе своего творчества, он сознавался, что не всегда работает с одинаковой охотой и увлечением, что бывают дни, когда он принужден заставлять себя работать.

В. И. АЛЕКСЕЕВ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

...Вообще, к чести Льва Николаевича, надо сказать, что он всегда поражал меня искренностью и добросовестностью в своих выводах. Всё, что он говорил, он говорил убежденно: видно было, что сам додумался до этого. Но если почему-либо он ошибался и видел, что доводы ваши верны, он, не задумываясь, оставлял свои доводы, как бы они дороги ему ни были. Эта честность его всегда поражала меня и возбуждала все больше и больше уважения к нему.

Но я заметил, что время от времени в его душу закрадывалось чувство неудовлетворения его убеждениями *.

Раз, возвратясь из церкви, он, обращаясь ко мне, сказал:

— Нет, не могу, тяжело. Стоя между ними, слышу, как хлопают их пальцы по полушубку, когда они крестятся, и в то же самое время слышу сдержанный шепот баб и мужиков о самых обыкновенных предметах, не имеющих никакого отношения к службе. Разговор о хозяйстве мужиков, бабьи сплетни, передаваемые шепотом друг другу, и в самые торжественные минуты богослужения,

* Насколько изменились его взгляды на собственность и привилегированное сословие три года спустя, видно из одной записи в его дневнике за 1881 год, где он пишет про городскую жизнь: «Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргии, — и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на это ловчее. Бабы дома, а мужики трут полы и их тела в банях и ездят извозчиками». Затем в 1884 году в письме ко мне пишет: «Все эти мои земли и имущества есть мои и чужие грехи, соблазнявшие меня и теперь пытающиеся спутать меня»[1]. (*Прим. В. И. Алексеева.*)

показывают, что они совершенно бессознательно относятся к нему, да и не удивительно, церковное богослужение непонятно для мужика. Вы вслушайтесь в те слова и песнопения, которые поются на клиросе. Они совсем не для мужиков писаны. Я и сам не могу понять многое, что там поется. Возьмите, например, хоть кондак [2], который поется в день рождества Христова, — и тут Лев Николаевич достал книжку и прочитал:

«Любите убо нам, яко безбедное страхом, удобее молчание, любовию же Дево песни ни таки спрятяженно сложенные не удобно есть произволение даждь».

— Ну что за бессмысленный набор слов. Я ничего не мог понять, пока не отыскал текст этого кондака по-гречески, а уж где тут мужику понять что-нибудь. Церковь не заботится ответить на духовные запросы мужика. Мужик ищет как бы удовлетворения потребности своего религиозного чувства и в церкви этого не находит. Вот почему он примыкает к разным сектам. Там ему стараются растолковать истинный смысл Христова учения, стараются растолковать, зачем он живет и куда идет после смерти. Может быть, и там он не всё понимает, но чувствует, по крайней мере, что тут стремятся ответить на запросы его души... Нечего делать мужику в церкви. Не станет он ходить туда...

Лев Николаевич вел самый правильный образ жизни. Утром, часу в девятом, он в халате проходил одеваться вниз, где была его уборная и кабинет. На лестнице обыкновенно подбегали к нему дети и здоровались с ним. Одевшись, он легко, свободно и быстро поднимался наверх, входил в столовую поздороваться с нами, преподавателями, и проходил в гостиную, где приготовлен был к этому времени кофе для него и Софьи Андреевны. Тут же был приготовлен и чай для Льва Николаевича.

Иногда перед тем, как подняться наверх, он проделывал несколько прыжков на параллельных брусьях, которые стояли в передней. Проделывал он эти прыжки с замечательной ловкостью: он был физически хорошо развит.

Софья Андреевна выходила из своей уборной обыкновенно позднее его. Затем, часов в одиннадцать, напившись кофе, Лев Николаевич уходил со стаканом чая вниз, в свой кабинет, и садился заниматься. В это время к нему никто не входил, опасаясь помешать его работе.

При писании он не разбирал, на чем ему писать: брал первый попавшийся под руки клочок бумаги и писал. Были случаи, что он писал на обратной стороне старого почтового конверта, на оставшихся чистыми страницах полученных им писем. Вероятно, это происходило оттого, что он торопился записать интересующую его мысль, которая казалась ему тогда самою подходящею.

Занятия его продолжались до четырех часов дня. Потом он уходил гулять или ездил верхом часов до шести. Ходил он очень легко; с трудом, бывало, поспеваешь за ним. Ездил верхом он, как хороший наездник.

По возвращении с прогулки Лев Николаевич со всеми обедал. Лакеи в белых перчатках и во фраках, прислуживавшие за обедом Толстых, диссонировали с простотою и скромностью обстановки кабинета, в котором работал Лев Николаевич.

За обедом обыкновенно велся общий разговор, всегда очень интересный. Помню, однажды за столом я рассказал, как моя няня горько плакала, когда я читал ей рассказ Льва Николаевича «Бог правду видит, да не скоро скажет». Лев Николаевич прослезился и сказал:

— Эти слезы няни есть истинная критика и высшая награда для меня за этот рассказ. Я для того его и писал, чтобы показать, с каким терпением люди должны переносить в жизни все несчастия. Я сам проливал слезы, когда описывал состояние купца Аксенова в тюрьме в то время, когда его жена пришла навестить его и спросила: «Неужели же ты в самом деле решился убить соседа на постоялом дворе?»

— Настоящий критик писателя,— прибавил Лев Николаевич, — это большая публика, а не записные критики, которые оценивают только технику. Задача настоящей критики — найти и показать в произведении луч света, без которого оно ничто. Большая публика ищет в произведении нравственного смысла.

— Задача искусства должна заключаться в том, чтобы внести в жизнь свет истины, осветить мрак жизни и указать истинный смысл ее. Истинно художественное изображение жизни у писателя выходит тогда только, когда он сможет сам прийти в то состояние, которое описывает в людях. Чтобы верно изобразить состояние разбойника, сидящего под мостом на большой дороге и поджидающего проезжего с целью убить и ограбить, нужно самому прийти в его состояние, дрожать той дрожью, которою дрожит

он, выжидая свою добычу. Тогда только выйдет истинное изображение действительности. Без этого выйдет только пустое измышление, а не художественное произведение, все описания и характеры которого кажутся читателю такими естественными, что иными они в действительности быть не могли бы.

Кто-то из посетителей Ясной Поляны сказал однажды Льву Николаевичу, что он жестоко поступил с Анной Карениной, заставив ее умереть под поездом.

— Ведь нельзя же было ей,— говорил он,— всю жизнь маяться с этим тошным Карениным.

На это Лев Николаевич сказал:

— Однажды Пушкин в кругу своих приятелей сказал: «Представьте, что сделала моя Татьяна,— она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее». То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы. Вообще они делают то, что делается обыкновенно в действительной жизни, а не то, что мне хочется.

По словам Льва Николаевича, его роман «Анна Каренина» в художественном отношении значительно выше, чем «Война и мир». Это он объясняет тем, что общество, современное «Анне Карениной», ему гораздо ближе, чем общество людей «Войны и мира», вследствие чего ему легче было проникнуться чувствами и мыслями современников «Анны Карениной», чем «Войны и мира». А это имеет громадное значение при художественном изображении жизни.

При этом Лев Николаевич прибавил, что он никак не может отделаться от тщеславия писателя.

— Не могу,— говорил он,— без волнения ожидать, что скажет критика про вновь написанное мною сочинение. Знаю, что критики отнесутся лишь с формальной стороны, а не волноваться не могу... Какой я тщеславный.

Толстой не признавал «искусства для искусства» и «науки для науки». Он считал, что искусство и наука суть *сильнейшие орудия* человеческого духа для выяснения истинного значения человеческой жизни.

Из всех искусств более всего действовала на Льва Николаевича музыка. Она захватывала, овладевала им. Слушая хорошую музыку, он приходил в волнение и умиление, доходившие до слез. Он не мог не прислушиваться к звукам музыки, даже если они долетали до него через три запертые двери из комнаты, где играл его сын Сергей.

Всю жизнь Лев Николаевич старался выяснить себе смысл чувств и впечатлений, вызываемых в нем музыкою. Он говорил и даже писал так: «Музыка не действует ни на ум, ни на воображение. В то время, как я слушаю музыку, я ни о чем не думаю и ничего не воображаю, но какое-то странное сладостное чувство до такой степени наполняет мою душу, что я теряю сознание своего существования, и это чувство — воспоминание. Но воспоминание чего? — Хотя ощущение сильно, воспоминание неясно. Кажется, как будто вспоминаешь то, чего никогда не было» [3].

Лев Николаевич не любил оперы, говорил, что нельзя соединять два искусства — музыку и драму, что от такого совмещения действие каждого искусства не только не усиливается, но, наоборот,— ослабляется.

Когда я спросил его однажды: какую музыку он больше всего любит? — он ответил:

— Простую, народную. И самый лучший композитор — это народ.

Из классической музыки он любил очень немногие произведения, преимущественно мажорного, энергического тона; например, ноктюрн Шопена, где мажорная тема особенно ярко выступает на минорном ES-dur фоне.

И все-таки относительно музыки в глубине души у него оставалось некоторое недоумение. Часто он говорил:

— Не понимаю, почему музыка так умиляет, волнует и раздражает меня?

Но для него было совершенно ясно и несомненно, что искусство вообще, а музыка в частности есть дело серьезное и важное, что искусство в настоящее время стоит на ложном пути, что оно не должно быть ни забавой для богатых и праздных людей, ни средством для приобретения богатства или удовлетворения самолюбия, а должно быть средством общения и соединения людей, доступным для всех. 〈...〉

После обеда Лев Николаевич спускался к себе в кабинет и там или читал, чаще что-нибудь из периодической литературы, или просто отдыхал, хотя почти никогда не спал в это время.

Вечером, часов в восемь, он подымался наверх. Тут велся общий разговор о том, что кому было интересно, при участии Льва Николаевича. Иногда Лев Николаевич садился за рояль,— он очень любил музыку,— играл или Шопена, или Бетховена. Когда приезжала его сестра,

Марья Николаевна, то он любил играть с нею в четыре руки. Иногда аккомпанировал Т. А. Кузминской, которая почти каждое лето приезжала в Ясную Поляну с детьми. Она очень хорошо пела, и Льву Николаевичу нравился тембр ее голоса и манера петь.

Помню, как-то раз Мария Николаевна играла на рояле. Я слушал, смотрел на ее пальцы и думал: как механическим движением пальцев, затем механическим же колебанием струн человек может прокладывать путь в душу другого человека. Лев Николаевич, глядя на меня, сказал то, что я думал. Каким тонким психологическим анализом обладал он!

Иногда Лев Николаевич привлекал к пению детей под свой аккомпанемент.

Вечером пили чай вместе. Затем дети уходили спать, а взрослые оставались еще долго, часов до 12. В это время что-нибудь читали вслух или так разговаривали.

Читали обыкновенно что-нибудь новое из журналов, по указанию Льва Николаевича. Однажды Лев Николаевич сообщил, что И. С. Тургенев очень хвалил рассказы В. Гаршина [4], и все с удовольствием слушали чтение их. Помню, особенно сильное впечатление произвело на всех чтение его рассказа «Четыре дня».

Стихов Лев Николаевич не любил. Он говорил, что стихотворная форма стесняет выражение мысли и чувства писателя. При изображении мысли и чувства словом проза дает больше свободы, стихи же стесняют, требуют, чтобы писатель сообразовался с формою фразы, чтобы в ней соблюден был известный размер, а тут и рифму надо подобрать.

— При изображении действительности и прозою-то художнику нужно много потрудиться: надо подыскать такие выражения, которые бы выражали не только мысли художника, но и возбуждали бы в читателе те чувства, то настроение, которое художник желает вызвать в читателе.

Однако он очень любил читать стихотворения Ф. И. Тютчева. Раз он привез из Москвы в подарок мне стихотворения Тютчева и особенно хвалил и часто декламировал два из них:

И гроб опущен уж в могилу,
И все стоят вокруг...

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои... [5]

Тютчев-поэт отличается необыкновенно чутким чувством к таинственному в природе, обладает свойством глубокого проникновения в основу всего сущего. Тютчева как поэта можно характеризовать стихами Баратынского «На смерть Гёте»:

С природой одною он жизнью дышал,
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье.
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Произведения Тютчева, отражающие его политические взгляды, не производили на Льва Николаевича никакого впечатления; зато произведения, отражающие его внутренний мир, его отношение к сущности природы, очень нравились Льву Николаевичу. ⟨...⟩

Почти каждое лето в Ясную Поляну приезжала семья А. М. Кузминского, прокурора тифлисского окружного суда, женатого на Татьяне Андреевне Берс, сестре графини Софьи Андреевны. Иногда и сам Кузминский приезжал с семьею.

Однажды ему пришлось присутствовать в Тифлисе, в качестве прокурора, при повешении одного политического преступника. Лев Николаевич очень заинтересовался этим и просил его рассказать, как это было. А. М. Кузминский подробно рассказал, как подвезли присужденного к помосту, на краю которого было утверждено два столба с перекладиною; а посредине перекладины висела веревка. Кругом стояли солдаты с ружьями. Затем подошел к нему священник в рясе с крестом в руках. Через несколько минут священник отошел, раздался треск барабана, и в это время на помост взошел палач в русской рубахе, смело взял приговоренного за руки, дерзко загнул их ему за спину и связал. Приговоренный все время стоял смирно и кротко повиновался палачу. Затем палач подвинул его толчком к виселице, намылил петлю веревки, быстро накинул ему на голову холстинный мешок, завязал его вокруг пояса и моментально, накинув петлю веревки на шею осужденного, оттолкнул его с помоста. Несчастный повис.

Я присутствовал при этом рассказе, но не мог дослушать его до конца и ушел из гостиной.

На другой день Лев Николаевич во время прогулки взволнованным голосом сказал мне:

— Удивляюсь, с каким хладнокровием Александр Михайлович рассказывал мне всю процедуру этого ужасного происшествия. Я его спросил потом, как он сам перенес этот ужас.— Он сказал: «Что же? Ничего. Все товарищи прокурора окружного суда отказались присутствовать при казни, я и пошел. Я ожидал видеть более ужасное зрелище — я думал, что осужденный будет бороться со смертью, а он ничего,— только два раза поднял плечи кверху, как бы желая вздохнуть. Тут палач дернул его за ноги книзу, и конец... Голова неестественно вытянулась вперед, а ноги повисли, как плети. Сейчас же веревку обрезали, сняли мешок с головы, и обезображенный труп с вытянутой вперед шеей, с безумно вытаращенными глазами, с опухшим, высунувшимся синим языком, с кровавой пеной у рта бросили в ящик и зарыли в землю.— Вот и всё».

— Ну а все присутствовавшие так же хладнокровно перенесли ужас казни? — спросил его Лев Николаевич.

— Нет, некоторые были взволнованы,— отвечал он.— Плакали, вскрикивали. Один солдат меня удивил: выпустил из рук ружье, затрясся и тут же упал в обморок. Да пристав, командированный с отрядом полицейских, стоял и навзрыд плакал.

— Каково вам кажется,— прибавил Лев Николаевич,— его удивил солдат, что упал в обморок, и что пристав плакал при виде этого ужаса. До чего условности нашей жизни убивают в нас всё человеческое! Тут присутствовал не он, Александр Михайлович Кузминский, в сущности очень порядочный человек, а прокурор окружного суда. Поэтому он и чувствовал себя спокойно, как будто его самого тут не было. Он и не думал, что тут, может быть, мать этого несчастного присутствовала и мучилась, вспоминая, как она кормила его маленького грудью, любовалась шейкой, головкой этого ребенка, как он потом бегал голыми ножками в матроске и коротких панталончиках; затем вспоминала, когда он был в университете и все стремления его были направлены к тому, чтобы быть полезным людям; как она была против этой опасной для него деятельности. И вот теперь он присужден к виселице, и полупьяный грубый палач надел на его шею скользкую петлю и задушил. Господи, когда проснутся эти люди?

— Знаете, что я скажу вам,— продолжал Лев Николаевич.— Чем более высокое положение занимает человек в государстве, тем больше он забывает в себе истинное значение человека, а помнит в себе лишь ту должность, которую он занимает, которую ему дали люди.— К нам приезжал как-то из Петербурга старый знакомый нашей семьи кн. Оболенский [6]. Он состоял членом Государственного совета. В разговоре за чаем он стал доказывать желательность возобновления телесных наказаний. Мало того, он высказал мнение, которое им будто бы было предложено в Государственном совете, что лиц, осужденных на каторжные работы, нужно лишать зрения, так как некоторые из них весьма искусно устраивают побеги, содержание же стражи для предупреждения этих побегов слишком дорого стоит государству. Каково вам кажется это предложение?

Мы подходили к дому. Лев Николаевич был так взволнован, что слезы текли у него ручьем, и он все время вытирал их платком.

Но не всегда на серьезные темы мы разговаривали во время прогулок. Лев Николаевич по натуре был человек веселый, обладавший большим юмором. Достаточно прочитать песни, сложенные им во время севастопольской осады [7], или шуточное стихотворение, написанное им в 1882 году для «почтового ящика» в Ясной Поляне [8].

Однажды Лев Николаевич, возвратясь из Москвы, рассказывал, что он был у проф. Захарьина. Тот советовал ему чаще ездить верхом. Для зимы, чтобы не простудиться, советовал сшить костюм вроде широкой юбки из сукна на вате или на меху и такую же куртку, плотно застегивающуюся на груди; для ног из такого же материала — что-то вроде чулок. Лев Николаевич на это сказал:

— Зачем же стараться выдумывать какой-то новый костюм, когда у нас есть гораздо лучше, а именно: полушубок и валенки.

Захарьин на это ничего не мог ему возразить.

Затем Лев Николаевич рассказал, что к Захарьину приехал однажды помещик из глухой деревни, почти никогда не выезжавший из своего имения («дикий помещик»). Он от неряшливости и нечистоплотности покрылся прыщами и просил Захарьина прописать ему лекарство от раздражающего его зуда. Захарьин внимательно его осмотрел и сказал:

— Надо вам пойти в баню, почище вымыться да и

после не забывать еженедельно ходить в баню и почаще надевать чистое белье, тогда болезнь ваша сама пройдет.

В Ясную Поляну часто приезжал погостить давнишний друг Льва Николаевича, Д. А. Дьяков. Он был очень добродушный и веселый человек. Раз мы отправились втроем гулять. Шли по свежему вырубу леса. Д. А. Дьяков был довольно полный человек и немного приустал. Смотрит он на пни и говорит:

— Всем бы хорошо было гулять по вырубу, если бы на каждом пеньке была постлана овчинка, а то присесть нельзя,— все пеньки мокрые и жесткие.

Лев Николаевич ответил ему в том же тоне:

— Зачем, друг, понапрасну изводить столько овчин? Достаточно одной, стоит только ее пришить себе сзади, и садись на любой пенек.

К концу 70-х годов относится посещение Льва Николаевича интересным стариком, крестьянином Архангельской губернии Щеголенком. Лев Николаевич с интересом слушал его былины и легенды. Щеголенок говорил образным народным языком. Лев Николаевич записывал эти рассказы. Потом они послужили ему темами для его народных рассказов: «Чем люди живы», «Три старца», «Свечка» и др.

Очень часто Лев Николаевич вспоминал рассказ Щеголенка о женщине, у которой было два сына. Старший из них жил дома, вел хозяйство, кормил мать и делал даже сбережения от разумного ведения хозяйства. Младший был какой-то непутевый, ходил на заработки, ничего не присылал домой,— все сам проживал, не всегда находил работу, иногда даже голодал. Мать, с кем ни встретится, только и говорила о младшем сыне с сожалением, иногда тихонько от старшего даже посылала ему денег. Ей и говорят посторонние: «Чего ты так заботишься о непутевом сыне, он сам виноват, что у него ничего нет,— непутевую жизнь ведет, вот иногда и поголодает, «сама себя раба бьет, что худо жнет».

— Ох, батюшка мой,— отвечала бывало мать.— Как мне не жалеть непутевого сына. Путевому-то всякий поможет, а непутевого никто не пожалеет, кроме родной матери.

Льва Николаевича очень трогали эти последние слова матери.

ГОДЫ ДУХОВНОГО ПЕРЕЛОМА

П. Д. БОБОРЫКИН

В МОСКВЕ — У ТОЛСТОГО

I

Мое личное знакомство с Л. Н. Толстым относится к пятилетию между концом 1877 года (когда я переехал на житье в Москву) и летом 1882 года [1].

Раньше, в начале 60-х годов (когда я был издателем-редактором «Библиотеки для чтения»), я всего один раз обращался к нему письмом с просьбой о сотрудничестве и получил от него в ответ короткое письмо, сколько помнится, с извинением, что обещать что-нибудь в ближайшем будущем он затрудняется [2].

В те годы и раньше я уже много слышал о нем рассказов и в литературном кругу Петербурга, особенно от А. Ф. Писемского, и в семействе кн. Дондуковых-Корсаковых, с которым он сошелся за границей [3].

И для меня его личность, фигура, лицо, тон разговора, разные особенности нрава были уже довольно близки. Одна из княжон Дондуковых [4] часто рассказывала мне и представляла даже в лицах, как он ходил к ним запросто по вечерам (это было в Брюсселе), очень часто играл в четыре руки, читал им те вещи для народного чтения, которые он готовил тогда для своего деревенского журнала [5]. А петербургские писатели, вроде того же Писемского, называли его «Левушка Толстой», распространялись больше всего о его тогдашних «разносах» неприятной ему шекспиромании и обличениях своих старших собратов по беллетристике в напускных якобы эстетических восторгах [6].

Ко второй половине 60-х годов от князя Л. Д. Урусова слышал я рассказ о том, как он ехал с Толстым по железной дороге, как Лев Николаевич был отрицательно настроен ко всему политическому движению тех годов и — между прочим — хвалил ему мой роман «Земские силы», оставшийся недоконченным с прекращением «Библиотеки для чтения» в начале 1865 года [7].

Вот, вероятно, и все.

«Исповедь» (я ее читал в корректурах, кажется добытых от С. А. Юрьева) [8] впервые вызвала во мне усиленный интерес к его задушевной жизни, привлекла меня своей искренностью, заохотила к желанию личного знакомства.

Счетом у меня было всего три свидания с Львом Николаевичем в Москве, все в том же доме, или сначала в наемном, но в той же местности, если не ошибаюсь. Вперед оговариваюсь, что, быть может, хронологическая последовательность этих трех свиданий и не вполне точна; но они все три принадлежат к одной и той же полосе его саморазвития в смысле выработки религиозно-нравственного идеала.

Попал я к Толстым в приемный день, вечером, но прошел прямо на половину графа, и в том, что происходило в зале и гостиной, не участвовал и никому там представлен не был.

Застал я у него несколько человек мужчин, и в памяти моей остались два его собрата: Фет и Аполлон Майков. Фета я видел тут в первый и единственный раз в жизни, и меня довольно-таки удивило, что *тогдашний* Фет-Шеншин оказался близким приятелем Льва Николаевича.

Майкова я знал давно, с самого моего приезда в Петербург, в зиму 1860—61 годов. Я часто его встречал у Писемского. Майков приходился родственником его жены и жил в том же доме, на одной площадке с Писемским. Тогда Майков еще читал на публичных вечерах *либеральные* стихотворения; а к тому времени, когда я нашел его у Толстого, он успел уже превратиться по своей «платформе» почти в то, что теперь зовут «черной сотней», с налетом церковности.

Признаюсь, я мечтал не о таком «антураже» автора «Исповеди». Он тогда уже прошел через острый кризис. Это могло быть в период интимного знакомства с Сютаевым [9], но вряд ли еще дальнейших грозных протестов против господствующей церкви, какие раздались позднее,

когда происходила более радикальная ломка всего, что не было чистым учением «Иисуса из Назарета» [10].

Разговор шел о спиритизме, и Лев Николаевич, кажется, тогда интересовался им. Помню фразу Майкова, произнесенную с чинной усмешкой, насчет которой любил часто прохаживаться их общий приятель Григорович.

— Хорошо и то, что и это приводит к тому же.

То есть: не веря в загробную жизнь и к догматам ортодоксального христианства.

И хозяин и Фет-Шеншин сочувственно улыбались. И весь разговор, подробности которого не сохранились достаточно в моей памяти, шел в таком же духе и направлении.

Лев Николаевич был тогда по-внешнему добрый «мужчина средних лет», как говорится в таких случаях, с незаметной проседью, если она и завелась уже, лицо — неопростившееся совершенно, но уже с очевидным нежеланием подчиняться не только моде, но и обязательной для хозяина открытого дворянского дома корректности. На нем, поверх рубашки, без жилета, был надет короткий пиджак. А так как в комнате делалось жарковато, то он скинул его и остался в рубашке. Как раз в эту минуту вошла к нам хозяйка спросить, подавали ли нам чаю. Она сделала шутливое замечание мужу — насчет его костюма, на что он добродушно ответил, что в комнате слишком жарко, и пиджака не надел. Кажется, это немного сконфузило графиню.

Я видел ее тут в первый и последний раз. Она была тогда еще очень видная женщина, с красивым обликом, легкой походкой и приятным тембром голоса, элегантная, в туалете.

Она тотчас же удалилась к тем гостям, которые остались на ее половине.

Иметь с Львом Николаевичем особый разговор мне не удалось в тот же вечер; но его тон, особенно по сравнению с его обоими приятелями, действовал обаятельно. Никаких суровых тирад в смысле обличения фальши и суетности общества он не говорил и не высказывал еще того отношения к искусству, изящной литературе и к своим собственным произведениям, каким переполнены были его речи впоследствии, и довольно скоро после этого. Мне кажется, он стоял именно тогда на перепутье и к полному внешнему опрощению, и к выработке себе пол-

ного credo, после того как окончательно стряхнул с себя *временное* возвращение к православию, с какого он начал.

Как проходила довольно шумная вечеринка на половине графини, где была все больше молодежь, — не заинтересовало меня настолько, чтобы я решился провести там остаток вечера. Я только прошел по тем комнатам в переднюю и мог схватить лишь общую физиономию этого помещичьего дома в приемный день.

Ничто тут даже не намекало на то, что вы в доме великого писателя, который вырабатывал себе целое новое миропонимание, готовился быть вероучителем и производить в душах своих соотчичей и обитателей обоих полушарий ломку их религиозных и этических исповеданий веры. Просто дворянский дом, где-нибудь на Плющихе, или на Сивцевом Вражке, или в Староконюшенном переулке, у богатых помещиков, проживающих зимой в Москве, где много детей, где собирается молодежь, музицируют, играют в petits jeux *, болтают за чайным столом. В этом было что-то бытовое, чисто русское: полное отсутствие того «священнодействия», каким семья какой-нибудь западноевропейской знаменитости непременно наполнила бы весь ритуал жизни дома в дни приемов. Не только не отзывалось все это обиталищем «вероучителя», но и автора «Войны и мира» и «Анны Карениной». И об этих произведениях и в кабинете хозяина не было при мне сказано ни слова.

II

Второй разговор происходил также зимой, но уже в другой обстановке. Не знаю, было ли это в том же самом доме; но припоминаю хорошо двор и — налево — крыльцо со двора, как в старинных помещичьих домах [11]. В сенях стоял почему-то самовар. В передней какой-то служитель, вроде кухонного мужика, спросил меня, кого мне угодно видеть. Вошел в переднюю мальчик-подросток — один из сыновей, — и когда услыхал мою фамилию, то сейчас же попросил меня к отцу. Вероятно, я предупредил Льва Николаевича о своем посещении.

Меня провели к нему, в его рабочую комнату. Надо было подняться во что-то вроде антресоля. Комната была

---

* салонные игры (*франц.*).

довольно просторная, с невысоким потолком и смотрела более мастерской, чем благоустроенным барским кабинетом. Окна выходили в сад.

Процесс опрощения уже сказывался во всем, начиная с блузы хозяина. Писал он за небольшим столом. На ставне у входа висело платье и еще что-то — все «простецкое», как бы у мастерового или зажиточного мужика.

Затрудняюсь сказать, что главным образом вызывало во мне желание быть у Льва Николаевича именно в тот раз, но я отчетливо помню: это был визит ему, только ему, я не имел намерения быть вхожим в дом, сойтись с его семейством, посещать их вечера.

И так случилось, что он сам тут же, в начале разговора, стал с тихим юмором и откровенностью (которая показывала, как он сделался *далек* от рода жизни и привычек своей семьи) говорить на ту тему, как «господа» безобразно живут, как они жестоко относятся к своей прислуге, как вообще они «беса тешат».

— Я вот на днях говорю своим дамам: «Как вам не стыдно так жить?» Костюмированный бал у генерал-губернатора... Разрядятся и оголят себе руки и плечи. Им с полгоря: под шубой и в теплых комнатах... А кучер-старик должен на двадцатиградусном морозе ждать их до четырех часов ночи. Хоть бы к нему почувствовали жалость [12].

Это вступление дало тон и всей дальнейшей беседе. Вы уже имели дело с человеком, который как раз в ту полосу своей жизни проходил через страстное отрицание всего суетного, себялюбивого, хищного и бессмысленного, чем сытые господа услаждают свое праздное существование. И в том, что предметом его обличений явились сейчас его же «дамы», не было ничего удивительного.

Вспоминаю, что мне хотелось слышать от Льва Николаевича о его знакомстве с Прудоном, который жил в Брюсселе, эмигрантом, как раз в то время, когда Толстой и семейство кн. Дондуковых-Корсаковых проживали также в Брюсселе.

Прудоном я в первой половине 70-х годов не мало занимался, в особенности его судьбой, личной житейской дорогой, дружескими связями и самыми кровными интересами, что так ярко и обильно содержится в его обширной корреспонденции (до 14 томов), которую я в те годы обрабатывал в «Вестнике Европы» в целом ряде статей, не подписанных моим полным именем [13].

К идеям Прудона, особенно к его обличениям буржуазного государства, Толстой мог и тогда, в Брюсселе, иметь симпатию, да и к личности Прудона, ко всему демократическому складу его натуры, к его спартанским правилам, к моральному аскетизму, который сидел в этом французском мужике.

И вот это именно обращение к памяти о Прудоне (о котором, насколько я припоминаю, я не услыхал от Льва Николаевича каких-нибудь особенно ценных подробностей) [14] вызвало во мне желание коснуться вопроса, который позднее сделался камнем преткновения для тех, кто хотел бы видеть в каждом поступке вероучителя полное соответствие с сутью его проповеди.

Это — вопрос о нем, как об имущем, даже богатом помещике, о его наследственных владениях, о том, почему он, хоть сам и опростился, допускает, чтобы его семья *на его средства* проживала доходы с земли, которая, по его убеждениям, должна была бы целиком принадлежать тем, кто ее обрабатывал. Тогда уже начались в интеллигентных кругах такие толки, и мне, относившемуся симпатично к его социальным протестам, было неприятно чувствовать и сознавать, что тут есть несомненное противоречие и что *такому* человеку нельзя защищаться тем, что это его *личное дело.* Его жизнь и его поступки принадлежали уже *всем*, кого он призывал к другим этическим и общественным идеалам.

Разговор о Прудоне дал мне прямой повод сказать Льву Николаевичу следующее:

Вы знавали Прудона. В своей семейной жизни он был настоящий французский мужик. И если б он был ваших нетерпимых взглядов на барскую собственность, он не стал бы отговариваться тем, что не желает никакого насилия над близкими людьми, а заставил бы их отказаться от дарового пользования земными благами, которые они сами не зарабатывали; не только не позволил бы он им проживать то, что сам имел, да и их-то наследственной собственностью запретил бы им пользоваться, считая ее узурпацией и воровством.

Подлинного ответа Льва Николаевича не записал; но он, вероятно, ответил мне так же, как и многим другим, даже и гораздо позднее, когда его отрицание всякого имущественного захвата пошло еще дальше. Он должен был согласиться со мною в том, что Прудон поступил бы так, как я говорю, и не стал бы смущаться тем, что не имеет

якобы права лишать «своих» того комфорта, к которому они привыкли. Прудон был настолько мужик, что обедал один, а жена ему прислуживала.

Лев Николаевич принципиально не защищал себя, прекрасно сознавая, что нельзя этого сделать без натяжки: он как бы признавался в своей слабости к близким ему существам, хотя, как мы видели, и способен был и тогда так откровенно и даже беспощадно указывать на их образ жизни, который поддерживал ведь теми средствами, какие шли от *него же*.

Я испытал на себе обаяние тона и манер Льва Николаевича, когда он желал быть тем, что француз называет: «un charmant» *. Спорить с ним не хотелось. Спора у нас и не вышло. Но я вынес тогда такое чувство, что *лучше* будет читать то, что выйдет из-под его пера, чем рисковать в дальнейших беседах нежелательными их осложнениями.

III

Последнее мое посещение Льва Николаевича было летом 1882 года.

Тогда я задумал поездку на Волгу и, уже заинтересованный сектантским движением, попросил Льва Николаевича дать мне письма к крестьянину Сютаеву и к кому-нибудь из выдающихся молокан где-нибудь на Волге, с которыми он находился уже в сношениях. И они считали его тогда еще своим «братом во Христе». Это было еще до появления в печати его окончательного profession de foi **, где «Иисус из Назарета» является только учителем божественной правды, а не второй «ипостасью божества» [15]. Позднее, когда я подробнее изучал религиозную жизнь молокан (главным образом в Рязанской губернии), собирая материалы для своей повести «Исповедники», я нашел уже у молокан и баптистов совсем другое отношение к Толстому. Некоторые прямо считали его «антихристом».

Сколько помнится, Лев Николаевич принял меня в комнате, которая напоминала ту, где я его нашел вечером с Майковым и Фетом. Окна выходили, кажется, в сад. Как

* прелестный (*франц.*).
** исповедь (*франц.*).

будто Лев Николаевич оставался один в городе. Я что-то не помню, чтобы в доме была и семья его.

Он мне дал записку к Сютаеву и к одному влиятельному молоканину в Самаре. С Сютаевым мне почему-то не удалось видеться, а самарского молоканина я нашел больным, в постели, но он много со мной беседовал. В коротком письме Лев Николаевич называл его «братом» и писал ему на «ты» [16].

Тогда он находился, как мне думается, в самом *остром* кризисе своего писательского «отступничества», если мне позволят это выражение, которое я считаю в данном случае совершенно правильным. Он, как говорится, «и слышать не хотел» о возвращении к писательской работе художника. Не предвидел он тогда, сколько раз придется ему нарушать этот обет художнического «абсолютизма», браться и за перо автора «Анны Карениной», кроме своих поучительных писаний, в разное время давать такие вещи, как «Крейцерова соната», «Хозяин и работник» и, наконец, «Воскресение». Да и теперь, уже на самом крайнем склоне своего пути, он не открещивается более от замыслов чисто беллетристических вещей и пишет их, вероятно, с такой же любовью, как и в былое время.

Тогда вот я и услыхал от него характерную фразу насчет своего писательства, которую имел уже повод привести в печати [17]. Когда я выразил сожаление насчет строгого запрета, наложенного им на себя, он выразился приблизительно так:

— Знаете, это мне напоминает вот что: какой-нибудь состаревшейся француженке ее бывшие обожатели повторяют: «Как вы восхитительно пели шансонетки и придерживали юбочки!»

При этом он перед словом «француженка» употребил крепкое русское словцо. И это было сказано в добродушном тоне, с таким спокойным юмором, что оставалось только... принять это без всякого протеста. Но было все-таки неловко слышать от самого Толстого приговор творческой работе автора «Казаков», «Анны Карениной» и «Войны и мира». Если все это можно было сравнить с кафешантанными куплетами, то что же оставалось каждому из нас для оценки собственной писательской работы?

Но жизнь сильнее, и она незаметно довела Льва Николаевича до измены тогдашнему своему аскетическому запрету, временно наложенному на самое великое и неумирающее, что было и есть в его жизни и творческой душе,

чем он так обогатил историю всемирной изящной словесности.

С тех пор мы не видались. Несколько зим мы жили одновременно в Москве. Но я не ездил в его дом, не искал и бесед с ним с глазу на глаз. Его духовная эволюция (извиняюсь за это неприятное ему слово) пошла по такому пути, что избежать принципиальных разговоров, а стало быть и прений, было бы невозможно, особенно при известном темпераменте. Я уже раз сказал Льву Николаевичу, что спорить с ним не могу и не хочу. А являться просто в качестве посетителя знаменитости я тоже не находил отвечающим тому образу поведения, какое я, в моей долгой жизни, усвоил себе со всякими знаменитостями [18].

И мне было часто очень неприятно за нашего великого писателя от постоянной болтовни о нем в обывательских домах разного сорта в Москве в те годы, от которой нельзя было никуда уйти. И все эти, даже и самые частые, посетители ничего действительно ценного не сообщали о нем. А большинство воспоминаний, заметок, писем о посещении Ясной Поляны часто носили на себе, да и теперь еще носят, такой подслащенный тон, который и самому яснополянскому мудрецу вряд ли может быть приятным.

От лиц, близких Льву Николаевичу, я слыхал, что его отношение ко мне, как его младшему собрату по беллетристике, оставалось сочувственным [19] и для меня лестным во всех смыслах. Фактическое подтверждение этого я получил тотчас после избрания меня в почетные академики.

Когда я делал визит покойному Сухомлинову, тогда председателю «разряда изящной словесности», он сообщил мне «конфиденциально», что Лев Николаевич на записке, которую тогда подавали или посылали до баллотировки шарами, вместо шести имен, написал только одно — мое, сделав при этом особенно лестное для меня замечание [20].

Я счастлив тем, что могу кончить этой нотой мои слишком скудные воспоминания. Я хотел унести из жизни образ автора самых прекрасных произведений родной литературы.

А. С. СУВОРИН

ИЗ ПИСЬМА С. И. ПОНОМАРЕВУ

1 февр⟨аля⟩ 1880 г.

⟨...⟩ Недавно был у меня Л. Н. Толстой. Вот симпатичный человек, хотя не от мира сего. «Я к вам с Меркурия», сказал он. Действительно, с Меркурия. Он приезжал продавать свои сочинения. Цена 25 000 р⟨ублей⟩ за 4800 экз⟨емпляров⟩. Я не мог этого дать, ибо капиталов таких нет, да и риск большой! [1]

Мы с ним восемнадцать лет не видались. Но он такой же, как и тогда: тот же оригинальный взгляд, те же чудесные глаза. Я проговорил с ним часа два с истинным наслаждением. Отчего он не пишет. — «Да потому, что стали, мол, учители, а сами еще ничего не знаем. Нам самим учиться надо». Он эту тему любит развить. «Я, говорит, слежу за воспитанием своих детей и что же вижу в программе русской литературы: былины, песни, летописи, «Слово о полку ⟨Игореве⟩», «Домострой» [2], попа Аввакума и потом вдруг Фелица [3], объяснение в любви Онегина с Татьяной, история о любви к молодому гвардейцу барыни Анны Карениной. Для барыни это может быть занимательно; но для чего всё это? Баловство одно».

Я спросил его о декабристах: правда ли, что их бросил [4]. Говорит, что не совсем, по временам к ним возвращается, но его поражает то, что чем радостнее человеку, тем он хуже, по-видимому, что охлаждает его работу.

Он говорил, что в истории нет ни одного симпатичного лица, что Петр имел огромное значение только потому, что он заставил нас остаться русскими своими нововведениями, что крутой поворот составил ему сильную оппозицию, которая всё росла и росла [5].

Потом заговорил, что вся история — это разбой, что современные государства — наследие Римской империи, что несчастье современного общества в том заключается, что Константин Великий приклеил к языческой империи христианский ярлык и он теперь ходит по свету. Надо как-нибудь содрать этот ярлык, который вовсе не пристал к разбойному государству [6]. Как же это сделать? Спрашиваю. «Надо ухитриться».

Говорил он ровно, спокойно, отчетливо. О современных обстоятельствах говорит, что только у народа можно чему-нибудь поучиться. Я говорил, разумеется, нервно. Расставаясь говорит: «Я бы очень хотел еще поговорить с вами, когда вы более спокойны». Когда же это, говорю, мы более спокойны станем? Проклятая журнальная работа совсем изнуряет и уложит скоро полностью. Он уговаривал меня бросить и удалиться из Питера. Говорит, что газет не читает, что они действуют самым развращающим образом. «Я писал приятелю. Страхов присылает мне «Москов⟨ские⟩ вед⟨омости⟩» (это из Петербурга). Стали мне читать про дело М... [7]. Вдруг вышло помилование, и мне стало досадно, что его помиловали, что не дали иссердиться вполне. Вот как действуют газеты».

В. В. СТАСОВ

ПИСЬМО Д. В. СТАСОВУ

СПб., четверг, 30 мая 1896.

Я искал в своих коротеньких «Дневниках» моих путешествий и поездок, что у меня записано про мое *первое* пребывание в Ясной Поляне, в 1880 году (августа) [1], но ничего не нашел. Может быть, и вправду тогда ровно ничего не записал. Но я хорошо помню тамошнее гощение, и скажу, что как ни хорош был тогда со мною Лев Великий, и как ни хорошо было с ним, а все-таки на следующее же утро после моего приезда из Москвы у нас произошла с ним изрядная *размолвка*. Это было спачала по случаю «Отче наш» [2], а потом по случаю множества других вещей, с этим связанных. Не знаю, какая нелегкая меня дернула завести с ним такую речь. Какая нелепость, да и просто какая гадость! Приехал в гости, в чужой дом, меня всячески ласкают и приветствуют, и он сам, и жена, а я вдруг затянул такую песню, от которой его коробит, и от которой ему тошно. Какая гадость!!!

Впрочем, и то правда, дело пошло так оттого, что накануне вечером, когда я ушел к нему в кабинет спать, разделся и лег на тот самый диван, на котором он (по его же рассказу собственному) родился, а теперь этот диван, зеленый кожаный, наполовину был весь в клочьях, — вдруг постучались ко мне в дверь, и вошел тотчас Лев Толстой, в одной рубашке и нижних белых панталонах — больше ничего на нем не было. Под мышкой он держал изрядно толстую тетрадь, писанную его рукой. Сначала он присел у письменного стола между окон (того самого, который нарисован у Репина и у Гинцбурга [3], и на котором он в деревне все свое пишет); присел и сказал мне:

— Вот, я хочу Вам немножко прочитать из того, что теперь пишу. Хотите?

Конечно, я отвечал, что «с восхищением». Но восхищения никакого для меня не произошло. Это были его замечания на Евангелие — та чепуха, скука и тошнота, которой я никогда не мог переносить, когда это потом было докончено до конца и гектографировано[4]. Тут это все я слышал в первый раз, не зная, что дальше будет, и сначала было развесил уши, но очень скоро это чтение так мне надоело и так было даже противно — и читал-то он монотонно и несносно, по-пасторски, да и сам-то сюжет так мне ни на полдвора не светил, ведь за все Евангелие-то я трех копеек не дам, — так я устал и сердился, что скоро и сам Толстой стал это, вероятно, подозревать. Все время я только молчал упорно, ни одного слова не спрашивал, не было у меня ни одобрений, ни порицаний, ни сомнений, я упорно молчал. Вот он сказал, закрывая толстую тетрадь свою:

— Ну, на сегодня довольно. Вам спать надо, особливо после дороги. Да и мне тоже.

И он ушел, пожав мне руку в постели и унося с собою одну из двух свечек — ему надо было идти по темным коридорам, все уже спали, и огонь был везде потушен. На другое утро, я еще лежал на диване и читал (по обыкновению своему), когда Толстой пришел ко мне, около 9 часов утра, опять в одном только белье, но набросив на плечи старый протертый халат, весело поздоровался со мной и стал тут же умываться, по-иностранному, из лохани. При этом он сильно фыркал носом и ртом, и даже весь раскраснелся, точь-в-точь Эллас[5] представляет *студента*, получившего приглашение на обед в гости и одевающегося, и моющегося, сильно мотал головой. Я было предложил подавать ему воду из кувшина — не хочет. Мы говорили про то, про се, ни про что особенно, только он сказал, что после чая мы пойдем гулять, по его деревне и по леску. Я тотчас был готов и через несколько минут уже сидел в столовой с графиней, которая меня уже ждала. Мне дали отличного их деревенского молока, потому что я сказал, что предпочитаю его всем чаям и кофеям в мире. Тут же речь зашла о том, что как много на своем веку графиня Софья Андреевна переписывала мужниного.

— Вы не знаете, — сказала она, — вот видите в той комнате, рядом — это моя комната — там стоит шкапчик красного дерева, он весь набит рукописями Льва

Николаевича. Он печатает лишь самую маленькую долю того, что пишет. Остальное — все у меня хранится. Вот вы вчера вечером рассказывали про «Войну и мир», и как вы эту вещь любите. А знаете, ведь напечатана, я думаю, всего одна седьмая часть того, что было им написано. Так вот и со всем остальным, и все это я переписывала бог знает сколько раз — себя никогда не жалела. Я так еще молода была!..

И я тотчас пристал к Льву Николаевичу и стал просить, чтоб он нам в библиотеку дал что-нибудь из больших своих рукописей, хотя бы уже и из напечатанных. У нас есть большие массы всех русских писателей, говорил я, и Пушкина, и Лермонтова, и Гоголя, и Грибоедова, и всех, всех, — как же одного только *Вас* нет *. Куда же это годится? Дайте, пожалуйста, дайте, — говорил я. — И знаете, что дайте: «Азбуку для детей». Я эту вещь обожаю, а ее мало кто и читает!

— Как, вы это знаете? — спросил Толстой. — Оно и в самом деле, пожалуй, правда, — сказал он, — мне никогда никто не поминает про эту «Азбуку».

— А я так напротив, — отвечал я. — Я сто раз ее читал, и всякий раз с восхищением. Еще бы! Как вы ездили на Червончике в манеже, как ваша собачка Булька была, и как она не бегала, а точно шариком каталась, и все ее сердечные с Вами похождения...

И я опять принялся упрашивать, чтоб нам в библиотеку он дал эту вещь. Но он отвечал:

— Это уж меня теперь не касается. Это все женино. Ей все это старое писанье принадлежит. Хотите, говорите ей. Пусть она дает библиотеке, если захочет.

Я к графине. Но она — ни за что. Уперлась сразу: нет, нет и нет, и уже ни с места. Как я ни просил. Мне наконец это и надоело — что за упрашивания, какая гадость, и наконец я не знал, как из этого дела и выпутаться и как из него отступить. Но помог сам Лев, сказал:

— А ведь нам идти пора. Ведь у нас сказано — гулять.

Мы и пошли, я с какой-то палочкой в руках, чтобы вертеть что-нибудь в руках, я этак очень люблю, я палочку эту подцепил где-то в передней. Мы пошли. Шли

---

* С 1880 года у нас в Б⟨иблиотеке⟩ несколько автографов Льва Толстого, в том числе «Анна Каренина», печатный экземпляр из «Русского вестника», с огромными вставками, переменами и поправками. (*Прим. В. В. Стасова.*)

мы, шли, причем поминутно раскланивались, я шляпой фетровой, а он фуражкой, со всеми мужиками и бабами по дороге, тоже на секунду заходили в избы, что не представляло, впрочем, ничего особенно интересного. Наконец мы выбрались в лес, и тут скоро пошли в нашем одиночестве разговоры уже большие. Теперь, после шестнадцати лет, я не могу вспомнить всего, что тут было говорено, но у меня глубоко врезалась в память и, конечно, никогда уже оттуда не выйдет та частица разговора, которая была совершенно особенная и повела нас к разладу. Теперь я уже не могу сказать, *кто* первый заговорил о вчерашнем вечернем чтении, но только всего в несколько секунд разговор у нас стал каким-то враждебным и мы оба друг на друга окрысились, как два петуха, которые хотят подраться. Я прямо сказал — как это было неосторожно, и как некстати, и как глупо в ту минуту — я прямо сказал, что я и не люблю и ничуть не уважаю все Евангелие сплошь, что это вещь — устарелая, *азиатская*, как и вся Библия, ничуть для нас нынче уже не интересная и даже совершенно противная тому, что мы можем и должны теперь думать и делать. Он скоро начал просто сердиться, спрашивая доказательств; конечно, я их посыпал перед ним массами, горстями, и, как сейчас помню, в виде ясного примера указал ему на «Отче наш», эту молитву будто бы par excellence *, а мне только и всего, что противную.

Как так? Почему? Где и в чем противная? — стал он спрашивать значительно изменившимся голосом.

Оно и понятно. И Толстого, как всякого человека, похвалы беспредельные и несмолчаемые, наверное, портят, хоть немножко. Долгими годами он привык говорить, как пророк, как Мессия [6], и всякое сопротивление ему невыносимо, кажется чуть не бунтом непозволительным. Мне бы, конечно, надо было как-нибудь поскорее спрятаться и уйти в свою раковинку — но уже и я был что-то чересчур монтирован и даже отчасти рассержен ссылками на «Великого Христа», на авторитет и его, и других — а я авторитетов никогда терпеть не мог еще спозаранку, с молодости, и вечно только становился против них на дыбы.

Вот поэтому-то мы оба, каждый по своим привычкам и характеру, стали сердиться друг на друга и говорить

---

* имеющий преимущество (*франц.*).

уже не всегдашним голосом, а немножко сердитым и окисленным. Тут опять нелегкая дернула меня приняться за «Отче наш». Я тут стал разбирать его по косточкам, говорил, что обращение: «Отче наш» — равняется совершенно прошению в суд или в полицию: «ваше сиятельство», «ваше высокоблагородие»; затем следует униженное восхваление того, к кому адресуешься: «Иже еси на небесах» — «ты, который живешь в Зимнем дворце», или: «ты, что обитаешь в Б. Морской [7], в казенном доме», — кому же это нужно? Ведь «вездесущий», «всезнающий» и т. д. очень хорошо знал и без просителя, *где именно* он сам живет, к чему же это заявление об *адресе*? Дальше: «Да святится имя твое, да приидет царствие твое» — опять какие все глупости, придворные и униженные... На эту тему я довольно долго ораторствовал, насмехаясь и сердясь на какую-то молитву, «преподанную самим господом с неба». — Толстой же немножко огрызался и отлаивался, главное жаловался на «насмешку», «преувеличение» и «искажение». Наконец дело кончилось тем, что мы и совсем разбесились друг на друга и перестали говорить. Мы шли в ту минуту внутри маленького лесочка, и дорожка с глубоким песком была такая узенькая, что только телеге проехать, а пешеходы должны уже по сторонам прижиматься к деревьям. Но в то мгновение телеги никакой не было, а вместо нее глубокие две колеи, нарезанные в песке колесами. И мы двое шли, молча, по обеим сторонам колеи, тяжко вытаскивая вязнувшие ноги из песка. Так мы шли, может быть, минут двадцать. Дороги я, конечно, не знал, куда идти, вперед или назад, на поворотах, и молча поворачивал, куда Толстой шел. Наконец мы оба остыли; не знаю, как ему, а мне стало казаться и происшествие само, и наше обоюдное положение — порядком глупым. Может быть, и он тоже так думал, я уж там не знаю, только вдруг пришла минута, что мы оба разговариваем о том, о сем, но, конечно, о прежнем предмете — ни слова, ни буквы. Хорошее, светлое расположение духа скоро тоже воротилось прежнее, и мы пришли к обеду (довольно раннему) и как ни в чем не бывало, словно ровно ничего между нами не происходило, и никаких неприятных, немножко озлобленных разговоров и тени не бывало. Обед прошел весело и оживленно, точно вчера вечером или сегодня до прогулки; графиня мне рассказывала про своих гостей, приезжих, кто был до сих пор, кого они еще ждут, а он, показывая мне издали мрамор-

ный бюст, про который я спрашивал, говорил, что это — его брат Николай, самый любимый его брат, и тут на бюсте очень похожий, — тот самый, про которого, после его смерти, мы все читали такое *удивительное* письмо Льва в «Записках» Фета[8]. После обеда перебирали всю русскую литературу, но даже и про Тургенева и Достоевского (которых я мало всегда любил) я уже далеко не пускался, — кто его знает, кого он из них любит, кого нет, не ровен час, пожалуй, опять напорешься на историю. Впрочем, тем самым летом происходило открытие памятника Пушкину в Москве, и незадолго перед тем, всего в июле, бывши в Париже, я мог рассказывать, все еще с непогасшим негодованием, как Тургенев, только что воротясь из Москвы, с досадой, и злобой, и даже криком рассказывал у меня в гостях, на rue Vivienne[9], как все тогда словно с ума сошли, придя в восхищение от нелепостей и безобразий, наговоренных Достоевским в речи[10], как все, точно пьяные или наевшиеся дурмана, чуть не на стену лезли от открытых Достоевским русского «*всечеловека*» Алеко и русской «*всеженщины*» Татьяны, и плакали, и рыдали, и обнимались, словно в Пасху или радостное какое-то торжество, чокаясь яичками или подនося друг другу букеты. Вот это все я тут с досадой и рассказывал Толстому — он крепко морщился. Так прошел весь вечер, и все шло у нас так хорошо, что я решился, закусив удила, еще новый раз просить Софью Андреевну, чтоб она дала нам в библиотеку «Азбуку». Я так сильно приставал, что она наконец встала, пошла к шкапчику из красного дерева и достала мне «Азбуку». Чтоб не забыть потом, я положил сверток в передней, на столике под зеркалом. Когда пришло время уезжать, Толстой сам стал торопить меня, говоря, что я опоздаю на станцию железной дороги, мы обнимались-обнимались, обнимались-обнимались, наконец я укатил на тройке Толстого. Отъехавши с версту, я вдруг хватился: «Ах, батюшки, а моя рукопись?!» Она второпях прощания осталась на столике под зеркалом. Ах, какая мне была досада! 〈...〉

М. А. и Л. И. ПОЛИВАНОВЫ

В «БОЛЬШУЮ ПЕРЕМЕНУ» 18-го СЕНТЯБРЯ 1881 г. В ЧАСТНОЙ ГИМНАЗИИ

Сидят в кабинете Л. И. Поливанов, В. А. Фукс, И. В. Янчин, Н. И. Шишкин и Е. Л. Марков. — Входит гр. Л. Н. Толстой. — После обычных приветствий:

Марков. Ах, Лев Николаевич! Как мы давно не виделись!

Толстой. Евгений Львович! Здравствуйте! (*Целуются.*) Да! давно мы не виделись.

Марков. Вы меня узнали? Ведь уже двенадцать лет, как я вас встретил,— помните,— на вокзале железной дороги.

Толстой. Как же не узнать? Вы совсем не переменились... Вот мы и опять встретились — и опять в педагогической обстановке.

Марков. Ну, что ваши дети? Помните, как вы на вопрос, как будете воспитывать вашего Сергея, отвечали: «дурака, дурака из него сделаю! В уланы его приготовлю». Где он теперь?

Толстой. К сожалению, поступил в университет [1].

Марков. Отчего же вы отступились от своего решения, изменили своим убеждениям?

Толстой. Никогда я не изменял своих убеждений. Но разве можно сделать из сына, что хотим. Я неоднократно высказывал, что воспитывают, во-первых, намеренные действия окружающих, а во-вторых, собственная воля воспитываемого.

Марков. Ну можно ли справляться с волею дитяти? Вон маленький сын Льва Ивановича. Ну что: он вам скажет, чего хочет?

Толстой. О, да еще как скажет! Отлично знает, что учиться не хорошо, а конфекты есть хорошо. Потом подрастет — и усомнится в том, что конфекты есть хорошо, а учиться дурно. С волею ребенка считаться не только нужно, но нельзя не считаться.

Шишкин. Да. Вот, например, старший сын Льва Ивановича — страстный охотник до птиц, между тем как Лев Иванович едва ли когда и думает о них.

Янчин. Вот и моя дочь читать совсем не любит, не засадишь ее за книгу, а писать ужасно любит, не оторвешь ее от этого занятия.

Толстой. Да, мой Сергей поступил, к несчастию, в университет. Да еще факультет-то такой выбрал! Из всех факультетов я наиболее ненавижу юридический и естественный, особенно естественный. Он и поступил на естественный.

Марков. Вы переселились в Москву?

Толстой. То есть три дня живу в Москве, вот забор о забор со Львом Ивановичем [2].

Марков. И долго проживете?

Толстой. Ну, не знаю. Вы меня извините — вы городские жители, но, по-моему, жизнь в городе — жизнь в помойной вонючей яме.

Шишкин. Я, совсем напротив, не могу прожить двух дней в деревне. Только и могу жить в большом городе.

Толстой. Но ведь деревня немного в вас и нуждается. Вы же в ней нуждаетесь ... она вас кормит.

Марков. Ну, скажите, Лев Николаевич, неужели это правда, что все говорят о вас, будто вы ничего более не пишете?

Толстой. Правда. Ну так что же?

Марков. Да как же это возможно? Лишать общество ваших произведений?

Толстой. Если я делал гадости, неужели я должен всегда продолжать делать их? Вон я в юности цыганок посещал, шампанское пил: неужели я должен опять все это проделывать?

Марков. Почему же это? Разве художественная деятельность так же бесплодна, как какой-нибудь кутеж? Как же можно делать такие сравнения?

Толстой. Ну, а если я считаю свои произведения именно таким вздором и занятия этими «художествами» делом недостойным.

Марков. Как так? Какое же вы, наконец, имеете право смотреть на свою деятельность так пренебрежительно? Мне кажется, что вы не имеете даже права решать так этот вопрос. Слишком велика гордыня — установить себе такой запрет на основании, быть может, минутного заблуждения, ошибочного умозаключения...

Толстой. Ну, кажется, я менее другого способен исполнить какое-либо наложенное на себя решение по умозаключению.

Марков. Я в таких вопросах сам следую и рекомендую каждому следовать превосходному правилу Гладстона: в важных вопросах не дозволять себе решений, а спросить большинство, мнение общества, и поступить согласно его решению [3].

Толстой. Эх, Евгений Львович, я почти двадцать лет прожил среди таких людей, которые не только не слыхивали о «художествах», но даже и не знают, пишут ли и печатают ли что-нибудь [4].

Марков. Но зачем же ссылаться на невежественную массу? Следует спросить людей образованных. Мужик, быть может, и сам бы присоединился к этому образованному меньшинству, если бы мог прочесть и понять ваши произведения.

Толстой. Я готов бы был говорить с вами об этих вопросах... но для этого надо условиться, что вы понимаете под словом «искусство», «творчество», «художественность», «образованность». Ну, определите, как вы их понимаете...

Марков. Да для чего нужны эти определения? Достаточно, если мы признаем в человеке стремление к наслаждению прекрасным, — зачем же его лишать законного стремления и не удовлетворить ему.

Толстой. Да для чего? Мало ли что нравится? Но это все такое ничтожное, случайное, что служить ему не стоит.

Марков. Почему вы считаете искусство предметом ничтожным?.. Возьмите мужика — и тот, когда не работает, когда не принужден работать, читает сказку... о каком-нибудь Бове Королевиче или поет песни. Значит, это и ему свойственно, а не есть дело навязанное, искусственное.

Толстой. Да. Но сообразите, как он смотрит на эту забаву. Разве он считает ее за что-нибудь важное? По-

верьте, что это для него то же, что надеть на праздник сапоги бутылкой или прикормить собаку, приласкать ее и т. п. мелочи... А мы? Мы всю жизнь полагаем в этих сказках.

Марков. Зачем же вы измеряете количеством времени, посвящаемого занятию. Этак и религии не останется у него много времени. Он ходит в церковь не часто, когда досуг.

Поливанов. Но ведь это не значит, что в другое время от него далеко религия... И выезжая на работу, он снимет шапку и перекрестится... Это, конечно, только внешнее выражение его постоянного помысла.

Толстой. Надо отделять внешнее от внутреннего. Конечно, исполнить обряд, поставить свечу ему приходится редко, но ведь поверьте, что и сам мужик смотрит на эту свечку так же, как и на сапоги в праздник, и на свою собаку...

Марков. Так неужели же вы смотрите на художественную деятельность, как на что-то случайное, ничтожное?..

Толстой. Еще бы! Вот был Пушкин. — Написал много всякого вздору. Ему поставили статую[5]. Стоит он на площади точно дворецкий с докладом, что кушанье подано... Подите, разъясните мужику значение этой статуи и почему Пушкин ее заслужил.

Марков. Но в деле религии...

Толстой (*с движением нетерпения*). Вот опять «религия»! Да ведь надо опять разъяснить, что такое «религия» и «вера»? Мужик имеет внутри свое собственное в этом отношении... Христианский, крестьянский народ очень отделяет внешнее от внутреннего. Он груб, он и напьется, и жену поколотит, и выругается — но очень хорошо знает, что сделал дурно. У него неизменно сознание добра и зла... Вы не подумайте, что я славянофильствую. О нет! Но нельзя не признать в народе этого сознания, что добро и что зло.

Марков. Это так. Но религии различны — и что для одного добро, то для другого не кажется таким.

Толстой. Ну, нет! Уж я не согласен с этим. Все религии одинаково решают основные вопросы: и буддист, и магометанин, и христианин — одинаково считают злом убить человека.

Марков. Чем же поэтическая деятельность противо-

речит этим высшим идеям? Вот и действуйте на читателей...

Толстой. Да как же я буду поучать других, когда сам не знаю, что добро и что зло. Что дает для этого «художественность»? Вот еще «философия»... Да ведь из этой философии ничего не вынесешь. Только и вынесешь из Шопенгауэра, например, что жизнь есть величайшее зло. Ведь тогда только и остается сыскать петлю и повеситься, что и делают умные молодые люди... Зачем поучать? Не лучше ли жить хорошо? По-моему, из всего, что написал Карамзин, лучше всего одна строчка, которая стоит всей его «Истории государства Российского» — это следующие слова в письме к Муравьеву: «Жить не значит писать историю, а . . .» [6]. Почему я непременно должен писать? Я хочу жить. Я уже дожил до седых волос, смерть у меня на носу, а я совсем не научился жить. Посмотрите на мужика: он умеет жить, умеет трудиться, переносить несчастия, умеет умирать — а я не умею. Мне нужно научиться этому.

Марков. Это, конечно, дело вашей личной жизни, вашей совести — и никто не вправе осуждать вас — но разве это может помешать литературной деятельности?

Поливанов. Лев Николаевич, вы не отрицаете потребности делиться с другими своими мыслями и чувствами помощью устного слова. Отчего же считать недостойным письменное выражение своих помыслов и чувств? Ведь между устным словом и литературным его выражением нет качественного различия...

Толстой. Совершенно с вами согласен, совершенно согласен — и не отрицаю возможности писать.

Марков. Следовательно, что же мешает вам и жить, как вы это называете, и писать в то же время?

Толстой. Да что писать?

Марков. Ну хоть бы писать романы.

Толстой (*горячо*). Когда я пишу, я так люблю это дело, что уже не могу ничем жить другим. Это дело всей моей души. Нет, я хочу жить, а не поучать. Неужели стоит наполнять свою жизнь таким делом: писать о какой-то даме, как она влюбилась в офицера [7], писать разные гадости... с позволения сказать, — похабные вещи?

Марков. Уже не вам, Лев Николаевич, говорить о морали в поэзии. Вы обладаете особым даром видеть то, что другие не видят. Делитесь с нами без всякой намеренной цели и поучений. Вы никогда не поучали...

Толстой. Как не поучал? Да ведь читатели читают гадости — и учатся.

Поливанов. Евгений Львович, сколько я понимаю, Лев Николаевич хочет сказать, что он осуждает прекрасную форму, если она не служит выражением глубокого содержания, достойного выражения.

Толстой. Совершенно верно, совершенно так.

Поливанов. Творчество может только тогда выразиться в произведении, когда явится потребность выразить достойное содержание.

Толстой. Именно в содержании-то все дело. А эта теория «художественности» имеет в виду одну форму. Вот почему из литературы вышло дело ничтожное и даже вредное. В том, что написал, встречается кое-что, чем сам доволен, — смотришь: это-то и не понято. А что пустяки, то воспринимается жадно.

Поливанов. Дело, стало быть, в том, что вам не пишется потому, что вы замечаете, что в читателях не загораются те идеи, не возникает то настроение, какие вы бы желали...

Толстой. Ах, нет, не то. Ничего писатель не вправе желать зажигать. Он должен не зажигать, а сам гореть.

Марков. Повторяю, не вам упрекать себя в дидактизме. Вы именно создаете без предвзятой цели.

Толстой. Ну, мне лучше знать. Я очень хорошо знаю, что меня вызывало на писание.

Марков. Но все же согласитесь, что художник имеет право творить, когда ему хочется творить...

Толстой. Да в том и дело, что мне не хочется.

Марков. Это дело ваше, личное. Но вообще, не станете же вы отрицать деятельности художественного творчества, деятельности поэта?

Толстой. Вы опять с своим «критическим» жаргоном: «художественность», «творчество», «поэт»... Мы никогда не столкуемся, вечно не будем понимать друг друга, расходясь в понимании этого своего рода офенского языка, языка вашей «критики». Всё это пузырь, вздутый немцами [8], в основе которого ложь, условная чепуха, выдуманная, никому не нужная, бестолковая дребедень.

Марков. Но не станете же вы, Лев Николаевич, отвергать вложенную самой природой у известных натур способность высказываться... ну — петь, как соловей поет, а нам — жаждать этой песни, наслаждаться ею?

Толстой. О, это другое дело. Да! Соловей с своей песней другое дело. Пусть его поет — и его песня прекрасна, когда ему самому поется. Но что же хорошего, когда соловьятник его искусственно вызывает на пение... Вот что мне противно... Притом у соловья — одна песня, которая наполняет всю его жизнь, а не двадцать песен, которые из птицы выдавливает какой-нибудь соловьятник...

Марков. Да. Но если молчание соловья искусственно вызвано: ведь оно преступление перед всем обществом... я все-таки вам напоминаю слова Гладстона.

Толстой (*резко*). Для меня странно, что находятся такие глупцы, которые высказывают такую бессмысленную вещь, как эти слова Гладстона, но еще более странно, что находятся люди, которые повторяют эти слова. Англичане ведь известны своим тупоумием. Это одно из самых тупоумных изречений — и чисто английское.

Марков. Но ведь нельзя же не принять во внимание, что чувствуют и желают миллионы, целое государство...

Толстой. Что это, Евгений Львович, какой вы, право! В вас, видно, осталось прежнее свойство не слушать, что вам говорят, опускать какую-то заслонку при разговоре... Да поймите же — ведь это то же вот, что старички Английского клуба, привыкшие видеть графа NN в своей среде пьющим в известном часу свою сахарную водицу. Граф не явился в клуб — и вот все качают головами и говорят: боже мой! Где граф? Отчего он сидит не с нами и не пьет свою сахарную водицу?

Марков. Да ведь здесь не какие-нибудь тупоумные старички: здесь вся Россия.

Толстой. Да я вам сказал, что я живу среди России, которая и не слыхивала о вашей «лит-тературе»! Ведь ваше побуждение писать сводится к изречению: «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!!!» [9]... Разве мало всякой мелкой птицы, которая обладает уменьем складно рассказывать, живо изображать — и сделала из этого какое-то ремесло... и вы меня посылаете в эту компанию? Да! Меня там недоставало! Когда я молодым офицером приехал в Петербург и вошел в этот круг «литераторов»... знаете, где они собираются, говорят, точно и в самом деле важные вопросы решают — чего я там не наслушался? И что меня особенно поразило: вот, кажется, двое сошлись в мнении — оба говорят, что следует уби-

вать... Вот, думаешь, наконец — согласились... Смотришь, нет: они готовы съесть друг друга из-за того, как следует убивать. Или сойдутся в том, что убивать не следует, — опять разногласие в том, как убивать не следует... Болтают, спорят, тут им приносят корректуры, кричат, друг друга не слушают, не понимают: один лопочет одно, другой лопочет другое — все лопочут, а между тем все это наборщики набирают, набирают, набирают — и печатают... Я вам скажу — я в ужас пришел... это совершенно Преображенская больница[10]. Как же вы меня посылаете в эту компанию? Как же вы меня посылаете в Преображенскую больницу.

Марков. Сравнение прекрасное! Но я говорю не об этой литературной клике. Кто же вам мешает самостоятельно поднять задачу вашего творчества...

Толстой. Ах вы, господа критики. Вот то-то и беда, что у нас, я, пожалуй, соглашусь, есть художники, иногда напишут действительно достойное, но ведь сейчас явится «критик», напишет критику, а потом критику на критику... ведь это выходит уже не художество, а критика критики, критики, критики... Что дойдет до читателя?..

Марков. Но надо же указать, что прекрасно, почему нравится то и это, какое произведение выше, художественнее.

Толстой. Эх, господа! Вы, право, смотрите на художество — вот как на шляпку гриба. Ничего, кроме шляпки, не видите. Требуется, чтобы эта шляпка росла, росла вверх, а того не замечаете, что ведь она поднимается только тогда, когда ее поднимает стержень, который должен расти... Без этого шляпка не поднимется... Вот Лев Иванович давеча справедливо сказал, что вся сила в содержании, а вы толкуете о каком-то «художестве»...

Поливанов. Видите ли, Евгений Львович, из начала разговора уже было ясно, что есть слова, которым всеми придано такое значение, которое не оставляет возможности более употреблять их. Таково слово «художественность».

Толстой. Ну да! Все оправдание произведению в его содержании. Нужно писателю выработать это содержание. Поэты с таким содержанием являются, быть может, раз в пятьсот лет.

Марков. Стало быть, вы не против художественного творчества, не против деятельности и романиста с этической подкладкой. Я возражаю только, что в деятель-

ности романиста нет ничего безнравственного, как вы давеча утверждали. Но вы требуете какой-то новой поэзии. Ну, укажите во всемирной истории поэзии, кого же вы считаете за достойных поэтов?

Толстой *(морщась)*. Ах, вы меня сводите на столь мною нелюбимую историческую почву. Какая это история поэзии? Разве возможна история искусства?.. Это так же невозможно, как вот... нынче выдумали еще новую науку — «историю религии»? Тут аналогия полная. Ну разве возможна история религий? Ведь, чтобы написать какую-нибудь историю, нужен некоторый критерий. Я понимаю еще политическую историю — тут хоть есть нечто вроде мерила в политических идеалах историка... но в истории религии? Какой-нибудь католик еще, пожалуй, может написать ее, но ведь это все так выйдет узко... ограниченно... невозможна ни история религий, ни история искусства.

Марков. Но, однако же, чтобы нам понять ваш идеал поэта, нужно же нам, чтобы вы привели хоть одного из таких поэтов-художников, которые, как вы говорите, предлагали бы содержание абсолютно ценное...

Поливанов. Таков, мне кажется, Софокл. Он все свое религиозно-нравственное воззрение вложил в своих «Эдипов» [11].

Толстой. «Поэтов», «художников»... Все это простые слова. «Художественность», «художник», «поэт» — все это одни слова. Для меня, например, нет ничего прекраснее и художественнее Паскаля, Платона... «Пир» Платона, например, что это? драма? художественное произведение другого рода? [12] А Паскаль? Я не знаю — и знать не хочу. Но это такая красота! Для меня это художественные произведения своей правдой [13].

Марков. Значит, вы устраняете только вопрос о форме?

Толстой. И странно, право, это желание, какой-то выдуманной немцами — будь то Платон, Паскаль... вот я люблю Сервантеса — он превеселый рассказчик, люблю Мольера — за их правду... Шекспира... впрочем, Шекспира менее, Сервантеса и Мольера — более.

Марков. Ваше требование этической подкладки ведь убивает художественное творчество, которое не знает, что творит. Неужели нам придется увидеть вновь падение Гоголя «Переписки с друзьями» [14]. Но ведь Гоголь

был больной человек, а вы — человек здоровый, полный сил.

Толстой. Вот бы уж не следовало приводить Гоголя. Пора бы этот взгляд на перемену, совершавшуюся в душе Гоголя, пущенный Белинским, оставить[15].

Поливанов. Евгений Львович, ведь этот взгляд на перемену Гоголя нынче многими уже оставлен, даже в литературе неоднократно высказано было, что подобное объяснение душевного процесса Гоголя слишком легкое.

Толстой. Именно — легкое. Нет, Гоголь почувствовал потребность собственного душевного подъема. Правда, ему не удалось пережить этот процесс, он не успел... но из этого не следует, что это было падение: это был шаг, который пресекла смерть...

Марков. И все же я не вижу, почему такой душевный процесс мешает писать. Разве не великое дело порою разъяснить нашей бестолковой публике, чего она не понимает, обогатить ее идеей. Что же? Неужели подобный образ, как, например, вы помните, Лев Иванович, в «Войне и мире» солдатик Каратаев с его взглядом на жизнь — разве он не выяснил массе читателей дотоле неизвестную ей сторону в мировоззрении русского простолюдина.

Поливанов. Да, это так. Но ведь это одна черточка в сложном узоре целого романа. А возьмите ее, увеличьте и сделайте ее центром картины — как она будет принята?

Толстой. Я, Евгений Львович, следил за вашей литературной деятельностью. Со многими из ваших мыслей согласен, но со многими никогда не соглашусь. Ведь наши литературные дороги, можно сказать, переплетены друг с другом — именно «переплетены». Вы и сближались со мной и пересекали мою дорогу. Мы во многом не сойдемся, но вот вы верно указали, говоря об «Отечественных записках» и вообще о нашей либеральной прессе, что они о чем-то хлопочут, горячатся, стараются что-то высказать, а — высказать и нечего...[16] Вот и Достоевский тоже. Вся его ошибка в том, что он хотел все поучать. Явится у него, например, чувство всего хорошего в народе — и он спешит выхвалить это; почуется ему что-то — и вот он одно бичует, другое возносит, а почему? — и сам не знает. Почувствует смутно, например, что наша православная церковь представляет что-то хорошее... мысль не дозреет, а он уж пустился проповедовать. По-моему, луч-

ше всего разобрал Достоевского Михайловский: он его совершенно развернул — доказал, как дважды два — четыре, что ему совсем не было ясно, что такое «народ», «церковь» [17]... *(Слышен звонок к началу уроков.)* Однако же мы всё задерживаем Льва Ивановича... Пора идти. Зайдите ко мне, Евгений Львович.

Марков. Не могу. Нужно ехать сегодня же в Петербург.

Толстой. Вы что же это едете туда в комиссию? Уничтожать кабаки? [18] Странное дело. Россия живет кабаками, а вы хотите их уничтожить. Как же вы это сделаете?

Марков. Ну, по крайней мере, хоть сколько-нибудь окажем содействия некоторому ограждению этого зла... По-моему, конечно, проще бы всего этот косвенный налог взять с народа прямым путем, а не на вине.

Толстой. Разумеется... Ну, так как же? По крайней мере, пройдемтесь вместе по улице... Прощайте.

С. П. АРБУЗОВ

ИЗ КНИГИ «ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕГО СЛУГИ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО»

ПРОГУЛКА В ОПТИНУ ПУСТЫНЬ

30 июня 1878 года Лев Николаевич говорит мне:

— Пойдем завтра богу молиться в Оптину пустынь.

Я ответил, что очень рад этому [1].

— Ну так приготовь с вечера мои вещи, которые потребуются в дороге; мы пойдем больше чем на неделю.

Я отправился в кабинет и выбрал из комода его белье, а графиня уселась за шитье сумки; потом я пошел на свою квартиру к жене [2] сообщить ей, чему она была очень рада, так как мы оба с нею никогда не были ни в одном монастыре, а теперь хоть я побываю. Захватив нужные мне для дороги вещи, я вернулся в дом графа. На другой день я встал рано, а в семь часов встал и граф и поджидал, скоро ли нам принесут лапти, заказанные на деревне одному мужику по мерке наших ног. Лапти принесли в девять часов, я понес их Льву Николаевичу и спросил, сейчас он станет обувать их или дойдет до г. Крапивны в сапогах. Лев Николаевич решил лапти надеть сейчас же, а мужичку за работу двух пар лаптей велел заплатить 30 копеек. В кабинет пришла и графиня с сумкой, сшитой из простого холста; граф при моем содействии обулся в лапти по всем правилам крестьянского искусства, с онучами, и завязал их на ногах бечевкой; я же обулся уже раньше его. Затем нам на плечи были приспособлены сумки с вещами; в сумке графа лежало ночное белье, две пары носков, два полотенца, несколько носовых платков, две холщовых блузы, простыня, маленькая по-

душка и кожаные сапоги. На путевые расходы Лев Николаевич дал мне двадцать рублей, а сколько он взял с собою, я не знаю. При встрече на дороге с нищими я обязан был давать по 10, 15 копеек.

Все было готово для дороги. Лев Николаевич был одет в белый простой кафтан и такую же блузу, а я в холщовую куртку. В одиннадцать часов дня граф простился со всем своим семейством, и мы отправились в дорогу от дома налево по старой липовой аллее, мимо второго дома, где жили Кузминские (Татьяна Андреевна Кузминская — родная сестра нашей графини); прошли старую аллею, старый большой сад, мимо гумна, около опушки леса, который почему-то зовут «Заказом» [3]. Версты через две от дома лес окончился; идем полем, спустились вниз, пересекли луг, который зовут «Кочаком»; к Лимоновскому своему лесу шли тихо, потому что дорога шла в гору.

Когда мы дошли до сторожки лесного сторожа Александра, на нас бросилась собака. Сторож, увидя графа в таком наряде, крайне удивился и спросил, куда мы идем; я удовлетворил его любопытство. Идем дальше. Граф сказал мне, что первый день надо идти тише, а второй побыстрее.

Пройдя Лимоновский лес, мы шли крыльцовскими полями и вошли в деревню Крыльцово. Около домов стоят мужики; некоторые узнали нас и приветствовали, а некоторые не узнали графа в страннике, хотя они каждый год убирают покос в Ясной Поляне и в это время всякий мужик видит графа. Идем дальше в гору и видим, что в стороне от дороги, на луговине, бабы старательно расстилали холсты, которые после беления в золе мыли в чистой воде в реке; при нашем проходе бабы встречали графа приветствием: «Здравствуй, дедушка».

Прошли деревню Головеньки; здесь мы мало кого видели, только на конце деревни шла женщина, лет сорока, похожая на однодворку, в ситцевом темном платье; она несла на коромысле два ведра воды. Поздоровавшись с нами, она спросила, куда нас бог несет — не молиться ли. Граф ответил утвердительно. На вопрос, в какой монастырь мы идем, он сказал, что идем в Оптину пустынь.

— Небось ты в монастыре останешься навсегда?

— Не знаю, может быть,— отвечал граф.

— Да, тебя-то оставят, а вон его,— указывает она на меня,— не оставят.

Прошли Головеньки, то есть сделали верст пятна-

дцать, в ногах начали чувствовать усталость, потому что мы все время шли без отдыха. Впереди мы увидали молодой тонкий березняк, и граф сказал, что в том березняке мы сядем отдыхать. Граф уселся у опушки, а я в тени и переобул лапти. Граф сказал мне:

— Как ты хорошо теперь надел лапти, что подложил под подъем ноги пучки соломы.

— Да, теперь хорошо,— ответил я,— а прежде было ногам больно от бечевы, потому что очень тонки онучи; у мужика они толстые, и бечева через них ног не режет, нам же в дороге толстые онучи неудобны: жарко будет ногам.

В это время по дороге шел какой-то мужик, и, когда он поравнялся с нами, граф спросил его, откуда он.

— Из сельца Юрьевки.

— А куда идешь?

— В Головеньки на отвод.

Граф пригласил его сесть с нами; тот согласился и спросил нас, куда идем мы.

— В Оптину пустынь,— ответил граф и спросил, чья виднеется версты за две усадьба.

— Это усадьба покойного Щелина.

— Кто же теперь ею управляет?

— Сейчас тут есть управляющий, да и сын умершего живет здесь же в имении, но он совсем полоумный, никуда не выходит из дома и находится под присмотром прислуги. Это имение, Юрьевка, принадлежит ему, а его брату досталась деревня Лапино за Крапивной. Они поделились после смерти своих родителей.

— Хорош ли был этот Щелин к своим крестьянам во время крепостного права? — спросил Лев Николаевич. — Тебе сколько лет?

— Да сколько? Годов пятьдесят, не больше.

— Ты, значит, хорошо помнишь то время?

— Как же мне не помнить, я уж тогда справлял тягло и хаживал на барщину. Вот что я тебе скажу, почтенный человек: нас, крестьян, он мало драл на конюшне, больше нас бил бурмистр или приказчик, а кучеров, лакеев и поваров на конюшне часто драли.

— Да, нехорошо, что он оставил о себе такую память.

— Ну, прощайте,— сказал мужик, вставая.— Дай бог вам сходить хорошо. А откуда вы сами-то?

Я сказал, что недалеко от Тулы. Мужичок пошел своей дорогой. Хорошо отдохнув, пошли скоро и мы. На

пути у нас лежало село Селиваново, и, как сказал граф, мы там будем пить чай, ужинать и ночевать. Во время отдыха в лесу я предлагал графу что-либо съесть, но он отказался и сказал, что мы лучше поужинаем на месте; а у меня желудок немного отощал.

Когда мы подходили к селу Спасскому, Лев Николаевич указал мне на барский домик, принадлежавший двоюродным сестрам Софьи Андреевны, жившим здесь зиму и лето; я спросил его, что он пойдет ли к ним ночевать, но граф не хотел к ним идти. Пройдя Спасское, мы спустились к реке Солова. Дорогой граф спросил меня, какая деревня будет по пути.

— Налево Переловки, а прямо на дороге Селиваново. Переловки господ Игнатьевых, Селиваново было помещика Гурьева, а теперь его зятя, Андрея Ивановича Морозова.

— Откуда ты это знаешь? — спрашивает граф.

— Как же мне не знать! Наш барин, Петр Александрович Воейков, был их друг и приятель [4]; он часто к ним ездил, и они к нему; а деревни эти я знаю потому, что часто здесь хаживал к своей матери [5] в Крапивну, когда она жила у купца Астафьева. Вот и Селиваново.

— Войдем в крайнюю избу,— сказал граф,— чтобы быть поближе к дороге.

Подходим к избе. Черная злая собака бросилась нам под ноги, но не укусила; на лай собаки вышла из избы старуха и прогнала ее на двор. Старуха была покрыта какой-то грязной синей затрапезной тряпкой, худая, одета она была в синюю паневу и рубаху из белого грубого холста, босая.

— Старушка, пусти нас ночевать, — обратился к ней граф.

— Батюшка, я рада пустить странников, да лечь негде: на хорах мухи не дадут спать, да и жарко, а кроватей у нас нет.

— Нам кровати не нужны,— возразил граф.— Ты нам, бабушка, принеси вязанку соломы в сени, там мы и ляжем спать; только нет ли у тебя самовара, молока и яиц?

— Все есть, батюшка.

— Нам больше ничего и не нужно.

— Ну, батюшка, если не побрезгуете ночевать в сенях, то милости просим.

Старуха обращалась с нами просто и радушно и, как видно, любила принимать странников. По ее приглаше-

нию мы вошли в избу, сняли сумки, граф снял кафтан и остался в холщовой блузе; я сказал старухе, чтобы она поставила самовар, принесла кринку молока и десяток яиц. Граф спросил ее, где же ее семья.

— Все они сейчас, батюшка, заняты тяжелой работой: бьют кирпич на две хаты.

— А сколько душ у тебя в семье?

— У меня только один сынок, сорока пяти лет, а у него жена да один сын, внучек мне; его тоже месяца два тому назад мы женили. Вон скотину гонят, сейчас и семейные придут ужинать.

— А хорош, бабушка, твой сын?

— Хорош, батюшка, хорош; он был в нашей волости три года старшиной.

— Что же, хорош он был к мужичкам?

— Его все мужики любили, он все судил по правде; только кое-кто невзлюбил его и наговорил исправнику; так и настояли высадить его из старшин. Теперь на его место выбран другой старшина, из Перловок.

Самовар был готов; я достал из сумки чай и сахар, захваченные из Ясной Поляны, заварил чай и вымыл стаканы. В это время граф что-то записывал в памятную книжку [6], а старуха стояла недалеко и пристально смотрела на нас.

— Я сейчас умоюсь,— поднялся граф.— Бабушка, где можно умыться?

— Иди, кормилец, умойся в сенцах над лоханкой; там на веревке привязан рукомойник, в нем есть и вода.

Граф пошел умываться, а я развязал графскую сумку, достал оттуда полотенце и подал графу. Старуха в это время что-то копается на хорах в каком-то коробе, достает оттуда посконного холста полотенце с какими-то перевязанными бахромочками на конце и несет графу.

— На, кормилец, утрись; оно хотя не тонкое, но чистое, я недавно его отрезала от холста; свое же не марайте, а то вам самим же придется его мыть где-нибудь в реке; вам еще дорога дальняя. Вы откуда идете-то?

Мы сказали, и сказали также, что идем в Оптину пустынь.

— Ну вот, кормилец, вы еще долго проходите.

Видя, как старуха ласково с нами обходится, я подумал, что она такая оттого, что мы пригласили ее с собой чай пить. Я раньше замечал, что деревенские старухи очень любят пить чай; если же у них нет ни чая, ни

самовара, то они парят в печке в горшке какую-нибудь траву — мяту, зверобой — и пьют с удовольствием. Вообще летом крестьяне, у кого есть самовар и чай, пьют его только по праздникам, потому что в это время у них много работы, следовательно не до чаю, а поскорее поужинать бы да и спать.

Чай был готов, яйца варились в самоваре, на столе стояла кринка молока со сливками сверху; старуха сказала, что это молоко хорошее, надоено рано утром. Я попросил глиняную кружку, куда снял сливок для графа; затем вынул из самовара яйца и выстрогал из лучины маленькую лопаточку для графа вместо ложки для яиц. Все было готово, поставлено на стол, а старуха с погреба принесла целую ковригу хлеба и дала нам резать, сколько нам нужно.

Граф пригласил старуху пить с нами чай за один стол; она была очень рада и не отказывалась, только сказала:

— Пейте себе на здоровье, а я разве выпью только одну чашечку; все лучше тепленьким попарить на старости лет свои кости.

Принялись за чай и яйца. Лев Николаевич сидел на лавке под образами, я против него на скамейке, а старуха с левой стороны от него на конике. Граф выпил стакан чаю и от жары в избе и мух вышел на крыльцо и что-то писал в памятную книжку. Старуха наша оказалась очень разговорчивой, спросила меня, кто мы такие. Я отвечал, что старик этот очень богатый человек, вот ходит, странствует, а я хожу с ним для компании, понятно, за его счет.

— А тебе-то, батюшка,— говорит старуха,— хорошо походить на его счет помолиться богу и посмотреть святые монастыри. Я, батюшка, вижу, что он добрый человек; а что, он вдов или женат?

Я, чтобы прекратить этот разговор, сказал, что он вдов и что детей у него нет. Граф вошел в избу, и я ему налил еще чаю. Пока он был на крыльце, мы без него пили чай, и старуха выпила чашек пять, а я стакана четыре. Она сейчас же опрокинула чашку на блюдце вверх дном и поблагодарила графа.

Часов в девять пришло с работы ее семейство. Войдя в избу, они все поздоровались с нами. Граф пригласил сына старухи пить с нами чай, чему тот был очень рад, сел, а я налил ему чаю.

— То-то хорошо, — говорит он, — после трудной работы попить чаю; водки я не пью, но чай очень люблю и скажу тебе, почтенный человек, что в рабочую пору, как бы ни было поздно, я вечером пью с семьей чай; выпьешь и чувствуешь себя развязней и лучше.

Бывший старшина пил чай до тех пор, пока с него не полил пот; все это время я всматривался в него и думал, с каким удовольствием рабочий народ пьет чай после трудов. Он выпил четыре стакана, опрокинул стакан на блюдце и поблагодарил нас. Стало смеркаться. Граф напомнил старухе про солому; та велела своему сыну взять веревку и принести с гумна соломы посуше. Сын встал, принес соломы и разостлал ее в сенях, потом достал какую-то дерюжку, постелил ее на солому и положил жесткую подушку, набитую крупным пером, с посконной синей набивной наволокой. Я достал из сумки простыню и маленькую подушечку и приготовил постель для графа. Лев Николаевич разговаривал с сыном старухи, Василием, о том, как он исправлял должность старшины. Василий рассказал подробно, что он действовал по закону, за что его невзлюбил кое-кто; при этом он добавил, что он не интересовался тем, что был старшиной и получал четыреста рублей жалованья, потому что были большие расходы: надо было иметь на свой счет две лошади для разъездов да десятника, так что ничего не оставалось; кроме того, дома нужно было брать работника; теперь же он все делает сам со своим сыном и считает, что стал жить лучше, чем прежде, когда был старшиной.

— А ты знаешь грамоту? — спросил граф.

— Знаю, хотя и не очень хорошо; могу письмо написать и прочитать Евангелие, а по воскресеньям пою на клиросе с дьячками.

— Скажи, Василий, ты каждое воскресенье ходишь в церковь?

— Да, почтенный человек, редко когда-либо пропущу по какому-нибудь случаю.

— А что, Василий, нравится тебе церковная служба?

— Очень нравится; в этот день делаешься смирным и помнишь, что грешно ругаться с семейными и соседями.

— Если ты стерпишь один день и не будешь ругаться, надо стараться терпеть и второй и третий, и так войдет в привычку; будешь любить бога и ближнего и никогда не будешь ругаться.

— Эх, батюшка, это трудно для нас; например, какой-

нибудь пьяный мужик начнет ругаться и завидовать, что у меня хлеб есть, а у него нет или у меня скотина хороша, а у него плоха.

Лев Николаевич сказал, что пора спать ложиться, чтобы пораньше завтра встать, так как холодком лучше идти; он прибавил, что чай пить здесь не будем, а напьемся в Крапивне, где и отдохнем. Василий, пожелав нам покойной ночи, ушел спать наружу, в сарай, семья же его давно уже спала. Мы разулись, вытряхнули из онуч и лаптей пыль. Граф оделся кафтаном и скоро заснул, на меня же напала бессонница, и я долго не мог заснуть; со двора доносился запах навоза.

Скоро начало рассветать, зачирикали касаточки, что жили в сенях и свили себе гнезда высоко, под самым князьком. Я долго смотрел, как они кормили своих маленьких птенчиков. Наседка с цыплятами слетела с гнезда, закудахтала, от их крика проснулась старуха. Она подошла к умывальнику, умылась, прочитала несколько молитв, помянула на молитве за упокой родителей, а за здравие себя, сына, внука и всех родных; затем захватила в совок круп и посыпала наседке и цыплятам. Я все время не спал и глядел на старуху; она взяла доильник, прошла мимо нас, отворила дверь и пошла на двор, где стояла корова и ела скошенную траву; подойдя к корове, она подставила маленькую скамеечку, села, перекрестилась и начала доить, а потом пошла цедить молоко. Я встал, оделся, умылся, спросил старуху, сколько ей следует с нас за самовар, молоко, яйца и ночлег. Я дал ей рубль и спросил, довольно ли с нее.

— Довольно, батюшка, мне даже и это совестно брать, потому что я вчера с Василием пила чай вместе с вами.

Я пошел, разбудил графа; через пятнадцать минут он был совсем готов, спросил меня, заплатил ли я старухе. Мы поблагодарили ее за привет и спросили, где же ее семейные. Она ответила, что они давно уже глину готовят для кирпича. Распростились; старуха просила заходить к ним на обратном пути; граф обещался зайти, если пойдем по этому же пути, но, вероятно, сказал он, мы пойдем другой дорогой.

Тронулись в путь, вышли на большую дорогу, по обе стороны которой стояли хлеба, покрытые серебристой росой. В них кричали перепела и дергачи.

— Приятно идти утром,— сказал граф,— как легко дышится!

Он посмотрел на часы, было четыре часа.

Солнце взошло высоко, дуба на три, как говорят крестьяне, и грело нам правый бок и спину. Впереди видна была пригородная слобода Крапивны, где жили земледельцы, бывшие казенные крестьяне.

Через час мы были уже в Крапивне, прошли слободу, потом мост через реку Плову, мимо кузен в гору вышли на большую площадь, где стоит собор. В этот день был базар, на площадь с раннего утра наехало из деревень очень много мужиков, которые привезли разной живности и изделий для хозяйственных потребностей. Проходя по торговым рядам по направлению к постоялому двору, мы увидали, что около одной мелочной лавочки у порога стоит Филат Васильев, к которому мы шли пить чай и отдыхать. Он узнал графа, пошел к нам навстречу, поздоровался, предложил свое помещение к нашим услугам, куда мы с ним и отправились. Там мы разделись и попросили себе самовар. При номере, в котором мы поместились, стоял мужик в красной рубахе; минут через пятнадцать он подал нам самовар, а я попросил его принести молока и десяток яиц; я приготовлял чай, а граф умылся и сказал, что в путь мы отправимся, когда спадет зной.

Хозяин двора спросил меня, почему граф так обут и одет и куда мы держим путь; я ответил, что мы идем в Оптину пустынь богу молиться. Я пошел в лавку, купил в запас чаю, сахару, табаку для графа,— в то время он еще курил, а теперь уже лет десять, как не курит. Напившись чаю, закусив яйцами и молоком, мы легли отдохнуть и проспали до трех часов. Граф стал обуваться, а я спросил его, будет он или нет пить чай или что есть; он ответил, что чай пить не будем, а лучше всего чего-нибудь съедим, потому что неизвестно, где мы будем ночевать. Я пошел к Филату Васильевичу, и тот предложил нам квасу с рыбой, который мы поели с большим удовольствием.

Мы скоро оделись, расплатились с Филатом Васильевичем и тронулись в путь. На дороге за городом, где ребята стерегли лошадей, я спросил их, далеко ли деревня. Деревня была верстах в пятнадцати.

— Там мы и будем ночевать,— сказал граф,— но только, Сергей, пойдем потише, у меня ноги ослабли [7]; ты слишком ходко идешь; я не думал, что ты так хорошо можешь идти, хотя и сумка у тебя тяжелей моей.

Разговаривая, мы незаметно дошли до Ченцовских дворов Ивицкой волости; по обе стороны дороги тянулась

довольно длинная деревня. Подходим к крайней избе и спрашиваем, в каком бы доме нам переночевать.

— А вот попроситесь в каменной избе у нашего старшины, там две избы.

— А самовар у него есть?

— У него есть большой самовар.

Мы подошли домов через десять к указанному дому и просимся ночевать. В это время на крыльце стоял сын старшины и ответил, что он спросит своих стариков. Минуты через три он пригласил нас войти. Мы вошли в избу. Там было человек 25 рабочих, дожидавшихся расчета от старшины за бойку кирпича; мы сняли сумки, положили их на хоры и сели. Старшина обратился к рабочим:

— Вы получили деньги с меня, теперь должны взять полведра водки и угостить меня и мою семью.

Лев Николаевич сказал мне, что здесь очень жарко, и мы вышли на крыльцо и сели на лавочку. Через несколько минут вышел на крыльцо и старшина и, сев на противоположную скамейку, привалился к стене. Ему было лет 65; он имел большой живот, пухлое красное лицо; очевидно, это у него было от водки, да и сейчас он был полупьян. К нему подошла женщина и говорит:

— Батюшка, Назар Васильевич, завтра хотят ломать мой задворок.

— Я тебе говорю, не сломают; я все уже укрепил.

— Назар Васильевич, ведь это уже целый год тянется, я уже вся истратилась: то к старосте, то к писарю, то к судьям.

Граф подозвал к себе эту женщину и спросил, чего она просит у старшины.

— Да вот, родимый старичок, в чем дело: мой задворок хотят ломать; у меня было четыре сына, а два теперь умерли, так вот у меня обществом и хотят половину усадьбы отнять.

Старшина обращается к графу и говорит:

— Позволь, что ты тут расспрашиваешь? Есть ли у тебя документ? А то я много знаю таких стариков ханжей. Ну-ка, покажи документ.

— Сергей, достань из сумки документ,— обратился ко мне граф.

Я достал документ и подал старшине.

— Я без очков не вижу, — отвечает он, — в избе сидит мой сын Василий; он жил в Питере кучером, так хорошо умеет читать; покажи ему.

Я вхожу в избу и говорю:

— Кто здесь Василий, сын старшины?

— Я,— отозвался молодой парень, встретивший нас на крыльце.

— Вот вам документ; отец велел вам посмотреть, а сам он без очков не видит.

Василий прочитал: «Граф Лев Николаевич Толстой» и потихоньку сказал отцу. Как от грома и молнии народ прячется под защиту строений, так и от слов «граф Толстой» всех, старшину с сыном, артель крестьян-рабочих и бабу-просительницу, всех в несколько минут как дождем смыло, только я да граф остались на крыльце.

Когда самовар был готов, Василий попросил нас в избу, где, кроме него с матерью, никого уже не было. Граф спросил, где же старшина и все рабочие. Старуха на это ответила, что муж ее уехал в Ивицкое волостное правление, а рабочие разошлись по домам.

— Как жалок вот такой старшина, — сказал мне граф, — сами себе все портят и попадают в беду.

Старуха принесла нам кринку молока и десяток яиц; граф приглашал ее с сыном пить чай, но они отказались. Я попросил ее принести вязанку соломы, потому что мы ляжем спать на полу, но она предлагала нам свою постель, а граф отказался. После чая и ужина мы легли спать, и в избе, кроме старухи с сыном, никого не было.

На другой день утром я попросил поставить самовар и, когда он был готов, разбудил графа. Старшиниха приготовила воды и хотела было подать графу умыться, но я сказал, что он умывается сам и что полотенце у нас есть свое. Как видно, ей хотелось чем-нибудь нам услужить. Мы напились чаю, позавтракали, расплатились с хозяйкой, хотя она ничего не хотела брать. На прощанье граф сказал Василью, что такая жизнь и поступки отца могут плохо для него кончиться.

Верст через десять мы дошли до села Дубки и сели отдохнуть у крайнего дома; к нам вышел мужик; я попросил у него корец кваса и хлеба; граф отказался есть хлеб, но квасу напился, а я ел хлеб и запивал его квасом. Граф разговаривал с мужиком и спросил его, почему он навеселе.

— Нынче праздник бог дал, почтенный старичок, ну, мы для праздника всей деревней и выпили.

— На какие же деньги? Кого-нибудь в общество приняли или землю общественную сдали внаем?

— Нет, почтенный, по нашей деревне ехал какой-то барин тройкой; бог знает отчего, только левая пристяжная у него пала, и дух вон; он не стал с ней возиться и отдал нам; мы шкуру сняли, продали за семь рублей да и выпили водки.

Мы отдали мужику за хлеб и квас десять копеек, распростились и пошли. Было уже три часа. На конце деревни граф спросил, сколько верст до села Монанки. Оказалось верст двадцать. Мы решили дойти до Монанок, там обедать, пить чай и ночевать. Отправились мы проселочными дорогами. Едва мы сделали верст восемь, начали собираться тучки, и образовалась сильная гроза, беспрерывная молния, оглушительный гром и проливной дождь. Жилья вблизи нигде не было, укрыться некуда, и мы промокли так, что сухой нитки не было на нас. Совсем стемнело, и мы начали прозябать.

— Сергей, голубчик, — обратился ко мне граф, — нельзя ли согреть чайник воды, выпить чашку чая; я заболел, меня схватывают спазмы.

— Лев Николаевич, я все готов сделать для вас, но этого нельзя: нет ни воды, ни дров, в поле ничего нельзя достать. Подойдем до ближнего жилья, там попросим самовар, а нет самовара, то мы вскипятим чайник на тагане.

Темнота была страшная. Веревки, которыми были привязаны лапти, от сырости сселись и врезались в ноги. Слышим, журчит вода.

— Вот, кажется, мельница,— сказал я,— попросимся здесь ночевать.

Спустились вниз с крутой горы и перешли плотину. Дождь начал переставать. Подходим к жилой избе, и я стучу в окно; хозяева спали, но от стука мужик проснулся, подошел к окну и окликнул нас.

— Хозяин, пусти нас ночевать да самовар поставь.

— Ночевать у меня негде, и ночью самовара вам ставить не стану; не возьму и пяти целковых.

Я говорю графу, что такого человека не убедишь, надо идти дальше. Едва отошли мы от мельницы шагов двести, как услыхали грохот телеги; навстречу нам ехал мужик. Я стал впереди, остановил лошадь и говорю:

— Мужичок, ты нас не бойся; вот тебе рубль, отвези нас до деревни в тот дом, где есть самовар. А куда ты ехал?

— На поле за бороной.

Мужик был рад деньгам и поехал вовсю. Минут через двадцать мы были у дома Ануфриевны, какой-то вдовы, которая потихоньку приторговывала водкой и имела самовар. Мы вошли в избу, попросили поскорее чаю, молока и яиц, разулись, а хозяйка положила лапти в печку, а онучи на печку. Когда все было готово, я заварил чай и пригласил пить с нами хозяйку; она не отказывалась и предложила нам водки, но Лев Николаевич сказал, что он водку не пьет. Напившись чаю и поужинав, мы легли спать и от страшной усталости проспали до девяти часов утра. Самовар был уже готов, лапти и онучи в полном порядке, мы напились чаю, позавтракали, я дал хозяйке полтора рубля, за что она нас очень благодарила.

Пройдя верст двадцать, мы пришли в село Монанки и прямо к священнику Владимиру Акимовичу, который раньше был учителем в Ясной Поляне и тогда просил графа походатайствовать за него получить место священника, чего скоро он и добился. Отец Владимир был на гумне; мы вошли в дом и попросили разыскать его; жена пошла за ним и привела вскоре. С графом отец Владимир расцеловался. Скоро был готов чай, мы пили чай, обедали, отдыхали, снова пили чай; затем о. Владимир запряг в телегу пару лошадей и предложил Льву Николаевичу довести его до Белева, от чего граф не отказался. Дорогой Лев Николаевич все время разговаривал со священником; между прочим, о. Владимир говорил:

— Мне здесь очень хорошо было бы жить, ваше сиятельство, только теща очень капризна и во всем свою дочь, то есть мою жену, расстраивает, так что жена стала относиться ко мне хуже, чем прежде.

Подъехали к Белеву, вылезли из телеги, причем, прощаясь с о. Владимиром, Лев Николаевич просил, чтобы тот всегда обращался к нему, когда что будет нужно, и что он ни в чем ему не откажет. Мы надели сумки и вошли в Белев. В простом трактире пили чай и ели уху из свежей рыбы; затем отправились дальше, шли очень хорошо и часов в шесть вечера пришли в Оптину пустынь. Звонил колокольчик на ужин, мы с котомками за плечами вошли в трапезную; нас не пустили в чистую столовую, а посадили ужинать с нищими. Я посматривал на графа, но он нисколько не гнушался своими соседями, кушал с удовольствием и пил квас, который ему очень понравился.

После ужина пошли на ночлег в гостиницу третьего класса. Монах, видя что мы обуты в лапти, номера нам не дает, а посылает в общую ночлежную избу, где всякая грязь и насекомые.

— Батюшка,—говорю я монаху,— вот вам рубль, только дайте нам номер.

Он согласился и отвел нам номер, причем сказал, что нас будет трое: третий — сапожник из Болховского уезда. Я достал из котомки простыню и подушечку, приготовил графу постель на диване; сапожник лег на другом диване, а я для себя постелил постель на полу недалеко от графа. Сапожник вскоре заснул и сильно захрапел, так что граф вскочил с испуга и сказал мне:

— Сергей, разбуди этого человека и попроси его не храпеть.

Я подошел к дивану, разбудил сапожника и говорю:

— Голубчик, вы очень храпите, моего старичка пугаете; он боится, когда в одной комнате с ним человек спит и храпит.

— Что же, прикажешь мне из-за твоего старика всю ночь не спать?

Не знаю почему, но после этого он все-таки не храпел.

На другой день мы встали часов в десять, напились чаю. Я пошел к обедне, а граф — посмотреть, как монахи косят, пашут и как занимаются ремеслом. Одет он был в кафтан и лапти. Шел он мимо книжной лавки и остановился посмотреть книги, в это время какая-то женщина просит продавца-монаха показать Евангелие.

— У нас дешевых нет,— говорит он ей.— Возьми вот описание Оптиной пустыни, и пусть твой сын читает.

Тогда Лев Николаевич купил Евангелие и отдал его этой женщине для ее сына, а сам пошел дальше по пустыни.

Вскоре откуда-то монахи узнали, что в стенах их обители находится граф Лев Николаевич Толстой. Они от имени архимандрита и о. Амвросия[8] начали разыскивать его. Случайно встретив меня, они спросили, кто со мной стоит в гостинице.

— А вам кого нужно?

— Графа Льва Николаевича.

— Я его человек.

Узнав от меня, во что он одет, они пошли разыскивать его, отыскали и просили к архимандриту и

о. Амвросию. Граф пришел в гостиницу третьего класса, где мы ночевали, и говорит мне:

— Сергей, коли меня узнали, делать нечего; дай мне сапоги и другую блузу; я переоденусь и пойду к архимандриту и отцу Амвросию.

Но не успел граф переодеться, как приходят два монаха, чтобы взять вещи графа и просить его в первоклассную гостиницу, где все обито было бархатом. Граф долго отказывался идти туда, но под конец все-таки решился [9]. Я взял вещи графа и перенес по указанию монахов, а графу сказал:

— Лев Николаевич, я останусь в той гостинице, где мы ночевали; там очень весело, там болховский сапожник очень умный человек да молодой, лет двадцати, еврей (еврей пришел в номер позже), который крещен и по собственному желанию хочет поступить в монахи. Его о. Офросим окрестил, назвал Александром и благословил быть ему монахом Оптиной пустыни.

Действительно, я разговорился с евреем, и он оказался человеком хорошего и доброго нрава и самого открытого сердца. Он рассказал мне про всю свою жизнь. Сапожник оказался тоже очень хорошим человеком. Мы пили вместе чай и дружелюбно разговаривали. Сапожник был крайне удивлен, что граф не побрезговал быть в трапезной за столом с нищими, а потом ночевать в гостинице третьего разряда, где по стенам и на диванах попадается немало клопов.

Граф Лев Николаевич, прежде чем пойти в первоклассную гостиницу, пошел посетить о. архимандрита. Я ждал его недалеко от кельи о. архимандрита. Граф пробыл там часа два или три. О чем они разговаривали с о. архимандритом, я не знаю, но, вероятно, о монастырской жизни [10]. По выходе из кельи о. архимандрита граф направился в скит к о. Амвросию. Я старался не выпускать Льва Николаевича из глаз, чтобы сказать ему, что после него я тоже пойду к о. Амвросию. Я видел шагов за двести, как Лев Николаевич вошел в его келью. Он пробыл там часа четыре. Я же, подойдя к келье, остановился у крыльца и видел, что здесь ожидают увидеть о. Амвросия человек двадцать или тридцать. С некоторыми богомольцами я разговорился и спрашивал, сколько они здесь дней. Некоторые говорили, что они здесь дней пять или шесть и каждый день бывают в скиту у кельи о. Амвросия и не могут его видеть и получить благословения.

Я спросил, почему же о. Амвросий не может их принять? Говорят, что это происходит не от о. Амвросия, а что о них не докладывает келейник.

— Мы видим здесь богатых купцов, приезжих из Воронежа, Москвы, Петербурга, которые подойдут к келье, позвонят, келейник сейчас же отпирает дверь; они спрашивают, можно ли им видеть о. Амвросия. Келейник расспрашивает их, кто они такие. Они отвечают, что они, например, только что приехавшие воронежские купцы. И келейник сейчас же просит их к о. Амвросию.

Я разговорился с одним человеком из Тулы, каким-то сыном дьякона, окончившим пятый класс семинарии. На нем были худые сапоги и какая-то казинетовая поддевочка. Он говорил, что хочет просить у о. Амвросия помощи, так как не на что дойти до Тулы и купить сапоги. Я старался не упустить, когда выйдет Лев Николаевич, не решаясь звониться во время его беседы с о. Амвросием [11]. Лев Николаевич вышел из кельи и, раздав милостыню всем подошедшим богомольцам и нищим, пошел по направлению к той гостинице, где ему был отведен номер. Я сейчас же позвонил в дверь кельи. Келейник спросил, что мне нужно. Я ответил ему, что пришел получить благословение от о. Амвросия.

— А кто вы будете?

— Человек графа Льва Николаевича Толстого.

Он доложил старцу, который меня сейчас же принял. Я, войдя в келью о. Амвросия, стал перед ним на колени. Он благословил меня, а я по христианскому обряду поцеловал его руку. Он спросил:

— Ты со Львом Николаевичем пришел пешком?

— Да,— говорю,— пешком.

— Ну, скажи мне, голубчик, добр ли граф?

— Да, он очень добр ко всем бедным. Он помогает не одним только своим крестьянам, а и дальним; милостиво помогает и деньгами, и хлебом, и лесом или у кого не хватает корма для скота; в особенности он добр ко вдовам с детьми: своими руками пашет землю, косит траву и весь хлеб.

— Ах, голубчик, как я рад слышать так много хорошего о таком великом человеке. Но не потер ли он себе ног от такой дальней ходьбы?

Я рассказал ему про всю нашу дорогу. Отец Амвросий сказал: «Спаси его, господи!», благословил меня и дал просфору для семьи. Я простился и пошел из кельи. Око-

ло нее было еще много народа, желавшего видеть о. Амвросия. Я тоже роздал несколько денег. Это у меня были деньги графа, но он еще раньше сказал мне, чтобы я подавал бедным богомольцам.

Я сейчас же пошел в гостиницу, где был граф, и рассказал ему, как меня принял о. Амвросий и дал просфору для семьи. Отворяется дверь, входит монах и спрашивает, не угодно ли его сиятельству обедать. Граф согласился, и в то же время раздался звонок в общей трапезной. Я сказал графу, что пойду обедать в трапезную. Минуты через четыре я был в трапезной, где распорядитель-монах впустил меня в чистую столовую с монахами. Там мне все понравилось. Все время, пока шла трапеза, монах читал молитвы. Сидевшие рядом со мной монахи спросили, откуда я. Я ответил, что я из Тулы, служащий Льва Николаевича и пришел с ним вместе. Монахи с удивлением спрашивали, неужели мы всю дорогу шли пешком. Я подтвердил это и рассказал, как мы были с графом обуты и одеты. Они взглянули друг на друга и сказали, что так никто из них не может поступить, а тут так делает такой великий человек, о котором знает вся Россия. Монахи во все время ухаживали за мной. После обеда я пришел к графу и спросил, когда же мы пойдем домой.

— Не знаю,— ответил он,— может быть, завтра. А ты где обедал?

— Сегодня с монахами в чистой трапезной.

Затем я вернулся в третьеразрядную гостиницу к своим болховскому сапожнику и перекрещенному еврею.

На другой день были у обедни: граф в большом соборе, а я в маленькой церкви; потом граф мне сказал, что мы пойдем сегодня после обеда домой. Вскоре зазвонили к обеду; я пошел в трапезную, граф же, как и накануне, обедал в первоклассной гостинице, где ему служили монахи. Затем я забрал свои вещи из гостиницы, простился с сапожником и евреем и пошел к графу. Граф стал обуваться, а я завязывать котомки. Минут через пятнадцать тронулись в путь по направлению к Калуге.

Часов в восемь вечера были в Жиздре [12]. Там остановились ночевать на постоялом дворе, где пили чай и ужинали. Граф пригласил домохозяев с нами в компанию. Хозяин расспрашивал, кто и откуда мы. Граф ему все рассказал, и они пробеседовали часов до десяти, причем хозяин рассказывал графу про о. Амвросия.

Часов в десять легли спать, граф на диване, а я на лежанке. На другой день встали часов в десять, напились чаю, немного закусили и, рассчитавшись с хозяином, простились и пошли дальше. До Калуги дошли благополучно, а там зашли в простую гостиницу и поместились внизу; в хорошие номера нас наверху не пустили по нашему костюму. Здесь мы отдыхали четыре часа; попросили себе самовар, молока и яиц. Все это нам принес какой-то коридорный в простом пиджаке. Граф спросил у него, хороша или нет Калуга.

— Хороша, батюшка, только у нас много разноверцев.

Граф спросил, какая же у них вера.

— Да я их и не пойму. Здесь целый ряд купцов, все какие-то воздыханцы, молокане и субботники.

— А образа у них есть?

— Нет. Они молятся в простых избах, ничего у них там нет, только они избы содержат чисто; водку они не пьют, табаку не курят.

— А хороши душой?

— Со своими живут дружно, а нам, кто ходит в церковь, ни в чем не помогут. Поэтому и мы от них держимся далеко.

Граф, чтобы прикончить разговор с коридорным, спросил, не готова ли заказанная нами уха из налимов. Через несколько минут коридорный принес несколько тарелок и миску с ухой.

Отдохнув здесь, мы оделись и пошли по направлению к вокзалу, чтобы остаток пути сделать по железной дороге. Я спросил графа, в каком классе он поедет; он велел брать билеты третьего класса. Я взял билеты; вагоны уже стояли у платформы, и дан был первый звонок садиться. Мы подошли к двери, где теснился народ, большею частию, как и мы, с сумками, Некоторые были франтовски одеты и без всяких сумок; они смело проходили вперед, а нас, несчастных богомольцев, заставляли стоять и ждать. Я хотел пробраться через толпу в вагон и занять места, но граф сказал, что этого делать не надо. Пока мы ждали, я слушал разговор графа с богомольцами. Одна старушка говорила, что ходила в Киев, потому что была вся больна и в ранах.

— Ну, как же ты теперь себя чувствуешь? — спросил граф.

— Как чувствую? Да здоровье, батюшка, очень хорошо да и ранок нет.

— Ну вот, бабушка,— сказал граф,— ты, наверное, как из дома вышла, так про дом и забыла?

— Да какой тут, родимый, дом! Об одном только думала, как бы святыню посмотреть.

— Ну, бабушка, одно тебе скажу, что вера твоя спасла тебя, потому что, говорю я, ты об одном только думала, как бы святыню посмотреть.

— А сам ты, родимый, куда ходил богу молиться?

— В Оптину пустынь, бабушка.

— Что же, ты разве чем был болен?

— Нет, я, слава богу, здоров.

— Ну так, родимый, наверное, обещался?

— Да, обещался.

— Батюшка, не дашь ли сколько-нибудь копеечек?

Граф уже раньше приготовил денег для старухи и сейчас дал их ей. Тогда еще несколько богомольцев подошли к графу и просили, чтобы он им дал денег; он оделил их всех. В это время дали еще звонок. Чисто одетый народ прошел уже весь. Тогда прошли и мы и сели в вагон. Третий звонок — и поезд тронулся. Граф в вагоне сел на левую скамью, а против него сидели два каких-то мужика, одетых в русские поддевки, и граф всю дорогу до Тулы разговаривал с ними. Он расспрашивал, чем они занимаются; они ответили, что занимаются всевозможной посудой, щепной и глиняной, а землей не занимаются, потому что у них — в селе Неделине Калужской губернии — земля очень плохая.

— Мы ездим и скупаем посуду,— говорили они,— и торгуем в Неделине. Наши мужички больше живут на чужой стороне на заработках; дома же землю пашут и траву косят и все домашние работы исполняют бабы.

Вот и Тула. Граф распростился с мужичками, и мы вышли наружу. У вокзала стоял кучер Филипп с парой лошадей и плетеным экипажем. Граф расспросил кучера, все ли дома благополучно. Мы сели в экипаж и скоро были в Ясной Поляне.

Я впоследствии привык ко всем домашним делам графа и убирал его кабинет, а когда убирал письменный стол, видал множество рукописей на столе. Иногда я прочитывал несколько строк; так я раз прочитал что-то такое про Кутузова, про Москву и про нашествие

французов. После я узнал, что это было его сочинение под заглавием «Война и мир».

К графу часто приходили мужики насчет какого-нибудь дела, и он всегда обходился с ними очень любезно. Все мужики говорили, что на всем свете, наверное, нет таких еще господ. Граф часто даже ходил на деревню беседовать с мужиками. Раз, 6 декабря, на Николу, он пошел побеседовать с ними, но на улице не было ни одного мужика. Тогда граф зашел в одну избу, к Сергею Резунову;[13] там сидели обедали и попросили обедать и его. Лев Николаевич сел, немного поел с ними и хвалил их стол.

У графа было большое хозяйство, были шленские овцы, свиньи, голландские коровы. Но все это надоело ему; он отбросил их и занимается только писанием да пашет, косит, дрова пилит — словом, делает всю черную работу крестьянина и даже шьет сапоги. Словом, в течение двадцати двух лет, как я служил у графа, он по собственному своему желанию все время вращался в обществе крестьян.

Когда он писал книгу «Анна Каренина», то много ездил в церковь, не менее пяти, шести раз кряду. Встанет в пять часов, меня не будит, сам возьмет сапоги и все платье, оденется, пойдет на конюшню, оседлает сам лошадь, чтобы не будить кучера, и поедет в церковь.

Раз он встретился с яснополянскими мужиками, расспросил, скоро ли они начнут пахать под яровое, и прибавил:

— Ну, и мне надо готовиться сеять овес для вдовы Анисьи Копыловой [14].

Через несколько дней он запрягает одну из рабочих лошадей в соху и едет пахать; сам идет впереди лошади и в правой руке держит повод. Вот и пашня; он перевертывает соху и начинает пахать, причем лошадь никогда не ударит кнутом. Вскоре земля была готова, и граф посеял овес.

Этой же весной [15] граф видит, что Анисье Копыловой негде жить,— изба плоха; тогда граф решил построить ей новую и принялся за работу. Ему помогала сама Копылова и его дочь, Марья Львовна; они приготовили земли, соломы и воды и начали все это месить вместе. Когда материал был готов, граф начал класть стены, а потом пригласил плотника устроить потолок, притолоки, вставить двери и окна. А печную работу он производил сам; только много доставила ему возни выделка сводов. Долго он думал над ними, но все-таки вывел. После печи он

вместе с Марьей Львовной делал соломенные щиты для крыши [16]. Изба была совсем готова, и Анисья Копылова и до сих пор живет в ней; [17] на новоселье Лев Николаевич дал ей муки и разной провизии.

Потом Лев Николаевич начал собирать партию мужиков косить вдове траву. Косить с ним вызвались Константин Николаев, Степан Резунов и сапожник Павел [18], который иногда шил с графом сапоги. Вот трава уже готова для покоса. 25 июля, в пять часов утра, все косцы собрались с графом на Красной улице. Косцы подобраны слабые, страдающие одышкой, которым трудно косить с другими, но со Львом Николаевичем им легко, потому что они косят не спеша. Граф спросил их, завтракали ли они. Степан Резунов сказал, что он закусил хлебом с водой, Павел сказал, что поел хлеба с молоком, а Константин ответил:

— Разве вы, Лев Николаевич, не знаете, что у меня и хлеба нет. А что вчера вечером моя дочь Марья принесла с вашей людской хлеба, то поели, а сейчас ничего не ел.

— Ну, начнемте косить,— сказал граф.— Степан, иди вперед.

Степан пошел вперед, за ним граф, дальше сапожник Павел, а позади Константин. Покосили несколько времени, на покос из графского дома несут обед; обед принесла Марья Львовна; тут были хлеб, молоко, каша, картофель, огурцы и квас.

— Кончайте косить, садитесь со мной завтракать.

После завтрака снова взялись за косьбу. Через несколько дней покос был окончен. Когда сено было готово, то все мужики пошли собирать его домой, со своими бабами, а граф Лев Николаевич остался один, потому что Анисья Копылова заболела. Тогда дочь графа Марья Львовна приходит на покос и начинает делать все, как деревенские бабы, даже лучше, старательнее, чисто сгребает сено граблями и очень хорошо разбивает траву для сушки. Когда сено было готово, граф берет веревку и меряет трехсаженные копны вместе со всеми, чтобы никому не было обидно, что одна копна меньше, другая больше. На другой день погода была прекрасная; все приехали с запряженными в телеги лошадьми к тому месту, где было сметано сено. Одна копна была лишняя, и лошадей поставили к ней кормиться. Лев Николаевич был вместе с мужиками, только без лошади.

— Я велел, — говорит он, — лошади приехать через час, потому что на траве есть роса.

Через час приехала Марья Львовна на лошади, и все принялись навивать воза. Так как мужики косили это сено исполу с приказчиком, то они прежде повезли сено к себе домой, а потом будут возить в экономию приказчику. Так посоветовал сделать граф. Когда Лев Николаевич с Марьей Львовной навил воз, то повез его прямо к Копыловой избе. Дорога была немного в гору, и граф должен был помогать лошади за гуж. Когда подъехали к избе Анисьи, она вышла наружу в старой, худой поневе и в белой тряпке на голове и говорит:

— Батюшка Лев Николаевич, сено надо отвезти на гумно и там сложить.

— Анисья, — сказала Марья Львовна, — ступай в избу, не стой на сквозном ветру; мы с папой все уберем.

Возка сена была благополучно окончена; вышло всего шесть возов. У Анисьи была одна корова и четыре овцы, так что сена вполне хватит, так как будет еще яровая солома да хоботья.

Анисья Копылова считала уже, что граф Лев Николаевич обязан не пропустить время, когда надо будет косить рожь.

Всю работу простого человека Лев Николаевич делает не затем только, чтобы люди видели, вроде игрушки, совсем нет; он работает по собственному желанию и с большой охотой и старанием. Крестьяне Ясной Поляны знают, что его работа не игрушка и что он занимается ей десятки лет.

Сначала, когда окрестные крестьяне видели, как граф работает в поле, то говорили, что он делает это от нечего делать. Но, как я знаю, все они глубоко ошибаются. Как сам Лев Николаевич говорил мне, нет ничего лучше крестьянской работы, пахоты, косьбы, — словом, всей черной работы. Я спросил раз его:

— Лев Николаевич, согласны были бы вы жить так, как живет мужик? У мужика три десятины земли, ему из них нужно по́дать заплатить, семейство прокормить и произвести разные расходы по дому.

— Так я только этого и желал бы, — ответил он.

— Я вполне уверен, Лев Николаевич, что вы так можете жить, но семейство ваше далеко нельзя привлечь к такой жизни. Я одно могу вам сказать, что если дать

мужику земли десятин десять, тогда только он не будет терпеть нужды; яснополянским мужикам хорошо, что они исполу сеют вашу землю да на поденной работе почти каждый день, то на железной дороге, то у вас в экономии. Ну, а другим, степным мужикам, только землей приходится жить; ну, и бьются всю жизнь, как рыба об лед.

Граф, возвратившись с косьбы, обыкновенно вешал косу в своем кабинете на олепьи рога, а сам немного отдыхал на клеенчатом диване. В это время он ходил в белой холстинной рубахе и в таких же панталонах самого простого покроя.

А. Т. ЗЯБРЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ

Однажды, когда мне было около двенадцати лет, стерегли мы на Воронке лошадей, и всем нам явилась охота сходить ко Льву Николаевичу, но не знаем, как затеять, чтобы не без дела прийти к нему. А в это время Лев Николаевич записывал крестьян по желанию в общество трезвости [1]. И надумали мы спросить книжечек и записаться в общество трезвости.

Приходим к дому и остановились. Каждый из нас прячется один за другого, и всем нас сделалось чего-то робко. Недолго мы препирались. Выходит к нам Лев Николаевич и спрашивает:

— Вы ко мне пришли?

Говорим:

— Да, к вам.

— Зачем?

— За книгами.

Тогда Лев Николаевич отворил нам дверь и говорит:

— Идите сюда.

Мы позабыли свою робость и, как благие овцы, бросились ко Льву Николаевичу, и каждый из нас старался поскорее пролезть в дверь.

Провел нас Лев Николаевич в свой кабинет. Там стоял посредине большой стол и около него стулья. А по стенам были полки, на которых лежали книги. Лев Николаевич посадил нас за стол, сел сам с нами и начал заставлять нас читать по очереди. Мы читали, а он слушал, а потом заставлял нас рассказывать, кто что прочел. Когда Лев Николаевич нас прослушал, начал он нам рассказывать про какой-то пустой барабан [2], а мы слушали. Когда он кончил свой рассказ, то спросил:

— Вы поняли?

Говорим:

— Поняли.

— Так вот расскажите мне по порядку то, что я вам рассказал,— и Лев Николаевич заставил рассказывать Гаврилу Цветкова.

Гаврила стал рассказывать, а мы слушали. Когда он что-нибудь пропускал в рассказе, мы кричали: «Пропустил». Лев Николаевич спрашивал, что он пропустил, и мы указывали его ошибку. Лев Николаевич говорит: «Молодцы, помните мой рассказ». А когда мы не замечали в рассказе пропуска, то Лев Николаевич сам останавливал рассказчика и подсказывал нам пропущенное. Так мы и продолжали рассказ все по очереди. А когда кончили, то Лев Николаевич подошел к полке с книгами и стал с каждой стопочки брать книги, спрашивая, кто какие книги не читал. Нам хотелось взять побольше книжечек, и мы говорили, что ни одной из них не читали. Книги были такие: «Два старика», «Упустишь огонь — не потушишь», «Свечка» и т. п. Тогда Лев Николаевич сказал:

— Я покамест уйду, а вы оставайтесь тут, я изберу из вас старосту, и он раздаст вам те книги, какие вы не читали.

И Лев Николаевич указал на меня.

— Раздавай им книги с этих полочек, кто какие не читал. Когда раздашь, то обождите меня здесь.

И сам вышел.

Оказалось, что мы этих книжек совсем не читали. Каждый из нас набрал по 36 книжек. Когда ожидали Льва Николаевича, то говорили между собою:

— Как же нам сказать Льву Николаевичу о подписке в общество трезвости?

— Сказать да и все.

— А кто будет говорить? — препирались мы между собою.

В это время входит Лев Николаевич и спрашивает:

— Взяли книг?

— Взяли.

— Ну, вот и читайте.

— А когда вам, Лев Николаевич, принесть их?

— Совсем не нужно, а когда я вас встречу, то буду спрашивать, кто какую книгу читал. Теперь вы можете идти.

Но мы переглянулись друг на друга и проговорили, что хотим записаться в общество трезвости. Тогда Лев Николаевич сказал:

— Вот это хорошо, садитесь опять всяк на свое место.

Сел с нами Лев Николаевич и стал нам рассказывать о вине, какие болезни от него бывают, какие остуды, какие разорения. Потом поднялся, поднес нам бумагу и говорит:

— Ну, вот записывайся каждый из вас, чтобы вина не пить и не покупать и не угощать других.

Когда мы подписались, Лев Николаевич сказал:

— Смотрите, не делайте так, как сделал Павел, сапожник; нынче в трезвость подписался, а на другое утро в грязи валялся.

И начал Лев Николаевич рассказывать про сапожника.

— Иду из деревни домой, а перед этим прошел дождик и сделалась грязь, и вижу, кто-то в грязи ворочается по дороге внизу около Каменных. Подхожу ближе и вижу — Павел, сапожник. Стоит на руках и на коленях и сам себя не помнит, весь в грязи. Поглядел я на него и стал окликать. Когда он мне откликнулся, то я спросил его: «Павел, что ты делаешь, ведь ты подписался вина не пить?» А он, стоя на четвереньках, поглядел на меня, как будто ему сделалось стыдно, и сказал: «Из пьянства вылезаю, иду в трезвость». — «Недаром, — добавил Лев Николаевич,— говорят: напился, как сапожник».

В 1883 году в апреле месяце загорелась наша Ясная Поляна. Прибежал на пожар и Лев Николаевич в простом, обыкновенном пиджачишке. Не глядя на большое пламя и не жалея себя, он кидался в крестьянские хатенки, вышвыривал какое ему попадалось крестьянское имущество, срывал двери, снимал ворота, а когда огонь охватывал весь дом, перебегал к соседней избе и делал то же самое. Когда наконец он увидел, что пожар больше не распространяется, то он, усталый, с ободранными до крови руками, взял пожарный кран и начал вместе с народом растаскивать обгорелые бревна, засыпать их снегом и заливать водой. Когда огонь был прекращен, на каждом пепелище послышался неугомонный крик и плач. Лев Николаевич, несмотря на свою усталость, весь мокрый и гряз-

ный, домой не пошел, а обращался к крестьянам и уговаривал бедных погорельцев не унывать, а надеяться на бога [3]. Погорельцам не было приюта; они разместились: кто в сарае, кто по родным, и кое-как провели ночь, почти не спавши. Но, видно, не спалось и Льву Николаевичу. Он рано-рано утром пришел в Ясную Поляну, осмотрел сгоревшие 22 двора, обошел сараи, где помещались погорелые крестьяне, обещая им помочь, чем сможет. В то время Лев Николаевич еще сам распоряжался в своем имении. У кого не было хлеба, он давал хлеб; у кого не было картофеля, обещал на семена дать. Семенной овес весь погорел, и Лев Николаевич обещал тоже овса. Также обещал дать кольев, слег, сох, кое-кому и срубы на избу. Потом сам поехал в Пирогово к своему брату, купил у него овса и приказал крестьянам ехать за овсом в Пирогово [4]. Потом собрал народ, взял двуручную пилу и отправился с крестьянами в рощу. Сам резал с ними слеги кому сколько понадобилось. Сам соображал, из какой слеги что может выйти. Не один так день с раннего утра и до позднего вечера работал Лев Николаевич с мужиками. Но этим Лев Николаевич не удовольствовался: от пожара особенно пострадали крестьяне, неспособные работать, как Осип Макаров и Прокофий Власов. И вот Лев Николаевич, не покладая рук, рубил с ними хворост, тесал колья, плел плетень, резал бревна, сам возил лес для сруба, ставил с ними дворы, помогал косить овес, траву, возил с ними снопы, сено, сам клал в одонья хлеб, покрывал их от дождя и вообще помогал этим мужикам во всех работах.

Е. Е. ЛАЗАРЕВ

ЗНАКОМСТВО С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Мое личное знакомство с Львом Николаевичем началось в 1882 или 1883 году, когда он со старшим сыном Сережей и его учителем В. И. Алексеевым приехал в свое самарское имение в башкирской степи [1]. Прожили мы там две-три недели на лоне природы, в большой, разнообразной и интересной компании.

Имение это не походило на обычные барские имения. Кругом степь необъятная. Ни в имении, ни близ имения нет ни села, ни деревни. Барская усадьба — небольшой флигель с некоторыми службами да ряд башкирских юрт для гостей и кумысников, которые по знакомству приезжали сюда каждый год, главным образом интеллигенция. Близ дома стояла специальная башкирская юрта, в которой приготовлялся кумыс и в которой специалист башкир угощал всех желающих пить кумыс,— каждого порознь и целой компанией, с раннего утра и до поздней ночи. Казалось, что он имеет неисчерпаемое море кумыса [2]. ⟨...⟩

Артельное кумысное питание совершалось правильно раза два в день. Два раза в день компания собиралась для обеда и ужина. Обряд приятия пищи и кумыса совершался медленно и сопровождался самыми душеспасительными разговорами, спорами и даже ссорами между «идеалистами» и «материалистами». К этим совместным пиршествам ежедневно приходил Лев Николаевич, которому больше всего приходилось защищаться от наскоков молодых сил [3]. Нередко, однако, он уносился в прошлое или приводил художественную иллюстрацию своего положения, при которой все спорщики смолкали и, разинув рты, жадно впивались в рассказчика молодыми, сверкающими жизнью глазами.

С величайшим восторгом я вспоминаю до сих пор эти недели, проведенные в обществе Льва Николаевича,— не в душной, вечно условной городской обстановке, а поистине на лоне природы, к которой он, как цветок к свету, тянулся всю свою жизнь. Здесь, в степи, все как-то естественно жили враспояску. Любители, даже дамы, ходили босиком. Сам Лев Николаевич чувствовал себя превосходно. В нашей молодой компании он молодел сам, проникался игривостью и смиренно выносил ярые нападки молодежи за свой неумеренный идеализм и политическую незрелость... И молодежь, и сам Лев Николаевич разражались часто заразительным смехом, когда 17-тилетняя курсистка [4] с яростью нападала на него, доказывая, что Лев Николаевич не знает настоящей жизни и рассуждает, как невинное дитя. Молодой князь Оболенский [5], товарищ Сережи, неизменно стоял за эту курсистку, находя, что она всегда права... Кроме нескольких учителей и учительниц, в нашей компании был доктор Каценельсон [6], который с увлечением излагал учение классических раввинов. И молодежь и Лев Николаевич с величайшим интересом прислушивались к его увлекательным лекциям. ⟨...⟩

То было время, когда я и все поколение тогдашних социалистов с жаром обсуждали этические проблемы, в связи с революционным выступлением народовольцев, вступивших в смертельный поединок с самодержавием. Горячие споры молодежи с Толстым в наших общих беседах касались именно этого главного пункта,— его социальной философии: «непротивления злу насилием».

На наших кумысных собраниях я рассказывал иногда в присутствии Толстого про свои военные похождения под Карсом [7]. Как участника процесса 193-х меня заставляли рассказывать про процесс, про сидение в тюрьме, про насилия Трепова над нами, заключенными, про сечение розгами товарища Боголюбова, вызвавшее выстрел Веры Засулич, суд над ней, ее оправдание и благополучный побег за границу. Из разговоров с Толстым я убедился, что он многое знает обо мне от Бибикова. Он знал, что я живу в своем селе с матерью, что я крестьянин и занимаюсь крестьянским хозяйством, что имею своих лошадей, сам пашу, сею и убираю хлеб без помощи

наемного труда [8]. Он был заинтересован таким редким явлением, чтобы интеллигентный человек, не за страх, а за совесть, занимался крестьянским трудом.

На расспросы Толстого о моем хозяйстве и условиях жизни, я не мог тогда рассказать ему всей правды. И я чувствовал, что поселил в нем тогда некоторое разочарование. Вместо дифирамбов крестьянскому труду, на что, вероятно, он рассчитывал,— я сказал ему, что заниматься сельским хозяйством интеллигентному человеку труднее, чем бедному и безграмотному крестьянину. Ибо интеллигентный и всякий образованный человек, занимающийся крестьянским трудом в деревне, сразу подпадает под подозрение полиции и подвергается всяким клеветам и доносам со стороны самых темных элементов деревни.⟨...⟩

В это мое первое знакомство с Толстым на лоне природы мне не удалось беседовать с ним наедине и основательно на интересовавшие меня темы: при его обычных посещениях наших собраний он безраздельно становился достоянием или жертвой всей компании. Ему приходилось играть роль представителя «консервативных» отцов, а вся остальная молодая компания высоко держала революционное знамя «детей».

Лоно природы, ширь степей необъятная да высь поднебесная, гипертрофия молодой энергии, свобода, простота жизни и общее доверие друг к другу — все это давало полный простор проявлению широкой русской натуры.

— Бей по голове двуглавую хищную птицу! — кричала на всю степь молодежь.

— Не тронь и клопа! — отвечал Толстой.

Случалось, наши горячие споры, по русскому обычаю, переходили в ссоры, причем доставалось на орехи и «консервативному» графу.

Помню случай. Однажды молодежь нападала, Толстой защищался. Спорили сначала спокойно и весело, потом разгорячились все, стали говорить колкости. Вдруг, посреди битвы и всеобщего возбуждения, Лев Николаевич встает и с дрожью в голосе просит у всех прощения за то, что он нас рассердил..., вывел из себя...

Вся молодежь, кавалеры и дамы, самопроизвольно тотчас вскочили на ноги и бросились к Льву Николаевичу. Окружив его тесным кольцом, в бурном раскаянии,

вместо качания на руках, все начали обнимать, или лучше сказать,— тормошить и мять его, тогда еще крепкую и мощную фигуру.

Не могу забыть того чудного чувства горячей нежной любви к Льву Николаевичу, которое охватило тогда всю нашу компанию. У него тоже были слезы на глазах. Тотчас после этой сцены мы снова все уселись на траву, и Лев Николаевич стал нам оживленно рассказывать различные анекдоты из своей прежней жизни, нисколько не стесняясь в выражениях и присутствием девиц.

Здесь, быть может, неуместно вдаваться в подробности и описывать чудную поездку всей компанией с Львом Николаевичем во главе, в соседнее башкирское кочевье за 10—15 верст, верхом и в экипажах,— куда Лев Николаевич с кумысниками был приглашен начальником местных башкир. Но для характеристики великого покойника не могу не отметить одного случая, который тогда же глубоко запал в моей памяти.

Однажды в кумысном собрании речь зашла об отношениях между Львом Николаевичем и Тургеневым. Кто-то из присутствующих, имея в виду старую ссору двух великих русских писателей [9], посреди всеобщего оживления и непринужденных разговоров, полушутя и, может быть, не совсем тактично, спросил Льва Николаевича:

— Ну, а как «великий писатель русской земли» [10] ныне относится к своему прежнему литературному сопернику?

Меня — да и не одного меня — очень удивило: Лев Николаевич ответил не сразу; он как бы вспоминал что-то; и, наконец, ответил голословным отзывом с резким эпитетом по адресу Тургенева...

Все мы почувствовали, что здесь есть что-то личное, глубоко спрятанное в душе. Разговор перешел на другие темы. Но факт этот был отмечен другими лицами, и мы обсуждали его меж собой и строили разные догадки. Как бы то ни было, недружелюбное отношение к Тургеневу в любвеобильном Льве Николаевиче осталось для нас непонятным...

---

21 июля 1884 года я был неожиданно арестован в своем селе и спешно доставлен в самарскую тюрьму. Здесь мне объявили постановление от 8 июля того же года о высылке меня административным порядком [11] в Восточную

Сибирь сроком на три года. Меня хотели отправить в Москву немедленно, не дав времени повидаться и проститься со старухой матерью [12], которая оставалась одинокой. К счастью, одновременно с «мужикованьем» [13] я состоял частным поверенным при бузулукском съезде мировых судей. По моей просьбе суд сделал представление губернатору о необходимости задержать меня для устройства и сдачи моих судебных дел. Меня задержали на три недели в самарской тюрьме. Вследствие этого я прибыл в Москву, в Бутырскую пересыльную тюрьму, лишь 22 августа — на другой день по отходе последней политической партии этого года в Сибирь, так что мне приходилось ждать в Бутырках до весны, до первой партии будущего года, то есть до мая месяца. ⟨...⟩

В один день ко мне неожиданно явился на свидание упомянутый выше А. А. Бибиков в сопровождении моей матери, которую он привез из Самары и поместил у Льва Николаевича в Хамовниках, где он жил в эту зиму. Бибиков возвращался вскоре назад в Самару, но Лев Николаевич оставил мать у себя в доме, чтобы дать ей возможность подольше видеться со мной. Иногда он сам приходил на свидание ко мне вместе с матерью [14]. А когда она наконец уехала, Лев Николаевич продолжал ходить ко мне в установленные дни. Здесь наконец мы могли говорить исключительно о наших личных взглядах и настроениях.

Свидания нам давали в общем зале, где одновременно происходили свидания других заключенных с их родными и знакомыми. Лев Николаевич внимательно рассматривал всех присутствующих и расспрашивал меня обо всех. Помню один случай, показавший силу его художественного воображения.

Однажды во время свидания Лев Николаевич обратил особое внимание на молодую пару воркующих голубков — административно-ссыльного Ивана Николаевича Присецкого с женой [15], с которой он повенчался в киевской тюрьме, когда та, будучи невестой, жила на воле. Она приехала теперь в Москву, чтобы следовать за мужем в ссылку.

— Как,— спрашивает Лев Николаевич,— значит, они до сих пор остаются на положении жениха и невесты?..

Я улыбнулся утвердительно.

Лев Николаевич молчал и из-под своих длинных бровей все время смотрел на молодую пару, которая сидела близко друг к другу, крепко сцепившись руками.

Но Лев Николаевич не унимался.

— Как,— снова спрашивает он,— неужели им не позволяют остаться одним... вместе спать не дают?

Я вновь улыбнулся при мысли о такой наивности и, признаюсь, был немножко смущен, потому что Лев Николаевич говорил это своим обычным ровным голосом, отнюдь не понижая его при своем щекотливом вопросе... Я невольно стал осматриваться по сторонам, чтобы убедиться, не слышал ли кто-нибудь из соседей этого вопроса.

Мы оба продолжали молчать, потому что все его внимание перенеслось на молодую пару. Я не прерывал молчания, ибо видел, что он о чем-то напряженно думает, хмурит брови и жует губами.

Наконец, решив прервать молчание, я взглянул на него и был несказанно смущен: по щекам его текли слезы, и глаза, полные слез, постоянно мигали.

Слез своих он не вытирал.

— Какое варварство! — произнес он, вставая вместе со всеми, когда свидание кончилось и все стали прощаться.

Весной 1885 года мы вышли из Москвы, и наши непосредственные сношения с Львом Николаевичем прекратились. Но с этапного пути, из Иркутска, я написал ему длинное письмо с описанием знаменитой шестнадцатидневной голодовки четырех женщин каторжанок: М. П. Ковалевской (сестры писателя-экономиста В. П. Воронцова), Богомолец (сестры упомянутого И. Н. Присецкого), Россиковой (подкоп под херсонское казначейство) и Марьи Кутитонской (стрелявшей в забайкальского губернатора Ильяшевича).

Все четверо сидели в Иркутской тюрьме, на особом положении, переведенные за беспокойный характер из карийской каторжной тюрьмы. Голодовка была объявлена как протест против ухудшения режима после знаменитого побега из той же иркутской тюрьмы их товарки, тоже каторжанки, Лизы Ковальской. Когда мы пришли в Иркутск, голодовка только что кончилась. Мы тотчас же

вошли с ними в сношения: они рассказали нам все перипетии этой чудовищной голодовки. Я подробно описал ее и письмо послал Толстому. Я долго не знал о судьбе этого письма: дошло ли оно?[16] Лишь четыре года спустя мне пришлось идти вновь этапом в Сибирь с лицами, взятыми в подпольной типографии за печатание моего описания иркутской голодовки. От них я узнал, что Лев Николаевич не держал его в секрете...

Из Забайкальской области я раза два с Львом Николаевичем обменялся письмами.

После этого мы никогда не теряли из вида друг друга[17]. ⟨...⟩

И. М. ИВАКИН

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ. 1880—1885»

24 июня ⟨*1885*⟩. Вчера я приехал в Ясную Поляну. Сегодня видел ее всю и всех ее обитателей.

За чаем толковал с Львом Николаевичем и Татьяной Андреевной [1] о воскрешении Николая Федоровича [2]. Это воскрешение Лев Николаевич сопоставил с теорией брата своего Сергея Николаевича, которая заключается в том, что мир состоит из частиц, изменяющих формы своего сочетания в бесконечности пространства и времени, и что, следовательно, возможна и такая комбинация, что раз уничтожившееся снова придет в прежнюю форму. Разница та, что у Николая Федоровича все предоставляется сознательной деятельности человечества, а у Сергея Николаевича — простому процессу.

25 июня. Вечером, вернувшись с прогулки из Ясенков, я нашел в сборе почти всех в зале. Лев Николаевич читал о себе статью из какой-то английской газеты, где довольно верно переданы его взгляды.

26 июня. Идя домой из леса, встретил Льва Николаевича. Он сказал, что пишет все по поводу политической экономии,— о ренте и т. д., сообщил о сочинениях американца Джорджа, который со многими положениями этой науки не согласен. В книге «Progress and poverty» он приходит к тому заключению, что для того, чтобы покончить со многими экономическими неурядицами, надо *национализировать* земельную собственность, отменив все налоги, прямые и косвенные [3].

— Политико-экономы,— продолжал Лев Николаевич,— сами сбиваются с толку, говорят, сами не зная что; например, толкуя собственно о государстве, они говорят о человеке вообще... Я многим из так называемых

консерваторов толковал, что вопросы политико-экономические в настоящее время находятся в таком же положении, в каком был в начале нынешнего столетия крестьянский вопрос.

26—29 ⟨*июня*⟩. Со Львом Николаевичем беседовать приходилось мало. Впрочем, раз за чаем говорили про Мэтью Арнольда по поводу того, что у него есть мысли, сходные с мыслями Льва Николаевича. «Свободомыслие одного века есть обычное воззрение последующего»,— мысль, не показавшаяся мне новой, но она очень нравится Льву Николаевичу...[4]

Лев Николаевич с графиней и Илюшей[5] сидел за утренним чаем под липками, около крокета. Илюша заметил, что около Ясной Поляны мало дичи. Лев Николаевич возразил на это, что дичи и вообще никогда не бывает много. У него был на Кавказе знакомый казак Ерошка, которого он в повести «Казаки» вывел под именем Епишки[6]. «Утром уходил он на охоту, — говорил Лев Николаевич,— брал с собой двух собак, все снасти и приспособления для охоты и для ловли дичи — и все-таки при всех тогдашних удобствах для охоты не убивал много».

— В нравственном отношении Ерошка был не зверь, а животное,— продолжал Лев Николаевич, увлекаясь воспоминаниями,— убить человека ему было нипочем. Ермолов[7] раз послал его в горы убить одного немирного горца. Он отлично говорил по-татарски, одевался по-тамошнему, пришел кунаком в аул, убил в сакле ночью горца и убежал. Приходит к Ермолову. «Ну, что? с чем ты?» — «Я его вот так поманил пальцем в сторону, вынул из кармана и показал кисть руки».

— А то был еще чеченец Балта́. Этот занимался кражей и пьянством. Украдет где-нибудь лошадь, продаст и сейчас приезжает в город, нанимает двух музыкантов, покупает рому и пьет, пока не пропьет всего. Раз пришел он к русским, видит — играют в деньги. У Балты́ не было ни гроша, зато был тут у него кунак. Он видит, что на кону стоит что-то рублей двадцать — двадцать пять. Занял он у кунака 20 копеек, разменял на медь, подошел к игрокам, загремел медью в кармане и кричит: «Хочешь на все?» — «Сам думаю, коли не моя возьмет, пистолет со мною, выстрелю в кого-нибудь и убегу». Согласились — кон взял Балта́. Опять пошло пьянство и музыка, а потом безденежье. Когда выходили деньги, он доставал навертку, наверткой проделывал дыру в двери конюшни, отмыкал из-

нутри крючок или задвижку, уводил лошадь, продавал, и опять начиналось пьянство и музыка.

30 ⟨июня⟩. Был князь с армянской физиономией — Абамелек-Лазарев. Мне его отрекомендовали кандидатом филологом Петербургского университета. Рассказывал о бое быков в Мадриде, где он был в нынешнем году в мае, но не очень интересно — все известно по книгам. ⟨...⟩

В этот же день в кабинете у Льва Николаевича неожиданно встретил какого-то Файнермана, нарочно прибывшего из Киева. Он еврей, но — по словам его — благодаря Льву Николаевичу уверовал во Христа [8].

Вечером, после чаю, до полуночи беседовали с графом. Между прочим, он говорил о том, что теперь старикам приходится идти впереди молодежи. Молодежь — или революционеры, или из разряда людей, которым все наплевать, а «на наш, мол, век хватит!». У молодежи последнего разряда — полнейшее отсутствие духовных интересов, отсутствие чутья, такта. Армянский князь, например (он уже успел уехать), на поле выходит в кольце, в котором два камня по сто пятьдесят рублей каждый. Другой (но кто, не было сказано) стоит на крыльце, манит своих ребят, а лакей в это время ползает по земле, чистит ему сапоги.

— Да в былое время,— продолжал Лев Николаевич,— декабристы за стыд бы это сочли, да сочли бы за стыд и вообще в гвардии. Такой же взгляд был тогда и в армии. А теперь дошло бог знает до чего! Люди только и стараются оскотинить насилием других людей для того, чтобы в конце концов и самим оскотиниться.

Отсутствие духовных интересов среди молодежи лучше всего сказывается любовью к картежной игре.

1 июля. Утром видел еврея, который ночевал у Льва Николаевича. Когда Лев Николаевич пришел в кабинет одеваться, речь зашла о политической экономии и о Джордже [9].

Еврей говорил, чтобы всю землю отдать мужикам. Лев Николаевич указывал на неудобство — наверное ничего не выйдет. Кому отдать и как отдать? Крестьянин, поступивший в лакеи, получив землю, сам работать не станет, будет сдавать. Гораздо лучше проект Джорджа о национализации земли: устранить все другие подати и налоги и брать высокую пошлину с земли, которая будет принадлежать правительству. Земля будет давать только изли-

шек (ренту) в пользу того, кто сидит на ней. Джордж, впрочем, вычисляет, что и тогда землепашец не останется в убытке, потому что не будет других косвенных налогов. Налог должен составлять, по крайней мере, восемьдесят процентов, а двадцать процентов останется в пользу землепашца. 〈...〉

Продолжая разговор о литературе, мы заговорили о романах и Вальтер-Скотте. Лев Николаевич выразил ему неодобрение и припомнил, что когда Вальтер-Скотт умер, то один из знакомых сказал:

— Ну, слава богу, по крайней мере, теперь не будут меня спрашивать, читал ли я его последний роман!

С романов естественно было перейти к любви. «Это баловство от нечего делать,— говорил Лев Николаевич.— Люди живут бог знает в каких условиях, соблазны на каждом шагу, дела никакого нет, и вот начинается дурь. Дурью начиняет себя девушка, так что стоит только кому-нибудь явиться, ее с этой дури разрывает, точно с пороха, и начинается чепуха. От этой чепухи надо отличать *присуху*, как говорят в народе, когда люди привязались один к другому, но между ними стоят неодолимые препятствия. Это — величайшая мука. Любви желать — желать холеры, и нужно удивляться людям, которые ищут этой холеры и находят в этом какое-то удовольствие. Иное дело — любовь между мужем и женой, когда люди сживутся между собой. Но и это не есть счастье, а есть то же, что воздух, вода, то есть одно из необходимых условий человеческой жизни».

3 июля. За обедом Лев Николаевич, не помню почему, вспомнил о мистере Лонге, миссионере, который прожил в Индии двадцать лет. Найдя что-то одинаковое в быте индусов и русских, он посетил Россию, познакомился с Львом Николаевичем в Москве и приехал в Ясную Поляну. Глуп он был ужасно. Каждый раз, отдавая долг общительности, за чаем на ужасном французском языке он говорил графине: «Madame avez-vous été à Paris?» * Рассказывал, что, крестя индусов, они в то же время оставляли им многоженство. Будучи лет сорока пяти, он казался гораздо старше: индийский климат дает знать себя англичанам! Они не хотят применяться к местным условиям, приезжают со всеми своими привычками — с бифштексом, боксом и пр. Потому-то они в Индии и не

* Сударыня, были ли в Париже? (*франц.*)

выводятся: кто из англичан женится, тот будто бы уезжает в Англию.

За вечерним чаем шла речь о литературе и писателях.

— На вазе разные арабески вперемежку, амуры, цветы и т. д., все красиво, но для чего? какая в этом цель? — говорил Лев Николаевич.— Так же и писатели (английские). Горе и радость, веселье и страдание в романах все вперемежку,— к чему все это, какая цель? Русские считают нужным читать Пушкина, Тургенева, Толстого, и этой-то дребеденью заслоняют книги, которые для людей действительно нужны [10]. Мысль есть самое важное в человеке; сообразно мысли живут и поступают люди. Стало быть, хороша та книга, которая говорит мне, что мне делать. А люди стараются из книги сделать какую-то забаву, игрушку. Это все равно что хлеб: хлеб существует затем, чтобы его есть, а кто скажет, что он существует для того, чтобы помягче на нем сидеть, это бессмыслица, чепуха. Английские романисты именно и сделали из книги такую игрушку; их произведения — в сущности, бесцельная игра света и теней, например, у Брэддон, у которой к тому же романы, как и у многих английских писателей, носят печать фабричности, несмотря на мастерство языка. Даже такой тупой и ограниченный человек, как Э. Золя, и то лучше: у него есть цель, а не пустая игра цветов. Цель эта, например, в «Семействе Ругонов»[11] состоит в том, чтобы проследить дегенерацию фамильных черт — что-то напоминающее Дарвинову теорию. Это дает ему опору, несмотря на всю ложность исходной точки зрения, и вот отчасти почему он читается во всей Европе; мы, сидя в Ясной Поляне, горим нетерпением прочесть его новый роман. Тургенев до самой смерти так и занимался, в сущности, пустяками. Я чувствовал это еще тогда, и это впоследствии возбудило даже его неудовольствие на меня. Настоящее лучшее его произведение — «Записки охотника». Тут есть прямая цель. А после ему, очевидно, стало нечего писать, и пошла ужасная чепуха. Я помню, как Анненков, главный критик, я и другие собрались у Панаева читать «Рудина» [12]. Я чувствовал, что это чушь и больше ничего... Лаврецкий, Базаров — и это все мне тоже не нравится. Лучше всего «Новь»: тут выведено что-то реальное, соответствующее жизни. А в Рудине, Лаврецком, Базарове,— ничего нет: что говорит Базаров, то только разве и хорошо. Да и быть ничего не могло: ведь те движения, представителями

которых являются Рудин, Лаврецкий, совершились только в умственной сфере, в поступки не переходили, оттого-то и не могли дать содержание художественному произведению, тогда как «Новь» могла. Повесть Тургенева «Живые мощи» — прелестный рассказ, который был написан, очевидно, давно;[13] он отдал его в печать по просьбе и то со стыдом, потому что там есть что-то похожее на религиозную идею, со стыдом потому, что за повесть такого характера Белинский бранил, а в Тургеневе воспоминание о сороковых годах было свежо. Художественная форма хороша только там, где она необходима. В моем маленьком деле я чувствую, что могу лучше всего выразить свои мысли именно этим путем — я ее и употребляю, и для интеллигентной публики у меня есть прямое средство.

4 июля. Утром, когда я хотел взять Джорджа, чтобы прочесть о Мальтусе, пришел Лев Николаевич в кабинет одеваться. Он сказал, что после Джорджа Мальтус стал для него ничто — о нем он уже не может и говорить серьезно. Его теория об умножении населения и продуктов сделана для английской аристократии; что, мол, есть, того не переделаешь — так живите, как живете! А в сущности, это писатель бездарный, которого не принимали ни в один журнал, пока он не написал своего «Опыта о населении»[14]. С той поры начинается его успех и слава. Если иметь в виду только бессовестную эксплуатацию природы человеком, пожалуй, тут и была бы правда. Но дело в том, что сюда, именно в отношение людей друг к другу, к земле и к ее продуктам, входит элемент бесконечного, который изменяет все. С умножением людей умножаются и средства для прожития: на двух десятинах троим легче жить, чем двоим. «Это все равно, как на корабле,— говорит Джордж,— выйдут припасы, по-видимому, все кончено. Но это не так: стоит приподнять пол, и внизу увидишь еще много припасов»...

Когда я спросил, где же с умножением людей им помещаться, Лев Николаевич определенного ничего не сказал:

— Из-за чего же я бьюсь,— продолжал он,— я вижу кругом людей, которые запутались во всей этой чепухе. Ко мне приходят профессора или — как назвала их одна барыня (Олсуфьева) — волхвы. Они пережили гимназическую и университетскую пору, стали магистрами и докторами, лет по десять — пятнадцать профессорствуют, читают все, что напишут другие, европейские волхвы. Ведь это не шутка. Ну и что же в их писаньях? Кроме

путаницы, я ничего не нашел. Разбирать всю эту путаницу по пунктам — на это не хватит целой жизни. Я беру самые корешки и вижу, что именно тут-то и нет ничего. Благодаря Джорджу Мальтус для меня теперь не существует. Кто положит предел человеческой мысли? Мы сами дивимся на удивительные открытия, но только дело в том, что общественный строй в своем теперешнем виде остается далеко позади всего этого.

5 июля. Видел купца-раскольника, приезжавшего к Льву Николаевичу, который толковал ему об «Учении двенадцати апостолов».

Лев Николаевич косил часа два. Я наблюдал за ним из-за деревьев, когда он уже кончил: положил брусок в брусницу, вскинул по-мужицки на плечо косу и тихо, задумчиво направился домой. Я вышел, он меня увидал.

— А я только что думал о том, что скоро придется умирать,— сказал он.— Хороша смерть, когда жил не как мы, которые наедаемся бог знает до чего, в то время как другим нечего есть.

Он вспомнил о Николае Федоровиче, как он живет. Он уважает, любит его больше всякого и удивляется, что тот от него отшатывается [15].

— Николай Федорович говорит, что между людьми братства потому нет, что нет общего дела; будь оно, было бы и братство; делом этим он считает воскрешение. Я же говорю, что братство может быть и без общего дела, пожалуй, просто вследствие того ужаса нашего положения, который есть прямой результат отсутствия братства. Он этого не хочет понять. У него есть пункт помешательства, которого у меня, должно быть, нет. Я ему говорил: поставьте вы общее дело целью, не определяя его точно... Но с философской точки зрения его построение правильно, он прав, ставя человечеству такую задачу, если только отодвигать ее исполнение в бесконечность времени.

После вечернего чаю Стахович в гостиной читал свои стихотворения, а я со Львом Николаевичем слушал из залы. Стихи, видимо, были недурны, но читались напыщенно.

— Когда так читают,— сказал Лев Николаевич,— мне всегда хочется залезть под диван.

6 июля. Сегодня вечером, разговорившись о спиритических явлениях, Лев Николаевич стал горячо ставить их на одну доску с чертовщиной: «Почему я должен верить в какой-то бишопизм [16] или гипнотизм? В таком случае

надо верить и бабе-знахарке и мужику, который подал Сергею Николаевичу (брату) жалобу на соседа, что тот у себя назло ему держит в сундуке семь чертей. Есть область серьезного и область суеверия, человеку надо чувствовать разницу между тем и другим. Если человек пустится в область суеверия, ему некогда будет заниматься, даже своим прямым делом. Все такого необычного рода явления имеют один характер: они связаны с *внутренним* человеком, с его внутренней организацией. Явления, которые можно понимать, даже, например, гипнотизм, доступны исследованию — в гипнотизме, например, влияние на нервы блестящих поверхностей. Но явления, связанные с внутренним строем человека, наблюдать нельзя, потому что чем было бы их наблюдать? Явления материальные доступны опыту, явления духовные — нет. Душе тогда пришлось бы разглядывать себя как бы в зеркале и свое отражение в нем схватывать, но возможно ли это?»

7 июля. Вчера за обедом Лев Николаевич говорил, что, когда он косил, загремел гром, закачались от ветра деревья, и ему вдруг стало почему-то жутко.

— Но я вспомнил, что может мне сделать гроза? Разве убить — и только. А это — я и вчера вам (то есть мне) говорил — самое желательное для меня. Значит, я боюсь того, чего желаю. Как только я подумал это, сейчас же во мне пропала всякая жуткость. 〈...〉

Вечером Лев Николаевич стал читать Книгу Иова;[17] читал довольно долго, было скучно, хотя и не все в этом сознавались. Я сказал откровенно, что, на мой взгляд, она скучна и многословна. Лев Николаевич старался показать ее значение; это протест человека, который по жизни безупречен, против бога за то, что он посылает на него беды одну хуже другой. Прежде, при патриархах, благословением за безупречную жизнь считались стада, потомства, рабы; Книга Иова идет дальше, она берет человека безупречного, в котором сильно побуждение к добру, но на которого бог обрушивает всевозможные бедствия. Он ропщет на бога — за что же это? стоит ли быть безупречным? и за всем тем не теряет своих стремлений к добру. Это, во-первых, протест, то есть лирическое выражение ропота на бога за несправедливо посланные испытания; во-вторых, знамение совершившегося переворота в нравственном мире еврейского народа, того завершенного Христом переворота, благодаря которому добро стало

заключать награду уже в самом себе, то есть книга имеет значение историческое. О Ветхом завете Лев Николаевич заметил вообще, что там много красот эпических, чувствуется crudité *, например, в эпизоде о Ревекке [18].

Мы вышли в сад, где, забыв Ветхий завет, он опять стал говорить об экономистах. Они с Миллем в главе о меркантильной системе говорят, что это нечто такое, что удивляешься, как люди могли писать подобную чушь [19].

— Точно то же можно теперь сказать и о Милле. Я прежде выражал недовольство, что пришлось жить в Москве, но теперь вижу, что в жизни всякого человека случается именно то, чему должно случиться, и что жизнь слагается именно так, как ей должно сложиться.

Это было ответом на мои слова, что его теория о деньгах является совершенно новой и что причиной этого было, вероятно, его пребывание в Москве.

9 июля. Лев Николаевич косил часа с три.

— Так хорошо косил, сделал много,— сказал он,— так славно устал — хочу купаться.

После чаю зашла речь о нашем образовании. Лев Николаевич говорил, что такое святое дело, как образование и знание вообще, переплетено с самыми мерзкими целями, которые с делом знания общего ничего не имеют, и потому образование теперь скорей развращение.

Придя в кабинет, относительно закона сохранения силы он, не помню, по какому поводу, сказал, что тут, собственно, нет никакого открытия. То же-де говорит и Страхов [20].

10 июля. ⟨...⟩ Зашел вопрос о том, можно ли располагать чужой и своей жизнью, чужой даже в том случае, если об этом просят. Лев Николаевич говорил, что для него это было всегда вопросом неразрешимым. Ольга Николаевна Тиблен сказала, что можно располагать, когда это явно лучший исход. Лев Николаевич возразил:

— Этого сказать нельзя. Быть может, человек, который просит о прекращении жизни, скажет что-нибудь или сделает важное и значительное — как за это ручаться? Притом же страдание не есть такое бедствие, которое даже при высокой степени должно вести к прекращению жизни. Эпиктет говорит: если у тебя лихорадка — вот тебе случай показать твердость духа [21]. Из всех явлений жизнь есть самое важное и таинственное.

* непристойность (*франц.*).

Говорили о молодости, о том, как человек изменяется в другие возрасты жизни.

— Перемены, собственно, нет,— сказал Лев Николаевич,— изменяется форма, а не сущность. Я каков прежде был, таков и теперь остался — и пошл, и глуп, и гадок; изменение разве в степени.

— От жизни нельзя требовать, чего она не может дать,— говорил Лев Николаевич, очевидно, имея в виду прежнюю тему.— Иначе будешь похож на князя Блохина [22], который все ждет откуда-то получения. Что ни сделай ему, какие средства ни употреби для его удовлетворения, он все-таки будет несчастен, потому что сошел с ума на том, что ему должно явиться получение в три миллиона. Точно так же несчастлив и человек, который предъявляет к жизни такие требования, какие предъявлять нельзя. Да и какое право мы имеем на это? Разве такое же, как и князь Блохин на получение миллионов. Так называемые несчастия не настолько ужасны, как кажется.

— Я помню, в Брюсселе я зашел к Лелевелю [23],— сказал Лев Николаевич,— о нем сказал мне Герцен. Я спросил о нем в лавочке. Мне с восторгом и уважением указали, где он живет. Я вошел, вижу — грязно, на двери вместо молотка что-то вроде чернильницы, бедность, вонь, противный запах от старческой урины. Отворяю дверь — в комнате книги, пыль, сор. Лелевель — седой, почтенный старик — сейчас же со мной разговорился, с живостью начал толковать о политике, доказывать, что Смоленск — исконный польский город. Что же после этого несчастия?

Когда мы пошли провожать Татьяну Андреевну во флигель, где она жила, она продолжала толковать, что все на свете пустяки, что бог хочет так, а я нет.

— Назло ему сделаю, как мне хочется; он послал засуху, а я у себя в огороде и цветнике возьму да и буду поливать — на ж тебе!??

— Да ты, Таня, когда жара, возьми уж лучше да поставь барометр на дождь— и утешайся, что сделала назло богу! — сказал Лев Николаевич. ⟨...⟩

14 июля. Сегодня вечером читали почтовый яснополянский ящик [24]. Статьи были разные — глупые и нет, скучные и веселые. Прохаживались все больше насчет меня и miss Gibson и насчет того, как я хожу пастись на крыжовник... Когда уже все почти разошлись спать, Лев

Николаевич мне сказал, что Чертков думает прислать ему статью из газеты «Pall Mall» о лондонском разврате.

— Мне всегда казалось,— сказал Лев Николаевич,— что у англичан дело обстоит не совсем благополучно. Читая их романы, мне всегда думалось, что авторы что-то скрывают, в чем-то лицемерят, про что-то не договаривают. Правдивый Диккенс у них считается, например, писателем неприличным. Миросозерцание русского народа, в противоположность английскому и другим, человечней. Замечательно, что русский человек чтит царя, как никто, и в то же время считает и его человеком!

15 июля. После чаю графиня заговорила о корректурах. Лев Николаевич сказал, что он читал некоторые листы и что, например, описание охоты в «Анне Карениной» ему понравилось.

— Все правдиво, нет фальши, но читал я в «Войне и мире» описание, как Наташа была в театре, и так мне стало противно! Это бог знает что!

Лев Николаевич велел принести записную книжку и стал читать кое-какие выдержки — слова, выражения, рассказы, слышанные им у Петровича [25]. Оказывается, что «Два старика» рассказал ему Петрович, «но бестолково, так же как и фабулу повести «Чем люди живы». ⟨...⟩

24 июля. ⟨...⟩ Лев Николаевич, окруженный барышнями, читал в зале корректуры вслух — статью по народному образованию [26].

— Справедливо, прекрасно! — сказал он, кончив читать, — нет, в самом деле, какая возможна программа? И кто составляет программы? В училище или в университете назначают столько-то часов, положим, истории... И выходит бог знает что. А делается это с целью не образовательной, а иной — вот как латинский язык: чтобы отвлечь от нигилизма.

Благодарствуйте, Лев Николаевич,— говорил Лев Николаевич, кланяясь другому, воображаемому Льву Николаевичу, — справедливо вы написали, хорошо!..

За чаем Лев Николаевич высказывал те же мысли, какие есть в его статьях по образованию. У магометан, евреев, в средние века в Западной Европе, в былое время у нас («Домострой») образование имело цель религиозную, можно было сказать, для чего оно, и стало быть имело право существовать. А теперь — какая цель образования? Никакой. Один говорит об образовании, что

хорошо классическое, другой — реальное. Страхов очень умно писал, что развивает ум главным образом реальное.

— Я пришел к Каткову,— говорил Лев Николаевич,— они там построили Лицей[27], спросил их о древних языках, и они мне дельного не сказали решительно ничего. Нынешнее образование — мода, как, например, шляпа — цилиндр, серьезных основ оно не имеет. Зачем насиловать ребенка в том, к чему он неспособен? Это все равно, что, например, ему вместо определенной свойственной ему пищи давать разные вещи — хлеб, свечку... Именно это и происходит в нашем образовании. Ребенок сам непосредственным чутьем знает, что ему нужно, и к тому и стремится. Формализм нынешних гимназий на душу учащихся действует убийственно. Я помню, когда я писал статью для «Ясной Поляны», в Туле был директор гимназии Горяин, человек хороший, свободомыслящий,— продолжал Лев Николаевич,— он подбирал себе и людей такого же рода — Марков, мой оппонент, был в их числе. Их бывшие ученики вспоминают о них с любовью; между учениками и учителями было живое единение, любовь. ⟨...⟩

Речь зашла потом о «Ревизоре» и «Горе от ума». Последнюю комедию Лев Николаевич не одобрил за то, что она оставляет читателя равнодушным к действующим лицам: «Платон Михалыч разве — этот хорош. В Чацком что-то недосказанное; идея хороша — представить в этом ужасном обществе умного, свежего человека, декабриста. Когда нужно бывает в произведение вставить лицо, автор обыкновенно вставляет себя. Как противоположность другим лицам — Фамусову, Молчалину и другим — Грибоедову нужно было вставить лицо—он вставил себя: надо же было ему взглянуть на других лиц с какого-нибудь возвышения. Он взял себя, и в комедии вышло, что он есть он. Чацкий неопределенен. Но ведь и Грибоедов тоже был неопределенен. Я знал многих декабристов и помню, что о Грибоедове у них не сохранилось никаких традиций как о человеке чужом. Он с ними со всеми был знаком, играл на фортепиано — и только, а душевного участия к ним в нем не было. Оттого и Чацкий так же неопределенен, как и сам автор. Чтобы тип вышел определенен, надо, чтобы отношения автора к нему были ясны».

Не помню, по какой связи перешли к разговору о портретах, но связь какая-то была, и Лев Николаевич высказал мысль, что всякий человек, рисуя с оригинала, до

известной степени рисует себя. Это говорит и Прянишников и другие. У кого нос закорючкой, тот и на чужом портрете сделает его до известной степени таким же. «Я помню, — продолжал Лев Николаевич,— когда Крамской окончил мои портреты, был ужасно доволен и выставил их вот здесь в зале, прося меня самого выбрать, какой лучше [28]. Я отвечал пошлостью, что не знаю своего лица. Он сказал: «Неправда, всякий лучше всех знает свое лицо». И в самом деле, в этом случае в человеке есть какая-то внутренняя интуиция, он знает свое лицо».

«Тургенев раз сказал, что когда тема разговора бывает одна, это значит, что разговор интересен, а когда перескакивает с предмета на предмет, то неинтересен,— в заключение вечера заметил Лев Николаевич,— у нас сегодня была тема одна, значит, разговор был интересен». 〈...〉

26 июля. Лев Николаевич сегодня за чаем толковал со Стаховичем-père [29] в своем духе, но осторожно, безнадежно. Сказал, между прочим, что дворянство осрамилось страшно. Теперь, когда возбуждено столько серьезных вопросов, желание его воротиться к екатерининским временам глупо. Одно время он хотел даже написать сказку, вроде Щедрина, о том, как был царь, у которого советники были все глупые. Стал другой царь, а прежние советники ушли куда-то. Начал другой царь спрашивать, каковы были советники у прежнего царя. Кто говорит, что они были глупые, а кто — нет. Тогда царь сказал: кто из глупых откликнется, тем по двугривенному. Все глупые сейчас же и откликнулись...

27 июля. После обеда целой компанией со Львом Николаевичем во главе ходили в Засеку, бегали вперегонки. Лев Николаевич веселился, не отставая от других, шутил, острил, прыгал через платок...

Я пришел домой усталый. За чаем говорил со Стаховичем-père о драматическом искусстве, о Поссарте, о его манере играть Шейлока. Он не видал Поссарта, но мои рассказы показались ему не новы. Он мне что-то рассказал о Марио, Рашели, Садовском, Сальвини, которых видел и даже лично знал. Лев Николаевич говорил, что Гоголь, Островский дали прекрасные, правдивые вещи,— но все это слишком мало, случайно, все это мало захватывает.

— Представляю себе, — прибавил он, — чем мог бы быть театр. Что, драма «Ян Гус» [30] не с вами? — обратился он ко мне.

Я спросил, почему он вспомнил о ней. Он ответил, что думал, не выходит ли она из круга обычных драматических произведений. ⟨...⟩

29 июля. Заходил к Льву Николаевичу в кабинет, застал за работой, шьет сапоги на маленькую ногу, но не очень удачно — вышло не по мерке.

— Посмотрите,— как все это сначала грубо,— говорил он мне, показывая подошву,— а потом, как все сделается, станет хорошо. Хороши тем эти сапоги, что это первые, которые я шил без посторонней помощи.

Зимой, когда я читал «Антигону» [31], мне, помнится, понравилось несколько стихов. Я о них сказал Льву Николаевичу да и забыл про то. Сегодня за чаем он меня спрашивает:

— Что ж, вы меня только подразнили греческой трагедией, а так мне и не сказали какие-то знаменитые пять стихов из «Антигоны»?

Я ответил, что читал их уже давно и теперь, признаться, не помню. Оказалось, что и он в прежнее время тоже читал греческие трагедии, читал усердно, но ничего не помнит.

— Драматические произведения как-то у меня выходят из памяти,— сказал он.— Теперь потеряна девственность критического чутья. Можно поверить в свежесть, непосредственность суждений Сергея Николаевича (брата), Татьяны Андреевны (свояченицы), которые иногда поражают дикостью взглядов, но которые говорят то, что думают и чувствуют, но поверить тому, что говорит какой-нибудь Чичерин о Шекспире, Чичерин, который, в сущности, ничего не может чувствовать и любить, нельзя. Да и что в Шекспире? Прошлый год Усов (профессор) стал мне говорить, чтобы я прочел Шекспира по-немецки. Я стал читать «Макбета», читал внимательно, но не нашел ничего. Мотив, где Макбету приходится в своем деле раскаиваться, затрагивается Шекспиром несколько раз, и затрагивается весьма слабо... Прянишников то же говорит о «Лире»: приходит какой-то король, ставят трон, потом войско вокруг, идут в степь — к чему это? Ничего не понимаю! Читать Шекспира и Пушкина, знать и говорить о них стало то же, что исповедоваться. Попробуйте сказать, что в «Отелло» ничего нет, вас каменьями закидают. Искусство шло все суживаясь и суживаясь и теперь наконец сошло на нет. А театр мог бы иметь важное значение,

если б давал не «Ревизора» какого-нибудь, а что-нибудь более важное.

Он опять пожалел, что драма «Ян Гус» осталась в Москве: она, быть может, представляет нечто хорошее, потому что сюжет-то самый весьма значителен.

— Сожалею, что не прочитал ее,— заметил Лев Николаевич.— Если бы теперь писать драму, следовало бы писать драму «Нигилист», сопоставить новое с окружающим старым, тогда бы драма могла захватить, заинтересовать всех. Но возможна, конечно, драма и с более широким сюжетом.

— «Газета Гатцука» — первая газета в мире,— сказал Лев Николаевич, подходя после разговора о драме к столу, где лежали разбросанные номера этой газеты,— там я всегда нахожу самые интересные для меня вещи. Вот, например, сейчас нахожу: программа махди [32].

И он погрузился в чтение, а я ушел.

30 июля. За кофе Лев Николаевич говорил, что черниговская история, о которой писал Оболенский в письме, сильно преувеличена [33]. Файнерман передавал ее в более скромном виде. Кузминский (свояк) догадывается, что Плеве выехал в Чернигов по этому поводу. Лев Николаевич негодовал на либералов, которые раздувают подобные истории. Мы ведь все только и делаем, что сечем мужиков. Через это сеченье у нас есть и кофе и все. Приди сюда мужики и начни рубить дубки, под которыми мы распиваем кофе, мы сейчас же позовем станового, урядника, и начнется то же сечение. Либеральничать в газетах по этому поводу — значит сваливать с больной головы на здоровую.

— Я помню, раз я был у Аниты Хомяковой — муж у нее либерал, славянофил, христианин. А на суде мужика приговорили высечь за то, что около пчельника он скосил хомяковскую траву, а у Хомякова гостиная, гобелены... ⟨...⟩

10 августа. ⟨...⟩ В Ясной Поляне возникали нередко словечки, которые могли бы привести в недоумение даже опытного человека. Сегодня я слышал, например, об *анковском пироге.* Почему формы жизни, которым придают главное значение, получили название «анковский пирог», мне так и осталось неизвестным, не говоря уж о странном эпитете «анковский» [34].

— Когда говоришь о самых важных, существенных вопросах, то приходится слышать толки о формах жизни,

которые признаются как бы за нечто самое священное — тогда *анковский пирог* дурен,— сказал Лев Николаевич в ответ на какое-то замечание Татьяны Андреевны, не имевшее никакого отношения ни к Золя, ни к литературе вообще.

Ходили слухи, что приезжавший с месяц тому назад еврей Файнерман хочет принять православие [35]. Льва Николаевича спросили, хорошо ли это. Он сильно замялся, заговорил про обстоятельства Файнермана, про его положение, но заговорил слабо, неубедительно и свел речь на другое. Среди молодежи лет пятнадцать назад появилось стремление вырваться из условий окружающей среды. Гимназист, приславший сегодня письмо, и Лазарев это показывают. Лазарев — сын мужика, который был вроде управляющего. Его сына приставили к господам для охоты, вместе с барскими детьми стали учить. Он стал учиться — чего они не поймут, поймет он. Дальше — больше; способности, видят, большие; отдали его в гимназию. Он учился там до седьмого класса, а потом вместе с другими товарищами за два месяца до экзамена заявил директору, что учиться больше не желает, вышел и отправился в народ. Он судился в процессе ста девяносто трех, сослан на родину под надзор, а потом за «дурное направление» отправлен в Сибирь на последние три года. В Москве он целый почти год сидел в остроге. Лев Николаевич был у него раза три [36]. Бодрей он никогда себя не чувствовал, чем в это время. Он говорил, что в деревне ему уж становилось тошно, а тут впереди ждут новые впечатления, новая жизнь. Он просил достать ему компас. Лев Николаевич достал и спрашивает: «Для чего вам это? уж не для побега ли?». Он ответил, что на пути все может быть — этапные начальники бывают всякие, пожалуй, бить, притеснять станут.

Так кончился разговор о том, хорошо ли, что Файнерман хочет креститься. ⟨...⟩

12 августа. Вечером читал корректуры из «Войны и мира». Лев Николаевич сел поодаль и слушал, как я читал графине про Пьера и пожар в Москве.

— Представьте, ничего не помню. Мне читают, как Пьер спасает девочку, а что дальше — решительно не помню,— сказал Лев Николаевич во время чтения.— Чтобы представить суматоху, надо, чтоб Пьер не нашел ее родителей.

Он ушел, а потом, когда я дочитал, он вернулся с былинами Алексея Толстого.

— Ненавижу это — хуже выдумать нельзя! — сказал он.— Ничего не может выдержать ровно — начнет высоко, а кончит куплет уж водевильно. У Некрасова — у того тон всегда выдержан от начала до конца, у того чутья больше...

Тургенев тоже будто бы терпеть не мог Алексея Толстого. Раз за границей он толковал о Льве Николаевиче и громко повторил: Толстой. Соллогуб с Алексеем Толстым, думая, что говорят про них, подошли, но Тургенев отрезал:

— Да Лев Толстой, а не Алексей Толстой!..

— У Диккенса, Щедрина есть манера говорить не самому, а вместо себя заставлять говорить какое-то комическое лицо, — заметил Лев Николаевич, видимо не одобряя этой манеры.— Это же есть и у Алексея Толстого. Тургенев, Пушкин — те говорили от себя. Пушкин ясно, чисто говорил от себя — как я есть Пушкин Александр Сергеич, говорю, как дал мне бог...

Затем Лев Николаевич прочел нравящееся ему стихотворение Некрасова «Эй, Иван». Стихотворения Некрасова первого периода отзываются фальшью, в последних он нашел истинный путь. Он породил целую толпу подражателей, например, как Златовратский.

— Я не могу его читать! Человек он ничего, хороший, но подкладка всей его гражданской скорби — литературная слава. Это нехорошо. Я помню, у нас на Козловке провалилось полотно железной дороги. Взяли рабочих из Бабурина. И вот в какой-то газете явилась корреспонденция, где в ужасных красках описывался быт бабуринских крестьян. Ну я ли не знаю здешних крестьян и все их нужды? С первых же слов стало видно, как лжет, как мало знаком писавший с их бытом. Но для либеральничающих читателей эта-то ложь и представляет самую интересную вещь...

Сегодня, когда Лев Николаевич пахал, к нему пришли по какому-то делу два мужика. Он говорит им: «Погодите, кончу пахать, тогда потолкуем». А мужик постарше отвечает: «Давайте я покуда попашу, а вы с ним переговорите».

— Так это было просто, что оставалось только согласиться,— сказал Лев Николаевич.— И ничего, ни слова не спросили, зачем я пашу. Так им это кажется просто;

пашет человек, ну и пусть его пашет! Ах, как дурно все мы делаем, что не пашем.

13 августа. Вечером графиня стала бранить Каткова подлецом.— За что ты его бранишь? — спросил Лев Николаевич. Графиня сказала, что за поступок его со Львом Николаевичем, когда печаталась «Анна Каренина» [37].

— Действительно, тогда вышло смешно,— сказал Лев Николаевич.— Я писал роман, посылал в Москву, мне прислали, вот как теперь, корректуры, дело шло хорошо. Я уж кончил работу, видел, кажется, и самого Каткова, говорил с ним, что если он не напечатает окончания у себя в журнале, я его напечатаю отдельно. Потом выслал рукопись. Жду день — ничего, другой — ничего. Пишу Костеньке (Иславину, у Каткова был секретарем редакции) — ничего, посылаю телеграммы — ничего. Еду сам в Москву. Ужасно я был взволнован — молод еще, глуп был — ужасно, потому что — большая работа, окончание всего, что было задумано. Увидался с Костенькой. Он говорит мне, что все это — ничего, торопиться нечего, все устроится само собой. Я поверил, уехал, жду неделю, две, три — ни слова. Тогда я потребовал рукопись назад. Мне возвратили, и она была напечатана отдельно.

— Но ведь Катков по рукописи, кажется, сделал выборку и напечатал в «Русском вестнике»,— заметил я.

— Да, он это сделал [38].

15 августа. Кузминский (вероятно) привез в Ясную Поляну новый роман Золя. Лев Николаевич читал его.

— Ну, «Germinal» твой плох,— сказал он Кузминскому,— такая богатая тема — и обработана так плохо! Пропасть ненужного, ложного. Про рабочего, например, который кашляет будто бы чуть не тридцать лет какою-то чернотой,— это ложь. Тут я вижу во всем Золя, который выдумывает, но не вижу картины.

Кузминский сказал, что дальше у Золя пойдет в духе Льва Николаевича.

— Я думаю, уже не читал ли он твое «В чем моя вера?»?

— Весьма возможно,— сказал Лев Николаевич.

Затем началась ругань по поводу вегетарианства. Софья и Татьяна Андреевны упрекали Льва Николаевича за то, что он сбил всех девочек с толку, научил их не есть мясо — они едят уксус с маслом, стали зеленые и худые... Лев Николаевич оправдывался. Он-де тут, в сущности, ни при чем; он только был рад пробуждению сознания, стрем-

лению испытать лишение во имя убеждения; поступки-то по убеждению и составляют главное отличие человека от животного. Он не думал, что из-за этого может возникнуть такая неприятность...

Дамы не скупились на выражения: слышалось «sottes» * по адресу девочек, «дурак» — по адресу самого Льва Николаевича, который посмеивался тихо в сторонке. Словом, было много шуму из ничего. ⟨...⟩

16 августа. Телеграмма за телеграммой — едут гости.

Вечером я увидел приехавших — и Черткова и Бирюкова. Чертков — длинный, худощавый, бледный человек, во всей его фигуре как будто что-то мертвенное, сухое. Такие бывают пасторы у немцев. Я слушал, как он говорил с Львом Николаевичем — скука! «Два старика», оказывается, цензурой запрещены. Лев Николаевич стал придумывать, куда бы их послать.

— В «Вестник Европы» или в «Русскую мысль»? Куда, Иван Михалыч, по-вашему? — вдруг он спросил меня, точно я и в самом деле мог ему посоветовать.

Я почему-то сказал, что в «Русскую мысль» лучше.

— Нет, лучше, по-моему, в «Ниву» — у ней огромный круг читателей, и есть средства. В «Северном вестнике» боюсь — они, пожалуй, бедны средствами, а мне обыкновенно платили по пятьсот рублей за лист... [39]

Наставал срок моего отъезда, и мы, молодежь, на прощанье пошли гулять — ходили по парку, аллеям, на пруд; погода стояла чудесная.

Часов около двенадцати я с гуляющими распростился и пошел спросить, готова ли лошадь. Смотрю, навстречу Лев Николаевич, графиня, Чертков, Бирюков,— вышли тоже прогуляться.

— Вы идете на конюшню, постойте, пойду и я,— сказал Лев Николаевич,— а то кучера теперь спят, и вы не добьетесь толку.

Мы было пошли, но как раз послышался стук подъезжавшего экипажа. Я забрал свои вещи, попрощался — со Львом Николаевичем мы даже расцеловались — и утром был уже в Москве. ⟨...⟩

* глупые (*франц.*).

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

(Поместье графа Л. Н. Толстого)

⟨...⟩ Давно не видя графа, я тем не менее сразу узнал его — по живым ласково-задумчивым глазам и по всей его сильной и своеобразной фигуре, так художественно схоже изображенной на известном портрете Ив. Н. Крамского. Помню, как на Парижской всемирной выставке, восемь лет назад, в отделе русской живописи, все любовались этим портретом, где граф Л. Н. Толстой написан с длинной темно-русой бородой и в темной, суконной рабочей блузе. С такой же бородой и в такой же точно блузе я увидел графа и теперь. Ему в настоящее время пятьдесят семь лет, но никто, несмотря на седину, проступившую в его окладистой, красивой бороде, не дал бы ему этих годов. Лицо графа свежо; его движения и походка живы, голос и речь звучат юношеским жаром.

При входе в яснополянский дом невольно вспоминаются всем известные картины «Детства» и «Отрочества» его владельца: его покойная мать, в голубой косыночке, живший здесь когда-то его учитель Карл Иванович, с хлопушкой на мух, дворецкий Фока, ключница Наталья Савишна и ее сундуки, с картинками внутри крышек, дядька Николай, с сапожной колодкой, учительница музыки Мими и юродивый Гриша, за ночной трогательной молитвой которого дети, с испугом и умилением, однажды наблюдали из темного чулана.

Граф провел меня через переднюю часть своего кабинета за перегородку из книжных шкафов. Мы сели у его рабочего стола,— он на своем обычном, рабочем кресле, я — на другом кресле, против него, за столом, оба закурили папиросы и стали беседовать.

Опишу вкратце кабинет графа.

Это светлая высокая и скромно убранная комната, аршин 12 длины и около 6-ти аршин ширины. Два больших книжных шкафа, из лакированной, белой березы, разделяют эту комнату пополам — на нечто вроде приемной и уборной графа и на его рабочий кабинет. Окна и стеклянная дверь этой комнаты выходят на невысокое садовое, покрытое каменными плитами, крыльцо. Мебель в обеих половинах — старинная и, очевидно, не только отцовская, но и дедовская.

В приемной — мягкий, широкий и длинный диван, покрытый зеленой клеенкой, с зеленой сафьяновой подушкой. Перед диваном — круглый стол, с грудой разбросанных на нем английских, немецких и французских книг. У стола и возле стен — с полдюжины кресел. На этажерке — опять книги. Между дверью в сад и окном — умывальный стол. Вправо от окна, в углу, березовый комод с зеркалом. Над ним — оленьи рога, с брошенным на них полотенцем. На задних стенах книжных шкафов висят разные вещи — верхнее платье, коса для кошения травы и круглая мягкая шляпа графа. В углу, за этажеркой, несколько простых, необделанных, с суковатыми ручками, палок для прогулки. Стена над диваном увешана коллекцией гравированных, фотографических и акварельных портретов родных и знакомых графа,— его жены, отца, братьев, старшей дочери и друзей. Между последними — фотографическая группа Левицкого, с портретами Григоровича, Островского и др. [1] и отдельные портреты Шопенгауэра, А. А. Фета, Н. Н. Страхова и других. В стенной нише — гипсовый бюст покойного старшего брата графа, Николая. На окне разбросаны сапожные инструменты; под окном — простой, деревянный ящик, с принадлежностями сапожного мастерства, — колодками, обрезками кожи и пр.

В рабочем кабинете, за перегородкой, направо — железная кровать с постелью для гостей. Полки березовых шкафов, с стеклянными дверцами, обращенными в эту часть комнаты, снизу доверху уставлены старыми и новейшими, иностранными и русскими изданиями. За рабочим креслом графа, в большой стенной нише, — открытые полки, с подручными книгами, справочниками, словарями, указателями и пр. Остальные свободные стены этой части комнаты также заняты полками с книгами. Здесь, как и в шкафах и в нише, виднеются, — в старинных и

новых переплетах и без переплетов, — издания сочинений Спинозы, Вольтера, Гете, Шлегеля, Руссо, почти всех русских писателей, затем — Ауэрбаха, Шекспира, Бенжамена-Констана, де Сисмонди, Иоанна Златоуста и других, иностранных и русских, духовных и светских мыслителей. Жития святых «Четьи-Минеи»[2], «Пролога»[3], — перевод на русский язык «Пятикнижия» Мандельштамма, еврейские подлинники «Ветхого завета» и греческие тексты «Евангелия», — «Мировоззрение талмудистов» с немецкими, французскими и английскими комментариями, — уставлены на полках, рядом с известными русскими проповедниками и русскими и иностранными, духовно-нравственными, дешевыми изданиями для народа.

Простой письменный стол графа, аршина два длины и в аршин ширины, покрытый зеленым сукном и обведенный с трех сторон небольшой решеткой, известен обществу по новейшему, прекрасному портрету графа, работы профессора Н. Н. Ге. На этом портрете, бывшем на передвижной выставке, граф изображен пишущим за этим именно столом. Справа и слева чернильницы разбросаны рукописи, книги и брошюры. Здесь лежат — «Новый завет» в греческом переводе Тишендорфа и новейшее издание еврейского подлинника Библии. На окне — несколько портфелей, с рукописями, и опять книги.

Верх окна прикрыт зеленой шерстяной занавеской. Перед окном — лужайка, с клумбами еще свежих, не тронутых морозом цветов. За цветником — столб, с веревками для так называемой игры «гигантские шаги». Кучка яснополянских ребятишек, свободно проникая в сад, бегает в эту минуту у названного столба.

Из окна — вид на сад, спускающийся к пруду, и на живописные окрестности. Вправо из окна — виднеются вершины густой, березовой аллеи, по которой дорога поднимается к дому. Влево — аллея из старых, громадных лип. Прямо — просторный, гладкий скат к пруду, у которого красиво зеленеет несколько высоких, живописно разбросанных елей. Между липовою и березовою аллеями, за низиной, в которой прячется пруд, вид на шоссе, на дальние поля, холмы и голубоватые леса, а между холмами и лесами — на полосу железной дороги, по которой время от времени взвивается дым и проносятся московско-курские поезда.

У этого окна, в дедовском кресле, работы XVIII века, с узенькими, ничем не обитыми подлокотниками и с по-

тертой зеленой, клеенчатой подушкой, граф Л. Н. Толстой писал свои знаменитые произведения. Здесь, на этом простом столе, днем, поглядывая на синеющую даль, а вечером и ночью — при свечах, в старинных, бронзовых подсвечниках,— он писал историю Наташи Ростовой, Андрея Болконского и Пьера Безухова. Здесь же он рассказывал поэму любви Кити Щербацкой и Левина, рисовал образы Вронского и Стивы Облонского, набрасывал очерки лошади Фру-Фру и собаки Ласки и с такою глубиною рассказал полную трагизма судьбу Анны Карениной.

Беседу с графом о прошлом и настоящем прерывает, вбегая, красивая, рыжая, легавая собака. Она ложится у ног хозяина.

— Это не Ласка? — спрашиваю я, вспоминая Анну Каренину.

— Нет, та пропала; эта охотится с моим старшим сыном.

— А вы сами охотитесь?

— Давно бросил, хотя хожу по окрестным полям и лесам каждый день... Какое наслаждение отдыхать от умственных занятий, за простым физическим трудом! Я ежедневно, смотря по времени года, копаю землю, рублю или пилю дрова, работаю косою, рубанком или иным инструментом.

Я вспомнил о ящике, с сапожными колодками, под окном приемной графа.

— А работа с сохой!— продолжал граф,— вы не поверите, что за удовольствие пахать! Не тяжкий искус, как многим кажется,— чистое наслаждение! Идешь, поднимая и направляя соху, и не заметишь, как ушел час, другой и третий. Кровь весело переливается в жилах, голова светла, ног под собой не чуешь; а аппетит потом, а сон? Если вы не устали, не хотите ли пока, до обеда, прогуляться, поискать грибов? Недавно здесь перепали дожди; должны быть хорошие белые грибы.

— С удовольствием,— ответил я.

Граф надел свою круглую, мягкую шляпу и взял лукошко; я тоже надел шляпу и выбрал одну из палок за этажеркой. Мы, без пальто, вышли с переднего крыльца, невдали от которого, у ворот на черный двор, стоял станок для гимнастики.

— Это также для вас? — спросил я графа, указывая на станок.

— Нет, это для младших моих детей; у меня здесь другие упражнения,— ответил он, поглядывая на ворота, где виднелась груда свеженарубленных дров.

Не удивительно, что, при постоянном физическом труде, граф так сохранил свое здоровье. Этому, в значительной степени, помогло и то обстоятельство, что большую часть своей жизни Л. Н. Толстой провел в деревне. Лишившись в ранние годы матери, урожденной княжны Волконской, он 9 лет от роду, в 1837 году, был увезен в Москву, в дом бабки, потом опять жил в деревне, в 1840 году поступил в Казанский университет [4], где был по восточному, затем по юридическому факультету, с 1851 по 1855 год провел в военной службе на Кавказе, на Дунае и в Севастополе и с 1861 года, почти безвыездно, живет в Ясной Поляне. Из 57 лет он, следовательно, более 35 лет провел в деревне.

Пройдя через смежный с усадьбой молодой плодовый сад, посаженный графом, мы вышли в поле и направились в ближний лес. От этого леса, за небольшим ручьем, виднелись другие лески и поляны. От одной лесной чащи, то взгорьем, то долинкой, мы переходили к другой, останавливаясь и разговаривая. Солнце выглянуло и опять спряталось за легкие, пушистые облачка. Свежий воздух был напоен лиственным, влажным запахом. Золотившийся лист медленно сыпался с деревьев. Ни одна ветка не шелохнулась в безветренной тишине.

Я шел рядом с графом, любуясь его легкою походкой, живостью его речи и простотою и прелестью всей его так сохранившейся могучей природы. «Боже мой,— думал я, глядя на него и слушая его, — его прославили потерянным для искусства, мрачным, сухим отшельником и мистиком... Посмотрели бы на этого мистика!»

Граф с сочувствием говорил об искусстве, о родной литературе и ее лучших представителях. Он горячо соболезновал о смерти Тургенева, Мельникова-Печерского и Достоевского. Говоря о чуткой, любящей душе Тургенева, он сердечно сожалел, что этому, преданному России, высокохудожественному писателю пришлось лучшие годы зрелого творчества прожить вне отечества, вдали от искренних друзей и лишенному радостей родной, любящей семьи.

Это был независимый, до конца жизни, пытливый ум, — выразился граф Л. Н. Толстой о Тургеневе. — И я, несмотря на нашу когда-то мимолетную размолвку, все-

гда высоко чтил его и горячо любил. Это был истинный, самостоятельный художник, не унижавшийся до сознательного служения мимолетным потребам минуты. Он мог заблуждаться, но и самые его заблуждения были искренни.

Наиболее сочувственно граф отозвался о Достоевском, признавая в нем неподражаемого психолога-сердцеведа и вполне независимого писателя, самостоятельных убеждений которому долго не прощали в некоторых слоях литературы [5], подобно тому как один немец, по словам Карлейля, не мог простить солнцу того обстоятельства, что от него, в любой момент, нельзя закурить сигару [6].

Коснувшись Гоголя, которого Лев Николаевич в своей жизни никогда не видел, и ныне живущих писателей, Гончарова, Григоровича и более молодых, граф заговорил о литературе для народа.

— Более тридцати лет назад,— сказал Лев Николаевич, — когда некоторые нынешние писатели, в том числе и я, начинали только работать,— в стомиллионном русском государстве грамотные считались десятками тысяч; теперь, после размножения сельских и городских школ, они, по всей вероятности, считаются миллионами. И эти миллионы русских грамотных стоят перед нами, как голодные галчата, с раскрытыми ртами, и говорят нам: господа, родные писатели, бросьте нам в эти рты достойной вас и нас умственной пищи; пишите для нас, жаждущих живого, литературного слова; избавьте нас от всех тех же лубочных Ерусланов Лазаревичей, Милордов Георгов и прочей рыночной пищи. Простой и честный русский народ стоит того, чтобы мы ответили на призыв его доброй и правдивой души. Я об этом много думал и решился, по мере сил, попытаться на этом поприще...[7]

Мы стали возвращаться из леса, где граф рассчитывал найти много хороших, белых грибов и где они уже отошли.

— Как тепло и как пахнет листвой! — сказал он, подходя к ветхому, полуразрушенному мостику через узкий ручей,— удивительная сила непосредственных впечатлений от природы. И как я люблю и ценю художников, черпающих все свое вдохновение из этого могучего и вечного источника! В нем единая сила и правда.

При этих словах графа я вспомнил его рассказ «Севастополь в мае 1855 года». «Герой моей повести,— сказал в заключении этого рассказа Лев Николаевич,— кото-

рого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен — *правда*».

Мы разговорились о различных художественных приемах в литературе, живописи и музыке.

— Недавно мне привелось прочесть одну книгу,— сказал, между прочим, граф Лев Николаевич, останавливаясь перед бревнышками, перекинутыми через ручей.— Это были стихотворения одного умершего, молодого испанского поэта. Кроме замечательного дарования этого писателя, меня заняло его жизнеописание. Его биограф приводит рассказ о нем старухи, его няни. Она, между прочим, с тревогой заметила, что ее питомец нередко проводил ночи без сна, вздыхал, произносил вслух какие-то слова, уходил при месяце в поле, к деревьям, и там оставался по целым часам. Однажды, ночью, ей даже показалось, что он сошел с ума. Молодой человек встал, приоделся впотьмах и пошел к ближнему колодезю. Няня за ним. Видит, что он вытащил ведром воды и стал ее понемногу выливать на землю; вылил, снова зачерпнул и опять стал выливать. Няня в слезы: «спятил, малый, с ума». А молодой человек это проделывал с целью — ближе видеть и слышать, как в тихую ночь, при лунном сиянии льются и плещутся струйки воды. Это ему было нужно для его нового стихотворения [8]. Он в этом случае проверял свою память и заронившиеся в нее, поэтические впечатления — тою же природой, как живописцы, в известных случаях, прибегают к пособию натурщиков, которых они ставят в нужные положения и одевают в необходимые одежды. Читая своих и чужих писателей, я невольно чувствую, кто из них верен природе и взятой им задаче и кто фальшит. Иного модного и расхваленного, особенно из иностранных, не одолеешь, с первой страницы, как ни усиливаешься. Даже угроза телесным наказанием, кажется, не могла бы заставить меня прочесть иного автора. ‹...›

Мы приближались обратно к усадьбе, мимо молодых, собственноручных насаждений графа. Красивые, свежие деревца яблонь и груш, с круглыми и сильными кронами ветвей, стояли в шахматном порядке на обширной плантации, невдали от усадьбы. Крестьянские девочки, с серпами в руках, копались над чем-то в бурьяне, у соседних хлебных скирд. Граф разговорился с ними, называя каждую по имени.

— Знаете ли, что они делают? — спросил он,— жнут крапиву, для обставки на зиму стволов плодовых деревьев; это лучшее средство против зайцев и мышей, которые не любят крапивы и бегут даже от ее запаха.

Вот и дом. Я взглянул на часы. Мы провели в прогулке около трех с половиной часов и прошли пешком не менее шести-семи верст. Граф после такого движения смотрел еще более молодцом и, казалось, был готов идти далее. Но был уже шестой час: жена графа, Софья Андреевна, возвратилась из Тулы, куда возила на почту просмотренные графом и ею корректуры нового полного собрания его сочинений, и нас ждали обедать.

— Вы не устали? — спросил Лев Николаевич, весело посматривая на меня и бодро всходя, по внутренней лестнице, в верхний этаж своего дома.— Для меня ежедневное движение и телесная работа необходимы, как воздух. Летом в деревне на этот счет приволье; я пашу землю, кошу траву; осенью, в дождливое время,— беда. В деревнях нет тротуаров и мостовых,— в непогоду я крою и тачаю сапоги. В городе тоже одно гулянье надоедает; пахать и косить там негде,— я пилю и рублю дрова. При усидчивой, умственной работе, без движения и телесного труда, сущее горе. Не походи я, не поработай ногами и руками, в течение хоть одного дня, вечером я уже никуда не гожусь; ни читать, ни писать, ни даже внимательно слушать других; голова кружится, а в глазах — звезды какие-то, и ночь проводится без сна.

В московском, недавно купленном своем доме (в Долгохамовническом переулке) Лев Николаевич обыкновенно с утра сам рубит для печей дрова и, вытащив воды из колодца, подвозит ее в кадке на санях к дому и к кухне.

— А досужие-то вестовщики, свои и чужие, в особенности свои? — подумал я, слушая эти простые откровения знаменитого писателя.— Чего они не наплели? и литературу-то он оставил, для шитья платьев и сапогов, и якшается с чернью, под видом рубки дров на Воробьевых горах!

Верхний этаж яснополянского дома занят семейным помещением и столовою графа. По деревянной лестнице, на средней площадке которой стоят старинные, в деревянном футляре, английские часы, мы поднялись направо в зал. Здесь у двери стоит рояль, на пюпитре которого

лежат раскрытые ноты «Руслана и Людмилы». Между окон — старинные, высокие зеркала, с отделанными бронзой подзеркальниками. Посредине залы — длинный, обеденный стол. Стены увешаны портретами предков графа. Из потемнелых рам глядят, как живые, представители восемнадцатого и семнадцатого веков, мужчины — в мундирах, лентах и звездах, женщины — в робронах, кружевах и пудре. Один портрет особенно привлекает внимание посетителя. Это портрет, почти в рост, красивой и молодой монахини, в схиме, стоящей в молитвенной задумчивости перед иконой. На мой вопрос граф Лев Николаевич ответил, что это изображение замечательной по достоинствам особы, жены одного из его предков, принявшей пострижение, вследствие данного ею обета богу [9]. В комнате графини, смежной с гостиною, мне показали превосходный портрет Льва Николаевича, также работы И. Н. Крамского. Этим портретом семья Льва Николаевича особенно дорожит.

Вошла жена графа; возвратился с охоты его старший сын, Сергей, кончивший в это лето курс в Московском университете и несколько дней назад приехавший из самарского имения отца; собралась и остальная, наличная семья графа: взрослая, старшая дочь Татьяна, вторая дочь Мария и младшие сыновья [10]. Все, в том числе и маленькие дети, сели за обед. Всех детей у графа ныне восемь человек (второй и третий его сыновья в мой заезд в Ясную Поляну находились в учении в Москве; младший ребенок, сын, скончался в минувшем январе) [11]. Нежный, любящий муж и отец, граф Лев Николаевич среди своих взрослых и маленьких, весело болтавших детей невольно напоминал симпатичного героя его превосходного романа «Семейное счастие». Скромный в личных привычках, Лев Николаевич ни в чем не отказывает своей семье, окружая ее полной, нежной заботливостью. Занятия по домашнему хозяйству разделяют, между прочим, с графиней и старшие дети графа.

Когда-то наша критика назвала великого юмориста-сатирика Гоголя русским Гомером. Если кого из русских писателей можно действительно назвать Гомером, так это, как справедливо заметил А. П. Милюков, графа Л. Н. Толстого. В «Илиаде» воспет воинственный образ древней Греции, в «Одиссее» — ее мирная, домашняя жизнь. Граф Л. Н. Толстой в поэме «Война и мир» одновременно изобразил бурную и тихую стороны русской

жизни. Но главная сила графа Л. Н. Толстого — в изображении мирных, семейных картин. В отдельных главах «Войны и мира» и «Анны Карениной» и в целом романе «Семейное счастие» он является истинным и могучим поэтом тихого, семейного очага [12].

Начало вечера было проведено в общей беседе. Подвезли со станции продолжение корректур нового издания графа. Его жена занялась их просмотром. Мы же с Львом Николаевичем спустились вниз, в его приемную. На мой вопрос он с увлечением рассказывал о своих занятиях греческим и еврейским языками,— благодаря чему он в подлиннике мог прочесть Ветхий и Новый Завет,— о новейших исследованиях в области христианства и пр. Зашла речь об «истинной вере, фанатизме и суеверии». Суждения об этом Льва Николаевича не новость, они проходят и отражаются по всем его сочинениям, еще с его «Юности» и исповеди Коли Иртеньева. Коснувшись современных событий, граф говорил о последней восточной войне, о крестьянском банке, податном, питейном и иных вопросах и снова — о литературе [13]. Мы проговорили за полночь ⟨...⟩...

Л. Е. ОБОЛЕНСКИЙ

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ И ХАРАКТЕРИСТИК»

Во второй раз я был у Толстого летом, и тут мне пришлось видеть, как страстно он любил своих детей, хотя теоретически тогда же развивал мне мысль, что любить следует «детей по духу», а не по плоти. Но, видимо, от этой «привычки» труднее отвыкнуть, чем от куренья!

Дело было так: Толстой был предупрежден о моем приезде и ждал меня, поэтому я был очень удивлен, когда, приехав к нему в назначенный час, не застал его дома. Я сказал об этом лакею и назвал свою фамилию.

— А вас Лев Николаевич просил или немножко обождать их, или, если вам угодно, пойти им навстречу: они здесь недалеко ходят вон по тому переулку,— лакей указал.

— Что это значит? — спросил я.

— А молодой графине [1] профессор Склифасовский делает операцию сегодня. Так Лев Николаевич очень беспокоились, что долго не возвращаются, не утерпели и пошли в тот переулок: оттуда видна дорога...

Я пошел навстречу Толстому, думая о том, что, быть может, в этой тревоге ему будет легче не оставаться одному. Но он уже входил на крыльцо, очень обрадовался мне, рассказал, чем встревожен, пояснил, что операция — самая ничтожная, нужно срезать какую-то опухоль величиной с горошину, но что это все же его очень беспокоит: «Долго не едут! Но ждать там еще хуже! — прибавил он.— Ну, что новенького?»

Я передал ему письмо, но он не стал читать его. Как он объяснил мне после, волнение помешало бы ему прочесть письмо с удовольствием, так как письмо было от человека, которого он очень любил.

— Сядем пока вот здесь,— сказал Лев Николаевич, вводя меня в комнату младшего сына, которая была рядом с прихожей, выходила окнами на двор, и, следовательно, из нее можно было еще издали услышать треск экипажа, когда дочь будет возвращаться. Окно на двор было открыто. Толстой слушал меня и сам говорил очень внимательно, но внутренняя тревога сказывалась в его побледневшем лице, в глазах, которые часто обращались к окну, наконец, в напряженности, с какой он постоянно прислушивался к отдаленным звукам.

— Едут! — вдруг вскрикнул он и, как мальчик, вскочил и побежал на двор, а затем и на улицу.

Через несколько минут он вернулся сияющий, счастливый.

— Все кончилось благополучно! — сказал он мне.— Да и операция была самая пустая. Вы уж извините меня, что я так неожиданно вас покинул. Знаете ли что? Я так обрадован этим счастливым окончанием операции, что не могу сидеть на месте. А вечер отличный! Хотите, пойдем в «Нескучный». Он в нескольких шагах от меня, если переехать на лодке. Я часто туда заглядываю.

Мы вышли и скоро очутились на берегу реки. Старик лодочник знал Льва Николаевича, и они перекинулись несколькими приветствиями.

— Вот теперь я прочту письмо,— сказал Лев Николаевич и тут только объяснил мне причину, почему не читал его раньше.

Действительно, оно его порадовало. Он даже прочел мне вслух некоторые отрывки. Конверт сдунуло с его колен легким ветерком, и он поплыл по воде. Лев Николаевич сделал было движение поймать его, но потом улыбнулся и сказал:

— Ну, это не важно! Он уже намок!

Мы вышли на противоположный берег и скоро были в «Нескучном», с его тенистыми аллеями. Толстой говорил, что последние дни редко бывает дома, посещая в тюрьме заключенных (из молодежи), на что получил разрешение [2]. Он находил их весьма интересными и некоторых необыкновенно симпатичными. Рассказывал, как не однажды ему приходилось заговариваться с ними дольше установленного срока. Во время этой именно прогулки он развивал мне мысль о том, что следует больше любить детей по духу, чем по плоти. Тут же я услышал от него замечательную мысль, которую, по его словам, он нашел

у Мэтью Арнольда: «Тот не истинный христианин, кто любит Христа больше истины» [3]. Он хотел этим сказать, что христианство есть вечная истина, никогда не иссякающая, что эта истина может принимать новые формы, новые детальные видоизменения, но через это основная сущность этой истины будет только больше и больше раскрываться и уясняться.

В его словах было что-то мечтательное, милое, нежно-поэтическое, чего я прежде никогда не замечал в нем. Он совсем не принадлежит к мечтательным и мягким характерам. Но на этот раз проявилась способность его богатой природы к этому настроению: ведь это был особенный день, когда благополучно окончилась его тревога, когда он получил письмо от милого, хорошего человека. Наконец, была чудная весна, соловьи пели кругом.

— Будем здесь пить чай,— сказал Лев Николаевич, когда мы достаточно нагулялись и наговорились и даже немножко устали. — Здесь есть самоварницы, и у одной я частенько пью здесь чай. Очень интересная старушка.

Он повел меня в тот уголок сада, где были самоварницы, и угостил меня чаем, который мне, конечно, показался самым вкусным, какой только я когда-нибудь пил в своей жизни...

Мы возвратились домой, когда уже начинало темнеть... На другой день я опять был у Льва Николаевича. Вместе со мной пришел известный художник Прянишников. Приняли нас двое из детей Толстого, сообщив, что он оканчивает корректуру отдельного издания «Анны Карениной» [4] и сейчас выйдет.

— Обыкновенно эти корректуры просматривает мама́,— говорили молодые хозяева, занимая нас разговорами,— но сегодня пришлось их делать самому отцу, а мама̀ поехала ко всенощной.

Скоро вышел и Лев Николаевич. Он улыбнулся и сказал полушутя:

— Вот сейчас должен был поневоле корректировать свою «Анну Каренину» и все время думал: и какой это дурной человек (Толстой выразился гораздо резче) написал такую гадость!

Мы, конечно, протестовали, но он в том же шутливом роде рассказал нам в виде доказательства разговор с ним одной московской барыни, и даже своей дальней родственницы:

— Ах, как я вам благодарна, Лев Николаевич,— говорила она,— за вашу «Анну Каренину»! Я всегда была самого дурного мнения о влиянии высшего света на молодых девушек! Я не хотела их вывозить до тех пор, пока они не установятся в своих взглядах и привычках. Но когда прочла ваш роман, я совершенно изменила свое мнение и хочу вывозить их нынешней зимой...

Он громко засмеялся и снова спросил нас:

— Ну, разве я не прав был, сказав, что этот роман написал очень дурной человек?

С той же ласковой шутливостью он заговорил о том, что жена его недавно возила причащать их маленькую дочку, еще не умеющую говорить, и тут же вспомнил, что Прянишников превосходно рассказывает о некоем «Пьере», явившемся в первый раз причащаться.

— Вы не слыхали этого анекдота? — спросил он у меня, и когда я ответил, что не слыхал, он упросил Прянишникова рассказать еще раз об этом Пьере.

Действительно, Прянишников рассказывал превосходно, передразнивая шепелявую речь светского франтика, в первый раз попавшего в божий храм и делающего беспрестанно бестактные и смешные вопросы и замечания.

— И, право, это не карикатура! — сказал уже серьезно Толстой.— У большинства этих шалопаев их религиозность не далеко ушла от этой!

Через несколько минут Лев Николаевич заявил, что в такой вечер жаль сидеть в комнате, и повел нас в сад.

Здесь мы долго ходили по густой аллее, причем Толстой, увлекаясь разговором, иногда шел, повернувшись спиной вперед, и один раз чуть не упал, запнувшись за дерновый бордюр дорожки.

Я не решаюсь передать здесь чисто литературной части этого разговора, в которой Лев Николаевич делал меткую оценку и характеристику некоторых современных писателей. Быть может, он не желал бы, чтобы его мнения об этом были напечатаны.

Я спросил его мнение о Золя, и он сознался, что после «Нана», которой не мог дочитать, так как она возмутила его, он не читает этого романиста. Я похвалил ему углекопов[5], сказав, что со времени «Нана» многое изменилось в романах этого писателя. Толстой выразил живое намерение прочесть новый роман.

Вот после этого я видел во второй раз, как плачет этот удивительный человек [6]. Он стал нам рассказывать самый простой случай. Есть у них в деревне лужок, где много фиалок, и вот он со своей семьей собирал эти фиалки. В это время прошел нищий мальчик-крестьянин с пустым мешком на плече. «Прошло, не знаю, сколько времени,— продолжал Толстой,— но, должно быть, немало. И вот мы увидели опять того же мальчика. Он возвращался обратно, маленький, истощенный, усталый. Мешок его был наполнен ломтями хлеба, собранными по деревням. Он изгибался под его тяжестью и едва передвигал ноги! А мы все это время фиалки собирали!»

Крупные слезы покатились по его лицу. Он смолкнул, и долго мы ходили по аллее молча, не решаясь нарушить его молчаливой грусти. Какая огромная яркость и живость впечатлений должна быть у этого человека! И какая сила чувства, какая нервность!

В последний раз я был у Льва Николаевича в Ясной Поляне осенью проездом с юга.

Поезд приходит на станцию очень рано. За мной была выслана лошадь из усадьбы, вследствие моей телеграммы, и я приехал в то время, когда все еще спали.

Усадьбу Льва Николаевича описывали несколько раз, а потому я не буду вдаваться в подробности. При въезде в парк и аллею, ведущую к дому, стоит беленький каменный домик для сторожа. Огромный парк. Большой двухэтажный дом в конце аллеи, с площадками перед ним. На одной из них столб для гигантских шагов. Вдали, через боковую аллею, виден другой такой же дом, где в то время гостила семья близких родственников Льва Николаевича.

Меня встретил еще в аллее маленький, худощавый человечек, в крылатке и широкой черной пуховой шляпе. Он сказал мне свою фамилию и протянул руку, как старому знакомому, но я знал о нем только по слухам.

— В доме все еще спят,— сказал он,— и комнаты для гостей все заняты: вчера приехали П. И. и В. Н. (он назвал наших общих хороших знакомых). Вас Лев Николаевич просил поместить в павильоне.

И он велел кучеру повернуть к павильону, а сам присел со мной на таратаечку, которая была за мной выслана.

—А мы получили ваше письмо из Н., но, знаете, Лев Николаевич ничего не мог сделать для этих крестьян. Мы

долго думали об этом. Если бы он написал к высшим властям или в газеты, то это было бы косвенным насилием. А мы не можем действовать даже косвенным насилием. Быть может, Лев Николаевич напишет самому Анастасьеву, чтобы воздействовать на его нравственные чувства [7].

Павильон оказался прелестным деревянным домиком, с огромными окнами. «Здесь иногда занимается Лев Николаевич»,— сказал мне мой новый знакомый. Он еще несколько минут поговорил со мною, а затем, заметив, что я дремлю, ушел. Мне была приготовлена постель, и я уснул как убитый. Проснулся я от стука в дверь и звучного голоса, в котором сейчас же узнал голос Льва Николаевича:

— Пора вставать! Вот как вы заспались, а мы уже давно на ногах!

Я отпер дверь, и в комнату вошел Лев Николаевич с Бирюковым и Чертковым.

Поговорив немного, они вышли, чтобы я мог умыться и переодеться к завтраку.

— Вы найдете нас здесь же недалеко, в аллее.

Когда через несколько минут я вышел в аллею, там оставались только П... и Чертков, а Лев Николаевич стоял около дома, под большим деревом, с пожилым крестьянином и внимательно его слушал. Меня удивило, что крестьянин стоял без шапки, но и Лев Николаевич стоял с открытой головой, и шляпы я не видал в его руках.

Во время завтрака, на котором присутствовала вся семья, кроме графини, которая еще утром уехала в Тулу, в прекрасной коляске, запряженной парою превосходных лошадей,— я узнал в первый раз, что Лев Николаевич стал вегетарианцем. Этому примеру последовала только вторая его дочь. Остальная семья имела обыкновенный мясной стол.

Во время завтрака зашел разговор о моем письме, упомянутом выше. Лев Николаевич настаивал, что не следует заступаться за крестьян теми способами, какие предлагал я. Мне было очень горько за крестьян и досадно, что он ничего не сделал, увлекаясь в то время «непротивлением злу». У меня сорвалась фраза, о которой, впрочем, я не жалею, хотя и было неловко сказать ее при всех.

— Если вы видите,— сказал я,— что кто-нибудь мучит собаку, вы не станете задумываться, а броситесь

отнять ее или освободить каким-нибудь образом. А ведь тут дело идет о людях, а не о собаках!

Он ничего не сказал. Но я знаю, что мало-помалу, под влиянием многих фактов, поражавших его чуткое, великое сердце, он перестал следовать этому принципу с прежним ригоризмом. Однако это не значит, что он отказался от него. Он только примирил его с требованиями сердца и действительных человеческих страданий.

После завтрака мы сошли вниз, в его рабочую комнату, выходившую и в сад большой стеклянной дверью. В одном из ее углов стоял сжатый сноп; тут же стояли коса, грабли... Лев Николаевич предложил нам отправиться за грибами, которых теперь много в лесу. Мы вооружились палками и корзинками.

Дорогой шел разговор на разные темы, но главным образом о «непротивлении злу насилием». Я высказывал мнение, что это правило может быть только «идеалом», то есть путеводной звездой, с которой постоянно нужно справляться, но что перенести ее немедленно в практическую жизнь невозможно.

Кажется, мои возражения раздражали Толстого. Он смотрел на меня сурово и сухо, а один раз, когда я невольно перебил его каким-то замечанием, он сурово посмотрел на меня и продолжал речь, не ответив на мои слова.

Грибы он собирал замечательно: у него была уже полная корзина, у меня только половина, а у наших спутников, особенно у Черткова, лишь несколько штук.

Лев Николаевич сообщил нам, что лес, в котором мы были, «насажен» им. При этом он побранил себя за это, как и тогда, когда бранил себя за то, что написал «Анну Каренину».

К концу нашей прогулки он опять стал ласков со мной. Быть может, этому помогло мое уменье собирать грибы, показавшее, что я совсем не такой «петербуржец», как иногда утверждал он.

Лев Николаевич расспрашивал о том, что я видел во внутренних губерниях и Малороссии, что делают там земства и т. п. Мне было грустно, что ко всему этому, а также и к школам он относился почти отрицательно. Особенно мне было горько за народное образование, которым он так горячо занимался когда-то и у себя в Ясной Поляне, и в окружающей местности.

Мне было больно, что этот гениальный человек, который мог сделать такую массу добра, оказывать огромное влияние на действительность, оторвался от этой действительности, от ее практических условий. Он сам связал себе руки своими идеалами и принципами, которые на каждом шагу мешали свободным движениям его сердца. И я понимал, что ему трудно, почти невозможно возвратиться на путь живой, практической работы: он чересчур резко нападал на многих с точки зрения своих абстракций и успел восстановить против себя такую массу людей, что практическое, живое влияние было уже невозможно для этой могучей силы. Она сама устроила китайскую стену между собой и жизнью.

И все время мне казалось, что в этом виноват не он, что он увлекался многим, как художник, и говорил обо многом, как художник. Иногда это делалось под чужим и временным влиянием людей маленьких, узких, односторонних, но фанатических. Пораженный их фанатическим жаром, он увлекался ими, но затем переходил к новому, обобщал, объединял, как пчела, делающая мед из тысячи цветов. Но многие этого не понимали, ловили его слова, возводили их в самую суть его взглядов и стремлений и этим загнали его сами в узенькие рамки, в тесную перегородку, которой без этого не вынесла бы его гениальная натура. Я уже сказал, что он постоянно шел вперед в своих взглядах, ум его становился все покойнее, реальнее. Я опускаю мои последние встречи с ним, но они показали мне с бесспорной очевидностью беспредельный прогресс в его идеях от схоластического мистицизма к самому реальному, гениально-простому и глубокому миросозерцанию. ⟨...⟩

ДЖОРДЖ КЕННАН

В ГОСТЯХ У ГРАФА ТОЛСТОГО

Я посетил русского романиста графа Льва Толстого во второй половине июня 1886 года. Мысль побывать у Толстого возникла у меня почти за год до этого в одном из рудников Восточной Сибири. Об этом просили меня некоторые друзья и знакомые графа Толстого, которых я встретил на каторжных работах в диких просторах Забайкалья. Впервые я узнал о том, что среди политических ссыльных в нерчинских рудниках находятся друзья и знакомые Толстого, когда меня попросили передать экземпляр его «Исповеди» одному из них, женщине, отбывавшей двенадцать лет каторжных работ в рудниках Кары [1]. «Исповедь» была запрещена церковным цензором. Ее публикация и распространение в России полностью запрещены, а экземпляр, который меня просили передать, был рукописным. Я не знаю, каким образом, несмотря на бдительность цензоров, судебных следователей, официальных досмотрщиков, жандармов и полицейских, несмотря на постоянные обыски, этот трактат попал в отдаленную восточносибирскую деревню, где мне вручали его. Этот факт служил молчаливым, но убедительным доказательством тщетности репрессивных мер, направленных против человеческой мысли. Он показывал, что правительство было не в состоянии утаить запрещенную книгу даже от политических ссыльных, живущих под строгой охраной в каторжном поселении Забайкалья, в пяти тысячах миль от плодовитого ума, в котором родились запрещенные мысли.

Естественно, я согласился передать рукопись. И менее чем через три месяца я познакомился не только с женщиной, которой она предназначалась, но и со многими дру-

гими политическими ссыльными в Восточной Сибири, которые или лично знали великого русского писателя, или некогда состояли в переписке с ним[2]. Все они хотели, чтобы, вернувшись в Европейскую Россию, я побывал у графа Толстого и рассказал ему о системе ссылки и о жизни политических заключенных на рудниках и о каторжных поселениях Забайкалья. Им казалось, что он более или менее сочувствует если не их методам, то их целям и надеждам и что сведения, которые я могу передать ему, укрепят это сочувствие и, возможно, изменят его отношение к правительству от пассивного сопротивления к активному. Эта вера в возможность привлечь графа Толстого к активным противникам правительства была основана, насколько я знаю, главным образом на факте, известном даже ссыльным в Сибири, что большая часть его последних произведений была запрещена цензором. Отсюда делался вывод, что автор критикует правительство или, по крайней мере, открыто выражает свое осуждение его политических методов. Заключение, однако, было ошибочным. Если бы эти ссыльные и революционеры могли познакомиться с последними книгами и статьями Толстого, они бы сразу заметили, что эта литература подлежала запрещению скорее со стороны церковной нежели гражданской власти и что краеугольный камень религиозной и социальной философии Толстого — непротивление злу. Однако многие из этих революционеров долгие годы находились в тюрьме или ссылке. У них не было возможности близко познакомиться с изменениями во взглядах Толстого, и они были введены в заблуждение внешним сходством между его и их взглядами по отношению к собственности и социальному устройству общества, а также враждебным отношением правительства к его последним произведениям. Тем не менее они верили, что Толстой находится на грани открытого бунта и что небольшое побуждение заставит его обрушить мощь своего огромного влияния против деспотизма, который они ненавидели. Они убедительно просили меня побывать у него и рассказать ему все, что я знаю о деятельности русской администрации в Сибири и об обращении с политическими ссыльными. Кроме того, они передали мне рукопись страшного рассказа о «голодной забастовке» четырех образованных женщин в Иркутской тюрьме[3], — одна из них сестра известного русского публициста и политического экономиста В. В. Воронцова[4], — и я обещал

непременно отдать этот документ Толстому. Таким образом сложился план моего посещения великого русского писателя. ⟨...⟩

От друзей Толстого я немало слышал о его необычном платье. Мне показывали его фотографии, на которых он снят в крестьянской одежде. И все-таки я был удивлен, увидев его в легкой, совершенно неожиданной одежде.

День был жарким и солнечным. Толстой только что вернулся с работы в поле. На нем была белая нижняя рубаха без воротника и широкие, почти бесформенные, брюки из домашнего холста. На ногах — тяжелые опойковые сапоги. На нем не было ни пиджака, ни жилета, и вся его одежда, казалось, была домашнего изготовления. Но даже в этом грубом крестьянском одеянии фигура графа Толстого производила сильное и глубокое впечатление. Тяжелая крепость его осанки лишь оттенялась скудостью и простотой обыденного платья, а стальная седина его по-женски уложенных волос, с пробором посередине и зачесанных назад от висков, еще придавала силы его мужественному лицу, глубоко прокаленному солнцем полей. Черты графа Толстого лучше всего определить словами тосканцев: «сформовано кулаком и отполировано мотыгой». Он производил впечатление независимости, уверенности и несокрушимой силы. С первого взгляда нельзя сказать, что это лицо ученого или пытливого мыслителя. Скорее это лицо человека дела, привыкшего в минуту опасности поступать быстро и решительно и отчаянно драться, не полагаясь на помощь и невзирая на неравность сил. Маленькие серые глаза, глубоко спрятанные под лохматыми бровями, вспыхивали от возбуждения, как обнажаемый клинок. Большой нос, своеобразно расширенный книзу, полные, плотно сжатые губы, а подбородок и скулы, насколько они проглядывают сквозь густую седую бороду, лишь подчеркивают выразительную мужскую силу, отличающую его широкое, изборожденное морщинами лицо. ⟨...⟩

В лице графа Толстого есть нечто более прекрасное и более высокое, чем простая красота или правильность черт. Это впечатление глубокой моральной, духовной и физической силы.

Он замер на минуту на пороге, как будто удивленный видом чужого, затем быстро пошел ко мне навстречу с вытянутой рукой. И когда я в нескольких словах предста-

вился ему, он просто и от души выразил огромное удовольствие, которое, как он сказал, доставляет ему визит иностранца, особенно из Америки. Я сказал ему, что мое посещение — отчасти следствие обещания, которое я дал некоторым его друзьям и почитателям в Сибири, и отчасти желание лично познакомиться с автором, чьи книги доставили мне так много радости.

«Какие мои книги вы читали?» — спросил он быстро. Я отвечал, что читал все его произведения, включая «Войну и мир», «Анну Каренину» и «Казаки».

«Читали вы что-нибудь из моих последних сочинений?» — осведомился он.

«Нет,— сказал я,— все они или почти все появились после того, как я уехал в Сибирь».

«О! — ответил он.— Тогда вы совсем меня не знаете. Мы должны познакомиться».

В этот момент мой оборванный и замызганный возница, о существовании которого я совершенно забыл, вошел в комнату. Граф Толстой сразу поднялся, сердечно поприветствовал его, как старого знакомого, так же тепло пожал ему руку, как и мне, и с неподдельным интересом стал расспрашивать его о домашних делах и о последних новостях в Туле. Вероятно, это мелочь, но в то время я не был так хорошо знаком с социальными идеями графа Толстого, как сейчас, поэтому видеть богатого русского помещика и самого великого из живущих романистов здоровающегося за руку на правах равного с бедным, оборванным и не очень чистым возницей, которого я подобрал на улицах Тулы,— было первым из тех сюрпризов, которыми мне запомнился визит к графу Толстому. Когда возница, заботливо справившись о здоровье графини и всех детей, ушел, граф Толстой извинился и на минуту вышел в комнату, из которой он появился, оставив меня одного.

Комната, в которой я находился, была маленькой, почти квадратной и, по-видимому, служила как приемной, так и прихожей. Две стены комнаты были оштукатурены известкой, третья — представляла собой часть большой изразцовой печи, а четвертая — некрашеную деревянную перегородку с дверью, которая вела, очевидно, в библиотеку или кабинет графа Толстого. Пол был голый. Мебель старого стиля, состояла из двух или трех простых стульев, широкого дивана, или скамьи, обитой старым зеленым сафьяном, и маленького дешевого стола без скатерти. Три пары оленьих рогов были прибиты

по стенам. На одном из них висела старая шляпа с широкими полями и белая хлопчатобумажная рубашка, похожая на ту, которая была на графе Толстом. В нише, за скамьей, стоял мраморный бюст. Единственными картинами в комнате был маленький портрет Диккенса и еще один — Шопенгауэра. Трудно представить себе помещение более простое, чем эта комната. Во многих крестьянских избах в Восточной Сибири можно найти больше богатства и роскоши.

Прежде чем я успел внимательно осмотреть комнату, граф Толстой появился вновь, подпоясывая на ходу широким черным ремнем грубую серую блузу, из домотканого холста, которую он надел в соседней комнате. Затем, усевшись рядом со мной, он начал расспрашивать меня о моей поездке по Сибири, из которой я только что вернулся, и я, помня о моем обещании ссыльным, начал рассказывать ему то, что знал о русской администрации и ее обращении с политическими каторжанами. Однако, как я заметил, он не был удивлен, потрясен или возбужден моим рассказом. Толстой слушал меня внимательно, но спокойно и вспоминал не меньше меня случаев несправедливости и притеснения властей. По-видимому, он настолько хорошо был знаком с этим предметом и так глубоко осмыслил его, что теми немногими дополнительными фактами, по сути не отличающимися от уже известных ему, нельзя было изменить его точки зрения. Наконец я спросил его, не считает ли он, что сопротивление такому притеснению оправдано.

«Это зависит,— отвечал он,— от того, что понимать под сопротивлением. Если вы имеете в виду убеждение, спор, протест, я отвечу — да. Если вы имеете в виду насилие — нет. Я не думаю, что насильственное противление злу насилием оправдано при любых обстоятельствах». Затем он начал излагать ясно, красноречиво и с большим чувством, чем до сих пор, точку зрения о долге человека как члена общества, которая содержится в его трактате «В чем моя вера?» и которая еще более развита в ряде его недавно изданных книжек для крестьян. Он сделал особый акцент на учении о непротивлении злу, которое, как он сказал, близко соприкасается с учением Христа и отражает результаты человеческого опыта. Он сказал, что насилие как средство искоренения несправедливости не только не приносит пользы, но и увеличивает первородное зло, так как в природе насилия увеличивать и

порождать новое насилие. «Революционеры,—сказал он,— которых вы видели в Сибири, хотели противиться злу насилием, а что получилось в результате? Горечь и страдание, злоба и кровопролитие! Зло, из-за которого они взялись за оружие, все еще существует, а их страдания увеличились. Не таким образом царство божие должно быть достигнуто на земле».

Теперь я не могу вспомнить всех доводов и примеров, которыми граф Толстой подкреплял свои мысли и защищал свою позицию, но я до сих пор помню его красноречие и страстность, а также то глубокое впечатление, которое произвела на меня личность говорящего. Сами идеи не были для меня новыми: они часто обсуждались в литературных кругах С.-Петербурга, Москвы, Твери и Казани, но до тех пор, пока я не услышал их из уст сильного, чуткого, страстного человека, который горячо в них верил, они никогда не оказывали на меня такого действия.

Долгое время я не вторгался в ход его рассуждений и не возражал. Но наконец попытался вырваться из уз личного влияния собеседника и задал ему ряд вопросов, которые побудили бы его приложить свои общие принципы к особым частным случаям.

Одно дело — спросить человека, будет ли он отвечать насилием на зло вообще, и совсем другое,— бросится ли он на бандита, готового перерезать горло его матери. Многие из отвечающих «да» на первый вопрос будут колебаться в ответе на второй. Граф Толстой, однако, был последователен. Я говорил ему о многих случаях жестокости, грубости и притеснений в Сибири, и в заключение я каждый раз спрашивал его: «Граф Толстой, если бы видели все это, вмешались бы вы насилием?» Он неизменно отвечал: «Нет». Я задал ему прямой вопрос, убил бы он грабителя, который собирается лишить жизни невиновного человека, если нет другого способа спасти его жизнь. Граф ответил: «Если бы я увидел в лесу медведя, который собирается задрать крестьянина, я бы размозжил ему голову топором, но я бы не убил человека, готового сделать то же самое». Я вспомнил случай, который хотя не был самым страшным из рассказанных, но должен был, как мне казалось, с особой силой подействовать на чуткого, честного и отважного человека.

«Граф Толстой,— сказал я,— три или четыре года назад в одной из губерний Европейской России была

арестована Ольга Любатович, молодая, образованная женщина [5]. Не буду рассказывать всей ее истории. Достаточно сказать, что она была движима идеями, даже если и ошибочными, то, по крайней мере, бескорыстными и героическими. С тысячами других молодых людей она предприняла попытку свергнуть существующую систему правления. Ее арестовали, бросили в тюрьму и, продержав год в одиночном заключении, административно сослали в Сибирь. Вы, вероятно, знаете, а если не знаете, я могу рассказать, каким лишениям, страданиям и унижениям должна подвергнуться молодая девушка, сосланная в Сибирь по этапу, вместе с обычной партией преступников. Представьте себе то тяжелое духовное и нервное состояние, до которого она была доведена месяцами езды в тряской телеге, необходимостью отправлять свои естественные нужды на глазах у конвоира, сном на грубых лавках в зловонных «этапах», кишащих паразитами. Так Ольга Любатович достигла Красноярска. К этому времени ей позволяли носить ее собственное платье и белье, но в Красноярске местный губернатор приказал, чтобы она надела платье простого каторжника. Она отказалась на том основании, что административные ссыльные имеют право носить свою одежду и что, если бы был такой закон, ее бы еще в Москве заставили одеть эту одежду. Местный губернатор настаивал на своем, а г-жа Любатович упорно отказывалась выполнить приказание. Я не знаю причины ее упорства, но поскольку ссыльным не всегда дают новую одежду и порой они вынуждены одевать ношенную, зловонную одежду, полную паразитов, нетрудно представить себе причины подобного отказа. Наконец полицмейстеру и офицеру конвоя приказали применить силу. В присутствии полдюжины мужчин три или четыре солдата схватили бедную девушку, пытаясь сорвать с нее одежды. Она сопротивлялась. Последовала ужасная сцена насилия и тщетной самозащиты. Рот у нее был разорван, лицо ее было в крови. Она продолжала сопротивляться, пока у нее доставало сил. Несмотря на слезы, призывы и сопротивление, ее наконец скрутили, раздели догола на глазах шести или восьми мужчин и насильно одели в грубую одежду арестанта. Теперь,— сказал я,— предположим, что все это произошло на ваших глазах; предположим, что эта окровавленная, беззащитная, полуголая девушка бросилась к вам в объ-

ятия и обратилась за помощью; предположим, что это была бы ваша дочь — отказались бы вы вмешаться насилием?»

Он молчал. Глаза его наполнились слезами, когда он представил себе ужас подобной сцены. Минуту он не отвечал. Наконец спросил: «Вы вполне уверены, что это было так?»

«Нет,— сказал я,— потому что я не видел этой сцены, но я слышал об этом от двух свидетелей. Один из них — женщина, которой я полностью верю, другой — чиновник ссыльной администрации. Они видели эту сцену и рассказали мне о ней». 〈...〉

Во время завтрака граф Толстой проявил больше ребячества и веселости, чем я от него ожидал. Когда мы поднялись из-за стола, он достал богато расшитое полотенце, подаренное ему одной крестьянкой, и объявил, что продает его с аукциона, так как не хотел принимать его в подарок ввиду крайней бедности дарительницы, которой явно нужны деньги. Среди общего смеха сын графа Толстого [6] и я, два основных покупателя, набавляя цену по пять копеек, довели ее до двух рублей с полтиною. Неожиданно аукционист с непрофессиональной откровенностью заявил, что это уж слишком дорого и, поскольку американский гость во время торговли предложил два рубля, что приблизительно составляло стоимость полотенца, то ему и следует заплатить эти деньгк. Молодой Толстой с шутливым негодованием протестовал против такого нечестного торга, но его предложение начать все сначала не было принято на том основании, что полотенце принадлежит аукционисту, который имеет неоспоримое право продать его любому покупателю. Сын Толстого со смехом подчинился, и веселая компания, собравшаяся вокруг аукциониста, разошлась.

До сих пор у меня еще не было возможности показать графу Толстому рукопись о «голодной забастовке» в Иркутской тюрьме, которую я обещал передать ему. Вернувшись в маленькую приемную на первом этаже, я вновь заговорил о жестоком обращении с политическими ссыльными в Сибири и, в подтверждение своих слов, вручил ему эту рукопись. Это была подробная история добровольной голодовки четырех политических ссыльных, образованных женщин, в тюрьме Иркутска. «Голодная забастовка», происходившая в декабре 1884 года, длилась шестнадцать дней и чуть было не кончилась для женщин

трагически. Забастовка была предпринята как самая последняя возможная форма протеста против жестокости. Рассказ был написан госпожой Россиковой[7], одной из участниц «голодной забастовки», и тайно вынесен из тюрьмы административным ссыльным из соседней камеры. По ночам ему удавалось устанавливать с ней связь посредством веревки с небольшим грузом на конце, который он раскачивал перед ее окном. В следующем журнале я дам перевод этого рассказа[8]. Здесь скажу только, что это был подробный отчет о, возможно, самой крупной «голодной забастовке», записанный в анналах русских тюрем.

Граф Толстой прочитал три или четыре страницы рукописи и помрачнел. Затем он вернул мне рукопись, и из дальнейшего разговора я понял, что мысли о человеческих несчастьях не дают ему покоя и он всячески пытается уйти от них, так как бессилен облегчить эти страдания и в то же время не может изменить своего взгляда на человеческие поступки.

«Я не сомневаюсь,— сказал он,— что мужество и сила этих людей поистине героические, но методы их неразумны, и я не могу сочувствовать им. Они прибегли к насилию, зная, что становятся сами объектом насилия, и потому страдают от естественных последствий своих неправильных действий. Я не могу представить,— продолжал он,— более ужасного ада, чем положение этих людей в Сибири. Их сердца полны горечи и ненависти, в то же самое время они совершенно не в состоянии отплатить злом на зло. Если бы,— добавил он после минутной паузы,— они лишь немного изменили свои взгляды,— если бы они пошли по пути, который, по-моему, единственно правильный, чтобы бороться со злом,— что бы сделали такие люди для России! Мой метод — по своей сути революционный. Если народ империи будет отказываться, что я считаю необходимым, от военной службы, если он будет отказываться платить подати, на которые содержится армия — это орудие насилия, то нынешняя система правления не устоит. Истинный путь противиться злу — это полный отказ делать зло — как ради себя, так и ради других».

«Но,— сказал я, удивленный этой защитой революционного метода, который казался мне совершенно неисполнимым и призрачным,— правительство *заставит* народ нести военную службу и платить подати — народ *должен* служить и платить — или его отправят за решетку».

«Тогда пусть он отправляется за решетку,— ответил он.— Правительство не может посадить весь народ в тюрьму, а если бы и могло, то некому было бы служить в армии и не было бы денег на ее содержание».

«Но,— возразил я,— вы не сможете заставить всех людей действовать так одновременно. Если бы вам не мешали и вы, допустим, смогли бы обратить несколько сотен тысяч крестьян в свою веру, то уверены ли вы, что вам позволят это? Как только ваше учение станет угрожать устойчивости государства, оно будет запрещено. Предположим даже, что вам удалось обратить в свою веру четвертую часть населения. Правительство наберет достаточно солдат из оставшихся трех четвертей, чтобы отправить одну четверть в тюрьму или в Сибирь, и вашей пропаганде и революции придет конец. Мне кажется, первое, что надо сделать,— это добиться свободы действия, если возможно, мирным путем, если необходимо, силой. Вы не сможете ни убедить, ни научить, ни показать людям, как им следует жить, если кто-то держит вас за горло и начинает душить всякий раз, когда вы открываете рот или подымаете руку. Как собираетесь вы претворить в жизнь свое учение?»

«Но разве вы не видите,— ответил граф,— что если вы требуете и осуществляете право противиться насилием тому, что вы считаете злом, другой человек будет требовать права противиться таким же образом тому, что он считает злом, и мир по-прежнему будет полон насилия? Ваш долг доказать, что есть лучший путь».

«Но,— снова возразил я,— вы не можете ничего доказать, если кто-то бьет вас по лицу всякий раз, когда вы открываете рот, чтобы сказать правду».

«По крайней мере, вы не должны отвечать ударом на удар,— сказал граф.— Своим смирением вы можете показать, что вами не правит варварский закон возмездия и ваш противник не будет продолжать бить человека, который не противится, не пытается защитить себя. Миром движут не те, кто причиняют страдание, а те, кто страдают».

Я сказал, что, по-моему, мир не намного продвинулся вперед от протестов, часто насильственных и кровавых протестов, людей против несправедливости и жестокости, что вся история показывает, что люди, которые со смирением подчиняются угнетению, никогда не добиваются ни свободы, ни счастья.

«Вся история мира, — ответил граф, — это история насилия. Вы, конечно, можете сослаться на насилие в поддержку насилия, но разве вы не видите, что в человеческом обществе существует бесконечное множество мнений о несправедливости и жестокости, и если вы однажды дали право человеку на насилие, чтобы воспротивиться тому, что он считает несправедливым, будучи сам судьей, вы даете любому другому человеку право доказывать свое мнение таким же образом и миром будет вечно править насилие?»

«Но, с другой стороны,— сказал я,— если угнетение выгодно угнетателю и если он видит, что может безнаказанно угнетать и никто не противится ему, когда, по-вашему, он должен перестать угнетать? Мне кажется, что мирное подчинение несправедливости, которую вы защищаете, должно просто разделить общество на два класса: тиранов, которые находят выгодной тиранию и которые поэтому будут продолжать ее бесконечно, и рабов, которые считают сопротивление бесполезным и которые поэтому будут вечно подчиняться».

Однако граф Толстой продолжал утверждать, что единственный путь уничтожить угнетение и насилие состоит в том, чтобы полностью отказаться вершить насилие, что бы к этому ни побуждало. Он сказал, что политика непротивления злу, которую он проповедует как революционный метод, находится в полном соответствии с характером русского крестьянина, и он сослался на широкое и быстрое распространение религиозного сектантства в империи, как на пример успеха такой политики, несмотря на репрессивные меры.

Поговорив еще немного, граф Толстой предложил прогуляться, на что я согласился. Недалеко от дома мы встретили мисс Толстую, старшую дочь графа [9], одетую по-крестьянски, которая шла домой с полей, где она сгребала сено с деревенскими девушками из Ясной Поляны. Крестьянское платье с глубоким вырезом вокруг шеи, заплетенные в косы волосы, нити больших цветных бус, которые свисали с ее груди гирляндами, так изменили ее внешность, что я узнал ее, только когда отец окликнул ее по имени. Оказалось, она разделяет все его взгляды на ручной труд и привыкла работать на полях бедняков, которые нуждались в ее помощи. Сам граф Толстой все утро разбрасывал навоз по земле бедной вдовы, жившей

по соседству с его имением, и занимался бы этим до конца дня, если бы не мой приезд.

«Я думаю,— сказал он,— что долг каждого человека трудиться для тех и с теми, кому эта помощь нужна, и посвящать, по крайней мере, часть дня ручному труду. Это лучше, чем трудиться на своем собственном более высоком и, возможно, более благородном поприще, а затем отдавать бедняку плоды своего труда. В первом случае вы не только оказываете помощь нуждающимся, но подаете бедному и праздному пример. Этим вы показываете, что не считаете ниже своего достоинства их будничный труд, и таким образом внушаете уважение к себе, учите трудолюбию и умению быть довольным своей судьбой. Если же вы работаете только в своей, более высокой интеллектуальной области и таким способом отдаете бедняку плоды своего труда, как милостыню нищему, вы поощряете праздность и зависимость. Вы устанавливаете социально-классовое различие между собой и берущим вашу милостыню. Вы лишаетесь его уважения, он же теряет уверенность в себя. Вы поощряете его желание бежать от каждодневного физического труда в трудных жизненных условиях и поощряете желание жить вашей жизнью, которая, по его мнению, легче, чем у него. Он хочет носить одежду, как ваша, потому что она лучше его собственной, и получить доступ в ваше сословие, которое, по его мнению, выше его. Это не способ помогать бедным или приблизить братство людей».

«Если признать,— сказал я,— что высший долг человека — делать добро другим и только потом заботиться о себе и о своей семье, то я не могу спорить с вами. Если принять ваши посылки, я лишаюсь основания для дальнейшего спора. Но если не исходить из этого, то должен заметить, что самое поразительное в ваших суждениях — это их высшая непрактичность. Принимая во внимание существующее устройство общества и особенности человеческого характера, мне кажется, что тот, кто проповедует непротивление и посвящает свою жизнь только благу других, просто приносит жертву, ничего не получая взамен и без всякой пользы для человечества, потому что ведь никто другой не действует согласно тем же принципам».

«По-вашему,— возразил граф Толстой,— если вы принимаете мои посылки, вы лишаетесь основания для дальнейшего спора, — так почему же вы не должны

принимать их? Наоборот, вы *должны* принять их. Положение вещей было бы лучше, чем теперь, если бы каждый человек делал другому добро вместо зла, ведь так? Надо надеяться и стремиться к обществу, в котором каждый человек будет делать добро вместо зла, не так ли? Почему же вы видите непрактичность в том, что я стремлюсь к осуществлению такого социального порядка, который и вы считаете правильным? Если мы надеемся когда-либо достигнуть этого желанного порядка, то кто-то ведь должен начать, не так ли? Должен же кто-то сделать шаг в этом направлении и показать, что так можно жить! Что из того, что настоящее устройство общества и особенности человеческого характера действительно делают этот шаг трудным. Ведь это не имеет отношения к личному долгу. Вопрос не в том, что легко, а в том, что правильно. Нет ничего неприкосновенного или совершенно незыблемого в современном устройстве общества и в человеческом характере. Они являются плодами деятельности человека, и только человек их может изменить. Я уверен, что их следует изменить, и делаю для этого все, что могу».

Затем граф Толстой очень подробно рассказал о том, как менялось его отношение к учению Христа и как он пришел к сознанию, что это учение, когда его правильно понимают, дает разумное решение самых трудных проблем человеческой жизни.〈...〉

Под вечер летний дождь загнал нас в дом, и граф Толстой пригласил меня к себе в кабинет. Комната была очень маленькой, немного больше, чем обычная спальня, и келья отшельника едва ли могла быть более скромной. В ней ничего не было, за исключением узкой железной кровати, одного деревянного стула и маленького стола, покрытого старой зеленой скатертью. Над столом висел портрет хорошо известного русского сектанта Сютаева [10], а по стенам были полки, заставленные книгами, в основном в бумажных обложках. Больше ничто не отличало библиотеку Толстого от комнаты в избе любого зажиточного крестьянина.

«Я получаю много писем от людей из Америки,— сказал граф, открывая ящик стола,— которые читали мою «Исповедь» и «В чем моя вера?» [11]. Вот одно,— и он дал мне письмо от человека, живущего в деревне, в лесной глуши Пенсильвании, сообщавшего графу, что он и многие его односельчане давно осуществляют принципы, защищаемые в трактате «В чем моя вера?», что они

«признали правду Христа» и что недавно построили церковь.

— Что вы думаете об этом письме? — спросил граф.— Автор не понимает сути дела. Он думает, что не может быть религии без церкви. Для того чтобы правильно жить, церковь не нужна. Я написал ему это [12].

В этот момент в комнату вошел молодой человек в простой крестьянской одежде, который принес графу Толстому дневную почту из соседней деревни. Я принял его за работника с конюшни и не поднялся со своего места и был чрезвычайно удивлен, когда граф Толстой представил его мне как г-на Ф., одного из своих друзей и единомышленников [13]. ⟨...⟩

Среди писем и посылок, доставленных с почты этим молодым человеком, был экземпляр английского перевода книги графа Толстого «В чем моя вера?», изданной в Нью-Йорке [14]. Он впервые видел ее в английском переводе и пожелал знать, хорош ли перевод, сделанный с французского издания. Он достал оригинал в рукописи, явно побывавший в руках многих читателей и переписчиков, и вместе мы сравнили три или четыре ее страницы с переводом. По-видимому, автор остался доволен. «Кажется, все мои мысли сохранены в книге», — сказал он.

Затем речь зашла о зарубежных изданиях его книг. Он сказал, что недавно получил от американских издателей его романов предложение с просьбой позволить фирме называть свои издания авторизованными. Он написал им, что не признает и не верит в договоры и соглашения и что он не желает иметь отношения к продаже своих романов за рубежом. О своих художественных произведениях он говорил с пренебрежением, почти с презрением, и, кажется, считал их результатом напрасно потраченной силы. Он сказал, что испытывает большие трудности в распространении своих религиозных идей среди народа из-за резко отрицательного отношения к ним Победоносцева, обер-прокурора Святейшего синода и церковного цензора. Я рассказал, что видел много его последних книг, отпечатанных литографическим и гектографическим способами, распространявшихся в Петербурге и Москве.

«Да,— сказал он,— правительство не позволяет мне печатать их, но оно не может запретить их полностью. Иногда оно запрещает мои идеи в одной форме, но разрешает их в другой. Правительство не позволило мне выразить идеи сказки «Иван Дурак» в форме диалога. Я из-

ложил их в книжке для народного чтения, и цензор пропустил их без возражения[15]. Мне запретили издавать мою «Исповедь», но церковные власти в конце концов сами напечатали ее в своем «Православном обозрении» с подробным опровержением моих ересей духовным сановником[16]. Мне сказали,— добавил он с улыбкой,— что в публичных библиотеках в журнале «Православное обозрение» вырезаны только страницы моей «Исповеди».

В этот момент наша беседа была прервана приглашением к обеду. Граф Толстой не переоделся. Я же не мог переодеться, даже если бы и хотел. Одни только дамы выразили уважение к установленным условностям в отношении платья. Обед был простым, без формальностей и приятным во всех отношениях. Беседа, как и во время завтрака, была оживленной и непринужденной. Граф Толстой особенно живо участвовал в веселье, подтруниваниях и шутках молодежи. Его отношения со своими детьми, всякий раз когда я видел их вместе, были именно такими, какими они и должны быть,— сердечными, дружелюбными, нежными.

После обеда семья вновь разошлась. Молодой человек, который принес почту, и одна из двух женщин, которых я принял за последовательниц графа, занялись философской беседой у него в кабинете. Здесь я и застал их поздно вечером за чтением и обсуждением одной из его неопубликованных рукописей. Графиня Толстая пригласила меня выпить чаю к себе в гостиную. В скором времени к нам присоединился граф. Он принес с собой большую доску и ящик, в котором лежали сапожные инструменты и незаконченная пара сапог. Усевшись спокойно на светлом месте, он положил доску себе на колени, взял один сапог и начал прибивать каблук, как будто проводить вечера за этим занятием было самым обычным делом для автора «Анны Карениной» и владельца имения в шестьсот тысяч рублей. Я уже так много раз удивлялся за этот день, что перестал реагировать на такие эмоциональные возбудители. Но открытие, что граф Толстой — сапожник, все же было достаточно пикантным и гротескным, чтобы повергнуть меня в волнение. Я уселся прямо напротив него, чтобы иногда помогать ему в работе, подавая нужные вещи, а он со знанием дела разъяснял мне тонкости сапожного дела и говорил, как трудно обрезать подошву, не повредив корпуса. Казалось, что он испыты-

вал больше гордости от умения шить обувь, чем от того, что был способен написать «Войну и мир» и «Казаков». Но, понаблюдав за его работой полчаса глазом непредубежденного и даже не критически настроенного человека, я решил, что при всем уважении к универсальности его таланта я бы предпочел читать его книги, нежели носить сапоги, сделанные им.

Поговорив еще немного об искусстве сапожного ремесла, сопровождая рассказ практическими примерами, граф Толстой завел разговор об Америке и начал спрашивать о людях и о том, что интересовало его в этой стране. Он сказал, что считает Уильяма Ллойда Гаррисона [17] одним из самых замечательных людей, которых породила Америка, и указал мне на портрет великого противника рабства, который висел около окна. Он сказал, что писал в Соединенные Штаты, чтобы ему прислали биографию Гаррисона, написанную Оливером Джонсоном [18], и прочитал ее с большим интересом. Но, по его мнению, автор мало уделил внимания взглядам Гаррисона, касающимся непротивления, и был даже склонен трактовать их с осуждением, как что-то предосудительное.

По его (графа Толстого) мнению, уже то, что Гаррисон был непротивленцем, делает ему больше чести, чем любой другой факт в его биографии. Граф также отозвался с большим уважением и восхищением о Теодоре Паркере, работу которого «Рассуждение о вопросах, относящихся к религии» считал самым выдающимся достижением американского ума в этой области [19]. Потом он сказал, что следует глубоко сожалеть по поводу того, что Америка дважды изменила своим традициям.

«Когда же дважды?» — поинтересовался я.

«Во время гонений на китайцев и мормонов [20], — ответил он.— Вы губите мормонов жестокими законами и запретили китайцам иммиграцию».⟨...⟩

Днем у меня не было благоприятной возможности выяснить отношение графа Толстого к современной науке. К вечеру такая возможность представилась во время беседы о наследственности как о социальном факторе. Я сказал, что, по-моему, при рассмотрении возможности искоренения зла альтруистическим поведением и непротивлением Толстой не придает достаточного значения наследственности. Он ответил, что не верит во всеобщую наследственную развращенность, а дарвинизм считает «большим обманом».

«Я не претендую,— сказал он,— на хорошую осведомленность в учении об эволюции, но мне говорили, что русский ученый Данилевский написал книгу, которая полностью опровергает теорию Дарвина». Из этого замечания стало ясно, что граф Толстой имеет смутное представление о совокупной силе всех доказательств теории эволюции, и поэтому я не стал больше об этом говорить. Вскоре стали приходить посетители, и хотя граф Толстой не отрывался от своей сапожной работы, разговор скоро принял общий характер и касался в основном разных домашних дел.

В 11 часов мне уже надо было возвращаться на железнодорожную станцию. Я с искренним сожалением попрощался с человеком, которого знал только один день, но к которому я уже проникся чуть ли не самым страстным уважением. Его теории, смелые, благородные, возвышенно-прекрасные и даже героические, казались мне ошибочными, но к самому человеку я испытываю только самые теплые чувства уважения и почтения.

Конечно, невозможно в пределах такой статьи изложить хотя бы только самую суть беседы, которая продолжалась много часов и которая затрагивала широкую область деятельности человека вообще. Я знаю, что в том, что я воссоздал по памяти и отрывочным записям, мне даже отчасти не удалось воздать должное доводам графа Толстого, его красноречию и огромной искренности, убежденности, которой они были проникнуты, искренности, которая поразила меня больше всего. Я надеюсь, что, по крайней мере, рассказал о нем честно и с полной беспристрастностью. ⟨...⟩

Н. Н. ИВАНОВ

У Л. Н. ТОЛСТОГО В МОСКВЕ В 1886 ГОДУ

⟨...⟩ Долго не было ответа из Ясной Поляны. Наконец в последних числах февраля 1886 года С—в пришел ко мне и сказал, что Толстой был у него и желает со мной познакомиться [1].

Мы с С—м уговорились отправиться к Льву Николаевичу через несколько дней.

Числа 6 или 7 марта С—в пришел за мной, и мы с ним часа в три дня отправились к Толстому через всю Москву.

Дом Толстых находился на краю Москвы, близ Девичьего Поля, в узком, тихом переулке. Двухэтажный, довольно большой, с разнообразными, большими и маленькими окнами, окруженный забором и садом, дом стоял внутри двора.

Мы вошли в отворенные ворота и позвонили у подъезда. Во дворе на одной из построек я заметил вывеску: «Контора издания сочинений Л. Н. Толстого».

Двери нам отворил слуга и впустил нас в довольно просторную переднюю с зеркалом и диванчиком направо, с двумя дверями, одной направо и одной прямо, с большой вешалкой налево у двери и с лестницей, устланной ковром, идущей прямо наверх. Под лестницу был проход, из которого явилась, когда мы вошли, горничная и спросила нас: «Кого вам угодно?» С—в попросил ее доложить графу Льву Николаевичу наши имена. Горничная пошла в дверь, которая находилась прямо, несколько правее лестницы. Из-за затворенной двери, в которую ушла горничная, до нас доносился стук тарелок и стаканов и говор многолюдного семейного обеда.

Через минуту горничная вышла к нам в переднюю и сказала, что граф просит нас подождать, пока он окончит обед.

Слуга снял с нас пальто, а горничная повела нас наверх по лестнице и затем через довольно большой зал с зеркалами и роялью.

В углу зала, налево, была маленькая дверь, и через нее мы вошли за горничной в узенький темный коридор с дверями по обеим сторонам. Мы прошли через одну дверь налево в небольшую комнату, в которой стояли ширмы, стол у окна, кровать и стулья.

Минут через десять по уходе горничной в коридоре послышались твердые мужские шаги, и в нашу комнату вошел Л. Н. Толстой. Впереди его шла, виляя хвостом, легавая собака.

Он подошел к нам твердой, осанистой, как ходят военные, походкой и протянул каждому из нас свою большую руку.

На меня Толстой произвел, при этой первой моей встрече с ним, очень большое и приятное впечатление. Наружность его была оригинальна и внушительна. В приветливом и добродушном взгляде его серых глаз, под энергично сдвигавшимися порой «дедовскими» бровями, чувствовалась непреклонная, даже упрямая воля, мощный характер, светился глубокий интеллект, суровая и напряженно-деятельная мысль. Скромная, серая, подпоясанная узким ремнем блуза, очень широкая и длинная, со множеством складок, идущих каскадом из-под русой, в то время еще только с проседью, бороды, очень шла к его мощной фигуре.

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста, — сказал Толстой, и когда мы сели, он тоже сел против нас на стуле.

— Я читал ваши стихи,— сказал он, обращаясь ко мне.— Способность у вас есть, и вообще вы пишете недурно. У вас много подражания Шиллеру, Лермонтову, Некрасову, а нового, своего мало. Это увлечение народом, преувеличение его страданий и бедности — все это устарело. Пора это бросить. Нужно другое. Теперь так много пишут и печатают, и все не то, все лишнее... Не писать нужно, а вывозить навоз, который все мы, дармоеды, накопили. Ко мне много ходит этих литераторов, журналистов, щелкоперов... Чем дармоедничать, лучше бы работали. Я сам слишком много занимался писанием того, что, в сущности, ни на что не нужно, что годится только

для забавы праздных и сытых людей и совершенно ни на что не нужно огромному большинству человечества — трудовому, кормящему всех нас народу. Писать можно только тогда, когда имеешь что сказать доброго или нового и когда это действительно нужно для блага людей, для всех миллионов трудящегося народа.

Толстой остановил немного свою речь и, помолчав, спросил меня:

— Умеете вы что-нибудь работать, то есть знаете какое-нибудь ремесло?

— Нет, я не учился никакому ремеслу.

— Напрасно. Надо учиться. Первое, что нужно каждому из нас, это заняться простым, черным делом. Пусть даже это будет чистка н⟨ужника⟩ — не надо брезговать. Всякий труд нужен и полезен, как бы ни был он грязен, только бы он служил общей пользе. Дармоедов и белоручек теперь так много развелось, что трудящимся людям на них нужно день и ночь работать, и то не поспеть.

На это я заметил Льву Николаевичу:

— Ручной труд мне всегда нравился, и я иногда переплетаю книги, но занимаюсь этим самоучкой, не как заработок.

— Вот и прекрасно,— сказал Толстой.— И занимайтесь этим серьезно.

Некоторое время разговор колебался по сторонам, удаляясь от существенного, но потом Толстой высказал мне приблизительно следующее:

— Много написано и напечатано,— сказал он,— но для народа, кормящего всех нас, для большой публики ничего не сделано. Этот народ, как галчата голодные с раскрытыми ртами, ждет духовной пищи, и вместо хлеба ему предлагают лубочные издатели камень... Впрочем, недавно мои друзья успешно начали дело издания народных книг и картин. Я сам тоже делаю в этом отношении, что могу [2]. Попробуйте и вы свои силы на этом деле. Способность у вас есть. Знаете ли вы новые, недавно появившиеся в продаже, народные книжки улучшенного содержания? Не прежние издания для народа, почти не доходившие до него, а новые книжки, идущие вместе с лубочными изданиями, печатающиеся у Сытина?

Я сказал, что видел эти книжки в продаже, но что читать не приходилось, кроме «Свечки», которую я читал в «Книжках недели» [3].

— Я вам могу их дать,— сказал Толстой.

— Очень рад буду,— сказал я.— Я охотно попробую написать что-нибудь для народного издания, если сумею.

— Вот и хорошо,— сказал он.

С этими словами он встал и предложил нам следовать за ним.

Мы пошли за ним, прошли по коридору до самого конца и спустились несколько ступеней вниз. Здесь была маленькая белая дверь, затворенная наглухо. Толстой отворил ее и пропустил нас вперед. Мы вошли в небольшую, с низким потолком комнату, из которой была еще такая же, как первая, вторая плотно затворенная дверь. Толстой отворил и эту дверь, и мы вошли в его кабинет.

Это была комната среднего размера, с низким потолком, с тремя или четырьмя небольшими окнами, выходящими в сад. У окна стоял большой письменный стол с двумя-тремя небольшими ящиками, на высоких ножках, с решеточкой по краю. Сидящий за столом имел позади себя дверь и шкаф с книгами, стоявший у двери в углу. На столе были разложены книги, бумаги, письма и письменные принадлежности, из которых мое внимание привлекло маленькое пресс-папье из белого мрамора в форме раскрытой книги. У окна стояли обитые темно-зеленой клеенкой широкие мягкие кресла; направо у стены стоял большой, обитый сафьяном, мягкий диван, около которого, к стене, стоял круглый столик с мраморной доской. Комната казалась тесной вследствие того, что была невысока.

Толстой подошел к шкафу и отворил его. Нагнувшись к нижней полке, он стал набирать народных книжек издания «Посредника» по одной книжке каждого названия. Верхние полки были наполнены переплетенными книгами. На переплетах нескольких томов я прочитал надпись: «Что делать?» [4] Набрав книжек «Посредника», Толстой подал их мне. Потом вынул из шкафа мои тетради.

— Несколько ваших стихотворений я отметил здесь, как лучшие, по моему мнению,— сказал Лев Николаевич, передавая мне тетради.— Садитесь, пожалуйста.

Мы сели близ стола у окон. Толстой сел на диван против нас. Я заглянул в свои тетради, чтобы узнать, какие именно стихотворения одобрительно отметил Лев Николаевич. Он заметил это и сказал:

— У вас хорошо написано стихотворение о старушке, потерявшей все дорогое и умершей одинокой. Но, говоря вообще, все это теперь устарело; нужно другое, новое.

Двадцать, тридцать лет тому назад и еще раньше нужно было писать все то, что писали Некрасов, Никитин и другие о народе; в то время нужно было вызвать в обществе сочувствие к народу. И сочувствие было вызвано, и теперь нужно идти дальше. Теперь уже мало одного сочувствия к народу. И нам и народу нужна внутренняя, высшая правда. Вот в книжках, — указывая рукой на лежавшие на столе издания «Посредника», сказал Толстой, — есть это сознание и чувство высшей правды.

Говоря это, Лев Николаевич заметно затруднялся более определенно объяснить направление изданий «Посредника»; он замолчал на последних словах и, улыбаясь, как бы искал более подходящих слов.

Я сказал:

— По моему мнению, содержание народных книг должно быть духовное.

Толстой подумал и, несколько смущенно, широко улыбаясь приятной улыбкой, как-то полусоглашаясь со мною, нерешительно сказал:

— Да, да, духовное, именно духовное...

С — в обратился к Толстому с просьбой, не может ли он дать нам прочитать что-нибудь из его неизданных произведений,— тех, о которых мы уже слышали, но прочитать которые нам не приходилось.

— У меня, кажется, нет теперь лишних экземпляров,— сказал Толстой.— Впрочем, я посмотрю, может быть, что-нибудь и найдется.

С этими словами он встал, подошел к шкафу, отворил дверцы, посмотрел на полках, достал две тетради и передал их С — ву. Это были: «В чем моя вера?» и «Так что же нам делать?».

Я взял со стола издания «Посредника» и стал их рассматривать. Заметив, что я пристально разглядываю рисунки на обложке «Кривой доли», Лев Николаевич сказал:

— «Кривую долю» и «Деда Софрона» написал человек из крестьян [5], и очень хорошо написал: правдиво, искренно, и вызывает добрые чувства и хорошие мысли.

Наступила минута молчания, которую прервал С — в, сказав:

— Дмитрий Васильевич Григорович писал мне, что мы у вас, Лев Николаевич, найдем то самое, что нужно Николаю Никитичу.

— Дмитрия Васильевича я знаю очень давно,— добродушно улыбаясь, сказал Толстой.— Это милейший, но

пустейший человек. Я его хорошо знал прежде, но потом мы пошли разными путями. А вам,— обратился ко мне Толстой,— повторяю: нужно работать, и если есть большая потребность, то пишите нужное для всех, и если имеете сказать что-нибудь новое и доброе...

— Николаю Никитичу нужно учиться; он не получил систематического образования,— сказал С—в.

— Что такое образование? — сказал Толстой. — Учиться нужно всю жизнь, и все мы это делаем, — всю жизнь учимся, всю жизнь приобретаем знания. Вопрос только в том: какие знания нам действительно нужны?

— Однако, — заметил С — в, — существуют специальные учреждения, систематически приспособленные для усвоения знаний.

— Николай Никитич может и без их посредства приобресть нужные ему знания, — возразил Толстой.

С — в не стал спорить и заметил, что он лично готов преподавать мне то, что он может.

— Что, по вашему мнению, нужно знать Николаю Никитичу? — спросил он Толстого.

— Самые нужные науки — языки, затем — математика, а затем и другие, более легкие науки, — сказал Лев Николаевич.— Относительно изучения языков,— продолжал он,— скажу, что есть очень простой и легкий, испытанный мною способ изучения языков. Научитесь читать на каком-нибудь языке и потом берите хорошо знакомую книгу и прямо переводите. Для этого хорошо взять Евангелие; это, ведь, самая всем хорошо знакомая книга. Если, например, хотите научиться по-французски, читайте вместе русский и французский тексты Евангелия и переводите. Так вы очень скоро и незаметно для себя усвоите язык. Это много легче обучения по учебникам.

Среди этого разговора в двери показался лакей и сказал Льву Николаевичу, что его желает видеть какая-то дама. Толстой велел просить.

Минуты через две в кабинет вошла старушка в черном платье и стала рассказывать Толстому что-то о своих личных делах. Он очень ласково и любезно обошелся с нею. Вскоре она ушла. Мы с С — м после ее ухода тоже поднялись и стали прощаться. Толстой проводил нас через залу и просил меня заходить к нему.

Когда мы с С — м шли от Толстого, то я заметил, что свидание с Львом Николаевичем произвело на него сильное впечатление. Он всю дорогу говорил только о Толстом

и находился под обаянием его личности, хотя был против его идей, насколько знал о них.

Книжки «Посредника» у меня брали читать все окружавшие меня нарасхват, и книжки эти всем нравились. Некоторые же из них, как «Чем люди живы» и «Два старика», прочитывались по два раза.

Под впечатлением прочитанных изданий «Посредника» я начал писать два рассказа, подражая слогу рассказов Толстого.

Через несколько дней я пошел к нему отнести ему прочитанные рукописи и книжки и рассказать о своей неудаче устроиться учиться у переплетчика (который запросил с меня «за выучку» 200 рублей в год — цену для меня в то время невозможную), а также о своих опытах подражания содержанию изданий «Посредника» и о впечатлении моем от прочитанных рукописей и брошюр.

У Толстого, когда я к нему пришел, был в кабинете М. А. Стахович, с которым Лев Николаевич меня тут же познакомил.

Стахович представлял собою в то время совсем молодого, цветущей наружности, изящного и интеллигентного джентльмена.

Толстой стал что-то говорить Стаховичу по-французски; не понимая французской речи, я все-таки догадался, что он говорит обо мне. Потом Толстой спросил меня, приходилось ли мне жить в деревне. Я сказал, что приходилось и подолгу. Завязался разговор, и я высказал Льву Николаевичу, что издания «Посредника» мне нравятся и вызвали во мне желание писать, подражая их содержанию.

— Это хорошо,— сказал он.

Во время этого разговора я передал Толстому свой рассказ и стихотворение,— то и другое из народной жизни. Толстой прочитал и отнесся к ним отрицательно. Стихотворение он передал Стаховичу, как пишущему стихи и любителю поэзии, который тут же прочитал его. Скоро Стахович вышел из кабинета. Я рассказал Толстому о своей неудаче у переплетчика, он пожалел об этом. Потом я высказал ему о прочитанных мною его сочинениях «В чем моя вера?» и «Так что же нам делать?», что содержание этих сочинений мне очень интересно и ново, так как верования, усвоенные с детства, во мне давно поколеблены чтением книг научного содержания и веянием времени, а христианство не перестает привлекать меня к себе

своими нравственными идеями. Я попросил у Толстого что-нибудь еще из его нелегальных произведений. Он встал, пошел в другие комнаты, принес рукопись, раскрыл ее, внес пером в текст ее какую-то поправку и подал мне. Это было его «Краткое изложение Евангелия». Рукопись была написана довольно четким почерком с собственноручными поправками Толстого.

Когда я сказал ему, что христианство меня всесторонне интересует и что поэтому я с громадным интересом читал его сочинения о христианстве, то он внимательно выслушал меня и торопливо сказал:

— Да, да, это хорошо.

Потом спросил меня: за кого я считаю Иисуса. Я ответил: «За величайшего и святейшего из людей»... Толстой сдвинул свои густые брови и, сверкнув на меня своим неподражаемым, проницательным, острым взглядом,— он в эту минуту стоял у стола,— сказал:

— Иисус — это тот еврей, которого около двух тысяч лет тому назад люди высекли и, растянув, вот так, на столбе (Лев Николаевич широко распростер руки), прибили гвоздями и предали ужаснейшей из смертных казней только за то, что он никому не сделал зла и проповедовал учение о том, как люди могут сделаться добрыми и счастливыми.

Разговор перешел на другое. Толстой стал говорить о Диккенсе, что это замечательно хороший писатель, что произведения его стоят того, чтобы их читали как можно больше. Сущность того, что Лев Николаевич высказал мне о произведениях Диккенса, помнится, сводилась к одобрению нравственного положительного начала, проникающего сочинения Диккенса, и к одобрению гуманизма изображения им обездоленных классов общества,— гуманизма, совмещавшегося с сатирой над буржуазными классами,— «дармоедами», по выражению Толстого.

Толстой советовал мне попытаться сокращенно изложить какой-либо роман Диккенса для народного издания, так как целиком романы Диккенса во многом могут быть непонятны простому народу. Я сказал, что очень рад последовать его совету, но что у меня нет сочинений Диккенса и мне достать их для долгого употребления крайне трудно.

— Я вам могу дать,— сказал он и вышел.

В комнате совсем стемнело. Лакей внес зажженные свечи и поставил их на письменный стол. Толстой вернул-

ся и передал мне переплетенную книгу. Это был роман Диккенса «Наш общий друг». Дочь Льва Николаевича Мария Львовна, в то время еще молоденькая барышня, принесла мне чаю. Пришел в кабинет Стахович, скоро простился и ушел. Вскоре ушел и я.

Прочитав «Краткое изложение Евангелия», я понес его Льву Николаевичу обратно. Я застал у него в кабинете барышню средних лет, дочь профессора, Марию Александровну Шмидт. Лев Николаевич познакомил меня с ней.

Среди разговора я попросил у Толстого для прочтения что-нибудь из его нелегальных произведений, что выражало бы его взгляд на общественный строй жизни. Толстой, выслушав мою просьбу, посмотрел на меня как-то задумчиво и вопросительно, потом торопливо подошел к шкафу и достал из него рукопись, которую подал мне.

— Прочтите. Здесь изображена вся публика, все общество,— сказал он, улыбаясь и взглянув на М. А. Шмидт, которая, узнав содержание рукописи по заглавию на обложке, тоже улыбнулась. На заглавном листе значилось: «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях Семене-воине, Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье и о старом дьяволе и трех чертенятах» Льва Толстого.

Толстой заговорил об изданиях «Посредника»,— о переделках произведений известных авторов. М. А. Шмидт отозвалась неодобрительно о книжке «Посредника» «Жерветза» (переделка из романа Э. Золя)[6]. Толстой сказал, что «Жервеза» — вещь малосодержательная, и что «Брат на брата» (из В. Гюго) несравненно лучше[7]. Говоря это, Толстой отозвался отрицательно о пристрастии Золя наполнять свои произведения излишне подробными описаниями обстановки и будничных мелочей жизни.

Я высказал свое мнение о переделках для малообразованной публики произведений лучших авторов,— что всякая переделка произведения лучшего автора подобна копии с картины хорошего художника. Как копия, переделка может быть более или менее дурна и, как копия, она, популяризируя оригинал среди широкой публики, заменить его никогда не в состоянии. Толстой согласился с моим мнением.

Так, от времени до времени, я приходил к Толстому в течение марта 1886 года, — в дни первого моего

знакомства с ним. Отмечу некоторые интересные подробности этих моих первых посещений Толстого.

Иногда я заставал его в обществе какого-нибудь посетителя из разночинцев, подобного мне, имевшего к нему дело или вопрос жизни. Для интимных бесед со мною или с кем-либо из посетителей Толстой притворял двери или уводил своего собеседника в уединенную комнату. Иногда я заставал его за потасканием со двора дров и топкой печей в комнатах, занятых им, или за шитьем каких-то огромных, из толстой кожи, башмаков. Принимая посетителей, Толстой иногда продолжал и при посторонних заниматься сапожным мастерством, причем просил меня или кого другого из посетителей выравнять молотком на утюге подошву или подать тот или другой из нужных ему в работе предметов.

В одно из моих первых посещений я принес ему мои мысли о переделке и сокращении классических произведений всемирной литературы для народных изданий[8]. Мне пришлось подождать, пока он управился с печами и сапожным инструментом. Окончив свои хлопоты, он прилег на диване в халате и попросил меня прочесть мое писание. Во время чтения он характерными сдвигами бровей, не поддающимися описанию изменениями взгляда и выражения лица, междометиями, изредка звучавшими из его уст, владел мною и без разговора подчеркнул, молча и лежа на боку, все существенное в том, что я ему читал. Я заметил, что он слушает мое чтение одним краем своего сознания, что в глубинах его души идет какая-то скрытая, обширная и глубокая работа мышления.

Искренность и простота его обращения со мною и с другими, с первого шага моего знакомства с ним, являлась для меня единственной и неподражаемой, при его глубокой серьезности, необычайно и тесно соединявшейся в нем то с веселостью и шутливостью, то с добродушной любезностью, то с суровым прямодушием и какой-то мощной властностью...

В беседах Толстой часто увлекался, страстно отстаивая какой-нибудь принцип.

В обращении с посетителями он замечательно тактичен, краток и находчив.

Оставляя на некоторое время посетителя в кабинете одного, он почти всегда займет его на время уединения книгой или чем-нибудь еще. ⟨...⟩

Из воспоминаний о первых днях своего знакомства с Толстым я сохранил одну подробность, правда, случайную и незначительную, но интересную для характеристики отношения Льва Николаевича к домашним условиям, в которых он тогда жил.

При мне, около полудня, привезли с базара во двор дома дрова. Софья Андреевна вызвала Льва Николаевича из кабинета в коридор и стала настаивать на том, чтобы он сам лично уплатил 15 рублей за дрова. Лев Николаевич не соглашался, заспорил. Взволнованный, он торопливо вошел в кабинет, вынул из стола деньги и отнес их в коридор жене. Софья Андреевна что-то быстро и громко сказала ему по-французски и ушла. Лев Николаевич вошел в кабинет и сказал мне с досадой:

— Зачем ей нужно, чтобы я непременно сам расходовал деньги? Ведь она знает, что это мне неприятно. Можно ли так навязывать человеку то, чего он не хочет?

Окончив свой рассказ, я понес его для оценки Толстому. Когда я вошел в кабинет Льва Николаевича, у него сидел рослый, представительный господин в золотых очках, с рыжеватыми волосами и широкой бородой. Они читали вслух какую-то рукопись.

Толстой познакомил нас, и мы подали друг другу руки. Это был Николай Лукич Озмидов.

Толстой попросил меня сесть и заметил Озмидову, что и мне будет интересно послушать чтение, так как я — пишущий.

Усевшись в кресло у письменного стола, я стал слушать чтение рукописи. Слушая, я наблюдал интеллигентное, с умным взглядом и по временам с тонкой усмешкой на губах, лицо Озмидова.

Озмидов читал Толстому свое сокращенное изложение романа Диккенса «Крошка Доррит». Рукопись предназначалась для народного издания. Озмидов читал ее Льву Николаевичу для оценки ее в отношении литературном.

Рукопись скоро была оставлена, потому что она составляла только часть работы Озмидова по переделке им романа Диккенса. Озмидов заговорил о начатой им другой работе — подборе народных пословиц по их смыслу. Он очень умно и дельно изложил Льву Николаевичу обдуманную им систему выбора и группировки русских пословиц, указал, как источники, лучшие сборники пословиц Даля, Афанасьева и др. Толстой очень сочувственно и

одобрительно отозвался об изложенной Озмидовым системе подбора пословиц, заключавшейся, как помню, в следующем.

По системе Озмидова, пословицы разделяются на две главных группы: I. *Разумение жизни, или бога (высшее Начало всего и людей) и осуществление людьми воли этого высшего Начала (царство бога в людях), или делание добра.* Здесь на первом плане — совесть, любовь, жалость, смирение, нравственное добро. II. *Ложь и соблазны, зло, дьявол как целомудрие и прочие христианские добродетели, как основы уклонения от разумения, как нарушение высшей воли,— воли бога, заложенной в разуме и совести каждого человека изначала.* Здесь на первом плане вражда, ссоры, убийства, блуд — все похоти людей (по выражению Озмидова, «потехи тела») и вытекающее из них зло мира.

Особенно одобрил Лев Николаевич задуманную Озмидовым работу над пословицами, когда Озмидов сказал, что он намерен, в заключение работы, подобрать параллельно к пословицам, по смыслу их, изречения из Евангелия.

— Это было бы народное Евангелие,— с увлечением сказал Толстой и прибавил, что пословицы всегда ему нравились, но что высокий, практически-христианский смысл многих из них он понял во всем его значении только с тех пор, как сам для себя нашел смысл жизни в учении Христа. Кроме того, Толстой сказал, что многие из пословиц, то есть нравственные, есть само учение Христа, пережитое и передуманное трудящимся народом среди живой действительности, выраженное метким, кратким и сильным народным языком, простое и ясное в устах народа, как чистая и вечная правда.

Озмидов коснулся вопроса о глупых, дурных пословицах. Толстой сказал, что, по его мнению, такие пословицы возникли среди глупых и дурных людей, и не стоит обращать на них внимание. Плохие пословицы, сказал Толстой, подобны песку или мякине в хлебе, и их сравнительно немного, да кроме того, многие из них так очевидно нелепы или неприличны, что сам народ употребляет их или в шутку, или по невежеству и дикости.

В продолжение всего этого разговора о пословицах лицо и взгляд Толстого были то сурово-вдумчивыми и строго-серьезными, то с неуловимой быстротой сияли радостно-возбужденным настроением,— в тот, например, мо-

мент, когда Озмидов говорил о параллельном соединении по смыслу пословиц и изречений Евангелия в их систематическом подборе.

— А теперь вы нам почитайте свой рассказ,— сказал Лев Николаевич, обращаясь ко мне, когда разговор их с Озмидовым кончился.

Я читать отказался, ссылаясь на то, что я плохо читаю вслух. Тогда Толстой предложил Озмидову прочесть мою рукопись.

Во время чтения Толстой сделал несколько замечаний, из которых я запомнил ясно одно. В рассказе описывалось, между прочим, весенняя распутица, как крестьянин шел по протаявшей под весенними лучами солнца дороге, а по сторонам перелетали грачи, садившиеся и на дорогу, и длинные носы грачей блестели на солнце [9]. Эта последняя деталь вызвала замечание Толстого, который, обращаясь к Озмидову, сказал:

— Вот в этих подробностях, в этих «чуть-чуть» — вся судьба каждого автора; нет этого,— этих «чуть-чуть»,— значит, все пропало, нет произведения.

— У вас это есть,— обратился Лев Николаевич ко мне,— вы можете писать, хотя и новичок в этом деле.

По окончании чтения моего рассказа Толстой посоветовал мне добавить в заключительных строках развязку детских ожиданий скворешника для скворцов.

— Вы уж скворешник им сделайте,— сказал мне, улыбаясь, Лев Николаевич.— А то весь рассказ хорошим кончается, одни дети не получили желаемого; надо, чтобы и они удовлетворены остались...

— Можно напечатать в изданиях «Посредника»,— обсуждая мой рассказ, сказал Толстой Озмидову.— Я пошлю ваш рассказ друзьям в «Посредник»,— сказал он мне,— но теперь вы оставьте мне рукопись; я еще раз просмотрю ее. Потом вы дополните окончание, и тогда мы ее отошлем. ⟨...⟩

В конце марта 1886 года Лев Николаевич ушел пешком из Москвы в Ясную Поляну с какими-то пешеходами из простонародья [10]. Из этого путешествия он вынес материал своей статьи «Николай Палкин»,— разговор с отставным николаевским солдатом где-то на ночлеге, на полатях или на печи в избе... Перед отбытием Толстого в это

«пешее хождение» я брал у него на прочтение тогда только что вышедший в свет XII том его сочинений, с некоторым риском прошедший реакционную цензуру той эпохи и заключавший в себе все, что могло быть, по тогдашним цензурным условиям, легализировано из написанных после «Анны Карениной» произведений Льва Николаевича [11].

Прочитав XII том, я не мог по болезни сам отнести книгу Льву Николаевичу и кстати перемолвиться с ним и послал с книгой своего отца, который остался очень доволен своим свиданием с Львом Николаевичем.

По выздоровлении я зашел к Льву Николаевичу показать ему две написанных мною вещи. Лев Николаевич, читая, внес в них поправки и сказал, что для «Посредника» обе вещи очень годятся.

В описываемое посещение я застал Льва Николаевича только что вставшим и делавшим утренний туалет. Мне ярко запомнилось это мое посещение по интимности обстановки и состояния Льва Николаевича. Никого, даже прислуги около него не было, а потому мне пришлось даже помочь ему по хозяйству. Он находился в радостно-возбужденном и даже каком-то воодушевленном настроении. Он ночевал в комнатке рядом с кабинетом. Сапожный инструмент лежал в порядке, но в противовес этому в кабинете царствовал великий беспорядок, свидетельствовавший о ночной работе «большого старика».

Беспорядок этот состоял в разложенных везде, даже на диване и на окнах, материалах для какой-то работы. Валялись книги на еврейском, английском и греческом языках. На столе лежали куски бумаги, исписанные размашистым почерком.

Поглядывая мимоходом, как я прибираю в порядок книги и с почтительной серьезностью, сохраняя на местах вложенные в них заметки, присматриваюсь к тексту Евангелия на еврейском языке, Лев Николаевич, вытирая свои голые плечи после умыванья полотенцем, добродушно и радостно высказывал мне, что это хорошо, что я стал брать темы для своих писаний из народных сказаний, что ему самому народные устные темы и сюжеты очень нравятся, но что главное, лучшее во мне для него — в том, что он замечает во мне шаг вперед в отношении содержания моих новых рассказов.

— Важно то,— сказал Лев Николаевич,— что вы — новичок в деле писательства и еще не вывихнуты на гото-

вых направлениях, на традициях литературных; оригинальность вам ближе и доступнее.

Я высказал, что я себя считаю не освободившимся от подражательности, и что, оставив подражание Никитину и Некрасову, я подражаю ему, Льву Николаевичу, и по содержанию, и по форме своих упражнений в литературе.

— Что ж, подражать нужно и хорошо,— сказал Лев Николаевич.— Я сам подражаю народному творчеству и языку. А новое и хорошее у вас теперь — то, что вы изменились духовно,— нутром на другую дорогу выходите...

Относительно «нутра» я высказал Льву Николаевичу, что в этом отношении меня начал занимать Достоевский с его идейными исканиями и с его критикой современной эпохи.

При имени Достоевского Лев Николаевич оживился и одушевился каким-то внутренним светом, даже брови сдвинул и крякнул, но сказал мало,— отозвался только, что все то, чем дышал Достоевский, прошло; что с того времени многое передвинулось...

Расстался я с Львом Николаевичем в это посещение дома Толстых обласканный какой-то интимной задушевностью его обращения.

В апреле 1886 года я стал ходить к Н. Л. Озмидову читать запрещенные сочинения Толстого. Он жил в Замоскворечье с женой и дочерью, служа корректором в типографии Сытина; занимался, кроме того, перепиской за плату запрещенных произведений Толстого. Его дочь, Ольга Николаевна, 19-летняя девушка, была всецело под влиянием идей Льва Николаевича и стремилась воплотить их в жизнь.

Однажды, когда я и еще один интеллигентный господин, с длинными курчавыми волосами на голове и золотым пенсне на носу, были у Озмидова и читали Толстого, к нему пришел Лев Николаевич Толстой с двумя младшими сыновьями, бывшими в то время еще мальчиками. Озмидовы заметили его в окно, еще когда он шел по тротуару, и вышли в переднюю его встретить.

Гость Озмидова первый раз в жизни видел Льва Николаевича, и я заметил, что этой своей случайной встречей с ним он был приятно взволнован.

Лев Николаевич вошел в комнату с своими мальчиками, Андрюшей и Мишей, и, поздоровавшись со всеми, сел у стола. Я заметил, что Ольга Николаевна Озмидова с той минуты, как Толстой вошел в комнату, следила за каждым

его словом и движением, взволнованная, приятно пораженная посещением редкого, необычайного гостя.

После нескольких вступительных к разговору фраз Лев Николаевич стал нам рассказывать о своем путешествии пешком из Москвы в Ясную Поляну. Он находился под свежим впечатлением и с веселой жизнерадостностью несколькими штрихами описал свое «пешее хождение», коснувшись ночлегов с блохами и тараканами... Но вдруг, среди рассказа, лицо его стало серьезным, и он с резкой строгостью скорбного негодования к человеческой злобе и низости рассказал нам об ужасах, слышанных им на одном из ночлегов от отставного николаевского солдата, касавшихся царствования Николая I и послуживших темой для его статьи «Николай Палкин».

Во время разговора Лев Николаевич попросил у Озмидова молоток и какую-нибудь скалку для того, чтобы сгладить гвозди внутри сапог у своих мальчиков. Сапожный инструмент у Озмидова нашелся, и Лев Николаевич, сняв с сыновей сапоги, счистил гвозди, с одушевлением продолжая разговор во время этого занятия... Гость Озмидова, господин с золотым пенсне, был обескуражен этой неожиданной для него сценой и взволнованно покраснел, следя глазами за ловкими сапожническими движениями рук Льва Николаевича.

Среди разговора Лев Николаевич обратился ко мне с вопросом:

— Вы здесь какими судьбами?

— Николай Лукич любезно предоставил мне возможность прочитать у него ваши запрещенные сочинения,— сказал я.

— А вы? — обратился Лев Николаевич к господину в пенсне.

Господин ответил то же, что и я, но добавил что-то о своем отношении к религии.

Обращаясь к господину в пенсне и переводя взгляд на всех нас, Лев Николаевич заметил, что он уже давно пережил интерес к богословию, текстам и их исследованию, что теперь для него даже неприятно встречать в других этот интерес.

Обращаясь затем ко мне, Лев Николаевич резко посоветовал мне оставить чтение его сочинений.

— Вы можете писать; написали бы лучше что-нибудь,— сказал он.— Напишите о блохе и мухе,— добавил он, улыбаясь. — И он рассказал мне сюжет [12].

— Вы сумеете это изложить простым слогом. Пожалуйста, напишите. Это ваше прямое и близкое вам дело...

После этих слов Льва Николаевича, высказанных им с неподражаемой искренностью и серьезной задушевностью, всем нам стало весело: улыбались рассказу о блохе и мухе; радостно улыбались так, вообще, зараженные жизнерадостным настроением великого старика, так неожиданно явившегося среди нас.

Совета Льва Николаевича о том, чтобы не читать его сочинений, посвященных вопросам религии, я не послушал и продолжал у Озмидова читать том за томом его комплект запрещенных произведений, для чего путешествовал почти ежедневно через всю Москву в Замоскворечье. К маю месяцу я уже прочитал «Исповедь», «Критику догматического богословия» и начал читать «Исследование Евангелия».

В конце апреля я отправился к Льву Николаевичу с рукописью, содержавшею несколько написанных мною басен: «Блоха и муха» (по вышеприведенному сюжету Толстого), «Три друга», «Юродивый» (две последние — оригинальные) и еще две вещицы.

Я застал Льва Николаевича почти одного в доме; семья его уже выехала на лето в Ясную Поляну, и в московском доме оставались только два сына и несколько человек прислуги.

Я пришел рано утром, как просил меня об этом накануне Лев Николаевич. Он только что встал и принял меня по-домашнему, не одевшись. При мне он торопливо стал умываться, причесываться и одеваться, переходя из кабинета, где я сидел, в соседнюю комнату и обратно. Он сам принес себе воды, сам все себе делал и только с изысканной простотой попросил меня полить ему на руки над тазом воды из кувшина, поблагодарил меня за эту помощь и среди этих утренних хлопот поддерживал со мною разговор, входил в кабинет, заглядывая в разложенные и раскрытые везде, и на письменном столе, и на столиках, и на диване книги и бумаги, не убранные с вечера. Книги были на разных языках: много на еврейском, несколько на французском и английском, два-три тома греко-латинского лексикона. Я немного разбираю напечатанное на этих языках (кроме еврейского) и по заглавиям и тексту книг догадался о их содержании, относившемся к экзегетике и изучению христианства. Разного формата и из разной бумаги листки, исписанные высоким, густым и

размашистым почерком Льва Николаевича, были заложены в книгах и лежали пачкой на столе под пресс-папье.

— Я тут вечером немного работал,— мимоходом заметил Лев Николаевич.— Сегодня я уезжаю тоже в Ясную Поляну... Это хорошо, что вы пришли сегодня. Ну, что там еще у вас новенького?

И с этими словами он взял у меня из рук мою рукопись.

— А-а! Блоха и муха,— весело сказал он, просматривая рукопись.— Хорошо, хорошо... Я сейчас, я одну минутку...

И он удалился с рукописью в соседнюю комнату.

— Хорошо, очень хорошо,— сказал он, возвращаясь через две-три минуты в кабинет.— Я только о двух последних вещицах ничего не могу сказать... кажется, не подойдут... А все остальные превосходны, — «Три друга», «Юродивый» и «Блоха и муха». Откуда вы взяли сюжет «Три друга»?

— Записал в народе со слов прохожего на шоссе.

— Я так и думал, что это — народная притча,— с очевидным удовольствием сказал Лев Николаевич.— Выдумать такую вещь единичный ум не может; здесь — произведение народного духа... То же и «Юродивый» ваш... Но в нем уже народный, здоровый и грубоватый, но очень меткий и правдивый юмор... Вот именно так и надо писать. Пишите так, именно так. Вы на верном пути... И не отклоняйтесь. Это мы постараемся напечатать... Хотя цензура теперь дошла до последних пределов глупости и безобразия... Но мы попробуем... [13]

Прощаясь в этот раз со мною, Лев Николаевич обнял меня и поцеловал.

Е. В. ОБОЛЕНСКАЯ

МОЯ МАТЬ И ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

⟨*Отрывок*⟩

В 1881 году вся семья дяди Льва Николаевича переехала на зиму в Москву и с тех пор стала всякую зиму проводить в Москве. Первую зиму они жили на квартире в доме Волконского в Денежном переулке, а в 1882 году поселились в собственном доме в Хамовниках. Лев Николаевич сам очень внимательно занялся устройством дома и его меблировкой. Сначала он делал это для того, чтобы облегчить Софью Андреевну, но потом сам увлекся. Он сам очень охотно по всем мебельным магазинам разыскивал старинную мебель красного дерева и покупал все с большим вкусом. Зайдешь, бывало, проведать его в Хамовники и застанешь в хлопотах по размещению мебели и по распределению комнат. Иногда он спрашивал совета, и я охотно помогала ему.

Наконец все было устроено, и в октябре семья переехала уже в свой дом. Это был большой перелом в их жизни. С тех пор характер жизни Толстых не только зимой, но и летом совершенно изменился. Он утратил ту простоту, безыскусственность и, главное, самобытность, которые были так привлекательны. Пошло все, как у всех. Изменилась внешность, изменилось и внутреннее содержание жизни. Хамовнический дом скоро наполнился народом. Всякий считал за честь и счастье попасть туда, да оно так и было и не могло быть иначе.

К сожалению, для своих близких Лев Николаевич стал мало доступен. Зайдешь днем — он или гуляет, или занят; а вечером он большей частью сидел в своем маленьком, низеньком кабинете, окруженный людьми, жаж-

дущими его послушать. Придешь туда и чувствуешь, что лишняя, что стесняешь. Когда же Лев Николаевич выходил в большую залу, где за большим чайным столом сидели гости Софьи Андреевны, он был любезным, обворожительным хозяином. Тут тоже жадно ловили каждое его слово; при его появлении все разговоры умолкали, а все внимание было устремлено на него. Он каждому находил, что сказать, с кем поговорит серьезно, с кем пошутит; с молодежью был всегда ласков и шутлив. И все это выходило у него так естественно, так непринужденно и привлекательно. Он был настоящий аристократ старого времени; это проявлялось во всем: в его обращении с людьми, в его манерах, в его вкусах; все грубое, все пошлое, все безвкусное, даже в туалетах, его коробило.

Но городская жизнь была ему, конечно, не по душе и в особенности первое время очень утомляла его. Утомляла его уличная суета и шум.

— И чего они суетятся,— говорил он,— куда спешат?.. Все дела, а главного не видят; так и пройдет вся жизнь, и не заметят, как смерть подойдет.

Городовые с револьверами возмущали его, он не мог равнодушно проходить мимо них. Я как-то раз вышла с ним из их дома; на перекрестке стоял бравый, рослый городовой. Проходя мимо, Лев Николаевич с досадой сказал:

— Здоровый, страшный какой.

Я засмеялась:

— Да что ты, дядя, чем же он страшный?

А он говорит:

— Ну а револьвер-то зачем?

Очень неприятно ему также было, когда кто-нибудь из прохожих узнавал его, кланялся ему или провожал любопытными глазами. Все это раздражало его и нередко приводило в дурное настроение. Он пишет А. А. Толстой в 1882 году, что едет в деревню отдохнуть от разбитых нервов [1].

Любил он уходить на Москву-реку; там он пилил дрова с пильщиками и разговаривал с ними; любил также гулять совсем поздно вечером, перед сном; иногда заходил к нам,— мы жили недалеко, в Неопалимовском переулке. Пишу эти строки и вспоминаю одну прогулку зимой в Ясной Поляне. Это было много поздней, они тогда уже не жили в Москве. Была чудная лунная ночь; Лев Николаевич сманил нас всех гулять. Народу было много; все

с радостью согласились. Софья Андреевна не хотела идти, но мы ее уговорили, и Лев Николаевич повел ее под руку. Лунный свет обманчив; дядя завел нас довольно далеко в лес и не мог выйти на настоящую дорогу, так что нам пришлось покружить по елочкам. Но ночь была такая дивная, теплая, что мы никто не жалели, а он наслаждался, был весел и шутил, говоря, что как Сусанин завел поляков, так и он завел нас в лес.

А как он любил свои уединенные прогулки в Ясной Поляне! Однажды он позвал меня с собой; я пошла одеваться — это было зимой,— но когда я пришла, он уже ушел, не дождавшись меня. Вернувшись, он мне говорит:

— А я тебя обманул, ты обиделась?

— Не обиделась, а очень пожалела.

— Ты не обижайся, с тобой было бы хорошо, ну а с богом лучше.

И вот этих прогулок «с богом» ему недоставало в Москве. 〈...〉

〈...〉 Мать никогда не жалела, что пошла в монастырь [2], но подчас скучала не по «миру», не по «мирской жизни», а по общению с близкими людьми. Мы с сестрой [3] не могли часто ездить к ней, у нас были свои семьи, и она иногда роптала на это. Самым трудным было для матери монашеское послушание, которое для монахов обязательно, считается важнее всего. Она, которая всю жизнь никому не подчинялась, ничьей воли над собой не признавала, должна была во всем спрашивать разрешение игуменьи или духовника. Это было ей очень трудно, и она должна была много над собой работать, смирять себя [4].

Лев Николаевич как-то посетил ее в монастыре. Расспрашивал ее о том, как она живет, что с них требуется, он очень не одобрял послушания. «Как можно жить и действовать по воле другого человека?» — говорил он. От нее он пошел к игуменье. Умная и приветливая старуха приняла его ласково и просто и очень понравилась ему. Вернувшись от нее, он сказал матери:

— Вас тут шестьсот дур, одна умная — ваша игуменья.

Мать очень этому смеялась и передала многим монахиням и самой игуменье. Все отнеслись к этому очень добродушно. После этого посещения она вышила по канве

маленькую подушку по красному фону черными буквами: «одна из шестисот шамординских дур» и отвезла ее Льву Николаевичу. Когда она отдала ему эту подушку — это было при мне — он очень удивился и спросил:

— Почему «дур»?

Мать напомнила ему, что это были его слова. Ему это было как будто неприятно, он поморщился немного, сам на себя неодобрительно покачал головой и сказал:

— Это я плохо сказал, это мне хорошее напоминание, как надо быть осторожным на слова. Спасибо тебе, Машенька, за подушку, а еще больше за урок.

Подушка эта всегда лежала на кресле в его кабинете и сейчас показывается посетителям.

Раз в год месяца на два мать выезжала из монастыря, чтобы повидать своих. Ей стоило некоторого труда выхлопотать разрешение на поездки в Ясную Поляну. Игуменья не могла взять это на одну себя, и матери пришлось для этого поехать в Калугу к архиерею. Иногда я или сестра приезжали за ней в монастырь и увозили ее. Дядя Сергей Николаевич как-то не относился серьезно к ее пострижению и немного иронизировал на этот счет, говорил: «Машенька нарядилась, надела цилиндр» — так называл он ее монашеский клобук. Но в Ясной она чувствовала себя вполне хорошо и свободно, там она была всегда благодушна. Я не помню, чтобы Лев Николаевич чем-нибудь доставил ей неприятность. Если когда и пошутит, то очень безобидно.

В один из ее приездов ее поместили в комнате «со сводами». Ложась спать, она стала искать образ, чтобы помолиться, и, увидев в углу что-то черное, подумала, что это образ. Утром при свете она разглядела, что это был не образ, а кучка мух. Она рассказала об этом за завтраком и недовольным тоном стала говорить, что нигде в доме нет образа, не на что даже перекреститься. Лев Николаевич, видя, что мать в дурном настроении, молчал. За обедом подали суфле из репы; она спросила сахару, а дядя говорит:

— Как это ты репу ешь с сахаром? Тебя за это бог накажет, и мухи не спасут.

Все рассмеялись, и мать первая. Тем и кончилось это мимолетное неудовольствие.

Лев Николаевич интересовался духовными книгами; она на многие указывала ему, и некоторые из них он читал с удовольствием. Я не могу сейчас назвать, какие

именно, не помню, но знаю, что одна из них была «Добротолюбие» [5].

С Софьей Андреевной она всегда была в хороших отношениях; между ними не было никогда и тени неудовольствия, а племянники и племянницы всегда радостно встречали тетю Машу.

К «толстовцам» она относилась разно. В. Г. и А. К. Чертковых она ценила и уважала, хотя считала влияние Черткова на Льва Николаевича вредным. Душана Петровича Маковицкого очень любила за его беззаветную преданность Льву Николаевичу, за его простоту и необыкновенную скромность. К остальным «толстовцам», которых знала не много, относилась дружелюбно, но с оттенком снисходительного сожаления. Недружелюбия она вообще ни к кому не питала: посердится, покапризничает, побушует со своими келейницами, но недобрых чувств ни к кому не имела. Я смело пишу эти слова, уверенная в том, что все те, кто знали мою мать, не опровергнут их.

Она не могла долго оставаться «в миру», ее отпускали на срок не более двух месяцев. Последний раз, когда она была в Ясной Поляне, перед самым отъездом, я нашла ее на верхнем балконе горько плачущей. С матерью это случалось очень редко, я испугалась и спросила ее, что с ней.

— Я чувствую, что я больше не увижу его,— ответила она мне.

Но она увидала его в Шамордине за неделю до его кончины. Как ни хорошо ей было в Ясной Поляне, как ни радостно было повидать своих, она все-таки утомлялась и с удовольствием возвращалась домой. Зайдет в свою комнату, перекрестится и скажет:

— Как хорошо, как я люблю свою тихую обитель.

Не одна только родственная любовь связывала мою мать и Льва Николаевича. Они всегда любили друг друга, и в молодости она была ближе с ним, чем с дядей Сергеем Николаевичем. За последние же 20—25 лет, когда цель жизни обоих была в приближении к богу, хотя и разными путями, они стали еще нежнее относиться друг к другу, еще больше понимать друг друга. В одном письме к ней Лев Николаевич подписывается: «твой брат и по крови и по духу — не отвергай меня». И тут же: «Очень люблю тебя»... [6]

Но их характеры не во всем были схожи. Матери был чужд самоанализ, копание в самой себе, что так сильно

было развито у Льва Николаевича, особенно в молодых годах. Она непосредственно, горячо отдавалась чувствам, не охлаждая их умствованием. Мать в своих поступках и в молодости, а в старости и подавно, совсем не руководствовалась тем, что о ней подумают, что о ней будут говорить. Лев Николаевич в молодости не был свободен от этого чувства. Он особенно ярко выставляет эту свою черту в «Детстве», «Отрочестве» и «Юности» (смерть бабушки, говенье, экзамены и другие места). Мать моя была вспыльчива, как и моя бабушка, ее мать;[7] но та была сдержанна (про нее говорили: покраснеет вся, но смолчит, а мать так никогда и не научилась сдерживаться. Может быть, виной тому было и воспитание. Бабушка до 30 лет жила с строгим отцом[8] («старый князь» и княжна Марья в «Войне и мире»), мать же была с детства избалована, а шестнадцати лет вышла уже замуж.

Я помню в раннем моем детстве, как Лев Николаевич кричал, бывало, когда сердился; у меня осталось в памяти, как он при этом краснел; но позднее, когда мы вернулись из-за границы и подолгу живали в Ясной Поляне, я уже не помню, чтобы это с ним случалось; тем более в старости — он был не только сдержан, но и кроток. Раз только я видела его очень раздраженным. Это было в Ясной Поляне. Из Петербурга приехала повидать его какая-то дама. О чем они говорили — не знаю, только, провожая ее из кабинета, он, очень горячась и повышая голос, сказал:

— Если бы меня все так понимали, как вы, я бы сломал перо и бросил писать.

Уходя в кабинет, он сказал:

— Как неприятно, но она такая бестолковая.

— Да кто такая?

— Народница,— с досадой ответил он.

Мать никогда не говорила о смерти; мы с сестрой часто удивлялись этому. Но как она была к ней готова, как покойно встретила ее! Лев Николаевич за последний период своей жизни очень часто говорил о смерти, говорил о ней как о благе, как о желательном переходе из этой жизни в другую, как об освобождении. Но мысли о смерти волновали его, и я того мнения, что он относился к ней совсем не так покойно, как многим кажется. Как-то при мне он сказал:

— Только очень легкомысленный человек может *не бояться* смерти.

Он спросил однажды В. В. Стасова, что он думает о смерти. Тот ответил: «Я никогда об этой стерве не думаю». Легко можно себе представить, какое впечатление эти слова произвели на Льва Николаевича. Они казались ему кощунством.

«Твой брат и по крови и по духу — не отвергай меня». Нет, она не отвергала его; она была смиренна, считала себя грешной, а его любила всей душой, может быть, еще больше потому, что считала его заблудившимся.

⟨...⟩ Он подчас тяготился своим пьедесталом: и великому человеку хочется иногда быть не великим, а просто человеком. Я видала его и старым, и слабым, и беспомощным; видала его и невеселым, не в духе, раздраженным и любила его всяческим. «Он хоть и Павел, а человек был»,— говорит Иоанн Златоуст про апостола Павла. Так можно сказать и про дядю: «Он хоть и Лев Толстой, а человек был».

Но чаще всего видела его благодушно настроенным. Он любил простое, не требующее никакой обстановки веселье. Это свойство было у него общее с моей матерью; и когда они чему-нибудь радовались, смеялись, в них было что-то наивное, детское. Они любили вспоминать далекое прошлое, но никогда не вспоминали грустное, неприятное; воспоминания их были всегда светлые. Все почти дети его были музыкально одаренные; и когда молодежь с гитарами начинает петь цыганские романсы, он всегда выйдет из своего кабинета послушать, слушает с истинным удовольствием и, когда они кончат, скажет: «Ну-ка еще!» А как он иногда бывал по-детски шутлив и весел, как умел заразительно до слез смеяться! Такой смех вызывал у него Душан, когда вдруг с спокойным, серьезным лицом, не выражающим никакого особенного веселья, начинает плясать словенский трепак; отпляшет и так же спокойно отойдет в сторону.

Не помню, какой это был день, какой год (кажется, после Крыма), я летом была в Ясной Поляне; мы обедали на дворе под большими деревьями; был Владимир Григорьевич Чертков, моя мать; фотограф, приехавший из Москвы, должен был снять нас за обеденным столом. Все были в веселом настроении. Лев Николаевич перед этим чему-то смеялся, на него напал «смехун». Только

что фотограф направил на нас свой аппарат и юркнул под свое покрывало, как дядя неудержимо расхохотался. Пришлось начинать опять сначала. Во второй раз — то же самое. В. Г. Чертков, который сидел рядом с ним, с ласковым укором в голосе сказал: «Лев Николаевич, что с вами?» У дяди сделалось сконфуженное, виноватое лицо.

— Ну, не буду, не буду больше.

А «нумидийская конница»? [9] Я думаю, мало кто ее знал. «Нумидийская конница» всегда была после отъезда какого-нибудь нудного, неприятного гостя; Лев Николаевич не позволял бранить отъехавшего, но только что этот гость выходил из дома, дядя вскакивал, за ним часть детей (Мария Львовна первая), и, как-то особенно подняв правую руку, на цыпочках, бесшумно и безмолвно — Лев Николаевич впереди — обегали все верхние комнаты и точно так же безмолвно возвращались на свои места; «нумидийская конница» выражала радость, что скучный гость уехал. Софья Андреевна этого шуточного веселья не понимала и относилась к нему с большой критикой. Она и смеялась от души редко.

Он любил цветы; пойдешь, бывало, гулять и принесешь ему на письменный стол букет полевых цветов; он доволен и любуется ими. Любила я вечера. Сидим мы в большой зале яснополянского дома вокруг стола; кто с работой, кто за пасьянсом. К нему в кабинет мы без особой нужды никогда не ходили, всегда боялись помешать, но если он ничем особенно не занят, то дверь туда отворена, он читает что-нибудь не серьезное или раскладывает пасьянс и прислушивается к нашему разговору; иногда выйдет, посмеется над нашей детской болтовней или сделает какое-нибудь замечание. Он очень не любил пересудов, всегда говорил, что осуждающий грешит против трех людей — против себя, против того, кого осуждает, и против того, с кем осуждает. Как-то говорили о частых случаях развода. Лев Николаевич слушал и говорит:

— Да... вот, когда я умру, про меня не будут говорить: «Толстой, знаменитый писатель», а скажут: «Какой это Толстой?» — «Да вот этот чудак, который прожил сорок лет с одной женой».

Он очень любил детей и умел с ними обращаться: «дедушка, дядя Ляля»,— звали они его и с радостью бежали к нему.

— Как было бы грустно жить на свете, если бы не было детей. Вот беда-то будет, как женщины забастуют и перестанут рожать,— говорил он в 1905 году, когда начались повсюду забастовки.

Он не признавал так называемого «женского вопроса», с раздражением говорил:

— Какой вопрос? Никакого вопроса нет. У женщин всегда готовое, несомненно полезное дело — дети, старики, больные, служи им — вот и весь вопрос. Вот N. интегралы и дифференциалы знает, а ребенка на руках держать не умеет.

Его обычные любимые прогулки на шоссе, где он любил говорить с встречными крестьянами, в 1905 году иногда огорчали его; настроение крестьян ему не нравилось. Как-то раз за обедом он сказал:

— Должен сознаться, что крестьяне стали какие-то неприятные, не такие, как прежде.

Сказал он это не с осуждением, а скорее с сожалением; я поняла, что это ему прискорбно, как в любимом человеке прискорбно увидать что-нибудь дурное.

После крымской болезни он уже не был таким бодрым; хотя он продолжал делать большие прогулки и пешком и верхом, но физические силы уже не те. Он часто хворает: то печень, то перебои, то стеснение в груди и боли в области сердца. Все чаще и чаще попадается в записях Душана[10]: «Сегодня Лев Николаевич слаб». Он сам говорил про себя:

— По вечерам я устаю, слаб, не могу работать. По утрам я ребенок, среди дня мне сорок лет, а вечером семьдесят шесть.

Раз Душан в 1905 году нашел его в кабинете заснувшим в кресле; этого раньше не бывало. Когда он вечером выходил к нам в залу таким утомленным старичком, Душан или Мария Львовна спешили разложить карточный стол и собрать ему приятную партию в винт. Последние годы он полюбил играть в винт, но только не со всеми. Когда я приезжала, он встречал меня словами:

— Вот хорошо, будем играть в винт.

Он любил играть со мной, вероятно, потому, что я играла так же дурно и так же весело, как и он. Мы никогда не огорчались и не обижались, если оставались без двух или без трех на большом шлеме. С сыновьями он не любил играть; они играли для нас слишком серьезно и притом всегда спорили, горячились; у дяди при этом дела-

лось жалкое, скучающее лицо. К картам прибегали еще в тех случаях, когда затевался какой-нибудь неприятный разговор с Софьей Андреевной или с кем-нибудь из сыновей. Лев Николаевич начинал раздражаться, Мария Львовна мигнет мне, и мы сейчас устраиваем винт. Он не всегда мог удержаться от раздражения, но всегда жалел об этом и часто уходил, обрывая разговор.

Но слабый ли, больной ли, старый ли, он все больше и больше горит любовью; это ощущает на себе всякий, соприкасающийся с ним. Придет ли к нему огорченный, несчастный, озлобленный — от него уходит большей частью утешенный и умиротворенный. ⟨...⟩

А. К. ЧЕРТКОВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Л. Н. ТОЛСТОМ

I

Зимой 1886 года (в половине декабря) мы с Владимиром Григорьевичем выехали из деревни Воронежской губ. в Петербург и по дороге решили остановиться в Москве. Лишь только мы приехали в меблированные комнаты (на Страстном бульваре), как явился Лев Николаевич и настоятельно просил переехать к ним в дом ввиду имевшейся свободной комнаты, так как «дочь Маша уехала» (не помню куда).

Итак, мы очутились у Толстых, в Хамовническом доме. Нас провел в комнату Марии Львовны сам Лев Николаевич. Никого из женского персонала я при этом не помню,— вероятно, Софья Андреевна еще спала, а Татьяна Львовна была, кажется, на уроке в школе живописи и ваяния.

Прямо из залы по узкому коридорчику — дверь налево. Это и есть комната Марии Львовны, длинная, узкая, с низким потолком, с провисшей на нем посредине матицей. (Все время, пока мы там находились, меня не покидал страх, что потолок провалится и нас задавит.) Дом, вообще, производил впечатление очень ветхого и давно не ремонтированного.

Мы прогостили у Толстых около недели, и это пребывание оставило во мне самое светлое воспоминание.

Самым ярким моментом стоит в памяти тот день, когда меня, захворавшую моим обычным припадком катара желудка и оставшуюся в постели весь день, посетил Лев Николаевич и просидел у меня довольно долго, наверное,

более часу. Это было днем, во время завтрака (который подавался поздно), я не выходила из своей комнаты, а Владимир Григорьевич ушел в город. Возможно, что была дурная погода и Лев Николаевич не выходил гулять.

Вот кто-то постучал в дверь... и вошел Лев Николаевич, неся в руках большую пачку корректур. Осведомившись кратко о моем здоровье, он, помнится, сказал что-то вроде: «Я не завтракаю в этот час, а хотелось посидеть с вами, пока вы одни, чтоб вы не скучали без мужа...» И он присаживается на стул около моей постели.

Я обращаю внимание на кучу корректур, которые он держит на коленях.

— Да, вот только что принесли из типографии... И я шел к вам, собственно, с тем, чтобы предложить вам почитать, если вам не скучно послушать... Это все то же — драма моя [1], все еще балуюсь, никак не разделаюсь с ней... Вы ведь знаете, что господа литераторы и театралы забраковали одно действие?

— Да, да,— говорю,— четвертое, знаю...

— Ну да, нашли, что слишком грубо, слишком по нервам бьет... Ну что ж, может, это и правда... Так вот я думал, думал, чем бы заменить помягче, чтоб не так шокировать их деликатные нервы... ну, и увлекся... Вспомнил тип отставного солдата, забавный был такой старик!.. [2] Да вот лучше послушайте. А корректура, кстати, чистая, вряд ли что придется исправлять.

И он стал раскладывать корректуры на столике возле меня.

Помолчав немного и усевшись поудобней, он начал читать... Боже мой, как он читал! Никогда я не слышала такого чтеца вообще, а этой вещи в особенности. Да нет, он не читал ее, а изображал, переживал, с увлечением входя в роль каждого лица... Я совсем забылась — где я, что я! Перед глазами так и оживали эти удивительные типы Митрича и Анютки. И Митрич говорит так естественно, грубоватым охрипшим голосом привыкшего выпивать солдата, и Анютка щебечет, как настоящая живая деревенская девчонка. А это ее прелестное «однова дыхнуть» произносилось как-то удивительно ловко, шепотком, с прихлебкой, будто она действительно выдыхает его из себя... [3]

Помню, что после чтения я спросила Льва Николаевича: «А зачем это Митрич все повторяет: в рот тебе пирога с горохом»?

Лев Николаевич вдруг засмеялся, затрясся даже:

— Да вот подите ж,— уж он таков!

И потом пояснил:

— Ведь русский человек не может без крепкого словечка, ему непременно хочется выругаться, так уж он привык, без этого не может... Ну, а Митрич, хоть и старый солдат, тоже, наверное, трехэтажными словами выражался, но все же, думаю, к старости он почище стал, поопрятней... Так вот я ему и сунул в рот поговорку, чтобы ему было чем душу отвести: «в рот тебе ситного пирога с горохом!..» И поговорка эта есть, я ее слышал именно от такого солдата.

Произнося ее, он делал ударение на первом слове: «в р-рот», с раскатом, остальные же слова произносил быстро, скороговоркой и притом оттеняя каждый раз по-новому, смотря по смыслу предыдущей фразы. Так, например, первый раз, где Митрич говорит: «Ишь, духу-то напустили! в рот им ситного пирога с горохом...» он произносит их громко, выразительно, с раскатом и с оттенком презрения. В другом месте, где Митрич негодующе ворчит на баб — на их злодеяние и на то, что девчонку напугали: «Настращали, право, паскудницы, в рот им ситного пирога с горохом!..» — фраза эта произносится вполголоса, сквозь зубы, как бы с отвращением. Когда он вспоминает девчонку-турчанку, найденную солдатами во время похода: «Девчонку-то мы Сашкой прозвали. Сашка, а! * хороша была. Ведь вот, все забыл, а на девчонку, в рот ей ситного пирога с горохом! как сейчас гляжу»,— он произносил эти слова нежно, с ласковым смешком, дряблым старческим голосом,— ужасно это мило у него выходило! Неподражаемо!..

Сам он так увлекался при чтении, что местами прорывался смехом и с видимым удовольствием поглядывал на меня, когда я тоже неудержимо смеялась. А в трогательных местах голос чтеца дрожал... а я, всхлипывая, бралась за платок... В одном месте он вдруг не выдержал, вскочил и выбежал из комнаты. Я оторопела и чуть не огорчилась, опасаясь, что чтение прервалось... Однако, слышу, за дверью он сморкается и откашливается... Значит, не ушел... Через минуту-две он входит с красными

---

* Мне помнится, что это «а!» он произносил раздельно, вроде как «ах!». А между тем в напечатанном тексте это «а» стоит не как междометие, а как союз. (*Прим. А. К. Чертковой.*)

глазами и, не глядя на меня, смущенно опять берется за корректуру.

— Докончим уж? А? Не устали?

— Ну, что вы, Лев Николаевич! Готова слушать хоть до самой ночи...

Место, так растрогавшее Льва Николаевича, было в пятом действии, там, где Никита, после слов Митрича, подымаясь, говорит: «Не велишь бояться людей?» — Это тот поворотный пункт, когда в душе Никиты совесть заговорила громче страха перед людьми.

Пренебрежение славою людской, поступки для души — всегда особенно трогали Льва Николаевича.

Он прочел целиком оба последние акта. И я, конечно, никогда не забуду его чтения.

После него я слышала несколько раз хороших чтецов «Власти тьмы», но все они меня не удовлетворяли, особенно в тех ролях, которые так удивительно читал Лев Николаевич: Митрича, Анютки, Акима... Вскоре после Льва Николаевича я слышала в Петербурге чтение А. А. Стаховича старшего. (Владимир Григорьевич пригласил его читать в дом своей тетки, Е. И. Шуваловой. Это было в январе 1887 г.) Стахович, несомненно, подражал Льву Николаевичу, от которого и «учился читать», как он сам нам сказал, и, в общем, читал хорошо, но все же далеко ему было до Льва Николаевича! А местами, в особенности Анютка и старик Аким (в последнем акте), у него звучали все-таки фальшиво — сантиментально, приторно, тогда как в чтении самого автора так все было *просто* и естественно и, вместе, так глубоко трогательно, как сама настоящая жизнь! И скажу без преувеличения, что никогда, ни в каком театре, никакие великие артисты не доставляли мне такого истинно-художественного наслаждения, какое я испытала тогда, во время его чтения, и которое до сих пор, тридцать восемь лет спустя, вспоминаю и как бы вновь с наслаждением и благодарностью переживаю. ⟨...⟩

III

Помню еще следующую сценку. Встав утром, Владимир Григорьевич, раздобыв мне в буфете стакан молока и кусок хлеба, ушел куда-то в город, а я без него собралась убирать комнату. Пошла искать щетку, чтобы подмести пол: по крутой лесенке спустилась вниз и очути-

лась в коридоре, около буфета. Там копошился уже слуга и еще кто-то. Обращаюсь к слуге:

— Где бы мне раздобыть щетку и тряпку пыльную?

— Да вам зачем беспокоиться, я сейчас пошлю кого-нибудь убрать у вас.

— Нет уж пожалуйста,— протестую я,— я сама хочу... Ведь Марья Львовна сама убирает.

— Ну, что Марья Львовна, они у нас не в счет.

— Ну вот и я хочу быть не в счет,— отвечаю я, смеясь.

Пожав плечами, он подает мне щетку и тряпку: «Извольте!» (А вид такой: «Забавляйся, мол, от скуки, мне что!»)

Убрав комнату, я открыла форточку и дверь, чтоб выпустить пыль (которой, признаться, было очень много, так что оставаться в комнате и дышать этим воздухом было неприятно). Забрав корректуры, полученные из «Посредника», я ушла в залу, где еще никого не было, и села в дальнем углу, около круглого стола. Слышу — шаги, и в залу сразу из разных дверей входят Лев Николаевич и сын его Лева, в то время еще гимназист, лет 16—17-ти. (По-видимому, день был воскресный, потому что он был дома.) Он собирался идти на каток кататься на коньках, но отец советует ему сначала приготовить уроки: «А то прогуляешь весь день и ничего не успеешь сделать. Покажи, что тебе задано? Принеси, я помогу, и мы скоро отделаемся».

Показалось ли мне или нет, но Лева будто бы отнекивается сначала, но потом все-таки соглашается и приносит свои книги и тетради. О том, как мы поздоровались со Львом Николаевичем, говорил ли он со мной,— ничего не помню. Помню только, что он говорит Леве:

— Вот тут и садись, а я помоционюсь после эмса...* Мы не помешаем вам?

— Нет, что вы, Лев Николаевич, быть может, я вам мешаю?.. Но я скоро уйду, у меня комната проветривается...

— Нет, нет, сидите, мы можем и при вас.

Но я все-таки забираю свои бумаги и перехожу к большому столу на диван.

Лева будто морщится и вяло, нехотя, залезает за стол, на диванчик, а Лев Николаевич не садится, а то стоит

---

* Лев Николаевич страдал камнями в печени и пил минеральные воды: то эмс, то виши. (*Прим. А. К. Чертковой.*)

около него, то быстрыми легкими шагами похаживает вдоль залы. Я с невольным интересом слежу за их уроком и удивляюсь обоим: как они непохожи друг на друга! Отец — это олицетворение жизни, энергии, интереса, *вкуса* к делу, к тому, чем он занят, как будто это не сыну, а ему заданы эти алгебраические задачи. А сын вяло, сонно, нехотя, без всякого желания напрячь свое внимание — ждет только «подсказки» отца...

Мне жаль и досадно на него: в то время Лева был дружен с Владимиром Григорьевичем, был и мне симпатичен, а потому мне вдвойне как-то неловко за него и жаль. «Зачем он такой?!» — думаю я про себя. А милый Лев Николаевич вовсю старается, чтобы возбудить его интерес и внимание, и то и дело задает наводящие вопросы и ждет: «Ну, ну,— что ж ты, не понимаешь разве?» А Лева грызет свой карандаш и — по глазам видно — не делает ни малейшего напряжения, чтоб понять задачу. И наконец, Лев Николаевич подсказывает сыну: «Ну, как же, братец, ведь это так просто, вот, смотри».

То же самое и с латинским переводом. Лев Николаевич наконец задает ему сделать упражнение самостоятельно, обещая прийти потом просмотреть, и уходит.

Мы остаемся с Левой одни, но он и не начинает писать, напротив, он то чертит что-то по бумаге, то откровенно, скучая, зевает и рассеянно посматривает на дверь в переднюю, с видимым желанием удрать из залы. И пожалуй, не будь меня, он бы так и сделал; но подозреваю, что ему все-таки неловко было передо мной, и он с видимой досадой поглядывает в мою сторону, так что и мне становится неловко: я чувствую, что мешаю ему, хочу уйти и начинаю уже собирать свою работу. В это время опять входит Лев Николаевич:

— Что, вы уходите? кончили вашу работу?

— Нет еще, Лев Николаевич, но я у себя кончу... Мне все-таки кажется, что я мешаю здесь...

— Да нет же, нет... Ну, а ты сделал что-нибудь? Ничего? Ах, ах! — закачал он головой и насупился. — Что же это, братец! Ведь этак мы долго провозимся... Ну, в чем дело?

Но сын упорно молчит и волчонком смотрит исподлобья в мою сторону, видимо, дожидаясь, пока я уйду. Я решительно забираю свои бумаги и ухожу.

— Такое трудное, черт его дери,— слышу я, ноющим голосом тянет юноша. И отец опять подсказывает:

— Ну-ка, давай, давай... Ну, пиши...

Боже мой,— думаю я про себя, уходя к себе в комнату, — как *его* дети не ценят того, что у них такой отец! Я представляю себя на месте Левы — что, если бы Лев Николаевич был моим отцом и пришел бы вот так же помогать мне готовить урок. Господи, как бы я была счастлива! У меня, кажется, удесятерились бы способности и внимание... А тут... Ах, глупый мальчик! Как он будет жалеть потом, когда состарится, что так небрежно относился к отцу...

IV

Однажды Владимир Григорьевич позвал меня и повел по коридору в кабинет Льва Николаевича: на правах его жены я могла теперь проникнуть в это «святое святых», куда лицам женского пола вообще входить, по мнению хозяйки дома, не полагалось...

Комната эта — меньше всех других и с низким потолком — прежде всего поражала скромностью обстановки; как этот кабинет не похож на все «кабинеты» всяких писателей и даже заурядных чиновников, виденные мною в Петербурге! Нет ни традиционного, зеленого цвета ковра, ни драпри на окнах и дверях, ни мраморного камина, ни, вообще, никакой роскоши. Мебель самая скромная, и ее очень мало: небольшой письменный стол налево, у окна, широкий клеенчатый диван, у стены направо, в углу, два-три стула или жесткие креслица — вот и вся обстановка.

Трепет охватил меня, когда я вошла в эту комнату: вот здесь, за этим столом с решетчатой загородочкой по краям, писалось большое Исследование Евангелия[4] в то время, как художник Ге писал портрет автора...

Нас собралось в комнате несколько человек — помню П. И. Бирюкова, и было еще двое-трое мужчин посторонних, но кто именно — сейчас не вспомню. Обсуждали программу сборника стихотворений, доступных по содержанию каждому, даже малограмотному, читателю, и притом хороших по форме. (Сборник впоследствии был назван «Гусляр»[5] — заглавие не вполне удачное и не совсем понравившееся Льву Николаевичу, но из предложенных в цензуру наименований единственное, не показавшееся тенденциозным.)

Павел Иванович прочел предлагаемый нами список стихотворений. Стали обсуждать. Лев Николаевич многое

посоветовал выкинуть. «Просеивайте, просеивайте как можно строже!» — говорил он.

А потом вдруг говорит:

— Что же это вы забыли моего любимого поэта? Вы знаете, кто мой любимый поэт? — спрашивает он, вдруг обращаясь ко мне.

Я замялась и — к стыду моему — совсем оплошала ответом.

— Кто же? — говорю я нерешительно, — вы любите Пушкина, я знаю, вы говорили... Но он вошел в список...

— Нет, нет, Пушкин не в счет... Нет, более современный,— подсказывает он.

— Фет? — нерешительно произношу я, зная, что Лев Николаевич дружен с поэтом, но внутренне удивляясь, чувствуя, что его стихи не подходят для нашего сборника.

— Ах нет, нет: у Фета есть, конечно, премилые стихотворения, но он писал для нас, господ-гастрономов, и притом — ни одного идейного, серьезного по содержанию он не написал... Нет, я имел в виду другого,— неужели не догадываетесь?.. — И он взглядывает вопросительно на Владимира Григорьевича.

— Тютчев...— произносит тихо Владимир Григорьевич, пощипывая свою бороду и, как мне кажется, смущенный за меня, за мою недогадливость.

— Ах, да, да,— Тютчев! Как это я забыла! — вскрикиваю я, совсем сконфуженная, как срезавшаяся на экзамене гимназистка.

— Ну конечно, Тютчев! — говорит Лев Николаевич и, покачивая головой: — Как же это вы забыли его? Впрочем, не только вы, его все, вся интеллигенция наша забыла или старается забыть: он, видите, устарел... Он слишком серьезен, он не шутит с музой, как мой приятель Фет... И все у него строго: и содержание и форма. Вы знаете какое-нибудь его стихотворение?

Я называю: «Слезы людские»...

— Да, и это, но есть и лучше этого, например «Silentium». Никто не помнит? Так вот я вам скажу, если не забыл еще...— «Молчи, скрывайся и таи и мысли и мечты свои»...— начинает он тихо и проникновенно, просто и глубоко-трогательно... Голос его слегка дрожит от внутреннего волнения... В памяти быстро запечатлелась вся его фигура во время чтения: вот он сидит, откинувшись на спинку сидения, руки положил на ручки кресла, голову немного склонил на грудь и ни на кого не глядит,

а устремил взгляд куда-то вперед,— но не вверх, а скорее вниз, в землю... Голос его звучит глухо и грустно... Чувствуется, что он сам пережил то, о чем говорит поэт. Чувствуется глубокое страдание одинокой души, и становится до слез жалко его... Я еле удерживаюсь, чтобы не заплакать... Я ведь была молода и счастлива, слишком счастлива личной жизнью, и мне казалось, что желание «одиночества» — удел *несчастливых* в личной жизни людей, вынужденных «молчать», когда душа хочет излиться перед кем-нибудь...

Словом, хотя настроение поэта лично мне было чуждо, тем не менее чтение Львом Николаевичем этого чудесного стихотворения заставило меня понять его смысл и вызвало живой, сочувственный отклик в моей душе...

Потом Лев Николаевич назвал еще два-три стихотворения Тютчева из его любимых, но тут же сказал:

— Они не подходят к нашему сборнику: слишком тонки, трудны, к сожалению, для понимания... [6]

Вдруг, во время разговора, послышались быстрые шаги за дверью. Лев Николаевич повернул голову и ждал. Кто-то стоял за дверью, но не входил, скрипнули чуть-чуть створки дверей, и показался темный край платья.

— Соня, это ты? — спрашивает Лев Николаевич.— Ну, что же ты стоишь там? Входи!

Вошла Софья Андреевна. Она наскоро кивками — направо, налево — здоровается с мужчинами и быстро подходит ко мне (я сижу в углу на диване):

— Я вот пришла за Анной Константиновной... Левочка, что же это ты *моих* гостей — дам к себе уводишь! Ну, мужчины — уж так и быть, твои гости, а *дамы* — это уж мои гости... Пойдемте, милая Анна Константиновна, ко мне в гостиную...

«Вот тебе и раз!» — думаю я про себя, предвидя скуку впереди, — «попалась мышка кошке» (я ведь помню, какой перекрестный допрос она мне учинила в первое мое посещение их дома). Но никто не заступается за мышку, все молчат, и я, делать нечего, покорно встаю и выхожу из комнаты вслед за шуршащей юбкой графиней.

Идя по коридору, уже у входа в зал, она, полуоборачиваясь ко мне, говорит:

— А у меня сидит премилая дама, баронесса М... (кажется, Менгден), я хочу вас с ней познакомить.

«Еще того недоставало», — думаю я про себя с досадой, и хочется тут же ускользнуть в дверь направо, в

свою (то есть Машину) комнату. Но она, будто поняв мою тайную мысль, быстро повернувшись ко мне, берет меня под руку:

— Пойдемте, пойдемте... Вот какая вы дикарка!.. Ведь вы уже теперь дама. Вам нельзя дичиться светского общества. А она, знаете, премилая и очень простая и даже поклонница Льва Николаевича. Вот вы увидите...

И мы под ручку входим в гостиную, где сидят две дамы. Одна из них, кажется, была кто-то из родственниц Толстых, гостивших в то время в доме. Другая дама — гостья, о которой шла речь.

— Вот, позвольте вас познакомить... (она называет ее по имени) с женой Владимира Григорьевича, — вы знаете — друга Льва Николаевича?

С кресла у дивана приподнимается фигура нарядно одетой дамы; подавая мне руку, она пристально осматривает меня всю — с головы до ног. Я сажусь по другую сторону стола, а Софья Андреевна на свое обычное место — на диванчике за столом. Баронесса обращается ко мне и любезным тоном заводит со мною разговор, интересуясь узнать: откуда мы приехали, куда едем, долго ли пробудем в Москве и тому подобные вопросы формального характера, и притом совершенно праздные, ненужные, потому что она, наверное, уже наперед была осведомлена хозяйкой дома о моей краткой биографии. Это я чувствовала по тону вопросов.

Вероятно, мои сухие, сдержанные ответы не поощряют к дальнейшей беседе со мной, и дамы снова возвращаются к своей, по-видимому, прерванной моим появлением беседе. Начинается самый пустой светский разговор, обычное переливание из пустого в порожнее. К тому же упоминаются лица, эпизоды, о которых я не имею ни малейшего понятия и которые меня нисколько не интересуют... Меня одолевает смертельная скука, я едва удерживаюсь от зевоты, даже голова разбаливается. (Таково уж странное свойство моей головы — от скуки разбаливаться.) Я рассеянно слушаю, потирая лоб рукой.

— Что, у вас голова болит? — обращает внимание Софья Андреевна.

— Да, вы уж извините, Софья Андреевна, я устала, и мне не совсем здоровится...

И я, простившись, выхожу из гостиной. Так ясно мне было, что графиня хотела меня демонстрировать перед

этой светской дамой, и мне было и противно, и смешно, и, главное, досадно на то, что прервалась интересная беседа в кабинете Льва Николаевича, куда я, однако, уж не решаюсь возвратиться одна...

V

Еще один раз помню я себя в кабинете Льва Николаевича: возможно, что это было в тот же приезд, а может быть, и в первое мое посещение, — я не уверена.

Это было днем, присутствует П. И. Бирюков и, насколько помнится, Мария Львовна (это обстоятельство дает мне основание думать, что случай этот происходил раньше).

Провел меня в кабинет Павел Иванович, предложивший посмотреть, «как Лев Николаевич шьет сапоги»... И мы вошли в маленькую низкую комнатку с одним окном (проходную перед кабинетом). Лев Николаевич сидел на низеньком табурете у окна, перед ним обыкновенный сапожный пенек, вокруг разбросаны принадлежности ремесла — кожа, дратва и пр.

Он слегка кивнул нам головой и продолжал, не отрываясь, вбивать гвозди в башмак. Мне показалось, что он нахмурился и недоволен нашим приходом, и мне становится совестно: так ясно, что мы пришли поглазеть, полюбопытствовать, как Толстой шьет сапоги... И я шепчу Павлу Ивановичу, что надо бы уйти... Лев Николаевич, должно быть, понял мое смущение и, уже приветливо улыбнувшись, говорит нам:

— А вы бы прошли в кабинет. Я скоро кончу, и тогда побеседуем, если хотите.

Я тотчас же прошмыгнула в дверь кабинета и от нечего делать остановилась около книжного шкафа, рассматривая заглавия книг на переплетах.

Тут же и Маша, и мы о чем-то тихо беседуем, тогда как Павел Иванович все-таки остался со Львом Николаевичем и, кажется, ведет с ним разговор на специальную тему — о сапожном мастерстве (в то время и он тоже учился сапожничать).

Вдруг он входит к нам и обращается ко мне с странной просьбой: «Лев Николаевич, узнав, что вы поете, просит вас спеть что-нибудь».

Я страшно смущена и не сразу решаюсь.

— Спойте, спойте, — настаивает и Маша.

— Что же? — спрашиваю я Павла Ивановича, затрудняясь в выборе.

— Спойте: «Благословляю вас, леса»...[7] это мое любимое, и у вас это так хорошо выходит, — говорит он.

— Ну, как же это, — пробую я возражать, — без аккомпанемента эта вещь сильно теряет.

— Ничего, ничего, помните, у нас в «Посреднике» — ведь тоже без аккомпанемента вы пели, а выходило прекрасно... Пойте.

Я начала петь, но почему-то без всякого воодушевления, холодно и робко... и чувствовала все время, что пою хуже обыкновенного... Я кончила... Молчание... Я чувствую, что ему не понравилось что-то — не то мое пение, не то сама вещь. Ну так и есть... Подходит Маша и шепчет мне:

— Папа не очень любит эти *новые* романсы. Он просит вас, не знаете ли вы что-нибудь из старых или из народных песен!

— Да, да,— раздается голос Льва Николаевича,— что-нибудь из народных песен!

Если бы это был не Лев Николаевич, то, наверное, я бы отказалась после первого неудачного выступления (признаться, я была избалована похвалами моему голосу, а потому неодобрение или равнодушное отношение такого судьи, как Лев Николаевич, как холодной водой меня окатило, и мне очень не хотелось продолжать). Но *ему* я не решаюсь отказывать и, подумав немного, пою снова:

«Я ли в поле да не травушка была...»

Кончила первый куплет и замолчала. (Остановилась я сознательно, чутьем угадывая, что дальше, где идет обработка мелодии более искусственная, со вставленными большими руладами, это не понравится Льву Николаевичу. И позднее я убедилась, что не ошиблась, когда другой раз мне пришлось петь ему эту вещь.) Тут же, когда я замолчала, я услышала голос Льва Николаевича из другой комнаты:

— Вот это совсем другое дело! Это прекрасно, очень хорошо. А что, это настоящее народное или композиция чья?

— Это того же Чайковского,— говорю я, — но, вероятно, он использовал какой-нибудь народный мотив...

— Да, да, и очень удачно во всяком случае; а если и сочинил, то ben trovato...* стиль выдержан... Это меня мирит с ним... Впрочем, у него вообще есть хорошие вещи,— например, для фортепьяно со скрипкой, я слышал... Он скорее мне приятен из всех этих новых композиторов.

И он говорит что-то на тему о музыке вообще и о народной в особенности... (не запомнила).

— Ничего так не люблю, как наши простые деревенские песни! Вот мои дочери — и Маша и Таня — славно поют под гитару. Когда-нибудь услышите...

А когда мы уже выходим из кабинета, он вдруг подает мне руку и шутливо произносит:

— Ну-с, позвольте вас поблагодарить за визит и... за ваше пение. А у вас действительно очень приятный голос, и Павел Иванович был прав, когда хвалил его. Особенно хороши у вас эти глубокие ноты. У меня даже в носу защипало. (Павел Иванович смеется.) Нет, правда, вы разве не знаете, не испытывали этого? — обращаясь к нему, говорит Лев Николаевич.— Когда что-нибудь растрогает, так здесь вот (показывает на переносицу) щиплет раньше, чем выступить на глаза... Не правда ли?.. Ну, так вот, слушая вас, — глядя мне в глаза, говорит он, — я испытал это с полным удовольствием.

Нечего и говорить, как эти слова с избытком вознаградили меня за первую неудачу!

Кстати, вспоминается и случай, когда мне пришлось другой раз петь для Льва Николаевича. Это было (определенно помню) в тот самый приезд, зимой 1886 года, когда мы вместе с Владимиром Григорьевичем гостили у Толстых. Это происходило в зале, вечером, в присутствии членов его семьи и кого-то из посторонних,— кажется, был старик Ге. Подозреваю, что на этот раз Владимир Григорьевич дает инициативу... Конечно, Лев Николаевич сам просит меня спеть,— иначе я не решилась бы выступить. Перед этим Сергей Львович — хороший музыкант — сыграл две-три вещи Шопена и еще что-то, очень хорошо. А я вообще трусиха и робею выступать перед знатоками музыки... Его просят аккомпанировать, и он любезно соглашается. Я выбрала несколько небольших вещей из моего классического репертуара. Хорошо запомнила отзывы Льва Николаевича каждой из этих вещей уже потому, что

* Хорошо сработано (*итал.*).

мне дорого было его мнение да и отметки (сделанные мною тогда) в нотной тетради моей сохранились. Помню — первая вещица была Глюка, маленькая ария из Орфея (я пою ее обыкновенно для начала, «чтобы распеться»).

Когда я кончила, Лев Николаевич говорит:

— Очень мило, но жаль, что коротко.

И еще сказал:

— Я знаю, много раз слышал другую арию, «Евредику» — знаете? А эту я что-то не помню. Ну-с, мы слушаем, что будет дальше?

Помнится, он сидит за шахматным столиком, недалеко от рояля (кто играл с ним партию, не припомню), а Владимир Григорьевич сидит рядом с ним. Затем я спела еще Генделя «Rinaldo» с малоизвестным вообще речитативом («Armida, dispietata»).

Прослушав его, Лев Николаевич говорит:

— Это мне знакомая вещь, то есть самая ария («Дайте мне слезы плакать о воле»), но речитатив этот тоже слышу первый раз, мне понравилось... И эта типичная генделевская каденция... — хорошо... (Это — о заключительных аккордах речитатива перед вступлением в арию.)

Потом следовал еще Stradella: «Pieta, Signore». Я спела лишь одну первую часть (вполне законченную), так как боялась, что слишком длинная вещь с повторением утомит Льва Николаевича. Когда я кончила, а в аккомпанементе шла заключительная фраза, я слышала, как Лев Николаевич нагнулся к Владимиру Григорьевичу и сказал ему тихо:

— Какой чистый и мягкий голос, очень приятный timbre.

Слова эти были мне как маслом по сердцу; хоть и совестно мне в этом признаваться и записывать их здесь,— но не могу противостоять желанию занести их на бумагу. Думаю, что отзывы эти лишний раз показывают характер вкуса Льва Николаевича в музыке и его чуткое, отзывчивое отношение к исполнителю. Не думаю, однако, чтобы он был снисходительным судьей и хотел польстить мне, наоборот — я убедилась, что он был очень строг в суждениях и не стеснялся порицать, когда ему что не нравилось, — я неоднократно бывала этому свидетельницей. Да и похвалы его пропетому мною сначала были очень сдержанны.

Более же всего ему понравилась одна действительно гениальная вещь Бетховена: «In questa tomba». Он даже встал с своего места и подошел к фортепьяно.

— Вот, я думал, что всего Бетховена знаю, а это совсем ново мне, и какая прекрасная вещь! Чудесно, чудесно!.. И спели вы отлично, очень, очень хорошо!..

И он стал просматривать ноты:

— А! здесь и немецкий текст есть?

Тут же стоит и Владимир Григорьевич:

— Не правда ли, Лев Николаевич, и содержание такое хорошее, такое трогательное и соответствует музыке? — говорит он.

— Да, да,— кивает Лев Николаевич головой, пробегая текст глазами.— Но слова для меня не так важны, а вот музыка — хороша!

И он присаживается к инструменту и пробует аккомпанемент:

— А ну-ка, как это место, напойте-ка еще раз!

И он играет: «Lascia que l'ombre ignude...»

— Давайте-ка я попробую вам проаккомпанировать еще разок сначала... Видите, как я вошел во вкус... Хочется поближе познакомиться с этой вещью...

Нечего и говорить, с каким восторгом я приступила к повторению этого номера, еще с большим воодушевлением исполнив его...

— Вот мы как! — шутливо проговорил Лев Николаевич, поворачиваясь ко мне по окончании пьесы:

— Не наврал я? Нигде? Очень рад! А мне прямо удовольствие! Не устали? Нет?

(Надо сказать, что он не везде справлялся с аккомпанементом, местами упрощая, но нигде не сбивался с такта, чутко следя за голосом.)

Кажется, тут же он просит меня спеть еще что-нибудь из старинных русских романсов:

— Например: «Я помню чудное мгновенье»,— знаете, конечно? Это мой любимый романс...

Но тут уж мне приходится отказаться:

— Я тоже очень его люблю, но петь не решаюсь, он у меня не выходит как следует, это не мой жанр.

— Ах, так вот как: и у вас есть свой жанр? — смеется Лев Николаевич.

— Ну, еще бы! — отшучиваюсь я, хотя никогда не считала себя «заправской» певицей...

— Ну, что хотите из вашего русского репертуара...

Кажется, я спела арию Ратмира — «Она мне жизнь» (из оперы «Руслан и Людмила»). Отзыва Льва Николаевича не помню.

В конце вечера он, встав из-за шахматного столика, опять обратился ко мне:

— Ну-с, а нет ли в вашем репертуаре чего-нибудь такого старинного, легонького, чтобы я мог бы вам проаккомпанировать целиком: видите, как я разохотился,— что-нибудь полегче?..

— Спой «Певунью-пташку»,— предлагает Владимир Григорьевич, выбирая по своему вкусу. Я объясняю Льву Николаевичу, что это очень старинный романс, самый любимый моего отца, по воспоминаниям о его брате, хорошем певце, когда-то побеждавшем сердца этим романсом.

— Ага! так у вас это в роду? — смеется Лев Николаевич.— Ну-с, давайте, давайте... Я серьезно вошел во вкус...

И он сел за инструмент. Я поставила перед ним ноты. Проглядев немного, пощупав слегка аккорды, он сыграл вступление, кое-где сфантазировал, но опять нигде не сфальшивил.

— Ну-с, начинаем, вещь не мудреная, кажется, совладаю...

Я пела и все время невольно следила за моим аккомпаниатором: какое у него мягкое туше, как он приятно сопровождает пение, ловко попадая в темп, все время *чувствуя* голос и следя за всеми оттенками звука и ритма. Эта редкая особенность, которой даже опытные аккомпаниаторы далеко не всегда обладают.

Воодушевленное им исполнение вышло действительно удачное — я это чувствовала.

— Прелестная вещь! Очень, очень мило! И очень хорошо это у вас выходит, так свежо, так юно... А ну-ка, повторите еще вот это местечко, отсюда...

И я повторяю второй куплет:

Как сладко льются песен звуки,
Как чудно слушать их...
В них есть и радости и муки,
Есть много чувств святых...

Ну-ка, еще этот, вот тут с модуляцией,— говорит Лев Николаевич, перескакивая через страницу.

Не для того, чтоб сладкой воли
Ее навек лишить!..

И когда я кончила куплет:

— Ну, уж кончайте для ансамбля,— говорит он, не отрывая рук от клавиш. И по окончании, встав со стула, говорит весело:

— Вот это я понимаю,— тут (жестом указывая на ноты) и музыка и чувство... Правда, что ритурнель эта немножко тривиальна — вертлявая какая-то, я бы ее выпускал совсем... Слова тоже пошловаты и сантиментальны, ну, уж это — как водится во всех романсах... Но это не беда, я не придаю значения словам, по мне — хоть бы их совсем не было! А главное — настроение, и такая простая, понятная мелодия, искреннее чувство... А исполнение было очень, очень хорошо,— так мило и грациозно это выходит у вас, прелесть! Лучше и желать нельзя!

И он даже пожал мне руку. Можно себе представить, как я была счастлива! А за меня — моему успеху чуть ли не еще больше радовался Владимир Григорьевич: он прямо сиял от умиления... Одно только его огорчало — это то (как он мне признался потом), что дамы — Софья Андреевна и Татьяна Львовна как будто не разделяли мнения Льва Николаевича и очень холодно обошлись со мной: ему показалось, что им неприятны похвалы Льва Николаевича. Я этого сначала не заметила и лишь потом почувствовала это, скорей в тоне, чем в словах. За чайным столом Софья Андреевна и Таня выражают мне свое откровенное удивление в том, что Лев Николаевич так «расхвалил» мое пение: «Он не признает других певиц, кроме Татьяны Андреевны (Кузминской), — а он находит, что она поет лучше всех знаменитых певиц»...

— Это совсем удивительно, что он так хвалил вас,— вы можете гордиться,— говорят они.

— Гордиться не гордиться,— отвечаю я,— но, конечно, я несказанно счастлива, что мне удалось доставить удовольствие Льву Николаевичу...

VI

Еще один эпизод, относящийся к этим дням, ясно выступает в моей памяти.

Это — приезд М. Г. Савиной ко Льву Николаевичу [8]. Помню — яркое, морозное утро. Большая зала хамовнического дома вся залита солнцем и имеет веселый и приветливый вид.

Я сижу на диване, за обеденным столом, и не то шью, не то читаю. В противоположном углу, за круглым столом, сидит Владимир Григорьевич со своими бумагами.

Вдруг пробегает лакей Фомич и, шепотом бросая на ходу: «Приехала Савина»,— быстро проходит в коридорную дверь ко Льву Николаевичу.

Я уже слышала накануне разговоры о том, что была получена из Петербурга телеграмма от Савиной с просьбой разрешить ей приехать.

Несколько минут спустя Фомич спешно возвращается.

— Ну, что? — не удерживаюсь я. (Мне интересно знать, где ее примут — в гостиной или в кабинете.)

— Велели провести к себе, — скороговоркой кидает он и бежит дальше.

Одновременно с этим в коридорчике, ведущем в кабинет, слышны поспешные шаги и разговор полушепотом,— я узнаю голоса Софьи Андреевны и Льва Николаевича; она что-то возбужденно, скоро говорит, хотя и стараясь сдерживать голос, а он спокойно, но твердо уговаривает:

— Пожалуйста, прошу тебя, душенька, уйди, оставь нас одних, прошу тебя очень...

Помню, меня удивила тогда его интонация и то, как он произносил эти слова — внушительным тоном, как бы подчеркивая их.

Голоса стихают... Но вот — слышу шорох шелкового платья; около других дверей — в гостиной, между портьерами, появляется фигура Софьи Андреевны: она стоит, вся подавшись вперед, придерживая портьеру одной рукой, а в другой держа лорнетку у глаз. Взгляд ее пристально устремлен на дверь в переднюю, в которой следом за тем появляется столь знакомая мне по сцене тонкая, грациозная фигурка знаменитой артистки. Лакей бежит впереди, указывая дорогу. Мария Гавриловна быстрым, легким шагом приближается прямо ко мне. Пока она проходит длинную залу, я успеваю рассмотреть ее во всех подробностях, которые и сейчас помню: она одета в коричневое, рыжеватого оттенка платье (я узнаю его; она играла в нем «Нору» Ибсена в первом действии,— меньше года назад я видела ее на сцене в этом костюме). На голове — темная круглая меховая шапочка над гладкими черными волосами; в руках, кажется, муфта, или какой-то сверток. Она быстрым, легким шагом подвигается

вдоль стены залы, но вот она вскидывает взгляд в сторону и вдруг, очевидно, увидев Софью Андреевну между портьерами, задерживается, делает шаг вправо,— одну секунду как будто колеблется, как будто хочет пойти по направлению к дверям гостиной: я догадываюсь — она полагает, что хозяйка дома вышла ее приветствовать. Но нет: графиня стоит неподвижно, ни улыбкой, ни кивком головы не обнаруживая желания выразить привет гостье,— она лишь упорно, не отрывая лорнетки от глаз, разглядывает ее... И Мария Гавриловна, будто поняв что-то, слегка сдвинув брови и опустив голову, опять продолжает свой путь и, уже не поворачивая головы, не бросив даже ни одного взгляда в мою сторону, ускоренным шагом проходит совсем близко от меня в маленькую дверь и скрывается за ней... Она прошла так близко, что я могла бы взять ее за руку, могла бы приветствовать ее, если бы была смелее (ведь я была немножко знакома с ней, встретив ее однажды в семье ее друзей Тарновских, у доктора Ипполита Михайловича, который нас тогда познакомил), но, конечно, я не решилась напомнить ей о себе в такую неподходящую минуту... Она оставалась в кабинете у Льва Николаевича — показалось мне — довольно долго, не менее целого часа, а может быть и дольше.

Домашние потом смеялись над тем, что Софья Андреевна подслушивала у дверей кабинета...

Вот, слышу — шаги и голоса: Лев Николаевич, провожая гостью, громко говорит, приближаясь по коридору. (Я нахожу более уместным встать и уйти в гостиную, пока они проходят в переднюю.) Жалею, что не запомнила, о чем они говорили, то есть говорил он, Лев Николаевич, а она молчала, и лишь на площадке лестницы, помню, раздается ее голос: «Не беспокойтесь, Лев Николаевич, не трудитесь спускаться, я найду дорогу!..» И Лев Николаевич говорит ей какое-то любезное прощальное приветствие, благодарит за визит и просит передать привет ее «товарищам артистам Александринского театра...». Голоса умолкают, и Лев Николаевич снова появляется в зале. Я выхожу из своей засады; мне, конечно, страшно интересно знать о впечатлении от этого незаурядного визита. Лев Николаевич идет мне навстречу,— он как будто угадывает вопрос в моих глазах и сам заговаривает:

— Ну, вот и с Савиной познакомились... Ну, что вам сказать?.. Она, право, очень мила и приятна...

И вдруг — осекся, замолчал, словно испугался, взглядывая на дверь позади меня... Невольно оглядываюсь и вижу Софью Андреевну...

— Ну, еще бы не приятна: молоденькая, кокетливая актриса!..— врезается в разговор ее насмешливый голос...

Лицо Льва Николаевича болезненно искажается и темнеет... Он ахает:

— Ах, ах, ну что ты, помилуй бог, зачем? — и, махнув рукой, он резко поворачивается и уходит к себе в кабинет...

Позднее в тот же день, вероятно, в ответ на расспросы Владимира Григорьевича, Лев Николаевич, в отсутствии Софьи Андреевны, более подробно поделился с нами о своем впечатлении от посещения Савиной; отзыв его мне запомнился, конечно, в общих чертах. Он говорил приблизительно в следующих выражениях:

— Она приезжала просить разрешения поставить «Власть тьмы» в свой бенефис [9]. Ну что ж, разве я могу иметь что-нибудь против?! Но ей хочется очень играть Анютку... Ну, тут я уж ее, кажется, огорчил,— нашел ее неподходящей для этой роли: Анютка ведь девчонка, не старше десяти — двенадцати лет. Она говорит: такую не найти! Помилуйте — ну, как же не найти? В театральной школе есть же ведь дети, не правда ли? Я и говорю ей: вот вы и поучите такую девочку... Тут я постарался ее утешить: сказал лестное о ее декламации. Ведь мы с ней прочли все-таки обе роли — Анютки, а потом Акулины... Я ей посоветовал: уж если ей играть, то Акулину, это больше ей подходит, хотя, она говорит, это не совсем ее emploi... [10] Все же она скромно так выслушивала и просила меня прочесть одну-две сцены, а потом сама читала, и, знаете, право, очень недурно, я никак не ожидал, она уловила верный тон... Да, она, видно, умница, понятливая и вообще так просто, серьезно держит себя, без всякого жеманства... Скажу искренне, она произвела на меня хорошее, приятное впечатление... <...>

Н. И. ТИМКОВСКИЙ

МОЕ ЛИЧНОЕ ЗНАКОМСТВО С Л. Н. ТОЛСТЫМ

I

Начало моего знакомства с Львом Николаевичем относится к 80-м годам.

Какими страшно далекими представляются мне они! Сколько с тех пор пережили мы исканий, настроений, разочарований!..

В жизни русского общества это было, поистине, глухонемое время: все звуки как будто замерли, и пустыня оглашалась одними зловещими криками шакалов. В воздухе повисла какая-то оторопелость, на лицах лежала печать унылого недоумения. Жизнь словно остановилась... Отовсюду пахло кладбищем.

Но живые силы, намеренно погруженные властной рукой в летаргию, продолжали бродить в глубоких недрах общества и народа, перегорая бесплодно в душевном подполье и судорожно порываясь наружу.

Одним из просветов был в то время дом Толстого в Хамовниках. Сюда и ринулась часть общества из мрачного склепа оцепенелой действительности.

Тогда уж действовала фирма «Посредника», были выпущены в миллионах экземпляров рассказы Льва Николаевича: «Чем люди живы», «Бог правду видит...» и другие. Тогда же Сытин, под влиянием Л. Толстого, принялся за очистку своих Авгиевых конюшен: переделывались «Милорды» и «Гуаки»,[1] издавались брошюры в духе Л. Н. Толстого.

К этой работе были привлечены многие, в том числе и я[2]. С тех пор мои отношения со Львом Николаевичем

не прерывались до того времени, когда он окончательно переселился из Москвы в Ясную Поляну [3].

Оглядываясь теперь на личность и деятельность Льва Николаевича за эти годы, я поражаюсь ее удивительной многогранностью. Не было, кажется, ни одной стороны жизни, ни одного вопроса, к которым Лев Николаевич не приложил бы рук. Я не буду говорить о его деятельности в голодовку 1891—92 гг. и о той горячей поддержке, которую он оказывал сектантам, в частности — духоборам: все это слишком известно и памятно.

Остановлюсь здесь на менее заметных проявлениях его всесторонней отзывчивости.

В Москве был в то время кружок, поставивший себе задачей — знакомиться с литературой для народа и снабжать сельские школы бесплатными библиотеками. Кружок этот вошел потом в обветшалый комитет грамотности и содействовал его возрождению. Лев Николаевич участливо следил за деятельностью кружка, поддерживал его своим сочувствием, сам читал книги, давал отзывы, выбирал, рекомендовал, что хорошо бы перевести, переделать, издать, и сам порой хлопотал об издании.

С самым трогательным уважением относился он к бескорыстным общественным работникам: «Как это хорошо, что они делают незаметно свое скромное дело, не гоняясь за популярностью! Вот так и надо жить и действовать».

Случалось, он деятельно участвовал в решении спорных вопросов. Когда брошюра «Посредника» «Гоголь, как учитель жизни» [4] возбудила среди интеллигенции жаркие дебаты, он горячо принял под свою защиту Гоголя, разыскал и передал мне свою статью о «Переписке» Гоголя, не законченную потому, что Льву Николаевичу, по его собственным словам, «не хотелось вступать в полемику с Белинским» [5].

Много времени уходило у него и на возню с самоучками, нахлынувшими к нему во множестве, иногда очень издалека.

Он именно «возился» с ними: читал и перечитывал по нескольку раз их рукописи, пристраивал, учил авторов, как надо писать, заботился об их образовании. Несмотря на высказанное им скептическое отношение к художественной литературе и поэзии, он начинал просвещение самоучек с наших классических авторов.

— Вот дал ему для почина Пушкина, — говорил он

мне как-то про одного крестьянина. — Потом дам ему еще кой-кого из наших... Себя-то я подожду давать.

Он высоко ценил в самоучках (преимущественно из крестьян) то, что они «не сочиняют», а дают настоящую жизненную правду; но это не мешало ему жаловаться на них: «Не хотят работать над своими произведениями. Думают: как написалось, так и ладно. А ведь надо без конца перерабатывать и брать каждое слово с бою...» И при этом любил приводить слова Репина: «Талантливый человек никогда не кончает»...

Внимание общества того времени было устремлено на моральные и философские вопросы. Лев Николаевич тоже очень живо интересовался ими и штудировал целые горы книг. Покойный профессор Грот, ставший близким в доме Толстого, нередко вел с ним философские споры и удивлялся обстоятельности, с какой Лев Николаевич изучил предмет.

Работая над книгой об искусстве, он перечитал целую библиотеку, все передумал, проверил тщательно, — словом, поступил так, как поступает добросовестный ученый, работая над диссертацией. Корректуры он переправлял по семи и более раз — и все-таки оставался неудовлетворенным, все хотел еще проверить, еще исправить, еще усовершенствовать...

Среди всевозможных работ и широкого общения с людьми, Лев Николаевич успевал следить за новостями литературы и науки, читал на нескольких языках и изумительно хорошо помнил прочитанное. Рядом с этим от его внимания не ускользало ни одно общественное событие или движение: комитет грамотности, научный съезд, заседания психологического общества... даже балаганы на Девичьем поле, для которых ему все хотелось написать что-нибудь «путное»... «Этим положительно стоит заняться» [6].

При изумительной разносторонности Лев Николаевич за всякое дело брался не как барин-дилетант, а как настоящий труженик. Стремление делать все как следует составляет, на мой взгляд, его органическую потребность: и учиться, и работать, и жить *как следует!*

Эта необычайная многогранность и редкая работоспособность, серьезное отношение ко всякому делу, даже незначительному, могли уживаться в нем с внутренней скрытой тревогой и каким-то хроническим нетерпением, которые я постоянно ощущал в нем...

II

Была еще черта, поражавшая меня в Льве Николаевиче, да и не меня одного. Мне приходилось нередко слышать от лиц, знакомых с ним, самые противоречивые отзывы. Одни, например, находили, что Лев Николаевич — прежде всего аристократ; другие утверждали, что он любит поклонение и не выносит, чтобы при нем кто-нибудь мог «сметь свое суждение иметь»[7], третьи восторгались приветливостью и сердечностью Льва Николаевича. Одни утверждали, что у Толстого прямо волчьи глаза, другие находили в них ангельскую кротость...

Скажу больше: у одного и того же лица получались от него впечатления, которых, по-видимому, невозможно примирить между собой. И сам я иногда на протяжении одного вечера видел перед собой двух, трех и больше Львов Николаевичей, не имеющих как будто друг с другом ничего общего: то это — человек, с которым нельзя разговаривать, а надо лишь сидеть и трепетно внимать его проповедям, как Моисей внимал гласу божьему на Синае [8], то это — великий человеколюбец, глубоко и ласково смотрящий в вашу душу; то — любознательный ученик, который жадно расспрашивает обо всем и удивляет своей почти детской впечатлительностью.

Иные странности, резкости, головокружительные парадоксы, которые ставили в счет Льву Николаевичу, объяснялись именно его страшной впечатлительностью. Порой какая-нибудь мелкая житейская подробность в рассказе посетителя так поражала Льва Николаевича, что он приходил в непонятное для окружающих волнение: вдруг вспыхивал гневом или готов был заплакать. Очевидно, он в одно мгновение ока рисовал себе целую потрясающую картину жизни, и она всецело захватывала его.

Мне думается, что этою же впечатлительностью объяснялись некоторые крутые перемены в его взглядах: весьма возможно, что здесь играли роль впечатления, запавшие когда-то глубоко в душу Льва Николаевича.

Для объяснения многих странностей и противоречий, приписываемых ему, необходимо также принять во внимание, помимо сложной и вместе стихийной натуры Льва Николаевича, помимо страшного брожения, какое он переживал в описываемые годы, еще и своеобразную обстановку, в которой приходилось ему жить и работать.

Вспоминаю теперь дом Толстого, и передо мной вырисовывается какой-то невероятный калейдоскоп. Самые разнообразные люди приходят, уходят, соединяются наверху у Льва Николаевича или внизу, в столовой, в гостиной в чрезвычайно прихотливые группы.

Тут — все, начиная с знатного иностранца, приехавшего в щегольском ландо, и кончая самоучкой-поэтом, который пришел пешком за полтораста верст, чтобы показать Льву Николаевичу свои «Песни и думы».

В те годы популярность Льва Николаевича росла с каждым днем. Казалось, им полна была не только Москва, но и вся Россия. Паломники тянулись со всех концов в Хамовнический переулок...

Многие направлялись к нему с таким чувством, с каким правоверные шли к оракулу.

Городская учительница отдает на решение Льва Николаевича вопрос «Выходить ли ей замуж за простого мужика?», издатель покорнейше просит написать ему предисловие к книге, гимназист приходит побеседовать о половой жизни и исповедаться перед Львом Николаевичем, революционер является поспорить о «непротивлении», духовное лицо пытается вернуть Льва Николаевича в лоно православия...

Как сейчас вижу перед собой его низенькую комнату па антресолях, уставленную старинной кожаной мебелью...

Собрались посетители. Сам Лев Николаевич сидит за столом среди комнаты, накинув плед, потому что из окна поддувает. Загородившись от стоячей лампы ладонью, Лев Николаевич смотрит из-под щитка своими проницательными глазами на собеседника, предводителя дворянства, приехавшего откуда-то издалека. Рядом с ним — студент, который идя к Гроту, надевает манишку и сюртук, а отправляясь от него к Толстому, считает долгом переодеться в блузу и высокие сапоги. Вдоль стенки разместились земские врачи из Сибири, один московский ученый, еще кто-то, похожий с виду на послушника, но отнюдь не послушник... В углу сидит пожилой купец из «раскаявшихся», цитирующий теперь Льва Николаевича, как прежде цитировал Священное писание.

Входит старый знакомый Льва Николаевича, начинаются обычные фразы о здоровье и новостях... «Ну, мы поиграли с вами разговорным мячиком,— говорит Лев Николаевич,— а теперь давайте о деле»... И он тотчас же

заговаривает о том, что его в данный момент всего больше волнует. Разговор мало-помалу становится общим.

Врачи сообщают о громадном впечатлении, какое производят на народного читателя книжки Толстого: «Это громче всяких барабанов, сильнее всяких пушек!» Беседа идет мирно, дружно... Но вот один из врачей замечает:

— Только зачем вы, Лев Николаевич, вывели ангела в «Чем люди живы»? Без него еще лучше было бы... А то ведь это — мистицизм.

— Если бы я мог без помощи ангела выразить свою идею, я бы сделал это,— возражает благодушно Лев Николаевич,— но я не знаю, как это сделать, не умею. Напишите мне то же самое без ангела, и я приду к вам учиться...

Но собеседник не унимается: он начинает доказывать, что не следует поддерживать в народе мистических суеверий, что надо прививать ему научное миросозерцание... Тут Лев Николаевич не выдерживает: вскакивает с места и, почти бегая по небольшой комнате, начинает громить и науку, и медицину, и врачей, не боясь сильных и очень щекотливых выражений... *

— Вы разрежете кусок мяса — и думаете, что познали и душу, и весь мир. И страсть, как довольны собою: точно ребенок, разломавший игрушку! Да вы слепые, слепые! Вы хуже слепых!..

Теперь он — уже не философ, глядящий на все с высоты птичьего полета, а неукротимый боец, готовый ринуться в свалку.

Но являются новые посетители, все с новыми и все с неотложными делами, и Лев Николаевич радушно просит всех вниз в столовую пить чай.

А там тоже сидят люди в ожидании Льва Николаевича и готовят для него новые дела, новые вопросы...

Помню вечера, когда дом Толстого становился буквально каким-то кинематографом: беспрестанно мелькали знакомые и незнакомые лица, сменялись посетители, дела, вопросы, разговоры... В глазах пестрело...

Лев Николаевич был положительно мучеником своей популярности... Даже в Преображенской больнице среди сумасшедших шли беседы о нем, и на Льва Николаевича возлагались особенные надежды, как на могущественную

---

* То, что гр. Софья Андреевна называла «нечистоплотными» словами (*Прим. Н. И. Тимковского.*)

светлую силу, неподкупную, непогрешимую, способную разогнать всякий мрак.

Один мой знакомый клиент Преображенской больницы, страдавший буйным помешательством, даже писал оттуда Толстому, прося его убедить врачей, что он — вовсе не помешанный, тогда как они-то вот проявляют все признаки умственного расстройства...

Другой мой знакомый, пьяница-босяк, помню, говаривал в светлые минуты:

— Уже не знаю, право, что делать? Или покончить с презренным существованием, или сходить к Льву Николаевичу? Последняя надежда!..

Ввиду такой популярности не удивительно, что вокруг Льва Николаевича создавалась порой неестественная атмосфера, в которой он не мог не испытывать неловкости, несмотря на весь свой ум, такт и привычку быть среди людей.

Представьте, например, такую картину. Гостиная полна народу... Приехал Фет, старый приятель Льва Николаевича. Он рассказывает легкомысленные анекдоты (как «Кавель убил Кавеля»), напоминает Толстому про общие старинные проказы («как, бывало, шампанское-то тянули! Помните?»). Лев Николаевич невольно морщится,— не из лицемерия, а потому, что это идет совсем вразрез с его настроением, глубоко вдумчивым и сурово-серьезным.

Тут же — дама южного типа, появляющаяся всегда с колоссальным ридикюлем, набитым рукописями. Она читает в упор Льву Николаевичу свою новую хвалебную статью о нем, полную самых необузданных эпитетов в честь Толстого. А раскаявшийся купец, сидя скромненько в углу, гудит оттуда все время кстати и некстати: «Главное дело — по-божески надо... чтобы, значит, все — по совести, по правде... Творить волю пославшего».

Видно, что Лев Николаевич чувствует себя не совсем ловко: ему жаль обидеть и Фета, и восторженную даму, и этого добродетельного дятла, выстукивающего свое однотонное: «Твори волю пославшего... твори волю», — а вместе с тем он ощущает во всем этом что-то неладное, приторное.

Но вот дама, повторив несколько раз с экзальтацией: «Наш гениальнейший... гениальнейший!..» кончила чтение и требует от Льва Николаевича отзыва. Он смущен: в статье превозносятся любимые идеи Толстого, но еще больше превознесен, захвален «до неприличия» он сам.

Это его коробит, но не хочется обидеть дамы... Он обращается ко мне, как «к свежему» человеку... Я говорю, что читатель почувствует в статье личное пристрастие автора к Толстому — и это помешает ему отнестись доверчиво к содержанию. Лев Николаевич облегченно переводит дух:

— Вот, вот! Именно — пристрастие! В самом деле, это как-то неловко... Это уж, лишнее...

Людей, толпившихся вокруг Льва Николаевича, было очень много. Тут были, во-первых, старые знакомые Толстых. Может быть, иные из них и сочувствовали новому учению Льва Николаевича, но в глубине души, думается мне, оставались безнадежно далекими от всей его внутренней ломки и религиозно-моральной революции.

— Ах, измучил меня этот старик! — признался мне как-то Лев Николаевич, рассказывая про одного старинного знакомого, — он говорит о чем угодно и всему поддакивает... и все это — для того только, чтобы посидеть мирно за самоваром. У меня от него голова разболелась.

Другая категория людей из свиты Льва Николаевича принадлежала к числу любопытствующих, которые поставили себе целью осматривать все достопримечательности: в Москве — Толстого, в Петербурге — Иоанна Кронштадтского. Приедут — и стараются высосать поскорее из Льва Николаевича какое-нибудь новое изречение, чтобы потом передавать его во все стороны. Не спорят, даже не разговаривают, а спешат согласиться и записать знаменательные слова в своей памяти. Этих интервьюеров, равнодушных ко всему на свете, кроме диковинок, Лев Николаевич очень недолюбливал, но, не желая обижать, бывал терпелив... впрочем, не всегда. Иной раз в нем кипело глухое раздражение, и заметно было, что он с трудом сдерживается. Мне казалось в такие минуты, что он раздражен против всех на свете, и больше всего — на самого себя...

Нередко возбуждали в нем досаду бесчисленные просьбы дать свою фотографическую карточку или автограф: «Ну, как не совестно жить такими пустяками?..»

Другой лагерь, и немалочисленный, составляли поклонники и последователи, правоверные толстовцы, не употреблявшие даже чаю, убогие, бескровные, лишенные страстей и воображения. Они-то, на мой взгляд, и вносили всего более фальши в атмосферу, окружавшую Толстого, хотя и силились быть простыми и искренними. Они тоже не спорили, а подхватывали мысль Льва Николаевича, старательно развивали ее и утрировали.

Толстой благоволил к ним не потому, что они на него молились, а потому, что были (далеко не все, конечно) последовательны до конца — ведь это встречается в жизни не часто. Иные из них не блистали умом и воображением, но зато обладали недюжинной волей, не останавливались ни перед лишениями, трудами и жертвами, ни перед самыми крайними выводами, благодаря которым многие приобретают репутацию свободных мыслителей. Лев Николаевич всегда уважал последовательность, цельность, согласие между словом и делом. Недаром писал он в «Исповеди», что его могли бы убедить в истине только «действия», поступки людей. ⟨...⟩

Толстовцы никогда не прорывались, а Толстой прорывался... Среди бесконечных хитросплетений о «разумном сознании» вдруг попросит сыграть ему из Шопена или, наслушавшись кротких речей на тему о непротивлении, разразится бранью против Победоносцева, Синода и предержащих властей. «Да ведь это же совершенный мерзавец!» — вдруг выделяется его голос.

Однажды, когда толстовцы решали роковой вопрос: «Позволительно ли, с точки зрения разумного сознания, пить чай, ввиду его возбуждающих свойств?», Лев Николаевич в разгар спора вдруг обратился ко мне: «А нет ли у вас папиросы?» — и потом виновато прибавил: «Бросил курить... а все, знаете, тянет»... ⟨...⟩

IV

Мне постоянно приходилось наблюдать в личности Льва Николаевича черты указанной двойственности. В то время, как толстовец серьезничал по поводу самой невинной шутки, Лев Николаевич острил, каламбурил, представлял, как лает мужицкая собака и как — господская, рассказывал анекдоты — больше из простонародной жизни.

В противоположность всегда строгому стилю тогдашних фанатических толстовцев, Лев Николаевич обожал добрый смех, восхищался юмористическими шедеврами Чехова, вспоминал его «Налима» и жалел, что в литературе так мало неподдельного юмора и здорового, наивного комизма.

Как и толстовцы, он относился к стихам отрицательно: «Хорошо написано, только жаль, что — стихами. Это

все равно, как если бы человек, желая пойти куда-нибудь, предварительно связал себе ноги...» Но когда один из его знакомых попросил Льва Николаевича просмотреть стихотворения Тютчева и высказать о них свое мнение, он основательно проштудировал книгу и испещрил ее своими замечаниями: «Тонко... глубоко... поэтично... чутье к природе... просто и изящно»... и прочее в этом роде, ясно указывающее на то, что Лев Николаевич наслаждался поэтом, прочувствовал Тютчева, быть может, острее и полнее, чем любой профессиональный критик.

Толстовцы священнодействовали даже там, где надо было смеяться, а Лев Николаевич, устав от метафизики, показывал профессору Гроту, как делать из бумаги петушков...

Хотя Лев Николаевич и тогда уже исповедовал страстно принцип непротивления, но никогда не казался мне человеком смирившимся в каком бы то ни было смысле, чего не могу сказать о большинстве толстовцев, которых я встречал. Все в нем — глаза, манеры, способ выражения — говорило о том, что принцип, заложенный в него глубоко самой природой, — отнюдь не смирение и покорность, а борьба, страстная борьба до конца. О том же говорят и произведения его, навлекшие на автора гнев сильных. Многие страницы их дышат вызовом, горечью, негодованием, сарказмом, а иные можно прямо сравнить с ударами бича.

Да, наконец, если бы он действительно был такой «непротивленный», то вряд ли нажил бы себе столько яростных врагов, возбудил против себя такую бурю ненависти и проклятий... вплоть до знаменитого отлучения.

В том-то и дело, что все невольно чувствуют под налетом непротивления натуру непримиримого бойца, умеющего негодовать, бичевать и пробуждать в других воинствующий дух! Каменная стена, давно уж стиснувшая русскую жизнь и душу кольцом, всегда была для Льва Николаевича ненавистна.

— Надо во что бы то ни стало разрушить эту стену, — твердил он с страстным убеждением.— Каждый из нас должен колупать эту стену хоть ногтем... Каждый должен хоть камешек вынуть из нее... Толкать, бить, пробуравливать, чтобы наконец изрешетить ее!.. Нельзя успокаиваться, примиряться, пассивно складывать руки... Давайте же все «колупать стену»! 〈...〉

А. М. НОВИКОВ

ЗИМА 1889—1890 годов В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(Картины яснополянской жизни в 1890-х годах)

Семья Толстых, жившая уже много лет по зимам в Москве, решила в 1889 году, по настоянию Льва Николаевича, поселиться в Ясной Поляне. Двум младшим сыновьям, Андрею и Михаилу Толстым, предстояло готовиться к поступлению в гимназию, и я, только что кончивший тогда математический факультет, получил приглашение занять место учителя.

В конце сентября 1889 года я приехал в Ясную Поляну[1]. ⟨...⟩

Жили в Ясной Поляне недружно. С одной стороны, текла жизнь богатой помещичьей семьи, причем все хозяйство и домоводство вела графиня; она смотрела за воспитанием и учением детей, вела книгоиздательство, посылала собирать арендную плату за землю, судилась с мужиками за самовольные порубки и потравы; дети, домочадцы, прислуга обращались за разрешением всех вопросов исключительно к ней. Рядом шла совершенно отдельная жизнь Льва Николаевича. Он нисколько не интересовался ни практическими делами, ни хозяйством, ни обучением и воспитанием детей, ни недоразумениями между прислугой и домочадцами и был погружен исключительно в свою внутреннюю работу[2].

Работал Лев Николаевич по одному и тому же раз заведенному порядку, который никогда и ни для кого не нарушался. Вставал около восьми часов утра... чистил свое платье, мел свои комнаты ⟨...⟩. Затем Толстой одевался летом в какое-то серое пальто и мягкую, неопределенной формы шляпу, зимой — в валенки и полушубок — и

отправлялся на прогулку всегда один. С прогулки он возвращался около десяти часов, пил ячменный кофе и шел в кабинет работать. В это время ему никто не должен был мешать. Кабинет его был внизу — комната под сводами, отовсюду отделенная глухими стенами и пустовавшими запертыми комнатами, куда не доходила сутолока дня. Иногда Лев Николаевич появлялся ненадолго во время завтрака в двенадцать часов, перекидывался с кем-нибудь одной-двумя фразами и тотчас уходил опять к себе и продолжал работать до трех-четырех часов дня.

После работы он одевался, снова выходил на прогулку, и тут обыкновенно гулял с кем-нибудь из гостей, любил разговаривать и идти со встречными крестьянами, причем был всегда оживлен, смеялся искренне и увлекательно своим уже беззубым ртом, принимал посетителей, дожидавшихся его у «дерева просителей», как называлось самое большое старое дерево, стоявшее неподалеку от крыльца.

Возвращался к обеду к пяти часам. За обедом всегда заходил разговор на тему, которая потом неизменно попадалась когда-нибудь в произведениях Льва Николаевича. После обеда Лев Николаевич несколько времени еще оставался в зале, разговаривая с гостями, затем около восьми часов вечера опять спускался к себе — писать дневник. К десяти часам он снова поднимался наверх и оставался здесь до двенадцати или до часа ночи, когда получалась почта со станции Козловка. Ее наскоро разбирал Лев Николаевич, отбирал свои письма, которые частью прочитывал, частью забирал с собою, и спускался спать.

Вечер посвящался, если в сборе была семья или гости, чтению. Читались французские и английские романы, русские произведения, которые присылались Толстому. Читал часто сам Лев Николаевич, и читал всегда очень выразительно. Особенно любил он читать Слепцова, и из Слепцова у него было два любимых произведения: «На постоялом дворе»,— и глаза его оживлялись, в голосе появлялись вибрирующие интонации, его самая простая, обыкновенная дикция была полна естественного юмора, и он сам и слушатели покатывались со смеха, и «Шпитонка», которую Толстой никогда не мог дочитать до конца. Вначале его чтение этого рассказа по обыкновению было очень выразительно, но под конец глаза заволакивались, черты лица заострялись, он начинал останавливаться, старался преодолеть свое волнение, всхлипывал, совал

кому-нибудь книгу, вынимал платок и поспешно уходил в будуар графини[3] (чтение происходило за круглым столом, двери в будуар были ближайшими к этому столу).

Если было мало народа или читать было нечего, Толстой садился играть со мной в шахматы, и если ему случалось выигрывать, он всегда заявлял:

— Это уж Алексей Митрофанович нарочно мне поддался.

Играл он действительно плохо, но очень серьезно и внимательно.

Разговоры наши с Толстым начались вскоре же после моего приезда. Я был революционер, позитивист и материалист или, по крайней мере, воображал себя таковым, и Толстой сразу пошел на штурм моих убеждений, доказывая мне, что государственное устройство — это только циферблат часов, а не внутренний механизм их; оно само является результатом нравственного и религиозного уровня общества, а не наоборот. Думать, что какое бы то ни было государственное устройство может сделать людей лучше, это все равно что переводить стрелку часов и воображать, что этим исправляешь их внутренний механизм. Материя есть наше представление, а представление не есть следствие материи. Дорого и нужно не положительное знание, а знание того, что мне нужно изучать, и это первый вопрос, который надо человеку решить, а мы откладываем решение этого вопроса и говорим себе: «Постой, дай я сначала изучу то-то и то-то, и тогда положительно и досконально узнаю, что мне изучать». Для подкрепления своих положений Толстой дал мне читать свое сочинение «О жизни», но я его прочел уже много спустя после его смерти, потому что его живое слово заменяло мне мертвую книгу. Я отстаивал свои убеждения, по-видимому, довольно примитивно и этим выводил Толстого из себя. Кончалось дело тем, что он начинал говорить со мной неприятно и резко. Мне становилось обидно и горько, я замолкал и уклонялся от продолжения спора. Толстой сразу замечал перемену моего настроения: от его быстрого взгляда исподлобья мне ни разу не удалось скрыть ни одного движения души в продолжение всех тех 17 лет, когда я часто встречался с ним и бывал в Ясной Поляне.

Заметив мое волнение, Толстой обрывал спор и уходил к себе, а через полчаса поднимался опять наверх, подходил ко мне и искренне просил меня:

— Ну простите меня за мои грубые и глупые слова, и перестанем спорить.

Однако спор все равно возобновлялся часто в тот же вечер, хотя Толстой только раза два-три не сдержался со мной за все то первое время, когда мы еще спорили с ним. Скоро Лев Николаевич переменил со мной тактику: наметив мои слабые места, где я обнаруживал податливость и между нами были точки соприкосновения, он именно здесь привлек меня к общей работе и в процессе этой работы во многом уже переубедил меня.

Первым таким делом была школа. Очень поместительная и просторная изба садовника у ворот усадьбы была превращена в школу для деревенских яснополянских детей [4]. Обучались дети грамоте, счету по азбукам Толстого, по его сказкам. Обучение взяла на себя Мария Львовна, помогали ей случайные гости, главным образом последователи Л. Н. Толстого, приходившие проведать его (Е. И. Попов, Алехины, И. И. Горбунов-Посадов, В. В. Рахманов и др.). И вот к этой-то работе привлек Лев Николаевич и меня. Марья Львовна оставила себе младшее отделение, я взял старшее. Приходил я в школу после завтрака, около часа, и оставался в школе до темноты, и часто читал что-нибудь детям и вечером при лампе. Толстой часто заходил в школу. Но школа просуществовала только месяца два: священник из соседнего села донес о существовании никем не разрешенной школы, приехал благочинный, навел следствие, чему учат детей, ужаснулся, что не учат молитвеннику и «закону божьему». Затем приехал инспектор, детей разогнали, книги конфисковали, школу запечатали, а с графини С. А. Толстой взяли подписку, что впредь она не допустит устройства у себя школы, и поздравили ее, что она благодаря протекции губернатора еще дешево отделалась, а то сидеть бы Марье Львовне и всем нам в Тульском остроге. На этом и кончилась в Ясной Поляне моя работа по просвещению народа, чтобы начаться потом и претерпеть совершенно то же в другом месте, в глухом Мещерском болотистом крае Рязанской губернии, куда я уехал работать через несколько лет земским врачом.

Вторая работа, на которой опять мы сошлись со Львом Николаевичем, была приведение в порядок яснополянской библиотеки. Книг было много, 13 шкапов, и книг самых разнообразных: и исторических, и религиозных, и беллетристических, много книг на древнееврейском и гре-

ческом языках. К какой бы работе ни приступал Толстой, он начинал с ознакомления с предметом в подлинниках. Чтобы написать «Войну и мир», он перечитал сотни томов по истории Наполеона, мемуаров и печатных и писаных. Приступая к изучению Евангелия и Библии, Толстой изучил древнееврейский и греческий языки, прочел книгу Ветхого завета с московским раввином Минором. И все эти книги были свалены без описи, без всякого порядка, в 13 шкапах. Я не мог отнестись равнодушно к участи такого культурного богатства и засел за составление каталога и за расстановку книг. Толстой часто заходил ко мне, проводил со мной подолгу время в беседах об этих книгах и бывал в высшей степени ласков. Как-то зашел разговор о высшей математике, о дифференциалах. Толстой, возмущавшийся вообще научным волапюком, стал возмущаться и теперь:

— Это какой-то фокус: dx — и ноль и не ноль. Если он ноль, так это не dx; а если это какой-то dx, тогда это не ноль. И простому, неисковерканному, человеку понять ничего нельзя.

— Ваше возмущение,— сказал я,— совершенно напрасно, Лев Николаевич. Dx — это и не ноль, и не величина.

— А что же это такое?

— Это — символ, символ того, что данная величина бесконечно приближается к нолю.

— Ах, символ?!

Толстой ушел в себя на несколько мгновений, а затем чрезвычайно просто, без всякого задора спросил меня:

— Почему же этого нигде не сказано, вот так просто, как вы это сейчас объяснили?

— Может быть, не теми же словами, но именно в этом смысле везде сказано.

— А я никак не мог выбраться из этого противоречия, когда читал дифференциальное исчисление.

— Если вас это интересует, давайте я с вами пройду дифференциальное исчисление.

— Очень хорошо, давайте, давайте.

У нас было несколько уроков по дифференциальному исчислению. Толстой был очень внимательным и покорным учеником. Но когда мы дошли до дифференцирования тригонометрических функций, Толстой сказал мне: «Нет, не надо это мне, ни к чему», и наши уроки

прекратились. Но какое-то сравнение из пройденного курса он все-таки вставил потом в свои статьи.

Вскоре после моего приезда в Ясную Поляну приехал туда один из последователей Толстого, Владимир Васильевич Рахманов, с тем чтобы переписывать «Крейцерову сонату», которую тогда доканчивал Толстой. Рахманов был мой товарищ, один из того же числа молодежи, увлекавшейся сначала революционным движением восьмидесятых годов, а потом остановившихся перед террором, к которому свелась борьба с самодержавием, один из растерявшихся людей, к которым принадлежал и я. Часть из нас вернулась в ряды православия, как М. А. Новоселов, В. Ф. Орлов, а другие очутились на распутье и теперь с горячностью ухватились за учение Льва Николаевича, осмыслившее для них жизнь. Рахманов поселился в комнате рядом с кабинетом Льва Николаевича и целые дни проводил в переписке «Крейцеровой сонаты», в то время как Лев Николаевич писал «Послесловие» к ней. Лев Николаевич ходил с ним гулять, относился к нему чрезвычайно любовно и торопился окончить «Послесловие», чтобы дать возможность Рахманову увезти с собой всю «Крейцерову сонату», но сделать это ему не удалось, и «Послесловие» доканчивалось еще в январе 1890 года, даже чуть ли не до апреля месяца.

Во время одной из таких прогулок Лев Николаевич передал Рахманову рассказ А. Ф. Кони о том, как судили одну проститутку, обвинявшуюся в краже, и во время процесса один из присяжных заявил, что он не может судить эту женщину, потому что он сам отнял у нее невинность и толкнул на ту дорогу, по которой она дошла до преступления. Передав этот рассказ Кони, Лев Николаевич предложил Рахманову обработать его. Рахманов стал горячо убеждать Льва Николаевича самому взяться за этот сюжет. Разговор об этом возобновлялся у них несколько раз, и однажды, уже в зале, при мне, Лев Николаевич, поддавшись, по-видимому, энтузиазму Рахманова, сказал ему:

— Ну, подумаю, подумаю. Но если я напишу его, я посвящу его вам.

— Ну, вот когда я вознесусь на небо живым от гордости,— ответил Рахманов.

Рассказ был написан, — это всем нам хорошо известный роман «Воскресение», но без всякого посвящения.

Молодых людей, последователей Толстого, всегда скромных и тихих, приезжавших с ним побеседовать, сильно недолюбливала Софья Андреевна. Их демократизм, смазные сапоги или лапти, поддевки, полушубки, заношенное белье, рубашки, подпоясанные ремнями, а главное, то, что они ни на кого и ни на что не обращали внимания, кроме Льва Николаевича и его бесед, встречало самое враждебное отношение с ее стороны; она прозвала их «темными» и старалась всеми силами как можно меньше допускать их в дом. На этой почве не раз происходили объяснения между Львом Николаевичем и женой, и после одной реплики со стороны жены, сказанной в повышенном тоне, Лев Николаевич, всегда крайне сдержанный и обладавший огромной волей, с блестящими глазами начал было горячо говорить: «Эти все аргументы я отношу к известному разряду»... Но, оглянувшись и увидав меня с сыновьями, тотчас же замолчал и ушел к себе в кабинет.

Всегда занятый своей духовной работой, углубленный в свою работу самосовершенствования, Толстой относился равнодушно к окружающему и иногда делал вид, что его что-нибудь занимает, чтобы не обидеть окружающих. Когда пришла весть, что старшая дочь Татьяна Львовна возвращается из-за границы [5], Толстой уделил этому приезду очень мало внимания. В тот самый вечер, когда лошади поехали на станцию за Татьяной Львовной, Толстой поднялся наверх в залу, подошел своей слегка шмыгающей походкой к столу, где сидели мы все, и обратился ко мне с обычной фразой: «А в шахматы сыграем?» Во время второй партии вошла наверх нарядная, оживленная Татьяна Львовна. Софья Андреевна устремилась к ней навстречу, расцеловалась с ней; Лев Николаевич только обернулся и сказал: «Ну вот и приехала!» и продолжал партию. Дочь подошла, поцеловала отца, партия продолжалась, и, только кончив ее, отец равнодушным тоном задал дочери несколько вопросов об общих знакомых.

С приездом Татьяны Львовны появились и новые интересы. Татьяна Львовна также стала помогать в школе, стала помогать мне приводить в порядок библиотеку, но в долгие зимние вечера, когда мы собирались около круглого стола, а Толстой, заложив большие пальцы обеих рук за кожаный пояс своей черной рабочей блузы, прохаживался по гостиной, Татьяна Львовна часто обращалась ко мне с вопросами:

— Что бы нам такое выкинуть?

— Зачем?

— Скучно. Надо народ созвать.

— Хорошо, давайте поставим домашний спектакль.

Татьяна Львовна объявила, что идея ей нравится, и после недолгого обсуждения решили ставить «Бабье дело». Но тут оказалось, что то тому, то другому из нас не нравится та или другая сцена. Решили переделать, но и переделки не улучшили дела.

На помощь пришла Мария Львовна.

Марья Львовна была натурой, вкладывавшей всю свою силу в то дело, которое она делала, не умевшей ни в чем быть половинчатой. Вместе с тем она никогда не умела отвлечься от жизни, не умела отделять идею от человека и работу от работника. Стремясь стать последовательницей своего отца, она сошлась с «темными» и в то время была особенно близка с П. И. Бирюковым. Отец ничего не имел против сближения молодых людей, но Софья Андреевна решительно воспротивилась и запретила Бирюкову приезжать в Ясную Поляну. Так как Толстой был в постоянной переписке с Бирюковым по изданию книг, по религиозно-философским вопросам, которые интересовали их обоих, а переписку Толстого в большей ее части вели дочери, то Марии Львовне приходилось писать Бирюкову и получать от него письма. Это волновало Софью Андреевну и вызывало с ее стороны протесты.

Как-то вечером, в зимнюю вьюжную непогоду, Марья Львовна поднялась наверх в залу и подошла к круглому столу, за которым сидела Софья Андреевна за работой, Татьяна Львовна с книгой и я со Львом Николаевичем.

— Мама,— сказала она,— мне надо отправить сейчас спешное письмо, можно взять лошадь?

(Письма в Ясной Поляне получались со станции Козловка Московско-Курской ж. д., до которой было три с половиной версты. Поезд приходил в 11 часов ночи.)

— Кому, Бирюкову? — спросила графиня.

— Это все равно кому, но можно отправить? Мне нужно, чтобы сегодня же пошло.

— Сегодня нет лошадей, до завтра можешь погодить.

Вступился было Лев Николаевич и предложил какой-то практический выход, но графиня категорически отказала и напустилась и на отца и на дочь за то, что они все время говорят о служении народу, оба вегетарианствуют, а вот теперь, когда понадобилось удовлетворить каприз,

они не задумываются послать по такой погоде и старика кучера и лошадь мучить. Отец и дочь замолчали, причем на лице дочери выразилось сожаление и растерянность. Мне стало жалко Марию Львовну, к которой я всю жизнь питал самые дружеские, ничем не омраченные чувства, и, кроме того, вероятно, заговорил задор против родительской тирании.

— Позвольте мне, Мария Львовна,— сказал я,— отнести ваши письма, я сегодня пойду на станцию.

— Что вы, в такую метель? — удивилась Марья Львовна.

— Мне необходимо отправить свое письмо,— ответил я.

— Все равно я лошадь не могу вам дать,— вмешалась Софья Андреевна.

— Очень вам благодарен, обойдусь без нее,— ответил я.

Софья Андреевна потеряла хладнокровие.

— Только, пожалуйста, не рассчитывайте, что вас до двух часов будет ожидать чай на столе и прислуга будет начеку.

— Нет, нет, я ничего не думаю, это мне и не нужно.

Я встал, простился со всеми и обратился к Марье Львовне:

— Так приготовьте письмо, через полчаса я пойду.

Сбиться с дороги я не боялся — дорога идет лесом. Через полчаса я получил письма, уверение Марьи Львовны, что она себе простить не может, что была причиной моего безрассудного намерения, и двинулся в путь. Пронизывающий ветер, в двух шагах ничего не видно, но дорога мне была знакома, а как только я добрался до леса, так стало тише, и я быстрее уже зашагал к станции. Когда я, измерзший, с трудом волочивший ноги из сугробов, вернулся назад около двух часов ночи и вошел в дом, все уже спали, но в гостиной еще горел свет. Я разбудил слугу, отдал ему почту и, не подымаясь наверх, повернул к себе во флигель. Но не успел я сделать по дороге и десяти шагов, как на крыльцо выскочил Лев Николаевич в одной блузе, неодетый, с развевающимися седыми волосами и тревожно окликнул меня:

— Алексей Митрофанович, куда же вы? Идите выпейте чаю.

— Благодарю вас.

— Да идите же, выпейте, чай на столе.

Растроганный беспокойством Льва Николаевича, я вернулся. Мы поднялись наверх — в зале, кроме нас, никого уже не было, горела одна свечка. Выпив два стакана горячего чаю, я пожелал Льву Николаевичу покойной ночи и отправился в свой флигель.

Возвращаюсь к своему рассказу о домашнем спектакле в Ясной Поляне.

Видя нашу с Татьяной Львовной неудачу в выборе пьесы, Марья Львовна обратилась ко мне.

— А вы не читали пьесу папа́?

— «Власть тьмы»?

— Нет, другая. Я видала ее между бумагами.

Я насторожился:

— Достаньте, пожалуйста.

— Хорошо, погодите.

Марья Львовна отправилась в кабинет, но в этот день ничего не принесла. Зато на другой день, только что, по обыкновению, мы уселись вечером за круглый стол, как послышались по лестнице легкие, быстрые шаги, и Мария Львовна с милою, довольною улыбкой подала мне рукопись [6]. Семья Толстых и я уселись за стол, одного Льва Николаевича не было, и началось чтение. Начала было читать Татьяна Львовна, но потом, по общему приговору, рукопись была передана для чтения мне. Пьеса называлась «Ниточка оборвалась» и была бледным остовом той, которую мы знаем теперь под именем «Плодов просвещения». Но с первой же сцены, изображавшей богатую, беспечную жизнь паразитов, ограниченность их интересов, узость их жизнепонимания, в пьесе оказалось много тонко подмеченных черт быта Толстых, Раевских, Трубецких, Самариных, Философовых и других знакомых мне дворянских помещичьих семей, так что я чуть ли не на каждой строчке выражал свой восторг.

Тотчас же после прочтения первого действия нами с Татьяной Львовной было решено непременно поставить эту пьесу, а после третьего (последнего) мы уже разделили пьесу для переписки ролей и стали распределять роли между знакомыми. Появился Толстой,— оказалось, он слушал чтение, оставаясь невидимкой в будуаре,— медленной походкой подошел к столу.

— Что вы тут делаете?

— Вот распределяем роли. Ах, как хорошо написано! — ответил я с самым неподдельным восторгом.

Толстой пожевал губами и молча отошел [7].



Дом Л. Н. Толстого. На первом плане — старый вяз («дерево бедных»). Ясная Поляна. 1908 г. Фотография К. К. Буллы.



Л. Н. Толстой. 1851 г. Москва. Фотография с дагерротипа Мазера.



М. Н. Толстая — сестра Л. Н. Толстого. Фотография 1850-х гг.



Л. Н. Толстой с братьями. 1854 г. Москва. Переснимок с дагерротипа (слева направо: Сергей Николаевич, Николай Николаевич, Дмитрий Николаевич и Лев Николаевич Толстые).



Л. Н. Толстой. 1854 г. Москва. Переснимок с дагерротипа.

Сестры Берс
(Софья Андреевна,
Татьяна Андреевна
и Елизавета Андреевна).
1860—1861 гг.



Л. Н. Толстой. 1862 г., 17—22 сентября. Москва. Фотография М. Б. Тулинова.



С. А. Берс. 1862 г., 17—22 сентября. Москва. Фотография М. Б. Тулинова.



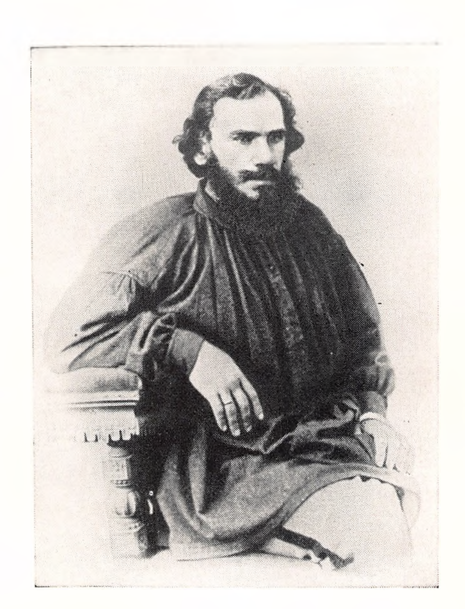
Л. Н. Толстой. 1862 г. Ясная Поляна.
Фотография Л. Н. Толстого с автографом С. А. Толстой:
«1862 г. Сам себя снял.
Гр. Л. Н. Толстой. Фотография Ясной Поляны».



В. С. Морозов — бывший ученик яснополянской школы Л. Н. Толстого. Фотография 1910—1912 гг.

Крестьянские дети. Ясная Поляна. Начало 1900-х гг.
Фотография В. Г. Черткова.

Л. Н. Толстой. 1868 г. Москва.



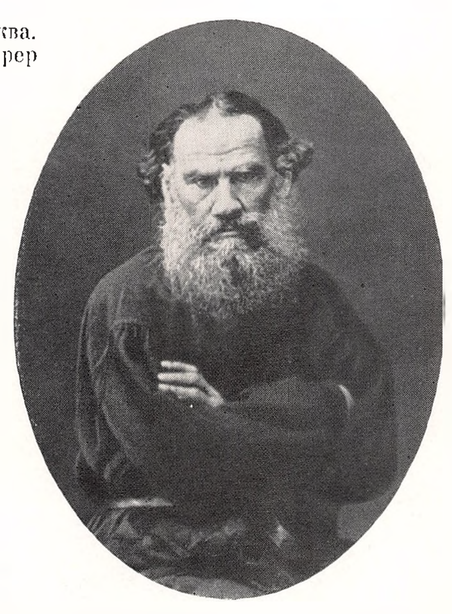


С. А. Толстая с детьми Таней и Сережей. 1866 г. Тула.



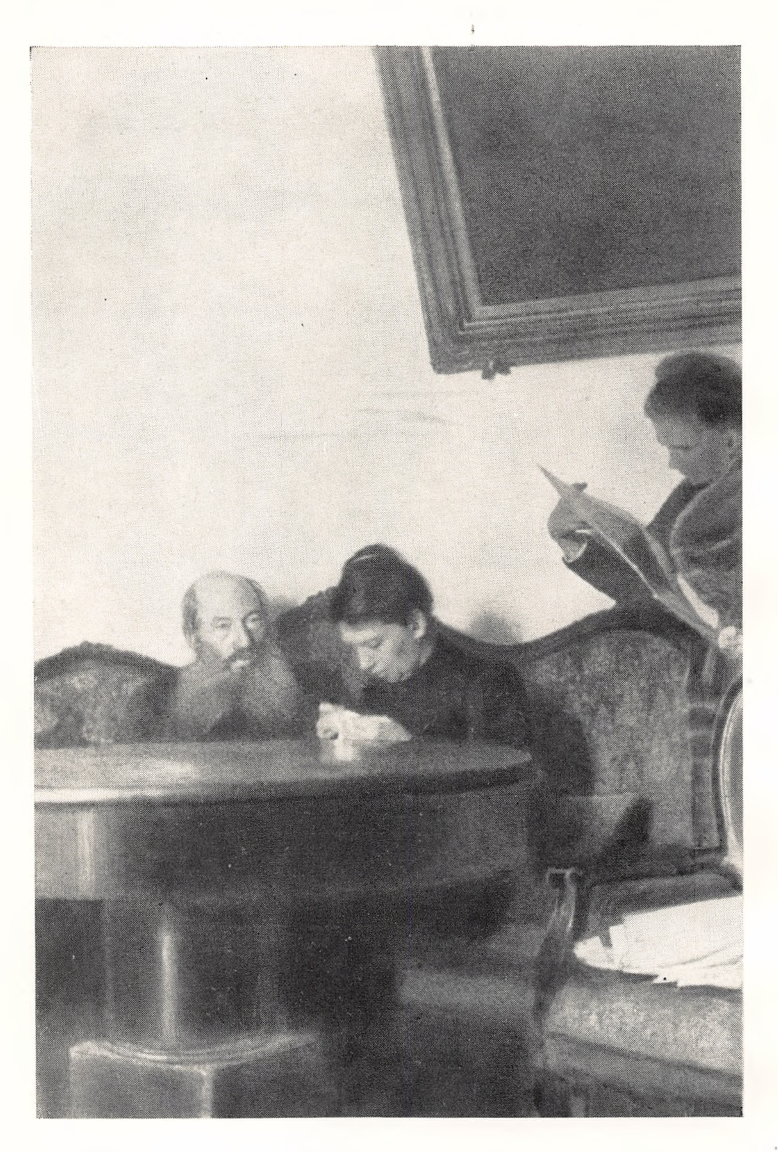
Кабинет Л. Н. Толстого 1870—1880-х гг., где он писал романы «Анна Каренина» и «Воскресение». Ясная Поляна. 1887 г.
Фотография М. А. Стаховича.

Л. Н. Толстой. 1885 г. Москва. Фотография фирмы Шерер и Набгольц.





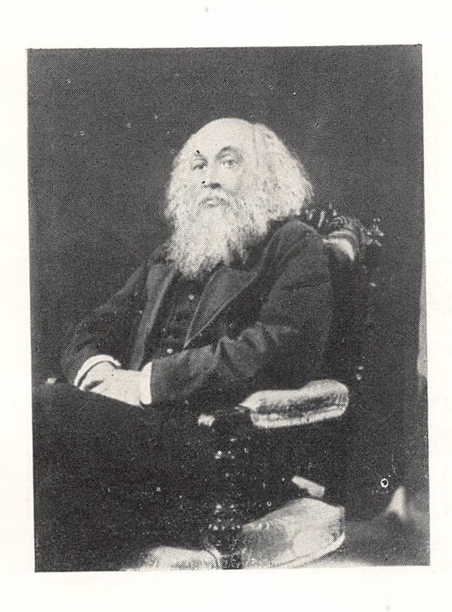
М. А. Стахович. 1885 г. Петербург. Фотография К. А. Шапиро.



А. А. Фет, С. А. Толстая и Т. Л. Толстая. 1887 г.
Ясная Поляна. Фотография М. А. Стаховича.



Л. Н. Толстой в кругу родных и гостей, среди которых художник Н. Н. Ге (слева от Л. Н. Толстого). 1888 г. Ясная Поляна. Фотография С. С. Абамелека-Лазарева.



Художник Н. Н. Ге
в последние годы своей жизни.



С. А. Толстая
и Т. А. Кузминская.
1890 г. Тула.
Фотография И. Ф. Курбатова.

Л. Н. Толстой и крестьянин П. Власов на косьбе. 1890 г. Ясная Поляна. Фотография Адамсона.



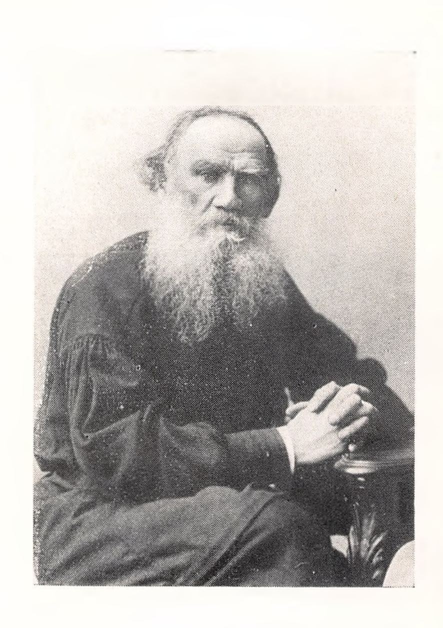


Л. Н. Толстой. 1892 г. Ясная Поляна. Фотография фирмы Шерер и Набгольц.

Л. Н. Толстой со своей семьей на крыльце яснополянского дома.
1892 г. Фотография фирмы Шерер и Набгольц.

С. А. Толстая с младшими детьми. 1892 г. Москва.
Фотография фирмы Шерер и Набгольц.

Л. Н. Толстой. 1896 г.
Москва. Фотография
фирмы Шерер
и Набгольц.



Дом Л. Н. Толстого в Москве в Долгохамовническом переулке.
Вид со стороны сада. Фотография 1890-х гг.



Л. Н. Толстой и И. Е. Репин в Ясной Поляне. 1908 г.
Фотография С. А. Толстой.

На другой день мы уже переписали первое действие, набрали кое-кого тут же на усадьбе (управляющего, двух юношей Раевских[8]) и вечером, отодвинув обеденный стол, с усердием принялись репетировать. Тогда Лев Николаевич позвал Марью Львовну и стал ей говорить, что надо оставить эту затею — спектакль, что это — тоже ненужная забава богатых и праздных людей. Это была неправда, пьеса нас увлекла, и, несмотря на то, что Марья Львовна уж от лица троих: Льва Николаевича, Софьи Андреевны и себя самой, стала нас уговаривать оставить затею, мы и слышать не хотели. Наконец отец, вглядевшись внимательно в лицо Марии Львовны, заявил ей, что ей тоже хочется играть, чего она не стала отрицать. Когда Толстой увидел, что дело пошло всерьез, он потребовал репетиции при себе, на репетиции делал замечания, входил в обсуждение подробностей, а на другое утро велел собрать все уже расписанные роли и пьесу и засел за ее переработку.

Через три дня Марья Львовна принесла пьесу и объявила распределение ролей от имени Льва Николаевича, которому мы, конечно, с радостью покорились. Тотчас же был составлен список желательных исполнителей, полетели телеграммы в Москву, Тулу, Чернь, и через четыре дня три тройки привезли в Ясную Поляну целую толпу гостей — хороших знакомых Толстых: Раевских, Цингеров, Лопатина, Давыдовых — из Тулы, Сергея и Илью Львовичей Толстых — из Черни, Льва Львовича, Мамоновых, Рачинских — из Москвы. Кучка молодежи с упоением переписывала утром роли, вечером шли репетиции — и почти ежедневно после них Толстой снова собирал роли и снова переделывал пьесу[9]. Пьеса создавалась прямо по исполнителям[10] и переделывалась и переписывалась по крайней мере раз двадцать — тридцать, но окончательная отделка ее была произведена уже после спектакля, в январе 1890 года (спектакль был 30 декабря 1889 года).

На репетициях и на спектакле Толстой от души хохотал и, подходя ко мне (я играл буфетчика Якова), много раз говорил мне:

— Никогда я так не смеялся.

Главным исполнителем, вызывавшим восторг Толстого, был исполнитель роли 3-го мужика, В. М. Лопатин. Когда он произносил свое знаменитое: «Куренка, скажем, выпустить некуда», зал умирал со смеху, и вся роль

3-го мужика была написана Толстым по мимике и интонации артиста [11].

Пьеса была живым изображением жизни тогдашнего высшего дворянства, даже фамилии действующих лиц были сначала взяты из действительной жизни (Самарин [12], Стахович, князь Львов) и только потом переделаны Толстым. Играли этих действующих лиц как раз те или почти те, с кого они были списаны (даже прислуга — Яша, Федор Иванович, лакей, повар — служила в доме Толстых); после репетиции в жизни продолжалось то, что только игралось на сцене: те же шарады, дурачества, цыганские романсы, поэтому Толстой прямо продолжал писать пьесу с исполнителей. В свою очередь, исполнители не нуждались в тексте Толстого, чтобы играть «Плоды просвещения», и очень часто, забыв роли, они вставляли отсебятину, которую подчас Толстой в том или другом виде вносил в пьесу. Вот почему нигде потом, ни в Малом театре в Москве, ни в Петербурге, ни разу так дружно не играли «Плодов просвещения», как в Ясной Поляне 30 декабря 1889 года.〈...〉

П. Г. ГАНЗЕН

ПЯТЬ ДНЕЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(В апреле 1890 г.)

I

⟨...⟩Лев Николаевич быстро подошел ко мне, приветливо поздоровался, выразил удовольствие познакомиться со мной и пригласил пройтись вместе с ним и Дунаевым прогуляться.

Гуляя, мы много разговаривали. Между прочим, Лев Николаевич извинился, что ни разу не ответил мне на мои письма, объясняя это тем, что, не ответив в первый раз, он уже постеснялся писать во второй, а дальше уж и совсем неловко было, так и осталось. Я, в свою очередь, извинился за свое несколько раннее утреннее прибытие и выразил опасение, что потревожил хозяина [1]. Лев Николаевич ответил, что, правда, мало спал в эту ночь, увлекшись своей последней работой, но что моему приезду очень рад, так как именно этот приезд даст ему толчок к работе и теперь «Послесловие» к «Крейцеровой сонате», должно быть, будет окончательно отделано на днях*. Говорили мы также много о датском писателе, интересующем Льва Николаевича, о Киркегоре.

Вернулись мы домой к завтраку, и Лев Николаевич познакомил меня со всем семейством. Кроме Дунаева и меня, гостей не было, а все члены семьи были в сборе, за

* Я тогда только что окончил перевод на датский язык «Крейцеровой сонаты» и, узнав, что Толстой пишет послесловие к ней, очень хотел скорее получить рукопись последнего, чтобы иметь возможность выпустить в свет перевод повести вместе с послесловием. (*Прим. П. Г. Ганзена.*)

исключением второго сына, Ильи Львовича, женатого и живущего в отдельном имении.

Я еще утром заметил сильное сходство с отцом двух сыновей-подростков, теперь, увидав остальных детей, я был прямо поражен родственным сходством всех между собой. Исключением был один сын-студент, названный как раз по отцу Львом и более других походивший на мать. У всех других сходство с матерью выражается, по-моему, только смягчением резких характерных черт отца.

За кофе меня усадила возле себя графиня Софья Андреевна, которая сама разливала, и у нас с нею завязался разговор. За шумной беседой старших и игрой младших детей мы, однако, едва могли расслышать друг друга.

— Вы, наверно, находите у нас в доме страшную распущенность,— сказала мне графиня с улыбкой.

Я, напротив, все время любовался непринужденной веселостью окружавших и ответил только:

— Дай бог во всех семьях встретить такую распущенность!

Заметив, что я осматриваю окружающую обстановку, графиня сказала, что здесь у них «неважно», но в Москве обстановка гораздо лучше и что это первая после многих лет перерыва зима, которую они провели в деревне. Жить в Москве по зимам стало чересчур утомительно для Льва Николаевича,— ему там буквально не дают вздохнуть сотни разных посетителей, которым он никогда не отказывает в приеме.

— Зачастую просто нельзя войти в его кабинет,— прибавила Софья Андреевна,— такой там шум и гам, а дыму от куренья столько, что хоть топор повесь. Где же было ему заниматься!

После завтрака Лев Николаевич сказал, что пойдет вниз в свой кабинет позаняться тем, что я привез ему *. Я с мальчиками предпринял прогулку в деревню.⟨...⟩

За обедом Лев Николаевич сказал мне, что успел просмотреть из привезенных мною рукописей кое-что и что

---

* Русский перевод двух статей Киркегора и три тетради его же афоризмов, изданных после его смерти. Отдавая Льву Николаевичу последние, я просил отметить те, которые ему больше понравятся, и он сказал, что будет «ставить афоризмам отметки по пятибалльной системе». Просматривая впоследствии эти возвращенные мне Львом Николаевичем тетрадки, я нашел не мало пятерок. Две же крупные статьи так и пропали [2]. ⟨...⟩ (*Прим. П. Г. Ганзена.*)

ему особенно понравились афоризмы *. Вообще Лев Николаевич о Киркегоре очень высокого мнения, хотя и находит, что датский философ «молод», вследствие чего у него много задора [4]. Последнее мнение объясняется, конечно, недостаточным знакомством Льва Николаевича с Киркегором, из многочисленных произведений которого он знает то немногое, притом преимущественно эстетического характера, что я успел перевести [5]. Но, как я уже упомянул, Лев Николаевич очень интересуется Киркегором и много раз, слушая в разговоре мои ссылки на те или другие мысли и изречения последнего, настоятельно советовал мне серьезно взяться за дело ознакомления русской публики с этим замечательным мыслителем. В ответ же на мое заявление, что я перевел кое-что, но встретил большие затруднения относительно печатания этих переводов, Лев Николаевич заметил, что мне нужно сначала написать отдельную книгу, содержащую биографию Киркегора и полный разбор его сочинений.

— Тогда, будьте спокойны, издатель найдется! — прибавил Лев Николаевич.

Встав из-за стола и походив немного по комнате, Лев Николаевич пригласил меня с Дунаевым пойти погулять, и мы опять отправились.

На этот раз мы зашли довольно далеко по дороге от деревни, верст по крайней мере за восемь. Разговору было много, но я был так утомлен поездкой по железной дороге и тремя предшествовавшими прогулками, что не мог хорошенько сосредоточить свое внимание и многое позабыл.

Помню только, что между прочим речь шла о поэзии.

Я спросил у Льва Николаевича, не писал ли он когда-нибудь стихов. Он засмеялся и сказал, что в этом грехе неповинен.

— Так вы считаете это грехом? — пошутил я.

— Нет,— ответил он,— но вообще и так не знаешь, как бы выразить свои мысли достаточно просто и ясно, а тут еще намеренно связывать себя рифмой!

По дороге мы нигде не присели, и я на возвратном пути еле волочил ноги, тем более что спутники мои, особенно Лев Николаевич, шагали очень быстро. На этой прогулке я убедился, какой еще молодец Лев Николаевич, несмотря на свои 62 года. Выйдя из деревни, мы

* Отмеченные Львом Николаевичем в моих тетрадках афоризмы в печати до сих пор не появлялись [3]. (*Прим. П. Г. Ганзена.*)

наткнулись на канаву с водой, фута в четыре шириною. Дунаев предложил перепрыгнуть и подал пример. Я стал отговаривать Льва Николаевича.

— Разве вы боитесь? — спросил он.

— Не за себя, а за вас; тут очень скользко, а вы вдобавок в калошах.

Но Лев Николаевич разбежался и перепрыгнул канаву, как юноша. Перепрыгнул и я.

Вернулись мы к чаю, после которого сидели и разговаривали еще до двенадцати часов, когда Лев Николаевич, заметив мое утомленное лицо, услал меня спать в приготовленную для меня комнату, рядом с его кабинетом.

II

На второй день я проснулся очень рано, около шести часов утра (что, впрочем, продолжалось и во все время моего пребывания в Ясной; я не мог спать больше 5—6 часов в сутки) и начал одеваться; но в попытке обуться потерпел неудачу. Ноги мои так отекли и распухли от трехдневного неснимания сапог в дороге и вчерашних прогулок, что я решительно не в состоянии был натянуть сапоги. Туфель у меня с собой не было, и я не знал, как быть, да кстати вошел Дунаев в туфлях на босу ногу. Увидав мою беду, он сбросил с себя туфли, предлагая их мне. Я спросил: «А вы-то как?» Но он успокоил меня, говоря, что у Льва Николаевича найдутся еще и для него.

Так в туфлях мне пришлось щеголять весь день. На мои извинения по этому поводу графиня отвечала, что это пустяки и я могу не стесняться. Вообще я чувствовал себя так свободно и непринужденно в этом милом семействе, что ни разу не испытал ничего похожего на стеснение или неловкость.

Перед завтраком Лев Николаевич предложил мне, пока он сам займется «Послесловием», познакомиться с имеющимися у него некоторыми английскими сочинениями по спиритизму [6], но я отклонил это предложение, говоря, что есть вещи, более интересующие меня, как, например, новая его комедия и только что присланный ему из Германии немецкий перевод «Крейцеровой сонаты».

Последний, то есть перевод, я потом и прочел в несколько приемов, по утрам и вечерам, когда бывал один, и вынес очень невыгодное впечатление, какого,

впрочем, и ожидал: перевод был сделан с предпоследней, не отделанной редакции [7].

Теперь же мы с Дунаевым уселись на террасе и принялись читать комедию «Плоды просвещения», беспрестанно прерывая чтение взрывами неудержимого хохота.

Во время чтения старшая дочь, Татьяна Львовна, обутая в высокие сапоги, с заступом на плече, прошла в сад. Дунаев вызвался идти помогать ей; поплелся и я за ними. Татьяна Львовна хотела вскопать небольшой участок земли для новой посадки молоденьких дубков. Дунаев достал еще лопату и принялся помогать. Мне стало стыдно стоять и смотреть, как работает молодая девушка, и я, попросив у нее лопату, тоже стал копать, а она принялась разрыхлять землю прямо руками. От непривычки к мускульному труду я, однако, скоро устал и только благодаря дождю, принудившему нас оставить работу, спасся от позора признаться в своем городском слабосилии перед молодой, полной деревенского здоровья и сил девушкой.

После обеда Лев Николаевич с Дунаевым собрались проехаться верхом к знакомым, отвезти какое-то письмо. Темнело уже, и пока они вернулись бы, и вовсе должна была наступить ночь, так что графиня, зная состояние дорог, очень беспокоилась и старалась удержать мужа от поездки. Лев Николаевич успокаивал ее, говоря, что бояться нечего, но графиня, разгорячившись, возразила: «Одни дураки смелы, а умные люди боятся».

Лев Николаевич даже бровью не повел, сел и уехал.

Каким молодцом он сидел на лошади! Даже сын (студент) не удержался и заметил:

— Какой молодец папа! Мы все ездим верхом, но куда нам до него.

В 10 часов Лев Николаевич вернулся благополучно.

Я остался дома благодаря своему неумению ездить верхом. Зато мне представился прекрасный случай поближе познакомиться с семейством Толстого, которое, как я уже говорил, было все в сборе, кроме женатого сына, Ильи Львовича. Его я так и не видал. Остальные: старший сын Сергей Львович, бывший гвардеец, очень музыкальный, добродушный и симпатичный; затем дочь Татьяна Львовна, лет 25-ти, эффектная, веселая и бойкая брюнетка, с пенсне на носу, вызывавшим иногда за столом добродушное замечание отца: «Таня, сними». У Татьяны Львовны есть тоже свой талант,— она прекрасно пишет масляными красками, и я видел в доме

картины ее работы. Дальше, сын-студент Лев Львович, самый красивый, очень похожий на мать. Потом дочь, Мария Львовна, 18 лет, любимица Льва Николаевича, его секретарь и неотлучная помощница; два сына, 12 и 10 лет, Андрюша и Миша, прехорошенькая пятилетняя дочка Саша и, наконец, двухлетний Ваня. Все дети очень симпатичны и здоровы на вид, с прекрасным цветом лица, кроме младшего, который бледен. Сама графиня Софья Андреевна, сорокапятилетняя, очень еще моложавая женщина, сохранилась замечательно.

Здесь кстати будет сказать несколько слов и о самом Льве Николаевиче. Он производит сильное впечатление, хотя и далеко не такое, какое можно было ожидать, судя по описаниям его посетителей. Большинство из них постоянно старается окружить его каким-то ореолом, между тем как нет ничего более не подходящего к его личности. Как в своих сочинениях, так и в будничной жизни он безыскусственно прост. Таким образом, если не настроить себя на торжественный лад, и нельзя получить иного впечатления, кроме самого простого, естественного, исполненного лишь симпатии и уважения к человеку, уразумевшему и воплотившему в себе духовную простоту жизни.

Поэтому я с первой же минуты нашей встречи почувствовал себя с ним очень легко и непринужденно,— от волнения и трепета, с которыми я готовился к этой встрече с такой всемирной известностью, не осталось и следа, и могу сказать, что всякий, кто сохранит подобные ощущения, будет причиной сам, а никак не Лев Николаевич.

Кроме того, Лев Николаевич сам в высшей степени помогает собеседнику попасть в тот свободный простой тон, который бывает так необходим для настоящей беседы и истинного взаимного разумения собеседников.

Личное влияние Льва Николаевича громадно; не только люди, постоянно живущие возле него, но и всякий, случайно попавший в эту атмосферу непрестанного стремления к нравственной чистоте и простоте, невольно приобщается ему, делаясь чище и лучше.

Очертив вкратце, как сумел, нравственный облик Льва Николаевича, я перейду к его внешнему виду. Делаю я это, отчасти уступая укоренившемуся обычаю, отчасти же в силу некоторых особых соображений.

Нечего и говорить, что наружность, в сущности, ни при чем, когда дело идет о нравственном облике великого

писателя и о правильном понимании его произведений. И с этой точки зрения Киркегор прав, восставая в своих сочинениях против назойливого любопытства толпы, желающей выведать, как и что ест великий человек, и во что он одет, и какие глаза и какой нос у него и т. д. Все подобное является нелепым и неуместным по отношению к писателю, в произведениях которого его личная жизнь не играет никакой роли, и удовлетворение любопытства в таких случаях приносит иногда одно только разочарование. Относительно же Льва Николаевича, личная жизнь и литературная деятельность которого идут рука об руку,— вопрос иной. Зная, что он, человек преклонных лет, не только проповедует тот тяжелый физический труд, в котором полагает единственное спасение людей от нравственного крушения, но и сам подает истинный пример в этом отношении, не безразлично и не бесполезно убедиться, каким образом он выносит это и какой наружный отпечаток кладет это на него.

И с этой точки зрения нельзя не порадоваться, видя перед собою статную, бодрую фигуру Льва Николаевича. Он довольно высокого роста, широкоплеч, коренаст. Почти еще черные волосы его, гладко причесанные и разделенные посредине пробором, вьются на концах. Умно и проницательно глядят из-под густых нависших бровей небольшие, глубоко сидящие и чрезвычайно живые серые глаза. Держится он с достоинством, но просто и добродушно. Отношения к нему жены и детей самые искренние, хорошие, без всякой угодливости и дрожания за «великого человека».

Вообще весь склад и дух семейной жизни в Ясной Поляне отличается взаимной лаской, дружбой и непринужденной простотой. Что до меня, то я нигде никогда не чувствовал себя так хорошо и свободно, как здесь,— мне с первой минуты показалось, что я в кругу давно знакомых, близких мне людей.

III

На третий день, позанявшись после завтрака, Лев Николаевич зашел ко мне с оконченным «Послесловием» в руках, которое прочел нам с Дунаевым.

Я никогда не забуду этого чтения. Дело в том, что самого процесса чтения как будто и не было, а содержа-

ние так прямо непосредственно вливалось нам в душу. Лев Николаевич сидел близко возле меня, с наклоненной над тетрадью головой, ни разу не подняв ее во время чтения, чтобы взглянуть на слушателей, как обыкновенно делают чтецы. Самая манера его читать так проста и естественна, что внимание сосредоточивается всецело на содержании читаемого, не развлекаясь при этом — как это часто бывает — ничем посторонним, например, различными особенностями лектора, звуком его голоса, интонацией, выражением лица и т. д.

Окончив чтение, Лев Николаевич вручил мне рукопись и ушел к себе в кабинет, откуда скоро раздалось тихое постукивание молотка о колодку. Это было в первый раз, что я «услышал» Льва Николаевича за сапожной работой.

Желая увезти с собой копию «Послесловия», я сейчас же сел за переписку. Дунаев стал мне помогать диктовкой, так как я с непривычки плохо разбирал рукопись, испещренную сотнями помарок и поправок. Вообще же почерк Льва Николаевича довольно крупен и четок, так что, раз приглядевшись к нему, можно разбирать без особого труда. Вскоре, однако, Дунаева куда-то вызвали, и я остался один. Но потом зашла «проведать меня» графиня и любезно предложила мне свою помощь. Я с благодарностью принял ее, и дело пошло.

Во время диктовки Софья Андреевна рассказала мне между прочим, как ей в первое время замужества, пока дети были малы, самой приходилось переписывать сочинения мужа до бесконечности; так, «Войну и мир» она переписала что-то раз двадцать; [8] потом уж дети стали помогать. При такой громадной практике она приобрела, конечно, и большой навык разбирать почерк Льва Николаевича, и теперь, если случится, что, разбираясь в своих старых бумагах и дневниках, сам Лев Николаевич не может разобрать какого-нибудь места, она всегда приходит к мужу на помощь и выручает его из затруднения.

Затем графиня припомнила еще случай, как однажды все эти старые рукописи чуть было не погибли по милости одного из маленьких сыновей, который, забравшись в комнату, где они хранились, стал забавляться, выкидывая их за окно. С тех пор Лев Николаевич, приводя бумаги в порядок, большею частью отсылает их в Румянцевский музей в Москву.

Здесь я расскажу кстати дальнейшую историю переписки «Послесловия». Узнав, что я переписал рукопись, Лев Николаевич пожелал пересмотреть чистый экземпляр и вернул его мне на другой день неузнаваемым. Многие страницы были вычеркнуты, появилось пропасть помарок, вставок и т. п. Я переписал еще раз, и Лев Николаевич переделал еще, да и так пошло. В четыре дня я переписал «Послесловие» пять раз.

Переписывая так часто «Послесловие», я имел случай изучить его, так сказать, до тонкости и, между прочим, заметил, с каким удивительным умением, часто даже как бы вскользь, проводит Лев Николаевич излюбленные свои взгляды, например, вегетарианство.

Изменяя редакцию «Послесловия», Лев Николаевич, между прочим, похерил одно место, которого мне стало жаль, и я сказал ему:

— Вот тут была у вас одна прекрасная мысль; жаль, что вы не оставили ее.

Но Лев Николаевич возразил:

— Что одна мысль? Ведь одним кирпичом не выстроить дом, надо множество их; так и тут. Одна мысль ни к чему; надо, чтобы их были сотни; тогда лучшие вытеснят худшие, и наконец что-нибудь да выйдет.

В самом деле, Лев Николаевич пишет совершенно своеобразно. С его произведениями совершается нечто вроде настоящего жизненного процесса, какой мы наблюдаем в царстве растений. Как из одного маленького зерна выходит стебелек, вырастает ствол, разветвляется, покрывается листьями, так и мысль Льва Николаевича, повинуясь какому-то внутреннему, неизбежному закону, порождает все новые и новые отпрыски, которые сплетаются, пополняют и укрепляют друг друга и разрастаются в целое произведение удивительной силы и глубины.

Во время моего пребывания в Ясной случилось, что Лев Николаевич сам высказался по поводу своей манеры писать. Дело было так.

Раз как-то за столом Татьяна Львовна заговорила с братьями о каком-то романе, который она пишет [9].

— Ты пишешь роман, Таня? — спросил отец с улыбкою.

— Да, вот только не знаю еще, как его кончить. Плана все не могу составить.

— Да зачем же тебе план? Надо только вполне выяснить себе идею, а во время работы она разовьется сама собой.

— Разве ты не знаешь вперед, чем кончишь свой рассказ? — спросила Татьяна Львовна.

— Нет, не знаю. Развязка вытекает вполне естественно из самого хода мысли и вещей.

Последняя мысль опять-таки замечательно подтверждается в «Послесловии», именно в конце, где Лев Николаевич говорит: «Я никак не ожидал, что ход моих мыслей приведет меня к тому, к чему он привел меня».

Много вообще замечательных мыслей и выражений услыхал я за эти пять дней, частью от самого Льва Николаевича, частью из рассказов Дунаева. Так, например, последний рассказал мне, что на вопрос его, заданный однажды Льву Николаевичу, не следует ли ему переменить свои занятия, которые он считал не совсем-то желательными, Лев Николаевич отвечал: «Главное — надо переменить не занятия, а понятия. Раз переменятся понятия, занятия переменятся сами собой».

Но вернусь теперь к прерванному описанию третьего дня моего пребывания в Ясной.

Переписывал я почти все утро до завтрака. После завтрака Лев Николаевич ушел гулять один, говоря, что ему надо кое-что обдумать. Вернувшись, он сказал, что жалеет, зачем не пригласил меня с собой: такой чудный запах несся из леса, что он просто не мог надышаться. Я ответил, что сам рад был воспользоваться возможностью сосредоточиться и тоже гулял один.

— Да, да,— сказал Лев Николаевич,— уединение та же молитва.

После обеда мы опять пошли гулять втроем: Лев Николаевич, Дунаев и я. Во время этой прогулки Лев Николаевич высказал замечательную мысль, которая заставила меня бросить курение. Но тут надо немного вернуться назад, чтобы рассказать все по порядку.

Зная взгляды Льва Николаевича на курение, я вообще стеснялся курить в доме и не раз пенял по этому поводу Дунаеву, который без церемонии курил в самом кабинете Льва Николаевича. Еще в первый день моего приезда, в воскресенье, я закурил на прогулке, и Лев Николаевич заметил:

— А, вы курите?

— Да,— ответил я,— есть тот грех,— и больше по этому поводу не было сказано ни слова. Теперь во время прогулки я сам заговорил о курении.

— Скажите, Лев Николаевич, не трудно вам было отстать от курения?

— Нет. Я ведь бросил было, а потом опять начал и наконец бросил совсем.

Я сказал на это, что, по моему мнению, у меня работа идет гораздо лучше и живее при курении.

Лев Николаевич возразил:

— Да ведь это только так кажется.

— Как так?

— Да так. Когда работаешь, то в тебе сидят как бы два человека: один работает, другой следит за работой. Если нам удастся одурманить этого наблюдателя, то и кажется, что лучше работаешь,— ведь некому следить, некому остановить *.

Это замечание сильно поразило меня, но я еще не знал, что мне так легко будет отстать от курения. Сделалось это как-то само собой, незаметно. На следующий день, в среду, мне почему-то не случилось закурить, а в четверг, идя гулять, я забыл взять с собой спички, вернуться же за ними было лень. Под вечер я и сказал Льву Николаевичу:

— Знаете, Лев Николаевич, я ведь второй день не курю.

— И отлично,— ответил он.— Только смотрите на это не как на подвиг, а как на самую естественную вещь, — ласково добавил он.

Я ответил, что и не думаю, и так и не курил больше. В продолжение остального дня я уже так отвык от курения, что, уехав из Ясной Поляны и прибыв на вокзал, где увидел в буфете двух толстых немцев с огромными сигарами во рту, я просто диву дался, как это взрослые люди могут ходить с такой соской во рту, забывая, что сам сосал эту соску в течение девятнадцати лет **.

Но вернусь к нашей прогулке. Вскоре у нас завязался разговор о прежней литературной деятельности Льва Николаевича, причем Дунаев горячо отстаивал значение

---

* Мысль эту Лев Николаевич три года спустя развил в своей статье «Первая ступень» [10]. (*Прим. П. Г. Ганзена.*)

** Увы, должен признаться, что через два месяца я опять вернулся к курению. (*Прим. П. Г. Ганзена.*)

«Анны Карениной» и пользу, которую роман принес обществу.

— Ну, какая там польза! — воскликнул Лев Николаевич недовольным тоном,— я ее не вижу. Вот «Азбука» моя принесла пользу; зато о ней целых два года никто и не заикнулся [11]. Но спрос на нее теперь очень большой, и я убедился, что она действительно приносит пользу.

Затем мы заговорили о «Крейцеровой сонате» и о той буре, какую она вызвала в обществе и в прессе. Я высказал мнение, что такое страстное отношение к рассказу объясняется отчасти страстным тоном самого рассказа, главное же речей Позднышева, которые просто бьют читателей по щекам, если можно так выразиться. Девять десятых читателей берется за книгу ради развлечения, и вдруг на! в лицо им летят плевки и эпитет: «свиньи». Есть от чего в раздражение прийти. С другой стороны, сама тема, идея рассказа таковы, что требуют резкой формы. «Нужен крепкий щелок для вшивой головы»,—гласит народная датская пословица, на которую я и указал в разговоре Льву Николаевичу, прибавив, что, возьми он ее эпиграфом для «Крейцеровой сонаты», он этим предупредил бы читателей, поставил бы их сразу на верную точку зрения. Лев Николаевич улыбнулся и заметил, что пословица хорошая, но что он не рискнул бы воспользоваться ею, если бы даже знал ее. «А вот в «Послесловии» я постараюсь ответить на все возражения и нападки, которые дошли до меня. Это все, что я могу сделать».

Еще я рассказал о недавно происходившем в русском литературном обществе чтении «Крейцеровой сонаты», сопровождавшемся обменом мнений [12].

Рассказ мой, особенно описание весьма оригинального доклада профессора Вагнера, очень позабавил Льва Николаевича. Он много смеялся, а потом, в свою очередь, рассказал о письме Вагнера, которое тот написал ему по поводу комедии «Плоды просвещения».

— Начало письма было хорошее, дружелюбное, но потом профессор вдруг начал горячиться и укорять меня за то, что я, человек, которого он так любит и ценит, позволяю себе так жестоко глумиться над самыми дорогими его верованиями [13]. А я, конечно, вовсе не хотел обижать его своей комедией, написал же ее потому, что считал нужным. Я бы, пожалуй, ответил ему и разъяснил, что

это только недоразумение с его стороны, но тон его письма был такой раздражительный, что я не мог ожидать никакой пользы от моего письма и потому не отвечал ему [14].⟨...⟩

IV

На четвертый день я опять переписывал «Послесловие». Диктовала мне то сама графиня, то Марья Львовна, но затем днем приехали гости, и занятые гостями хозяйки не могли больше помогать мне. Тогда Лев Николаевич пригласил меня поискать другого помощника, и мы пошли во флигель, где помещался домашний учитель младших сыновей. Постучав в дверь, мы вошли, и Лев Николаевич просто, но очень вежливо попросил молодого человека помочь мне диктовкой. Затем Лев Николаевич ушел, оставив нас одних, но мы немного позанимались: молодой человек был чем-то отвлечен, и мне пришлось опять прибегнуть к содействию Марьи Львовны.

Окончив переписку, я пошел в кабинет Льва Николаевича за какой-то справкой. В ответ на мой стук в дверь раздалось приветливое «Come in»*.

Вообще мы говорили с Львом Николаевичем всегда по-русски, но на мой стук в дверь он неизменно отвечал английским «Come in», что по сходству своему с датским «Kom ind!» звучало для меня совсем уж родным.

Я вошел и, увидав Льва Николаевича за письменным столом, извинился, что помешал ему в работе. Но он с доброй улыбкой ответил:

— Ничего, человек дороже полотна,— прибавив, что это изречение он заимствовал у художника Ге, который всегда так отвечал ему, если он извинялся, что своим приходом помешал работать.⟨...⟩

После обеда гости уехали. Дунаев уехал еще утром, и мы пошли гулять с Львом Николаевичем вдвоем. Разговор у нас зашел о современной иностранной литературе. Оказалось, что Лев Николаевич следит за ней так внимательно, что нет ни одного мало-мальски выдающегося писателя, которого бы он не знал. Больше всего сочувствием Льва Николаевича пользуется вновь нарождающийся англо-американский роман, трактующий разные общественные вопросы.

---

* Войдите (*англ.*).

В разговоре этом Лев Николаевич, между прочим, назвал мне одну английскую писательницу, и я признался, что не только не читал, но многих из названных им писателей не знаю даже по имени. Объяснил я это недосугом, который заставил меня довольствоваться изучением лишь некоторых наиболее выдающихся всемирных писателей.

— Да лучше, пожалуй, и не читать всего этого,— сказал Лев Николаевич.

Немецкому роману Лев Николаевич мало сочувствовал, французскому несколько больше. Тут он, однако, резко отозвался о Золя, говоря, что тот, в сущности, просто «глуп». Я расхохотался:

— Ну, однако!..

— Да, да, глуп! Правда, он умеет рисовать картины, но при этом у него нет цели, нет идеала. Гюи де Мопассан гораздо талантливее.

Затем разговор перешел на иностранную критику, и тут Лев Николаевич сказал:

— Есть у меня две личные антипатии: французский критик Тэн и датский Брандес. Читая их, постоянно чувствуешь, что они сами заслушиваются собственными речами, а эта черта мне крайне несимпатична.

V

В четверг, накануне моего отъезда, мне пришлось переписать «Послесловие» целых два раза.

Утром после завтрака я переписывал его под диктовку Марьи Львовны. Сидели мы в столовой, служившей вообще сборным пунктом для всего семейства; тут же на другом конце комнаты стояло фортепиано. Сергей Львович вдруг заиграл камаринского, а маленький Ваня стал плясать. Татьяна Львовна тоже не вытерпела и пустилась в пляс. Разойдясь, она подбежала к сестре, схватила ее за талию, и обе пошли отплясывать русскую так мило и грациозно, что я просто залюбовался. Наплясавшись, Марья Львовна вернулась как ни в чем не бывало, и работа пошла своим чередом.

Переписав, я отдал рукопись Льву Николаевичу, и он через несколько времени вернул мне ее опять сильно исправленной, говоря при этом, что хотел было прибавить

еще кое-что о себе самом, чтобы другим не показалось, будто он считает себя исключением.

— Отчего же не прибавили? — спросил я.

— Да нет, не надо, во-первых, потому, что и так, кажется, все ясно, а во-вторых, есть у меня одна еще не оконченная вещь, для которой хочется приберечь все самое лучшее.

Какая это вещь, Лев Николаевич не объяснил, а я не спросил; вообще я воздерживался от всяких расспросов и предоставлял Льву Николаевичу самому выбирать тему для разговоров.

Кажется, в этот же день, когда мы с Львом Николаевичем остались вдвоем в столовой, он подошел к фортепьяно и умелой рукой стал наигрывать аккомпанемент лежавшего на пюпитре романса «Ich grolle nicht» [15], а я стал напевать мотив.

Второй раз я в этот день переписывал «Послесловие» уже поздно вечером, тоже под диктовку Марьи Львовны, и опять в столовой, не смущаясь разговором окружавших и шумными играми детей. На предложение Льва Николаевича перейти в другую комнату, так как нам здесь мешают, я отвечал: «нисколько», и мы продолжали работу. Через несколько минут, однако, Лев Николаевич опять подошел к нам и, делая дружеский жест, точно выпроваживая нас из комнаты, сказал:

— Ну, если не себе, так мне мешаете, — я ведь невольно прислушиваюсь.

Мы поспешили уйти в маленькую гостиную. Там мы работали еще с полчаса, когда зашел к нам Лев Николаевич и отправил меня пить чай, а сам сел диктовать заменившей меня дочери. Потом я вернулся и докончил сам под диктовку Льва Николаевича. По окончании Лев Николаевич опять пересмотрел и поправил рукопись и, отдавая мне назад эту уже пятую редакцию, сказал: «Ну, теперь хоть польку плясать!»

Потом мы все вместе пошли в столовую отдыхать. Тут Лев Николаевич, засунув обе ладони за свой ременный кушак (его обыкновенная манера), стал прохаживаться взад и вперед по комнате. Я ходил рядом с ним.

Речь, между прочим, зашла о недавней полемике Владимира Соловьева [16], и Лев Николаевич сказал:

— Не понимаю, что ему за охота вообще полемизировать с газетами и еще переносить эту полемику в свои сочинения. Ведь с тем, что пишут в газетах, обыкновенно

бывает так, что напечатанное сегодня — завтра уже забыто. А он, ссылаясь в своей книге на подобные вещи, как бы намеренно упрочивает их в памяти.

Здесь, как и вообще часто в наших разговорах, я не мог не сослаться на Киркегора, который много писал, особенно в дневниках своих, о вреде чрезмерного увлечения чтением газет.

Затем разговор наш принял более интимный характер, и наконец, около часу полуночи, заметив мой утомленный вид, Софья Андреевна и Лев Николаевич посоветовали мне отправиться на покой.

Придя в свою комнату, я живо разделся и улегся в постель, чтобы успеть выспаться и встать пораньше утром: мне ведь предстояло еще раз переписать «Послесловие». Огонь был уже потушен у меня, но я еще не успел уснуть, как в дверь мою постучали, и вошел Лев Николаевич. Увидав, что я в постели, он попятился, извиняясь, что потревожил меня.

— А я было хотел поговорить с вами, — добавил он.

Я стал просить его исполнить свое намерение, но он ответил:

— Нет, нет, спите, спите! — и ушел.

Я, понятно, не мог уснуть и, услышав через несколько времени его шаги в кабинете (оказалось, что он обошел кругом, поднялся наверх и тихонько спустился в свой кабинет, чтобы не помешать мне), я окликнул его:

— Лев Николаевич, я ведь не сплю.

— Не спите?

— Да как же я буду спать, когда вы заинтриговали меня? О чем вы хотели говорить со мной?

— Да просто одно хорошее письмо получил по поводу «Крейцеровой сонаты» и больше ничего. Спите.

VI

Утром в пятницу я проснулся очень рано и сейчас же принялся за переписку, желая непременно увезти с собой чистую копию. Во все эти дни у нас с Львом Николаевичем как будто шло состязание: неутомимые писатель и переписчик точно хотели перещеголять друг друга. Итак, я сел за работу, торопясь поскорее окончить ее: окончательный отъезд мой, и так уж порядком замедлившийся

(я хотел уехать еще в среду), назначен был на сегодня, в 12 часов утра. Теперь я уже настолько привык к почерку Льва Николаевича, что мог справляться с работой один. Только последней страницы я не мог никак разобрать, и мне пришлось подождать, пока в столовую выйдет графиня или Марья Львовна. Переписанное же я отнес в кабинет Льва Николаевича, думая, что успею принести и конец до его прихода туда. Но... когда я с помощью Марьи Львовны окончил последнюю страницу и принес ее в кабинет, Лев Николаевич, только что вставший с постели, еще в халате и с взъерошенными волосами, сидел уже за письменным столом, исправляя рукопись!..

Никогда не забуду того добродушно-лукавого взгляда, когда он поднял на меня глаза, точно говоря: «Больно скоро захотел».

В самом деле, в какие-нибудь полчаса Лев Николаевич сделал опять массу поправок. Но теперь переписывать больше было некогда, и приходилось взять этот экземпляр, с тем чтобы, переписав его в Москве, отослать обратно. Вручая мне рукопись, Лев Николаевич сказал, что, кажется, больше ничего изменять не станет. Графиня и Марья Львовна засмеялись:

— Ну, на это не надейтесь. Он еще десять раз переделает.

Так и вышло. Через две недели я получил «Послесловие» неузнаваемым [17].〈...〉

А. Н. МОЛЧАНОВ

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Посетив вчера [1] графа Л. Н. Толстого, я могу сообщить приятную весть: напугавшие всех жестокие приступы его старой болезни печени прошли и здоровье маститого писателя, видимо, поправляется... Он очень похудел, ослаб, но энергия его супруги и такт доктора Руднева победили отвращение графа к медицинской помощи и советам: [2] он аккуратно пьет эмскую воду, педантически исполняет предписанные ему условия гигиены и согласился пользоваться в течение лета кумысом, для чего будет выписан специалист из Самарской губернии. Косить, жать и вообще всякий утомительный физический труд ему запрещен строго-настрого, и достаточно взгляда на аскетическую фигуру Льва Николаевича, чтобы полностью оправдать этот запрет. Но так как в этом больном теле дух жив и велик, то даже докторский режим не осмелился наложить veto на умственную работу графа. И граф пишет усердно: он уже кончил и отдал в печать «Послесловие к «Крейцеровой сонате». Самая соната, как объяснил он мне, написана им уже давно [3]. «К сожалению,— прибавил он,— очень многие из моих произведений появляются у нас в литографиях, а за границей в переводе в таком искаженном виде, что я сам не узнаю своего труда... Эта «Соната», например, изданная на немецком языке, бог знает что такое... [4] Пока только один английский перевод ее сделан Диллоном [5] по точному оригиналу».

— Каким же образом уберечься от подобных фальсификаций,— спросил я,— когда вы сами не печатаете ваших произведений?

— В Москве есть мой приятель, Чертков,— вы не знаете его? — ответил Лев Николаевич, — он прекрасный библиофил... у него все подлинники моих произведений.

Затем граф также в последнее время написал предисловие к книге д-ра Алексеева о пьянстве. Этот труд передан им профессору Гольцеву и выйдет в свет отдельной книжкой. Читая рукопись г. Алексеева с богатым материалом и обдумывая предисловие к ней, граф — по его собственному выражению — увлекся и начал теперь обширный труд, пробуя дать первый ответ на вопрос: почему человечество начало употреблять наркозы — вино, водку, курение etc.* и где причина, что страсть к этому опьянению сохраняется так крепко и поныне во всех слоях общества всех стран?

— Не знаю,— прибавил он к рассказу об этой теме,— не знаю и сомневаюсь, можно ли будет напечатать этот труд[6]. Впрочем, — заметил он, как бы конфузясь, — я глубоко убежден, что и вредно и нехорошо, когда произведения печатаются при жизни их авторов.

— Отчего же, граф? — удивился я.

— Во-первых, когда произведения публикуются еще при жизни автора, он, когда пишет, не свободен, он непременно будет думать, что скажут о его труде, как его встретят и пр. и пр. Все это нехорошо, очень нехорошо... А потом пережить, знаете, свою славу — дело такое трудное, которое не всякому и удается... Вот Николай Успенский... был, несомненно, талантливый человек, гораздо талантливее Глеба — не вынес этой тяжести... Начали его хвалить, приглашать, голова закружилась, стал невнимателен к труду, все отвернулись, и человек погиб...[7] Даже Тургенев и тот не вполне совладал с этим крестом... Начинается баловство, хочется опять выходить на сцену, пишут просто для того, чтобы снова слышать рукоплескания... Нет, я решительно убежден, что все произведения должны появляться в свет только после смерти их авторов...

Слушая это, в моей голове было готово много возражений против такой идеи графа, но, с одной стороны, его болезненное состояние, с другой — естественное желание слушать его речи как в этом случае, так и в последующих беседах удерживали меня от продолжительных возражений.

А беседа наша была долгая: почти три часа мы провели в ней, сидя на террасе, в саду, и гуляя по тенистым аллеям яснополянского парка. «Я разошелся», — говорил мне

---

* et cetera (*лат.*) — и так далее.

граф, улыбаясь, и с той искренностью и простотой, которые суть знамена больших людей, высказывал мне свои мысли общие и в частности относящиеся лично к моей деятельности.

— Как жаль,— говорил граф,— что вы живете литературным трудом. Получать деньги за него — вещь не... не подходящая. Не следовало бы... Надо бы как-нибудь иначе устраиваться, чтобы писания свои не продавать...

Я, кроме объяснений реального свойства, сказал Льву Николаевичу, что труд журналиста имеет крупные особенности — мы, руководствуясь действительной жизнью и вопросами дня, чувствуем себя более свободными от гнета авторского самолюбия — искренне и ясно сообщать читателю мои сегодняшние впечатления и думы с верой, что правдивость такого сообщения всегда приносит пользу,— вот почти единственный стимул и мотив нашего труда.

— Да,— ответил граф,— вы действительно правы, что ваши условия труда, как более непосредственные, и более свободны. Мне это интересно... Я давно уже задумал написать сочинение об искусстве и о разных видах его... Яблоко упало — и пришла идея о притяжении земли... Человеку нова эта идея, он бросается к людям, спрашивает их — они отрицают; а он все-таки думает — земля притягивает. Бьется, пишет, находит доказательства и просто ради одного самоудовлетворения пишет и публикует... Это выходит вполне искренне и полезно... Только тут необходимо, чтоб это было непременно ново для меня и мое собственное, тогда только оно может быть сделано свободно и искренно...

Говоря о крупных издательских фирмах России, Лев Николаевич выражал крайнее сожаление, что у нас до сих пор нет сжатого экстре из классиков всемирной литературы.

— Подобное издание было бы в высшей степени важно для самообразования русского общества,— говорил он.— Как можно не знать, что сказали, суть того, что сказали великие умы. Да, по-моему, даже средние и маленькие писатели не должны быть забыты в таком издании: даже у самых маленьких найдутся такие мысли, которые человечество не должно забывать. Я убежден, что подобное издание принесло бы у нас огромную пользу; у нас уже есть люди, которые могли бы сделать хорошее экстре, и просто удивительно, что до сих пор такое издание даже никем не задумано.

Тарелка бульона — единственное кушанье, составляющее весь обед графа,— не прерывала нашей беседы. Все вопросы дня и мира интересуют Льва Николаевича. Таким образом, мы незаметно от литературных вопросов перешли и к политике. Темой к тому послужил разговор моего сотоварища с князем Бисмарком.

— Удивляюсь,— заметил граф, пожимая плечами,— к чему это он стал так пояснять свою прошлую политику... Просто не понимаю.

— А не напомнил он вам,— спросил я, смеясь,— отставного фельдфебеля, когда заговорил о рабочем движении?

— О, я никогда-никогда не признавал Бисмарка великим человеком, — с живостью возразил граф, — пришло историческое время для объединения немцев; в этот момент стояли во главе Вильгельм и Бисмарк, вот и будут повторять эти два имени... Я пережил интересную эпоху Наполеона III; его ведь тоже признавали гением [8]. Все держатся известных привычек, известных приличий; вдруг среди их является нахал, ничего не признает, и при успехе его немедленно провозглашают великим... Так всегда делается, нередко и в частной жизни появляются такие же гении-нахалы...

— А как, граф, вы относитесь к затеям молодого Вильгельма? — спросил я.

— С большим интересом.

— И с симпатией?

— Да, и с симпатией... Я всегда доказывал, что у каждого времени есть своя забота. В этом состоит смысл истории и человеческого прогресса. В наше время была такой заботой крестьянская реформа, теперь на Западе на очереди рабочий вопрос. Игнорировать его — такая чепуха. Да, в сущности, это вовсе не рабочий вопрос, а гораздо больше — предстоят вполне очевидно крупнейшие экономические перемены. Жаль только, что молодой император не с того начинает [9]. Ограничение, например, часов рабочего времени... Разве это возможно? У нас, например, в Московском округе, я знаю, запретили детям работать — пошли работать матери... Не то нужно, нужно, чтобы самому рабочему не было необходимости закабалять себя на четырнадцатичасовой труд или отдавать на фабрику детей. Без такого коренного дела все попытки исправить настоящее положение не дадут доброго результата.

После своего скромного обеда и долго тщетных уговоров графини и моих отправиться на обычный полуденный отдых граф на прощанье сообщил мне в кратких словах тему, на которую он желал бы написать роман.

— Это факт — действительность, и такая, какую ни за что не выдумаешь. Купеческая дочка заразилась революционизмом. Остриглась, начала курить и т. д. Явился у нее ребенок, богатые родители выгнали ее из дому, ей некогда было заниматься ребенком, и она отдала его в воспитательный дом. Одна кормилица этого дома получила этого ребенка к себе на дом, а ее собственный ребенок достался другой кормилице. В приемной она, однако, успела выменять ребенка — унесла домой своего, а нумер-то у нее был на купеческое дитя. Купчиха с супругом часто навещали этого ребенка, признавая его за своего, привозили лакомства, ласкали его и любили. Затем настоящее купеческое дитя умерло, а у купчихи все революционные идеи вылетели из головы вместе с дымом папиросок, она примирилась с родителями и стала опять богата. Незачем, значит, оставлять ребенка у кормилицы. Хочет взять его — кормилица не дает, предлагает деньги, крупные деньги — не берет. И вот совершился новый соломонов суд перед директором воспитательного дома — настоящий соломонов суд, и ребенок достается, конечно, настоящей матери его — кормилице[10]... ⟨...⟩

ЭМИЛИЙ ДИЛЛОН

МОЕ ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

⟨...⟩ Граф, ожидавший меня, приветливо улыбнулся, спросил, как я доехал из Петербурга, и поинтересовался общими знакомыми. Его манера была безыскусной, речь — колоритной, а тон — радушным. Он выглядел примерно так, как я и представлял: крепко сложенный крестьянин, невысокий, с грубо вытесанным лицом, полными губами, громадным лбом, носом «картошкой» — по-сократовски резкими, ни привлекательными, ни выразительными чертами. Лицо это тем не менее приковывало внимание, особенно серые глаза, необычайно живые, сверкающие ослепительными вспышками.

— Я собирался спросить вас, на каком языке вы хотели бы беседовать,— сказал он,— но я вижу, вы свободно говорите по-русски, и мы этим воспользуемся. В отношении языка, как и во многом другом, мы здесь космополиты.

Так мы беседовали примерно полчаса, после чего он познакомил меня со своим другом, Страховым*, жившим в этом гостеприимном доме уже несколько дней, и при этом сказал: «Вы смените его в моем кабинете, в котором он останавливается, когда приезжает сюда. Мне очень жаль, что он сегодня уезжает, но я рад за вас, так как его отъезд позволит вам стать на время хозяином этой скромной комнаты».

---

* Н. Н. Страхов родился в 1828, умер в 1896 г., известный философ и критик, славянофил и большой почитатель Толстого, на которого он произвел глубокое впечатление и воздействие. (*Прим. Э. Диллона.*)

— Очень любезно с вашей стороны,— ответил я.— Но я не хотел лишать вас кабинета. В самом деле, я...

— Вы ничего не лишаете меня,— перебил он.— Это мое желание. Вы будете спать здесь,— и он показал на диван.

Я осмотрел маленькую спальню, вид которой напоминал келью бенедиктинца [1] или рабочий кабинет современного философа, если судить по книгам, письменным принадлежностям и весьма ограниченному вмешательству заботливых женских рук. Узкая дверь вела в контору, другая — в библиотеку, где на желтых книжных полках лежали газеты, журналы и связки книг на всех языках мира. Вот некоторые из книг, которые бросились мне в глаза: Конфуций [2], Лао Цзы [3], Магомет [4], Будда [5], Платон, Монтень [6], работы об анархизме,— из них всех Толстой черпал материал для своих сочинений. Вдоль правой стены стоял старый деревянный диван [7], на котором родился он сам, его братья и старшие дети,— теперь он временно становился моим. Перед диваном стоял старый письменный стол, принадлежавший еще его отцу, и низенькое детское кресло, в котором из-за близорукости располагался для работы сам писатель. Именно тогда я подумал, что это и есть Синай: с его вершины провозглашаются заповеди не одному племени, как это было во времена Моисея [8], а всему человечеству ⟨...⟩.

Разговор незаметно переходил с предмета на предмет, и мне пришлось рассказать о себе, о том, где я учил русский язык, когда и почему я оказался во Дворце [9], и о многом другом. Потом граф спросил, не хочу ли я погулять с ним по лесу. Предложение обрадовало меня, и мы сразу же вышли. День был холодный, но безветренный. Снег хрустел и искрился, воздух обжигал и бодрил. Воскресное безмолвие охватило лес. Казалось почти кощунством нарушать тишину.

— Посмотрите! — воскликнул граф.— Видите, солнце и луна сияют одновременно и довольно ярко. Красиво? Вы когда-нибудь наблюдали подобное?

Я ответил, что видел и раньше похожее явление и всегда им любовался.

— А теперь позвольте мне поблагодарить вас за прекрасный перевод «Крейцеровой сонаты» [10] и ту решительность, с которой вы скрестили шпаги с нелепыми английскими издателями [11]. Как говорится, против глупости сами боги бессильны. Так что у нас нет оснований жаловаться

на поражение. Вы держались превосходно, и я ценю ваши усилия. Но Стэд! Это был сюрприз для меня. Какой он странный! Вы, конечно, хорошо его знаете?

— Да, мне казалось. Но ведь в таких случаях мы часто переоцениваем, и так, наверное, случилось со мной.

— Вы знаете, он был здесь и много говорил со мной в этой своей странной, нервной манере, и я объяснял ему так доступно, как только умею, смысл «Крейцеровой сонаты» до тех пор, пока не поверил, что он понял. Я даже убедил себя в том, что он принял ее. Но когда не знаешь ни языка, ни психологии и образа мышления своего собеседника, всегда рискуешь обмануться. Ошибка, допущенная им, серьезнее, чем я ожидал. А впрочем, теперь это не имеет значения [12].

— А были такие грубые промахи у других иностранных корреспондентов? — спросил я.

— Я не помню ничего подобного. Немцы и, конечно, все германцы знают два или три иностранных языка, и они понимают все сказанное и ясно излагают это своим читателям.— И он назвал имена двух немцев, с которыми я уже имел длительные беседы. — Один из них, — добавил он, — собирался написать его биографию и получил для этого необходимые материалы [13].

— Таково и мое намерение,— начал я,— как я и ваш друг Чертков писали вам.

— Да, я знаю. Вы тоже просили материал, и, полагаю, кое-что вам было прислано из Ясной Поляны? — Я кивнул.— Я не уверен,— продолжал граф,— что сейчас пришло время для написания такой биографии. Я даже убежден в обратном. Многие материалы — я имею в виду важные материалы — еще не могут быть использованы.

— Но ведь это главным образом, точнее, целиком, будет зависеть от вас? — возразил я.

— Нет, не только. Я не могу сейчас объяснить всего, так что вы просто должны с этим примириться.

— Но я понял, что у вас есть дневники? — настаивал я.

— Да, есть.

— Могу ли я взглянуть на них?

— Я покажу вам дневник,— отвечал он,— но я не хочу, чтобы вы использовали его. С другой стороны, я готов ответить на любые конкретные вопросы относительно интересующих вас фактов.

Я поблагодарил его за предложение и сказал, что счастлив возможности познакомиться с его дневником, но буду считаться с его мнением относительно подходящего момента для публикации биографии и, если потребуется, совсем откажусь от своего намерения [14].

— Это на вашей совести, а если понадобятся сведения о датах или событиях моей жизни, я с удовольствием сообщу их вам.

И вновь возник разговор о «Крейцеровой сонате», но касался он не повести, являющейся, по его словам, только изложением его учения, а самих взглядов, которые он защищал с пылом и горячностью, свойственными Позднышеву, его душевно неполноценному герою. Позднышев сам считал себя больным. Ему и в тридцать лет были свойственны юношеские эксцессы, и душевная неуравновешенность подтверждала это. Одним из проявлений его неумеренности была обостренная чувственность. Именно в ней, присущей, по мнению Позднышева, в той же степени всем мужчинам, коренится зло, от которого страдает человечество. Он предлагал, как и скопцы, радикальное средство — отказ от половых отношений. Но я обратил внимание Толстого, как на одно из его заблуждений, что защищает эту практику дегенерат. К тому же, по-моему, его учение в какой-то степени порочит буддизм [15].

Граф был в отличном состоянии, работал день и часть ночи с энтузиазмом и страстностью двадцатипятилетнего молодого человека.

На следующее утро часов в восемь или девять в его прихожей столпились мужики и бабы из ближайших деревень, все они в почтительной тишине ждали выхода графа, подобно тому, как обессиленный народ Иерусалима ожидал явления ангела и движения воды [16]. Нужды и несчастья этих добрых людей были столь же различны, как их имена и возраст, и лишь немногие из них имели хоть какое-то понятие о том, где кончается благотворительность и начинается всемогущество. Они хотели, чтобы мир воцарился в их жилищах, топливо было в их лачугах, у скота был корм; они желали отмщения врагам, хотели, чтобы у их обездоленных детей были и одежда, и отцы. По словам хозяина дома, количество посетителей всегда велико [17], несмотря на его решимость ограничиться одним видом помощи действительно страждущим — бесплатными столовыми [18]. Вечером, вместо того чтобы наслаждаться заслуженным отдыхом после дневных за-

бот, он, сжигая большое количество масла, работал над своими заметками и статьями.

Он старался внушить мне мысль о том, что не мы должны учить крестьян, а, напротив, нам у них необходимо учиться. И он делал все, чтобы походить на них. Крестьяне были очень преданы ему, но, несмотря на это, не имели никакого представления о его жизни. Вот случай, один из множества подобных. Как-то раз, вернувшись с прогулки, расстроенный граф рассказал нам следующее:

— Сегодня утром у меня была неожиданная встреча. Я ушел дальше обычного и вышел на большую дорогу. Едва я повернул назад, как увидел двух странно одетых стариков с палками — их одежда была непривычного коричневого цвета [19]. Они мерили землю своими посохами. Приняв меня за крестьянина, они спросили: «Ты не знаешь, где живет наш великий человек? Зовут его Лев, и его сочинения изданы в городе и дошли до деревни. Это должно быть где-то здесь, поблизости».

— Мне было интересно, и я решил какое-то время не называть своего имени. «Я слышал о нем,— ответил я,— живет такой человек, но сейчас его нет дома. Его дом здесь, в лесу. А вы откуда идете?»

«Из Красинского [20]. У нас был хороший урожай, и после уборки мы решили пойти посмотреть и послушать Льва. Мы и сами можем придумывать сказки, но не умеем их записывать. Мы рассказываем сказки детям, а в воскресные и праздничные дни послушать нас приходят и взрослые. Мы знаем и древние сказания»,— и один из них запел старую песню.

— Все это было так неожиданно, и слова были особенные, и голос поющего был хоть и слабый, но такой приятный. Никогда раньше я не слышал ни этой песни, ни таких слов. Пораженный и растроганный, я сказал: «Пойдемте! Я провожу вас до дома». Мне очень хотелось радушно их встретить, а еще я хотел, чтобы все их послушали.

«Ты проводишь нас к сказителю?» — спросили они.

«Да, — ответил я, — к сказителю. Вот он перед вами».

«Не может быть!» — воскликнул один из них, а другой добавил: «Да, похож на портрет, который я видел. Но лицо твое очень печально. Ты страдаешь, хотя у тебя добрые глаза. Можно нам обнять тебя, Лев».

Эти слова произнес певец, и он обнял меня и поцеловал в лоб. Так же я приветствовал другого старца.

«Мы очень любим твою сказку о двух стариках [21],— продолжали они.— Внуки прочитали нам ее. Вот почему мы и пошли к тебе. Мы похожи на тех стариков, о которых ты написал».

И я ответил: «Да, конечно, вы очень похожи на тех двух стариков». Они крепко пожали мне руку и сказали: «Наверное, у тебя есть старинные книги сказок; а если нет, кто же рассказывает тебе твои сказки?»

«Да,— ответил я,— у меня есть старые книги, но я рассказываю свои сказки по-другому и другими словами».

«И ты это делаешь действительно очень хорошо»,— сказали они мне.

Тем временем мы подошли к входу в главную аллею парка.

«Какой здесь прекрасный пруд! А это что, теплица? Какой большой дом! И это все твое?»

В этот момент карета, запряженная парой лошадей, проехала мимо. Это возвращались после купания дети и их гости.

«Это все твои дети?»

«Нет, среди них есть и гости».

Раздался звонок к обеду. Старики остановились и сказали: «Мы дальше не пойдем. Мы увидели тебя, а теперь вернемся домой».

«Но почему же? Почему вы не войдете и не пообедаете со мной?» — удивился я.

«Потому что ты не такой, как мы думали. Дело плохо. Ты, оказывается, не живешь простой жизнью и потому не можешь сказать нам того, что мы хотим узнать».

И с этими словами они ушли...

И. Е. РЕПИН

ИЗ МОИХ ОБЩЕНИЙ С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Лев Николаевич Толстой как грандиозная личность обладает поразительным свойством создавать в окружающих людях свое особое настроение. Где бы он ни появился, тотчас выступает во всеоружии нравственный мир человека, и нет более места никаким низменным житейским интересам.

Для меня духовная атмосфера Льва Николаевича всегда была обуревающей, захватывающей. При нем, как загипнотизированный, я мог только подчиняться его воле. В его присутствии всякое положение, высказанное им, казалось мне бесспорным.

Его трактаты известны. Касаться их я не буду. Здесь, в этой краткой заметке, я попытаюсь сообщить только несколько эпизодов внешнего, бытового характера его жизни, близким свидетелем которых мне посчастливилось быть.

I. В МОСКВЕ

Его первое появление. В 1880 году в Москве, в Большом Трубном переулке, в моей маленькой мастерской под вечер все вдруг приняло какой-то заревой тон и задрожало в особом приподнятом настроении, когда вошел ко мне коренастый господин с окладистой серой бородой, большеголовый, одетый в длинный черный сюртук [1].

Лев Толстой. Неужели? Так вот он какой! Я хорошо знал только его портрет работы И. Н. Крамского и представлял себе до сих пор, что Лев Толстой очень своеобразный барин, граф, высокого роста, брюнет и не такой большеголовый...

А это странный человек, какой-то деятель по страсти, убежденный проповедник. Заговорил он глубоким, задушевным голосом... Он чем-то потрясен, расстроен — в голосе его звучит трагическая нота, а из-под густых грозных бровей светятся фосфорическим блеском глаза строгого покаяния.

Мы сели к моему дубовому столу, и, казалось, он продолжал только развивать давно начатую им проповедь о вопиющем равнодушии нашем ко всем ужасам жизни: к ним так привыкли мы — не замечаем, сжились и продолжаем жить и преступно подвигаемся по отвратительной дороге разврата; мы потеряли совесть в нашей несправедливости к окружающим нас меньшим братьям, так бессовестно нами порабощенным, и постоянно угнетаем их [2].

И чем больше он говорил, тем сильнее волновался и отпивал стаканом воду из графина.

На столе уже горела лампа, мрачное и таинственное предвестие дрожало в воздухе. Казалось, мы накануне Страшного суда... Было и ново и жутко...

Когда он поднялся уходить, я попросил позволения проводить его до их квартиры, — четверть часа ходьбы.

Прощаясь, он предложил мне по вечерам, по окончании моей работы, заходить к ним для предобеденной прогулки, когда я буду свободен.

Эти прогулки продолжались почти ежедневно, пока Толстые жили в Москве, до отъезда в Ясную Поляну [3].

По бесконечным бульварам Москвы мы заходили очень далеко, совсем не замечая расстояний: Лев Николаевич так увлекательно и так много говорил.

Его страстные и в высшей степени радикальные рассуждения взбудораживали меня до того, что я не мог после спать, голова шла кругом от его беспощадных приговоров отжившим формам жизни.

Но самое больное место для меня в его отрицаниях был вопрос об искусстве: он отвергал искусство.

— А я,— возражаю ему,— готов примкнуть к огромному большинству нашего образованного общества, которое ставит вам в упрек ваше отстранение, от себя особенно, этого прекрасного дара божьего.

— Ах, этот упрек! Он похож на детские требования от няни: непременно рассказать ту самую сказку, что няня вчера рассказывала,— знаете? Непременно эту, знакомую,— новой не надо. Я знаю, один молодой художник

бросил искусство: он нашел, что теперь отдаваться искусству — просто безнравственно. Он пошел в народные учителя.

Значительно запоздав к обеду, мы возвращались уже на конках. Непременно наверху, на империале [4], — так он любил.

В сумерках Москва зажигалась огнями; с нашей вышки интересно было наблюдать кипучий город в эти часы особенного движения и торопливости обывателей. Кишел муравейник и тонул в темневшей глубине улиц, во мраке. Но я мысленно был далек от этой обыденности, меня глодала совесть.

— Знаете, на что похоже ваше искусство и ваше пристрастие к нему? — сказал Лев Николаевич. — Пахарю надо взорать поле плугом глубоко, а ему тут кто-то заступает дорогу, показывает копошащихся в земле червяков и говорит: «Да пощадите же вы этих так хорошо устроившихся червячков, — ведь это варварство!» Или еще: «А неужели же вы не обойдете этих красивеньких полевых цветков?!» Вот ваше искусство для нашего серьезного времени.

II. В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

В августе 1891 года [5] в Ясной Поляне я увидел Льва Николаевича уже опростившимся.

Это выражалось в его костюме: черная блуза домашнего шитья, черные брюки без всякого фасона и белая фуражечка с козырьком, довольно затасканная. И, несмотря на все эти бедные обноски, с туфлями на босу ногу, фигура его была поразительная по своей внушительности. И при взгляде на него не было уже и помину о той характеристике одного очевидца, бывшего в шестидесятых годах учителем в крестьянской Яснополянской школе: «Что? Сам Толстой? Да, но это же, батенька мой, граф на всю губернию».

По лесной тропинке мы часто ходили вместе купаться версты за две, в их купальню в небольшой речке с очень холодной водой.

Лев Николаевич, выйдя из усадьбы, сейчас же снимал старые, своей работы, туфли, засовывал их за ременный пояс и шел босиком. Шел он уверенным, быстрым, привычным шагом, не обращая ни малейшего внимания на то, что тропа была засорена и сучками и камешками,

Я едва поспевал за ним и за эту быструю двухверстную ходьбу так разогревался, что считал необходимым посидеть четверть часа, чтобы остыть, — простудиться можно сразу в такой холодной воде.

— Все это предрассудки,— говорил Лев Николаевич, быстро снимая с себя свое несложное одеяние, и, несмотря на обильные струи пота по спине, одним прыжком бросался в холодную воду.— Ничего от этого не бывает,— говорил он уже в воде.

Я еще не успевал остыть, а он, выкупавшись, уже быстро одевался, брал свою корзиночку и шел собирать грибы один.

Да, внушительная, необыкновенная фигура: босяк с корзинкой в лесу, а осанка военного — в скорой походке и особенно в манере носить этот белый картузик с козырьком, немножко набекрень.

Грозные нависшие брови, пронзительные глаза — это несомненный властелин. Ни у кого не хватит духу подойти к нему спроста, отнестись с насмешкой. Но это добрейшая душа, деликатнейший из людей и истинный аристократ по манерам и особому изяществу речи. Как свободно и утонченно говорит он на иностранных языках! Как предупредителен, великодушен и прост в обхождении со всеми! А сколько жизни, сколько страсти в этом отшельнике! Еще никогда в жизни не встречал я более заразительно смеющегося человека. Когда скульптор Гинцбург на террасе у них, в Ясной Поляне, после обеда представлял перед всею семьею и гостями свои мимические типы, — конечно, смеялись все. Но Гинцбург говорил потом, что даже он боялся с эстрады взглянуть на Льва Николаевича. Невозможно было удержаться, чтобы не расхохотаться, глядя на него. А я, признаюсь, забывшись, смотрел уже только на Льва Николаевича, оторваться не мог от этой экспрессии.

Чувства жизни и страстей льются через край в этой богато одаренной натуре художника.

Только мудрецы всех времен и народов, возлюбившие бога, составляют его желанное общество, только с ними он чувствует свое блаженство, только с ними он в своем кругу. Разумеется, его религиозность несоизмерима ни с каким определенным формальным культом религий, она у него обобщается в одном понятии: бог один для всех.

В одном впечатлительном месте, в молодом лесу, над большим спуском вниз, Лев Николаевич рассказал, как в детстве они играли здесь с другими детьми, и их играми заправлял всегда старший его брат Николай. Конец целой серии игр, с одной заветной палочкой, заключился тайными похоронами этой магической палочки. Было сказано, что когда найдется эта палочка, тогда на земле наступит райская жизнь [6].

— Мы все детьми обожали брата Николая и часто и подолгу искали заветную палочку,— вспоминал Лев Николаевич.

— Теперь я пойду один,— вдруг сказал Лев Николаевич на прогулке.

Видя, что я удивлен, он добавил:

— Иногда я ведь люблю постоять и помолиться где-нибудь в глуши леса.

— А разве это возможно долго? — спросил я наивно и подумал: «Ах, это и есть «умное делание» у монахов древности».

— Час проходит незаметно,— отвечает Лев Николаевич задумчиво.

— А можно мне как-нибудь, из-за кустов, написать с вас этюд в это время?

Я рисовал с него тогда, пользуясь всяким моментом. Но тут я сразу почувствовал всю бессовестность своего вопроса:

— Простите, нет, я не посмею...

— Ох, да ведь тут дурного нет. И я теперь, когда меня рисуют, как девица, потерявшая честь и совесть, никому уже не отказываю. Так-то. Что же! Пишите, если это вам надо, — ободрил меня улыбкой Лев Николаевич.

И я написал с него этюд на молитве, босого. И мне захотелось написать его в натуральную величину в этом моменте. Показалось это чем-то значительным.

Татьяна Львовна уступила мне свой холст, но он оказался мал, пришлось надшивать.

Лев Николаевич великодушно позировал мне и для большого портрета (устроились ближе в саду) и даже одобрял мою работу [7]. Вообще у Льва Николаевича есть слабость к искусству, и он увлекается им невольно.

В один жаркий августовский день, в самую припеку, после завтрака, Лев Николаевич собирался вспахать поле вдовы [8]; я получил позволение ему сопутствовать. Мы

тронулись в путь в час дня. Он был в летней белой фуражке и легком пальто сверх посконной рабочей рубахи лиловатого цвета. На конюшне Лев Николаевич взял двух рабочих лошадок, надел на них рабочие хомуты без шлей и повел их в поводу.

За выселками деревни Ясной Поляны мы заходим на нищенский дворик. Лев Николаевич дает мне подержать за повод одну лошадку, а другую привязывает веревочными постромками к валявшейся тут же на дворе бороне — дрянненькой рогатой самодельщине. Выравнивает постромки и идет в знакомый ему сарайчик, вытаскивает оттуда соху и, повозившись с сошничками и веревочными приспособлениями, приправив их умело, как приправляют плотники пилу, он запрягает в соху другую лошадку.

Берет пальто, вынимает из его бокового кармана бутылку с водой, относит ее в овражек под кусты и прикрывает пальто. Теперь, привязав к своему поясу сзади за повод лошадь с бороной, берет в руки прави́ла сохи. Выехали со двора и начали пахать. Однообразно, долго, до скуки...

Шесть часов, без отдыха, он бороздил сохой черную землю, то поднимаясь в гору, то спускаясь по отлогой местности к оврагу.

У меня в руках был альбомчик, и я, не теряя времени, становлюсь перед серединой линии его проезда и ловлю чертами момент прохождения мимо меня всего кортежа. Это продолжается менее минуты, и, чтобы удвоить время, я делаю переход по пахоте на противоположную точку, шагах в двадцати расстояния, и становлюсь там опять в ожидании группы. Я проверяю только контуры и отношения величины фигур; тени после, с одной точки, в один момент [9].

Проходили нередко крестьяне-яснополянцы, сняв шапку, кланялись и шли дальше, как бы не замечая подвига графа.

Но вот группа, должно быть, дальние. Мужик, баба и подросток-девочка. Остановились и долго-долго стояли. И странное дело: я никогда в жизни не видел яснее выраженной иронии на крестьянском простом лице, как у этих проходящих. Наконец переглянулись с недоумевающей улыбкой и пошли своей дорогой.

А великий оратаюшка все так же неизменно методически двигался взад и вперед, прибавляя борозды. Меня-

лись только тени от солнца да посконная рубаха его становилась все темнее и темнее, особенно на груди, на лопатках и плечах от пота и черноземной садившейся туда пыли. Изредка, взобравшись по рыхлой земле на взлобок, он оставлял на минуту соху и шел к овражку напиться из бутылки воды, заправленной слегка белым вином. Лицо его блестело на солнце от ручьев пота, струившегося по впадинам, с черным раствором пыли.

Наконец я попросил позволения попробовать попахать. Едва-едва прошел линию под гору,— ужасно накривил, а когда пришлось подниматься на взлобок, не мог сделать десяти шагов. Страшно трудно! Пальцы, с непривычки держать эти толстые оглобли, одеревенели и не могли долее выносить; плечи от постоянного поднимания сохи для урегулирования борозды страшно устали, и в локтях, закрепленных в одной точке сгиба, при постоянном усилии этого рычага делалась нестерпимая боль. Мочи не было. «Вот оно, *в поте лица»*,— подумал я, утираясь.

— Это с непривычки,— сказал Лев Николаевич.— И я ведь не сразу привык; у вас еще и завтра в руках и плечах скажется труд. Да, все же физический труд самый тяжелый,— добродушно рассуждал он с улыбкой.

И опять началось бесконечное тяжелое хождение взад и вперед по рыхлой пахучей земле. Вот он, Микула Селянинович, непобедимый никакими храбрецами в доспехах. Микула вооружен только вот таким терпением и привычкой к труду.

Мы возвращались к дому в сумерках; вызвездило на холод. Было уже настолько свежо, что я боялся, как бы он не простудился. Ведь его рубаха была мокрая насквозь. В окнах дома весело блистал свет: нас ждали к обеду. Я мог повторить за мухой: «Мы пахали».

III. В ГОЛОДНЫЙ ГОД

Зимою в 1892 году, во время голода, я был у Льва Николаевича в Рязанской губернии, где он кормил голодающих в организованных им столовых[10]. Снегу выпало тогда невероятно много. Заносы заметали все дороги и совершенно заглаживали все, даже глубокие овраги.

Район столовых Льва Толстого раскинулся верст на тридцать, и Лев Николаевич несколько раз в неделю объезжал их для проверки.

— Не хотите ли прокатиться со мною? — пригласил он меня.

Я, конечно, с удовольствием.

— Да у вас это городская шинель, этого мало, в поле продует, надо одеться потеплее. Не наденете ли мой тулуп?

Тулуп черной овчины, крытый синим полусукном, был так тяжел — не поднять, и я решил остаться в своей шинели; попросил только еще что-нибудь поддеть. А главное — валенки.

— Непременно наденьте валенки. Что, глубокие калоши? Нет, без валенок нельзя ехать, — вы увидите. У нас запасные есть.

И действительно, я увидел (убедился на опыте) и был очень рад, что надел валенки.

День был морозный, градусов двадцать по Реомюру при северном ветре, и светом солнца слепило глаза. В деревнях от заносов появились импровизированные горы; сильным морозом они были так скованы, что казались из белейшего мрамора с блестками. Дорога местами шла выше изб, и спуски к избам были вырыты в снегу, между белыми стенами. Совсем особый, необычный вид деревни [11].

Мы заезжали в два места. В одной большой избе во всю длину, и даже в сенях, стояли приготовленные столы, узкие, в две доски на подставках. Здесь кормилось много детей. Час для еды еще не наступил, но дети давно, уже с утра, ждали здесь обеда, околачиваясь то на лавках, то в сенях и особенно на печи, где сидели один на другом. Лев Николаевич принял отчет от распорядительниц-хозяек, и мы поехали дальше. В другом селе, пока мы доехали, нахлебники только что вставали из-за стола. Молились, благодарили и уходили не торопясь. И здесь больше подростки-дети. Взрослые как будто стыдились.

Некоторым семьям выдавали пайки — мы заехали и к таким пайщикам. В одной избе мне очень понравился свет. В маленькое оконце рефлексом от солнца на белом снегу свет делал совсем рембрандтовский эффект.

Лев Николаевич довольно долго расспрашивал хозяйку о нуждах, о соседях. И наконец мы повернули назад,

домой, но другой дорогой. Место пошло гористое. Красиво. Вдали виднелся Дон. То с горы, то на гору. Сани наши при поворотах сильно раскатывались. Весело было. Но хотелось уже и домой вернуться; сидеть в санях надоело, плечи и ноги устали.

И мы быстро несемся домой по блестяще-залосненной дороге. Лошадь постояла в четырех местах и бежала домой резво. Скрипели гужи, и ворковала дуга с оглоблями.

— Эх, мороз-морозец!

Но вот на спуске с одного пригорка наши розвальни без подрезов очень сильно раскатились, сделали большой полукруг, завернулись влево, тр-р-р! — и мы с санями потянулись назад; вдруг глубоко провалились в овраг и потянули за собой лошадь; оглоблями подбивало ее под ноги, она не могла удержаться на залосненной горе, сдавалась, сдавалась за нами назад и провалилась наконец и сама между оглоблей глубже саней; только голова из хомута торчала вверх. Побилась, побилась, бедная, и улеглась спокойно... Мягко ей стало. И мы в санях сидели уже по грудь в снегу.

Я решительно недоумевал, что мы будем делать. Сидеть и ждать, не проедут ли добрые люди и не вытащат ли нас из снежного потопа?

Но Лев Николаевич быстро барахтается в снегу, снимает с себя свой пятипудовый тулуп, бросает его на снег по направлению к лошади и начинает обминать снег, чтобы добраться к ней.

— Прежде всего надо распрячь, — говорит он, — освободить от чересседельника и оглоблей, чтобы она могла выбраться на дорогу.

Северный ветер поднимал кругом нас белое облако снежной пыли. На фоне голубого неба Лев Николаевич, барахтаясь в белом снегу, казался каким-то мифическим богом в облаках. Энергическое лицо его раскраснелось, широкая борода искрилась блестками седины и мороза. Как некий чародей, он двигался решительно и красиво. Скоро он был уже близ лошади. Тогда я, следуя его примеру, начинаю пробираться к лошади с другой стороны по краю саней и по оглоблям, чтобы помогать. Вот где я сказал «спасибо» своим валенкам! Что бы я теперь делал в калошах? Они были бы полны снегу. Какое блаженство! Вот я и у лошади.

Но с животным недалеко до беды: оно не понимает наших добрых намерений. И, отдохнув, так вдруг рванется и двигает ногами! Ушибет, ногу сломает! Я уже получил несколько чувствительных толчков от ее подкованного копыта.

А Лев Николаевич уже размотал супонь, вынул дугу, бросил ее в сани и, освободив лошадь от оглоблей, взял ее за хвост и погнал к дороге, на кручу. Лошадь взлезла на дорогу прыжками, и Лев Николаевич, не выпустив ее хвоста из рук, уже стоял на дороге; он держал ее в поводу, бросив мне вожжи, чтобы завязать ими оглобли саней и лошадью вытащить сани на дорогу.

Руки коченели от мороза и от непривычки. Трудно, но, как загипнотизированному, мне как-то все удается: я все понимаю и все делаю как надо. Завязал вожжи за оглобли, вытащил даже втоптанный в снег тулуп, взвалил его на сани и по значительно уже примятому снегу лезу с концами вожжей ко Льву Николаевичу. Он вытягивает меня на вожжах, привязывает их к гужам хомута, и наши сани торжественно поднимаются на дорогу. Какое счастье!

И во все это время ни души проезжих.

Слава богу, и сани и сбруя — все в целости, только запрячь. Лев Николаевич совершенно легко и просто проделал всю запряжку, как обычное дело, хорошо ему знакомое. Закладывается дуга, поднимается нога к хомуту, чтобы стянуть гужи тонким ремешком супони, продевается повод в кольцо дуги, завожживается лошадь,— готово. Надо было только выбить овчину тулупа. Мы взяли его за края и долго старались вытряхнуть забившийся в овчину снег. Вот тяжесть! На месте трудно удержаться во время тряски. Нельзя же его надевать со снегом... Разгорелся и я от этих упражнений, весело стало.

— Хо-ох, так вот как...— улыбнулся Лев Николаевич радостно.— Теперь,— говорит он,— мы спустимся вон с той горы и поедем Доном. Я знаю, там дорога хорошая, и внизу по реке не наметает таких сугробов. А? Каков глубокий овраг. Ужас как намело. А вы мне хорошо помогали. Я замечаю: живописцы народ способный. Вот Ге — тоже, бывало, удивительно подвижной человек, необыкновенно находчив и ловок во всех таких делах. Ну что, вы не промерзли? — смеется он добрейшими глазами со слезинками от ветра и мороза.

По тихому Дону мы катили весело и бойко. Лошадь,

полежав в овраге, отдохнула, да и дорога ровная по льду,— кати! Только левую сторону неумолимо пробирает морозным ветром. Борода моего ментора развевается по обеим сторонам, и мы весело разговариваем о разных знакомых.

— Ну, так как же? А вы все такой же малодаровитый труженик? Ха-ха! Художник без таланта? Ха! А мне это нравится, если вы действительно так думаете о себе. Искусство очень любите и никогда его не бросите?

— Да.

— Вот так!.. Как лошадка бежит охотно... И по своим нравственным идеалам вы все еще язычник, не чуждый добродетели? Так, кажется, говорили вы? Этого мало, мало.

Вдруг я с поразительной ясностью вижу: впереди нас, шагах в тридцати, полынья. Из глубины черной воды валит морозный пар. Я оглядываюсь на Льва Николаевича, но он совершенно спокойно правит разогнавшейся лошадью. Резво мы летим прямо в пропасть. Я в ужасе...

С криком «боже мой!» я схватываю его за обе руки с вожжами, стараясь остановить.

Но где же удержать на лету! Лошадь скользит, и мы, как в сказке, летим по пару над черной глубиной.

О счастье! Так зеркально в этом глубоком и тихом омуте замерз Дон, а снежная пыль, несущаяся поверху, делает вид пара. Я точно проснулся от тяжелого сна, и мне было так совестно.

IV. В ПЕТЕРБУРГЕ В 1897 ГОДУ

Моя академическая мастерская в Петербурге также удостоилась посещения Льва Николаевича, даже в обществе Софии Андреевны и ревностных его последователей — Черткова, Бирюкова, Горбунова и других.

Было около одиннадцати часов утра [12], когда неожиданные гости, как буря с грозой, освежили мои работы.

Дорогие гости зашли ко мне по дороге к Черткову в Гавань, где он жил в доме своей матери. Лев Николаевич приехал из Москвы проводить Черткова за границу, куда его высылали с Бирюковым административным порядком.

И вот в моей огромной мастерской собралась группа близких, преданных Льву Николаевичу. Посетившие ходили гурьбой за учителем и слушали, что скажет он перед той или другой картиной.

Счастье выпало на долю картины «Дуэль»[13]. Перед ней Лев Николаевич прослезился и много говорил о ней с восхищением. Все смотрели картину и ловили каждое его слово.

После осмотра целой гурьбой по академической лестнице мы спустились на улицу, где нас ждала уже порядочная толпа.

Соединившись, мы заняли весь тротуар и двигались к Большому проспекту, к конкам.

Кондуктор конки, уже немолодой человек, при виде Льва Николаевича как-то вдруг оторопел, широко раскрыл глаза и почти крикнул: «Ах батюшки, да ведь это ж, братцы, Лев Николаевич Толстой!» — и благоговейно снял шапку.

Лев Николаевич, в дубленом полушубке, в валенках, имел вид некоего предводителя скифов. Что-то несокрушимое было в его твердой поступи,— живая статуя каменного века.

Удивительно! Широкие скулы, грубо вырубленный нос, длинная косматая борода, огромные уши, смело и решительно очерченный рот, как у Вия, брови над глазами в виде панцирей. Внушительный, грозный, воинственный вид, а между тем и этот предводитель, и последователи его сожгли уже давно всякое оружие насилия и вооружились только убеждениями кротости на защиту мира жизни и свободы духа.

И сам Лев Николаевич своею личностью и физиономией выражает победу духа над миром собственных житейских страстей. И глаза его ярко светятся светом этой победы.

В. Г. Чертков помещался всегда необыкновенно живописно, где-нибудь на окраинах. Красота его жилища начиналась уже с ограды — большими кудрявыми деревьями. И самый дом стоял в глубине парка. Это был еще помещичий особняк в один этаж, расположенный очень симпатично.

Здесь, на дворе и в комнатах, его уже ждали незнакомые серьезные люди, скромно и опрятно одетые сектанты, с виду люди решительного характера, больше мужчины типа ремесленников.

В самой большой комнате скоро началось нечто вроде проповеди.

Лев Николаевич сидел в центре, кругом него, кто на чем, сидели, стояли, без всякого порядка, дамы, интеллигенты, курсистки, подростки, гимназистки, а дальше начинались те простые серьезные глаза из-под сдвинутых бровей. Само внимание.

Зал все наполнялся, образовались возвышения вроде амфитеатра к стенам и углам. Сидели, стояли не только на полу, на подоконниках, подставках, скамейках, стульях,— даже на комодах и на шкафах кое-как громоздились люди. Двери в другие комнаты также были заполнены слушателями обоего пола. И все больше простые, серьезные люди и взгляды, полные веры. Ласково, но внушительно раздавался часто вибрирующий от слез голос проповедника. И так дотемна, когда зажглись лампы, слушали его с самозабвением. И мне казалось, что у Льва Николаевича это были одни из самых желанных часов его жизни.

V. ОПЯТЬ В ЯСНОЙ

В конце сентября 1907 года я опять был в Ясной Поляне [14], спустя двадцать лет после первого посещения.

Лев Николаевич был очень бодр и здоров, но появилась в нем какая-то бесстрастность праведника.

Он все понял и все простил.

Главное его внимание сосредоточено теперь на книге «Круг чтения», которую он редактирует и дополняет для нового издания [15]. И кажется, что он только для этой книги и существует.

Утром, до девяти часов, он гуляет пешком; потом, до часу с половиною, без перерыва работает над книгой, и в это время уже никто не смеет отвлекать его. В кабинет никто не входит.

Семейство завтракает в половине первого. Один он выходит завтракать во втором часу. После завтрака спускается к дереву бедных, где ждут его, иногда с утра, чающие помощи: мужчины, странницы, босяки, прохожие и иногда даже монахини.

После приема этих божьих людей Лев Николаевич садится на верховую лошадь для прогулки по окрестностям. Ездит с небольшим два часа. Возвращается часам к пяти и около получаса отдыхает перед обедом.

У меня наследственная страсть к лошадям и верховой езде, и я любил смотреть, как Лев Николаевич садится на лошадь и уезжает.

Меня возмущала профанация ездоков, лезущих на лошадь, как на избу; по лестнице сбоку, даже немножко сзади, или со скамеечки, с тумбы карабкаются они с опасностью жизни на лошадь, без всяких приемов; хорошо, что это деревенские клячи, а на строгую лошадь разве так сядете?!

Лев Николаевич подходит к лошади, как опытный кавалерист, с головы, берет, правильно подобрав, повода в левую руку и, выровняв их у гривы на холке и захватив вместе с поводами пучок холки, берет правой рукой левое стремя. Несмотря на довольно подъемный рост лошади, без возвышения, без всякой помощи конюха с другой стороны у седла он — в семьдесят девять лет — высоко поднимает левую ногу, глубоко просовывает ее в стремя, берет правой рукой зад английского седла и, сразу поднявшись, быстро перебрасывает ногу через седло. Носком правой ноги ловко толкает правое стремя вперед, быстро вкладывает носок сапога в стремя, и кавалерист готов — красивой, правильной французской посадки.

В 1873 году мне писал Крамской, который работал тогда над портретом Льва Толстого, что в охотничьем костюме, верхом на коне Толстой — самая красивая фигура мужчины, какую ему пришлось видеть в жизни.

В этот приезд мой я сопутствовал два раза Льву Николаевичу в его прогулках верхом. На первой прогулке он направился по фруктовому саду вверх, повернул направо, выехал через окоп сада на дорогу и круто повернул к лесу, без всякой дороги. Между ветвями высоких деревьев, по густой траве, он стал спускаться в темный овраг, заросший высокой травой. Я едва поспевал за ним, ветки мешали видеть, лошадь увязала в сырой почве под травой оврага; надо было отстранять ветки от глаз и отваливаться назад при крутом спуске вниз. И мне вдруг стало так весело от всех этих неудобств, что я почувствовал себя очень молодым и храбрым. А впереди мой герой, как рафаэлевский бог в видении Иезекииля [16], с раздвоенной бородой, с какой-то особой грацией и ловкостью военного или черкеса лавирует между ветвями, то пригибаясь к седлу, то отстраняя ветки рукой.

Выехали на дорогу. Вся она густо покрыта желтыми листьями кленов и дубов, шумит под копытами.

— А вы не боитесь — хорошей рысью или проскакать? — осведомляется он кротко и ласково.

— Нет,— отвечаю я в восторге.— Как вам угодно, я не отстану, пожалуйста!

Мой лесной царь понесся быстро английской рысью. Транспарантным светом, под солнцем, особенно эффектно блестит золотом его борода по обе стороны головы. Царь все быстрее наддает, я за ним. А впереди, вижу, молодая береза перегнулась аркой через дорогу, в виде шлагбаума. Как же это? Он не видит? Надо остановить... У меня даже все внутри захолонуло... Ведь перекладина ему по грудь. Лошадь летит... Но Лев Николаевич мгновенно пригнулся к седлу и пролетел под арку. Слава богу, не задел. Я за ним — даже по спине слегка ерзнула березка.

«Вот бесстрашный и неосторожный человек! Это неблагоразумно»,— подумал я.

Но скоро и я привык к этим заставам. В молодом лесу на нашей дороге их было более двадцати.

Проезжали казенным лесом, где было много брошенных заросших и полузаросших ям,— из них добыто железо и чугун.

Потом Лев Николаевич показал мне два провала в огромном дубовом лесу. Еще во времена его юности эти места провалились так глубоко, что самые высокие дубы, стоявшие на них, были видны только вершинками, когда вода тотчас же залила эти провалы. Теперь на середине этих мест образовались острова, и на них вновь растут уже довольно высокие дубы. Мы спускались вниз к ручью. Природа богатейшая. Пожелтевшие колоссальные клены, порыжевшие дубы-великаны, и целая долина леса уходила по склону вдаль. В эту сухую осень золото листвы, с серым серебром мелких ветвей, особенно от осин, блестело кое-где на солнце и создавало чудо. Какой художественный и новый мотив! Точно из металла все было выковано тонко на голубой эмали осеннего густого, синего неба.

— А что же вы так совсем не восхищаетесь природой,— упрекает меня ласково Лев Николаевич.— Посмотрите, как здесь красиво!

— Перед такой природой молчать хочется,— отвечаю я.— Только ведь у вас в парке, кругом усадьбы, особенно с вашего балкона, еще красивее.

Я даже не воображал встретить в наше время в России такие богатства природы! Этакие колоссы дубы! Вче-

ра сейчас за парком мы вдвоем не могли обнять одного дуба; и ведь это тянется без конца, целый лес!

С горки Лев Николаевич вдруг быстро рысью пустился к ручью. У ручья его лошадь взвилась и перескочила на другую сторону. Я даже удивился; съезжаю — но тише — и намереваюсь искать местечка переехать ручей вброд.

— А что, запнулись? — оглянулся, смотрит на меня Лев Николаевич.— Вы лучше перескочите разом. Наши лошади привыкли. В ручье вы завязнете — топко, это даже небезопасно... Ничего, ничего, вы его обласкайте; завернитесь немного назад и разом понукните его. Я знаю, он скачет хорошо.

Никогда еще мне не приходилось скакать через такой ручей, и мне стало стыдновато. Ну, думаю, будь что будет... И опять, как загипнотизированный, стараюсь проделать по-сказанному. И так приготовился к скачку, что даже не узнал самого момента, а это — как большой раскат на качелях — даже приятно; только уж очень скоро.

— Ну, вот,— сказал с довольной улыбкой Лев Николаевич.— Да вы недурно ездите и сидите в седле как-то крепко.

Усмехнулся.

— Лу-у-чше, лу-у-чше, чем в шахматы играете. А вот Чертков здесь свалился. Но он не виноват: лошадь ногой завязла — он ведь отличный кавалерист-конногвардеец! А лошадь под ним упала и даже ногу ему отдавила. Я уж тут его вытаскивал, и он даже пролежал немного с ногой.

В. Г. Чертков — человек огромного роста и довольно тучный.

Во вторую поездку мы сделали, по словам Льва Николаевича, верст семнадцать. Ехали и напрямик лесом, и по едва заметным дорожкам, и совсем без дорог. Наконец Лев Николаевич объявил, что он потерял дорогу...

— Ну, это ничего, кстати и домой пора. Теперь я отпущу ей поводья, и она нас выведет к дому, вот заметьте.

И мы, уже скорым шажком, подвигались по воле лошадей, чтобы не сбить их с пути. Впереди, как всю дорогу, шла лошадь Льва Николаевича. Проехали версты четыре, лошадь повернула между кустами влево.

— Что же это? — остановил лошадь Лев Николае-

вич.— Здесь, кажется, надо прямо, что это он повернул влево? Кажется, надо прямо.

Едем прямо. Проехали с полверсты. Льва Николаевича берет сомнение.

— Нет, нет... Я напрасно остановил. Это я его спутал, надо назад, назад!.. Вот видите, не надо было его сбивать.

Проехали полверсты до прежнего места. Конь опять ворочает направо в том же месте.

— Вот, конечно, конь прав. Как это я не узнал этого места? Вот и дорога, верно! Вот видите, они лучше нас эти вещи знают.

Скоро показалось большое поле озимой ржи чудесного темно-изумрудного цвета. Лев Николаевич сворачивает напрямик по зеленям; вдали завиднелась уже усадьба Ясной Поляны.

— А как же это,— осторожно замечаю я,— мы по хлебу? Ведь это рожь.

— Да это теперь ей ничего. Это всегда; вот и на охоте, бывало: это нипочем, даже скот пасется на озими в морозные дни.

Мы возвращались высокими холмами полей, то спускаясь с горы, то поднимаясь. И я дивился ловкости наездника в семьдесят девять лет. В очень крутых местах, где я приспособлялся с трудом, он съезжал без запинки, незаметно.

— Знаете, на этих крутых подъемах надо держаться за гриву и хорошенько прижимать коленями седло к лошади,— предупреждает меня Лев Николаевич,— а то, иногда бывает, лошадь очень вытянется, подпруги ослабнут, и седло может свалиться. Седок тогда, если держится только за повод, может свалиться и лошадь повалить назад.

Усадьба уже была близко, за дорогой. Солнце свежими розоватыми лучами резко рисовало контуры Льва Николаевича и его гнедой лошади. Съехав вниз, на дорогу, Лев Николаевич вдруг пустился в карьер. Мне показалось это против правил: и близко к дому, и лошади уже были достаточно горячи. И все-таки *подъем* к усадьбе.

Но уж тут моего Казака — имя моей лошади — удержать было невозможно, так он меня подхватил. Мы проскакали восхитительно. Сколько героизма и задору в характере лошадей! Мой Казак вошел прямо в раж от скачки! Дошел до полной анархии, отверг мое почтительное

положение сопровождающего несколько сзади, каким держался я всю дорогу, и обскакал лошадь моего ментора. Невозможно было удержать его на трензеле. Он горел каким-то бурным пламенем подо мной и казался как из раскаленного железа; сильно чувствовалось, как под седлом мускулы его ходили ходуном. Здорово прокатились!

У крыльца Лев Николаевич совсем молодцом соскочил с коня, и я почувствовал, что и я на десять лет помолодел от этой прогулки верхом.

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БДЧ	— «Библиотека для чтения».
Бирюков, I	— П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. I. М. — Пг., ГИЗ, 1923.
Бирюков, II	— П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. II. М. — Пг., ГИЗ, 1923.
Бирюков, III	— П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. III. М. — Пг., ГИЗ, 1923.
ВЕ	— «Вестник Европы».
ВЛ	— «Вопросы литературы».
ГБЛ	— Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.
ГМ	— «Голос минувшего».
ГМТ	— Рукописный отдел Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва).
Гольденвейзер	— А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., Гослитиздат, 1959.
ГПБ	— Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Гусев, I	— Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., Изд-во АН СССР, 1954.
Гусев, II	— Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., Изд-во АН СССР, 1957.

Гусев, III	— Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., Изд-во АН СССР, 1963.
Гусев, IV	— Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М., «Наука», 1970.
Дневники С. А. Толстой, I, II	— «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891», «Дневники Софьи Андреевны Толстой 1891—1897. Часть вторая». Издание М. и С. Сабашниковых, 1928, 1929.
ИРЛИ	— Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом).
ИВ	— «Исторический вестник».
Кузминская	— Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1973.
Летописи, 2	— «Летописи Государственного литературного музея». Л. Н. Толстой. Кн. вторая. М., 1938.
Летописи, 9	— «Летописи Государственного литературного музея», вып. 9. М., 1948.
Летописи, 12	— «Летописи Государственного литературного музея», вып. 12. М., 1950.
Летопись, I	— Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828—1890. М., Гослитиздат, 1958.
ЛН	«Литературное наследство».
Некрасов	— Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, тт. I—XII. М., Гослитиздат, 1948—1953.
Никитенко	— А. В. Никитенко. Дневник, т. I. М., Гослитиздат, 1958.
Переписка	— Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. М., Гослитиздат, 1962.
ПСС	— Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений (Юбилейное издание), тт. 1—90. М., Гослитиздат, 1928—1958.
РВ	— «Русский вестник».
РЛ	— «Русская литература».
РМ	— «Русская мысль».

РО	— «Русское обозрение».
Р сл	— «Русское слово».
PC	— «Русская старина».
С	— «Современник».
Стасюлевич, III	— М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III. СПб., 1909.
Стасюлевич, V	— М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. V. СПб., 1913.
Т. Л. Сухотина	— Т. Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1976.
И. Л. Толстой	— И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., «Художественная литература», 1969.
С. Л. Толстой	— С. Л. Толстой. Очерки былого. Тула, 1975.
Тургенев	— И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в 28-ми томах. Письма, тт. I—XIII. М.—Л., «Наука», 1961—1965.
ТС	— «Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева», тт. I—V. Л., «Наука», 1965—1969.
ЦГАЛИ	— Центральный государственный архив литературы и искусства.

Настоящее издание представляет собой свод основных мемуаров о Л. Н. Толстом.

В новый сборник, в отличие от двух изданных ранее (1955 г. и 1960 г.), включены воспоминания Б. Арнсвальда, А. А. Эрленвейна, И. М. Ивакина, Н. П. Глебова, Е. Скайлера, Е. Е. Лазарева, Н. Альмединген, М. С. Сухотина, П. Д. Боборыкина, А. Н. Молчанова, Д. Кеннана и др.

Ряд мемуаров печатается впервые: В. К. Истомина, А. С. Суворина, М. А. и Л. И. Поливановых, М. А. Рыбниковой. Более полно публикуется дневник А. В. Дружинина.

В антологию включены отрывки из воспоминаний о Толстом, выходившие отдельными изданиями и составляющие золотой фонд мемуаристики (И. Л. Толстого, С. Л. Толстого, С. А. Толстой, Т. Л. Сухотиной-Толстой, Т. А. Кузминской и др.).

В сборник воспоминаний вошли также материалы, по своему жанру не являющиеся в строгом смысле мемуарами. Речь идет о дневниках, письмах и записях бесед, имеющих мемуарную основу.

В то же время ряд менее ценных воспоминаний, ранее включавшихся в сборники, должны были уступить место новым материалам.

В зависимости от объема мемуаров они публикуются либо полностью, либо в отрывках, имеющих самостоятельный интерес и не разрушающих целостного представления об определенном этапе биографии и творчества писателя.

Сокращения отмечаются в угловых скобках.

Тексты сборника сверены с автографами или с надежными с текстологической точки зрения источниками. В результате устранены многие неточности и ошибки (например, воспоминания немецкого учителя Ю. Штётцера приписывались в прежних изданиях тому, кто их записал — В. Бодэ).

Большую трудность в такого рода сборниках представляет классификация воспоминаний, их композиция. Публикация мемуаров о Толстом в прежних изданиях без периодизации, классификации материалов вызывала серьезные возражения. В данном издании выдержан хронологически-тематический принцип, устраняющий разбросанность и повторяемость в разных разделах сборника одних и тех же сюжетов.

Научный аппарат издания состоит из вводных справок с краткой характеристикой мемуариста, его взаимоотношений с Толстым и историко-литературного, биографического и реального комментария к тексту.

Воспоминания Д. Кеннана перевел и прокомментировал В. Александров, воспоминания Э. Диллона переведены и прокомментированы В. Абросимовой. Воспоминания А. А. Эрленвейна подготовлены к печати и прокомментированы Б. Шумовой. Воспоминания Токутоми Рока подготовлены и прокомментированы А. Шифманом.

ЮНОСТЬ. КАВКАЗ. КРЫМСКАЯ ВОЙНА

С. А. ТОЛСТАЯ

Софья Андреевна Толстая (1844—1919) — жена Л. Н. Толстого, была первым его биографом, сохранила ряд ценных мемуарных свидетельств в своих дневниках и различных «записях». «Материалы к биографии Л. Н. Толстого...» родились из желания их автора разгадать внутренний мир и характер Толстого, чтобы поделиться с потомством своими знаниями о писателе.

«Материалы к биографии Л. Н. Толстого...» Толстая составляла из свидетельств, полученных ею от лиц, действительно близких к писателю с его детских и отроческих лет, — прежде всего от его тетушки Т. А. Ергольской, от брата Николая, от горничной Толстых — Е. Н. Ореховой и ее мужа А. С. Орехова, от двоюродной тетки А. А. Толстой, наконец от самого Л. Н. Толстого.

С. А. Толстая понимала, что ее «Материалы...» не могут исчерпать представления о многослойной, динамичной жизни писателя. 27 февраля 1877 года она записала в своем дневнике: «Сегодня, перечитывая дневники старые Левочки, я убедилась, что не могу писать «Материалов к биографии», как хотела. Жизнь его внутренняя так сложна, чтение дневников его так волнует меня, что я путаюсь и в мыслях и в чувствах...» (*Дневники С. А. Толстой, I,* с. 109).

«Материалы к биографии Л. Н. Толстого...» не были и не могли быть завершены в том плане, как это было задумано С. А. Толстой. Однако они послужили основой для биографического очерка, написанного по просьбе М. М. Стасюлевича к изданию избранных произведений Толстого в «Русской библиотеке» (т. IX, СПб., 1879, с. III—VII). Толстой ценил их как удачный свод разнородных источников. Он писал Н. Н. Страхову: «Мне интересно

восстановить в памяти свою жизнь. И если бог даст жизни и я когда-нибудь вздумаю писать свою историю, то это будет для меня канва чудесная» (*ПСС*, т. 62, с. 454).

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ Л. Н. ТОЛСТОГО И СВЕДЕНИЯ О СЕМЕЙСТВЕ ТОЛСТЫХ И ПРЕИМУЩЕСТВЕННО гр. ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

(Стр. 29)

По тексту: *ЛН*, т. 69, кн. I, с. 499—510, с уточнениями по автографу (*ГМТ*, № 9170).

[1] С. А. Толстая излагает версию, сложившуюся в семье Толстых. «...Жених моей матери, Лев Голицын, — вспоминал Толстой,— умер от горячки перед свадьбой, имя которого мне, 4-му сыну, дано в память этого Льва» (*ПСС*, т. 34, с. 352). В действительности же у С. Ф. Голицына сына Льва не было. В одном из замечаний к рукописи П. И. Бирюкова «Биография Л. Н. Толстого» Толстой уточнял: «...Я думаю, что предание о том, что мать моя была обручена одному из Голицыных справедливо так же как и то, что жених этот умер. То же, что мне дано имя Лев потому, что так звали жениха, неверно» (*ПСС*, т. 34, с. 394).

[2] М. Н. Толстая умерла 4 августа 1830 г.

[3] Имеется в виду стихотворение «Наполеон» (1821).

[4] Об этом же эпизоде Толстой рассказывал в своих «Воспоминаниях»: Его [отца] поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим» (там же, с. 357).

[5] Кроме Т. А. Ергольской, имеется в виду также Пелагея Ильинична Юшкова.

[6] Есть другое толкование этого поступка в воспоминаниях сестры Толстого, М. Н. Толстой: «Левочка, неизвестно по какой причине (как он сам теперь говорит, только для того, чтобы сделать что-нибудь необыкновенное и удивить других), задумал выпрыгнуть в окошко из второго этажа, с высоты нескольких сажен. И нарочно для этого, чтобы никто не помешал, остался один в комнате, когда все пошли обедать» (Бирюков, I, с. 47).

[7] Летом 1853 г. Толстой, находясь на Кавказе и нуждаясь в деньгах, поручил своему родственнику, В. П. Толстому, продать этот дом. Дом был продан соседнему помещику П. М. Горохову осенью 1854 г. и перевезен им в свое имение Долгое.

[8] Неточно. Переезд в Казань произошел в ноябре 1841 г.

[9] Николай был переведен в 1841 г. на второй курс математического отделения философского факультета Казанского университета, Сергей и Дмитрий в 1843 г. были зачислены на то же отделение.

[10] Толстой был зачислен студентом Восточного отделения философского факультета Казанского университета в 1844 г., а в 1845 г. он стал студентом юридического факультета, на котором учился до апреля 1847 г. В письме Т. А. Ергольской в августе 1845 г. Толстой так объяснял причины своего перехода на другой факультет: «Не знаю, одобрите ли вы это, но я переменил факультет и перешел на юридический. Нахожу, что применение этой науки легче и более подходяще к нашей частной жизни, нежели другие, поэтому я и доволен переменой» (*ПСС*, т. 59, с. 11, *перевод с франц.*).

[11] Такое сочинение Толстого неизвестно, хотя идея симметрии интересовала будущего писателя (см. в его «Отрочестве» размышления Николеньки Иртеньева).

[12] «Наказ» был написан Екатериной II для «Комиссии о сочинении проекта Нового уложения». Многие положения «Наказа» были заимствованы из сочинений Монтескье и других западноевропейских мыслителей.

[13] Иверская — часовня Иверской иконы божьей матери у бывших Воскресенских (Неглиненских) ворот в центре Москвы.

[14] Повесть, вероятно, не была написана.

[15] Летом и зимой 1850 г. Толстой писал сочинение «Основные начала музыки и правила к изучению оной» (см. *ПСС*, т. 1, с. 244—245).

[16] Толстой писал Т. А. Ергольской из Астрахани 27 мая 1851 г.: «В Казани я провел неделю очень приятно, путешествие в Саратов было неприятно; зато до Астрахани мы плыли в маленькой лодке, — это было и поэтично и очаровательно; для меня все было ново и местность, и самый способ путешествия» (*ПСС*, т. 59, с. 100, *перевод с франц.*).

[17] Е. Д. Загоскина была в Казани начальницей Родионовского института для благородных девиц.

[18] Толстой писал Т. А. Ергольской 22 июня 1851 г.: «Офицеры все, как вы можете себе представить, совершенно необразованные, но славные люди и, главное, любящие Николеньку. Его начальник, Алексеев, маленький человечек, белокуренький, рыжеватый, с хохольчиком, с усиками и бакенбардами, говорящий пронзительным голосом, но прекрасный человек, добрый христианин...» (там же, с. 105, *перевод с франц.*).

[19] Речь идет о рассказе «Набег», опубликованном в «Современнике» (1853, № 3).

[20] Толстой переводил в 1851 г. «Сентиментальное путешествие» Стерна (см. *ПСС*, т. 1, с. 249—278).

[21] «Отрочество» было завершено уже во время пребывания Толстого в Дунайской армии. «Казаки» были опубликованы в 1863 г.

[22] Неточная цитата из дневника Толстого от 29 марта 1852 г. (см. *ПСС*., т. 46, с. 102).

[23] В письме Т. А. Ергольской от 12 января 1852 г. Толстой писал о своей «большой нравственной перемене» и нарисовал идиллическую картину «счастья», которое его ожидает в будущем: «...Дела мои в порядке, нет ни волнений, ни неприятностей... Вы немного постарели, но все еще свежая и здоровая... Я женат — моя жена кроткая, добрая, любящая, и она вас любит так же, как и я. Наши дети вас зовут «бабушкой»... и т. д. (*ПСС*, т. 59, с. 162—163, *перевод с франц.*).

[24] Цитата из письма (в *переводе с франц.)* к Т. А. Ергольской от 26 июня 1852 г. (см. *ПСС*, т. 59, с. 191).

[25] Толстой отправил «Детство» с письмом к Некрасову 4 июля 1852 г.

[26] Повесть «Детство» при публикации в «Современнике» была подписана инициалами: «Л. Н.» Утверждение, что Некрасов написал сестре Толстого, Марии Николаевне, едва ли верно. Некрасов с ней познакомился около 1855 г.

[27] В письме Т. А. Ергольской от 29 октября 1852 г. (см. *ПСС*, т. 59, с. 208—210).

[28] В «Отечественных записках» (1852, № 10) была напечатана рецензия, написанная, вероятно, С. С. Дудышкиным.

В. Н. НАЗАРЬЕВ

Валериан Никанорович Назарьев (1830—1902) — литератор, земский деятель. Знал Л. Н. Толстого в годы своего учения (1845—1849) на юридическом факультете Казанского университета.

В условиях тогдашней казенной регламентации учебных занятий любое отклонение от сложившейся методики, самостоятельный интерес студентов к знаниям приобретал общественный смысл. В. В. Берви-Флеровский, учившийся в то же время, что и Толстой, в Казанском университете, вспоминал: «Когда я был студентом... к нам приехало три человека из петербургских кружков, основанных Петрашевским... Петербургские гости учили нас самостоятельно заниматься наукой. До того времени в Казанском университете и понятия не имели о том, что студент может заниматься наукой, а не заучивать лекции... Лучший из профессоров

юридического факультета, Мейер, воспользовался моими занятиями, чтобы сделать почин, до того неслыханный в университетах: он предложил мне оспаривать публично тезисы одного магистранта» (*ГМ*, 1915, № 3, с. 138). Увлечение Толстого философией, социологией совпало с началом новых веяний в Казанском университете. Именно тогда, по словам Толстого, он «в первый раз стал серьезно заниматься и нашел в этом даже некоторое удовольствие» (*ПСС*, т. 34, с. 397).

В. Н. Назарьев в какой-то степени уловил этот важный сдвиг в духовной жизни молодого Толстого.

По выходе из университета Назарьев служил в драгунском корпусе и, как пишет он в «Автобиографии», «от безделья усиленно занимался чтением книг, и главным образом журналов, из числа которых более всего увлекался «Современником» (*ИРЛИ*, ф. 273, оп. 2, ед. хр. 20). В «Современнике» (1858, № 10) были напечатаны его «Бакенбарды. Очерки полковой жизни». Очерки провинциальной сельской жизни Назарьева появлялись в «Отечественных записках», «Вестнике Европы» и других изданиях. В мемуарном цикле «Жизнь и люди былого времени» ему хотелось вспомнить «весну жизни» своей, вольный дух студенческой корпорации (см. *ИВ*, 1890, № 12, с. 721—733). Эти мотивы отразились и в очерке, посвященном Л. Н. Толстому. Толстой был знаком с воспоминаниями В. Н. Назарьева по рукописи «Биография Л. Н. Толстого», составленной П. И. Бирюковым, и сделал ряд поправок и уточнений к ним (см. коммент.).

ИЗ ОЧЕРКОВ «ЖИЗНЬ И ЛЮДИ БЫЛОГО ВРЕМЕНИ»

(Стр. 44)

По тексту журнала: *ИВ*, 1890, ноябрь, с. 436—443.

[1] Эстетику в то время в Казанском университете преподавал магистр философии, адъюнкт русской словесности В. А. Сбоев.

[2] Назарьев заимствует это выражение из записки А. С. Пушкина «О народном воспитании» (1826). Пушкин писал: «А так как в России все продажно, то и экзамен сделался новой отраслию промышленности для профессоров. Он походит на плохую таможенную заставу, в которую старые инвалиды пропускают за деньги тех, которые не умели проехать стороною».

[3] Толстой не был допущен к переводным экзаменам из-за слабых успехов в занятиях.

[4] Речь идет о профессоре Н. А. Иванове.

[5] К этой части мемуаров Назарьева Толстой сделал поправку:

«В карцере я сидел за непосещение лекций, но не в аудитории, а в карцере со сводами и железными дверями. Со мной был товарищ, и у меня в голенище была свеча и подсвечник, и мы провели очень приятно день или два — не помню» (*ПСС*, т. 34, с. 398).

[6] Относительно этого диалога Толстой сделал помету: «Разговор похож» (там же). Н. А. Иванов слыл среди казанской общественности эрудированным педагогом, обладавшим «увлекательным, красноречивым даром слова» (см. «Обозрение публичных лекций Н. А. Иванова об истории Петра Великого», Казань, 1844, с. 2). А. Н. Пыпин вспоминал: «Большой славой между студентами пользовался профессор русской истории Н. А. Иванов... Для его ораторства часто служил подкладкой просто Карамзин» (А. Н. Пыпин. Мои заметки. М., 1910, с. 32).

[7] Подробности этого эпизода были опровергнуты еще при жизни Толстого. На переводном экзамене с первого на второй курс Толстой получил по общей и русской истории «3». На полугодичных — в январе 1846 г. «2» (по общей истории), а в январе 1847 г. не был аттестован с пометкой «весьма ленив» (Н. П. Загоскин. Студенческие годы Л. Н. Толстого. — *ИВ*, 1894, № 1, с. 113, 120).

[8] Упомянутая встреча и такого рода диалоги могли произойти в декабре 1855 — январе 1856 г. (см. в наст. томе дневниковые записи этого времени А. В. Дружинина).

[9] Сергей Андреевич Юрьев — переводчик Шекспира, редактор в 1871—1872 гг. «Беседы», в 1880—1885 гг. — «Русской мысли», был знаком с Л. Н. Толстым с начала 70-х годов, бывал у него в Ясной Поляне.

[10] Возможно, что речь идет об Ю. И. Одаховском, жившем после отставки в Прибалтике (его воспоминания см. в наст. томе).

В. А. ПОЛТОРАЦКИЙ

Владимир Алексеевич Полторацкий (1828—1889) — офицер, участник ряда военных экспедиций на Кавказе в 1847—1854 гг., впоследствии генерал-майор.

Толстой оказался под началом В. А. Полторацкого во время одной из «оказий», военного похода летом 1853 г., когда уже для себя сделал выбор между военной и невоенной карьерой. «...Кавказская служба, — записывал он в дневнике 10 марта 1853 г., — ничего не принесла мне, кроме трудов, праздности, дурных знакомств... Надо скорей кончить» (*ПСС*, т. 46, с. 158).

Полторацкий воспроизводит один из эпизодов военной службы на Кавказе. Он известен и по дневниковой записи Толстого от

23 июня 1853 г.: «Едва не попался в плен, но в этом случае вел себя хорошо, хотя и слишком чувствительно» (*ПСС*, т. 46, с. 162).

Воспоминания впервые были опубликованы в *ИВ*, 1893, № 6, с. 672—676 (с сокращениями и неточностями).

ИЗ «ДНЕВНИКА»

(Стр. 53)

По рукописи (*ЦГАЛИ*, ф. 1337, оп. 1, ед. хр. 191, лл. 11—14 об.).

[1] Крепость.

[2] Командир полка.

[3] Племянник В. А. Полторацкого.

[4] Генерал, возглавлявший укрепленный район.

[5] Один из младших офицеров. Полторацкий в «Дневнике» называет его: «Наш джигит».

[6] Из более поздних рассказов Толстого своим родным и близким известны и некоторые другие подробности этой погони: «Несмотря на запрещения начальством таких поездок, ввиду их опасности, они ничем не вооружились, кроме шашек. Испытав свою лошадь. Садо́ предоставил это и другу [Толстому], а сам пересел на его иноходца, который, как известно, не умеет скакать... Неожиданно перед ними показалась группа чеченцев человек в двадцать. Чеченцы начали вынимать ружья из чехлов и разделились на две партии. Одна партия преследовала двух [надо: трех] офицеров, поскакавших обратно... Садо́, а за ним и Лев Николаевич пустился по другому направлению к казачьему пикету, расположенному в одной версте. Гнавшиеся чеченцы уже приближались к ним... Лев Николаевич, имея возможность ускакать на резвой лошади своего друга, не покинул его. Садо́, подобно всем горцам, никогда не расставался с ружьем, но, как на беду, оно не было заряжено. Тем не менее он нацелил им на преследователей и, угрожая, покрикивал на них. Судя по действиям преследовавших, они намеревались взять в плен обоих, особенно Садо́ для мести, а потому не стреляли. Обстоятельство это спасло их. Они успели приблизиться к пикету, где зоркий часовой издали заметил погоню и сделал тревогу. Выехавшие навстречу казаки принудили чеченцев прекратить преследование» (С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Смоленск, 1893, с. 9—10. См. также «Дневники С. А. Толстой. 1897—1909». М., 1932, с. 235 и «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. — *ЛН*, т. 90, кн. 2 (печатается).

[7] Финал этой истории по «Дневнику» В. А. Полторацкого был таков. Барон А. Е. Врангель узнал, в чем была истинная

суть происшествия. Полторацкому угрожал суд за ложное донесение. Он оправдывался перед Врангелем: «Скрыть от Вас истину я позволил себе только для спасения виноватых. Сам я, как и всякий другой колонный начальник, не мог отвечать по закону за офицеров, пока последним разрешено ездить верхом. Убеждать их колонный начальник не имеет возможности и средства». Врангель возражал: «Вы должны были в силу приказа по Кавказскому корпусу стрелять по уехавшим самовольно вперед картечью, а отнюдь не поощрять их преступлений...» (*ЦГАЛИ*, ф. 1337, оп. 1, ед. хр. 191, лл. 15 об. — 16). Однако благодаря знакомству Врангеля и барона Розена, одного из невольных виновников стычки, история была замята.

Ю. И. ОДАХОВСКИЙ

Юлиан Игнатьевич Одаховский (1823—1904?) — сослуживец Л. Н. Толстого во время обороны Севастополя, старший офицер легкой № 3 батареи 11-й артиллерийской бригады.

Воспоминания Ю. И. Одаховского отличаются живым, непосредственным восприятием Толстого, захваченного в Севастополе военными, историческими событиями, и интересны своими бытовыми подробностями. Они были записаны с его слов А. В. Жиркевичем (см. о нем в т. 2 наст. издания) 16 мая 1898 г. в Вильно, где жил автор мемуаров. В них несомненна документальная основа. Возможно, что помимо общих данных о прохождении военной службы Одаховский использовал записи дневникового характера прежних лет. На запрос Жиркевича Одаховский отвечал ему 5 апреля 1898 г.: «...собственною рукою Л. Н. Толстого я пока ничего не нашел, а только то, что мы, офицеры, в батарее записывали из его слов или кому-нибудь из нас, офицеров, Лев Николаевич передавал на словах, которые мы записывали» (*ГМТ*). Однако известно и то, что Толстой в целом отнесся к воспоминаниям Одаховского отрицательно. Он писал Жиркевичу 6 октября 1903 г., что «рукопись Одаховского» его «очень... разочаровала». «Удивительно, как он мог все так забыть, но еще удивительнее, что мог уверить себя, что было то, чего не было. Я отметил на полях его ошибки» (*ПСС*, т. 74, с. 199). Возражения Толстого касаются ряда бесспорных ошибок Одаховского (см. *ИВ*, 1908, № 1, с. 167—173 и коммент. к его воспоминаниям в наст. издании). В ряде же случаев в оспариваемых Толстым эпизодах свидетельства Одаховского оказываются ближе к истине, что подтверждается дневником и письмами Толстого 1855 г. Одной из причин предвзятого отношения Толстого к этим воспоминаниям могло быть его прошлое

нерасположение к Одаховскому и его окружению. В дневниковой записи от 23 января 1855 г. даются резкие характеристики командиру батареи В. Филимонову и Одаховскому; «...остальные офицеры под их влиянием и без направления. И я связан и даже завишу от этих людей!» (*ПСС*, т. 47, с. 35. См. также письмо Толстого С. Н. Толстому от 3 июля 1855 г. — Там же, т. 59, с. 321). Толстой, по-видимому, относил Одаховского к тем людям, которые, по его определению, «затрогивают» «задушевную сторону», «но не в такт и неприятно» (*ПСС*, т. 47, с. 50). Но когда Жиркевич сообщил ему о своем знакомстве с бывшим сослуживцем, Толстой ответил: «Одаховского помню. Поклонитесь ему от меня...» (*ПСС*, т. 71, с. 351).

А. В. Жиркевич, публикуя воспоминания Одаховского, верно определяет их достоинство: «Как бы то ни было, воспоминания Ю. И. Одаховского, храня в себе не только долю правды, признанную и Л. Н. Толстым, могут служить хотя бы отголоском тех легенд, которые ходили во дни севастопольской страды в армии о нашем гениальном писателе. Они заключают в себе, кроме того, характеристику Льва Николаевича в молодости, сделанную хорошо знавшим его и почитавшим человеком, причем ошибочные факты, приведенные в мемуарах, не могут поколебать правильности этого общего впечатления. Заметки Одаховского вызвали крайне важные собственноручные автобиографические признания Толстого, вообще скупого, на рассказы о себе... В этом прямая их заслуга...» (*ИВ*, 1908, № 1, с. 176).

<НА СЕВАСТОПОЛЬСКИХ БАСТИОНАХ>

⟨*В записи А. В. Жиркевича*⟩

(Стр. 59)

По тексту журнала: *ИВ*, 1908, январь, с. 167—173, с уточнениями по рукописи (*ГМТ*, I А-8/8, № 2557).

[1] Толстой находился на позиции при р. Бельбеке с 5 января по 1 апреля 1855 г. (см. Н. Д. Русинов. Указ об отставке Л. Н. Толстого от военной службы. — «Исследования и материалы по истории Угличского Верхневолжья», вып. 2. Углич, 1958, с. 68).

[2] В названном произведении (гл. 18) молодой офицер подпоручик Дяденко, «говоривший на *о* и хохлацким выговором», доказывал, что «все орудия в Севастополе поставлены не по правилам».

[3] Одаховский был уверен, что в одной из вылазок Толстой был ранен в руку — факт, не соответствующий действительности.

[4] Одаховский в другом случае рассказывал Жиркевичу о «беседах» Толстого. После одной из таких «бесед» «у графа Л. Н. Толстого возникла мысль, чтобы каждый из нас присутствовавших тут же, рассказал про свои чувства в три момента — во время приготовления к бою с неприятелем, в самом бою и по окончании сражения. Мне первому пришлось поделиться впечатлениями с товарищами... Когда настала очередь графа Л. Н. Толстого описать свои боевые впечатления, то он, насколько помню, сказал, что чувствует страх в сражении, но что для него бой — картина, увлекающая его как любителя сильных ощущений» (запись А. В. Жиркевича, *ГМТ*, I А-8/8, № 2557).

[5] В пометах на рукопись Толстой отрицал достоверность указанных эпизодов: «Ничего не было», «В первый раз слышу» (*ИВ*, 1908, № 1, с. 168). Однако в дневнике Толстого встречаются записи, отчасти подтверждающие воспоминания Одаховского: «12 марта [1855 г.]. Утром написал около листа *Юности*, потом играл в бабки...» (*ПСС*, т. 47, с. 38).

[6] См. коммент. 7 на с. 505 наст. тома.

[7] Неточно. Находясь в резерве севастопольского гарнизона (см. Н. Д. Руснинов. Указ. статья, с. 68), Толстой в то же время, по его словам, «ставил орудия на 4-й бастион и чередовался на нем с другими офицерами» (*ИВ*, 1908, № 1, с. 168), что подтверждается его же дневниковыми записями (см. *ПСС*, т. 47, с. 41—42).

[8] Возражение Толстого по поводу этой части воспоминаний — «Рояля у Одаховского и ни у кого из офицеров не было. Стихотворений никаких, кроме песни «Как четвертого числа...», не сочинял» (*ИВ*, 1908, № 1, с. 169) — не совсем справедливо. Толстой писал Т. А. Ергольской 7 мая 1855 г.: «У меня очень нарядная квартира, с фортепьяно...» (*ПСС*, т. 59, с. 314, *перевод с франц.*)

[9] Помета Толстого: «Правда» (*ГМТ*).

[10] Кроме песни «Как четвертого числа...», по признанию Толстого, он принимал участие в сочинении песни «Как восьмого сентября...» (письмо Л. Н. Толстого М. Н. Милошевич от 18 мая 1904 г. — *ПСС*, т. 75, с. 106). Обе песни имели широкое распространение в Крыму (см. Гусев, I, с. 511) и вскоре были опубликованы Герценом в «Полярной звезде» (кн. III на 1857 г.). «Начальство» было недовольно тем, что Толстой сочинял сатирические песни. Он по этому поводу объяснялся с помощником начальника штаба А. А. Якимахом (см. *ПСС*, т. 47, с. 98). В письме С. Н. Толстому от 10 ноября 1856 г. Толстой сообщал: «...великий князь Михаил, узнав, что я будто бы сочинил песню, недоволен особенно тем, что будто бы я учил ее солдат» (там же, т. 60,

с. 107). В мемуарной литературе имеются свидетельства об участии Толстого в создании других сатирических стихотворений (см. Е. Бушканец. «Солдатские песни» Л. Толстого (1854—1855). — *РЛ*, 1960, № 3).

[11] Рассказ был опубликован в «Современнике» (1855, № 9) под названием «Ночь весною 1855 года в Севастополе» без подписи, в искаженном цензурою виде.

[12] Помета Толстого: «Мещерский Василий и Бакунин были моими приятелями» (*ИВ*, 1908, № 1, с. 170). А. А. Бакунин, брат М. А. Бакунина, в апреле 1855 г. составил патриотическое воззвание к защитникам Севастополя. Оно было использовано Толстым в докладной записке главнокомандующему русскими войсками князю Горчакову (см. Гусев, I, с. 544—546).

[13] Помета Толстого: «Не помню» (*ИВ*, 1908, № 1, с. 170).

[14] Это назначение произошло 15 мая 1855 г. 31 мая того же года Толстой записывал в дневнике: «Командование мое доставляет мне довольно много забот, особенно денежные счеты. Я решительно неспособен к практической деятельности; и ежели способен, то с большим трудом, которого не стоит прилагать, потому что карьера моя непрактическая» (*ПСС*, т. 47, с. 43).

[15] Столкновение именно с Н. А. Крыжановским, тем более в такой резкой форме, мало вероятно. Известно, что Крыжановский, зная авторитет Толстого как военного писателя, поручил ему в конце августа 1855 г. составить донесение о последнем бомбардировании Севастополя и взятии города неприятелем (см. *ПСС*, т. 4, с. 299—306). К этой части воспоминаний Одаховского Толстой сделал замечание: «Несправедливо. Оставался командиром до конца» (*ИВ*, 1908, № 1, с. 171). По «Указу об отставке» Толстой «заведывал» горным взводом по 11 августа 1855 г. (см. Н. Д. Русинов. Указ. статья, с. 68). Рассказ же о протесте Толстого против присвоения казенных «остатков» вполне достоверен. Толстой записал в дневнике 12 июля 1855 г.: «И решил, что денег казенных у меня ничего не останется. Даже удивляюсь, как могла мне приходить мысль взять даже совершенно лишние. Я очень рад, что выдумал ящики [зарядные], которые будут стоить целковых 100 с лишком» (*ПСС*, т. 47, с. 52). Н. А. Крылов писал: «Рассказывали, что он до такой степени был брезглив к казенным деньгам, что проповедовал офицерам возвращать в казну даже те остатки казенных денег, когда офицерская лошадь не съест положенного ей по штату» (Н. Крылов. Очерки из далекого прошлого. — *ВЕ*, 1900, № 5, с. 145).

[16] Помета Толстого: «Ничего не было» (*ИВ*, 1908, № 1, с. 172).

[17] Толстой был награжден «за отличную храбрость и пример-

ную стойкость, оказанные во время усиленного бомбардирования» Севастополя орденом Св. Анны четвертой степени с надписью «За храбрость».

[18] Помета Толстого: «По-польски не знаю» (там же, с. 173).

П. Н. ГЛЕБОВ

Порфирий Николаевич Глебов (1810—1866) — командир конной батареи, во время обороны Севастополя в июле — августе 1855 г., помощник начальника штаба артиллерии Южной армии.

Полковник Глебов был откомандирован в Севастополь после шестилетнего ареста из-за столкновения с командиром дивизии Куприяновским «за тяжкую обиду начальнику», выразившуюся в том, что командир не без оснований обвинялся подчиненным в беззаконии и злоупотреблениях. Глебов отличался незаурядным умом, либеральными симпатиями. Уже после окончания Крымской войны он пишет для «Современника» «Слово» в защиту Барклая-де-Толли с характерным примечанием: «...мне хотелось бы, чтобы статья была напечатана именно в этом журнале... опасаюсь, что по содержанию ее она не может быть напечатана, хотя в настоящее время, по-видимому, цензура и менее придирчива, чем была во времена оны» (письмо М. В. Половцову от 27 декабря 1857 г. — *ГПБ*, ф. 601, ед. хр. 1528). Статья была напечатана в журнале (*С*, 1858, № 2). В «Дневниковых записях» Глебова (*РС*, 1905, №№ 1—3) виден реалистический взгляд на севастопольскую кампанию. Он не щадит командование, негативно оценивает поведение штабных офицеров.

Толстого Глебов близко не знал, не мог понять мотивов его поведения, отчего многие оценки мемуариста субъективны. И все же Глебов сумел показать храбрость и решимость Толстого в момент опасности, заметил разницу между ним и офицерами-«аристократами».

ИЗ «ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ»

(Стр. 66)

По тексту журнала: *РС*, 1905, № 3, с. 528—529, с уточнениями по рукописной копии (*ИРЛИ*, ф. 265, оп. 2, ед. хр. 635, лл. 346—348).

[1] Прозвище штабных офицеров, не подчинявшихся общим армейским порядкам. У Толстого к ним было неприязненное отношение (см. его запись в дневнике от 26 июля 1854 г. — *ПСС*, т. 47,

с. 17). *Столыпин* — Аркадий Дмитриевич, служил в гусарском полку и получил звание майора в мае 1855 г. Он увлек Толстого в военную вылазку в ночь с 10 на 11 марта 1855 г. Толстой содействовал публикации его очерка «Ночная вылазка в Севастополе» (*С*, 1855, № 7).

[2] См. коммент. 14 на с. 514 наст. тома.

[3] Неверно. В дневнике от 6 августа 1855 г. Глебов записал: «4-го августа, за час до рассвета (в $2^1/_2$ часа) отряд начал движение с Мокрой-Луговины на Чоргун и Карловку... Две батареи, с двумя горными орудиями [Л. Н. Толстого. — *Г. К.*], повел я сам на Среднюю или Безымянную гору (Чоргунские высоты). Обе горы, Артиллерийскую и Среднюю — заняли мы без выстрела и благополучно снялись с передков. В это время уже рассветало, и мы тотчас же открыли огонь усиленный по неприятельским укреплениям...» (*РС*, 1905, № 2, с. 270). До этой атаки Толстой вместе с упомянутым отрядом совершил тяжелый переход по Каралескому ущелью. В дневнике Толстой писал: «3 и 4 [августа] был в походе...» (*ПСС*, т. 47, с. 58).

[4] Толстой сообщал Т. А. Ергольской 4 сентября 1855 г.: «27-го [августа] в Севастополе произошло большое и главное дело. Я имел счастье и несчастье прибыть в город, как раз в день штурма; так что я присутствовал при этом и даже принял некоторое участие, как доброволец» (*ПСС*, т. 59, с. 335, *перевод с франц.*). В дневнике Глебова от 28 августа 1855 г. описана военная ситуация, участником которой был Толстой: «Вчера, 27-го августа... начался штурм Севастополя. Это было около 12 часов утра; Крыжановский тотчас же прибежал ко мне и приказал, чтоб я, как можно скорее, скакал на Северную сторону, и там, против моста и в стороне от него, расставил бы две батареи, 11 и 14 бригады, с тем, чтобы орудия эти могли обсыпать картечью мост и вдоль и поперек, разумеется, на тот случай, когда неприятель опрокинет наши войска и вслед за ними бросится чрез мост... За взрывами и орудийною пальбою стрельбы ружейной и не было вовсе слышно, между тем как она не умолкала ни на одну минуту... Ночью предполагали даже перевезти на Северную сторону и орудия, но в этом не успели: большую часть потопили на бухте, а другую заклепали, как могли. Мне поручено было перевезти орудия от моста за Северное укрепление... когда же удостоверился я, что орудия спасены быть не могут, распустил всех по их командам» (*РС*, 1905, № 3, с. 512—513).

[5] См. коммент. 10 на с. 513 наст. тома.

Глебов в «Дневниковых записях» приводит один из списков песни «Как четвертого числа...» (т а м ж е, с. 542—543).

СРЕДИ ЛИТЕРАТОРОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ ЯСНАЯ ПОЛЯНА

А. В. ДРУЖИНИН

Александр Васильевич Дружинин (1824—1864) — писатель, сотрудник «Современника», затем редактор журнала «Библиотека для чтения». Дружинин встретился с Толстым, когда тот появился после Севастополя в Петербурге еще в офицерских погонах с твердым намерением «выйти из вредной... колеи военной жизни» (*ПСС*, т. 47, с. 64). В письме М. А. Ливенцову от 27 ноября 1855 г. Дружинин передал свои первые впечатления о Толстом: «На днях все мы, литераторы, были обрадованы приездом из Крыма гр. Толстого, известного по статьям о Севастополе. Это превосходнейший господин, истинный русский офицер, с превосходными рассказами, чуждыми фраза, и самым здравым, хотя и не розовым взглядом на вещи» (*Летописи*, *9*, с. 172). Толстой сходится с Дружининым, известным в то время своим тонким вкусом в литературно-критических суждениях, серьезными литературными работами и журнальными фельетонами. Однако эстет Дружинин, его друзья В. П. Боткин, П. В. Анненков не стали и не могли стать единомышленниками Толстого. «Помню, например, — вспоминал в письме к Толстому И. А. Гончаров, — Ваши иронические споры всего больше с Тургеневым, Дружининым, Анненковым и Боткиным о безусловном, отчасти напускном или слепом, их поклонении разным литературным авторитетам; помню комическое негодование их на Вас за непризнавание за «гениями» установленного критикой величия и за Ваши своеобразные мнения и взгляды на них. Помню тогдашнюю Вашу насмешливо-добродушную улыбку, когда Вы опровергали их задорный натиск» (И. А. Гончаров. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М., Гослитиздат, 1955, с. 493).

Круг интересов, широта взглядов на жизнь, постоянное самоотрицание, напряженные искания — все это отличало Толстого от дружининского круга.

И все же резко противопоставлять Толстого дружининскому кругу, поборникам теории чистого искусства, в те годы еще нельзя. В июле 1856 г. Толстой ведет горячий спор с Некрасовым, защищая Дружинина и нападая на Чернышевского (см. *ПСС*, т. 60, с. 75). В 1857—1858 гг. Толстой вместе с Фетом будет вынашивать идею издания чисто художественного журнала. Но уже и тогда круг Дружинина Толстому был тесен, неприятен своими

отвлеченными идеями, односторонней прозападнической ориентацией. В письме к брату Сергею от 2 января 1857 г. Толстой писал: «...хотя я душевно люблю этих литературных друзей: Боткина, Анненкова и Дружинина, но все *умные* разговоры уже становятся скучны мне, хотя и были истинно полезны для меня...» (*ПСС*, т. 60, с. 146—147).

Дневник Дружинина передает трудности вживания Толстого в литературную среду, сложность натуры молодого писателя. Дневник фрагментарен, в нем чаще всего фиксируется, иногда с длительными перерывами, перечень имен, событий, но при этом он воспроизводит атмосферу времени. «При чтении имен и кратчайшего упоминания о событиях, — писал в дневнике 11 декабря 1855 г. Дружинин, — самый прожитый день возникает весь в моей памяти» (*ЦГАЛИ*). Вместе с тем в дневнике выражено авторское отношение к переживаемому и пережитому. Наблюдательность Дружинина делает его дневник интересным мемуарным источником для характеристики молодого Толстого и его окружения.

ИЗ «ДНЕВНИКА»

(Стр. 69)

По тексту, подготовленному В. А. Ждановым. Автограф «Дневника» — *ЦГАЛИ* (ф. 168, ед. хр. 108).

[1] Егор Петрович Ковалевский, писатель, путешественник; во время осады Севастополя находился при штабе главнокомандующего русской армией, встречался неоднократно с Толстым (см. *ПСС*, т. 47, с. 59, 60). Толстой приехал в Петербург 19 ноября 1855 г., в тот же день побывал у Некрасова (см. *ПСС*, т. 61, с. 369). В письме В. П. Боткину 24 ноября 1855 г. Некрасов сообщал:

«...Мне он очень полюбился. Читал он мне 1-ую часть своего нового романа — в необделанном еще виде [«Роман русского помещика»]. Оригинально, в глубокой степени дельно и исполнено поэзии. Обещал засесть и написать для 1-го № «Современника» «Севастополь в августе». Он рассказывает чудесные вещи. «Юность» еще не окончена» (Некрасов, т. 10, с. 259).

[2] Вероятно, Саша (Александра Николаевна) Жукова. См. коммент. 7, а также на с. 72 наст. тома.

[3] В этот вечер составлялся адрес М. С. Щепкину по случаю 50-летия его сценической деятельности (см. там же, с. 260). На вечере был и Л. Н. Толстой (см. Никитенко, т. I, с. 425).

[4] Ермил Костров или Ермил — прозвище А. Ф. Писемского; в нем находили внешнее сходство с поэтом Е. И. Костровым (ум. в 1796 г.).

[5] От имени вымышленного героя фельетонов А. В. Дружинина, описывавших похождения Ивана Чернокнижникова «по петербургским дачам», быт, нравы литературной среды (*С*, 1850, №№ 7, 8, 12).

[6] Григорий — брат А. В. Дружинина.

[7] О ней Д. В. Григорович писал А. В. Дружинину 22 августа 1855 г.: «Поздравляю вас с открытием Саши Жуковой; я обомлел, Панаев также... Саша — это просто сокровище!» (*Летописи, 9*, с. 86—87).

[8] Саша Жукова. См. коммент. 7 и записи Л. Н. Толстого в дневнике 1856 г. (*ПСС*, т. 46, с. 72, 104, 105).

[9] Речь идет о кн. Николае Александровиче Долгоруком (1833—1873). Толстой о нем вспоминал в 1904 г.: «...Коко Долгоруков — доктор. В то время была редкость, чтобы из этого круга кто-нибудь стал врачом... Это был удивительно ко всему способный человек: он стихи сочинял, и музыкант был отличный, и картины писал» (Гольденвейзер, с. 141).

[10] Вероятно, Константин Александрович Иславин, «дядя Костя» (см. о нем И. Л. Толстой, с. 79—81, Кузминская, с. 38).

[11] Шахматный клуб был учрежден в Петербурге в 1853 г. В 1859—1862 гг. стал местом встреч деятелей революционно-демократического движения (см. Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. М., 1958).

[12] Андреас — А. А. Краевский.

[13] См. коммент. 10.

[14] Я. П. Полонский тогда же записал в дневник такие подробности: «В клубе узнали мы о взятии Карса. Прибавление к «Инвалиду» было прочтено вслух. Это известие нас так порадовало, что мы кричали «ура», первое «ура» после Синопа. После клубного обеда Краевский вслух читал застольные речи, произнесенные в Москве по случаю 50-летнего юбилея актера Щепкина и в том числе адрес к Щепкину, посланный нами, петербургскими литераторами» (*ГМ*, 1919, №№ 1—4, с. 104).

[15] Дмитрий Александрович Оболенский познакомился с братьями Толстыми еще в Казани, где в 1844 г. служил губернским уголовных дел стряпчим. Будучи директором Комиссариатского департамента в Морском министерстве (1853—1863), принимал участие в либеральных реформах.

[16] П. А. Клейнмихель, главноуправляющий путями сообщения

и общественными зданиями. Один из приближенных Николая I, ярый реакционер, он был смещен со службы в середине октября 1855 г. Отставка Клейнмихеля рассматривалась как успех прогрессивных сил. «Все поздравляют друг друга с победою, которая, за недостатком настоящих побед, составляет истинное общественное торжество» (Никитенко, т. I, с. 422).

[17] И. С. Тургенев писал М. Н. и В. П. Толстым 8 декабря 1855 г.: «Ну-с, доложу Вам — что у Вас за брат! Я его прозвал за его буйность, дикое упорство и праздность — Троглодитом — и даже остервенелым Троглодитом — что не мешает мне, однако, любить его от души и ворчать на него беспрестанно, как рассудительный дядя на взбалмошного племянника» (Тургенев, т. II, с. 326. Ср. также письмо Тургенева П. В. Анненкову от 9 декабря 1855 г.— Там же, с. 328). Башибузук — см. коммент. 1 на с. 515.

[18] Через два года, в письме В. П. Боткину и И. С. Тургеневу, Толстой вспоминал об этих спорах: «Слава богу, я не послушал Тургенева, который доказывал мне, что литератор должен быть только литератор. Это было не в моей натуре. Нельзя из литературы сделать костыль, хлыстик... *Наша* литература, то есть поэзия, есть, если не противузаконное, то ненормальное явление (мы, помнится, спорили с вами об этом) и поэтому построить на нем всю жизнь — противузаконно» (*ПСС*, т. 60, с. 234).

[19] Лазы — одна из кавказских народностей.

[20-21] См. коммент. 7 и 8.

[22] Дружинин завершил статью об очерках И. А. Гончарова «Русские в Японии в начале 1853 и в конце 1854 годов. СПб., 1855» (*С*, 1856, № 1).

[23] Саша Жукова и Надежда Николаевна, знакомая И. С. Тургенева (см. о ней: Тургенев, т. II, с. 324—325, 329).

[24] См. коммент. 10.

[25] См. коммент. 9.

[26] См. также воспоминания А. А. Фета в наст. томе.

[27] В. П. Боткин.

[28] Барон капитан-лейтенант Реймерс служил на 3-м бастионе. В мае 1855 г. был ранен (см. П. Ф. Рерберг. Севастопольцы, вып. 2. СПб., 1904, л. 8).

[29-30] И. С. Тургенев приглашал на это чтение широкий круг литераторов. Он писал А. В. Никитенко 14 декабря 1855 г.: «Сегодня вечером... Огарев читает у меня свою поэму. Не придете ли Вы часов в 9...» (Тургенев, т. II, с. 331—333). До этого поэма Н. П. Огарева читалась уже несколько раз. Тургенев писал П. В. Анненкову 9 декабря 1855 г. о чтении поэмы: «Мы

с Толстым уже три раза упивались этим нектаром» (там же, с. 328).

[31] Толстой собирался в Орел к больному брату Дмитрию и ездил к нему 9—10 января 1856 г.

[32] Саша Жукова; о ней см. коммент. 7 и 8.

[33] А. М. и В. М. Жемчужниковы.

[34] В мае 1855 г. в Спасском-Лутовинове у Тургенева гостили А. В. Дружинин, Д. В. Григорович, В. П. Боткин.

[35] Вероятно, это было первое знакомство Толстого со стихами Тютчева. Толстой позже вспоминал: «Когда-то Тургенев, Некрасов и К° едва могли уговорить меня прочесть Тютчева. Но зато, когда я прочел, то просто обмер от величины его творческого таланта» (Запись А. В. Жиркевича от 15 сентября 1892 г. — *ЛН*, т. 37—38, с. 436).

[36] В. К. Бодиско, печатавший в «Современнике» корреспонденции на зарубежные темы.

[37] Вероятно, Луи Галле, бельгийский живописец.

[38] В. П. Боткин.

[39] Толстой вернулся в Петербург после пребывания в Москве и Орле.

[40] Тургенев, предлагая новое издание произведений Фета, писал ему в 1855 г., что его стихотворения «заслуживают самой ревностной очистки» (Тургенев, т. II, с. 268—269). По этому поводу Фет вспоминал: «Почти каждую неделю стали приходить ко мне письма с подчеркнутыми стихами и требованиями их исправлений. Там, где я не согласен был с желаемыми исправлениями, я ревностно отстаивал свой текст, но по пословице: «Один в поле не воин» — вынужден был соглашаться с большинством, и издание из-под редакции Тургенева вышло настолько же очищенным, насколько и изувеченным» (А. Фет. Мои воспоминания, т. 1, с. 104—105).

[41] Дружинин писал еще В. П. Боткину 3 февраля 1856 г.: «Была читана новая книжка Фета, в ареопаге, причем неоднократно все о вас вспоминали. В ареопаге же прочел я сцен 10 из «Короля Лира», — успех превзошел все мои ожидания, а Толстой покупает себе Шекспира и хочет с сим великим мужем примириться» (*Летописи*, *9*, с. 45).

[42] Идея «исключительного и постоянного участия» в «Современнике» Григоровича, Островского, Толстого, Тургенева принадлежала Некрасову. Весной 1856 г. между редакцией журнала и упомянутыми писателями было заключено «обязательное соглашение», по которому их новые художественные произведения должны печататься только в «Современнике». Отход Толстого, Тургене-

ва, их друзей от редакции «Современника» не позволил Некрасову осуществить свой план. В 1858 г. «обязательное соглашение» было обоюдно расторгнуто.

43 Эти фотографии сохранились и неоднократно репродуцировались. Толстой был снят в военном мундире. Он писал М. Н. Толстой 14 апреля 1856 г.: «...по моему предложению все литераторы сделали фотографическую группу: Тургенев, Григорович, Дружинин, Гончаров, Островский и я, и эту группу я тебе пришлю» (*ПСС*, т. 61, с. 373). Групповая фотография с автографами Островского, Дружинина, Гончарова, Тургенева хранится в Ясной Поляне.

44 Толстой поселился на Офицерской улице, в доме Якобса, кв. 13.

Ф. Ф. Кутлер был в 1854 г. офицером Куринского полка на Кавказе, потом в Севастополе. Толстой изобразил его отчасти в «Хаджи-Мурате» под именем Бутлера.

45 У В. П. Боткина.

46 Толстой приехал в Москву из Петербурга 18 мая 1856 г.

47 Перевод Ап. Григорьева комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» вскоре был опубликован (*БДЧ*, 1857, № 7). Ап. Григорьев вспоминал и другие темы тогдашних бесед с Толстым и Дружининым. Обещая в декабре 1856 г. Дружинину «Письма... о драме вообще, о русской драме и сцене в особенности», он пояснял содержание «Писем»: «...развитие той жаркой беседы, которая была у нас с вами и Толстым в Кунцеве» (*Летописи*, *9*, с. 103).

48 Толстой был в Троице-Сергиевой лавре у тетки П. И. Юшковой 19 и 20 мая 1856 г. (см. *ПСС*, т. 47, с. 73).

49 Толстой встретился в Москве с сестрой своего друга Д. А. Дьякова, А. А. Оболенской. Он записал в дневнике 22 мая 1856 г.: «Я не ожидал ее видеть, поэтому чувство, к⟨оторое⟩ она возбудила во мне, было ужасно сильно» (т а м ж е, с. 74).

50 Толстой возвратился в Петербург 7 ноября 1856 г.

51 Вероятно, Евграф Петрович Ковалевский, хотя в том же кругу «генералом» звали и Егора Петровича Ковалевского.

52 На этой встрече был и Л. Н. Толстой. Он записал в дневнике 20 ноября 1856 г.: «...обедал у Дружинина. Там Писемский, который очевидно меня не любит, и мне это больно. Дружинин отказался слушать меня, и это меня покоробило...» (т а м ж е, с. 101).

53 В письме И. С. Тургеневу от 26 декабря 1856 г. Дружинин этот же «союз» характеризовал таким образом: «Круг наш сходится чаще, чем когда-либо, т. е. почти что всякий день. Центральные персоны — Боткин, Толстой, Анненков, сверх того Ермил

[Писемский], Гончаров, Жемчужников, Толстой Алексей» («Тургенев и круг «Современника». М. — Л., 1930, с. 201—202).

[54] Ольга Александровна — дочь А. М. Тургенева, друга Жуковского, Вяземского, Крылова, которой был увлечен И. С. Тургенев. Толстой записал в дневнике 17 декабря 1856 г.: «Лир прелестен. Но с Ольгой Александровной мне все неловко, виноват Ваничка [Тургенев]» (*ПСС*, т. 47, с. 105).

[55] А. М. Жемчужников. Толстой в своем дневнике еще называет Я. П. Полонского (там же, с. 106).

[56] Инициатором создания Литературного фонда был А. В. Дружинин. О своем замысле он писал М. Н. Лонгинову 25 декабря 1856 г.: «У нас здесь начинает шевелиться идея об основании литературного инвалидного капитала, вроде английского literary fond... Сообщите при случае эту идею разным московским литераторам и дилетантам, что они о ней скажут, и как она у вас примется. Полезно подготовить всех к этому делу, от которого надо ждать хороших результатов, потому что оно должно сблизить литературу и ее друзей в обществе, составив как бы центр общей деятельности и нейтральный грунт для всех партий» (*ЦГАЛИ*, ф. 167, оп. 3, ед. хр. 270). Толстой также принимал участие в этом деле. Он записал в дневнике 2 января 1857 г.: «...с Анненковым к Дружинину и у него написали проект фонда» (*ПСС*, т. 47, с. 108).

[57] Толстой уехал из Петербурга 12 января 1857 г.

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

Дмитрий Васильевич Григорович (1822—1899) — писатель; познакомился с Толстым зимой 1856 г. В то время авторитет Григоровича как автора произведений на крестьянскую тему был очень высок. Толстой также разделял это мнение, а в одном из писем 1856 г. сообщал Григоровичу о «впечатлении чрезвычайно выгодном», «прекрасном», которое произвели на него и на публику романы «Пахарь», «Переселенцы» (см. *ПСС*, т. 60, с. 59).

Григорович сразу же выделил Толстого из всех писателей той поры. Он пишет Толстому за границу 8 ноября 1857 г.: «Какие мысли, впечатления? Вы не старое потускневшее зеркало, как Тургенев, Боткин и Дружинин. Впечатления должны были отразиться в Вас так же ясно, как отражаются виды в Ваших швейцарских озерах» (*Переписка*, с. 178). По поводу рассказа «Люцерн» Григорович писал Некрасову в октябре 1857 г.: «В Москве мне говорили, что Толстой ничего не написал лучше; общее мне-

ние, что повесть отличная» («Архив села Карабихи». М., 1916, с. 98).

На Толстого Григорович и Некрасов возлагали особые надежды в осуществлении «обязательного соглашения» с редакцией «Современника» (см. коммент. к «Дневнику» А. В. Дружинина в наст. томе).

«Литературные воспоминания» Григоровича писались на рубеже 80—90-х годов (первая публикация — *РМ*, 1892, № 12, 1893, №№ 1—2) и в значительной своей части после появления воспоминаний А. Я. Панаевой (1889), А. А. Фета (1890), Я. П. Полонского (1890—1891). Григорович был недоволен «тенденциозностью» мемуаров Панаевой и, как он писал П. И. Вейнбергу, «канительной методой» Фета и Полонского (см. «Уч. зап.» Ивановского пединститута, т. 38, 1967, с. 85). О своей манере он писал А. С. Суворину в январе 1892 г.: «...Мне все представляется не в саркастическом, а в смешном виде; я не умел этим хорошо воспользоваться... Брань легче прощается, чем насмешка; зная это, мне то и дело приходится ставить точку там, где рука зудит написать страницу. Деликатное чувство удерживает с одной стороны, — с другой робость... Мои воспоминания будут похожи на акварельные наброски, а никак не на картину, густо написанную масляными красками» («Письма русских писателей к А. С. Суворину». Л., 1927, с. 33). Григорович в «Литературных воспоминаниях» явно тяготеет к жанру своеобразного литературного портрета. Эта манера придает особенный колорит и той части воспоминаний, которая касается Л. Н. Толстого.

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

(Стр. 77)

По тексту: Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. Гослитиздат, 1961, с. 148—149.

[1] Марьинское — имение А. В. Дружинина, находившееся недалеко от Петербурга. Григорович уехал из Марьинского в середине июля 1855 г. (см. Дневник А. В. Дружинина. Записи от 16, 17, 18, 19 июля 1855 г. — *ЦГАЛИ*).

[2] Этому утверждению противоречит письмо Толстого М. Н. Толстой от 4 апреля 1856 г. из Петербурга: «С Григоровичем я познакомился здесь, и он мне очень понравился, тем более, что он тебя ужасно уважает и ценит» (*ПСС*, т. 61, с. 372).

[3] Это, должно быть, происходило 6 февраля 1856 г. Некрасов писал В. П. Боткину 7 февраля 1856 г.: «Вернулся Толстой и по-

радовал меня: уж он написал рассказ — и отдает его мне на 3-ю книжку. Это с его стороны так мило, что я и не ожидал. Но какую, брат, чушь нес он у меня вчера за обедом! Черт знает, что у него в голове! Он говорит много тупоумного и даже гадкого. Жаль, если эти следы барского и офицерского влияния не переменятся в нем. Пропадет отличный талант!» (Некрасов, т. 10, с. 264). О том же обеде Боткину писал и Тургенев 8 февраля 1856 г.: «С Толстым я едва ли не рассорился — нет, брат, невозможно, чтоб необразованность не отозвалась так или иначе. Третьего дня, за обедом у Некрасова, он по поводу Ж. Занд высказал столько пошлостей и грубостей, что передать нельзя» (Тургенев, т. II, с. 337).

[4] В письме П. И. Вейнбергу в декабре 1891 г. Григорович, говоря о своих мемуарах, писал: «...то и дело приходится ставить точку, когда говоришь о людях, хотя и умерших, но оставивших после себя близких людей и друзей» (*ИРЛИ*). Обрывая описание споров Толстого с Тургеневым, Григорович тем самым, видимо, выразил свое отношение к воспоминаниям А. Фета. Фет же писал: «...Вот что между прочим передавал мне Григорович о столкновениях Толстого с Тургеневым на той же квартире Некрасова: «Голубчик, голубчик,— говорил, захлебываясь и со слезами смеха на глазах, Григорович, гладя меня по плечу. — Вы себе представить не можете, какие тут были сцены. Ах, боже мой! Тургенев пищит, пищит, зажмет рукою горло и с глазами умирающей газели прошепчет: «Не могу больше! у меня бронхит!» и громадными шагами начинает ходить вдоль трех комнат. — «Бронхит, — ворчит Толстой вослед, — бронхит воображаемая болезнь. Бронхит это металл!» Конечно, у хозяина — Некрасова душа замирает: он боится упустить и Тургенева, и Толстого, в котором чует капитальную опору «Современника» и приходится лавировать... В предупреждение катастрофы подхожу к дивану и говорю: «Голубчик Толстой, не волнуйтесь! Вы не знаете, как он вас ценит и любит!»

— Я не позволю ему, — говорит с раздувающимися ноздрями Толстой, — ничего делать мне назло! Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками» (А. Фет. Мои воспоминания, т. 1, М., 1890, с. 107).

Ряд деталей этой сцены подтверждается другими источниками, в частности, письмом В. Бодиско В. П. Боткину от 22 апреля 1856 г.: «Тургенев собирается каждый день уехать из Петербурга, читает с усердием полицейские газеты и с ужасом замечает, что число холерных не уменьшается. Всю страстную у него был бронхит (как он называл свою болезнь). Толстой уверял, что это название минерала, но Тургенев говорил, что это опасная болезнь» (*ГМТ*). Толстовское шутливое название бронхита Фет вспоми-

нает также в письме из Москвы Ф. Е. Коршу от 18 ноября 1889 г.: «Как горько, что бронхит (по словам Толстого, металл) своими гнусными ногами полипа присасывает меня мучительно к Плющихе» (*ГБЛ*).

А. А. ФЕТ

Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин) (1820—1892) близко знал Толстого и дружил с его семьей. В дневнике от 12 мая 1856 г. Толстой записал: «Фет — душка и славный талант» (*ПСС*, т. 47, с. 71). Толстой сразу же отметил в Фете особенное, сильное дарование. По поводу его стихотворения «Еще майская ночь...» Толстой писал В. П. Боткину 9 июля 1857 г.: «Прелестно! И откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов» (там же, т. 60, с. 217). Фет, в свою очередь, восхищался оригинальным, резким умом Толстого. «Он такой своеобразный», — пишет Фет В. П. Боткину 21 октября 1857 г. (*ГБЛ*), а в письме к нему же от 10 ноября 1857 г. добавляет: «Толстой для меня клад. Он мне уже дал из себя три стихотворения» (*ГБЛ*, о датировке письма см. публикацию «Письмо в письме», «Неделя», 1974, № 41). Еще более сблизили их тогда, как писал Фет, «литературные соображения», вера в возможность издания чисто художественного журнала наперекор «Современнику».

Литературные интересы — главное, что связывало писателей на протяжении многих лет дружбы. Дружеская привязанность сохранилась и впоследствии. Однако они все чаще стали расходиться в оценке общественных, литературных явлений. Многое и в творчестве Толстого еще до его духовного кризиса было загадкой для Фета (см. С. Розанова. Лев Толстой и Фет. — *РЛ*, 1963, № 2). Новых исканий Толстого Фет не понимал и не разделял. «Вы тоже, — писал он Н. Я. Гроту 29 июля 1888 г., — наравне с Толстым не удовлетворяетесь знанием, а хотите лечить» (*ИРЛИ*). Отвергая непротивленческую теорию Толстого, Фет не признал толстовский демократизм, его поворот к крестьянской идеологии. Он исповедовался в письме к С. А. Толстой (25 июля 1888 г.): «Что касается лично до меня, то я могу сказать, что представляю прямую противоположность Льву Николаевичу в том смысле, что Лев Николаевич, равнодушный ко внешним врагам и преткновениям, борется с внутренними задачами, тогда как для меня все внутренние задачи покончены, как разрешенные или неразрешимые» (*ГМТ*).

Свои воспоминания Фет писал в последние годы жизни. В центре их три фигуры: Толстой, Тургенев, Боткин, их письма,

встречи. Фет беседовал с минувшим как бы в укор настоящему. «Как это все свежо и живо!» — писал он С. А. Толстой 14 августа 1888 г. (там же). Фет и в мемуарном жанре верен своим принципам поэтического искусства: «...всякий живой предмет представляет для наблюдения множество разнородных сторон» (А. Фет. Мои воспоминания, т. I, с. III). Поэтому большое место в его мемуарах занимают бытовая атмосфера, детали, подробности, казалось бы, не первостепенного значения. Исторические события остаются за кулисами. Включать их в свой круг интересов задним числом Фет не хотел: «Я нимало в настоящее время не скрываю своей тогдашней наивности в политическом смысле» (там же, с. 367; см. также *РО*, 1893, №. 4, с. 548). Вместе с тем живое, на грани художественного, хотя и ретроспективное воспроизведение фактов придает им нужные связи и общественный смысл. Эта особенность мемуаров Фета не была оценена критикой (см. А. Н. Пыпин. Люди сороковых годов. — *ВЕ*, 1891, № 4; Ар. М. [Я. Николадзе]. Мои воспоминания. 1848—1889. А. Фета. — *ИВ*, 1891, № 3). Толстой в воспоминаниях Фета не изолирован от времени и конфликтов. Поведение Толстого, культура дворянского быта, засвидетельствованная Фетом, являются знаком той эпохи.

Фет познакомил Толстого со своими воспоминаниями до их публикации. «...Только он один, — писал Фет С. А. Толстой 24 июня 1889 г., — может решить, *быть и не быть* некоторых эпизодов» (*ГМТ*). Вряд ли Толстой воспользовался этими правами. На вопрос П. И. Бирюкова Толстому, чем было вызвано его сближение с Фетом, Толстой отвечал, что «...кроме истинного поэтического дарования к Фету его привлекала искренность его характера. Он никогда не притворялся и не лицемерил, что у него было на душе, то и выходило наружу» (Бирюков, III, с. 99). Эту характеристику можно отнести и к мемуарам Фета.

ИЗ КНИГИ «МОИ ВОСПОМИНАНИЯ»

(Стр. 79)

По тексту: А. А. Фет. Мои воспоминания. М., 1890, т. I, с. 216—218, 226—228, 237, 369—372, 388—389, 425—426; т. II, с. 74—76.

[1] Фет был в Париже в августе 1857 г., там состоялась его свадьба с Марией Петровной Боткиной.

[2] Фет писал В. П. Боткину из Москвы 28 ноября 1857 г.: «По средам у нас отличная фортепьянистка, которая полюбила от души мою Мари. Кроме того, у нас будет Шпиковский — пианист

и скрипач Фришман, Ольга Н⟨иколаевна⟩, урожденная Новосильцева. Также Энгельгард каждую среду у нас. Толстой тоже. Какой он славный малый...» (*ГБЛ*). Не без влияния этих сред у Толстого тогда возникла идея создания музыкального общества (см. «Неделя», 1974, № 41, с. 6).

[3] Н. Н. Толстой в начале 50-х годов написал очерк «Охота на Кавказе» (*С*, 1857, № 2), в котором есть фигура старого казака, напоминающего Ерошку из «Казаков» Л. Толстого. Очерк Н. Н. Толстого высоко оценил Некрасов (Некрасов, т. X, с. 33).

[4] И. П. Борисов служил на Кавказе в том же отряде, в котором был и Л. Н. Толстой (см. В. А. Полторацкий. Воспоминания. — *ИВ*, 1893, №№ 1—3).

[5] Судя по дневнику Толстого, Фет одно из таких гимнастических занятий наблюдал 19 марта 1858 г. (см. *ПСС*, т. 48, с. 10).

[6] Неточно. Надо: 15 декабря ⟨1858 г.⟩.

[7] Толстой об этом случае рассказывал в письме Т. А. Ергольской от 25 декабря 1858 г. (см. *ПСС*, т. 60, с. 277). Медведица, напавшая на Толстого, была убита при повторной охоте 4 января 1859 г.

[8] Смысл этой реплики Толстого более ясен из письма Фета И. П. Борисову от 4 января 1859 г.: «Медведь убегает, а Лёв встает, облитый кровью, как из ведра, и кричит: «Неужели он ушел? Что скажет Фет, узнав, что мне разворотили лицо? Он скажет, что это можно было и в Москве сделать» (Гусев, II, с. 317).

[9] Это выражение у Толстого и Фета стало нарицательным, обозначавшим хозяйственную деятельность. Толстой писал Фету в июне 1860 г.: «Хозяйство в том размере, в каком оно ведется у меня, давит меня; юфанство где-то вдали виднеется только мне...» (*ПСС*, т. 60, с. 343). В мае 1863 г.: «...и при том я в юхванстве опять по уши» (там же, т. 61, с. 17). Фет тогда же отвечал Толстому: «Какой Вы настоящий человек. Нет Юфана, кроме Юфана, и Мало Фет пророк его» (*Переписка*, с. 253).

[10] Тургенев и Толстой приехали в Степановку 26 мая 1861 г.

[11] А. Н. Шеншин, зять Фета; по его выбору была куплена Степановка.

[12] Письмо Тургенева Толстому от 27 мая 1861 г., впервые опубликованное Фетом в книге «Мои воспоминания».

[13] Намек на участие Толстого в Севастопольской обороне.

[14] Гувернантка Полины Тургеневой — Мария Иннис.

[15] В записи С. А. Толстой со слов Толстого, Тургенев сказал: «А если вы будете так говорить, я вам дам в рожу» (*Дневники С. А. Толстой, I*, с. 45). Эти же слова повторены Толстым в объяснительном письме Тургеневу от 8 октября 1861 г. (см. *ПСС*, т. 60, с. 406).

[16] В романе «Отцы и дети» (гл. XIX) есть Федот, содержатель постоялого двора.

[17] Письма, хотя и написанные виновниками ссоры сгоряча, до некоторой степени проясняют суть конфликта между Тургеневым и Толстым, чуть не приведшего их к дуэли. Тургенев, прося извинения у Толстого, писал ему 27 мая 1861 г.: «...увлеченный чувством невольной неприязни, в причины которой теперь входить не место, я оскорбил Вас без всякого положительного повода с Вашей стороны... Происшедшее сегодня поутру доказало ясно, что всякие попытки сближения между такими противуположными натурами, каковы Ваша и моя — не могут повести ни к чему хорошему...» (Тургенев, т. IV, с. 247—248). Этот же довод он повторил в письме Е. Е. Ламберт от 7 июня 1861 г. (там же, с. 256). После возражения Тургеневу в не дошедшем до нас письме Толстого, что причины ссоры — не в «противоположности натур» (*ПСС*, т. 60, с. 393), Тургенев еще раз пояснял: «Скажу без фразы, что охотно бы выдержал Ваш огонь, чтобы тем загладить мое действительно безумное слово. То, что я его высказал, так далеко от привычек моей жизни, что я могу приписать это ничему иному, как раздражению, вызванному крайним и постоянным антагонизмом наших воззрений» (Тургенев, т. IV, с. 248—249). Последнее уточнение Тургенева близко к истине. Их разногласия были вызваны своеобразным взглядом каждого на жизнь, исторический прогресс, литературу (см. дневниковые записи А. В. Дружинина, воспоминания Д. В. Григоровича в наст. томе). В споре Тургенева с Толстым трудно отдать кому-либо предпочтение, ибо их размолвка так или иначе отражала противоречивые тенденции эпохи 60-х годов XIX в. (см. коммент. в кн. «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников», т. I. М., 1969, с. 516—519).

Примирение Толстого с Тургеневым произошло в 1878 г. (см. *Дневники С. А. Толстой*, *I*, с. 47—48; Гусев, III, с. 510—514).

[18] Толстой был раздражен посредничеством Фета в своей ссоре с Тургеневым. В письме Фету от декабря 1861 г., он сделал приписку: «И прошу вас не писать ко мне больше, ибо я ваших, так же как и Тургенева, писем распечатывать не буду» (*Переписка*, с. 243). Эта размолвка была недолгой. Вспоминая события 1861—1862 гг., Фет писал Тургеневу 12 января 1875 г.: «Необходимо припомнить, что после катастрофы с Толстым — последний энергически просил меня не упоминать Вашего имени при нем. Но зная Вас, в сущности, за хорошего человека я не поддался Толстому: он отвернулся от меня... Однажды, делая сначала вид, что не замечает меня, в театральном маскараде, Толстой вдруг подошел ко мне и сказал: «Нет, на Вас сердиться нельзя» и протянул мне

руку. С той поры мы снова разговариваем с ним о Вас, без всякого раздражения» (Стасюлевич, III, с. 479).

[19] Младшей была Татьяна Берс.

[20] Тим — небольшое имение, купленное летом 1863 г. Фетом. О нем Фет писал В. П. Боткину 10 августа 1863 г.: «В России мало местностей, подобных Тимской. Кунцево не может выдержать малейшего сравнения. Это факт!» (*ГБЛ*).

[21] Петр Афанасьевич Шеншин.

[22] 28 июня 1863 г. у Толстых родился сын Сергей.

[23] Далее Фет пишет о хлопотах при покупке Тима.

[24] Речь идет о поездке к Толстым, которые переехали на лето в Никольское. 16 июля 1865 г. С. А. Толстая писала: «У нас Феты, они хорошие, он немного напыщенный, а она слишком проста, но очень добра» (*Дневники С. А. Толстой, I*, с. 92).

[25] И. П. Борисов.

[26] Сергей.

[27] Таня, родившаяся 4 октября 1864 г.

[28] Татьяна Андреевна Берс.

[29] Толстой в это время работал над второй частью романа, публиковавшегося в 1865—1866 гг. в «Русском вестнике» под названием «Тысяча восемьсот пятый год». И. П. Борисов писал Тургеневу 25 июля 1865 г.: «Толстой приготовил «1805 год» далее и читал Фету. Он хвалит. Его ужасно интересовало Ваше мнение — и что я ему высказал, то он *углубленно* подтверждал: *да*, *да*, *да*» (*ТС*, V, с. 490).

А. А. ТОЛСТАЯ

Александра Андреевна Толстая (1817—1904) — двоюродная тетка Толстого. Их отношения были шире, многообразнее обычных родственных. Толстого к своей «бабушке», как он называл А. А. Толстую, притягивала ее добрая отзывчивость, непохожесть на дам придворного круга, близкие ему духовные мотивы. Он был даже в нее немножечко влюблен и стыдился своего чувства, испытывая «неловкость молодых людей» (*ПСС*, т. 47, с. 134). Она любила наставлять своего «внука», читала ему, особенно в письмах, как она говорила, «анатомические лекции». «Помощница и просветительница, — обращается он к А. А. Толстой 12 июня 1859 г. из Ясной Поляны, — пожалуйста, еще и еще погладьте меня по голове, потрите бальзамом, хоть не тут болит» (там же, т. 60, с. 301).

Но отношения их не были безмятежными. Сущность главных разногласий отражена в зачеркнутой дневниковой записи Толстого

25 апреля 1858 г.: «Начинает мне надоедать ее сладость придворно христианская» (там же, т. 48, с. 14). В это же время произойдет между ними горячий спор из-за рассказа «Три смерти». Толстой не приемлет «христианскую» точку зрения своей «бабушки». В письме А. А. Толстой от 3 мая 1859 г. писатель сформулировал свое отношение к религии, которое стало важнейшим его нравственным принципом: «...Жизнь у меня делает религию, а не религия жизнь... Вы смеетесь над природой и соловьями. Она для меня проводник религии. У каждой души свой путь...» (там же, т. 60, с. 294). «Внук» явно выходил из-под опеки «бабушки». К тому же он вдруг бывал с нею дерзким, резко откровенным. После обыска в Ясной Поляне Толстой писал А. А. Толстой в июле 1862 г.: «Какой-то из ваших друзей, грязный полковник, перечитал все мои письма и дневники... Счастье мое и этого вашего друга, что меня тут не было, — я бы его убил!» (там же, с. 428—429).

Многое в Толстом было необъяснимо и непостижимо для А. А. Толстой, и не случайно во вступлении к своим воспоминаниям о писателе она призналась: «Следя за ним с его молодости, я только теперь могу *отчасти* понять всю многосложность его исключительной природы, изменчивой и вместе с тем остающейся всегда верной самой себе» (курсив мой. — *Г. К.*) («Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». СПб., 1911, с. 2). Хотя Толстая тут же предупреждает, что ее задача узкая — «единственно говорить про мои личные отношения к Льву Николаевичу», — в ее воспоминаниях отражаются существенные моменты духовного развития Толстого.

«Воспоминания» А. А. Толстой написаны в марте 1899 г. В наст. изд. печатаются с некоторыми сокращениями.

ВОСПОМИНАНИЯ

(Стр. 91)

По тексту: «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». СПб., изд. Общества Толстовского музея, 1911, с. 3—16, 19.

[1] Двоюродный дядя Л. Н. Толстого, отчасти он послужил прототипом для образа графа Турбина-отца в повести «Два гусара» (1856).

[2] Первая их встреча в Женеве была 29 марта (10 апреля) 1857 г.

[3] Толстой записал в дневнике 25 марта (6 апреля) 1857 г.: «Гильотина долго не давала спать и заставляла оглядываться» (*ПСС*, т. 47, с. 122).

[4] Гора в 5 км от Женевы. Толстой записал в дневнике 29 апреля (11 мая) 1857 г.: «К Толстым, весело, с ними на Салев. Очень весело» (там же, с. 127).

[5] Местечко близ Кларана.

[6] Изречение Сократа, нашедшее отзвук и в наследии писателя («Война и мир», т. 2, ч. 2, гл. 1, *ПСС*, т. 41, с. 264 и др.).

[7] Поездка состоялась в апреле 1857 г. (см. дневник от 9—11 апреля ст. ст. 1857 г.). Поселились сначала в пансионе Perret в Кларане.

[8] М. И. Пущин — брат декабриста И. И. Пущина; привлекался по делу о декабристах, был лишен дворянского звания, чинов, разжалован в солдаты. Затем участвовал в Турецкой кампании 1828—1829 гг., встречался с Пушкиным. Толстой писал П. В. Анненкову 22 апреля 1857 г. из Кларана: «Пущин этот — прелестный и добродушный человек. Они с женой здесь трогательно милы, и я ужасно рад их соседству» (там же, т. 60, с. 182). Филемоном и Бавкидой (*греч. миф.*) — примерная чета — Толстой их называет в письме А. А. Толстой от 18 августа 1857 г.

[9] Это ироническое определение Толстой часто использовал в своем дневнике и в переписке с А. А. Толстой и ее сестрой (см. *ПСС*, т. 60, с. 183, а также дневник Б. Арнсвальда в наст. томе).

[10] «Из записок князя Нехлюдова» («Люцерн»).

[11] В дневнике от 25 июня/7 июля Толстой записал: «крошечный человек поет тирольские песни с гитарой и отлично. Я дал ему и пригласил спеть против Швейцерхофа — ничего, он стыдливо пошел прочь, бормоча что-то, толпа, смеясь, за ним. А прежде толпа и на балконе толпились и молчали. Я догнал его, позвал в Швейцерхоф пить. Нас провели в другую залу. Артист пошляк, но трогательный. Мы пили, лакей засмеялся и швейцар сел. Это меня взорвало — я их обругал и взволновался ужасно» (*ПСС*, т. 47, с. 140—141. См. также письма Л. Н. Толстого В. П. Боткину от 26 июня/8 июля 1857 г. — *ПСС*, т. 60, с. 202—209).

[12] Цитата из «Бориса Годунова» Пушкина.

[13] Этот визит произошел 22—23 июля по ст. ст. 1857 г. (см. *ПСС*, т. 47, с. 148).

[14] О смерти брата Дмитрия Толстой узнал 2 февраля 1856 г.

[15] Рассказ «Три смерти» Толстой завершил в январе 1858 г. Возможно, что «Семейное счастие» читалось у А. А. Толстой 18 марта 1859 г. Она записала в дневнике под этой же датой: «Потом у нас чтение Л. Толстого. Он написал новое сочинение. Прелестный маленький рассказ деликатных оттенков... высокого комизма. Слушают священник Иван Васильевич, Мальцова, гр. Перовская, Маркевич» (*ЦГАЛИ*. Автограф перевода с *франц.* Е. А. Масальской-Суриной).

[16] Толстой писал А. А. Толстой в октябре 1863 г.: «За одно я всегда упрекал вас и теперь этот упрек у меня в душе, и я довольно ясно чувствую и мыслю, чтоб высказать его. В наших отношениях вы всегда отдавали мне только *общую* (вы меня поймете) сторону своего ума и сердца, вы никогда не говорили мне о подробностях вашей жизни, о простых, ощутительных, частных случаях вашей жизни» (*ПСС*, т. 61, с. 24).

[17] Имеется в виду спор о «вере» в годы духовного перелома Толстого (см. «Переписку Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», с. 324—331).

[18] См. в наст. томе воспоминания А. Фета и коммент. к ним.

[19] Толстой для изучения материалов о декабристах приезжал в Петербург в марте 1878 г.

[20] Е. И. Майдель. В какой-то степени он послужил прототипом барона Кригсмута, коменданта Петропавловской крепости в романе «Воскресение». О посещении Толстым Петропавловской крепости см. также воспоминания С. А. Берса в наст. томе.

[21] А. А. Толстая писала Толстому 5 мая 1879 г.: «Скажите мне непременно, действительно ли вы совершенно оставили ваших декабристов. В таком случае я буду неутешна. Что за дело, что они не русские, а французы или западники. Разве это тоже не исторический и характерный факт той эпохи?» (Гусев, III, с. 532).

[22] Такой замысел у Толстого возникал в конце работы над романом «Война и мир» под влиянием исторических материалов, опубликованных в журнале «Русский архив». Толстой писал П. И. Бартеневу 31 марта 1867 г.: «...то, что есть в «Архиве», привело меня в восторг. Я нашел своего исторического героя. И ежели бы бог дал жизни, досуга и сил, я бы попробовал написать его историю» (*ПСС*, т. 61, с. 166).

БЕРНГАРД ФОН АРНСВАЛЬД

Бернгард фон Арнсвальд (1807—1877) — майор, комендант замка в Вартбурге; встречался с Толстым во время его поездки по Германии в 1857 г. Фон Арнсвальд, аристократ по происхождению и убеждениям, противник революционных идей 1848 г., ревностно оберегающий приоритет немецкой культуры, был в то же время способен оценить оригинальные суждения незнакомого ему, «любознательного» русского путешественника.

Благодаря дневнику Арнсвальда стала более понятной загадочная дневниковая запись Толстого от 23 июля (4 августа н. ст.) 1857 г.: «Выехал в 5. Жар, пыль, один. Будущее все улыбается

мне. Только не форсируй и не хвались; не рассказывай. Опять *труба* в Ейзенахе. Префект. Меня гоняют. Обед у Галаховых. Вартбург. Чудный Майор. Еду ночью в Дрезден» (*ПСС*, т. 47, с. 148). «Чудный Майор» (в новом прочтении исследователя из ГДР Э. Пехштеда) — Б. Арнсвальд, с которым встретился Толстой во время своего краткого пребывания в Ейзенахе и Вартбурге.

ИЗ «ДНЕВНИКА»

(Стр. 105)

По тексту издания: «Wissenschaftliche Zeitschrift des Pädagogischen Instituts». Erfurt, 1967, № 4, S. 3—5. Публикация Э. Пехштеда. В наст. изд. частично использован перевод С. А. Розановой: *ВЛ*, 1973, № 11, с. 219—221.

[1] В публикации Э. Пехштеда указано, что имеются в виду великий герцог Карл-Александр и его супруга Софья.

[2] Карл фон Швендлер, начальник третьего окружного управления города Эйзенаха, уроженец Москвы, был женат на сестре А. Галахова — Марии Галаховой. В дневниковой записи Толстого от 23 июля (4 августа н. ст.) 1857 г. помета «префект», по-видимому, относится именно к Швендлеру.

[3] Жена Галахова — Софья Петровна, сестра поэта И. Мятлева. Их взрослые дочери — Софья и Надежда.

[4] Толстой с семьей Галаховых был знаком ранее и виделся с ними весной в Швейцарии.

[5] Опера Р. Вагнера «Тангейзер, или Состязание певцов в Вартбурге» (1845).

[6] Мориц фон Шульце был генералом на русской службе. Во время обороны Севастополя (1855) состоял начальником 2-го отделения оборонительной линии и 4-го бастиона. Его брат Фридрих создал сельскохозяйственный институт при Иенском университете и земледельческую школу в Цветцене около Иены. Толстой в апреле 1861 г. посетил эти заведения.

[7] Замок в Вартбурге, памятник немецкого средневековья, был реставрирован, как пишет Э. Пехштед, по инициативе великого герцога Карла-Александра и по планам архитектора Х. Ритдена в 1847—1851 гг.

[8] Подобное суждение характерно для эстетики Гете. Оно, например, отчетливо выражено в первых главах романа «Страдания молодого Вертера», который очень высоко ценил молодой Толстой.

[9] Толстой в ту пору действительно размышлял о возможностях демократического пути России: «Ежели бы Россия кроме ре-

лигиозного и народного знамени выставила бы республиканское, или хоть конституционное, мир был бы ее» (*ПСС*, т. 47, с. 209); «Русский народ способен к республиканской жизни. Правительство в его понятиях не есть потребность, а случайность» (там же, с. 212).

[10] Весь пассаж о беспочвенности демократии принадлежит Арнсвальду. Как установил Э. Пехштед, Толстой тогда же в своей записной книжке, процитировав на немецком языке тезис Арнсвальда о «разумных головах» либерально-буржуазного толка, тут же полемизировал с ним: «Социализм ясен, логичен и кажется невозможен, как казались пары [т. е. паровые машины]. Надо прибавить силы, встретив препятствие, а не идти назад» (там же, с. 214).

[11] Противопоставление личности и массы, «толпы» присуще этическим взглядам Толстого. В «Люцерне» он писал: «...Толпа есть соединение хотя бы и хороших людей, но соприкасающихся только животными, гнусными сторонами, и выражающая только слабость и жестокость человеческой природы». В письме В. П. Боткину из Парижа о казни: «А толпа отвратительная, отец, который толкует дочери, каким искусным удобным механизмом это делается...» (там же, т. 60, с. 168).

П. В. МОРОЗОВ

Петр Васильевич Морозов (1838—1906) — учитель Яснополянской школы, воспитанник Тульской духовной семинарии. В Яснополянской школе преподавал «писание», «чтение», русскую историю, священную историю. Вместе с Толстым вел «Дневник» школы (см. *ПСС*, т. 8), разрабатывал методику занятий. Толстой записывает в названном «Дневнике»: «Петр Васильевич читал о лете. Костюшке нравилось очень. Я прочел о междуцарствии — рассказали очень хорошо. Я заставил их учить друг друга.— Очень удачно — три раза повторили. Советую Петру Васильевичу делать всегда так» (там же, с. 477).

Благодаря такой совместной работе П. В. Морозов стал хорошим учителем-практиком, следовавшим методике Толстого. По рекомендации Толстого Морозов в середине 70-х годов давал показательные уроки в одной из московских народных школ (см. Гусев, III, с. 163). Толстой привлек Морозова в 1874—1875 гг. к работе по подготовке учителей сельских школ из крестьянской молодежи. Ученик задуманного Толстым такого «университета в лаптях» Н. Т. Панов вспоминал: «Учитель наш, Морозов, был человек среднего роста и телосложения, с рыжими

волосами на голове и бороде, оспенным лицом. Хотя он с первого взгляда и не очень располагал к себе, но его ласковые и добрые слова, нежность и мягкость его речи сразу привязывали к себе детей, как к отцу» («Воспоминания яснополянских крестьян о Л. Н. Толстом». Тула, 1960, с. 172).

Публикуемые воспоминания относятся к первому периоду педагогической деятельности писателя. Они были написаны для какого-то издания в 1898 г. к 70-летию Л. Н. Толстого. Автограф без названия. Воспоминания в газетной обработке печатались в «Русском слове» (1912, № 257, 7 ноября).

<ВОСПОМИНАНИЯ>

(Стр. 108)

По автографу (*ГМТ*, № 42060), с сокращениями.

[1] Лицо не установлено.

[2] Возможно, Иван Ильич Авксентьев, работавший в 1861 г. учителем Трасненского училища.

[3] Лицо не установлено.

[4] Игнат Макаров, ученик Яснополянской школы.

[5] Имеется в виду отъезд Толстого летом 1860 г. в Германию, затем к больному брату Н. Н. Толстому во Францию.

[6] Такой распорядок сохранился в школе и в последующее время. Толстой писал А. А. Толстой в августе 1861 г.: «Классы положены с 8-ми до 12-ти часов и с 3-х до 6-ти, но всегда идут до двух, потому что нельзя выгнать детей из школы — просят еще. Вечером же часто больше половины останется ночевать в саду, в шалаше» (*ПСС*, т. 60, с. 405).

С. И. ПЛАКСИН

Сергей Иванович Плаксин (1851—?) — журналист, редактор «Южно-русского альманаха» (Одесса), встречался с Толстым в детские годы, когда тот жил в Гиере (Франция) после смерти брата Николая.

ГРАФ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ

(Стр. 114)

По тексту: С. Плаксин. Граф Лев Николаевич Толстой среди детей (Очерк из моих воспоминаний). М., 1903, с. 14—22.

[1] Здесь неточность. Речь идет о сестре Толстого М. Н. Толстой.

[2] См. воспоминания А. А. Фета в наст. томе.

[3] В. Ф. Тимм, издатель «Русского художественного листка» в № 34 за 1857 г. поместил «шесть портретов русских литераторов». Портрет Толстого был воспроизведен с фотографии Левицкого (см. дневниковые записи А. В. Дружинина в наст. томе).

[4] В Марселе Толстой осматривал школы для «рабочего народа» (см. *ПСС*, т. 8, с. 18—20).

[5] С. И. Плаксин писал Толстому 6 ноября 1902 г.: «Благодаря незабвенной покойной матери моей у меня сохранился один из ваших рисунков того времени, изображающий волжского разбойника...» (*ПСС*, т. 73, с. 328). В названной книге Плаксина был приложен упомянутый рисунок. Толстой отвечал Плаксину 17 ноября 1902 г.: «Я совсем не помню своего рисунка, но, разумеется, уверен, что вы всё, что говорите, говорите правильно» (там же, с. 327).

ЮЛИЙ ШТЁТЦЕР

Юлий Штётцер (Julius Glorius Stötzer) (1813—1905) — учитель Веймарской школы, которую посетил Толстой 31 марта (12 апреля н. ст.) 1861 г.

По воспоминаниям Штётцера, именно он рекомендовал своему ученику Густаву Келеру поехать с Толстым в Россию. Толстой высоко ценил работу Келера в Яснополянской школе.

Рассказ Штётцера был записан веймарским литератором, поклонником Гете и Толстого, Вильгельмом Бодэ в 1903 г. и опубликован им в статье «Толстой в Веймаре» (1905).

<УРОК В ВЕЙМАРСКОЙ ШКОЛЕ>

(В записи В. Бодэ)

(Стр. 119)

По тексту: Бирюков, I, с. 195—196, с уточнениями по источнику: журнал «Der Saemann», 1905, September, S. 294—295.

[1] Во второй половине 1860 и в начале 1861 г. Толстой знакомился с постановкой школьного образования в Киссингене, Франкфурте-на-Майне, Женеве, Марселе, Париже, Лондоне, Брюсселе.

[2] Эти ученические работы сохранились в архиве Толстого (*ГМТ*). Все девятнадцать работ написаны на одну тему, вероятно, заданную Толстым: «Lieber Freund!» («Дорогой друг!»), — и содер-

жат рассказ о характере занятий, распорядке дня веймарской школы.

[3] Беседы с Трёбстом о воспитании и обучении отмечены Толстым в дневнике (см. *ПСС*, т. 48, с. 32—33).

Н. П. ПЕТЕРСОН

Николай Павлович Петерсон (1844—1919) — участник студенческого движения 60-х годов, учитель в толстовских школах. Петерсон за участие в студенческих волнениях был исключен из Московского университета. Учительствовал он сначала в Головлино, а затем в Плеханово. Педагогические и нравственные убеждения молодого учителя складывались под влиянием Толстого. Он разделял и пропагандировал толстовские взгляды на образование, воспитание и в школе и в журнале «Ясная Поляна». Так, в статье «Головлинская школа» Петерсон писал: «Либо совершенная свобода детей, при которой, кроме искусства читать и писать, насильно не вносилось бы никакое воспитательное влияние, кроме того, которое они сами охотно принимают, либо — при принудительном приеме — совершенно одинаковое воззрение и среда учителя с учениками» («Ясная Поляна», 1862, июнь, с. 39). Однако, как это видно из воспоминаний Петерсона, осуществить эти педагогические принципы было для него делом нелегким. Кроме того, Петерсона по-прежнему тянуло к «нигилистам». В Ясной Поляне он был под надзором полиции (см. «Звенья», I, М. — Л, 1932, с. 405). Покинув в 1862 г. Плеханово, а затем и семейство С. Н. Толстого, Петерсон в 1864 г. стал учителем в Богородском уездном училище Московской губ. с целью, как он писал А. Волынскому в сентябре 1917 г. — «проповеди социалистических и революционных идей» (*ЦГАЛИ*), воспринятых им в кружке Каракозова. В 1866 г. Петерсон был приговорен к шестимесячному заключению в крепости.

Жизненный путь Петерсона складывался явно не «по Толстому», вразрез твердому убеждению писателя, что «вся quasi-либеральная дребедень, яко воск от лица огня, растает от прикосновения с народом» (*ПСС*, т. 60, с. 434). С Петерсоном этого не случилось, хотя он и отошел от революционно настроенной молодежи. Встретив в Богородском училище Н. Ф. Федорова, он стал приверженцем его религиозно-философских принципов. В 1902 г. Петерсон издал анонимную брошюру «Правда о великом писателе земли русской гр. Л. Н. Толстом, к 55-летию его литературной деятельности». Между ними возникла переписка, носившая полемический характер, по поводу нравственно-этической

трактовки ряда постулатов толстовского учения и христианства. Эти споры не повлияли на воспоминания Петерсона о начале его знакомства с Толстым на учительском поприще. «...Лично Льву Николаевичу, — писал в 1909 г. Петерсон, — я обязан только благодарностью; я не знаю, чем бы я был, если бы в 1862 г. Лев Николаевич не увлек меня к себе, и жизнь в Ясной Поляне и близ нее в течение всего 1862 года была не только радостна, но и плодотворна. Кроме того, и в позднейшее время я видел от Льва Николаевича доказательства только расположения ко мне» (Н. П. Петерсон. Н. Ф. Федоров и его книга «Философия общего дела» в противоположность учению Л. Н Толстого «о непротивлении» и другим идеям нашего времени». Верный, 1912, с. 111). С. Л. Толстой считал, что Петерсон был «отчасти» изображен в романе «Воскресение» «в лице Симонсона» (С. Л. Толстой, с. 132).

ИЗ ЗАПИСОК БЫВШЕГО УЧИТЕЛЯ

(Стр. 122)

По тексту: «Международный толстовский альманах». М., 1909, с. 257—262.

[1] В должности мирового посредника 4-го участка Крапивенского уезда Толстой был утвержден Сенатом 23 июня 1861 г. (*Рсл*, 1911, № 256, 6 ноября).

[2] Осенью 1861 г. были открыты школы в селах Головенек, Кривцово, Житово, Подосинки, затем в Богучарово, Головли, Кочаны, Плеханово и других местах Тульской губ.

[3] Толстой не мог быть удовлетворен своей земской деятельностью из-за яростного сопротивления его начинаниям помещиков Крапивенского уезда. Крапивенский уездный предводитель дворянства Д. Щелин представил в декабре 1861 г. заявление об «односторонних несправедливых и произвольных действиях гр. Толстого» (Гусев, II, с. 460). В апреле 1862 г. Толстой «по болезни» отказался от исправления должности мирового посредника.

[4] Толстой уехал на кумыс с учениками Василием Морозовым и Егором Черновым (см. «Воспоминания о Л. Н. Толстом яснополянских крестьян». Тула, 1960, с. 45—66).

[5] Поводом для обыска был донос сыщика М. И. Шипова (Зимина), обвинявшего Толстого в том, что он держит при себе «студентов разных университетов и без всяких видов», которые якобы оборудуют подпольную литографию.

[6] Речь идет о статье Е. Л. Маркова «Теория и практика Яснополянской школы» (*РВ*, 1862, № 5). Толстой ответил ему статьей «Прогресс и определение образования», опубликованной в декабрьском номере «Ясной Поляны». Ранее, в июне, были напечатаны полемические «Заметки по поводу статьи г. Маркова» одного из студентов, учительствовавших у Толстого (о Маркове см. также в коммент. к воспоминаниям Поливановых «В «большую перемену»...»).

[7] Студент Московского университета В. М. Попов читал корректуры статей для «Ясной Поляны».

[8] Толстой выезжал в Москву вместе с М. Н. Толстой, Л. А. Берс и ее дочерьми, останавливался у Берсов (см. воспоминания С. А. Толстой «Женитьба Л. Н. Толстого» в наст. томе).

[9] В статье «П⟨леха⟩повская школа» («Ясная Поляна», 1862, октябрь) Н. Петерсон объяснял свои неудачи на учительском поприще незнанием крестьянской жизни, «отчужденностью» от учеников и тем, что «любви к занятиям» у него не было. «Мне захотелось поправить дело, — писал он в заключение статьи. — Я вздумал было опять поселиться в Плеханове и открыть школу, но мужики положительно отказали мне».

[10] См. воспоминания В. А. Полторацкого в наст. томе.

[11] О негативном отношении Толстого в те же годы к некоторым произведениям А. К. Толстого свидетельствуют и другие мемуаристы. В. К. Истомин вспоминал, как Л. Толстой разошелся с ним в оценке трагедии «Смерть Иоанна Грозного» и «решительно заявил, что названная трагедия совершенно бесталантлива», говорил, что «нельзя изображать Иоанна исключительно злодеем, ибо в таком представлении он всегда окажется безжизненным; надо взять какую-нибудь добрую минуту в его жизни, бывающую в жизни каждого человека, и на этом фоне развить ужасные крайности его личности» (В. К. Истомин. На закате. — «Яснополянский сборник», 1965, с. 145).

[12] Библиотека, создателем которой был А. Д. Чертков, историк, археолог, родственник В. Г. Черткова, одного из сподвижников Толстого.

А. А. ЭРЛЕНВЕЙН

Альфонс Александрович Эрленвейн (1840—1910) — участник студенческих волнений в Москве, учитель бабуринской школы, открытой по инициативе Л. Н. Толстого в Крапивенском уезде Тульской губ.

Эрленвейн, как и другие учителя, сотрудничал в журнале «Ясная Поляна», опубликовал там в 1862 г. две статьи (за подписью А. Э.): «Бабуринская школа» (февраль, с. 77—86) и «Еще о бабуринской школе» (апрель, с. 27—41).

Когда Эрленвейн приехал на юг России и поселился в Херсонской губернии, в имении князя А. Н. Аргутинского-Долгорукова в качестве воспитателя его детей, у него появилась мысль возобновить издание книжек «Ясная Поляна», и по этому поводу он обратился к Толстому (письмо не сохранилось). «Письмо ваше очень обрадовало меня, — отвечал ему Толстой 11 апреля 1872 г., — особенно тем, что напомнило вас и что вы помните Ясную Поляну и любите это воспоминание... Мысль ваша прекрасная, *и я от всей души даю вам разрешение издавать Ясную Поляну.* Вы правы. Прошло много лет, а не вышло ни одной книжки с тех пор, которую бы можно было дать в руки крестьянскому мальчику. Я это знаю особенно потому, что с нынешнего года у меня опять завелась школа. Учат, кроме меня, — жена, сын и дочь. — И поколение школьников в Ясной Поляне чуть не второе. Те все отцы семейств» (*ПСС*, т. 61, с. 284—285). Известно, что Толстой не только возобновил занятия с детьми, но с сентября 1871 по конец 1872 г. работал над «Азбукой» (она вышла в свет в ноябре 1872 г.).

Получив разрешение Толстого, Эрленвейн выпустил ряд книжек, составленных из материалов «Ясной Поляны» с изменениями и дополнениями, под общим заглавием «Из Ясной Поляны (журнал гр. Л. Н. Толстого)» с подзаголовками: «Рассказы для крестьянских ребят» и «Рассказы для семьи и школы». Издание Эрленвейна было повторено семь раз (с 1873 по 1909 г.). Кроме того, сам Эрленвейн издал в 1886 г. в «Посреднике» рассказ «Иван Гус», включенный в серию «Из Ясной Поляны».

Занимаясь издательскими делами, Эрленвейн продолжал следить за педагогической деятельностью Толстого. В 1875 г., узнав, что Толстой думает учредить народную учительскую семинарию («университет в лаптях»), Эрленвейн написал ему восторженное письмо, в котором горячо откликнулся на это начинание.

Воспоминания А. А. Эрленвейна посвящены первому из трех «счастливых периодов» (*ПСС*, т. 54, с. 94) жизни Толстого — периоду его занятий педагогикой, которая была в 1859—1862 годах главным делом его жизни и осталась для него «одним из самых дорогих, в особенности, чистых воспоминаний» (письмо к С. А. Рачинскому, 5 апреля 1877 г. — *ПСС*, т. 62, с. 317). Таким счастливым, увлеченным человеком предстает Толстой со страниц воспоминаний А. А. Эрленвейна.

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ. 1861—1863

(Стр. 127)

По тексту: «Яснополянский сборник». Тула, 1978, с уточнением по машинописной копии (*ГМТ*).

[1] Здесь и ниже — отдельные пропуски в машинописной копии мемуара. В дальнейшем — не оговариваются.

[2] «Ключ» — романс XVIII в., любимый Толстым. См. также воспоминания В. С. Морозова в наст. томе.

Романс «Ключ» поет молодежь Ростовых в романе «Война и мир» (т. 1, ч. I, гл. XVII).

[3] Имеется в виду сюжет баллады Гете «Лесной царь».

[4] Кирилл Евдокимович Иванов (Воробьев) — один из учеников Яснополянской школы.

[5] Федя Морозов.

[6] «Херувимская» — музыкальное произведение композитора Д. С. Бортнянского, которое, так же как и «Ключ», любили петь в Ясной Поляне.

[7] А. К. Томашевский (1842—1907) — студент Московского университета, исключенный осенью 1861 г. за участие в студенческих волнениях. В 1861—1863 гг. учительствовал в Колпинской школе. Позднее был управляющим в Ясной Поляне.

[8] А. П. Сердобольский (ум. в 1890 г.) — студент Московского университета; преподавал в Головеньковской школе.

[9] А. К. Томашевский.

[10] С. Л. Гудим, студент Казанского университета, был преподавателем в Богучаровской школе.

[11] Полное название журнала: «Ясная Поляна. Школа. Журнал педагогический, издаваемый гр. Л. Н. Толстым». Первый номер вышел в январе 1862 г., последний (№ 12) — в марте 1863 г.

[12] А. И. Давыдов — книгопродавец и издатель. Ему поручил Толстой издание своих «Военных рассказов» отдельной книгой («Военные рассказы» графа Л. Н. Толстого. СПб., 1856). В книжной лавке Давыдова продавались книги Толстого «Детство и Отрочество» и «Военные рассказы» (см. об этом — *ПСС*, т. 47, с. 319; т. 60, с. 291).

[13] См. коммент. 4 к воспоминаниям Н. П. Петерсона.

[14] А. С. Орехов

[15] 5 августа 1862 г. Л. А. Берс заезжала в Ясную Поляну с тремя дочерьми: Елизаветой, Софьей, Татьяной и сыном Влади-

миром, проездом в имение своего отца А. М. Исленьева — Ивицы, Одоевского уезда Тульской губернии.

[16] Т. А. Ергольская.

[17] Н. П. Охотницкая — компаньонка Т. А. Ергольской.

[18] Эрве — неустановленное лицо.

[19] М. Ф. Бутович, студент юридического факультета Московского университета; учительствовал в Ясенской и других школах Толстого.

[20] Г. Ф. Келер. О нем см. в коммент. к воспоминаниям Ю. Штётцера.

[21] Дневники вели учителя всех школ, организованных Толстым. По субботам они собирались в Ясной Поляне и читали их (см. письмо Л. Н. Толстого к А. А. Толстой, начало августа 1861 г. — *ПСС*, т. 60, с. 405). «Дневник Яснополянской школы за 1862-й год» опубликован (*ПСС*, т. 8, с. 455—486).

[22] Статья «Магомет», напечатанная в июльской книжке «Ясная Поляна», принадлежала Е. А. Берс (см. *ПСС*, т. 8, с. 632). Предисловие к ней, написанное Толстым, опубликовано там же, с. 365—366.

[23] Вероятно, так называли А. А. Эрленвейна.

[24] Речь идет о Е. А. Берс.

[25] С. А. Берс.

[26] Т. А. Берс.

[27] Из «Евгения Онегина» (глава четвертая).

В. С. МОРОЗОВ

Василий Степанович Морозов (1849—1914) — тульский крестьянин, в начале 60-х годов ученик Яснополянской школы. Толстой выделял его из многих: «Ребята отличные. Васька прелесть» (дневниковая запись 20 мая 1862 г. — *ПСС*, т. 48, с. 40). О своем ученике Толстой писал в ряде педагогических статей (см. коммент.), его сочинения печатал в книжках «Ясной Поляны».

Свою взрослую жизнь В. С. Морозов провел вне Ясной Поляны (был извозчиком в Туле), но не порывал связи с Толстым. В 1908 г. Толстой отредактировал и рекомендовал для печати рассказ Морозова «За одно слово» (*ВЕ*, 1908, № 9). В предисловии к нему Толстой, вспоминая былое, писал: «Как тогда мне были особенно дороги в милом мальчике его чуткость на все доброе, его сердечность и, главное, всегдашняя искренность и правдивость, — так и теперь мне особенно понравились те же черты в этом простом рассказе, так ярко отличающемся своей правдивостью от большинства литературных писаний» (*ПСС*, т. 37, с. 148).

По свидетельству А. П. Сергеенко, В. С. Морозов обладал феноменальной памятью. «Первую часть своих воспоминаний, — сообщал Сергеенко, — Морозов написал в 1904 году. Свою рукопись он отдал тогда же одному лицу и больше никогда не видал ее. Только спустя семь лет я обратился к нему с предложением написать воспоминания о яснополянской школе, и он почти слово в слово пересказал мне некоторые места из того, что было им написано семь лет назад» («Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика Яснополянской школы Василия Степановича Морозова». М., «Посредник», 1917, с. 16). Отрывки из них читались автором в 1911 г., в первую годовщину кончины Толстого. В полном виде опубликованы они были уже посмертно под редакцией и с примечаниями А. П. Сергеенко.

ВОСПОМИНАНИЯ О Л. Н. ТОЛСТОМ УЧЕНИКА ЯСНОПОЛЯНСКОЙ ШКОЛЫ

(Стр. 141)

По тексту: «Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика Яснополянской школы Василия Степановича Морозова». М., «Посредник», 1917, с. 62—63, 75—84.

[1] Из стихотворения Кольцова «Урожай» (1835).

[2] Заказ — часть яснополянского леса.

[3] В примечании А. П. Сергеенко слово разъяснено так: «Веревка от заднего колеса к перекладине под телегой» (Указ. изд., с. 63).

[4] Слово тульского диалекта, означающее: «На следующий день рано утром» или просто «рано утром» (там же, с. 76).

[5] В «Воспоминаниях» Толстой пишет, что его в детстве звали «Левка-пузырь»: «Я был очень толстый ребенок» (*ПСС*, т. 34, с. 377).

[6] О писании этого сочинения Толстой рассказывает в статье «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят» (1862). В ней под именами Федьки и Семки Толстой вывел Василия Морозова и Игната Макарова.

[7] О потере ученической повести Толстой писал в упомянутой статье: «Я должен был уехать на несколько дней, и повесть оставалась не дописанною. Рукопись, три большие листа, кругом исписанные, оставалась в комнате учителя, которому я показывал ее. Еще перед моим отъездом, во время моего сочинительства, прибывший новый ученик показал нашим ребятам искусство делать хлопушки из бумаги, и на всю школу, как это обыкновенно

бывает, нашел период хлопушек... и рукопись сочинения Макарова, Морозова и Толстого превратилась в хлопушки... Никогда никакая потеря не была для меня так тяжела, как потеря этих трех исписанных листов; я был в отчаянии. Махнув на все рукою, я хотел начинать новую повесть, но не мог забыть потери и невольно всякую минуту пилил упреками и учителя, и делателей хлопушек» (там же, т. 8, с. 309).

[8] Толстой в статье «Кому у кого учиться писать...», противопоставляя свое писательское влияние литературной интуиции В. С. Морозова, пишет: «Я чувствовал, что с этого дня для него раскрылся новый мир наслаждений и страданий, — мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет права видеть — зарождение таинственного цветка поэзии... Радостно мне было потому, что вдруг, совершенно неожиданно, открылся мне тот философский камень, которого я тщетно искал два года — искусство учить выражению мыслей; страшно потому, что это искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, несоответственный среде, в которой жили ученики»... (там же, с. 305—306). С толстовской тенденцией в оценке рассказа «Солдаткино житье» считались и учителя Яснополянской школы. Н. П. Петерсон писал Сергеенко 17 мая 1908 г.: «Тогда, в 1862 году никто не допускал и не позволял себе говорить, что рассказ написан не самим Морозовым. И Лев Николаевич, разбирая этот рассказ в журнале «Ясная Поляна», разбирал его как произведение именно Морозова» (*ГМТ*).

[9] См. коммент. 2 к воспоминаниям А. А. Эрленвейна.

ЖЕНИТЬБА
ГОДЫ РАБОТЫ НАД «ВОЙНОЙ И МИРОМ» И «АННОЙ КАРЕНИНОЙ»

С. А. ТОЛСТАЯ

О С. А. Толстой см. вступ. заметку к «Материалам к биографии Л. Н. Толстого и сведения о семействе Толстых...» в наст. томе. Воспоминания «Женитьба Л. Н. Толстого» написаны в 1912 г., на второй год после смерти писателя. Их полное название в первой публикации в газете «Русское слово» (1912, № 219, 23 сентября): «Женитьба Л. Н. Толстого. Из записок графини С. А. Толстой под заглавием «Моя жизнь» (7 книг) (в память пятидесятилетия со дня свадьбы, 23 сентября 1862 г.)». Задуманы они были

еще при жизни Толстого, о чем говорит запись, сделанная 8 февраля 1893 г. — «Мой роман с Львом Николаевичем...» (*Дневники С. А. Толстой, II*, с. 83—91).

Воспоминания «Женитьба Л. Н. Толстого» были написаны в «утешение», в память о давнем прошлом.

С. А. Толстая психологически тонко и достоверно передает в них обстановку и то особенное состояние тревоги, радости, волнения и счастья, которые она испытывала накануне замужества. Вместе с тем ей удалось словно бы проникнуть в тайны напряженной внутренней жизни Толстого накануне важного перелома в его жизни.

ЖЕНИТЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО

(Стр. 153)

По тексту: «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891». Издание М. и С. Сабашниковых. 1928, с. 8—29.

[1] См. далее главку «Поездка в аппенской карете»

[2] Аглая, Ольга, Наталья.

[3] Отец Л. Н. Толстого, Н. И. Толстой, часто бывал у Исленьева в Красном, а Исленьев бывал в Ясной Поляне. Дружили и их дети.

[4] О засечных лесах см. воспоминания С. Л. Толстого в наст. томе.

[5] См. коммент. 17 к воспоминаниям А. А. Эрленвейна.

[6] Е. Н. Орехова.

[7] А. С. Орехов, камердинер Л. Н. Толстого, был с ним на Кавказе и в Севастополе.

[8] Козлова Засека, ныне станция Ясная Поляна.

[9] Софья Петровна Козловская, бабушка Софьи Андреевны.

[10] Невольная свидетельница этой сцены Т. А. Кузминская вспоминала некоторые подробности этого объяснения Толстого с ее сестрой: «— Софья Андреевна, вы можете прочесть, что я напишу вам, но только начальными буквами? — сказал он, волнуясь. — Могу, — решительно ответила Соня, глядя ему прямо в глаза... Лев Николаевич писал: «в. м. и п. с. с...» и т. д. Сестра по какому-то вдохновению читала: «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья». Некоторые слова Лев Николаевич подсказал ей» (К у з м и н с к а я, с. 118—119).

[11] Покровско-Стрешнево в то время находилось в 12 верстах от Москвы.

[12] См. коммент. 5 к воспоминаниям Н. П. Петерсона.

[13] Речь идет о повести С. А. Толстой «Наташа». «В этой повести, — вспоминала она, — я описывала непривлекательной наружности пожившего князя Дублицкого, в лице которого я описывала немного Льва Николаевича, и выдала за него замуж свою старшую сестру Лизу» (*ПСС*, т. 48, с. 463—464). Повесть была уничтожена С. А. Толстой перед самой свадьбой. 26 августа 1862 г. Толстой записал в дневнике: «Соня нехороша, вульгарна была, но занимает. Дала прочесть повесть. Что за энергия правды и простоты. Ее мучает неясность. Все я читал без замиранья, без признака ревности или зависти, но «необычайно непривлекательной наружности» и «переменчивость суждений» задело славно. Я успокоился. Все это не про меня» (там же, с. 41). Однако ряд последующих записей говорят о тяжелых переживаниях Толстого: «Дублицкой, не суйся там, где молодость, поэзия, красота, любовь...» (там же, с. 43). «О, Дублицкой, не мечтай» (там же, с. 44) и др.

[14] В семействе Берсов думали, что Толстой ухаживает за старшей из сестер — Елизаветой (см. Кузминская, с. 117).

[15] Письмо от 14 сентября 1862 г.

[16] Ольга Дмитриевна Зайковская, дочь инспектора Московского университета.

[17] Переговоры с петербургским издателем Ф. Т. Стелловским об издании сочинений Толстого в то время были безуспешными.

[18] Федор Иванович Тимирязев.

[19] Митрофан Андреевич Поливанов. О его взаимоотношениях с Софьей Андреевной см.: Кузминская, с. 66—75.

С. А. БЕРС

Степан Андреевич Берс (1855—1910) — брат С. А. Толстой. «Он был живым и сильным физически мальчиком, — рассказывал С. Л. Толстой, — и восторженно относился к моему отцу» (С. Л. Толстой, с. 29).

В одном из писем к Н. Н. Страхову (1872) Толстой сообщает: «Степа мне пишет восторженное письмо о вас. Он славный мальчик. И мы с ним во многом сходимся и в любви к вам» (*ПСС*, т. 61, с. 310). Влияние толстовского авторитета на С. А. Берса выходило, конечно, за пределы чисто семейных отношений. В 1878 г., в год окончания Московского правового училища, Берс писал С. А. Толстой: «Ваша семья была для меня домом, я уже привык к вам с малых лет. Жизнь ваша была мне лучшим и

живым примером для будущего, наконец, и нравственным воспитанием я обязан Левочке...» (т а м ж е, т. 83, с. 66).

Службу по судебному ведомству Берс проходил сначала в Закавказье, затем в Дорогобуже, Витебске и других местах. Осенью 1887 г. он вновь длительное время гостил в Ясной Поляне. В этот период, по-видимому, и начали складываться воспоминания о его прошлых встречах с Толстым. Работал над ними Берс в октябре — ноябре 1891 г. Предлагая А. С. Суворину издать воспоминания, он писал ему 31 июля 1893 г.: «...Мне страшно больно связывать денежные интересы с воспоминаниями о Льве Николаевиче. Я и написал их из одной любви к нему, и потому что они составляют самую лучшую и милую сторону моей прошедшей жизни. Наконец, мне хотелось, чтобы и другие поближе узнали этого необыкновенного человека» (*ЦГАЛИ*). «Воспоминания» были опубликованы в журнале «Царь-Колокол», 1892, №№ 8—13 (не полностью). Отдельное издание, со многими цензурными изъятиями, было осуществлено в 1894 г. Годом раньше мемуары были опубликованы на английском языке. В настоящем издании публикуются главы III (частично), IV, V (частично).

ВОСПОМИНАНИЯ О ГРАФЕ Л. Н. ТОЛСТОМ

(Стр. 174)

По тексту: С. А. Б е р с. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Смоленск, 1894, с. 20—51, с восстановлением купюр цензурного происхождения по автографу (*ГМТ*, № 10973).

[1] Т. А. Берс.

[2] Ошибка. Выдержки из воспоминаний А. А. Фета печатались в «Русском обозрении» в 1890 г.

[3] Тургенев после примирения был в Ясной Поляне 8—9 августа 1878 г.

[4] А. М. Кузминским.

[5] «Мертвые души» (т. I, гл. X).

[6] Портрет работы И. Н. Крамского 1873 г. См. письма И. Н. Крамского П. М. Третьякову в наст. томе.

[7] Портрет работы И. Е. Репина 1887 г.

[8] В последней части «Анны Карениной» Толстой выразил свое отрицательное отношение к деятельности славянского комитета, инспирировавшего во время войны Сербии с Турцией «добровольческое» движение, призывавшего к «походу на Константинополь». Толстой писал Н. Н. Страхову в мае 1877 г.: «Оказывается, что Катков *не разделяет моих взглядов*, что и не может быть иначе, так как я осуждаю именно таких людей, как он, и,

мямля учтиво, прося смягчить то, выпустить это, ужасно мне надоел, и я уже заявил им, что если они не напечатают в таком виде, как я хочу, то вовсе не напечатаю у них, и так и сделаю...» (*ПСС*, т. 62, с. 326).

[9] Толстой ответил Каткову телеграммой: «Прошу ⟨немедленно⟩ обратно выслать оригинал эпилога. С «Русским вестником» впредь дела иметь никогда не желаю и не буду» (*ПСС*, т. 20, с. 664).

[10] См. воспоминания А. А. Фета в наст. томе.

[11] Неверно. Этот случай произошел 26 сентября 1864 г.

[12] Повторная операция была 28 ноября 1864 г.

[13] Наброски к роману времени Петра I опубликованы: *ПСС*, т. 17, с. 151—215. В замыслах Толстого было показать Петра I как противоречивую личность. В подготовительных материалах к роману Толстой записал: «Любопытство страстное, в пороке, преступлении, чудесах цивилизации... Нарушает все старые связи жизни, а для достижения своих целей хочет этими связями пользоваться: вера, присяга, роковое родство — это страсть изведать всего до пределов. Бес ломает...» (там же, с. 437). 7 ноября 1884 г. Толстой писал В. Г. Черткову: «Я одно время писал о Петре I-м, и одно у меня было хорошо. Это объяснение характера Петра и всех его злодейств тем, что он постоянно был страстно занят — корабли, точить, путешествовать, писать указы и т. д. Праздность есть мать пороков, это труизм; но то, что горячечная, спешная деятельность есть всегдашняя спутница недовольства собой и, главное, людьми, — это не все знают» (там же, т. 85, с. 114). Обзор суждений Толстого о Петре I см.: Гусев, III, с. 127—132.

[14] См. коммент. 19 к воспоминаниям А. А. Толстой в наст. томе.

[15] Это утверждение Толстого, вероятно, подсказано «Записками» М. А. Бестужева; часть их была опубликована (*РС*, 1870, № 4, 6, 8).

[16] Этот рассказ есть в «Записках декабриста», знакомого Л. Н. Толстому Д. И. Завалишина (СПб., 1906).

[17] В упомянутом письме от 2 июня 1838 г. М. С. Лунин действительно иронически отзывался о структуре, смете расходов, связанных с созданием министерства государственных имуществ («Полярная звезда на 1861», кн. VI, с. 56). Однако вторичный арест Лунина в 1841 г. и отправка его из Урика близ Иркутска в Нерчинск, в Акатуйский тюремный замок, был вызван обвинением в «преступной пропаганде». Жандармам стали известны новые рукописи Лунина — «Взгляд на русское тайное общество с 1816 по 1826 год» и «Разбор донесения тайной следственной ко-

миссии в 1826 году». Версия о судьбе Лунина, которую передает С. А. Берс, могла быть порождена друзьями декабриста, знавшими о тяжелых условиях заключения в Акатуе.

[18] Неточно. Поездка Толстого на Бородинское поле состоялась 25—27 сентября 1867 г.

[19] Толстой писал С. А. Толстой 27 сентября 1867 г.: «Сейчас приехал из Бородина. Я очень доволен, очень, — своей поездкой... Только бы дал бог здоровья и спокойствия, а я напишу такое бородинское сражение, какого еще не было» (*ПСС*, т. 83, с. 152—153).

Д. Д. ОБОЛЕНСКИЙ

Дмитрий Дмитриевич Оболенский (1844 — ?) — помещик Тульской губернии, коннозаводчик, приятель Толстого. Знатное происхождение, широкий круг знакомств, юридическое образование, полученное в Московском университете, сделали Д. Д. Оболенского заметной фигурой в той среде, с которой соприкасался Толстой.

Уездный предводитель дворянства, деятельный участник «железнодорожной лихорадки» начала 70-х годов, он затем из-за неудач в строительстве сахарных заводов был объявлен несостоятельным должником. «Его отдали под суд, — записывал в дневнике Толстой, — за то, что он добрый и тщеславный» (*ПСС*, т. 49, с. 52). Оболенский был привязан к семье Толстых. «...Он точно душу отводит у нас», — писала С. А. Толстая (*Дневники С. А. Толстой, 1*, с. 124). И сам Оболенский в письме к П. И. Бирюкову от 18 сентября 1903 г. признавался, что часто ездит к Толстому «не только отвести душу — *но для нравственной дезинфекции*» (*ЦГАЛИ*).

В «Набросках из воспоминаний» Оболенского, публиковавшихся в «Русском архиве» в 1894—1895 гг., можно найти интересные материалы о студенческом движении в Московском университете, о сложных отношениях помещиков и крестьян после 1861 г., заметки о В. А. Соллогубе, С. А. Соболевском, о дворянском быте в Тульской губернии. В этом же издании появились первые наброски воспоминаний о Толстом (*РА*, 1895, № 2). Затем они были расширены для биографии Толстого, составлявшейся П. И. Бирюковым. Воспоминания Оболенского о Толстом — это не связанный хронологической последовательностью рассказ о встречах с писателем, а, как писал Оболенский в письме Бирюкову, «разные случаи из жизни Льва Николаевича». Некоторые запомнившиеся Оболенскому эпизоды не были включены в «Отрывки» по цензур-

ным причинам. Например, очень интересное свидетельство Оболенского о реакции Толстого на записку Николая I о казни декабристов было опубликовано уже после кончины писателя. Оболенский вспоминал: «Когда Л. Н. Толстой начал писать роман «Декабристы», из коего впоследствии вылилась «Война и мир», ему доступны были «архивы», и он был поражен собственноручной запиской Николая Павловича, в которой весь церемониал казни декабристов был предначертан им самим во всех подробностях (с особенным правописанием императора без буквы ѣ, так как он ее не признавал и заменял всегда Е). Мне Толстой читал снятую им копию, там встречается такая фраза: *Когда их выведут, то барабанам пробить мелкую дробь* и т. д. «Это какое-то утонченное убийство», — возмущался Л. Н. Толстой этой запиской» («Наша старина», 1917, № 2, с. 35—36).

ОТРЫВКИ

(*Из личных впечатлений*)

(Стр. 194)

По тексту: «Международный толстовский альманах». М., 1909, с. 239—246.

[1] Судя по рассказываемым событиям, эпизод относится к осени 1859 г. (см. Гусев, II, с. 339—340).

[2] Рассказ не сохранился.

[3] Чтение происходило 27 февраля 1866 г. (*Летопись*, *I*, с. 320).

[4] Есть предположение, что М. Д. Скобелев был прототипом князя Серпуховского в романе «Анна Каренина».

[5] Начало художнической деятельности В. В. Верещагина привлекло Толстого. «Очень бы желал с ним познакомиться»— писал он В. В. Стасову в феврале 1879 г. Затем наступила размолвка. Отчасти она была вызвана неизвестным для нас письмом Верещагина к Толстому, которое тот расценил как «враждебное» (Письмо Толстого В. В. Стасову от 4 февраля 1880 г. — *ПСС*, т. 63, с. 10). Однако и тогда Верещагин выделял Толстого из всех русских писателей. «*Толстого* ставлю очень высоко», — писал он Стасову 19 декабря 1882 г. («Переписка В. В. Верещагина и В. В. Стасова», т. II. М., «Искусство», 1951, с. 141).

[6] Речь идет о книге Верещагина «Воспоминания о русско-турецкой войне 1877 г.» (М., 1902, с. 258—260).

[7] Случай с пастухом произошел в июле 1872 г., в бытность Толстого в Самаре. По возвращении в Ясную Поляну Толстой был

привлечен к судебной ответственности. Он писал А. А. Толстой 15 сентября 1872 г.: «Молодой бык в Ясной Поляне убил пастуха, и я под следствием, под арестом — не могу выходить из дома (все это по произволу мальчика, называемого судебным следователем) и на днях должен обвиняться и защищаться в суде... Если я не умру от злости и тоски в остроге, куда они, вероятно, посадят меня (я убедился, что они ненавидят меня), я решился переехать в Англию навсегда или до того времени, пока свобода и достоинство каждого человека не будет у нас обеспечено» (*ПСС*, т. 61, с. 314).

[8] В письме Н. Н. Страхову от 23 сентября 1872 г. Толстой сообщил последующий ход дела: «Можете себе представить, что меня промучили месяц, и до сих пор подписка о невыезде не снята, и нашли, что кто-то (следователь) ошибся, что точно это дело до меня не касается... В Англию тоже не еду; потому что дело не дошло до суда. А я решил, что в случае суда уеду и уехал бы» (там же, с. 320).

[9] В письме А. А. Толстой от 20—21 сентября 1872 г. содержится следующее признание Толстого: «Когда я вспомню, что я написал вам с задней мыслью (теперь для меня ясной) о том, что вы разгласите то, что со мной случилось в той среде, в которой вы живете, — я краснею от стыда, особенно когда вспомню ваш ответ» (там же, с. 319).

[10] Приверженцы религиозно-пацифистского проповедника лорда Г. Редстока, бросившего военную службу. В 1874 г. он приезжал в Петербург. Его проповеднические речи имели некоторый успех в светском обществе. Под его влиянием в России возникла секта пашковцев — по фамилии бывшего полковника В. А. Пашкова.

ЕВГЕНИЙ СКАЙЛЕР

Евгений Скайлер (1840—1890) — дипломат, историк, переводчик, в 1867—1869 гг. — американский консул в Москве, член Русского географического общества. Воронежский археолог М. Веневитинов, встретившийся со Скайлером на открытии памятника Кольцову в Воронеже, вспоминает: «В молодом американце меня поразило его знание русского языка и знакомство с нашей литературой, приобретенные, как он мне рассказывал, еще за океаном, когда он только приготовлялся к службе в России. Вместе с тем он был охотник до путешествий» (*ИВ*, 1893, № 5, с. 564). Еще до встречи в Ясной Поляне с Толстым Скайлер был дружен с Тургеневым. Он перевел его роман «Отцы и дети» (см. Тур-

генев, т. VI). После отъезда из России Скайлер печатал в английском журнале «Athenaeum» обзоры русской литературы и занимался историческими разысканиями. В письмах к П. И. Бартеневу он сообщает, что «усердно» занимается историей Петра Великого (напечатана в 1882 г.), и добавляет: «Вы видите, я совсем забыл писать по-русски, но я никогда не забываю почувствовать по-русски» (письмо от 17/29 апреля 1880 г. — *ЦГАЛИ*).

В очерке о Толстом проявились обе страсти Скайлера: литературная — искренний интерес к Толстому, его окружению — и любознательный взгляд путешественника на крестьянскую Россию. Над очерком Скайлер работал в 1888 г. Для «Русской старины» перевод был сделан А. Ф. Гамбургером. В настоящей публикации дается отрывок из IV—VI глав очерка.

ГРАФ Л. Н. ТОЛСТОЙ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

⟨*Отрывок*⟩

(Стр. 201)

По тексту: *РС*, 1890, № 9 (с. 646—647, 653, 655), № 10 (с. 261—262, 266—268), с уточнениями по первопечатному тексту: E. Schyler. Count Leo Tolstoy twenty years ago. — «Scribner's Magazine», N.-Y., 1889, vol. V, № 5 (pp. 547, 551—553), № 6 (pp. 733, 738—745).

[1] Перевод Е. Скайлера «Казаков» был издан в 1872 г. Толстой о нем писал И. С. Тургеневу 27 октября 1878 г.: «...кажется очень хорошо переведено» (*ПСС*, т. 62, с. 446).

[2] На самом деле Толстой к «Дыму» относился отрицательно, о чем он писал А. А. Фету 28 июня 1867 г. (см. *ПСС*, т. 61, с. 172). О ссоре Тургенева с Толстым см. воспоминания Фета в наст. томе.

[3] Бертольда Ауэрбаха Толстой посетил 9 апреля 1861 г. (ст. ст.). Евгений Бауман, народный учитель — герой романа Ауэрбаха «Новая жизнь». Его имя присваивает себе другой титулованный герой, который хочет начать новую жизнь.

С. Л. ТОЛСТОЙ

Сергей Львович Толстой (1863—1947) — старший сын Толстого.

В 1881 г. С. Л. Толстой поступил на отделение естественных наук физико-математического факультета Московского университета. «В 80-х годах, — пишет он, — я мало сочувствовал новому мировоззрению отца и часто противоречил ему. Я не сочувство-

вал требованию отца изменить нашу, в частности, мою жизнь, не соглашался с его нападками на науку, университет и профессоров и с его проповедью «непротивления злу». Мои возражения сильно раздражали отца» (С. Л. Толстой, с. 148). Этот раздор, как известно, захватил всю семью Толстых и имел немало драматических последствий. Сила убеждений писателя, их демократизм, гуманизм определили в конечном счете и жизненную судьбу С. Л. Толстого. Его участие в публичном опровержении измышлений К. П. Победоносцева, касающихся семейных дел Толстого (открытое письмо сыновей — Сергея, Ильи и Льва — в мае 1890 г. в газету «Новое время»), его практическая поддержка духоборческого движения (1898, 1899), поездка за границу по поводу издания сочинений отца — приметы толстовского воздействия, понимания общественного значения идей, рождавшихся в Ясной Поляне.

Воспоминаниям С. Л. Толстого присуща широта, объективность, внимание к значительным фактам, событиям разных периодов жизни писателя. Они составили целую книгу: «Очерки былого» (первое издание — 1949 г.). Близко знавший С. Л. Толстого Н. П. Пузин пишет: «...автор «Очерков былого» отличался необыкновенной внутренней честностью и прямотой, и в этом отношении его воспоминания представляют исключительную ценность» (С. Л. Толстой, с. 15).

В первоначальном варианте, под названием «Мой отец в семидесятых годах», публикуемые воспоминания были напечатаны в журнале «Красная новь» (1928, № 9).

МОЙ ОТЕЦ В СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДАХ, — ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЕГО О ЛИТЕРАТУРЕ И ПИСАТЕЛЯХ

(Стр. 206)

По тексту: С. Л. Толстой. Очерки былого. Гослитиздат, 1949, с. 72—92.

[1] О нем см. в коммент. к его воспоминаниям в наст. томе. О «нумидийской коннице» упоминается также в воспоминаниях Е. В. Оболенской.

[2] Анна Каренина говорит Долли: «Потом, доктор, молодой человек, не то что совсем нигилист, но, знаешь, ест ножом...» («Анна Каренина», ч. VI, гл. 19).

[3] Аллегри (*итал.*) — лотерея, в которой розыгрыш производится сразу же после покупки билета.

[4] От *франц.* ami — друг и cochon — свинья.

[5] В этой фазе луну не видно: она находится между землей и солнцем.

[6] Описывается яснополянский дом.

[7] Дубовая посадка в усадьбе.

[8] Соловецкий монастырь на берегу Соловецкого острова в Белом море.

[9] Троице-Сергиева лавра в Загорске.

[10] Тихоновский монастырь близ г. Задонска Воронежской губ.

[11] Мужской монастырь в Козельском уезде Калужской губ.

[12] Мужской монастырь близ Таганрога.

[13] «Великие Четьи-Минеи» — собрание книг Священного писания, сочинений церковных писателей в двенадцати томах, каждый из которых соответствует определенному месяцу. Название — греческого происхождения — «ежемесячные чтения». Составлены под руководством митрополита Макария в 30—40-е годы XVI в.

[14] «Адам Бид» (1859) — роман Джордж Элиот (Мэри Анн Эванс).

[15] «Векфильдский священник» (1766) — роман О. Голдсмита.

[16] Вероятно, имеется в виду описание именинного обеда в романе «Западня» (гл. VII).

[17] См. в 8-й строфе стихотворения:

Принес — и ослабел, и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

[18] «Введение» к «Воспоминаниям» (1903—1906).

[19] Трактат «Что такое искусство?» (1897—1898).

[20] В первопечатном тексте приводилась еще одна прибаутка: «Когда у кого-нибудь из нас был расстроен желудок, он вспоминал стих Хераскова:

Не лучше ль умереть на месте,
Чем жизнь поносную вести»

(«Красная новь», 1928, № 9, с. 193).

И. Л. ТОЛСТОЙ

Илья Львович Толстой (1866—1933) — второй сын Толстого, журналист, переводчик произведений отца.

Поездки Толстых в 70-е годы в самарское имение (д. Каралык Николаевского уезда) занимают большое место в воспоминаниях С. А. Берса, С. Л. Толстого, Т. Л. Сухотиной-Толстой, И. Л. Тол-

стого, Л. Л. Толстого (еще не опубликованы). Все началось с советов врачей — поехать на кумыс, а захватило неожиданными открытиями. «Для покупки здесь имения, — пишет Толстой жене в 1871 г., — особенно соблазняет простота, и честность, наивность, и ум здешнего народа. Ничего похожего нет с нашими иорниками. Заманчиво тоже здоровый климат и простота хозяйственных приемов» (*ПСС*, т. 83, с. 190). Самарский хутор стал местом, откуда писатель по-новому вдруг увидел Россию — в ее социальных контрастах (неурожайный, голодный 1873 г. и беспомощная губернская власть), в выражении ее народного духа, в философском осмыслении жизненных укладов различных народов. «Самарская здоровая глушь», — писал Толстой А. А. Фету в августе 1875 г., — помогла воочию представить «борьбу кочевого быта (миллионов на громадных пространствах) с земледельческим, первобытным — чувствовать всю значительность этой борьбы...» (*ПСС*, т. 62, с. 199). Толстовская мысль захватывала все новые жизненные, исторические сферы. Самарский хутор, как в свое время казачья станица, был для Толстого своеобразной «социологической лабораторией».

Детская наблюдательность И. Л. Толстого (Толстой именно тогда отмечал у своего сына самобытность «во всем»), обогащенная литературным даром повествования, сохранила одну из характерных самарских страниц в биографии писателя.

«Поездка в Самару» — глава из «Моих воспоминаний» И. Л. Толстого, первое издание книги — 1914 г.

ПОЕЗДКА В САМАРУ

(Стр. 226)

По тексту: И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., «Художественная литература», 1969, с. 83—89.

[1] По воспоминаниям С. Л. Толстого, эта карета была подарена его матери С. С. Урусовым (С. Л. Толстой, с. 37).

[2] Так звали тогда сына Толстых — Льва.

[3] Старый башкирец Мухаммедшах Рахметуллин был знаком Толстому по прежним поездкам на кумыс. По свидетельству С. Л. Толстого, «он знал арабский язык, читал Коран, был благовоспитан, тактичен. Он говорил по-русски свободно, но игнорировал падежи и спряжения. Одна из любимых тем его разговоров была о том, как башкиры жили в старину и как теперь хуже стали жить» (там же, с. 39).

[4] С. А. Берс.

[5] Судя по упомянутым эпизодам, И. Л. Толстой рассказывает о скачках, устроенных Л. Н. Толстым в 1875 г. Толстой просил тогда Н. М. Нагорного прислать «*поскорее* ружье в 25 р. двухствольное, заряжающееся с казенной части, и часы серебряные в 20 р.». «Это, как вы понимаете, — писал Толстой, — нужно нам для скачки, которая будет великолепна по количеству скакунов (на 25 верст) и которую мы назначили к 6 августа» (*ПСС*, т. 62, с. 192).

[6] С. Л. Толстой пояснял: «На палке тянутся так: борющиеся садятся друг против друга, смыкаются подошвами, берутся оба руками за палку и стараются поднять друг друга» (С. Л. Толстой, с. 46).

[7] Гувернер старших сыновей Толстых Ф. Ф. Кауфман, ездил с семьей Толстых на кумыс в 1873 г.

[8] В Бузулук Толстой ездил в 1875 г., а в Оренбург — в 1876 г.

[9] Летом 1873 г. Толстой сделал опись каждого десятого двора села Гавриловки. В описи семейств указывалось количество едоков, количество работников, сколько скотины, посевная площадь, урожай, долги, потребность в хлебе, возможность заработка. Из 23 описанных дворов один (Мамоновых) был населен молоканами (см. *ПСС*, т. 62, с. 38—42).

[10] С. Л. Толстой этого крестьянина называет Василием Никитиным: «Он бывал у нас на хуторе, и мы у него в Гавриловке, причем происходило бесконечное чаепитие. Его любимое слово «двистительно» впоследствии было вложено в уста первого мужика в «Плодах просвещения» (С. Л. Толстой, с. 40).

И. Н. КРАМСКОЙ

Иван Николаевич Крамской (1837—1887) был автором первого живописного портрета Толстого. Попросив П. М. Третьякова переслать крупную сумму денег больному художнику Ф. А. Васильеву, Крамской обязывался для галереи Третьякова написать портрет Толстого. «Повторяю, — писал Крамской Третьякову 1 августа 1873 г., — я употреблю все от меня зависящее, чтобы написать с него портрет» («Переписка И. Н. Крамского», т. 1. М., «Искусство», 1953, с. 62). Жил тогда Крамской на даче, в пяти верстах от Ясной Поляны.

Работа над двумя портретами Толстого заняла около месяца. С. А. Толстая отмечала в дневнике: «Крамской пишет его два портрета и немного мешает заниматься. Зато споры и разговоры об искусстве всякий день» (*Дневники С. А. Толстой*, *I*, с. 36). Ха-

рактер этих споров отчасти проясняет письмо Толстого Н. Н. Страхову о Крамском от 23 сентября 1873 г.: «Для меня же он интересен, как чистейший тип петербургского новейшего направления, как оно могло отразиться на очень хорошей и художнической натуре... Я же во время сидений обращаю его из петербургской в христианскую веру и, кажется, успешно» (*ПСС*, т. 62, с. 50). На Крамского беседы с Толстым произвели большое впечатление. Он писал И. Е. Репину 23 февраля 1874 г.: «А граф Толстой, которого я писал, интересный человек, даже удивительный. Я провел с ним несколько дней и, признаюсь, был все время в возбужденном состоянии даже. На гения смахивает» («Переписка И. Н. Крамского», т. 2, М., 1954, с. 301). Позже, в письме к писателю от 29 января 1885 г., Крамской признавался: «О чем бы речь ни шла, Ваше суждение поражало своеобразною точкою зрения. Сначала это производило впечатление парадокса, но чем дольше я знакомился, тем все больше и больше открывал центральные пункты, и под конец я перед собою видел в первый раз редкое явление: развитие, культуру и цельный характер, без рефлексов» (И. Н. Крамской. Письма. Статьи, т. II. М., «Искусство», с. 170).

Общение с Крамским не прошло бесследно и для Толстого. Интересно, что И. Е. Репин находил черты Крамского в образе художника Михайлова («Анна Каренина»). Он писал В. В. Стасову 12 апреля 1878 г.: «А знаете ли, ведь его Михайлов страх как похож на Крамского! Не правда ли?» («И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка», т. II. М.—Л., «Искусство», 1949, с. 20).

ПИСЬМА К П. М. ТРЕТЬЯКОВУ

(Стр. 233)

По тексту: И. Н. Крамской. Переписка, т. 1. М., «Искусство», 1953, с. 66—69.

[1] П. М. Третьяков в 1869 г. дважды через А. А. Фета обращался к Толстому с просьбой разрешить Крамскому написать его портрет. Толстой отвечал отказами (*Переписка*, с. 275). 23 сентября 1873 г. Толстой писал Н. Н. Страхову: «Уж давно Третьяков подсылал ко мне, но мне не хотелось, а нынче приехал этот Крамской и уговорил меня, особенно тем, что говорит: все равно ваш портрет будет, но скверный. Это бы еще меня не убедило, но убедила жена сделать не копию, а другой портрет для нее» (*ПСС*, т. 62, с. 50).

[2] Портрет «побольше» стал собственностью семьи Толстых (хранится в Музее-заповеднике Ясная Поляна), портрет «по-

меньше» — собственностью Третьякова (находится в Третьяковской галерее). А. С. Суворин в «Недельных очерках и картинках» писал о «третьяковском» портрете: «Я видел графа Л. Н. Толстого... в последний раз десять лет тому назад, но узнал тотчас же — совсем живой он сидит» («СПб. вед.», 27 января 1874 г.). Тургенев увидел портреты Гончарова и Толстого у Третьякова в мае 1874 г., и, как писал Третьяков Крамскому, «оба очень понравились» («Переписка И. Н. Крамского», т. 1, с. 97). Репин заметил в письме В. В. Стасову 10 октября 1876 г.: «Портрет графа Л. Толстого Крамского чудесный...» (И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. I, с. 54). Крамской был более строг к своей работе. Он писал Репину 29 октября 1877 г.: «Про «Льва Толстого» спасибо: я знаю, что он из моих хороший, т. е. как бы это выразиться?.. *честный*. Я все там сделал, что мог и умел, но не так, как бы желал писать» («Переписка И. Н. Крамского», т. 2, с. 354). Портрет с согласия Толстого экспонировался в 1878 г. на всемирной выставке в Париже.

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ

Петр Ильич Чайковский (1840—1893) встречался с Толстым в декабре 1876 г. в Москве. Встреча произошла по инициативе Толстого, при содействии директора Московской консерватории Н. Г. Рубинштейна и взволновала обоих. Толстой писал Чайковскому после возвращения из Москвы в Ясную Поляну: «Сколько я не договорил с вами! Даже ничего не сказал из того, что хотел. И некогда было. Я наслаждался. И это мое последнее пребыванье в Москве остается для меня одним из лучших воспоминаний» (*ПСС*, т. 62, с. 297).

Беседы с Толстым для Чайковского стали откровением в понимании истинного призвания художника. «Он, — писал композитор Н. Ф. фон Мекк 30 августа 1877 г., — убедил меня, что тот художник, который работает не по внутреннему побуждению, а с тонким расчетом на *эффект*, тот, который насилует свой талант с целью понравиться публике и заставляет себя угождать ей, — тот не вполне художник, его труды непрочны, успех их эфемерен. Я совершенно уверовал в эту истину» (П. И. Чайковский. Полн. собр. соч., т. VI, М., 1961, с. 171).

Чайковский перечитывает многие произведения Толстого, находит созвучными своей душе толстовские «муки сомнения и трагического недоумения», высказанные в «Исповеди». В то же время его настораживает проповеднический тон новых произведений писателя, изумляет непризнание Толстым авторитетов в искусстве,

науке, обществе. «Я думаю, что в сущности этот человек способен склониться только перед *богом* или перед *народом*, перед *агломерацией* лиц. Нет того *человека*, перед коим он бы склонился» («Дневники П. И. Чайковского». М. — Пг., 1923, с. 211—212). В письме от 19 февраля 1879 г. Н. Ф. фон Мекк Чайковский пришел к заключению, что Толстой «человек несколько парадоксальный, — но прямой, добрый, по-своему даже чуткий к музыке...» (П. И. Чайковский. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 122). Эта мысль является ведущей и в дневниковой записи композитора, публикуемой в настоящем издании.

Толстой, узнав о смерти Чайковского, писал жене: «Мне очень жаль Чайковского, жаль, что как-то между нами, мне казалось, что-то было... Жаль, как человека, с которым что-то было чуть-чуть неясно, больше еще, чем музыканта. Как это скоро, и как просто, и натурально, и ненатурально, и как мне близко» (*ПСС*, т. 84, с. 200—201).

ИЗ «ДНЕВНИКА»

(Стр. 236)

По тексту: «Дневники П. И. Чайковского. 1873—1891». М.— Пг., 1923, с. 210—211.

[1] Отношение Чайковского к произведениям Толстого в конце 70-х— начале 80-х годов менялось. Это видно, например, из его оценок «Анны Карениной». Он писал своему брату, М. И. Чайковскому, 9 сентября 1877 г.: «После твоего отъезда я еще кое-что прочел из «Карениной». Как тебе не стыдно восхищаться этой возмутительно-пошлой дребеденью, прикрытою претензией на глубокость психического анализа. Да черт его побери, этот психический анализ, когда в результате остается впечатление пустоты и ничтожества...» (П. И. Чайковский. Полн. собр. соч., т. VI, с. 173). В письме другому брату, Алексею Ильичу, в феврале 1882 г. Чайковский высказывает уже иное мнение о романе: «...прочти «Анну Каренину», которую я недавно в первый раз прочел с восторгом, доходящим до фанатизма» (там же, т. XI, с. 56).

[2] Дети Толстого отмечают особенное увлечение отца музыкальными занятиями во второй половине 70-х годов. С. Л. Толстой пишет: «Бывало, когда мы, дети, ложились спать, отец садился за фортепиано и играл до двенадцати или часа ночи, иногда в четыре руки с матерью. Хорошо помню, как в то время он играл

некоторые сонаты Моцарта, Вебера и Бетховена (первого его периода), некоторые вещи Шопена, «Jugendalbum» Шумана, «Accelerationen Wolzer» Штрауса, «Рысь» Рудольфа и пр.; как он пытался играть некоторые недоступные ему по технике пьесы, как, например, «Скерцо» B-moll Шопена, симфонические этюды Шумана или «Poème d'amour» Гензельта, и как он с матерью играл в четыре руки симфонии Гайдна и Моцарта, септет Бетховена и другие пьесы. Помню первые сладостные впечатления от музыки, слышанной мною издалека, с верхнего этажа, где играл отец... Особенно хорошо почему-то запомнились мне первые такты as-dur'ной сонаты Вебера, которая очень нравилась отцу» (С. Л. Толстой, с. 369). Большим событием в музыкальной жизни Ясной Поляны той поры был приезд свойственника Л. Н. Толстого, скрипача Ипполита Нагорного, послужившего прототипом для образа Трухачевского в повести «Крейцерова соната». «Играл он действительно божественно, — вспоминает И. Л. Толстой. — Никогда ни один скрипач не производил на меня такого впечатления, как Зипа, как мы его называли. Аккомпанировал ему большей частью папа́ сам. Иногда он играл дуэты с голосом, причем пела тетя Таня» (И. Л. Толстой, с. 79).

[3] Толстой считал Бетховена родоначальником искусственно сложной музыки, повлиявшей на творчество Шумана, Берлиоза, Листа, Вагнера (см. трактат «Что такое искусство?». — *ПСС*, т. 30, с. 125, 129—140). Посылая Чайковскому вскоре после встречи с ним сборник народных песен, Толстой просил его обработать их «в моцарто-гайденовском роде, а не бетховено-шумано-берлиозо-искусственном, ищущем неожиданного, роде» (*ПСС*, т. 62, с. 297).

[4] Речь идет о музыкальном вечере, устроенном в середине декабря 1876 г. Н. Г. Рубинштейном в честь Толстого в Московской консерватории. Толстой писал в вышеупомянутом письме Чайковскому: «А уж о том, что происходило для меня в круглой зале, я не могу вспомнить без содрогания» (там же). Чайковский отвечал Толстому: «Как я рад, что вечер в Консерватории оставил в Вас хорошее воспоминание! Наши квартетисты играли в этот вечер как *никогда*... Вы один из тех писателей, которые заставляют любить не только свои сочинения, но и самих себя. Видно было, что, играя так *удивительно* хорошо, они старались для очень любимого и дорогого человека. Что касается меня, то я не могу сказать Вам, до чего я был счастлив и горд, видя, что моя музыка могла Вас тронуть и увлечь» (П. И. Чайковский. Полн. собр. соч., т. VI, с. 101). Упомянутый квартет исполняли И. В. Гржимали, А. Д. Бродский, Ю. Г. Гербер, В. Ф. Фитценгаген.

Н. Н. СТРАХОВ

Николай Николаевич Страхов (1828—1896) — литературный критик, философ, друг Толстого. Первый раз Страхов приехал в Ясную Поляну в августе 1871 г. «С тех пор, — писал он в 1891 г. в своей автобиографии, — мы видаемся каждый год, т. е. обыкновенно я летом гощу у него месяц, полтора. Мы иногда спорили, охладевали друг к другу, но добрые чувства скоро брали верх; семья его полюбила меня, и теперь во мне видят старого неизменного друга, каков я и есть на самом деле» (Б. В. Никольский. Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк. СПб., 1896, с. 50). Их сближению способствовала мягкость характера, особенное добродушие Страхова и их общий интерес к этическим, нравственным проблемам, к историческим и современным событиям.

В произведениях Толстого Страхов ценил то авторское отношение к предмету, которое было всегда дорого писателю: связь этического и эстетического, простоты и правды в его ранних повестях и рассказах, истинности и «полной картины человеческой жизни» в романе «Война и мир», нравственные основы, а не парадоксы в толстовской теории народного образования.

Страхова Толстой выделял из всех критиков. Он писал ему в апреле 1877 г.: «Боюсь и не люблю критик и еще больше похвал, но не ваших. Они приводят меня в восторг и поддерживают силы к работе» (*ПСС*, т. 62, с. 323). Споры, о которых упоминает Страхов в автобиографии, были часты — на философские темы, по поводу того, что Страхов, по словам Толстого, в своих критических статьях платит «дань Петербургу», упрощает вещи жизненные, сложные. В. И. Алексеев вспоминает резкое суждение Толстого: «Страхов — как трухлявое дерево, — ткнешь палкой, думаешь будет упорка, ан нет, она насквозь проходит, куда ни ткни, — точно в нем нет середины; вся она изъедена у него наукой и философией» (*Летописи*, *12*, с. 279). Эти разногласия обострялись на пути Толстого к духовному кризису. Однако «добрые чувства брали верх»: так, после прочтения страховского этюда «Последний из идеалистов» в 1875 г. Толстой признавался: «...ваше сочувствие ко мне и мое к вам основано на необыкновенной родственности нашей духовной жизни» (*ПСС*, т. 62, с. 196). Толстому дороги были такие духовные соприкосновения. Он нуждался в духовных союзниках и нелицеприятных судьях. Отправляя в 1875 г. Страхову свое философское размышление («вроде предисловия к задуманному мною философскому сочинению»), Толстой просит его: «...поправьте, что неточно, уясните, что неясно, и опровергните, что неверно» (там же, с. 220). Подготавливая но-

вое издание романа «Война и мир» (1873), он просит: «Делайте, что хотите, именно в смысле уничтожения всего, что вам покажется лишним, противуречивым, неясным. Даю вам это полномочие и благодарю за предпринимаемый труд, но, признаюсь, жалею...» (там же, с. 46).

Такие же просьбы и с теми же оговорками повторялись Толстым во время печатания «Анны Карениной»: «Вы и поощряли меня печатать и кончать этот роман, вы и избавьте его от безобразий» (там же, с. 111). Он предупреждает Страхова в сентябре 1877 г.: «За ваше предложение прибавить слова к поправке я очень благодарен, но, если можно, велите мне прислать, я посмотрю» (там же, с. 343).

Заметка Страхова «Летом 1877 года...» рассказывает о подготовке отдельного издания «Анны Карениной» в трех томах (М., 1878). Она датирована 18 сентября 1880 г. и хранится вместе с журнальным текстом романа, с поправками Страхова и Толстого в *ГМТ*. Немало живых зарисовок Толстого более позднего времени содержится в письмах Страхова А. А. Фету, Н. Я. Данилевскому, В. В. Розанову, А. Г. Достоевской и другим лицам.

ЛЕТОМ 1877 ГОДА...

(Стр. 237)

По *ПСС*, т. 20, с. 642—643.

[1] Н. Н. Страхов приехал в Ясную Поляну около 10 июня 1877 г. В конце июня он и Толстой гостили у А. А. Фета. От Фета Страхов уехал к своим друзьям и вернулся в Ясную Поляну к середине июля. 25—27 июля он и Толстой ездили в Оптину пустынь (см. воспоминания А. Д. Оболенского в наст. томе). Из Ясной Поляны Страхов уехал в первых числах августа 1877 г.

[2] Эти поправки, как признает и Страхов в настоящих воспоминаниях, зачастую противоречили творческому замыслу писателя, его стилю. См. статью Н. К. Гудзия «История писания и печатания «Анны Карениной» (*ПСС*, т. 20, с. 577—643) и «Текстологические пояснения» в кн.: Л. Н. Толстой. Анна Каренина. М., «Наука», 1970 (изд. подготовлено В. А. Ждановым и Э. Е. Зайденшнур).

[3] При появлении первых частей романа в печати Страхов отправил Толстому ряд писем с восторженной оценкой романа. 13 февраля 1875 г. он писал: «Но публику вы поймали — дело кончено. Я признаюсь, сам не думал, что эти первые главы так хо-

роши; только перечитывая их в «Русском вестнике», я понял, как это бесподобно» («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», СПб., 1913, с. 58). 25 декабря 1875 г.: «Что *Каренина*? Кончайте это чудесное произведение... В нем больше поучения и важности, чем Вы предполагаете. Я перечитываю *Каренину* и люблю ее сердечно» (там же, с. 73). Такого же рода оценки, но с новой аргументацией, повторялись по мере публикации романа.

А. Д. ОБОЛЕНСКИЙ

Алексей Дмитриевич Оболенский (1855—?) — судебный деятель, встречался с Толстым в свои студенческие годы и в начале 900-х годов.

По воспоминаниям Оболенского, в 70-е годы в части студенчества произведения Толстого воспринимались как противодействующие «материализму», «религии отрицания». И в то же время популярность Толстого, в частности его романа «Анна Каренина», среди молодежи была большой. «...С замиранием сердца, — пишет Оболенский, — ждали мы все выхода очередного номера «Русского вестника», чтобы прямо глотать страницы «Анны Карениной» («Толстой. Памятники творчества и жизни», 3. М., 1923, с. 27). Кроме того, еще до первой встречи молодой Оболенский многое слышал о Толстом от своего товарища С. А. Берса: «Мы знали, как проводил день Толстой: когда он ложился спать, когда вставал, как он работал физически, и узнавали даже некоторые «тайны художественного творчества» (там же, с. 28).

Вторая встреча произошла значительно позже, в 1901 г.

Для настоящей публикации взят рассказ А. Д. Оболенского о его первой встрече с Толстым.

ДВЕ ВСТРЕЧИ С Л. Н. ТОЛСТЫМ

⟨*Отрывок*⟩

(Стр. 239)

По тексту: «Толстой. Памятники творчества и жизни», 3. М., 1923, с. 29—37.

[1] Князь Д. А. Оболенский, — исправляющий должность министра финансов, товарищ министра государственных имуществ, знал Толстого в его студенческие годы по Казани. Вскоре после далее описываемого визита Толстой порвал с ним отношения. См. воспоминания А. Ф. Кони в т. 2 наст. изд.

[2] С. А. Берс (о нем см. на с. 547—548 наст. тома) и А. Д. Оболенский были в то время студентами училища правоведения.

[3] Толстой писал жене 26 июля 1877 г. из Оптиной пустыни: «Утром нынче явился Дмитрий Оболенский и целое утро провел с нами, отчасти мешал. Насилу отделался, чтобы не ехать к нему нынче, но завтра поеду в 5 часов...» (*ПСС*, т. 83, с. 239).

[4] «Исповедь» Левина описана в ч. 8, гл. VIII—X романа.

В. К. ИСТОМИН

Владимир Константинович Истомин (1847—1914) — приятель братьев С. А. Толстой, издатель журнала «Детский отдых», правитель канцелярии Московского генерал-губернатора. Встречался с Толстым в конце 60-х — начале 80-х годов. Толстой поддерживал «умственную» (литературную) работу Истомина (см. *ПСС*, т. 62, с. 4), в 1876 г. помог ему через М. Н. Каткова устроиться секретарем газеты «Московские ведомости». «Он очень мил...» — писал об Истомине жене Толстой в апреле того же года (т а м ж е, т. 83, с. 223).

Истомин помогал Толстому в разыскании исторических материалов об Азовских походах Петра I, о декабристах. В «Детском отдыхе» (1881, № 12), издававшемся тогда П. А. Берсом и Истоминым, появился рассказ Толстого «Чем люди живы». Однако чиновничья карьера Истомина (он дослужился до придворного звания гофмейстера), его монархические убеждения не могли не прийти в столкновение с толстовскими интересами. Истомин с опаской отмечал в «необузданной проповеди» Толстого «ядовитые краски анархизма и коммунизма» («На закате», ч. II, лл. 44 об., 45), решительно отвергал демократическую «политическую сторону» его учения (т а м ж е, л. 53).

Вместе с тем Истомин занимался не бесполезными исследованиями и опубликовал ряд работ на военно-исторические темы. Его неизданная мемуарная книга «На закате» хотя и носит автобиографический характер, в значительной степени посвящена Л. Н. Толстому и его окружению. Отрывки из нее публиковались в «Яснополянском сборнике» (Тула, 1965) со следующей рекомендацией: «...Мемуары Истомина отличаются точной передачей фактов и весьма интересны по содержанию». Рукопись датирована 27 июля 1909 г.

ИЗ КНИГИ «НА ЗАКАТЕ»

(Стр. 245)

По рукописи: В. К. Истомин. На закате, ч. I, лл. 41 об. — 43; ч. II, лл. 14—15 об. (*ГМТ*).

[1] В начале рукописи В. К. Истомина «На закате» (лл. 3—3 об.) есть другой вариант ответа Толстого на эту же тему: «Да, это было так же, как теперь, после обеда, я лежал один на этом диване и курил... Задумался ли я очень или боролся с дремотою, не знаю, но только вдруг передо мною промелькнул обнаженный женский локоть изящной аристократической руки; я невольно начал вглядываться в видение. Появилось плечо, шея и, наконец, целый образ красивой женщины в бальном костюме, как бы вглядывавшейся в меня грустными глазами. Видение исчезло, но я уже не мог освободиться от его впечатления, оно преследовало меня дни и ночи, и чтобы избавиться от него, я должен был искать ему воплощения. Вот — начало «Анны Карениной»...» Рассказ Толстого о возникновении замысла романа в данном варианте Истомин относит к февралю 1878 г.

[2] Описываемая сцена относится к февралю 1881 г. Толстой познакомился с Владимиром Соловьевым в мае 1875 г. Еще до этой встречи Толстой писал Страхову, что ему «очень понравилась» магистерская диссертация Соловьева «Кризис западной философии. Против позитивизма. По поводу «Философии бессознательного» Гартмана» (*ПСС*, т. 62, с. 128). Но уже следующая крупная работа Соловьева — «Критика отвлеченных начал» — вызвала у Толстого несогласие по основным вопросам — оценка истинности знаний, «суеверное» подчеркивание божественных начал, полемика с Шопенгауэром, опровержение альтруизма (см. письмо Н. Н. Страхову от 17—18 декабря 1877 г. — Там же, с. 359—361). Не принял Толстой и «Чтения о богочеловечестве» Соловьева, одно из которых он слушал 10 марта 1878 г.

Вл. Соловьев, со своей стороны, не принимал толстовских идей опрощения, его вероучения, фанатизма толстовцев. См. его трактат «Три разговора» (1899), сатирическое стихотворение в письме к М. М. Стасюлевичу от 2 июня 1892 г.: «Душный город стал несносен...» (Стасюлевич, V, с. 366—367).

Встреча в феврале 1881 г. была продолжением прежних споров. Их итог Толстой изложил тогда же в письме к Страхову: «Когда он уезжал, я сказал ему: дорого то, что мы согласны в главном, в нравственном учении, и будем дорожить этим согласием...» (*ПСС*, т. 63, с. 61). Однако вскоре они разошлись окончательно. Толстой писал В. И. Алексееву осенью 1881 г.: «Соловьев

здесь, но он головной» (т а м ж е, с. 81). Алексеев, учитель старших детей Толстого, также видел одну из главных причин разрыва в приверженности Соловьева к догматическому православию, отвлеченному рационализму (см. *Летописи*, *12*, с. 281).

Н. И. ШАТИЛОВ

Николай Иосифович Шатилов (1853—?) — художник, сын помещика И. Н. Шатилова, владельца богатого имения Моховое в Новосильском уезде Тульской губ. С семьей Шатиловых у Толстого были самые добрые отношения. Вначале — на практическом поприще (И. Н. Шатилов вел свое хозяйство на рациональной, агрономической основе), а затем — на поприще народного образования: в 70-е годы И. Н. Шатилов был председателем Московского комитета грамотности.

Знакомству с Толстым способствовала также дружба Н. И. Шатилова с братьями Голохвастовыми, один из которых, Павел Дмитриевич Голохвастов, заинтересовал Толстого своими исследованиями русских былин. Толстой писал последнему 11 апреля 1874 г. из Ясной Поляны: «Буду ждать вас непременно... Пожалуйста, и молодого Шатилова привезите с собой; он мне очень нравится» (*ПСС*, т. 62, с. 79). Молодой человек, ученик Московской школы живописи, ваяния и зодчества, представлял то же любопытное для Толстого поколение, что и И. Н. Крамской. В училище он оказался в окружении разночинной молодежи и, как пишет в воспоминаниях «Из недавнего прошлого» (*ГМ*, 1916, № 7), словно «перешел» в другое сословие. Он мог интересовать писателя еще и потому (как это отчасти видно из воспоминаний), что общался с такими художниками, как И. К. Айвазовский, В. Г. Перов и др.

ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

⟨*Отрывок*⟩

(Стр. 248)

По тексту журнала: *ГМ*, 1916, № 10, с. 66—69, 71.

[1] Вероятно, в начале 1875 г.

[2] Возможно, в августе 1877 г.

[3] Варвары Валерьяновны Толстой.

[4] О засечных лесах см. воспоминания С. Л. Толстого в наст. томе.

[5] Ошибка: не Огурцов, а С. П. Арбузов. Его воспоминания см. в наст. томе.

[6] Это второе паломничество состоялось в 1881 г.

[7] Речь идет об А. С. Пироговой, экономке помещика А. Н. Бибикова, которая покончила с собой в январе 1872 г.

В. И. АЛЕКСЕЕВ

Василий Иванович Алексеев (1848—1919) — домашний учитель детей Л. Н. Толстого, был близок к Толстому до конца его жизни.

Биография Алексеева рассказана им самим в его «Воспоминаниях». Сын дворянина и крепостной крестьянки, питомец Петербургского университета, он был сподвижником народника-анархиста Н. В. Чайковского, членом религиозной секты «богочеловеков», образовавших земледельческую колонию в американском Канзасе. Главный внутренний мотив своих поисков, блужданий он выразил в словах, которые могли импонировать Толстому: «Не желая обижать кого бы то ни было, я видел, что являюсь невольным обидчиком рабочего люда. Я искал выхода» (*Летописи*, *12*, с. 237). Осенью 1877 г. Алексеев был приглашен Толстым учить его старших детей — Сергея, Татьяну, Илью. «Василий Иванович, — писал С. Л. Толстой, — был первый наш учитель, который искренно хотел не только передать нам известные знания, но и дать нам некоторое нравственное воспитание. Я к нему привязался всей душой, почти влюбился в него и подпал под его влияние... Вначале Василий Иванович, несомненно, имел некоторое влияние на мировоззрение моего отца, в то время еще только вырабатывавшееся, но затем, наоборот, Василий Иванович подпал под влияние моего отца, так что его можно бы назвать первым толстовцем» (С. Л. Толстой, с. 59). В дневнике Толстого отражены следы его бесед с Алексеевым — о вере, о семье, об «экономической» революции, о собственности, о новых теориях в области естественных, точных наук.

Конечно, Толстому была любопытна духовная метаморфоза бывшего «нигилиста», ставшего духобором. Алексееву не хватало толстовской широты воззрений. Там, где «брат Василий», как звали Алексеева его близкие, ставил точку, у Толстого совершался переход к проблемам социального, политического звучания.

Воспоминания Алексеева были написаны вскоре после смерти Толстого. В настоящем издании воспроизводятся главы V (частично), VI и IX (в сокращении).

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

(Стр. 253)

По тексту: «Летописи Гос. литературного музея», кн. 12. Л. Н. Толстой, к 120-летию со дня рождения (1828—1948), т. II. М., 1948, с. 257—261, 272—274.

[1] Запись в дневнике от 5 октября 1881 г. (*ПСС*, т. 49, с. 58). Письмо Л. Н. Толстого В. И. Алексееву от декабря 1884 г. (там же, т. 63, с. 195).

[2] Краткая церковная песнь.

[3] Цитата из вариантов к «Детству» (*ПСС*, т. 1, с. 182).

[4] Во время пребывания в Ясной Поляне в августе 1878 г. Тургенев рекомендовал Толстому прочесть рассказы Гаршина (см. Т. Л. Сухотина, с. 247; *ПСС*, т. 30, с. 3).

[5] В сохранившемся экземпляре «Стихотворений» Ф. И. Тютчева (1886) с пометами Л. Н. Толстого первое цитируемое здесь стихотворение («И гроб опущен уж в могилу...») имеет пометы «Т» («тютчевское») и «К» («красота»), второе («Silentium») — «Г» («глубина»). См. С. Л. Толстой. Л. Н. Толстой о поэзии Ф. И. Тютчева. — «Толстовский ежегодник», М., 1912, с. 145.

[6] По-видимому, Дмитрий Александрович Оболенский.

[7] «Как четвертого числа...» (см. дневниковые записи П. Н. Глебова в наст. томе) и приписываемая Толстому песня «Как восьмого сентября...».

[8] См. Бирюков, II, с. 205—206.

ГОДЫ ДУХОВНОГО ПЕРЕЛОМА

П. Д. БОБОРЫКИН

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836—1921) — писатель и критик, встречался с Толстым в начале 80-х годов. Добрые отношения между Боборыкиным и Толстым в большей степени складывались заочно, что не помешало им взаимно критически оценить друг друга и найти точки соприкосновения. Боборыкин писал о Толстом в критических работах: «Мотивы и приемы русской беллетристики» («Слово», 1878, № 2), «Le culte du peuple dans la litterature russe contemporaine» («Revue internationale». Florence, 10 Juin 1885), «Судьбы русского романа» (1895), «Художник поневоле» (1900), «Толстой как вероучитель» (1916) и др. Он осознавал поворот Толстого к новому миросозерцанию и сочувственно встретил

толстовскую критику самодержавных порядков, власть имущих. Получив от В. Г. Черткова запрещенный к печати журнальный вариант трактата «Так что же нам делать?», Боборыкин писал ему 21 марта 1885 г.: «Очень давно, около двадцати лет, ношу я в себе тот же идеал общественной справедливости — и главный мотив статьи пришелся мне по сердцу, что я и ожидал» (*ЦГАЛИ*). Но в то же время он считал, что толстовская тенденциозность разрушает талант писателя. Придирчив был Боборыкин и к полемическим отрицаниям Толстого. По его воспоминаниям, он с В. В. Стасовым вел «нескончаемые споры по поводу книги Толстого об искусстве» (П. Д. Боборыкин. Воспоминания в двух томах, т. 1. «Художественная литература», 1965, с. 312). Однако Боборыкин видел в Толстом «центральную» фигуру большой литературной эпохи, художника, в котором «залегли два бытовых русских типа: дворянский и крестьянский» (П. Боборыкин. Юбилей Л. Н. Толстого. — *Рсл*, 1908, № 199, 28 августа). Писатель-мемуарист угадывал и большую внутреннюю работу Толстого: «Он воспроизводил то, что в нем самом засело: культуру «служилого», помещичьего класса и связь с народом-земледельцем, — связь, которая с каждым десятилетием все крепчала в нем и повела к радикальному перевороту во всем его credo...» (там же).

«Перепутья» Толстого этого сложного момента его духовного развития интересуют Боборыкина и в публикуемом здесь очерке. Автор, как и в других своих работах (о А. Ф. Писемском, И. С. Тургеневе, Н. А. Некрасове, А. И. Герцене и др.), не категоричен, осторожен. «Мое личное знакомство с Толстым, — писал он в 1908 г., — я не считаю настолько продолжительным и исчерпывающим, чтобы давать здесь какую-нибудь решающую оценку даже своим собственным впечатлениям» (там же). Эта осмотрительность, однако, не дает повод рассматривать его воспоминания как отрывочные страницы из биографии писателя: в них есть цельное — литературный портрет писателя.

Очерк П. Д. Боборыкина датирован: Москва, февраль 1908 г.

В МОСКВЕ — У ТОЛСТОГО

(Стр. 265)

По тексту: «Международный толстовский альманах». М., 1909, с. 3—11.

[1] Судя по описываемым далее событиям (см. гл. II), это знакомство выходит за пределы лета 1882 г.

[2] В письме к Толстому от 28 сентября 1863 г. Боборыкин

сообщал, что обращается к нему «вторично» (*Переписка*, с. 462). Упоминаемый ответ Толстого не сохранился.

[3] Весной 1861 г.

[4] Одна из сестер: Софья Михайловна или Надежда Михайловна. О них Толстой писал брату Сергею 12/24 марта 1861 г. (см. *ПСС*, т. 61, с. 372).

[5] Для журнала «Ясная Поляна».

[6] См. дневник А. В. Дружинина и коммент. к нему в наст. томе.

[7] Из произведений Боборыкина той поры Толстой выделял роман «Земские силы» (*БДЧ*, 1865, №№ 1—8), но отмечал в нем небрежность языка, длинноты, голую тенденциозность (см. *ПСС*, т. 61, с. 99—100).

[8] «Исповедь» была вырезана из майской книжки «Русской мысли» за 1882 г. В редакции журнала осталось несколько корректурных оттисков толстовского произведения. «С них, — по воспоминаниям секретаря «Русской мысли», — в свое время снимались многочисленные копии, которые затем в гектографированном или литографированном виде расходились по всей России» (Н. Бахметев. Л. Н. Толстой и цензура в 80-х годах. — «Новое время», 1908, № 11694, 1 октября).

[9] У сектанта Василия Сютаева из Новоторжского уезда Тверской губ. Толстой был в начале октября 1881 г.

[10] По библейскому преданию, в Назарете архангел Гавриил предсказал деве Марии рождение у нее Иисуса Христа.

[11] Речь идет о доме в Долго-Хамовническом переулке, приобретенном Толстыми в июне 1882 г. Толстые переехали в него в октябре 1882 г. С осени 1881 г. до лета 1882 г. Толстые жили в Денежном пер. (см. запись беседы с Толстым М. А. и Л. И. Поливановых).

[12] Н. Н. Гусев этот разговор относит к 1884 г. (Гусев, IV, с. 267); «своим дамам» — С. А. Толстой и дочери Татьяне. См. этот же мотив в трактате «Так что же нам делать?» (*ПСС*, т. 25, с. 303—305, 627).

[13] Речь идет о цикле статей «Пьер-Жозеф Прудон в письмах», подписанных псевдонимом «Д — ев» (*ВЕ*, №№ 3, 5, 7—12).

[14] О свидании с Прудоном в марте 1861 г., о разговоре с ним Толстой писал в незавершенной статье «О значении народного образования» (см. *ПСС*, т. 8, с. 405). Прудоном Толстой интересовался и в конце 70-х — начале 80-х годов. Он писал Страхову в декабре 1877 г.: «Я уже ушел в них, т. е. Штрауса, Ренана, Прудона» (*ПСС*, т. 62, с. 359).

[15] В «Исповеди», в трактате «В чем моя вера?» Толстой отвергал основной догмат церковной веры о едином боге в трех лицах, триединство божества (см. *ПСС*, т. 23, с. 33).

[16] Из молокан Самарской губ. Бузулукского уезда Толстому могли быть знакомы Николай Чирьев, Тимофей Булыгин, Кузьма Панкратов, Курносов, семья Федотовых (см. А. Дудин. Граф Толстой и толстовцы в Самарской губернии. — *РМ*, 1912, № 11, отд. II, с. 161—162). Упоминаемые письма Толстого неизвестны.

[17] Речь идет о статье П. Боборыкина «Художник поневоле».

[18] В марте 1899 г. Боборыкин обращался к П. А. Сергеенко с просьбой узнать, «когда бы побеседовать с графом Толстым на две темы: его римских воспоминаний и борьбы сектантов за последние годы». «При случае, — писал там же Боборыкин, — не предупредите ли Вы его об этом? Прибавлю, что ни в какие прения не желал бы вступать, а желал бы держаться исключительно *фактической* стороны этих тем» (*ГМТ*). По каким-то обстоятельствам эта встреча не состоялась.

[19] Это подтверждается, например, рассказом П. А. Сергеенко о его беседах с Толстым. См. т. 2 наст. издания. В письме к В. В. Стасову от 19 февраля 1904 г. Толстой назвал Боборыкина среди своих друзей-сверстников (*ПСС*, т. 75, с. 42).

[20] Боборыкин был избран в почетные члены Академии наук 1 декабря 1900 г. Перед выборами на предложение вице-президента Академии наук М. И. Сухомлинова назвать своих кандидатов «числом не более шести» Толстой отвечал: «Писатель, которого я предложил бы к избранию в почетные члены, это художник и критик *П. Д. Боборыкин.* Если это можно, то я повторяю это предложение 6 раз» (*ПСС*, т. 72, с. 350).

А. С. СУВОРИН

Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912) — журналист, издатель, театральный критик.

Суворин написал один из первых литературных портретов Толстого (в его кн. «Очерки и картинки», кн. 1, ч. III. СПб., 1875). Он бывал и в московском доме Толстого, и в Ясной Поляне, искренно восторгался многими его произведениями, искал списки неопубликованных рукописей, во время предсмертной болезни вспоминал «Смерть Ивана Ильича»: «Да оно и быть не может иначе», — свидетельствовал он в своих записках (*ИРЛИ*). Однако глубокого анализа творчества Толстого Суворин не дал. Духовный кризис писателя в начале 80-х годов он принял за «вихляйство», барское «чудачество» (см. «Письма русских писателей к А. С. Суворину». Л., 1927, с. 58).

Толстой нередко обращался к Суворину с различными просьбами, которые выполнялись издателем «Нового времени». В то же время Толстой видел ту преграду, которая разделяла его от преуспевающего издателя. В январе 1889 г. в заключительной части письма к Суворину Толстой высказал ему полушутливое пожелание: «Желаю вам самого хорошего, боюсь, что не того, что вы сами большей частью желаете: разориться матерьяльно и богатеть духовно» (*ПСС*, т. 64, с. 216). Намек лукавый, с подтекстом, показывающий различное понимание основной жизненной проблемы для автора письма и его адресата.

Встреча, о которой рассказывает Суворин в письме к издателю С. И. Пономареву, произошла 21 или 22 января 1880 г., когда Толстой приезжал по делам издания нового собрания своих сочинений.

Письмо А. С. Суворина публикуется впервые.

ИЗ ПИСЬМА С. И. ПОНОМАРЕВУ

(Стр. 274)

По автографу, хранящемуся в *ЦГАЛИ*, ф. 402, оп. 1, ед. хр. 309, лл. 26 об. — 27.

[1] До встречи с А. С. Сувориным Толстой вел переговоры об издании своих сочинений с Ф. И. Салаевым. Толстой писал жене 19 января 1880 г. из Москвы: «Посылал я за Салаевым и вчера в три наши свиданья выговорил условия, которые мне кажутся выгодными, но я все еще не решился на них, а сказал, что дам ответ после Петербурга...» (*ПСС*, т. 83, с. 276).

[2] Сочинение священника Благовещенского собора в Москве Сильвестра.

[3] Имеется в виду «Ода к Фелице» Г. Р. Державина.

[4] После окончания «Анны Карениной» Толстой работал над романом «Декабристы». В период духовного перелома эта работа была прервана. С. А. Толстая записывала в дневнике 18 декабря 1879 г.: «Пишет о религии, объяснение Евангелия и о разладе *Церкви* с *Христианством*. Читает целые дни... Расположение духа спокойное и молчаливо-сосредоточенное. «Декабристы» и вся деятельность в прежнем духе совсем отодвинута назад, хотя он иногда говорит: «Если буду опять писать, то... напишу совсем другое, до сих пор все мое писание были одни этюды» (*Дневники С. А. Толстой, I*, с. 42).

[5] Речь идет не столько о верхосословной, боярской оппозиции, сколько о народном движении (см. Гусев, III, с. 586—587).

[6] Эти рассуждения перекликаются с основными положениями статьи Толстого «Церковь и государство» (1879). Н. Н. Страхов писал в сентябре 1879 г., после своего пребывания в Ясной Поляне, Н. Я. Данилевскому: «С какою живостью он увлекается своими мыслями! Так горячо ищут истины только молодые люди... Всякие планы он оставил, ничего не пишет, но работает ужасно много... Главная тема мыслей Толстого, если не ошибаюсь, противоположность между старою Русью и новою, европейскою» (*РВ*, 1901, № 1, с. 138).

[7] О каком факте говорится — не установлено.

В. В. СТАСОВ

Владимир Васильевич Стасов (1824—1906) — критик, заведующий отделением искусств Петербургской публичной библиотеки. Стасов, воспитанный на демократических традициях 60-х годов, на критических работах Чернышевского, Писарева, Добролюбова, был очарован художественным миром толстовских произведений, которые он поставил в центр всего нового искусства. «Вы для меня такой крупный, такой необыкновенный, такой своеобразный, такой удивительный писатель, такой силач, — писал Стасов Толстому 15 июня 1878 г., — что наша земля должна теперь ожидать от вас... чего-то в самом деле великого» («Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906». Л., «Прибой», 1929, с. 37—38).

Перелом в миросозерцании Стасова в 80-е годы происходил не без влияния Толстого. Стасов не стал толстовцем: он решительно не принимал толстовских религиозных идей. «Почти постоянно вы опираетесь на мысли о Христе, о боге, — пишет Стасов Толстому 9 июня 1894 г. — На что это?.. По крайней мере, я лично сам не чувствую ни малейшей надобности ни в том, ни в другом представлении, для того чтоб быть хорошим и настоящим человеком...» (там же, с. 126). Эта тема была главной в спорах между Стасовым и Толстым, а спор для обоих — необходимым «чистилищем», в котором шла чеканка мыслей, доводов, контраргументов. Стасов писал о Толстом О. И. Оптовцевой 13 января 1900 г.: «Не могу рассказать Вам, как мне с ним хорошо и с каким восторгом я провожу с ним время! Это удивительный человек, и я не могу называть его (про себя и для себя) иначе, как *Лев Великий*. Я просто обожаю его, невзирая на то, что во многом с ним не согласен, и часто даже с ним мы ожесточенно спорим (это насчет «божественного» и «ультраморального»). По счастию, наша разница мнений ничуть не портит наших отношений...» («Огонек», 1960, № 47, с. 17). Толстой несколько ранее писал Стасову в связи

с его юбилеем: «...Я очень рад за всех тех многих людей, — в числе которых и я, — которым вы были полезны и словом, и делом...» (*ПСС*, т. 67, с. 25).

В художественных произведениях Стасов любил выделять эпизоды, сцены, мотивы, — кульминационные моменты — сон-смерть князя Андрея в «Войне и мире», Анна Каренина в карете перед гибелью, «разговоры solo» «с самим собою» сапожника и его жены в рассказе «Чем люди живы» и т. д. Так и в воспоминании о первом своем посещении Ясной Поляны он ставит в центр разговор с Толстым. Первое впечатление об этой встрече с писателем Стасов передал в письме И. Н. Крамскому 6 октября 1880 г., сразу же по возвращении из Ясной Поляны в Петербург (см. В. В. Стасов. Письма к деятелям русской культуры, т. I. М., Изд-во АН СССР, 1962, с. 318). В тот же день Стасов пишет письмо Толстому, как бы в продолжение их спора: «Я страшно боюсь, чтобы вы как-нибудь не изгадились. В вас слишком необыкновенное (по крайней мере для русского) соединение и ума — и таланта, правды — и смелости, народности — и светлости головы...» («Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906», с. 54).

Письмо-воспоминание Д. В. Стасову — брату— еще одно письмо на ту же тему.

ПИСЬМО Д. В. СТАСОВУ

(Стр. 276)

По тексту: «Лев Николаевич Толстой». М.—Л., ГИЗ, 1928, с. 347—352, с уточнением по автографу (*ИРЛИ*).

[1] Ошибка: 2—3 октября 1880 г.

[2] Христианская молитва.

[3] Имеются в виду портрет Толстого работы И. Е. Репина и скульптура работы И. Я. Гинцбурга, выполненные в 1891 г. Стасов писал об этих работах в «Новом времени» (1891, № 5533, 26 июля).

[4] Речь идет о работе Толстого «Соединение и перевод четырех Евангелий», в которой давалось свое, отличное от официальной церковной версии, толкование Евангелия. До первого издания (1891) сочинение Толстого было известно в списках.

[5] И. Я. Гинцбург.

[6] По религиозным верованиям — избавитель от грехов, от страданий.

[7] Большая Морская — улица в Петербурге.

[8] Имеется в виду письмо Л. Н. Толстого А. А. Фету от 17/29 октября 1861 г., опубликованное Фетом в «Моих воспоминаниях» (1890). Ряд деталей упоминаемого разговора сообщает И. М. Ивакин: «За обедом гость много говорил об искусстве и сообщил между прочим Льву Николаевичу, что один марш у Мусоргского был написан в темпе, как мужики шагают по глубокому снегу — ему пришло это в голову при виде действительно шагавших по снежным сугробам мужиков. Лев Николаевич, помню, это очень одобрил». Ивакин далее поясняет: «Сколько понимаю, Стасов говорил об Интермеццо для оркестра, которое навеяно было Мусоргскому в деревне в один из зимних праздничных дней. Не желая, вероятно, делать крюк, толпа мужиков пошла по занесенному снегом полю напрямик. Вышло и не скоро и не споро: приходилось вязнуть в снегу, выкарабкиваться и опять вязнуть... А в это время по настоящей торной дороге показалась группа поющих баб, которым весело было глядеть на вязнущих мужиков» (*ЛН*, т. 69, кн. 2, с. 44).

[9] Улица в Париже.

[10] Достоевский в речи о Пушкине говорил: «В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем». И о Татьяне Лариной: «Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева» (Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. М., Гослитиздат, 1957, с. 443, 447). Стасов считал речь Достоевского о Пушкине по своему духу «славянофильской» (В. В. Стасов. Письма к родным, т. II. М., Музгиз, 1958, с. 85).

М. А. и Л. И. ПОЛИВАНОВЫ

Лев Иванович Поливанов (1838—1899) — педагог, историк литературы, директор мужской гимназии в Москве, и его жена Мария Александровна Поливанова вместе с другими своими коллегами встретились с Толстым, когда его сыновья Илья и Лев поступили в поливановскую гимназию. Обстоятельства встречи были установлены Ив. Л. Поливановым. Он пишет: «Пришел Лев Николаевич в час, свободный от уроков, в так называемую «большую перемену»..; в те годы «большая перемена» продолжалась один час десять минут (12 ч. — 1 ч. 10 м.), и отец имел время прини-

мать в своем кабинете тех или других посетителей или гостей. И в этот раз, еще до прихода Л. Н. Толстого, в кабинете шла беседа нескольких лиц: проездом в Петербург был в Москве Евгений Львович Марков, который заехал в гимназию, учрежденную отцом, с целью повидать своих бывших сослуживцев по Тульской гимназии (где он был в 60-х годах учителем, а потом и инспектором): И. В. Янчина, Н. И. Шишкина и В. А. Фукса, которые в 1867 г. совместно с моим отцом и несколькими другими лицами положили основание гимназии (официально именовавшейся «учрежденной Л. И. Поливановым»); пользуясь «большой переменой», эти три лица сошлись с Е. Л. Марковым в кабинете отца, где был и он, а также моя мать. В это время доложили о Л. Н. Толстом: моя мать, стесняясь остаться в кабинете и вместе с тем желая послушать беседу, в которой предстояло участвовать Л. Н. Толстому, поспешила уйти в часть комнаты, отделенную библиотечным шкафом, и таким образом присутствовала при этой беседе, не обнаруживая себя; мало того, она сумела происходившую беседу записать. Записанное ею было пересмотрено моим отцом, в восстановлении отдельных выражений диалога приняли участие и упомянутые выше коллеги отца...» (*ГМТ*).

В беседе оба главных оппонента Толстого были противниками его педагогических и новых этических взглядов. Е. Л. Марков полемизировал с Толстым еще в начале 60-х годов по поводу Яснополянской школы (см. воспоминания Н. П. Петерсона и коммент. к ним), затем он резко выступил против толстовской статьи «О народном образовании» (Евгений Марков. Последние могикане русской педагогии. — *ВЕ*, 1875, № 5).

Л. И. Поливанов называл Толстого «вдохновенным» педагогом-практиком и «бессильным педагогом-теоретиком» и искал отражение этих противоречий в художественных произведениях писателя, особенно в «Войне и мире» (см. его статью: «О народном образовании» гр. Л. Н. Толстого». — «Учебно-воспитательная библиотека», т. I, ч. 1, отд. «Педагогика». М., 1876, с. 145—171).

Запись беседы была подготовлена к печати Ив. Поливановым для сборника, так и не изданного: «Толстой и о Толстом. Новые материалы», V. М., 1929 (указано Э. Е. Зайденшнур). В отрывках и в изложении запись публиковалась Н. Н. Гусевым: Гусев, IV, с. 62—65.

В строгом смысле эта отредактированная стенограмма не является мемуаром. Однако она по своему характеру приближается к ценным дневниковым записям.

В «БОЛЬШУЮ ПЕРЕМЕНУ» 18-ГО СЕНТЯБРЯ 1881 г. В ЧАСТНОЙ ГИМНАЗИИ

(Стр. 282)

По копии И. Л. Поливанова, хранящейся в *ГМТ*.

[1] С. Л. Толстой тогда только что поступил в Московский университет, на физико-математическое отделение естественного факультета.

[2] Гимназия помещалась на Пречистенке. Толстые сняли дом, принадлежавший княгине Волхонской, в Денежном пер.

[3] Этот лозунг лидер либеральной партии Англии В. Гладстон использовал во время предвыборной борьбы в 1880 г.

[4] Толстой имеет в виду свою жизнь в Ясной Поляне.

[5] Памятник Пушкину, торжественно открытый в июне 1880 г. в Москве. Об отношении Толстого к Пушкину в годы духовного кризиса см. также воспоминания С. Л. Толстого в наст. томе.

[6] Запись оборвана. Н. М. Карамзин писал А. И. Тургеневу (не Н. М. Муравьеву!): «Жить есть не писать Историю, не писать трагедии или комедии, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику; все другое есть шелуха, не исключая и моих осьми или девяти томов» (М. Погодин. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, ч. II. М., 1866, с. 134).

[7] Намек на мотив «Анны Карениной».

[8] Толстой критически относился к немецкой эстетике — Шеллингу, Гегелю.

[9] Реплика из «Горе от ума» Грибоедова.

[10] Московская больница для душевнобольных.

[11] Имеются в виду трагедии Софокла «Эдип-царь» и «Эдип в Колоне».

[12] «Пир Платона» — одно из его философских произведений; Толстой отмечал «большое» впечатление от первого знакомства с ним в 50-е годы (см. *ПСС*, т. 66, с. 68).

[13] Толстой высоко ценил «Мысли» Б. Паскаля. «Какая чудесная книга и его жизнь. Я не знаю лучше жития», — писал он А. А. Толстой в марте 1876 г. (*ПСС*, т. 62, с. 262).

[14] Книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (1846).

[15] Речь идет о письме Белинского к Гоголю (1847), в котором дана резкая критика религиозных, политических убеждений писателя последнего периода его жизни. Толстого же эта книга интересовала с точки зрения духовных исканий Гоголя. «Недаром, —

вспоминал И. Л. Толстой, — отец в то время перечитывал гоголевскую «Переписку с друзьями» и умилялся ей» (И. Л. Толстой, с. 168). Толстой был не согласен с «общим мнением», что «писателю художнику, как Гоголю, надо писать художественные произведения, а не думать о своей жизни и не исправлять ее, что это есть что-то вроде дури или душевной болезни...» (*ПСС*, т. 83, с. 542—543).

[16] Марков обвинял «Отечественные записки» в «бесплодном отрицании и космополитических грезах», в пропаганде «расхожего европейского либерализма» (Е. Марков. Природа и утопия. — «Русская речь», 1881, № 5, с. 243).

[17] Статья Н. К. Михайловского «Записки современника» (*ОЗ*, 1881, № 2). Суждения Толстого о Достоевском не были постоянными. Так, его поразила смерть писателя, и 5 февраля 1881 г. Толстой отвечал Страхову: «Вы, описывая свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых сношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек... На днях, до его смерти, я прочел «Униженные и оскорбленные» и умилялся» (*ПСС*, т. 63, с. 43). Окончив биографию Достоевского, Страхов пришел к выводу, что Достоевского якобы «тянуло к пакостям, и он хвалился ими», «не мог удержать своей злости» («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», с. 308). Толстой в письме от 5 декабря 1883 г. поправлял Страхова: «Мне кажется, что вы были жертвою ложного, фальшивого отношения к Достоевскому, не вами, но всеми преувеличения его значения, и преувеличения по шаблону — возведения в пророка и мученика святого — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомства нельзя человека, *который весь борьба*» (цит. по исправленной публикации: Гусев, IV, с. 220—221). См. также воспоминания В. В. Стасова в наст. томе.

[18] Марков был вызван на заседание Государственного совета как один из «сведущих людей» по питейному делу.

С. П. АРБУЗОВ

Сергей Петрович Арбузов (1849—1904) — старший лакей в семье Толстых, затем владелец столярной мастерской в Туле. По воспоминаниям С. Л. Толстого, это был своеобразный человек из крепостной среды: «Он был энергичен, способен и довольно грамотен...» (С. Л. Толстой, с. 23). Лакейская служба привила

ему обычные пороки, страсть к вину, за что в 1883 г. он должен был оставить Толстых. Однако, как пишет С. Л. Толстой, «он был предан нашему дому и близок нам, как сын нашей няни, так что многое ему прощалось» (там же). Н. И. Шатилов, встречавший Арбузова в Туле, по-видимому, в 90-х годах, также отмечает, что «для него личность графа являлась выше всякой критики» (*ГМ*, 1916, № 10, с. 70).

Судьба С. Арбузова не была безразличной для Толстого. Поэтому так болезненно писатель реагировал на циничные рассуждения своего слуги о пользе войны для молодых солдат. «Это говорит тот Сергей, — писал Толстой Н. Н. Страхову в августе 1877 г., — ...которого нам приводят в доказательство народного сочувствия. А задушевная мысль его в войне только турчанка...» (*ПСС*, т. 62, с. 335). Но в общем Толстой доброжелательно относился к Арбузову. Его он выбрал как спутника во время своего хождения в Оптину пустынь, навещал он его и в Туле (см. там же, т. 83, с. 423).

Рассказ Арбузова подкупает своей обстоятельностью и множеством подробностей, передающих неприхотливость и демократизм Толстого в быту и в общении с простыми людьми.

Воспоминания Арбузова написаны по его инициативе. Н. И. Шатилов рассказывает, как однажды во время его пребывания в Туле тот принес ему «прочитать начатые им записки, в которых он хотел изложить свои воспоминания о Льве Николаевиче за время пребывания в Ясной Поляне». Шатилов «поддержал его тогда в этом намерении, предложив ему, когда он окончит, пересмотреть и исправить его рукопись» (*ГМ*, 1916, № 10, с. 70). Это сделал уже не Шатилов, а кто-то другой.

ИЗ КНИГИ «ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕГО СЛУГИ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО»

(Стр. 293)

По тексту: «Гр. Л. Н. Толстой. Воспоминания С. П. Арбузова, бывшего слуги графа Л. Н. Толстого». М., 1904, с. 65—98, 125—132.

[1] Арбузов с Толстым ходили в Оптину пустынь в 1881 г., а не в 1878 г. Вышли они из Ясной Поляны 10 июня.

[2] Арине Григорьевне Арбузовой.

[3] «Заказ» — лес, рубка которого была в Ясной Поляне запрещена; запретный, заказанный лес.

[4] Арбузов до приезда в Ясную Поляну в 1862 г. был крепостным крестьянином П. А. Воейкова.

[5] Мария Афанасьевна Арбузова; до 1863 г. была дворовой помещика Воейкова.

[6] Толстой вел дневник: см. *ПСС*, т. 49, с. 138—147.

[7] Толстой писал жене из Крапивны: «Дошел хуже, чем я ожидал. Натер мозоли, но спал и здоровьем чувствую лучше, чем ожидал. Здесь купил чуни пенечные, и в них пойдется легче» (там же, т. 83, с. 285).

[8] Настоятель монастыря — Ювеналий Половцев.

[9] См. воспоминания А. Д. Оболенского в наст. томе.

[10] Судя по дневнику Толстого, его разговор с Ювеналием касался извращения церковью «учения Христа». Толстой записал возражения Ювеналия: «Зашла речь о толкованиях Павла, церкви отцов. Я не могу допустить. — Про Магомета, пожалуйста, не говорите. Судить, воевать надо. Положить живот за други своя — это значит воевать. Обязаны защитить. Начальство и власти. Церковь свята. — Плотская брань» (*ПСС*, т. 49, с. 143).

[11] О посещении Амвросия, о его наставлениях у Толстого сделана дневниковая запись: «У Амвросия 2 часа. Нищенство это совершенство. — Ищите совершенства, но не удаляйтесь от церкви. В Евангелии, в посланиях, соборах и у святых отцов — откровение. Звезда от звезды отличаются. Как генерал, полковник, поручик, так и там будет (ему кажется, что чины что-то натуральное, с чем можно сравнивать)». Толстой уличил и настоятеля монастыря и Амвросия в незнании Священного писания: «Ювеналий не знал, что в притче об ужине — одни побили посланных. Амвросий не знал, что о церкви говоря, сказано, если брат твой против тебя согрешит» (там же, с. 143—144).

[12] Ошибка. У Толстого в дневнике: «16 июня. С вечера пришли в Перемышль».

[13] Сергей Федорович Резунов — яснополянский плотник.

[14] Анисья Копылова — яснополянская крестьянка, вдова с тремя детьми. Весной 1887 г. на ее поле Толстой работал с крестьянином К. Н. Зябревым. Помогал он ей и в другие годы. В начале июня 1888 г. Толстой писал С. Т. Семенову: «Теперь много работаю в поле...» (*ПСС*, т. 64, с. 174).

[15] Речь идет о 1888 г.

[16] Избу строили Толстой с дочерью, сосед Анисьи Прокофий Власов, М. А. Шмидт, П. И. Бирюков. Печь клал Н. Н. Ге. П. И. Бирюков пишет: «Льву Николаевичу хотелось сделать эту крышу несгораемой, и он решил покрыть ее соломенными щитами, вымоченными в глине, по красноуфимскому способу...» (Бирюков, III, с. 89—90). Толстой писал уехавшему Бирюкову в сентябре 1888 г.: «Несмотря на то или, скорее, благодаря тому, что веду все ту же рабочую жизнь, не вижу, как идет время. Крышу

только покрыл с немым еще одно звено по-уфимски, а остальное прикрыли просто до будущего года. Теперь понемногу подсобляю в лесной постройке Прокофью и Семену ⟨Резунову⟩. Садами тоже мужицкими начал заниматься. Дела всегда много» (*ПСС*, т. 64, с. 181).

[17] Изба сгорела в 1889 г.

[18] Константин Николаев — К. Н. Зябрев, Павел — брат С. П. Арбузова.

А. Т. ЗЯБРЕВ

Алексей Титович Зябрев (ум. после 1915 г.) — яснополянский крестьянин, сын Т. Е. Зябрева, семью которого хорошо знал Л. Н. Толстой. В 900-е годы А. Т. Зябрев жил в Туле. Его воспоминания о Толстом, похожие на неприхотливые крестьянские рассказы, были опубликованы А. К. Чертковой в «Ежемесячном журнале», 1915, №№ 8—11.

ВОСПОМИНАНИЯ

(Стр. 316)

По тексту: «Ежемесячный журнал», 1915, № 8, с. 75—76.

[1] Общество трезвости или «согласие против пьянства» организовывалось в конце 1887 г.

[2] Речь идет о рассказе Толстого «Работник Емельян и пустой барабан» (1886).

[3] Толстой писал жене в день пожара, 28 апреля 1883 г.: «Очень жалко мужиков. Трудно представить себе все, что они перенесли и еще перенесут. Весь хлеб сгорел. Если на деньги счесть потерю, то это больше 10 тысяч. Страховых будет тысячи 2, а остальное все надо вновь заводить нищим, и заводить все то, что нужно необходимо только для того, чтобы не помереть с семьями с холоду и голоду» (*ПСС*, т. 83, с. 373).

[4] В письме от 29 апреля 1883 г. Толстой просил С. А. Толстую узнать у его брата Сергея Николаевича, проживавшего в Москве, «если его это не стеснит, — не может ли он мне дать записку в Пирогово на 100 четвертей овса. Цена пусть будет та, самая высокая, за какую он продает. Если он согласен, то пришли эту записку или привези. Даже ответь телеграммой, дает ли Сережа записку на овес, потому что, если он не даст, надо распорядиться купить» (т а м ж е, с. 374).

Е. Е. ЛАЗАРЕВ

Егор Егорович Лазарев (1855—1937) — в 70—80-е годы участник народнического движения, политический ссыльный, встречался с Толстым в 1883—1885 гг. Познакомился с ним Толстой через своего управляющего самарским имением А. А. Бибикова, привлекавшегося в 1866 г. по делу Каракозова, а затем раздавшего свою землю крестьянам (см. о нем: А. С. Пругавин. О Льве Толстом и толстовцах. М., 1911). Лазарев, бывший подсудимый по делу «О революционной пропаганде в империи» («Процесс 193-х»), был связан с самарским народническим кружком, а после отбывания военной службы он жил в своем селе Грачевка Самарской губ. под надзором полиции (см. Л. Н. Большаков. В поисках корреспондентов Льва Толстого. Тула, 1974, с. 187—189).

Лазарев не единственный «революционер», с которыми Толстой сталкивался на своем пути (см., например, воспоминания Н. П. Петерсона, В. И. Алексеева, Д. Кеннана в наст. изд.). Интерес Толстого к радикально мыслящим людям особенно возрастал в годы духовного перелома, в период обостренных поисков смысла человеческого существования, утверждения своей утопической программы социального переустройства общества. В. Поссе, знавший Лазарева, утверждал: «Толстой его очень полюбил; сначала как мужика, каким он был как по происхождению, так и по натуре, а затем и как революционера. Он вывел его в своем романе «Воскресение» под фамилией Набатов, характеризовал его ярко и верно» (В. А. Поссе. Мой жизненный путь. М. — Л., 1929, с. 317).

Мемуары Лазарева под названием «Из воспоминаний о Л. Н. Толстом» были написаны в 20-х годах. В его книге «Моя жизнь» (1935) они опубликованы в главе «Перед первой ссылкой» с подзаголовком: «Знакомство с Л. Н. Толстым».

ЗНАКОМСТВО С Л. Н. ТОЛСТЫМ

(Стр. 320)

По тексту: Е. Е. Лазарев. Моя жизнь. Воспоминания — статьи — письма — материалы. Прага, 1935, с. 137—140, 149—150, 153—155, 158—161.

[1] Летом 1883 г.

[2] Мухаммед Рахметуллин. См. о нем в воспоминаниях И. Л. Толстого в наст. томе.

[3] Ср. воспоминания С. Л. Толстого: «Большинство кумысников и гостей Бибикова были, как тогда говорили, «красными», и отец

не раз спорил с ними по вопросу о революционном насилии. В этом ему молчаливо сочувствовали Василий Иванович и отчасти Алексей Алексеевич» (С. Л. Толстой, с. 141).

[4] Анна Семеновна Гурьян, учившаяся тогда на врачебных курсах в Петербурге.

[5] Вероятно, сын Дмитрия Дмитриевича Оболенского.

[6] По-видимому, доктор медицины Катцельсон. — *РМ*, 1912, № 11, с. 164.

[7] После «процесса 193-х» Лазарев был взят в солдаты, участвовал в составе кавказской армии в сражении под Карсом (1878 г.).

[8] Толстой писал жене 8 июня 1883 г.: «Кроме всех жителей, здесь наехали еще гости к Бибикову: два человека, бывшие в процессе 193-х, и вот последние дни я подолгу с ними беседую. Я знаю, что им этого хочется, и думаю, что не имею права удаляться от них. Может быть им полезно. А мне тяжелы эти разговоры. Это люди, подобные Бибикову и Василию Ивановичу, но моложе. Один особенно, крестьянин (крепостной бывший) Лазарев, очень интересен. Образован, умен, искренен, горяч и совсем мужик — и говором, и привычкой работать. Он живет с двумя братьями, мужиками, пашет и жнет, и работает на общей мельнице. Разговоры, разумеется, вечно одни — о насилии. Им хочется отстоять право насилия, я показываю им, что это безнравственно и глупо» (*ПСС*, т. 83, с. 384).

Вероятно, еще до встреч с Лазаревым в тюрьме Толстой пытался облегчить его участь через тульского вице-губернатора Л. Д. Урусова. Он писал жене в декабре 1884 г.: «О Лазареве просил князя узнать, он обещал»; «О Лазареве просил Урусова, он обещал» (*ПСС*, т. 83, с. 470—471).

[9] См. воспоминания А. А. Фета в наст. томе.

[10] Цитата из предсмертного письма И. С. Тургенева Л. Н. Толстому, отправленного в конце июня 1883 г. Тогда оно ни Толстому, ни окружавшим его лицам не было известно и переосмыслено мемуаристом в более позднее время.

[11] То есть без суда.

[12] Пелагеей Тимофеевной Лазаревой.

[13] Народническое «хождение в народ», особенно лиц, связанных с организацией «Черный передел». Лазарев пишет: «Признаком чернопередельчества для жандармов служило «*мужикованье*», работа на земле, в земледельческих колониях...» (Е. Е. Лазарев. Моя жизнь, с. 150).

[14] Через десять лет, в октябре 1895 г., Лазарев, вспоминая эти свидания в тюрьме, благодарил Толстого за «участие» к нему и особенно к положению его «бедной матери» (Л. Н. Большаков. В поисках корреспондентов Льва Толстого, с. 205).

[15] Софьей Львовной Присецкой.

[16] Это письмо неизвестно.

[17] О переписке Лазарева с Л. Н. Толстым в последующие годы см. *ПСС*, т. 68, с. 232; т. 73, с. 321—322 и публикации в названной книге Л. Н. Большакова, с. 204—210; 213—220.

И. М. ИВАКИН

Иван Михайлович Ивакин (1855—1910) — педагог Московской классической гимназии, в 80-е годы — учитель детей Л. Н. Толстого. Окончил Московский университет. В семье Толстых поражал всех своей начитанностью, знаниями. «...Прекрасный и очень умный человек...» — так его аттестовал Толстой в письме С. А. Юрьеву (*ПСС*, т. 63, с. 40).

С. Л. Толстой вспоминал: «Он [Ивакин] любил и знал древние языки и был хорошим учителем. Мои отношения с ним были скорее товарищеские, чем отношения ученика к учителю» (С. Л. Толстой, с. 77). Не примыкая к каким-либо кружкам и сектам, Ивакин, однако, не без воздействия Толстого вырабатывал свои нравственные принципы. «Проезжая из Крыма в Ясную Поляну, я не шутя думал, что главнейшая цель жизни — пожить получше, или, как я выразился своему товарищу Петру, над чем он смеялся, сорвать розу в январе. Я омертвел душой, и если хоть несколько ожил, этим я обязан только Льву Николаевичу и никому больше, несмотря ни на какие его заблуждения и ошибки, несмотря на то, что толстовцем отнюдь назвать себя не могу и никогда им не был...» (*ЛН*, т. 69, кн. 2, с. 37).

Воспоминания Ивакина подготавливались в свое время к печати С. Л. Толстым, который признавал их ценным «новым вкладом в жизнеописание Толстого». «Его записки, — добавляет С. Л. Толстой, — ценны также потому, что в них удачно схвачен своеобразный разговорный язык Толстого, что редко удавалось мемуаристам» (там же, с. 25). Впервые опубликованы в *ЛН*, т. 69, кн. 2.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ. 1880—1885»

(Стр. 327)

По тексту: *ЛН*, т. 69, кн. 2, с. 45—74, с уточнениями по рукописной копии с авторской правкой (*ЦГАЛИ*, ф. 508, оп. I, ед. хр. 255, лл. 51—95).

[1] Т. А. Кузминской.

[2] Теория «воскрешения» философа Н. Ф. Федорова утверждала возможность научно осмысленной регуляции различных жизнен-

ных процессов, которая должна уничтожить, по его мнению, основное зло человечества — смерть. Толстой и раньше интересовался эволюцией в природе, разделял идею Гердера о переходе одних живых существ после своей смерти в другие (см. *ПСС*, т. 10, с. 116; т. 13, с. 455—456). С Федоровым Толстой познакомился в 1878 г., когда тот работал в библиотеке Румянцевского музея. Теория Федорова вызывала у него живой интерес. По воспоминаниям Е. И. Раевской, Толстой говорил о Федорове: «...Многие, пожалуй, сочтут его за безумца, но он полагается на прогресс науки, которая, по его мнению, дойдет до того, что победит саму смерть и тогда он, Федоров, стал бы воскрешать своих предков» (*ЦГАЛИ*).

[3] Речь идет о труде Г. Джорджа «Прогресс и бедность», отстаивавшего идею национализации и единого государственного налога за пользование землей, т. е. без уничтожения частного землевладения. Толстой писал жене 22 февраля 1885 г.: «Это важная книга. Этот тот важный шаг на пути общей жизни, как освобождение крестьян — освобождение от частной собственности земли... Мои требования гораздо дальше его; но это шаг на первую ступеню той лестницы, по которой я иду» (*ПСС*, т. 83, с. 480—481). В письме к В. Г. Черткову от 24 февраля 1885 г. Толстой противопоставляет взгляды Г. Джорджа западноевропейским позитивистам — Г. Спенсеру и Дж. Миллю. Толстой пишет о книге Г. Джорджа: «...она разрушает всю эту паутину научную спенсеро-миллевскую — все это толчение воды, и прямо призывает людей к нравственному сознанию и к делу и определяет даже дело. Есть в ней слабости, как во всем человеческом, но это настоящая человеческая мысль и сердце, а не научная дребедень» (*ПСС*, т. 85, с. 144). Толстому в то время казалось, что национализация земли, введение единого налога (без применения государственного насилия) открывали путь к устранению классовых и социальных конфликтов.

[4] Толстой тогда читал книгу М. Арнольда «Literature and dogma» (1877). В письме Л. Д. Урусову от 1 мая 1885 г. он сообщил: «В числе моих внешних радостей есть еще и то, что я не перестаю находить превосходные книги одномыслящих с нами людей. Теперь я читаю Matthew Arnold «Literature and dogma». Половина моих мыслей, выраженных в Евангелии и критике богословия, высказаны там. Как я почитал ее с вами!» (*ПСС*, т. 63, с. 242).

[5] Илья Львович.

[6] Наоборот: казак станицы Старогладковской Епифан Сехин (Епишка) послужил прототипом образа Ерошки.

[7] Генерал А. П. Ермолов.

[8] С. Л. Толстой отмечал, что И. Б. Файнерман «был одно время крайним последователем Толстого; поселился в деревне Ясной Поляне, был пастухом общественного стада, работал у тех крестьян, которые звали его к себе на работу, и отдавал просящим все, что имел. Бедствовавшей его жене помогала Софья Андреевна. В 1886 г. Файнерман, чтобы быть утвержденным в должности сельского учителя, принял православие, но не был утвержден попечителем Московского округа. Впоследствии работал зубным врачом, потом посвятил себя журналистике; писал под псевдонимом Тенеромо. Написал много воспоминаний о Толстом, не отличающихся достоверностью» (*ЛН*, т. 69, кн. 2, с. 113).

[9] См. коммент. 3.

[10] Ср. суждения Толстого в записях А. С. Суворина и Л. И. и М. А. Поливановых, публикуемых в наст. томе.

[11] Цикл романов Золя под названием «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи».

[12] В декабре 1855 г. Читал сам Тургенев.

[13] «Живые мощи» были написаны в 1874 г.

[14] Т. Р. Мальтус написал книгу «Опыт о законе народонаселения» (русский перевод 1868 г.). Толстой резко критиковал реакционную теорию Мальтуса (см. *ПСС*, т. 25, с. 333—335).

[15] В записях Ивакина воспроизведены отрицательные, порой очень субъективные суждения Н. Ф. Федорова о толстовской «Сказке об Иване-дураке» и его литературном труде: «Новая сказка мне ничего не дала — тут только все его взгляды, все, о чем он писал и пишет в сказке — колоссальная ложь. Так нельзя говорить про умственный труд. Сам он никогда его не знал — писал он и пишет только тогда, когда ему придет фантазия. Это не труд — в труде есть доля принуждения. Разве ученые не устают, не живут на чердаках, не нуждаются? Разве наука уж так-таки не сделала ничего?.. Относительно воинской повинности, науки из того, что он рекомендует в сказке и других произведениях, я знаю, что ничего не выйдет. И потом все отрицая так, что делает он сам? Шьет сапоги. Я видел эти сапоги у Фета — сшито изящно, так, что я таких сапог не ношу. А на выставке сам же мне говорил: динамитцу бы сюда! — на выставке, где его сапоги могли бы получить премию за изящество работы! Я помню, он как-то пришел к нам в библиотеку и пожалел, что не случилось в ней пожара, а сам берет из нее книги!» (*ЦГАЛИ*). О взаимоотношениях Толстого и Федорова см. также в записках И. М. Ивакина (*ЛН*, т. 69, кн. 2) и С. Г. Семенова. Николай Федорович Федоров. — («Прометей», т. 11. М., 1977, с. 100).

[16] От имени немецкого физиолога и анатома Т.-Л. Бишофа.

[17] Библейская книга с образом «проповедника» «многострадального» Иова.

[18] В Библии (Книга Бытия, гл. XXIV) рассказана история женитьбы Исаака на Ревекке.

[19] Дж. Милль — философ, экономист, в своих взглядах на теорию стоимости примыкал к идеям Мальтуса о народонаселении (см. коммент. 14); экономическая теория Милля подвергалась резкой критике и в работах Н. Г. Чернышевского (см. Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. 9. Гослитиздат, 1949).

[20] Взгляды Н. Н. Страхова на эту тему изложены в его книге «Мир как целое» (1872).

[21] В «Афоризмах» Эпиктета вымышленный герой Агриппин «имел обыкновение хвалить всякую случившуюся с ним неприятность. Например, если он заболевал лихорадкой, он хвалил лихорадку...» (СПб., 1891, с. 18).

[22] Так называл себя психически больной, нищий крестьянин Г. Ф. Блохин. О нем есть пространная запись в дневнике Ивакина от 7 июля 1885 г. (указанная рукопись, лл. 61—65).

[23] В марте 1861 г.

[24] С. Л. Толстой пояснял: «С осени 1882 г. в Ясной Поляне был заведен «Почтовый ящик», в который опускалось все, что писалось жителями яснополянской усадьбы: заметки, стихи, рассказы, афоризмы и т. п., преимущественно с намеками на злобу дня. Эти произведения были анонимны и после просмотра кем-нибудь из старших членов семьи Толстых публично прочитывались раз в неделю. Толстой также принимал участие в этом» (*ЛН*, т. 69, кн. 2, с. 114). См. также: С. Л. Толстой, с. 388—406. Произведения, написанные для «Почтового ящика» Толстым, опубликованы в *ПСС*, т. 25, с. 511—522.

[25] Василий Петрович Шевелев, прозванный Щеголенком, сказитель былин; летом 1879 г. прожил около двух недель в Ясной Поляне. Толстой записал с его слов некоторые былины (см. *ПСС*, т. 48, с. 198—213).

[26] Статья «О народном образовании» (1862) была включена в часть четвертую «Сочинений» (М., 1886).

[27] Катковский лицей основан в Москве в 1868 г.

[28] См. письма И. Н. Крамского П. М. Третьякову в наст. томе.

[29] Стахович-отец — А. А. Стахович.

[30] Пьеса Иозефа Тыла, которую переводил на русский язык Ивакин (см. *ЛН*, т. 69, кн. 2, с. 116).

[31] Трагедия Софокла.

[32] С. Л. Толстой комментировал: «Магди» или «Махди» — имя ожидавшегося мусульманами пророка, который должен был

завершить дело Магомета. В 1881—1885 гг. в качестве «махди» выступал дервиш Мохаммед-Ахмед (1845—1885), возглавивший восстание против англичан в верхнем Египте и Судане. В № 29 «Газеты Гатцука» от 28 июля 1885 г. (с. 470) было напечатано предсмертное письмо этого «махди», излагавшее программу взятия им Египта. Программа предусматривает обязательное принятие ислама всеми «неверными», упразднение титулов беев и пашей, упразднение форменных одежд, мундиров и академических костюмов, обобществление всякой собственности, высылку консулов, закрытие судов, изгнание адвокатов и ростовщиков, уничтожение всех газет, кроме одной, закрытие всех европейских школ, отобрание всех «дурно приобретенных богатств» в пользу государства, обложение налогом оставшихся европейцев «соответственно весу их тела» (там же).

[33] Вероятно, имеется в виду письмо Л. Е. Оболенского о неправильной размежевке земель в Черниговской губ., о возмущении крестьян и экзекуции над ними (см. *ПСС*, т. 85, с. 245).

[34] С. Л. Толстой пояснял: «Анковский пирог» — сладкий пирог, приготовлять который научил Берсов (родителей С. А. Толстой) доктор Анке, а Софья Андреевна научила повара Толстых Н. М. Румянцева. Под этим выражением Толстой подразумевал традиционный буржуазный уклад жизни; «анковский пирог» был как бы эмблемой такого уклада» (*ЛН*, т. 69, кн. 2, с. 117).

[35] См. коммент. 8.

[36] См. воспоминания Е. Е. Лазарева в наст. томе.

[37] См. коммент. 8, 9 на с. 548—549 этого тома.

[38] В статье «Что случилось по смерти Анны Карениной» (*РВ*, 1877, № 7).

[39] Рассказ «Два старика» был опубликован отдельной книжкой в издательстве «Посредник» в октябре 1885 г.

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Григорий Петрович Данилевский (1829—1890) — писатель, редактор газеты «Правительственный вестник», посетил Толстого в Ясной Поляне 22 сентября 1885 г. Предыстория этого посещения, повод к ней изложены Данилевским в письме к Л. Н. Толстому от 22 августа 1885 г.:

«Около двадцати восьми лет назад мы с Вами встретились в семействе графа Ф. П. Толстого, в Петербурге; с тех пор я Вас не видел, но очень часто вспоминал о Вас, читая Ваши произведения... В последние годы, посвятив свои досуги изучению XVIII века, я издал несколько исторических романов и повестей:

«Мирович», «Потемкин на Дунае», «На Индию при Петре I», «Княжна Тараканова» (по государственному архиву) и друг. Пережив со всею читающею Россией Ваши замечательные произведения («Война и мир», «Анна Каренина», «В чем моя вера», «Что же нам делать?» и друг.), я не раз сожалел, что Вы не посещаете Петербург и что мне не удалось Вас встретить здесь и обменяться мыслями. Наш общий знакомый С. А. Юрьев, которого я, обыкновенно, навещаю в мои осенние проезды через Москву, неоднократно вызывался повезти меня к Вам, но, как мы с ним узнавали, Вас в то время не было в Москве. Он же вызывался доставить Вам и издание моих произведений...

Прошу Вас, граф, принять эти книги на память от их автора, высоко чтущего Ваши произведения. Если не Вы лично, то Ваша жена или Ваши дети когда-нибудь заглянут в них, чем доставят мне большое удовольствие. Я же лично очень бы желал Вас видеть на обратном моем проезде с юга, около 20—22 сентября, так как два года назад я написал, а теперь обрабатываю окончательно повесть «Сожженная Москва» и хотел бы поговорить с Вами о некоторых, знакомых Вам, материалах к ней» (по кн.: Н. Н. Апостолов. Лев Толстой и его спутники. М., 1928, с. 217—218).

Этот мотив встречи был, конечно, побочным. Данилевский, судя по его очерку, был заинтригован распространенным тогда мнением об отходе Толстого от литературы, о превращении его в вероучителя, проповедника и т. п. Данилевский пытается убедить читателя в обратном, хотя этой убежденности мешает идиллический характер зарисовок яснополянской жизни писателя.

Со своим очерком Данилевский предварительно познакомил А. М. Кузминского. «По его совету, — писал Данилевский С. Н. Шубинскому 3 февраля 1886 г., — я кое-что прибавил в конце, чего было прежде не решался сделать, боясь, что граф остался бы недоволен» (*ГПБ*). В заключение очерка Данилевский выражал надежду, что Толстой готовится к новым крупным художественным созданиям и что теперешнее настроение писателя — «только новая ступень, только приближение к иным, еще более высоким образам его творчества» (*ИВ*, 1886, № 3, с. 544). Очерк Данилевского о Толстом — первый в его полностью не осуществленном цикле «литературных и бытовых воспоминаний». «Потом, — писал мемуарист С. Н. Шубинскому 5 января 1886 г., — пойдут мои свидания с Гоголем, Аксаковым С. Т. и др., — портреты Плетнева, Щербины (Омега) и др.» (*ГПБ*). Очерк до его публикации читал художник И. Н. Крамской. Данилевский очень заботился о точности, «внешней верности изображений поместья, дома и пр.» (там же).

Данилевский напечатал свой очерк с датой «2 февраля 1886 г.».

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

(Поместье графа Л. Н. Толстого)

(Стр. 346)

По тексту: *ИВ*, 1886, № 3, с. 535—543.

[1] См. коммент. 43 к дневникам А. В. Дружинина.

[2] См. коммент. 13 к воспоминаниям С. Л. Толстого.

[3] Церковнославянский сборник житий святых и поучений.

[4] Неточно: Толстой поступил в Казанский университет в 1844 г.

[5] Этот отзыв вызвал сомнение у корреспондента «Петербургской газеты» (1886, № 59, 2 марта). Автор корреспонденции (Данилевский подозревал в нем Н. С. Лескова) считал, что запись мемуариста противоречит толстовскому рассуждению о Достоевском, высказанному им в распространявшемся тогда в рукописи письме М. А. Энгельгардту (см. *ПСС*, т. 63, с. 114). Данилевский объяснял С. Н. Шубинскому в письме от 4 марта 1886 г.: «Теперь я в поисках за этим литер⟨атурным⟩ письмом; читавшие его меня уверяют, что никакого противоречия нет: приведенный краткий отзыв Толстого относится к Достоевскому как к крупному писателю-художнику-психологу, а в письме к Энгельгардту Толстой говорит о религиозных убеждениях Достоевского, с коими Толстой и разногласит» (*ГПБ*).

[6] Об этом Т. Карлейль писал в книге «Sartor Resartus. Жизнь и мнения профессора Тейфельсдрека». Толстой с этой книгой познакомился в 1877 г. (см. *ПСС*, т. 62, с. 346).

[7] По инициативе В. Г. Черткова, при поддержке Л. Н. Толстого и содействии И. Д. Сытина в 1884 г. было создано книгоиздательство «Посредник», ставившее целью издание книг по дешевой цене для народа. В 1885 г. первыми книжками этого издательства были произведения Толстого: «Чем люди живы», «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Кавказский пленник». Перед приездом Данилевского Толстой написал для «Посредника» «Сказку об Иване-дураке».

[8] Речь идет об испанском писателе Антонио Труэба, авторе рассказов на народные темы. Пересказанный эпизод описан им в предисловии к своим «Народным рассказам» (см. «Cuentos populares». Madrid, 1864, pp. 11—12). Об этом же эпизоде см. в статьях Эм. Денегери [Л. И. Мечников]: Поездка в Испанию (*ОЗ*, 1869, № 8, с. 375), Очерки испанской литературы. — «Дело», 1874, № 2, с. 132—133.

[9] Речь идет о княгине Т. Г. Морткиной, жене прапрадеда

Толстого по отцовской линии, И. Ф. Горчакова. Постриглась в монахини после смерти мужа.

[10] Илья и Лев.

[11] Алексей умер 18 января 1886 г.

[12] Этой теме Данилевский посвятил специальную статью-рецензию: «Сочинения графа Л. Н. Толстого. Изд. пятое (11 томов). М., 1886» («Правительственный вестник», 1886, № 33, 9 февраля). Авторство Данилевского устанавливается по его письму С. Н. Шубинскому от 9 февраля 1886 г. (*ГПБ*).

[13] Речь шла и о произведениях Данилевского. В вышеупомянутом письме Шубинскому Данилевский уверял, что Толстой «положительно упросил, заставил» его печатать роман «Сожженная Москва», который он не публиковал якобы из-за возможных упреков в подражании «Войне и миру» (там же). Роман Данилевского был напечатан в 1886 г.

Л. Е. ОБОЛЕНСКИЙ

Леонид Егорович Оболенский (1845—1906) — писатель, редактор журнала «Русское богатство» В своих социологических и беллетристических произведениях он пытался связать успехи естественных наук конца XIX в. со своими религиозно-нравственными идеалами (см. роман «Два полюса», статьи «Что такое прогресс?», «Основание нравственности» и др.). Отсюда его интерес к творчеству Толстого (см. его книгу: «Л. Н. Толстой. Его философские и нравственные идеи», 1886, а также работы, в которых он вступает в полемику с народнической критикой: «Лев Толстой о женском вопросе, искусстве и науке (По поводу заметки г. Скабичевского)», «Л. Н. Толстой и О. Конт о науке (ответ г. Скабичевскому)», и др.).

К критическим характеристикам Оболенского Толстой относился настороженно и не принимал их либеральных выводов. Но он ценил его издательскую деятельность, возлагал на него надежды, когда обдумывал планы изданий для народа — газеты, книг, журналов. Журнал «Русское богатство» он выделял «по своему направлению» из «всех существующих» (в письме К. М. Сибирякову от 8 мая 1885 г. — *ПСС*, т. 63, с. 245). В «Русском богатстве» были тогда опубликованы главы из трактатов Толстого «Так что же нам делать?», «В чем моя вера?», рассказ «Много ли человеку земли нужно».

Мысль описать свои впечатления о встречах с Толстым возникла у Оболенского еще в 1886 г. под влиянием различных толков об этических взглядах писателя. «Хотелось бы переговорить,—

писал Оболенский В. Г. Черткову 5 марта 1886 г., — не следует ли что-либо написать об этих искажениях, не написать ли свои воспоминания о Льве Николаевиче, в параллель с воспоминаниями Данилевского (в «Историческом вестнике» в последней книжке), но я так боюсь быть навязчивым и сделать что-либо невпопад...» (*ЦГАЛИ*). Это решение у Оболенского созрело позже, когда он писал цикл мемуарных очерков «Литературные воспоминания и характеристики (1854—1892)». Л. Н. Толстому посвящены XVI и XVII главы воспоминаний. В настоящем издании дается последняя глава.

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ И ХАРАКТЕРИСТИК»

(Стр. 356)

По тексту: *ИВ*, 1902, № 4, с. 90—96.

[1] Татьяне Львовне.

[2] См. воспоминания Е. Е. Лазарева в наст. томе.

[3] См. коммент. 4 к записям И. М. Ивакина.

[4] «Анна Каренина» вошла в IX—XI части «Сочинений» (изд. 1886 г.).

[5] Роман «Жерминаль».

[6] В предшествующей главе воспоминаний Оболенский описывал эпизод чтения в семье Толстых одного из рассказов «начинающего беллетриста-рабочего»: «...рассказ был не дурен, но когда при последних его сценах из глаз Толстого быстро закапали одна за другой крупные слезы, я понял ясно, что этот человек беспредельно любит народ, что он не может слышать без слез о страдании мужика, о его нравственном падении» (*ИВ*, 1902, № 4, с. 87—88).

[7] См. коммент. 33 к записям И. М. Ивакина. Толстой писал по этому поводу В. Г. Черткову 23—24 июля 1885 г.: «Оболенский прислал мне письмо из Черниговской губернии с описанием того, как губернатор Анастасьев наказывал там жестоко ужасно розгами мужиков. Он пишет, что хорошо бы довесть это до сведения государя, или чтобы вы напечатали это в английской газете. Я не согласен с этим. Это раздражение. Не могу, не умею сказать, почему, но это мне не по сердцу. Вот если бы можно сказать этому губернатору и становым и солдатам, которые секли, что это не должно и грешно... Письмо ко мне Оболенского я все-таки вам посылаю» (*ПСС*, т. 85, с. 245—246).

ДЖОРДЖ КЕННАН

Джордж Кеннан (1845—1924) — американский журналист и путешественник. В 1865—1868 гг. он участвовал в русско-американской экспедиции в Сибири. По возвращении в Америку написал книгу «Кочевая жизнь в Сибири» (1870).

С мая 1885 г. по август 1886 г. по заданию журнала «The Century Illustrated Monthly Magazine», вместе с художником Дж. Фростом, Кеннан занимался изучением системы русской ссылки в Сибири. Несмотря на то что до этого Дж. Кеннан провел более двух лет в Сибири и около года на Кавказе, его представление о революционном движении России сложилось под влиянием официальной пропаганды царского правительства. Однако знакомство с чудовищными условиями жизни ссыльных заставило американского путешественника коренным образом пересмотреть свои прежние взгляды.

В 1887—1891 гг. в журнале «The Century Illustrated Monthly Magazine» печатались статьи Кеннана о пребывании в Сибири, изданные в 1891 г. отдельной книгой «Сибирь и система ссылки». Книга потом была переведена на все европейские языки. В России она вышла только в 1906 г.

Выполняя просьбу ссыльных, знавших Толстого, рассказать ему о невыносимых условиях жизни политкаторжан, Кеннан посетил Ясную Поляну 17 июня 1886 г. и провел в обществе писателя один день. В лице Толстого, как это видно из воспоминаний, он встретил совершенно нового для себя человека, чья философия жизни сводилась к простым словам: «Не противьтесь злу насилием». Познакомившийся только что со всеми ужасами сибирской ссылки Кеннан никак не мог согласиться с подобной философией, считая ее иллюзорной. Рассказывая впоследствии об этой встрече в своей книге «Сибирь и система ссылки», Кеннан писал: Толстой «ясно сказал, что, жалея многих политических, он не может помочь им и совершенно не сочувствует их методам» (George Kennan. Siberia and the Exile System. New York, 1891, vol. II, p. 194). Кеннан полагал, что учение о непротивлении может оказать большое влияние на людей и даже изменить весь ход истории страны, если правительство не будет мешать писателю свободно высказывать свои мысли.

В письме от 21 декабря 1886 г. Кеннан обратился к Толстому с просьбой разрешить рассказать читателям о своем визите (см. *ЛН*, т. 75, кн. 1, с. 418).

Неизвестно, ответил ли Толстой согласием на эту просьбу, тем не менее воспоминания Кеннана «В гостях у графа Толстого», явившиеся его первым отчетом о поездке в Россию, появились в июньском номере журнала «The Century Illustrated Monthly Magazine» (New York) за 1887 г. Журнал попал в черный список русской цензуры, а «крамольные» воспоминания вырезаны почтовыми чиновниками. Толстой долго искал номер журнала, в котором были опубликованы воспоминания. Нашел он его у профессора Московского университета И. И. Янжула. Встретившись с писателем через неделю-две, И. Янжул поинтересовался: «Верно ли Кеннан изобразил свое посещение в вашу деревню, Лев Николаевич?» «Конечно, верно, — отвечал он, — ведь Кеннан не какой-нибудь корреспондент русской газеты, который четверть часа проболтает, а потом сообщит три короба разного вздора из головы. Кеннан истинный джентльмен и человек своего слова...» («Воспоминания И. И. Янжула о пережитом и виденном в 1864—1909 гг.» (СПб., 1911, выпуск второй, с. 19).

Толстой был знаком и с очерками Кеннана о Сибири.

В своем дневнике от 25 ноября 1888 г. он записывал: «Суждения о русском правительстве Kennan'а поучительны: мне стыдно бы было быть царем в таком государстве, где для моей безопасности нет другого средства, как ссылать в Сибирь тысячи и в том числе 16-летних девушек» (*ПСС*, т. 50, с. 5).

Еще подробнее Толстой высказался об очерках Кеннана в более позднем письме к автору, датированном 8 августа 1890 г. (см. *ПСС*, т. 65, с. 138).

Вновь обратился Толстой к очеркам Кеннана во время работы над романом «Воскресение», черпая в них информацию для описания сибирской ссылки (об этом см. статью Н. К. Гудзия: *ПСС*, т. 33, с. 391—392, а также статью Н. К. Гудзия и Е. А. Маймина в кн.: Л. Н. Толстой. Воскресение. М., «Наука», 1964, с. 532—533).

В июле 1901 г. Кеннан приехал в Россию, вновь хотел навестить Льва Толстого, но был задержан в Петербурге полицией и выслан из страны, как «неблагонадежный иностранец». Кроме воспоминаний, Кеннан написал несколько статей о Льве Толстом.

Краткий отчет о поездке Кеннана в Ясную Поляну был напечатан в «Неделе», 12 июля 1887 г., № 28, под названием «Американец в гостях у Л. Н. Толстого». В настоящем издании воспоминания Кеннана на русском языке печатаются впервые.

В ГОСТЯХ У ГРАФА ТОЛСТОГО

(Стр. 364)

По тексту: George Kennan. A visit to Count Tolstoi. — «The Century Illustrated Monthly Magazine», New York, 1887, June, vol. 34, № 2, p. 252—265.

[1] В 1878—1898 гг. место ссылки особо опасных политических преступников — на реке Каре, притоке Амура. Известно строгими условиями заключения: так, в 1889 г. в знак протеста против телесного наказания Н. К. Сигиды, от которого она умерла, пять человек покончило жизнь самоубийством. После этого к политическим заключенным в России в течение двадцати лет не применяли телесного наказания. В Яснополянской библиотеке Толстого сохранилась книга «Карийская трагедия». СПб., 1907.

[2] В своей книге «Сибирь и система ссылки» Кеннан рассказывал о посещении на Каре революционерки Н. А. Армфельд и о данном ей обещании «побывать у графа Льва Толстого и описать ему их жизнь» (George Kennan. Siberia and the Exile System. New York, 1891, vol. II, p. 194).

[3] Об этом эпизоде см. в воспоминаниях Е. Е. Лазарева.

[4] Речь идет о М. П. Ковалевской, сестре В. В. Воронцова, выступавшего в печати под псевдонимом — В. В. М. П. Ковалевская принимала участие в деятельности революционных кружков Одессы и Киева, выступала за самые решительные меры в борьбе с царским правительством. В 1879 г. была осуждена на 14 лет и 10 месяцев каторги. Ссылку отбывала на Каре, в Красноярской и Иркутской тюрьмах. В 1889 г. отравилась в знак протеста против телесного наказания своей подруги политической ссыльной Н. К. Сигиды.

[5] Любатович Ольга Спиридоновна, училась в Цюрихском университете, член Всероссийской социально-революционной организации. Одна из 16 женщин (вместе с С. И. Бардиной, В. С. Любатович, Л. Н. Фигнер и др.), привлеченных по процессу 50-ти, проходившему в Петербурге с 21 февраля по 14 марта 1877 г. Бежала из ссылки. Была членом организации «Земля и воля», потом членом исполнительного комитета «Народной воли». Вновь была арестована в 1881 г. Ссылку отбывала в Тобольской губернии.

[6] Сергей Львович.

[7] Россикова Елена Ивановна — народница. Арестована в 1879 г. за участие в экспроприации из Херсонского казначейства 1 500 000 рублей на революционные цели. Осуждена на пожизненную каторгу, которую отбывала с 1880 г. на Каре, затем с 1884 г.—

в Иркутской тюрьме. В 1887 г. была переведена вновь на Кару, где и умерла.

[8] Ни в ближайших, ни в последующих номерах журнала, в котором печатались (1887—1891) очерки Кеннана о России, этот рассказ не появился.

[9] Татьяна Львовна.

[10]. См. коммент. 9 к воспоминаниям П. Д. Боборыкина.

[11] Трактаты Толстого «Исповедь» и «В чем моя вера?» были переведены В. Г. Чертковым на английский язык и напечатаны в книге «Christ's Christianity». By Leo Tolstoy, London, 1884.

[12] Эти слова Толстого напоминают его ответ неизвестному американскому корреспонденту, датируемый маем — декабрем 1886 г.: «Я считаю, что единственный путь, который ведет к истинной церкви — это не организовывать какую-либо церковь или общину, а только искать царства Божия и его правды» (*ПСС*, т. 63, с. 431).

[13] Речь идет о И. Б. Файнермане, бывшем одно время верным последователем Толстого (см. коммент. 8 к воспоминаниям И. М. Ивакина).

[14] Трактат Толстого «В чем моя вера?» был издан в Америке в 1885 г. в переводе X. Смита. («My Religion». By Tolstoi. Translated from the French by H. Smith. New York, 1885).

[15] Разрешение Главного управления по делам печати было дано 22 апреля 1886 г. «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях, Семене-воине и Тарасе-брюхане и немой сестре Меланье и о старом дьяволе и трех чертенятах» вошла в т. 12 пятого издания «Сочинений графа Л. Н. Толстого» в 1886 г. и в этом же году вышла отдельным изданием в издательстве «Посредник».

[16] Отрывки из трактата Толстого «Исповедь» были приведены в статье священника А. Ф. Гусева «Лев Николаевич Толстой, его исповедь и мнимо-новая вера». Статья была опубликована в журнале «Православное обозрение». Москва, 1886, январь — июнь, сентябрь, октябрь.

[17] Уильям (Вильям) Ллойд Гаррисон — американский политический деятель и писатель, активный сторонник движения за освобождение негров от рабства. В 1831—1865 гг. он издавал еженедельную газету «Освободитель» («Liberator»). Был одним из создателей «Американского общества аболиционистов» (1838 г.), по поручению членов которого в том же году написал «Декларацию чувств» — трактат, устанавливавший основы и цели этого общества. Являясь ревностным сторонником аболиционистского движения в Америке, Гаррисон проповедовал теорию непротивления злу.

В начале 1886 г. один из сыновей Гаррисона прислал Толстому «Декларацию» своего отца, которая произвела на писателя сильное впечатление. В 1890 г., рассуждая о непротивленцах, Толстой называл Гаррисона «одним из величайших людей не только Америки, но и всего мира» (*ПСС*, т. 28, с. 313). Толстой перевел «Декларацию» на русский язык и вместе с кратким очерком о деятельности ее автора поместил в своем трактате «Царство божие внутри вас» (1890—1893). Он цитировал выдержки из этой «Декларации» в книге «Круг чтения» (1904—1908) и написал предисловие к краткой биографии Гаррисона. Впервые это предисловие было опубликовано по-русски в Англии под названием «Гаррисон и непротивление насилием» в журнале «Свободное слово», 1904, № 9 (январь, февраль) и по-английски в издании «A short biography of William Lloyd Garrison, by W. Tcherkoff and F. Hollah with an introductory appreciation of his Life and Work by Leo Tolstoy», Christchurch, 1904.

Еще раз вернулся Толстой к деятельности Гаррисона в своей статье «Наше жизнепонимание» (1907).

[18] Оливер Джонсон — друг и сподвижник У. (В.) Л. Гаррисона — был автором двух биографий о нем: «Гаррисон: очерк жизни». Нью-Йорк, 1879 («Garrison: an outline of his life». New York, 1879) и «Уильям Ллойд Гаррисон и его время, или очерк об аболиционистском движении в Америке и о человеке, который был его основателем и моральным вождем». Бостон, 1879 («William Lloyd Garrison and his times; or sketches of the antislavery movement in America, and of the man who was its founder and moral leader». Boston, 1879).

Какую книгу О. Джонсона, присланную Толстому в 1886 г. сыном Гаррисона, читал Толстой, установить не удалось.

[19] В начале 1885 г. В. Г. Чертков прислал Толстому две книги американского священника-аболициониста Теодора Паркера: «О преходящем и постоянном в христианстве» (1841) («The Transient and Permanent in Christianity») и «Рассуждение о вопросах, относящихся к религии» (1842) («A Discource of Matters Pertaining to Religion»). Толстой сразу увлекся Паркером. Рассуждения американского пастора о религии, невольничестве и войне были близки Толстому.

В письме к С. А. Толстой от 25 февраля 1885 г. Толстой писал: «Читаю: нынче нашел американского писателя религиозного, Паркера, и очень был счастлив находить прекрасно выраженные свои мысли 20 лет тому назад» (*ПСС*, т. 83, с. 486). Толстой называл Паркера «удивительным» и говорил, что его книга «Рассуждение о вопросах, относящихся к религии» произвела на него большое впечатление, а в письме от 21 июня 1900 г. к Эдуарду Гарнету он

называет Паркера в ряду тех американских писателей 50-х годов, которые «особенно повлияли на меня» (*ПСС*, т. 72, с. 397).

Цитаты из книг Теодора Паркера Толстой использовал в своих книгах «Круг чтения», «На каждый день», «Путь жизни».

[20] Мормоны — американская секта, основанная около 1830 г. Джозефом Смитом, допускавшая многоженство.

Н. Н. ИВАНОВ

Николай Никитич Иванов (1867—1913) — сын тюремного фельдшера, сотрудник издательства «Посредник». Впервые он встретился с писателем в 1886 г. и увлекся его новыми идеями, стал подражать Толстому в своих рассказах и стихотворных притчах. Верный идеям Толстого, он собирался «написать священную историю, в которой бы образ Христа был яснее и ближе к настоящему Христу» (из письма Л. Н. Толстому от 23 января 1887 г. — *ГМТ*). Ряд его произведений (некоторые — с поправками Толстого) печатались в книжках «Посредника» — «Цветник», «Гусляр», некоторые были запрещены цензурой (см. коммент. к воспоминаниям).

Толстой внимательно относился к Иванову, его творчеству. Он советовал ему «приучаться строго относиться к себе, к своей работе» (см. *ПСС*, т. 86, с. 27, 170).

Иванов бывал у Толстого в Москве и в Ясной Поляне. В конце 90-х годов он задумал написать книгу воспоминаний о Толстом, охватывающую все годы его знакомства с писателем, которую впоследствии озаглавил: «Двадцать лет знакомства с Львом Толстым, его семьей, друзьями и последователями, 1886—1906 гг.».

Публикуемые воспоминания сохранили непосредственность впечатлений их автора, а потому и достоверность.

У Л Н ТОЛСТОГО В МОСКВЕ В 1886 ГОДУ

(Стр. 381)

По тексту: «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник». М. — Л., ГИЗ, 1928, с. 180—201, с уточнениями по автографу (*ГМТ*).

[1] В вариантах воспоминаний криптоним раскрывается: «В. Г. Соколов» (*ГМТ*), он назван Н. Н. Ивановым студентом Московского университета. Данные о его посещении Толстым неизвестны.

[2] Эта мысль в такой же форме изложена в ранее публиковавшихся воспоминаниях Г. П. Данилевского (см. с. 351 наст. тома).

[3] «Свечка» печаталась в «Книжках недели», 1886, № 1.

[4] Какая-то ошибка. Трактат «Так что же нам делать?» в отрывках впервые был опубликован в 12-й части «Сочинений» Толстого. Эта часть вышла через месяц после первой встречи Н. Н. Иванова с Толстым.

[5] Автором этих произведений был В. И. Савихин.

[6] Эпизод из романа Золя «Западня» в переделке М. К. Цебриковой.

[7] По роману Гюго «93 год», в изложении Е. П. Свешниковой. Толстой писал об этой работе В. Г. Черткову в начале июня 1885 г.: «Я вчера прочел эту статью вслух при наших и кузминских детях и взрослых. Всех захватило. Язык не безупречный в описаниях, но поправлять не буду... и прибавлять в конце не буду (*ПСС*, т. 85, с. 211).

[8] Иванов переделывал для «Посредника» «Наш общий друг» Диккенса. Он писал Толстому 30 июня 1886 г.: «Переделка романа идет у меня тихо; написал только конспект первого тома. Мне хочется хорошенько обдумать сперва, чтоб не повторить неудачи других, как с «Жервезой» или окончанием «Брат на брата». Судьба Чарли (брат Лиззи) меня очень интересует, и мне не хочется оставлять его каким-то пропавшим, как это у Диккенса. История с учителем Брэдли черна, и, если не ошибаюсь, есть что-то нехорошее в ней. Поражение и изгнание Вегга Боффинами мне не нравится, особенно нехорошо выбрасывание его шляпы, возмутительные поступки Дж. Гармона и Хлюпа при этом изгнании действительного негодяя. История с Бетти Хигден превосходна, подобные сцены, как битье палками Фледжби и присыпание ран перцем — мерзость» (*ГМТ*, правописание имен дано в принятой транскрипции).

[9] Речь идет о рассказе «Пасха». О нем Толстой писал В. Г. Черткову 11 апреля 1886 г.: «Послала ли вам Таня, дочь, рассказ Иванова, очень хороший? Но, пожалуйста, хорошенько покритикуйте, я могу быть пристрастен» (*ПСС*, т. 85, с. 336).

[10] Толстой пешком в Тулу вместе с М. А. Стаховичем, Н. Н. Ге — сыном отправились из Москвы 4 апреля 1886 г.

[11] В XII части «Сочинений» были впервые опубликованы «Народные рассказы», «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы», статья «О народном образовании», главы из трактата «Так что же нам делать?».

[12] Установлено, что этот мотив Толстой позаимствовал из «Сборника сведений о кавказских горцах» (вып. IV, Тифлис, 1870). Экземпляр этого сборника с пометами Толстого сохранился в

Яснополянской библиотеке Толстого (сб. «Толстой-редактор». М., «Книга», 1965, с. 211).

[13] Басни-притчи «Блоха и муха», «Три друга» с поправками Толстого (см. о них в сб. «Толстой-редактор», с. 213—219) были опубликованы в сборнике «Цветник». Рассказ «Юродивый» был запрещен цензурой.

Е. В. ОБОЛЕНСКАЯ

Елизавета Валерьяновна Оболенская (1852—1935) — племянница Л. Н. Толстого, дочь М. Н. Толстой. Публикуемый отрывок — часть ее обширных воспоминаний, напечатанных в журнале «Октябрь» (1928, № 9—10) и в «Летописях Гос. литературного музея» (кн. 2, М., 1938).

МОЯ МАТЬ И ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

⟨*Отрывок*⟩

(Стр. 399)

По тексту: *Летописи*, *2*, с. 289—290, 296—299, 307—309, с уточнением по машинописной, исправленной автором рукописи (*ЦГАЛИ*).

[1] Письмо от 9—10 февраля 1882 г. (см. *ПСС*, т. 63, с. 89).

[2] Это произошло в 1889 г.

[3] Варварой Валерьяновной.

[4] Е. В. Оболенская писала своей дочери Марии в 1893 г.: «Бабушка наша пока плохая монахиня... Богу она молится не по желанию, не по влечению, а потому что надо; вообще все монастырские правила исполняет по той же причине» (*ЦГАЛИ*).

[5] Эта книга в двух томах с пометами Толстого хранится в Яснополянской библиотеке. Ее полное название: «Добротолюбие, или Словеса и главизны священного трезвения, собранные от писаний святых и богодуховенных отец, в нем же нравственным по деянию и умозрению любомудрием ум очищается, просвещается и совершен бывает. Переведено с эллино-греческого языка». М., 1851.

[6] Из письма Толстого к сестре от 10 апреля 1907 г. (см. *ПСС*, т. 77, с. 77).

[7] М. Н. Волконская.

[8] Дед Толстого по матери, Н. С. Волконский.

[9] См. также воспоминания С. А. Берса.

[10] «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого (см. *ЛН*, т. 90 — готовится к выпуску).

А. К. ЧЕРТКОВА

Анна Константиновна Черткова (1859—1927) — жена В. Г. Черткова. Впервые познакомилась с Толстым в 1886 г., принимала деятельное участие в работе издательства «Посредник», находилась в переписке с Толстым. Этой перепиской отчасти был навеян трактат Л. Н. Толстого «О смерти» (1888). Она также сотрудничала в заграничном издании В. Г. Черткова «Свободное слово». В 20-е годы занималась разбором, описанием рукописей Толстого для его Полного собрания сочинений (Юбилейное издание), комментировала переписку Толстого с В. Г. Чертковым. Результатом этой работы была ее статья «Толстой об искусстве» («Толстой и о Толстом», III, 1927). Мемуары о Толстом написаны Чертковой в 20-е годы. Хотя ее воспоминания порой эгоцентричны, а также весьма пристрастны по отношению к С. А. Толстой, Л. Н. Толстой, его душевный мир воспроизведены в них достоверно и живо.

С публикуемыми здесь мемуарами перекликаются ей же принадлежащие посмертно напечатанные «Мои первые воспоминания о Л. Н. Толстом» («Л. Н. Толстой. Юбилейный сборник». М.—Л., ГИЗ, 1928, с. 145—179).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Л. Н. ТОЛСТОМ

(Стр. 409)

По тексту: «Толстой и о Толстом. Новые материалы», сб. 2. М., 1926, с. 87—112.

[1] «Власть тьмы».

[2] Толстой написал «Вариант» вместо 12—16 явлений четвертого действия, в которых показывалось убийство ребенка Анисьей, Никитой и Матреной. В «Варианте» это же событие раскрывается главным образом в восприятии отставного солдата Митрича и Анютки. Митрич впервые появляется в третьем действии пьесы.

[3] Толстому невольно подражали все, кто слышал его чтение. С. А. Толстая в записках «Моя жизнь» вспоминает: «Собрала я у себя целое общество для чтения «Власти тьмы». Незадолго до этого я слышала, как ее превосходно читал сам Лев Николаевич, и научилась у него правильным интонациям...» («Неделя», 1966, № 34, с. 6).

[4] Речь идет об «Исследовании догматического богословия».

[5] Сборник стихотворений был издан «Посредником» в 1887 г. А. К. Черткова писала Толстому 28 февраля 1887 г.: «Почти все стихотворения были подобраны сообща с вами в тот вечер,

когда мы сидели у вас в кабинете, и потому я утешаю себя, что это «наш общий» сборник, и мысль эта очень радует меня. Я очень жалею, что до нас не дошли отобранные вами стихотворения, но ведь это не потерянное дело, мы имеем в виду второй сборник» (*ГМТ*).

[6] В сборник «Гусляр» стихотворения Тютчева не попали. В нем главное место заняли стихи Некрасова, Пушкина, Никитина, Кольцова, Хомякова.

[7] Романс П. И. Чайковского на слова А. К. Толстого.

[8] М. Г. Савина приезжала к Толстому 28 декабря 1886 г.

[9] Разрешение поставить «Власть тьмы» в свой бенефис М. Савиной было получено через Д. Д. Оболенского ранее, и она отвечала Толстому благодарственным письмом 20 декабря 1886 г. (см. *ПСС*, т. 63, с. 455—456). Визит Савиной мог быть вызван цензурными затруднениями в разрешении постановки пьесы на сцене Александринского театра. Перед приездом Савиной в Москву Толстой писал ей: «Будьте так добры известите меня, когда вы заручитесь пропуском или ручательством в нем в театральной цензуре. Мне это нужно для постановки на здешнем народном театре» (*РЛ*, 1967, № 2, с. 140). Постановка так и не состоялась. Она была запрещена цензурой.

[10] По-видимому, у Савиной были трудности и колебания при выборе роли в Александринском театре. Перед приездом ее в Москву Толстой знал, что актриса остановилась на роли Акулины. «Я очень рад, что вы взяли роль Акулины, — писал Толстой. — Не хорошо бывает, когда выдающийся актер берет второстепенную по смыслу роль и тем путает «les valeurs» [значение] ролей. Но тут будет наоборот: роль Акулины, небольшая по размерам, должна иметь первостепенное значение» (т а м ж е). Но Савиной хотелось сыграть и роль Анютки, тем более что в театре не сразу нашли исполнительницу для этой роли. А. А. Потехин писал Толстому 16 февраля 1887 г.: «Очень трудно найти актрису для роли 10-летней Анютки, роли бесподобной, но требующей большого таланта и артистического чутья... Не согласитесь ли Вы, в случае необходимости, сделать Анюту не 10-летним ребенком, а девочкой-подростком, лет 13—14... Савина по таланту могла бы превосходно сыграть эту роль, но лицом она будет немножко стара для нее, да и остановилась уже согласно Вашему желанию на роли Акулины, что также очень выгодно для пьесы» (*ВЛ*, 1960, № 11, с. 77). М. А. Стахович позже писал, что Савина «полетела в Москву просить Толстого переделать Анютку в восемнадцатилетнюю — ну, хоть в шестнадцатилетнюю» («Кончина М. Г. Савиной», т. 1. СПб., 1916, с. 185). После разрешения «Власти тьмы» к постановке (1895) М. Савина играла роль Акулины.

Н. И. ТИМКОВСКИЙ

Николай Иванович Тимковский (1863—1922) — беллетрист и драматург. Тимковский познакомился с Толстым в конце 80-х годов, когда принес ему на суд свои первые литературные опыты. Встречи с Толстым определили его литературную судьбу. У Тимковского она складывалась под воздействием всей творческой деятельности Толстого, который олицетворял для него современную эпоху с ее духовным брожением, общегуманистическими идеалами. В марте 1895 г., после прочтения рассказа «Хозяин и работник», Тимковский писал Толстому: «Все выходящее из-под Вашего пера оставляет во мне следы на всю жизнь; даже тогда, когда я не соглашаюсь с Вами, Ваши слова проводят в моей душе глубокую борозду... Ваши слова для меня подобно оспе, которую прививают для предостережения от заразы» (*ГМТ*).

Публикуемые мемуары Тимковского были прочитаны 5 декабря 1908 г. в Обществе любителей российской словесности и в первоначальной редакции напечатаны в «Бодром слове» (1909, № 3—4). Своеобразным комментарием к ним является большая работа Тимковского «Душа Л. Н. Толстого». Не противопоставляя «добро» и «зло» в «учении» Толстого, как это делал Л. Шестов, «плотское» начало «духовному» (точка зрения Д. Мережковского), Тимковский, как и В. Вересаев, обратил внимание на духовное богатство личности художника, его «живую жизнь». «Да, нам дорога сама живая индивидуальность Л. Толстого, — писал он, — формулы которого получают свой надлежащий смысл только при свете ее» (Н. Тимковский. Душа Л. Н. Толстого. М., 1913, с. 151).

Тимковскому же принадлежат еще два мемуарных этюда о Толстом: «Мои первые свидания с Л. Н. Толстым» (1908), «Л. Н. Толстой о писательстве» (1909).

МОЕ ЛИЧНОЕ ЗНАКОМСТВО С Л. Н. ТОЛСТЫМ

(Стр. 429)

По тексту: Н. Тимковский. Душа Л. Н. Толстого. М., 1913, с. 153—166.

[1] Названия псевдонародных изданий. Ср. у Некрасова в «Кому на Руси жить хорошо»: «И не милорда глупого...»

[2] В изд. «Посредник» в 1889 г. был опубликован его рассказ «Вьюга». Для «Посредника» он подготовил несколько переделок: «Письмовник», «Дедушкин колпак».

[3] То есть до начала 900-х годов.

[4] Автором этой брошюры был А. И. Орлов.

[5] Речь идет о незавершенном предисловии Толстого к книжке А. И. Орлова (см. *ПСС*, т. 26, с. 649—651).

[6] Имеются в виду пьесы Толстого для народных представлений: «Первый винокур», «Петр-хлебник» и др.

[7] Слова Молчалина из комедии Грибоедова «Горе от ума».

[8] Пророк Моисей, по библейской легенде, на Синайском полуострове, у горы Хорива, услышал божественный призыв к освобождению порабощенных израильских племен.

А. М. НОВИКОВ

Алексей Митрофанович Новиков (1865—1927) — сын тульского рабочего, педагог, врач, в 1889—1891 гг. — учитель младших сыновей писателя. Толстой пишет Н. Н. Страхову вскоре после приезда Новикова в Ясную Поляну: «Учитель очень удачный и русский — дарвинист большой» (*ПСС*, т. 64, с. 334—335). Новиков всерьез занимался естественными науками и впоследствии еще получил диплом врача. Споры Толстого с «дарвинистом» начались еще до приезда Новикова к Толстым, в имении их знакомого И. И. Раевского (см. дневник Толстого от 6 мая 1889 г. — *ПСС*, т. 50, с. 79), а затем они разгорались в Ясной Поляне. Толстой в большей степени осуждал не «противника», а себя — за язвительность, за иронию, за отрицание логики «у каждого из заблуждающихся» (т а м ж е, с. 174), но не отступал, защищая свое понимание нравственных законов науки, соотношений физического, психологического, духовного в жизни человека, борьбы в человеческом обществе (см. т а м ж е, с. 170, 174, 178).

Новиков и в семье Толстых вел себя непринужденно, не подлаживаясь под авторитетные мнения. Т. Л. Сухотина-Толстая вспоминает, как в октябрьский вечер 1890 г. «говорили о том, кто во что верит». Дочь С. Н. Толстого Вера сказала, что она не верит в бога, и Алексей Митрофанович протянул ей руку и объявил, что он тоже атеист». «Папá, — пишет Т. Л. Сухотина, — на это сказал, что все равно, во что люди верят и чтó они думают о будущей жизни, о божественности Христа, о том, куда пойдет душа после смерти и т. д., а что важно то, чтобы люди знали, чтó хорошо и чтó дурно» (Т. Л. С у х о т и н а, с. 196).

Компромиссы были возможны потому, что они сходились в главном — в неприятии неравенства, в осуждении барства, социального паразитизма.

А. М. Новиков перевел рассказ Мопассана «Порт». Этот перевод был основой для литературной обработки Л. Н. Толстого: «Франсуаза» (см. *ПСС*, т. 27, с. 251—258).

Воспоминания написаны А. М. Новиковым в начале 900-х годов. Ему же принадлежат и другие воспоминания: «Л. Н. Толстой и И. И. Раевский» (1909).

ЗИМА 1889—1890 годов В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(*Картины яснополянской жизни в 1890-х годах*)

(Стр. 439)

По тексту: «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник». М.—Л., ГИЗ, 1928, с. 202—217.

[1] Приезд Новикова в Ясную Поляну Толстой отметил в своем дневнике от 9 октября 1889 г. (*ПСС*, т. 50, с. 155).

[2] Это общее заключение неверно. Несмотря на конфликты в семье Толстых, Л. Н. Толстой и после духовного перелома не отчуждался от семейных забот. Так, он писал дочери Татьяне за границу, 1 ноября 1889 г.: «У нас очень хорошо и, кажется, не одному мне, но всем и мама́, как ты видишь из письма, и Маше, несмотря или вследствие того, что она ходит за Сашей в карантине, и малышам, которые очень милы под влиянием нас и Новикова, учителя, очень оригинального, умного и доброго, и ласкового к детям человека» (*ПСС*, т. 64, с. 325; см. также с. 308).

[3] В письме к В. Г. Черткову от 9 октября 1888 г. рассказ В. А. Слепцова «Питомка» Толстой называл «превосходной вещью» (*ПСС*, т. 86, с. 177). В дневнике Толстого того же периода чтение Слепцова отмечено в декабре 1889 г., в августе 1890 г. 19 декабря 1889 г. Толстой записал: «Читал Слепцова «Трудное время». Да, требования были другие в 60-х годах. И оттого, что с требованиями этими связывалось убийство 1-го марта, люди вообразили, что требования эти неправильны. Напрасно. Они будут до тех пор, пока не будут исполнены» (там же, т. 50, с. 194).

[4] Эта школа была создана в начале 1890 г.

[5] Татьяна Толстая вернулась в Ясную Поляну 16 ноября 1889 г.

[6] Это чтение происходило, вероятно, 11 декабря 1889 г. Толстой записывал на следующий день в своем дневнике: «Вчера Алексей Митрофанович восхищался моей комедией. Мне неприятно даже вспомнить» (*ПСС*, т. 50, с. 192).

[7] С. А. Толстая в записках «Моя жизнь» сообщает другую

версию этого эпизода: «Приехавшая из-за границы Таня вздумала устроить на праздниках какое-нибудь веселье. Зная, что всякое такое побуждение вызывало неудовольствие отца, она придумала достать из портфеля его комедию «Исхитрилась» и разыграть ее в Ясной Поляне. Дети и я сочувствовали этому плану, и Таня, со смелостью любимицы, прямо объявила о своем плане отцу. Он сначала отнесся к этому довольно снисходительно...» («Неделя», 1966, № 34). Инициатива Тани подтверждается письмом Толстого Л. Ф. Анненковой от 25 декабря 1889 г.: «Таня дочь затеяла спектакль и попросила у меня, я согласился...» (*ПСС*, т. 64, с. 345).

[8] Иван и Петр Раевские.

[9] Несмотря на некоторое участие Толстого в постановке домашнего спектакля, он по-прежнему относился к нему как к «ненужной забаве богатых и праздных людей». Он записывает в дневнике 22 декабря 1889 г.: «Приехало много народу, ставят сцену. Мне это иногда тяжело и стыдно...» (там же, с. 194).

[10] С. А. Толстая писала в книге «Моя жизнь»: «Сергей Алексеевич Лопухин играл барина, сын Сережа — профессора, Соня Мамонова — барыню, моя Таня — горничную, Маня Рачинская — будущая жена сына Сережи — Бетси, наша Маша — кухарку; три мужика были превосходны, и буфетного мужика Семена прекрасно изобразил Ваня Раевский» («Неделя», 1966, № 34).

[11] См. также воспоминания П. А. Сергеенко в наст. издании (т. 2).

[12] П. Ф. Самарин.

П. Г. ГАНЗЕН

Петр Готфридович Ганзен (1846—1930) — датчанин, принявший русское подданство, переводчик, публицист; перевел на датский язык ряд произведений Л. Н. Толстого: «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Крейцерову сонату», «Послесловие» к ней и др. Под влиянием толстовских идей написал цикл очерков «Опыт оздоровления деревни» (1901—1902).

Мемуарный очерк о Толстом был создан задолго до первой публикации — в июле 1890 г. По словам Ганзена, он не торопился с публикацией, так как «боялся» быть причисленным к компании посетителей, которые для того только и «добиваются доступа к великому писателю, чтобы поскорее оповестить об этом весь мир». «Особенно, — пишет Ганзен, — всегда удивлялся я смелости повествователей, приводивших на память длиннейшие «подлинные речи» Толстого. Я на такую память не претендую и по большей

части передаю лишь смысл бесед с Львом Николаевичем, а его собственные слова привожу лишь в тех случаях, когда они по своей краткости и выразительности действительно могли сразу врезаться в память» (*ИВ*, 1917, № 1, с. 161). Очерк Ганзена интересен тем, что передает как бы самый творческий процесс Толстого в работе над созданием одного из произведений. Доброжелателен весь тон очерка и по отношению к Толстому и его семье.

ПЯТЬ ДНЕЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(В апреле 1890 г.)

(Стр. 451)

По тексту: *ИВ*, 1917, № 1, с. 142—160.

[1] О приезде Ганзена в Ясную Поляну Толстого предупредил И. И. Горбунов-Посадов в письме от 29 марта 1891 г. (*ГМТ*).

[2] Из письма Толстого Ганзену от 14 сентября 1890 г. (см. *ПСС*, т. 66, с. 44).

[3] Они до сих пор неизвестны.

[4] Из датских писателей Толстой выделял двух: С. Киркегора (Кьéркегора) и Бьернстьерне-Бьернсона. Он писал Ганзену 14 сентября 1891 г.: «То ли дело Киркегор и Бьернсон, хотя и различные по роду писаний, но оба имеют еще главное качество писателя — искренность, горячность, серьезность. Серьезно думают и говорят, то что думают и говорят» (там же).

[5] Ганзен в середине 80-х годов перевел ряд статей из цикла «Одно из двух» — «первого капитального сочинения» Кьéркегора, как писал Ганзен М. М. Стасюлевичу 14 августа 1885 г. (*ГМТ*). Две статьи были тогда же опубликованы: «Эстетические и этические начала в развитии личности» («Северный вестник», 1885, №№ 1, 3, 4), «Афоризмы и эстетика» (*ВЕ*, 1886, № 5). Статья о Дон Жуане «Непосредственные эротические стадии, или музыкально-эротическое» не была напечатана. Оттиски первой статьи сохранились в Яснополянской библиотеке с пометками Л. Н. Толстого (см. «Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Библиографическое описание», I. М., «Книга», 1972, с. 353).

[6] Книги о спиритизме Толстой читал в период работы над комедией «Плоды просвещения».

[7] См. коммент. 4 к воспоминаниям А. Н. Молчанова.

[8] Эта цифра мифическая. Роман имел две основные редакции. Отдельные части и главы имели много вариантов (см.: Э. Е. Зайденшнур. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Создание великой книги. М., «Книга», 1966).

[9] Вероятно, речь идет о рассказе Т. Л. Толстой «Учитель музыки».

[10] Статья 1891 г., задумана была в 1890 г.

[11] Первые положительные рецензии на «Азбуку» появились примерно через год после ее выхода, в 1873 г.

[12] Имеется в виду чтение «Крейцеровой сонаты» в Обществе любителей российской словесности в марте 1890 г.

[13] Н. П. Вагнер, редактор журнала «Свет», упрекал Толстого в своем письме к нему от 13 марта 1890 г. в том, что тот якобы изобразил в «Плодах просвещения» его и А. М. Бутлерова в образе профессора Кругосветлова, и унизил себя до «пасквиля на профессоров и ученых» (*ГМТ*).

[14] Толстой, отвечая Н. П. Вагнеру 25 марта 1890 г., между прочим писал: «О вас и о Бутлерове я никогда не думал, пиша комедию... Профессор же является как олицетворение того беспрестанно встречающегося и комического противоречия: исповедание строгих научных приемов и самых фантастических построений и утверждений. И главное мое с годами все усиливающееся отвращение, от которого я не отрекаюсь, ко всяким суевериям, к которым я причисляю спиритизм» (*ПСС*, т. 65, с. 59).

[15] Романс Р. Шумана на слова Г. Гейне «Я не сержусь...».

[16] По-видимому, речь идет о длительной полемике Вл. Соловьева с Н. Н. Страховым по поводу книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» и другим вопросам.

[17] Отсылая «Послесловие» к «Крейцеровой сонате» П. Ганзену, Толстой писал ему 25 апреля 1890 г.: «Послесловие я опять переработывал, и кажется, что оно улучшилось. И кажется тоже, что я уже не в силах более его переделывать» (*ПСС*, т. 65, с. 78). Через четыре дня, 29 апреля 1890 г., Толстой в письме к Э. Диллону добавлял: «Этому делу никогда не бывает конца. Я и теперь думаю о том же, и все кажется, что нужно бы еще много уяснить и прибавить. И это понятно, потому что дело такой огромной важности и новизны...» (там же, с. 82).

А. Н. МОЛЧАНОВ

Александр Николаевич Молчанов (1847—?) — беллетрист, публицист, корреспондент «Нового времени», встречался с Толстым в июне 1890 г. Текст его интервью был перепечатан в ряде зарубежных изданий (см.: В. Л⟨акшин⟩. Забытое интервью с Львом Толстым. — «Новый мир», 1963, № 3) и имел резонанс. Молодой Р. Роллан писал М. фон Мейзенбуг 2 июля 1890 г.: «...Читали

ли вы интервью с Толстым относительно Вильгельма II и Бисмарка? Толстой не без сочувствия смотрит на реформы, предпринятые императором, но Бисмарка презирает от всего сердца» («Дружба народов», 1960, № 11, с. 241).

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(Стр. 468)

По тексту газеты: «Новое время», 1890, № 5125, 7(19) июня.

[1] 1 июня 1890 г. Толстой в этот день писал о своих посетителях: «Корреспондент Молчанов — пустой, и тульский Баташев и доктор — еще пуще» (*ПСС*, т. 51, с. 47).

[2] Толстой заболел в конце апреля 1890 г. 10 мая он записал в дневнике: «Привезли доктора Руднева. Он верно определил болезнь — воспаление 12-перстной кишки, а не желтуха от заткнутия протока. Лучше ничего не знать, чем знать неточно, как я» (там же, с. 41).

[3] «Крейцерова соната» была завершена в конце 1889 г.

[4] Вероятно, речь идет об одном из ранних переводов произведения Толстого на немецкий язык: «Die Kreutzersonate. Erzählung». Deutsche Ausg. Berlin, 1890.

[5] Об Э. Диллоне см. коммент. к его воспоминаниям в наст. томе.

[6] Предисловие Толстого к книге П. Алексеева «О пьянстве» под названием «Для чего люди одурманиваются?» было опубликовано в изд. «Русская мысль» в 1891 г.

[7] Н. В. Успенский в свое время сотрудничал в журнале «Ясная Поляна», приглашался Толстым учительствовать в школе. Последний раз они виделись в начале 1889 г. на Московском вокзале (см.: И. Дедусенко. Н. В. Успенский и Л. Н. Толстой. — *ВЛ*, 1965, № 9, с. 254). В мае 1889 г. Толстой читал рассказы Успенского и выделил его очерк «При своем деле» (см. *ПСС*, т. 50, с. 81).

[8] Толстой в 50-е годы резко отрицательно воспринимал культ Наполеона III. Познакомившись с его самодовольной речью при открытии законодательного корпуса (1857), Толстой записал в дневнике: «Никто так не понял, как французы, что нахальство покоряет людей. Прямо кулаком в нос; только решительно, всякий посторонится и еще почувствует себя виноват. На эту мысль навела меня речь Наполеона...» (*ПСС*, т. 47, с. 202).

[9] Вильгельм II, вступивший на престол в 1888 г., вынужден был провести ряд реформ в области рабочего законодательства:

одиннадцатичасовой рабочий день для женщин, запрещение работы на фабриках и заводах для подростков и др. Сопоставляя различные социальные программы того времени, Толстой писал в дневнике о реформах Вильгельма II: «Другое средство состоит в том, чтобы делать то, что делает теперь Вильгельм II. Не изменяя существующего порядка, от высших сословий, имеющих богатство и власть, отбирать маленькую долю этих богатств и бросать их в бездонную пропасть нищеты. Устроить вверху вытягивающей тепло трубы, там, где проходит тепло — опахала и этими опахалами махать на тепло, гоня его к низу в холодные слои. — Занятие очевидно праздное и бесполезное...» (*ПСС*, т. 51, с. 36).

[10] Замысел этот не был осуществлен, хотя он занимал Толстого и в последующие годы, что подтверждается, как устанавливает В. Я. Лакшин, дневниковыми записями: «Вспомнил два прекрасные сюжета для повестей: самоубийство старика... и подмена ребенка в воспитательном доме» (запись 14 сентября 1896 г. — *ПСС*, т. 53, с. 107), «Рассказ: подмененный ребенок» (10 августа 1905 г. — *ПСС*, т. 55, с. 157).

ЭМИЛИЙ ДИЛЛОН

Эмилий Диллон (1855—1933) — английский журналист, ученый и переводчик.

В Петербург Диллон приехал как корреспондент английской газеты «Daily Telegraph» в конце 70-х годов (см. его письмо И. П. Минаеву 1 ноября 1879 г. — *ЦГАЛИ*), но занялся наукой. Он был одним из издателей журнала «Museon» и задумал основать Русское восточное общество с отделениями в Москве и Петербурге (*ЦГАЛИ*). Осуществить намерение не удалось, и Диллон уехал в Харьков, где в 1884 г. получил степень доктора сравнительного языкознания и был избран экстраординарным профессором Харьковского университета.

Во время пребывания в России Диллон познакомился с Н. Ге, Н. Лесковым, В. Соловьевым, В. Чертковым и др. (см.: E. Dillon. Count Leo Tolstoy. A new portrait. Lnd., 1934, p. 108). Но особенно важными для него были две встречи с Л. Н. Толстым.

Еще в Харьковском университете Диллон внимательно следил за публикациями Толстого.

Эстетические и философские суждения Толстого имели сильное влияние на формирование его взглядов. Так, под впечатлением заметки Толстого о картине Н. Ге «Что есть истина?» Дил-

лон публикует статью «Ге, художник и апостол. Жизнь и произведения знаменитого русского художника» (см. «Review of Reviews», 1890, № 12).

В письме, отправленном вместе с корректурой статьи в Ясную Поляну 8 ноября 1890 г., говорится: «Я постарался смотреть на Ге с той точки зрения, с которой следует смотреть держащемуся тех взглядов об искусстве, которые Вы иногда мимоходом высказывали в Ваших сочинениях» (*ГМТ*).

В одну из лондонских поездок у Диллона возникла мысль написать биографию Толстого. В переписке с Чертковым уточняется время визита: «Надеюсь до Рождества быть у Льва Николаевича» (*ЦГАЛИ*). Диллон провел в Ясной Поляне 13—15 декабря 1890 г. (см. *ПСС*, т. 51, с. 111 и *Дневники С. А. Толстой*, *I*, с. 153—154). Но ни после визита, ни многие годы спустя он не публиковал свои записи.

Второй приезд Диллона к Толстому состоялся 28 января 1892 г. (см. *ПСС*, т. 66, с. 146) и был вызван недоразумениями, возникшими в связи с переводом Диллоном статьи Толстого «О голоде» (там же, с. 160, а также см. E. Dillon. Count Leo Tolstoy, ch. XIV. Newspaper war between Tolstoy and Dillon, pp. 205—207).

Диллон чутко уловил настроение Толстого, в дневнике которого 15 декабря 1890 г., в день отъезда английского журналиста, появилась такая запись: «...Потом Диллон. Нынче только уехал. Мне было тяжело отчасти потому, что я чувствовал, что я для него материал для писания. Но умный и как будто с возникнувшим религиозным интересом» (*ПСС*, т. 51, с. 111).

Вскоре после первого посещения Ясной Поляны Диллон пишет Толстому 23 января 1891 г. «...Простое любопытство или обыкновенные цели так наз⟨ываемого⟩ «interviewer'а» были мне совершенно чужды. Я не печатал ни одной строчки о моем посещении Ясной Поляны да и не напечатаю никогда» (*ГМТ*).

Книгу о Толстом Диллон начал писать на закате жизни.

Он не изменил своего отношения к Толстому после отъезда из России (см. его письмо из Вены от 17/30 августа 1892 г. — *ГМТ*). В своих воспоминаниях он попытался не только восстановить цепочку событий, но и осмыслить роль Толстого для целого поколения русской и западной интеллигенции. Еще раньше в письме к Толстому он определил свою задачу так: «Мне очень хочется, чтобы всем стало известным истинное значение жизни и деятельности человека, который имел более сильное влияние на духовное развитие своих соотечественников, чем кто бы то ни было с времен Владимира, и такое же благотворное влияние на искус-

ство и нравственность граждан всего цивилизгванного мира» (*ГМТ*).

В его глазах Толстой — Данте нового века, художник и мыслитель, носивший ад и рай в душе, знавший бездны, подстерегающие человека на каждом шагу (см.: E. Dillon. Count Leo Tolstoy, pp. 158—159).

Репортерская раскованность, любознательность и пытливый ум ученого, искренняя любовь к великому художнику и преклонение перед его жизненным подвигом помогли Э. Диллону создать в какой-то степени новый портрет (таков подзаголовок его книги) Л. Н. Толстого.

Рассказ о первой встрече с Толстым в декабре 1890 г. взят из XII главы книги Э. Диллона о Толстом, появившейся в Лондоне после смерти автора. На русском языке публикуется впервые.

МОЕ ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

(Стр. 473)

По тексту: E. Dillon. Count Leo Tolstoy. A new portajt. London, 1934.

[1] В монашеских орденах заповедь бедности была основополагающей. Бенедиктинцы не только не имели права владеть каким-либо имуществом, но им запрещалось употреблять слова «мой» и «твой».

[2] В середине 80-х годов Толстой, по свидетельству С. А. Толстой, «с увлечением читает Конфуция» (см. *Летопись*, *I*, с. 573). Он познакомился с его учением по английскому переложению, с которого сам начал переводить. Работа не была окончена (*ПСС*, т. 25, с. 532—535). Отдельные мысли Конфуция встречаются в Дневнике 1884 и 1886 г. (*ПСС*, т. 49). В письме Черткову Толстой отмечает «необычайную нравственную высоту» китайского философа и «нравственную пользу», которую принесли его книги (*ПСС*, т. 85, с. 30, 37, а также Гусев, IV, с. 283—284).

[3] В марте 1884 г. Толстой работал над переводом книги Лао Цзы с французского (*ПСС*, т. 25, с. 534—535; т. 49, с. 63—76, 126). По словам Толстого, она произвела на него «огромное» впечатление (*ПСС*, т. 66, с. 68).

[4] Наряду с древнекитайской философией Толстой в середине 80-х годов изучает Ислам (см. Гусев, IV, с. 89, 235).

[5] Толстой относил Будду к учителям человечества, которые «делали благотворное дело» (*ПСС*, т. 49, с. 126).

[6] Толстой критически воспринимал Монтеня. 17 февраля 1891 г.

он записывает в дневнике: «Читал Montaigne ⟨...⟩ старо» (*ПСС*, т. 52, с. 12).

[7] Диллон не точен в описании кабинета: диван был кожаный.

[8] По легенде, именно с вершины Синая были произнесены десять заповедей.

[9] Вероятно, речь идет о том, что Диллон в 1883 г. пытался использовать приближающуюся коронацию для скорейшего утверждения «Русского восточного общества», организацией которого он был тогда поглощен (см. его письма проф. В. Ф. Миллеру. — *ЦГАЛИ*). Есть косвенное свидетельство о приеме английского журналиста российским императором (см.: С. Степняк. Заграничная агитация. Лондон, 1892, с. 26).

[10] Незадолго до встречи с Толстым Диллон получил благодарственное письмо, написанное по просьбе графа его дочерью Татьяной Львовной 26 сентября 1890 г. (см.: E. Dillon. Count Leo Tolstoy, p. 128).

[11] Диллон писал Толстому 9/21 сентября 1890 г. «...особенно поразило — самые ярые противники «Крейцеровой сонаты» были те, которые уже сами напечатали или написали грязные, развращающие народ романы или статьи... Но я сделал все, что мог, для достижения цели, которую я считаю достойной; и глубоко жалею, что в Англии фарисейство так крепко еще держится» (*ГМТ*).

[12] Уильям Томас Стэд, англичанин, издатель журнала «Review of Reviews», интересовавшийся творчеством и философскими взглядами Л. Толстого. В сентябре 1888 г. он провел неделю в Ясной Поляне (*ПСС*, т. 50, с. 233), имел длительные беседы с писателем, которые произвели на него сильное впечатление. Он написал об этом сразу же по возвращении из России (см.: W. T. Stead. Truth about Russia. Lnd., 1888). По совету Толстого начал издавать серию классиков английской и мировой литературы — по типу «Посредника» (см. Э. П. Зиннер. Творчество Л. Н. Толстого и английская реалистическая литература конца XIX и начала XX столетия». Иркутск, 1961, с. 76—77).

Несколько ранее Диллон писал об ужасе, охватившем Стэда, когда он прочитал только что переведенную повесть Толстого (см.: E. Dillon. Count Leo Tolstoy, pp. 125—126). Но разговор, о котором упоминает Диллон, едва ли мог иметь место потому, что «Крейцерова соната» в то время не была окончена. В ноябре 1888 г. Толстой включает повесть в список незавершенных работ и вплоть до конца апреля 1890 г. продолжает работу над ней (см.: *Летопись*, *I*, с. 702—757). Вероятнее предположить, что Толстой в беседах со Стэдом затронул семейный вопрос и говорил о своем понимании брака, свободной любви и фальши в человече-

ских отношениях. В заметках о русском писателе Стэд подробно об этом рассказывает (см.: W. T. Stead. Truth about Russia, pp. 415—420, 425—426).

[13] Имеется в виду Р. Левенфельд, который незадолго до Диллона был в Ясной Поляне (*ПСС*, т. 51, с. 66—68) и в скором времени опубликовал первую часть биографии Толстого (см.: Р. Левенфельд. Граф Лев Толстой. СПб., 1896).

[14] Диллон писал Толстому 23 января 1891 г.: «...Мне хорошо известен Ваш взгляд на вопрос о жизнеописании... Что меня касается, то я желаю только одно: рассказать жизнь как она была, не сообщая ни одного ненужного факта и особенно ни одного мнимого факта. Само собою разумеется, ни одной строки не напечатаю, не показав ее Вам заранее; причем вычеркну без возражения все, что Вам покажется нежелательным. ...Потому что считаю своим долгом ничего не писать о жизни живущего мыслителя без его позволения, и, если это возможно, его критического пересмотра» (*ГМТ*).

[15] Будда отвергал крайности: «Тот, следуя которому люди стремятся лишь к удовольствиям и вожделению, низок, груб, для обычных людей неблагороден, бесполезен, а тот, который ведет к умерщвлению плоти, приносит страдания и также неблагороден, бесполезен. Татхагата (букв. — достигший совершенства, эпитет Будды) же увидел срединный путь, дающий зрение, дающий знание, по которому следует идти, избегая этих двух крайних [путей], [ибо] он ведет к умиротворенности, к сверхзнанию, к просветлению, к *нирване*» (см. «Антология мировой философии в 4-х томах», т. I, ч. 1. М., «Мысль», 1969, с. 117—118).

[16] Имеется в виду библейская легенда. «Есть в Иерусалиме у Овечьих ворот водоем, называемый по-еврейски Вифезда, с пятью крытыми ходами. В них лежало множество больных: слепых, хромых, сухих, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень, время от времени, нисходил в водоем и возмущал воду, и первый, кто входил по возмущении воды, выздоравливал, каким бы ни был одержим недугом».

[17] В марте 1892 г. Толстой провел эксперимент: «Нынче я для опыта затеял записывать всех приходящих с просьбами, и оказалось в обыкновенный день не выдачи 125 чел., не считая мелких просителей лаптей, одежи и т. п.» (*ПСС*, т. 84, с. 134).

[18] Диллон не вполне точен. Первое упоминание о голоде встречается в Дневнике 20 июня 1891 г. (*ПСС*, т. 52, с. 43). Мысль о бесплатных столовых возникла 18 сентября (*ПСС*, т. 52, с. 53—54).

[19] Повседневная одежда крестьян делалась из холста и поэтому, как правило, была белого или серого цвета. Но в 90-е годы

распространился обычай отдавать домашние сукна не только в валку, но и в окраску. Поэтому домотканая одежда черного цвета и разных оттенков коричневого стала встречаться не реже сероватой и желтоватой.

[20] Диллон ошибается. Красинское (Krassinsky) в географических справочниках не значится. Есть Красное, Красенкова, Красиловка, Крапивна и др.

[21] Имеется в виду рассказ Толстого «Два старика» (1885).

И. Е. РЕПИН

Илья Ефимович Репин (1844—1930) был знаком с Толстым в течение многих лет и стал другом его семьи.

Первые беседы с Толстым Репин воспринимает как большое событие в своей творческой жизни. «Я все еще под влиянием Вашего посещения, — пишет он ему 14 октября 1880 г. — Много работы задали Вы голове моей. Вы были очень добры, снисходительны, хвалили и ободряли мои затеи, но никогда с такою ясностью я не чувствовал всей их пустоты и ничтожности» («И. Е. Репин и Л. Н. Толстой», I. М.—Л., «Искусство», 1949, с. 9). Репин принимал Толстого, и художника и мыслителя, без оговорок, реалистические основы его искусства были ему близки и понятны. «Как Вы умеете во всем видеть суть дела! — пишет Репин Толстому 13 сентября 1891 г. — Нет, Вы никогда не можете сделаться сектантом; везде Вам ясно представляется главная основа вещей, а не детали. Оттого так неудержимо хочется следовать Вам...» (там же, с. 15).

И. Е. Репину принадлежат многие портреты писателя. С. Л. Толстой выделял «великолепные портреты» 1887 г.: «Л. Н. Толстой за письменным столом», «Л. Н. Толстой в кресле», «Пахарь» и др. Репин иллюстрировал также многие произведения Толстого, созданные в 80-е годы.

Воспоминания Репина, построенные по встречам с писателем, — своеобразная портретная литературная серия, данная в параллель живописной. Они отнюдь не «внешнего, бытового характера», как пишет Репин в предисловии к ним: в них запечатлен могучий дух писателя.

Над воспоминаниями о Толстом Репин начал работать после первой поездки в Ясную Поляну: «О графе Льве Николаевиче Толстом (Мои личные впечатления и воспоминания)» (1888); затем, видимо, работа была прервана до 1907 г., когда были написаны публикуемые здесь мемуары. Первая их публикация: «Русское слово», 1908, № 23, 27 января, № 26, 31 января.

ИЗ МОИХ ОБЩЕНИЙ С Л. Н. ТОЛСТЫМ

(Стр. 479)

По тексту: И. Репин. Далекое-близкое. Изд. 3-е. М., «Искусство», 1949, с. 394—409.

[1] Это произошло 7 октября 1880 г.

[2] Об этой встрече Репин писал В. В. Стасову 17 октября 1880 г.: «Говорили мы тут о многом, т. е. он говорил, а я слушал, да раздумывал, понять старался... Меня он очень хвалил и одобрял... В «Запорожцах» он мне подсказал много хороших и очень пластических деталей первой важности, живых и характерных подробностей. Видно было тут мастера исторических дел... Да это великий мастер!» (И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, II. М.—Л., «Искусство», 1949, с. 53—54).

[3] Это, по-видимому, происходило в другое время: в октябре 1880 г. Толстой был в Москве всего три дня.

[4] Империал — верхняя часть конки.

[5] Летом 1891 г. Репин пробыл в Ясной Поляне с 29 июня по 16 июля.

[6] Толстой писал об этой легенде в своих «Воспоминаниях»: «Главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, это тайна была, как он, Николенька, нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа» (*ПСС*, т. 34, с. 386).

[7] Над портретом Толстого «На молитве» Репин работал около десяти лет (1891—1901). По поводу этой работы Репина С. Л. Толстой писал: «В ней Толстой изображен босым с каким-то несвойственным ему страдальческим выражением лица. Отец был недоволен тем, что Репин изобразил его босым. Он редко ходил босиком и говорил: «Кажется, Репин никогда не видел меня босым...» (С. Л. Толстой, с. 328).

[8] Этот эпизод относится к середине августа 1887 г., в первое посещение Репиным Ясной Поляны. См. также коммент. 14 к воспоминаниям С. П. Арбузова.

[9] По возвращении в Петербург Репин написал картину «Л. Н. Толстой на пашне».

[10] Репин тогда приезжал к Толстому в Бегичевку Рязанской губ. и пробыл там с 21 по 24 февраля.

[11] Репин вместе с Толстым ездил в деревню Рожню.

[12] 8 февраля 1897 г.

[13] Картина была написана Репиным в 1896 г.

[14] С 21 по 29 сентября 1907 г.

[15] «Круг чтения» (1906—1907) — сборник изречений, притч различных мыслителей на философско-нравственные темы. Осенью 1907 г. Толстой его переработал для нового издания под названием «На каждый день».

[16] Картина Рафаэля «Видение пророка Иезекииля».

СОДЕРЖАНИЕ

ЖЕНИТЬБА. ГОДЫ РАБОТЫ НАД «ВОЙНОЙ И МИРОМ» И «АННОЙ КАРЕНИНОЙ»

ГОДЫ ДУХОВНОГО ПЕРЕЛОМА

Т53 **Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников.** В 2-х томах. Т. I. Вступит. статья К. Н. Ломунова. Сост., подготовка текста и коммент. Г. В. Краснова. М., «Худож. лит.», 1978. 621 с. (Серия литературных мемуаров)

Мемуары, вошедшие в том, объединены в разделы: «Юность. Кавказ. Крымская война», «Среди литераторов. За границей. Ясная Поляна», «Женитьба. Годы работы над «Войной и миром» и «Анной Карениной», «Годы духовного перелома».

В сборник включены отрывки из мемуаров, дневников и писем С. А. Толстой, С. Л. Толстого, И. Л. Толстого, А. В. Дружинина, Д. В. Григоровича, А. А. Фета, И. Н. Крамского, П. И. Чайковского, А. С. Суворина, В. В. Стасова, Г. П. Данилевского, И. Е. Репина, П. Д. Боборыкина и других.

В том вошли также материалы, ставшие известными сравнительно недавно (В. К. Истомина, И. М. Ивакина, М. и Л. Поливановых), а также воспоминания ряда зарубежных авторов (Е. Скайлера, Б. Арнсвальда, Д. Кеннана, Э. Диллона и др.).

Т $\frac{70202\text{-}320}{028(01)\text{-}78}$ 56-78 **8Р1**

Лев Николаевич
Толстой

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

том I

Редактор *Г. Колосова*

Художественный редактор
Г. Масляненко

Технический редактор
С. Ефимова

Корректоры
Т. Кузина и *Л. Овчинникова*

ИБ № 802

Сдано в набор 10.01.78. Подписано в печать А00986—26.07.78. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «обыкновенная». Печать высокая. 32,76 усл. печ. л. 33,388 уч.-изд. л. + 1 вкл. и альбом = 34,032. Тираж 75 000 экз. Заказ № 919. Цена 2 р. 10 к. Цена в улучшенном оформлении с суперобложкой 2 р. 20 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.